АМЕРИКА:
УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ

Америка: Улица Разделения

Ричард Райт, Чарлз Чаплин, Стив Нелсон, Дик Грегори, Джеймс Болдуин, Лестер Коул, Майкл Голд, Энн Брейден, Томас Бьюкенен, Майк Макгрейди, Трумэн Капоте, Джон Херси, Джон Стейнбек, Эрскин Колдуэлл, Джозеф Норт, Арт Шилдс, Норман Мейлер, Стадс Теркел, Джейн Кац, Гарри Маурер, Майк Ньюберри, Бенджамен Спок, Вэнс Паккард, Филлип Боноски, Майк Дэвидов, Фредерик Вертем, Джессика Митфорд, Джеймс Борен

Аннотация
Сборник. Америка: Улица Разделения
От составителя
I. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Строка биографии
Ричард Райт. ЖИЗНЕННЫЙ КОДЕКС ДЖИМА КРОУ. Автобиографический очерк

Чарлз Чаплин. МОЯ БИОГРАФИЯ

Стив Нелсон. ТРИНАДЦАТЫЙ ПРИСЯЖНЫЙ. (Подоплека моего процесса)

Дик Грегори. ИЗ РЕЧИ В ЙЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Джеймс Болдуин. ИМЕНИ ЕГО НЕ БУДЕТ НА ПЛОЩАДИ

Лестер Коул. ГОЛЛИВУДСКИЙ КРАСНЫЙ

Сюжеты стереотипные

Майкл Голд. БОСТОН ГОТОВИТСЯ К ЛИНЧЕВАНИЮ

Энн Брейден. СТЕНА ОТЧУЖДЕНИЯ

Томас Дж. Бьюкенен. КТО УБИЛ КЕННЕДИ

Майк Макгрейди. ГОЛУБЬ ВО ВЬЕТНАМЕ

Трумэн Капоте. ОБЫКНОВЕННОЕ УБИЙСТВО

...и один, выходящим из ряда вон

Джон Херси. ХИРОСИМА

II. ИЗ ХРОНИКИ ДНЕИ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

Вдоль и поперек Америки

Джон Стейнбек. ПУТЕШЕСТВИЕ С ЧАРЛИ В ПОИСКАХ АМЕРИКИ

Эрскин Колдуэлл. ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК АМЕРИКИ

Джозеф Норт. ЗАБАСТОВКА ШОФЕРОВ ТАКСИ

Арт Шилдс. В СТОРОНЕ ОТ ПАРАДНЫХ АЛЛЕЙ

Норман Мейлер. МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

Стадс Теркел. УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ: АМЕРИКА
На круги своя
Джейн Кац. «ДАЙТЕ МНЕ СТАТЬ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Гарри Маурер. БЕЗ РАБОТЫ
III. ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОБРАЗ СМЕРТИ
Взглядом публициста
Майк Ньюберри. ЙЕХУ СО СНАЙПЕРСКИМИ ВИНТОВКАМИ
ПОДЗЕМНЫЕ ГРОБНИЦЫ
ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ
ПУШЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
«ВРАГ № 1–ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»
Бенджамен Спок. ДОСТОЙНОЕ И НЕДОСТОЙНОЕ
Вэнс Паккард. ФОРМОВЩИКИ ЛЮДЕЙ
Филлип Боноски. ПАСЫНКИ АМЕРИКИ
Майк Дэвидов. ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ «СВОБОДНОГО» МИРА
Взглядом сатирика
Фредерик Вертем. ЗАБАСТОВКА. (Фантазия)
Джессика Митфорд. МОТЕЛИ ДЛЯ ПОКОЙНИКОВ, ИЛИ АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ СМЕРТИ
Джеймс Борен. СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!
Справки об авторах

Издательские данные

Аннотация

В сборник включены очерки, эссе, воспоминания, репортажи и статьи американских авторов, образующие своеобразную художественно-публицистическую летопись жизни США за последние десятилетия. Крупнейшие писатели и публицисты размышляют о политической жизни страны, о социальных, экономических, нравственных и культурных проблемах Америки.

Сборник
Америка: Улица Разделения

АМЕРИКА

УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ

Американцы размышляют о себе

Документальная проза

Перевод с английского

Москва
Прогресс
1984

Произведения, кроме отмеченных в примечаниях, опубликованы на языке оригинала до 1973 года.

От составителя

На протяжении многих лет ведет издательство «Прогресс» свой поиск на территории зарубежной литературы факта. Читатели, питающие особое пристрастие к жанрам «повествования без вымысла», помнят, вероятно, выпуски семидесятых годов из серии «Писатель и современность», в эти книги вошли избранные фрагменты художественной публицистики и документальной прозы социалистических стран, Запада и Востока. Или двухтомник «Я видел будущее» (1977) — нечто вроде антологии, собравшей воедино путевые очерки, репортажи, дневники, статьи, воспоминания писателей мира о Стране Советов за шесть десятилетий ее истории.

Стоит также назвать издания недавнего и самого последнего времени — сборник «Запад вблизи» (1982), несколько однотомников, представивших творчество Ярослава Гашека, Альберта Риса Вильямса, Эрнеста Хемингуэя, Андре Моруа в жанре художественной публицистики. Судя по откликам читателей и прессы, издания эти привлекли внимание общественности. Первые выпуски ори-

ентировались скорее на читателя-специалиста, нежели массового, недавние — на более широкую аудиторию.

По-разному строилось повествование в упомянутых сборниках: принцип проблемный чередовался — или сочетался — с географическим, монографическим. «Запад вблизи» на материале *разных стран* обозревал болевые точки бытия человека в буржуазном мире. «Улица Разделения» предлагает новый ракурс — оглянуться на четыре послевоенных десятилетия жизни *одной* страны — Соединенных Штатов Америки, приглашая читателя задуматься над портретом «американского времени».

Не зря говорится, что время, в конечном счете, есть равнодействующая человеческих усилий. *Судьба человека в Америке* — сквозной сюжет «Улицы Разделения». Художественно-публицистическим комментарием к этой судьбе, к биографии Соединенных Штатов Америки можно назвать содержание книги, предлагаемой вниманию читателя.

Судьба человека в Америке, какой ее рисует она сама… Рисует планами крупными, на миг останавливая, приближая к «объективу» памятный эпизод или событие. Либо отодвигая его дальше,

с дистанции, более бегло следуя за процессом, фиксируя его в движении — одной ли судьбы, феномена ли истории, взятого в его развитии. Характер замысла подчеркнут оглавлением: как и в «Западе вблизи», оно открывает книгу.

В «Улице Разделения» слово получают не только профессиональные литераторы (среди авторов — крупнейшие писатели современной Америки), но и те, кто впервые берет в руки перо, впервые высказывается перед микрофоном интервьюера. Рабочий и безработный, актер, юрист, домохозяйка, режиссер, политический деятель, «человек с улицы», остановленный на перекрестке большого города или маленького поселка, на перекрестке событий обыденных или чрезвычайных размышляют на страницах этой книги наряду с маститыми профессионалами — прозаиком, сценаристом, публицистом, писателем-сатириком…

Стадс Теркел, чья книга чикагских интервью в отрывках представлена в сборнике, а название вынесено в его заголовок, замечает в своем вступлении, что вызвал эту книгу к жизни «поиск обнаженной мысли города». Поиском обнаженной мысли Америки можно назвать главную идею, пронизывающую сборник американской

документальной прозы и художественной публицистики.

Именно этот поиск вел его авторов из центров городов на их окраины; в фешенебельные пригороды и в нищие индейские резервации; в контору адвоката и на митинг протеста против грязной войны во Вьетнаме; в коридоры предвыборных баталий сильных мира сего и под крыши многоквартирного дома обитателей среднего достатка; в тюрьму и на студию Голливуда…

Из этих свидетельств складывается повествование «без ретуши» о существовании мира, расколотого Улицами Разделения — видимыми и невидимыми — на Америку черную и Америку белую, Америку труда и Америку капитала, Америку борцов за социальную справедливость, за права человека, за мир и Америку тех, кто этих борцов преследует и прав лишает; Америку думающую, совестливую, трагическую и Америку преуспевающую, самодовольную, ханжескую; Америку интернационалистов и Америку шовинистов, не останавливающихся ни перед чем, чтобы осуществить свои имперские притязания, чтобы навязать миру свои лицемерные прописи и представления об устройстве жизни на земле…

Америка размышляет о себе. О материях на-

сущных, мучительных, жгучих: безработица, расизм, угроза войны, опасность фашистских тенденций в политике внешней и внутренней, преступность, коррупция, духовное растление, осуществляемое с помощью масс-медиа — еще туже затягиваются на каждом новом витке спирали узлы неразрешимых проблем.

Размышляет о законах, правящих судьбами страны, о ее месте в современном мире, о доле ответственности за будущее.

Размышляет о своем Времени — трагическом для большинства тружеников, стремительном и одновременно застывшем, неотвратимо возвращающем самые страшные социальные язвы и боли на круги своя… С горечью, болью — обнаженной либо скрытой за строками — произносит слова несогласия, тревоги, протеста. Вновь и вновь обращает к городу и миру свое *Куда идешь, Америка?*

Документальное повествование, взгляд изнутри Америки способен немало нового открыть в этих сюжетах, казалось бы неплохо знакомых советскому читателю. Нет преувеличений, нет предвзятости в выборе наших фрагментов. Всего лишь верхушкой айсберга оказывается их совокупность, представшая на страницах книги.

Итак, говорит Улица Разделения… Вслушаемся в ее голоса.

Е. СТОЯНОВСКАЯ

I. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Строка биографии
Ричард Райт
ЖИЗНЕННЫЙ КОДЕКС ДЖИМА КРОУ[1]
Автобиографический очерк

1

Свой первый урок того, как следует жить негру, я получил, когда был еще совсем мальчишкой. Мы жили в Арканзасе. Наш дом стоял у полотна железной дороги. Убогий дворик был вымощен черным шлаком. В этом дворике никогда не росло никакой зелени. Единственная зеленая полоска, доступная нашему взгляду, находилась далеко по ту сторону полотна, там, где жили белые. Но я и шлаком был доволен вполне и никогда не тосковал о живой зеленой поросли. Во всяком случае, шлак служил превосходным оружием. Большие

---

[1] Примечания: 1

Джим Кроу — депутат Конгресса, вскоре после освобождения негров выступивший с требованием изоляции негров в законодательном порядке. Отсюда — «джимкроуизм», система изоляции негров от белых в общественных местах, школах и т. п. По другой версии, термин этот ведет свое начало от негра Джима, прозванного «вороной» (crow), освобожденного раба, эмигрировавшего в Лондон и выпустившего там книгу, направленную против рабства, под названием «История Джима Кроу» (1839). — *Здесь и далее прим, перев.*

черные куски шлака были очень удобны, чтобы играть в войну. Стоило только наготовить добрый запас снарядов и спрятаться за кирпичным столбом дома — и первая же курчавая черная голова, выглянувшая из-за столба соседнего дома, служила мишенью. Нужно было прицелиться как можно метче, чтоб сбить ее оттуда. Это было очень весело.

Но однажды ватага, к которой я принадлежал, оказалась в состоянии войны с белыми мальчиками, жившими за полотном, и тут только мне открылись все прискорбные недостатки шлакового ландшафта. Как всегда, мы открыли заградительный огонь, рассчитывая, что шлаковые снаряды немедленно обратят белых мальчишек в бегство. Но они в ответ энергично бомбардировали нас битыми бутылками. Мы удвоили усилия, но они прятались за деревьями, изгородями и холмиками газонов. У нас таких прикрытий не было, и мы отступили назад, к дому. Во время отступления разбитая бутылка из-под молока угодила мне в голову и оставила глубокий порез, из которого полилась кровь. Вид крови, текущей по моей щеке, внес полное разложение в наши ряды. Мои боевые товарищи разбежались по домам, а я остался стоять как

вкопанный, один посреди двора. Сердобольная соседка увидела меня и потащила к доктору, который тут же наложил мне три шва.

Я сидел, пригорюнившись, на своем крыльце, грел рану рукой и ждал, когда вернется с работы мать. Я чувствовал себя жертвой великой несправедливости. В том, что мы кидались кусками шлака, ничего дурного не было. От куска шлака у противника, в худшем случае, мог остаться синяк. Но битые бутылки были опасным оружием: они могли порезать, окровавить, и ты был против них беспомощен.

Когда стемнело, вернулась мать, работавшая поденно у белых. Я выбежал ей навстречу. Я как-то всем нутром чувствовал, что она должна понять. Я ждал от нее совета, как мне быть в другой раз. Я уцепился за ее руку и, захлебываясь, выложил ей всю историю. Она осмотрела мою рану, потом дала мне шлепка.

— А почему ты не спрятался? — спросила она. — Почему ты вечно лезешь в драку?

Я был оскорблен и озадачен. Сквозь слезы я объявил ей, что мне некуда было спрятаться, потому что у нас нет ни изгороди, ни деревьев. Нет ничего такого, что могло бы служить прикрытием. А если спрятаться за кирпичным столбом, так

оттуда неудобно метать снаряды. Но она схватила валявшуюся во дворе бочарную доску, втащила меня в дом, раздела донага и отдубасила так, что меня в жар бросило. Она била меня доской по мягкой части, а между ударами дарила меня жемчужинами житейской мудрости в духе Джима Кроу. Я никогда больше не должен кидаться кусками шлака. Я не должен никогда больше затевать никаких войн. Я никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не должен лезть в драку с белыми. А если меня треснули по голове бутылкой от молока, то так мне и надо. Разве я не знаю, что она с утра до вечера гнет спину в кухне у белых хозяев, чтобы заработать деньги на мое пропитание? Когда наконец я перестану быть непутевым мальчишкой? Только этого ей еще не хватало, о моих драках думать! В заключение она сказала, что я должен всю жизнь благодарить бога за то, что хоть остался жив.

Всю ночь я бредил и не мог уснуть. Стоило мне закрыть глаза, страшные белые рожи лезли с потолка и кривлялись передо мной.

С этого дня шлаковый дворик потерял для меня всю свою прелесть. Зеленые деревья, цветущие изгороди, подстриженные газоны приобрели новое значение, новый символический смысл.

Даже теперь, когда я думаю о белых людях, где-то в глубине моего сознания встают четкие, ясные очертания белых домиков, окруженных деревьями, изгородями, газонами. С годами они выросли в символ страха.

Прошло много времени, прежде чем мне опять пришлось близко столкнуться с белыми людьми. Мы переехали из Арканзаса в Миссисипи. На этот раз, к счастью, мы поселились не у железнодорожного полотна, и далеко от района, населенного белыми. Мы жили в самом центре местного Черного пояса. Там были черные церкви и черные проповедники; черные школы и черные учителя; черные лавки и черные продавцы. Все кругом было настолько сплошь черным, что долгое время белые люди существовали для меня только в далеких и смутных воспоминаниях. Но это не могло продолжаться вечно. Чем старше становишься, тем больше ешь. Тем дороже стоит твоя одежда. Как только я кончил школу, пришлось искать работу. Заработков матери уже не хватало на то, чтобы кормить и одевать меня.

Есть только одно место, где может найтись работа для мальчика-негра, не обученного никакому ремеслу. Это там, где дома и лица белые, где деревья, газоны и изгороди зеленые. Моя

первая служба была в оптической мастерской в Джексоне, штат Миссисипи. Я пришел туда утром и долго стоял навытяжку перед хозяином, отвечая на все его вопросы короткими «да, сэр» и «нет, сэр». Я старался как можно отчетливее произносить слово «сэр», желая убедить его в том, что я вежлив, что я знаю, с кем говорю, и помню, что передо мной белый. Мне очень нужна была работа.

Он осматривал меня с ног до головы, как пуделя на собачьей выставке. Он расспрашивал меня подробно о моем прошлом учении, особенно интересуясь моими познаниями по математике. Он был, по-видимому, очень доволен, когда я сказал, что целых два года проходил алгебру.

— Скажи, мальчик, а ты хотел бы чему-нибудь поучиться? — спросил он меня.

— Очень бы хотел, — обрадованно сказал я. У меня были свои заветные мечты о том, чтобы «трудом выбиться в люди». Даже у негров бывают такие мечты.

— Ладно, — сказал он. — Иди за мной.

Я вошел вместе с ним в помещение мастерской.

— Пикс, — сказал он белому человеку лет тридцати пяти, — вот это Ричард. Он будет у нас

работать.

Пикс посмотрел на меня и кивнул головой.

Потом меня подвели к белому пареньку лет семнадцати.

— Морри, вот это Ричард, он будет у нас работать.

— Ну, ты чего, — буркнул мне Морри.

— Я ничего, — ответил я.

Хозяин сказал, чтоб они помогали мне, показывали все, что нужно, давали мне работу и в свободное время учили меня ремеслу.

Жалованья мне положили пять долларов в неделю.

Я работал изо всех сил, стараясь угодить хозяину. Первый месяц все шло хорошо. И Пикс и Морри относились ко мне благосклонно. Не хватало только одного. И это одно все время не давало мне покоя. Я ничему не учился, и никто не изъявлял желания помочь мне. Я решил, что они просто забыли о том, что я должен познакомиться с техникой обтачивания линз, и однажды утром я попросил Морри дать мне первый урок. Он весь покраснел.

— Ты что это, черномазый, задаваться вздумал? — спросил он.

— Нет, я не вздумал задаваться, — сказал я.

— То-то же; я тебе не советую, для твоей же пользы.

Я был озадачен. Может быть, он просто не хочет мне помочь, думал я. Я пошел к Пиксу.

— Да ты что, спятил, черный ублюдок? — спросил меня Пикс, и его серые глаза сразу стали злыми.

Я робко напомнил ему, что хозяин пообещал дать мне возможность чему-нибудь научиться.

— Ты, видно, думаешь, что ты белый!

— Нет, сэр?

— А что-то похоже!

— Но, мистер Пикс, хозяин сказал…

Пикс потряс кулаком у самого моего носа.

— Тут работа только для белых людей, и ты не лезь, куда не просят.

С этого дня они оба переменились ко мне. Утром не здоровались со мной. Стоило мне чуть замешкаться с какой-нибудь работой, меня ругали черномазым лентяем, сукиным сыном.

Как-то мне пришло в голову, не рассказать ли обо всем этом хозяину. Но одна мысль о том, что со мной будет, если Пикс и Морри узнают о моем «фискальстве», отняла у меня охоту. Да и в конце концов хозяин ведь тоже белый. Что толку?

Развязка наступила в одно прекрасное летнее

утро. Пикс подозвал меня к своему станку. Чтобы до него добраться, я должен был пролезть через узкий проход между двумя другими станками и стать спиной к стене.

— Да, сэр, — сказал я.

— Ричард, я хочу спросить тебя об одной вещи, — начал Пикс дружелюбным тоном, не поднимая глаз от работы.

— Да, сэр, — сказал я опять.

Подошел Морри и встал рядом, загородив узкий проход между станками. Он мрачно смотрел на меня, скрестив руки на груди.

Я переводил глаза с одного на другого, предчувствуя неладное.

— Да, сэр, — сказал я в третий раз.

Пикс поднял голову и заговорил, медленно и раздельно:

— Ричард, я слыхал от мистера Морри, что ты меня назвал Пикс.

Я оцепенел. У меня как будто что-то опустилось внутри. Я все понял.

Он говорил о том, что я будто бы забыл сказать «мистер Пикс». Я оглянулся на Морри. Он держал в руке стальной брусок. Я раскрыл рот, чтобы заговорить, чтобы протестовать, чтобы уверить Пикса, что я никогда не называл его просто Пикс,

что мне даже в голову не приходило подобное, но тут Морри схватил меня за ворот и так тряхнул, что моя голова больно стукнулась о стену.

— Ты смотри, черномазый, — зарычал Морри, оскалив зубы. — Я слышал, как ты его назвал Пикс! А если ты говоришь, что не называл, значит, по-твоему, я вру? — Он угрожающе размахивал стальным бруском.

Если б я сказал: нет, сэр, мистер Пикс, я никогда не называл вас просто Пикс, то тем самым я обвинил бы Морри во лжи. А если б я сказал: да, сэр, мистер Пикс, я назвал вас просто Пикс, то я признал бы себя виновным в самом худшем оскорблении, которое на Юге негр может нанести белому. Я медлил, стараясь найти уклончивый ответ.

— Ричард, я тебя спрашиваю, — сказал Пикс. В голосе его уже слышалась угроза.

— Я не помню, чтобы я называл вас Пикс, мистер Пикс, — осторожно начал я. — А если даже и назвал, это вышло нечаянно.

— Ах ты, черная сволочь! Так, значит, ты назвал меня Пикс! — закричал он, брызжа слюной, и ударил меня так, что я упал на соседний станок. Морри навалился на меня и тоже закричал:

— Так ты не называл его Пикс? Попробуй толь-

ко сказать, что нет. Я тебе сейчас кишки выпущу этим бруском, хитрая скотина! Это тебе так даром не пройдет, обезьяна черномазая! Назвать белого человека вруном!

Я весь съежился. Я умолял их не трогать меня. Я знал, что им нужно. Им нужно было, чтоб я ушел.

— Я уйду, — пообещал я. — Я уйду сейчас.

Они дали мне минуту сроку на то, чтобы убраться из мастерской. И предупредили, что, если я только покажусь опять или обмолвлюсь хоть словом хозяину, мне будет плохо.

Я ушел.

Когда я рассказал домашним о том, что случилось, меня назвали дураком. Мне сказали, что я никогда больше не должен пытаться выйти за положенные границы. Когда работаешь у белых, сказали мне, «нужно знать свое место», если дорожишь работой.

2

Мое воспитание в духе Джима Кроу продолжалось и на новой работе — в магазине готового платья, куда я устроился швейцаром. Однажды утром, когда я чистил медную ручку парадной двери, подкатил автомобиль, из него вышли

хозяин и его двадцатилетний сын и наполовину втащили, наполовину втолкнули в магазин какую-то немолодую негритянку. Полисмен, стоявший на углу, спокойно смотрел на это, вертя в руках дубинку. Я тоже поглядывал уголком глаза, продолжая усердно тереть медную ручку куском замши. Прошло несколько минут, и я услышал пронзительные крики в глубине магазина. Потом на пороге показалась женщина, вся в крови, она плакала, спотыкалась, держалась за живот. Когда она дошла до угла, полисмен остановил ее и задержал, якобы за то, что она пьяна. Я молча наблюдал, как он вталкивал ее в подъехавшую полицейскую машину.

Когда я вошел в магазин, хозяин и его сын мыли под краном руки. Оба хихикали. На полу были пятна крови, валялись лохмотья, пучки волос. Вероятно, на моем лице отразился ужас, потому что хозяин одобрительно похлопал меня по спине.

— Вот, парень, видишь, что бывает с неграми, которые не платят по счетам, — сказал он, смеясь.

Сын посмотрел на меня и тоже осклабился.

— Хочешь папиросу? — сказал он.

Я не знал, что делать, и взял.

Он закурил сам и поднес мне огня. Это был жест

великодушия, который должен был означать, что, хотя они избили бедную негритянку, меня они бить не будут, если у меня хватит ума держать язык за зубами.

— Да, сэр, — сказал я и не стал задавать вопросов.

Когда они ушли, я присел на край ящика и, пока тлела моя папироса, смотрел на кровавые пятна на полу. В тот же день, обедая в соседней закусочной, я рассказал обо всем этом другим черным швейцарам квартала. Никто не выказал удивления. Один, проглотив большой кусок, повернулся ко мне и спросил:

— И больше они ей ничего не сделали?

— По-твоему, этого мало? — спросил я.

— Хо! Да ей просто повезло, — сказал он, вгрызаясь зубами в сочный бифштекс. — Удивляться надо, как они еще не изнасиловали ее там же после всего.

3

Я постигал науку быстро, но все же недостаточно быстро. Однажды, когда я развозил заказы по окрестностям города, у моего велосипеда лопнула шина. Я брел пешком по раскаленной пыльной дороге и, обливаясь потом, тащил за собой ве-

лосипед.

Большая машина, поравнявшись со мной, замедлила ход.

— Что случилось, парень? — окликнул белый человек.

Я ему сказал, что у меня лопнула шина и я возвращаюсь в город пешком.

— Вот беда какая, — сказал он. — Ну, прыгай на подножку, подвезем.

Он затормозил. Крепко прижимая одной рукой велосипед, другой я ухватился за борт.

— Ну, устроился?

— Да, сэр, — ответил я. Машина покатила дальше.

В ней было полно молодых людей, белых. Они пили. Я смотрел, как фляжка переходит из рук в руки.

— Хочешь выпить, малый? — спросил один.

Я рассмеялся, ветер хлестал мне в лицо. Инстинктивно следуя еще свежим в моей памяти материнским наставлениям, я сказал:

— Ну, нет.

Я не успел договорить, как что-то холодное и твердое ударило меня между глаз. Это была пустая бутылка от виски. Искры посыпались у меня из глаз, и на полном ходу машины я упал навз-

ничь в дорожную пыль, запутавшись ногами в стальных спицах велосипеда. Машина остановилась, белые высыпали из нее и окружили меня.

— Ты, что, черномазый, не в своем уме? — спросил тот, который меня ударил. — Не знаешь, что, когда обращаются к белому человеку, нужно говорить «сэр»?

Все еще ничего не видя, я с трудом поднялся на ноги. Локти и колени у меня были в крови. Белый, оттолкнув ногой велосипед, наступал на меня со сжатыми кулаками.

— Да ну, брось ты этого пащенка. Хватит с него, — сказал кто-то.

Они стояли и смотрели на меня. Я тер ногу, стараясь остановить кровь. Вероятно, они почувствовали что-то вроде презрительной жалости, потому что кто-то спросил: — Ну, подвезти тебя в город, негр? Теперь будешь знать, как вести себя?

— Я пойду пешком, — сказал я просто.

Может быть, это вышло смешно, они засмеялись.

— Ну и ступай пешком, черномазая сволочь!

На прощанье они меня утешили:

— Твое счастье, что ты на таких напал. Будь это кто-нибудь другой, он бы из тебя дух вышиб за

твою дерзость.

4

Каждому негру, который живал на Юге, знакомо чувство страха, который испытываешь при мысли, что тебя могут вдруг поймать одного в квартале белых после захода солнца. Это простое обстоятельство служит яркой иллюстрацией положения негров в Америке. Всякий белый, даже если он чужой здесь, может спокойно проходить по улицам в любое время, его никто не тронет. Но к негру цвет его кожи сразу привлекает внимание, делает его подозрительным, превращает в беззащитную мишень для нападок.

Как-то в субботу вечером я задержался в квартале белых, развозя заказы. Я изо всех сил нажимал на педали своего велосипеда, спеша вернуться в магазин. Вдруг полицейская машина, выехав из-за угла, притиснула меня к тротуару.

— С велосипеда долой, руки вверх! — скомандовал полисмен.

Я повиновался. Они вылезли из машины и медленно пошли на меня, с нахмуренными лицами, с револьверами наготове.

— Стоять смирно! — раздалась новая команда.

Я вытянул руки еще выше. Они обшарили мои

карманы, осмотрели все свертки. Они, видно, были очень огорчены, что не нашли ничего предосудительного. Наконец один из них сказал:

— Скажи твоему хозяину, чтобы больше не посылал тебя так поздно в квартал, где живут белые.

Я ответил, как всегда. — Да, сэр.

5

Следующим моим местом было место коридорного в гостинице. Здесь мое воспитание в духе Джима Кроу значительно подвинулось вперед. Когда у номерных бывало много работы, мне приходилось помогать им, отвечая на звонки. Большинство комнат в гостинице было занято проститутками, и меня то и дело посылали к ним с вином и папиросами. Чаще всего я заставал их голыми. Им не приходило в голову одеться, даже если они сами вызывали номерного. Входя в комнату, ты не должен был обращать никакого внимания на их наготу, как будто в ней не было ничего более необычного, чем в синей вазе или красном ковре. Ты не внушал ни малейшего стыда, потому что тебя просто не считали человеком. Если женщина была в комнате одна, можно было искоса поглядывать на нее украдкой. Но если

у нее был гость, ты не смел даже виду подать. Помню как сейчас один случай. В одном из номеров на моем этаже появилась новая жилица, громадная блондинка с белоснежной кожей. Меня послали на ее звонок. Она лежала в кровати с каким-то толстяком. Оба были голые и не прикрыты даже одеялом. Она велела мне принести виски и, спрыгнув с кровати, вразвалку пошла к комоду достать деньги. Я смотрел на нее.

— Ты куда глаза пялишь, черномазый? — спросил толстяк, приподнимаясь на локте.

— Никуда, — ответил я, усердно разглядывая пустую стену. — Смотри себе под нос, если хочешь быть цел.

— Да, сэр, — сказал я.

6

Один из номерных этой же гостиницы дружил с горничной-негритянкой. Однажды ни с того ни с сего к нему явилась полиция и арестовала его по обвинению во внебрачной связи. Бедный парень клялся и божился, что ничего у него с девушкой не было. Тем не менее его заставили на ней жениться. Когда родился ребенок, цвет кожи у него оказался значительно светлее, чем у обоих предполагаемых родителей. Белые служащие

гостиницы много потешались по этому поводу. Ходили остроты вроде того, что, мол, бедная девушка, когда была в положении, испугалась белой коровы. Если это говорилось при тебе, ты должен был тоже смеяться.

7

Одного номерного застали в постели с белой проституткой. Его кастрировали и выгнали вон из города. Сразу же после этого случая всех нас, номерных и коридорных, созвали и сделали нам строгое внушение. Нам дали понять, что «этой сволочи еще очень повезло». Нас предупредили, что, если подобный случай повторится, администрация гостиницы снимет с себя всякую ответственность за жизнь «негров, которые плохо ведут себя».

8

Как-то вечером, собираясь домой, я встретил одну из горничных-негритянок. Она жила недалеко от меня, и мы пошли вместе. Когда мы проходили мимо ночного сторожа, белого, он шлепнул девушку по заду. Я удивленно оглянулся. Сторож посмотрел на меня долгим, жестким, внушитель-

ным взглядом. Вдруг он выхватил револьвер и спросил:

— Что, черномазый, не нравится?

Я медлил с ответом.

— Я спрашиваю, тебе что, не нравится? — спросил он опять, делая шаг вперед.

— Да, сэр, — пробормотал я.

— Так и говори, что нравится.

— Да, да, сэр, — сказал я со всей искренностью, которую только мог изобразить.

Когда мы вышли за ворота, я пошел вперед, потому что мне стыдно было смотреть девушке в глаза. Она нагнала меня и сказала:

— Не дури, ты ничего не мог поделать.

Этот сторож любил похваляться, что убил двух негров «в состоянии самозащиты».

И все же, несмотря на все это, жизнь в гостинице протекала удивительно гладко и спокойно. Человеку со стороны невозможно было бы заметить что-либо. Горничные, коридорные и номерные всегда сияли, всегда улыбались. Это входило в их обязанности.

9

Я так хорошо усвоил науку Джима Кроу, что мне удалось продержаться на работе в гостини-

це, пока я не переехал из Джексона в Мемфис. Случилось так, что в Мемфисе мне пришлось обратиться насчет работы в отделение той же оптической фирмы, у которой я работал в Арканзасе. Меня наняли. И не знаю почему, но за все время, что я там пробыл, никто ни разу не помянул мою старую историю.

Здесь мое воспитание в духе Джима Кроу приняло новую форму. Мне пришлось познакомиться с жестокостью не грубой, а утонченной. Я научился лгать, красть, притворяться. Я научился вести ту двойную игру, которую должен вести каждый негр, если он хочет есть и жить.

Например, я почти не имел возможности доставать книги для чтения. Существовало мнение: раз негр уже проглотил ту убогую долю школьных знаний, которая ему отпущена государством, больше он в книге не нуждается. На работе я постоянно выпрашивал книги у кого только мог. Однажды я набрался храбрости и попросил одного служащего разрешить мне брать книги в библиотеке на его имя. Как ни странно, он согласился. Я думаю, это было потому, что он принадлежал к римско-католической церкви и, на себе испытав, что такое всеобщая ненависть, относился с каким-то смутным сочувствием к

неграм. Вооружившись библиотечным абонементом, я придумал такой способ получать по нему книги: я писал библиотекарю записку, в которой говорилось: «Пожалуйста, дайте этому негру следующие книги для меня». Затем я подписывался именем моего белого знакомого.

Когда я приходил в библиотеку, я останавливался у прилавка с шапкой в руке и старался выглядеть как можно невежественнее. Получив нужные книги, я уносил их к себе домой. Если книг по списку не оказывалось на месте, я выскальзывал в коридор и мастерил новую фальшивку. Я никогда не пускался в разговоры с белым библиотекарем насчет того, какие книги могут заинтересовать моего фиктивного белого читателя. Не сомневаюсь, если бы кто-нибудь из белых заподозрил, что книги, которыми они наслаждаются, побывали в доме негра, они не потерпели бы этого ни одной минуты.

Штат служащих оптической фирмы в Мемфисе был гораздо многочисленнее, чем в Джексоне, и состоял из людей, более отесанных. Во всяком случае, все они любили поговорить и не гнушались привлекать в качестве собеседника и негра. Благодаря этому я узнал, что есть целый ряд вопросов, которые, с точки зрения белого человека,

находятся под запретом. Среди тем, которые они не любили затрагивать в разговоре с неграми, были следующие: американские белые женщины; ку-клукс-клан; Франция и житье французских солдат-негров; француженки; Джек Джонсон; вся северная часть Соединенных Штатов; Гражданская война; Авраам Линкольн; Улисс Грант[2]; генерал Шерман[3]; католики; папа; евреи; республиканская партия; рабство; гражданское равноправие; коммунизм; социализм; 13-я и 14-я поправки к Конституции[4] — или любой другой вопрос, обсуждение которого потребовало бы от негра каких-либо положительных знаний или просто ощущения себя как человека. Самыми приемлемыми темами считались пол и религия.

Не раз бывали случаи, когда мне приходилось проявлять большую изобретательность, чтобы не попасть в беду. На Юге принято, что при входе в лифт мужчина снимает шляпу. Особенно

---

[2] Примечания: 2

Один из руководителей армии северян, впоследствии президент США с 1868 по 1876 г.

[3] Примечания: 3

Один из выдающихся генералов армии северян в Гражданской войне 1861–1865 гг. в США.

[4] Примечания: 4

13-я поправка к Конституции США — об отмене рабства (1865 г.). 14-я — о равноправии негров (1868 г.).

неуклонно это правило должно соблюдаться неграми. Однажды я вошел в лифт, нагруженный свертками. Мне пришлось остаться в шляпе. Двое белых, находившихся в кабине, окинули меня холодным взглядом. Потом один из них очень любезно снял с меня шапку и положил ее поверх моих свертков. Для меня, как для негра, уместнее всего было бы после этого глянуть на белого исподлобья и ухмыльнуться. Если бы я сказал «спасибо», это бы означало, что я думаю, что он, белый человек, оказал мне услугу. За такую дерзость негров при мне не раз били по зубам. Первый выход казался мне противным: второй — опасным, и я нашел уловку, которая послужила мне благополучным третьим выходом. Я тут же, как только с меня сняли шапку, притворился, что мои свертки вот-вот рассыплются и что все мое внимание поглощено тем, как бы их удержать в руках. Это дало мне возможность уклониться от прямой благодарности за услугу и, несмотря на несчастное стечение обстоятельств, спасти какой-то лоскуток личного достоинства.

Как относятся сами негры к жизни, которую их вынуждают вести? Что они говорят по этому поводу, когда остаются одни? Мне кажется, на этот вопрос можно ответить одной фразой. Один

мой приятель, лифтер, когда-то сказал мне:

— Господи боже! Да если б не полиция и не суд Линча, тут бы уже давно все полетело вверх тормашками.

Чарлз Чаплин
МОЯ БИОГРАФИЯ

В воздухе снова запахло войной. Нацисты начали наступление. Как быстро забыли мы первую мировую войну, четыре мучительных года умирания? Как быстро забыли тех, кого война выбросила из жизни, забыли слепых, безруких, безногих, людей с изуродованными лицами, припадочных, согнутых в три погибели калек! И тех, кто не был убит или ранен, война все равно не пощадила, изуродовав их души. Война, словно Минотавр, пожирала молодежь, превращая уцелевших в старых циников. Да, мы быстро забыли эту войну, принялись чуть ли не славить ее в популярных песенках.

Ты на ферме не удержишь
Тех, кто повидал Париж,
и т. д.

Кое-кто утверждал что в известном смысле война принесла пользу: она, мол, дала толчок развитию промышленности, двинула вперед технику и дала людям работу. Что нам за дело до миллионов погибших, когда на бирже наживаются другие миллионы? В дни «бума» Артур Брисбэйн писал в херстовском «Экзаминере»: «Акции стальных корпораций подскочат до пятисот долларов». Но этого не случилось, и биржевые спекулянты стали выскакивать из окон небоскребов.

И вот на пороге новой войны я пытался писать сценарий для Полетт, но дело подвигалось плохо. Разве можно было заниматься описанием женских причуд, придумывать романтический сюжет и любовные эпизоды, когда это чудовище в человеческом облике, Адольф Гитлер, снова обрекал мир на безумие?

Еще в 1937 году Александр Корда посоветовал мне сделать фильм о Гитлере, построив сюжет на сходстве с ним другого человека (ведь у Гитлера были такие же усы, как у моего бродяги). Корда сказал, что я мог бы сыграть обе роли. Тогда я не придал значения его словам, но теперь эта тема стала актуальной. К тому же пора было наконец начать работать. И тут мне в голову пришла

спасительная мысль. Ну конечно же! В роли Гитлера я мог заговорить, выступая с речами перед толпой и неся всякую тарабарщину, в роли бродяги по-прежнему оставаться молчаливым. Сценарий о Гитлере давал широкую возможность для бурлеска и пантомимы. В полном восторге я поспешил в Голливуд и принялся за сценарий. Работа над ним продолжалась два года.

Пролог в фильме начинался сценой сражения во время первой мировой войны. Сверхдальнобойное орудие — «Большую Берту», — которым немцы рассчитывали запугать союзников, наводят на Реймский собор, но снаряд летит мимо и разносит в щепы сортир на окраине города.

В разгар работы над «Диктатором» я стал получать от «Юнайтед артистс» тревожные вести. Меня предупреждали, что у фильма будут неприятности с цензурой. Английское агентство нашей кинокомпании также беспокоилось о судьбе антигитлеровской картины, полагая, что в Англии ее нельзя будет показать. Но я твердо решил продолжать работу: Гитлера необходимо высмеять. Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать «Диктатора», не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения. Я был

полон желания высмеять бредовую идею чистокровной расы.

В те дни в Калифорнию заехал возвратившийся из России сэр Стаффорд Криппс. Он обедал у меня вместе с молодым человеком, только что окончившим Оксфордский университет. Имя юноши я забыл, но одна его фраза запомнилась на всю жизнь. «Судя по положению дел в Германии, да и во всем мире, — сказал он, — мне осталось жить не более пяти лет». Сэр Стаффорд ездил в Россию, чтобы ознакомиться со страной, и находился под глубоким впечатлением того, что увидел. Он описывал грандиозные планы русских и, разумеется, переживаемые ими трудности. По-видимому, он считал, что война неизбежна.

Нью-йоркская контора «Юнайтед артистс» умоляла меня отказаться от фильма, уверяя, что он никогда не будет показан ни в Англии, ни в Америке. Однако я твердо решил сделать его, даже если мне самому пришлось бы арендовать кинозалы для демонстрации.

Я еще не успел кончить «Диктатора», когда Англия объявила войну нацистам: эту тревожную новость я услышал по радио, отдыхая на своей яхте в Катлине. Поначалу на всех фронтах наблюдалось затишье. «Немцам никогда не

удастся прорвать линию Мажино», — говорили мы. Затем разразилась катастрофа: вторжение нацистов в Бельгию, падение линии Мажино, ужас Дюнкерка — и Франция была оккупирована. Положение в Европе становилось все тревожнее, Англия отбивалась в одиночку. Теперь уже наша нью-йоркская контора бомбардировала меня телеграммами: «Торопитесь с фильмом, все его ждут!»

И тут Гитлер решил напасть на Россию. Это было прямым доказательством того, что он окончательно сошел с ума. Соединенные Штаты еще не вступили в войну, но и Англия, и Америка испытывали чувство облегчения.

Во время съемок «Диктатора» я начал получать угрожающие письма, а когда фильм был закончен, количество их резко возросло. Мне грозили, что в кинотеатры, где покажут фильм, будут кидать бомбы с удушливым газом и стрелять в экран. Сначала я думал обратиться в полицию, но потом решил, что это может отпугнуть зрителей. Кто-то из друзей посоветовал мне поговорить с Гарри Бриджесом, председателем союза портовых грузчиков, убежденным антинацистом.

При встрече я откровенно рассказал ему, что сделал антифашистскую комедию и теперь мне

угрожают скандалом.

— Хорошо бы, — сказал я, — пригласить на премьеру человек двадцать-тридцать ваших грузчиков и рассадить их по всему залу, чтобы они могли вежливенько утихомирить фашистских молодчиков, если те вздумают буянить.

Бриджес рассмеялся.

— Не думаю, Чарли, чтобы дело дошло до этого. У вас и среди публики найдется достаточно защитников, которые сумеют справиться с хулиганьем. А если эти письма в самом деле писали фашисты, они в любом случае побоятся пойти в открытую.

Бриджес рассказал мне в тот вечер интересную историю о забастовке в Сан-Франциско, когда он фактически был хозяином города, потому что все снабжение находилось под его контролем. Только больницы и дети получали все необходимое.

— Когда борьба идет за справедливое дело, — сказал он, — убеждать не требуется. Достаточно лишь изложить факты, и люди сами принимают верное решение. Я предупредил своих; в случае забастовки им грозит много неприятностей, а кое-кто, может быть, даже не увидит ее результатов. Но какое бы решение они ни приняли, я ему подчинюсь. Если бастовать, я буду в первых

рядах! — и все пять тысяч человек единогласно решили бастовать.

«Диктатора» должны были показывать в двух нью-йоркских кинотеатрах — в «Асторе» и «Капитолии». В «Асторе» мы устроили предварительный просмотр для прессы. В тот вечер у меня обедал главный советник Франклина Рузвельта Гарри Гопкинс. После обеда мы вместе отправились на просмотр, но успели только на половину картины.

Любой просмотр комедии, устраиваемый для прессы, отличается характерной чертой: зрители смеются словно против воли. И на этом просмотре смеялись так же нехотя.

— Великолепная картина, — сказал мне Гарри, когда мы покидали кинотеатр. — Ее нужно было непременно сделать, но успеха у зрителей она иметь не будет. Она принесет вам только убытки.

Слава богу Гопкинс ошибся. На премьере в «Капитолии» избранная публика была в полном восторге. Фильм демонстрировали в Нью-Йорке три месяца подряд в двух кинотеатрах.

Было странно слушать, как лощеные фашистские молодчики на Пятой авеню обращались с речами к кучкам слушателей. Один из этих ора-

торов заявил следующее:

— Философия Гитлера основана на глубоком и вдумчивом изучении нашего индустриального века, в котором не остается места для полукровок или евреев.

Какая-то женщина перебила его.

— Что это вы говорите? — вскричала она. — Здесь же Америка! Где вы, по-вашему, находитесь?

Красивый молодой оратор вежливо улыбнулся.

— Я нахожусь в Соединенных Штатах, и, кстати, я американский гражданин, — ответил он невозмутимо.

— Ну и что? Я тоже американская гражданка и еврейка, — добавила она. — Но если бы я была мужчиной, я набила бы тебе морду.

Несколько слушателей присоединились к ней, но большинство равнодушно молчало. Стоявший поблизости полицейский сделал женщине замечание. Я отошел пораженный, не веря своим ушам.

День или два спустя мне предстояло выступить в Вашингтоне и произнести по радио последнюю речь из «Диктатора». До выступления меня пригласили на прием к Рузвельту, которому по его

просьбе мы заранее послали фильм в Белый дом. Когда я вошел в кабинет президента, он приветствовал меня следующими словами: «Садитесь, Чарли, ваша картина доставила нам массу хлопот в Аргентине». Это был его единственный отзыв о фильме. Один из моих друзей впоследствии так сформулировал результат этой встречи: «Вас приняли в Белом доме, но не заключили в объятия».

«Диктатор» пользовался большим успехом у американского зрителя, но он, безусловно, подогревал и тайную враждебность ко мне. Впервые я это почувствовал при встрече с представителями прессы, когда вернулся из Нью-Йорка в Беверли-Хилз. На застекленной веранде нашего дома сидели человек двадцать журналистов и зловеще молчали. Я предложил им выпить, они отказались — это было довольно необычно для репортеров.

— Чего вы добиваетесь, Чарли? — спросил один журналист, видимо уполномоченный говорить от имени всех.

— Всего лишь небольшой рекламы для «Диктатора», — пошутил я.

Затем я рассказал им о своей встрече с президентом и упомянул, что мой фильм доставляет немало хлопот американскому посольству в Ар-

гентине, полагая, что это хороший материал для газет. Но они продолжали молчать.

— Что-то у нас ничего не получается, а? — улыбнулся я.

— Вот именно, — последовал ответ. — Вы скверно относитесь к нам — уехали и ничего не сообщили, а мы этого не любим.

Хотя я никогда не пользовался особыми симпатиями местных газет, эти слова все же удивили меня. Действительно, я уехал из Голливуда, не повидавшись с представителями прессы, так как опасался, что недружественно настроенные журналисты могут разругать фильм до того, как он будет показан в Нью-Йорке.

Я сказал репортерам, что у антифашистской картины есть могущественные враги даже в Америке и что во избежание риска я устроил просмотр для прессы в последний момент, перед самой премьерой.

Но мои слова не растопили лед враждебности. В газетах стали появляться всякие инсинуации. Однако, несмотря на враждебную кампанию, «Диктатор» продолжал побивать все рекорды сборов и в Англии, и в Америке.

Внезапно разнеслась трагическая весть о нападении японцев на Пирл-Харбор. Она ошеломила

Америку, и вскоре уже немало американских дивизий оказалось за океаном. Русские сдерживали гитлеровские орды под Москвой и призывали к немедленному открытию второго фронта. Рузвельт благожелательно относился к этому призыву. Но хотя профашистские элементы в стране теперь притаились, воздух был отравлен их ядом. Чтобы поссорить нас с русскими союзниками, они использовали любые средства, распространяли самую злобную пропаганду. «Пусть и те и другие истекут кровью, а мы тогда подоспеем к разделу добычи», — говорили они. В ход шли всевозможные увертки, лишь бы предотвратить открытие второго фронта. Каждое утро приносило вести о страшных потерях русских. Дни складывались в недели, недели — в месяцы, а нацисты все еще были под Москвой.

Комитет помощи России в войне в Сан-Франциско попросил меня выступить на митинге вместо заболевшего Джозефа Э. Девиса, бывшего американского посла в России. Я согласился, хотя меня предупредили буквально за несколько часов. Митинг был назначен на другой день, и я тотчас сел в вечерний поезд, прибывавший в Сан-Франциско в восемь утра.

Весь мой день был уже расписан комитетом по

часам: здесь — завтрак, там — обед. Не оставалось даже времени, чтобы обдумать речь.

Зал, вмещавший десять тысяч зрителей, был переполнен. На ецене сидели американские адмиралы и генералы во главе с мэром города Росси. Речи были весьма сдержанными и уклончивыми. Мэр, в частности, сказал:

— Мы должны считаться с тем фактом, что русские — наши союзники. — Далее он всячески старался преуменьшить трудности, испытываемые русскими, избегал хвалить их доблесть и не упомянул о том, что они стоят насмерть, сдерживая натиск двухсот гитлеровских дивизий.

«Наши союзники — не больше чем случайные знакомые» — вот какое отношение к русским почувствовал я в тот вечер.

Председатель комитета просил меня, если возможно, говорить не менее часа. Я оторопел. Моего красноречия хватало самое большее на четыре минуты. Но, наслушавшись глупой, пустой болтовни, я возмутился. На карточке, где было обозначено мое место за обеденным столом, я набросал четыре пункта своей речи и в ожидании нервно расхаживал взад и вперед за кулисами. Наконец меня позвали.

Я вышел в смокинге и с черным галстуком.

Раздались аплодисменты. Это позволило мне как-то собраться с мыслями. Когда шум поутих, я произнес лишь одно слово: «Товарищи!», и зал разразился хохотом. Выждав, пока прекратится смех, я подчеркнуто повторил:

— Именно так я и хотел сказать — товарищи!

Опять смех и аплодисменты. Я продолжал:

— Надеюсь, что сегодня в этом зале много русских, и, зная, как сражаются и умирают в эту минуту ваши соотечественники, я считаю за высокую честь для себя назвать вас товарищами.

Началась овация, многие встали.

— Я не коммунист, но я человек, и я знаю, что испытывает человек. Коммунисты не отличаются от других; когда теряют руку или ногу, им больно, как и нам, они страдают, как и мы, и умирают, как и мы. Мать коммуниста — такая же мать, как и другие. Когда она получает трагическое известие, что ее сын не вернется, она рыдает, как рыдают все матери. И не надо быть коммунистом, чтобы это понять. Надо быть человеком. Сейчас, в этот момент, русские матери рыдают, а их сыновья умирают…

Я говорил сорок минут, каждую секунду не зная, о чем буду говорить дальше. Я заставил моих слушателей смеяться и аплодировать, рассказывая

им анекдоты о Рузвельте и про свою речь в связи с выпуском военного займа в первую мировую войну — все получалось как надо.

— А сейчас идет эта война, — продолжал я. — И мне хочется сказать о помощи русским в войне. — Сделав паузу, я повторил: — О помощи русским в войне. Им можно помочь деньгами, но им нужно нечто большее, чем деньги. Мне говорили, что у союзников на севере Ирландии томятся без дела два миллиона солдат, в то время как русские одни противостоят двумстам дивизиям нацистов.

В зале наступила напряженная тишина.

— А ведь русские, — подчеркнул я, — наши союзники, и они борются не только за свою страну, но и за нашу. Американцы же, насколько я их знаю, не любят перекладывать свою ношу на чужие плечи. Давайте немедленно откроем второй фронт!

Поднялся дикий шум, продолжавшийся минут семь. Я высказал вслух то, о чем думали, чего хотели сами слушатели. Они не давали мне больше говорить, аплодировали, топали ногами, кричали и бросали в воздух шляпы. Когда публика наконец успокоилась, я сказал:

— Если я вас правильно понял, каждый из вас не откажется послать телеграмму президенту?

Будем надеяться, что завтра он получит десять тысяч требований об открытии второго фронта!

Несколько недель спустя меня попросили выступить по телефону на массовом митинге в Мэдисон-сквер. Я согласился, поскольку митинг созывался во имя той же цели всеми уважаемыми людьми и организациями. Я говорил четырнадцать минут, и впоследствии совет Конгресса производственных профсоюзов решил издать эту речь вместе с репортажем о митинге отдельной брошюрой. Привожу ее текст.

«Демократия восторжествует

или погибнет на полях

сражений в России»

Толпы народа, предупрежденные о том, что оратора нельзя прерывать аплодисментами, молча и напряженно слушали каждое его слово.

Четырнадцать минут слушали они великого артиста Америки Чарлза Чаплина, который говорил с ними из Голливуда по телефону.

Ранним вечером 22 июля 1942 года шестьдесят тысяч членов профсоюзов, гражданских и церковных организаций, различных общин и братств, а

также ветераны и другие лица собрались на митинг в нью-йоркском парке Мэдисон-сквер, чтобы поддержать призыв Франклина Д. Рузвельта о немедленном открытии второго фронта, который помог бы ускорить окончательную победу над Гитлером и странами «оси».

Погода была безоблачная. На трибуне рядом с американским флагом развевались флаги союзников, а над морем людей, забивших улицы вокруг парка, реяли плакаты с призывами поддержать предложение президента и немедленно открыть второй фронт.

Огромные толпы единодушно приветствовали каждое упоминание имени президента и наших героических союзников, храбрых воинов и народов Советского Союза, Англии, Китая. Затем последовало обращение Чарлза Чаплина, говорившего по междугородному телефону:

ВПОДДЕРЖКУ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
О НЕМЕДЛЕННОМ

ОТКРЫТИИ

ВТОРОГО ФРОНТА!

Парк Мэдисон-сквер, 22 июля 1942 года

«На полях сражений в России решает-

ся вопрос, восторжествует демократия или погибнет. Судьба союзников сейчас в руках коммунистов. Если Россия будет побеждена, весь Азиатский континент — самый большой и самый богатый на земном шаре — окажется во власти нацистов. А пока на Востоке практически распоряжаются японцы, нацисты имеют доступ ко всем запасам сырья, необходимого для ведения войны. Какие же шансы остаются у нас на победу над Гитлером?

Принимая во внимание трудности транспортировки, наши растянутые на тысячи миль коммуникации, проблемы стали, нефти и каучука, а также стратегию Гитлера „разделяй и властвуй“, мы окажемся в отчаянном положении, если Россия будет побеждена.

Кое-кто говорит, что это затянет войну лет на десять-двадцать. Я считаю подобных людей оптимистами. При таких условиях и перед лицом такого страшного врага наше будущее представляется мне почти безнадежным.

Чего мы ждем

Русским очень нужна помощь. Они просят нас открыть второй фронт. Среди союзников существуют разногласия относительно возможности немедленного его открытия. Нам говорят, что у союзников нет достаточных запасов для снабжения второго фронта. А вслед за тем мы слышим, что такие запасы имеются. Мы слышим также, что союзники не хотят сейчас идти на риск открытия второго фронта, боясь возможного поражения. Они не желают рисковать до тех пор, пока не будут полностью готовы.

Но можем ли мы позволить себе ждать до тех пор, пока будем полностью готовы и уверены в победе? Можем ли мы позволить себе роскошь играть наверняка? На войне не бывает гарантий. В данный момент немцы находятся в тридцати пяти милях от Кавказа. В случае потери Кавказа будут потеряны девяносто пять процентов русской нефти. Когда погибают десятки тысяч, а миллионы стоят у порога гибели, мы обязаны честно говорить то, что думаем, люди задают себе вопросы. Мы слышим о крупных экспе-

диционных силах, расквартированных в Ирландии, слышим о том, что девяносто пять процентов наших конвоев благополучно добираются до Европы и что два миллиона англичан, полностью снаряженных, рвутся в бой. Так чего же мы ждем в столь тяжкий для России час?

Мы имеем право знать правду

Официальным кругам Вашингтона и Лондона следует помнить, что цель этих вопросов — отнюдь не вызвать разногласия. Мы задаем их для того, чтобы покончить с неразберихой и упрочить единство наших рядов для окончательной победы. И каким бы ни был ответ, мы имеем право знать правду.

Россия сражается у последней черты. Но эта черта — и последний оплот союзников. Мы защищали Ливию и потеряли ее. Мы защищали Филиппины и другие острова на Тихом океане и потеряли их. Но мы не можем позволить себе потерять Россию, потому что там проходит последняя линия фронта защиты демократии. Когда рушится наш мир, наша жизнь,

наша цивилизация, мы обязаны пойти на риск.

Если русские потеряют Кавказ, это будет величайшим бедствием для дела союзников. И тогда остерегайтесь умиротворителей, они выползут из своих нор и станут требовать заключения мира с Гитлером-победителем и скажут: „К чему еще жертвовать жизнями американцев — мы можем договориться с Гитлером „по-хорошему““.

Берегитесь нацистской ловушки

Берегитесь нацистской ловушки. Нацистские волки напялят овечью шкуру. Они предложат нам выгодные условия мира, и, не успев опомниться, мы окажемся в плену нацистской идеологии. И тогда мы станем их рабами. Нацисты отнимут у нас свободу и будут контролировать наши мысли. Гестапо будет управлять миром. Они будут управлять нами и на расстоянии. Да, такой будет власть в будущем.

И если в руках нацистов окажется такая власть, любая оппозиция нацистскому

порядку будет сметена с лица земли. Прогресс человечества будет приостановлен. Права меньшинств, права рабочих, гражданские права — все это уйдет в прошлое. Если мы послушаемся умиротворителей и заключим мир с Гитлером-победителем, на земле воцарится его жестокий порядок.

Мы можем пойти на риск

Остерегайтесь умиротворителей, которые всегда появляются после беды.

Если мы будем бдительными и сохраним мужество, нам нечего бояться. Вспомните, именно мужество спасло Англию. И если нам удастся сохранить моральную силу, наша победа обеспечена.

Гитлер много раз шел на риск. И самым рискованным предприятием было его вторжение в Россию. Если он не прорвется этим летом на Кавказ, если ему придется еще одну зиму провести под Москвой, то пусть уповает на милость господню. Он рисковал всем и пошел на этот риск. Если Гитлер может рисковать, то и

мы можем! Давайте действовать! Больше бомб на Берлин! Дайте нам гидросамолеты „Гленн-Мартин“, чтобы разрешить проблему транспорта. А главное — немедленно откройте второй фронт!

Победить к весне!

Поставим себе целью добиться победы этой же весной. И те, кто на заводах и на полях, в военной форме, и вы, граждане мира, — давайте все работать и бороться во имя этого. Я обращаюсь и к вам, официальные представители Вашингтона и Лондона, пусть нашей целью будет победа к этой же весне!

Если мы будем работать с этой мыслью, жить с этой мыслью, она умножит нашу энергию и ускорит победу.

Давайте стремиться к невозможному! Вспомните, что все великие свершения в истории человечества были победой над невозможным».

После митинга в Сан-Франциско прошло много месяцев, а русские продолжали тщетно призывать нас к открытию второго фронта. Однажды я

получил приглашение из Нью-Йорка выступить в Карнеги-холл. Я посоветовался об этом с Джеком Уорнером[5]. Он загадочно покачал головой и сказал:

— Не ездите.

— Почему? — спросил я.

Ничего не объясняя, он лишь добавил:

— Позвольте мне вас предостеречь. Не ездите.

Его слова возымели на меня обратное действие. Мне был брошен вызов. В те дни уже не требовалось особого красноречия, чтобы привлечь симпатии американцев к открытию второго фронта: Россия только что одержала победу на Волге. И я уехал в Нью-Йорк, захватив с собой Тима Дьюрэнта.

В Карнеги-холл пришли Перл Бак, Рокуэлл Кент, Орсон Уэллес и многие другие знаменитости. Передо мной выступал Орсон Уэллес. Едва раздались выкрики оппозиции, как он, показалось мне, повел свое суденышко ближе к берегу. Он говорил о том, что не видит причин не выступить на этом собрании, поскольку дело идет о помощи русским в войне, а русские — наши союзники. Его речь была кашей без соли и только усилила

---

[5] Примечания: 5
Американский кинопродюсер.

мою решимость высказать всю правду. Я начал с упоминания о журналисте, обвинившем меня в том, что я хочу командовать в этой войне.

— Судя по ярости, с которой нападает на меня этот газетчик, — сказал я, — можно подумать, что ему просто завидно, так как он сам хочет командовать. Все горе в том, что мы с ним расходимся в вопросах стратегии — он не хочет открытия второго фронта в данный момент, а я хочу.

«На этом митинге между Чарли и его слушателями царила полная гармония», — писала «Дейли уоркер».

Разумеется, я испытывал удовлетворение, но вместе с тем меня мучили тревожные предчувствия. В результате выступлений за открытие второго фронта моя светская жизнь постепенно стала сходить на нет. Меня больше не приглашали проводить субботу и воскресенье в богатых загородных домах.

Я стал получать огромное количество писем с самыми разнообразными предложениями — читать лекции, вести дискуссии или выступать в защиту второго фронта.

Чувствуя, как меня засасывает мощный поток политической деятельности, я невольно задавал себе вопрос: что же меня к этому побудило? Гово-

рил ли во мне актер, которого подстегивает возможность непосредственного общения с живым зрителем? Решился бы я на столь донкихотский подвиг, не сделав перед этим антифашистского фильма? Думаю, что налицо имелись все эти элементы. Но самым сильным из них была моя ненависть и презрение к фашизму.

В Беверли-Хилз я продолжал работать над экранизацией пьесы «Призрак и действительность». Как-то ко мне пришел Орсон Уэллес и рассказал, что собирается ставить серию документальных фильмов. Героем одного из них должен был стать знаменитый убийца-многоженец француз Ландрю. Уэллес считал, что это была бы прекрасная драматическая роль для меня.

Я заинтересовался его предложением — в конце концов, перемена после комедий, не надо самому писать, играть и ставить, как я это делал уже в продолжение многих лет, — и попросил показать мне сценарий.

— Он еще не написан, — сказал Уэллес. — Но достаточно взять отчеты о процессе Ландрю — и сценарий готов. Я полагал, может быть, вы захотите участвовать в его создании.

— Если надо еще помогать писать сценарий, тогда меня это не интересует, — разочарованно

ответил я.

Но день или два спустя я вдруг подумал, что из истории Ландрю могла бы получиться великолепная комедия. Я тут же позвонил Уэллесу.

— Послушайте, мне пришла в голову мысль сделать на этом материале комедию. Она не будет иметь никакого отношения к вашему «документальному» Ландрю, но во избежание недоразумений я согласен уплатить вам пять тысяч долларов только за то, что вы подсказали идею.

Он начал мямлить и отнекиваться.

— Но ведь история Ландрю не выдумана вами или кем-нибудь другим, — сказал я. — Она доступна всем.

Поразмыслив, Уэллес согласился и попросил меня связаться с его адвокатом. Вскоре была заключена сделка: Уэллес получает пять тысяч долларов, а я освобождаюсь от каких бы то ни было обязательств. Уэллес принял условия лишь с одной оговоркой: он имеет право потребовать, чтоб я вставил в титры фильма надпись: «Сюжет подсказан Орсоном Уэллесом».

Увлеченный своим замыслом, я не задумался над оговоркой Уэллеса. Если бы я мог предвидеть, как он впоследствии станет этим злоупотреблять,

то, конечно, настоял бы, чтобы никаких дополнений в титрах не было.

Отложив экранизацию пьесы, я начал писать сценарий «Месье Верду» и уже работал над ним около трех месяцев, когда в Беверли-Хилз вдруг появилась Джоан Берри. Я распорядился не принимать ее ни в коем случае.

Все, что затем последовало, было не только мерзко, но и опасно. Берри ворвалась в дом, била стекла, угрожала меня застрелить и требовала денег. В конце концов пришлось вызвать полицию. Во избежание скандала полиция не стала предъявлять ей обвинение в бродяжничестве, попросив меня оплатить Берри обратный проезд до Нью-Йорка. Ее предупредили, что если она снова появится в окрестностях Беверли-Хилз, то будет арестована за бродяжничество.

Как-то жаль, что самое счастливое событие в моей жизни произошло вслед за этим омерзительным эпизодом. Но ведь так и бывает в жизни: после ночного мрака занимается заря, и с зарей восходит солнце.

Несколько месяцев спустя мне однажды позвонила Минна Уоллис, голливудский агент по найму киноактеров, и сказала, что на днях из Нью-Йорка приехала актриса, которая, по ее мне-

нию, может подойти для роли Бриджет, героини пьесы «Призрак и действительность», которую я собирался экранизировать. Сценарий «Месье Верду» шел у меня туго. В сообщении мисс Уоллис я усмотрел рекомендацию судьбы отложить работу над «Месье Верду» и вернуться к экранизации. Я расспросил поподробнее об актрисе. Мисс Уоллис сказала, что это — Уна О'Нил, дочь известного драматурга Юджина О'Нила. Лично я не был знаком с ним, но, вспомнив о мрачноватой серьезности его пьес, почему-то подумал, что дочь такого человека, вероятно, должна быть весьма унылым существом.

— А играть она умеет? — спросил я.

— Летом немного играла в театре на востоке, — ответила мисс Уоллис. — Снимите ее на пробу и посмотрите. Если же не хотите себя связывать, то приходите ко мне обедать, я приглашу ее.

Я приехал довольно рано и, войдя в гостиную, увидел молодую девушку, сидевшую у камина. Она была одна. Я представился, сказав, что, очевидно, имею честь говорить с мисс О'Нил. Она улыбнулась, и мои мрачные предчувствия сразу развеялись. Я был пленен ее сияющей прелестью и обаянием. В ожидании хозяйки дома мы непринужденно болтали.

Наконец появилась мисс Уоллис и представила нас друг другу. Обедали вчетвером: мисс Уоллис, мисс О'Нил, Тим Дьюрэнт и я. Хотя мы старались не говорить о делах, разговор все время вертелся вокруг них. Я упомянул, что героиня в «Призраке и действительности» очень молода, и мисс Уолисс как бы невзначай заметила, что мисс О'Нил немногим больше семнадцати. У меня упало сердце. Правда, роль требовала молодой исполнительницы, но образ был очень сложен, и я понимал, что тут нужна актриса постарше и поопытнее. С большой неохотой я отказался от мысли пригласить на эту роль мисс О'Нил.

Но когда несколько дней спустя мисс Уоллис позвонила мне, чтобы узнать, что я решил относительно актрисы, так как ею заинтересовалась кинокомпания «Фокс», я тотчас же подписал с мисс О'Нил контракт. Это положило начало тому полному счастью, которое длится уже двадцать лет и, надеюсь, продлится еще дольше.

Я закончил первый набросок сценария и уже готовился к съемкам. Если бы мне удалось передать в фильме редкостное обаяние Уны, «Призрак и действительность» имел бы огромный успех.

Как раз в этот момент в городе снова появилась Берри и заявила по телефону моему дворецкому,

что она на третьем месяце беременности и осталась без средств — но ни словом не упомянула о предполагаемом отце ребенка. Поскольку меня это ни в коей мере не касалось, я сказал дворецкому, что, если она опять вздумает ворваться ко мне в дом, я вызову полицию, каким бы скандалом мне это ни грозило. Однако на следующий же день Берри с самым беззаботным видом начала прогуливаться возле моего дома. Очевидно, она действовала по заранее обдуманному плану. Впоследствии выяснилось, что какая-то журналистка, специализировавшаяся на статейках по вопросам морали, посоветовала ей устроить так, чтобы ее арестовали возле моего дома. Я вышел на улицу и предупредил Берри, что, если она немедленно не уйдет, я буду вынужден вызвать полицию. Но она только рассмеялась. Не желая дольше терпеть этот шантаж, я велел дворецкому позвонить в полицию.

Через несколько часов газеты уже пестрели крупными заголовками. Меня пригвоздили к позорному столбу и облили помоями: Чаплин, отец неродившегося ребенка, добился ареста матери, которую оставил без средств к существованию. Неделю спустя мне предъявили иск о признании отцовства. Я обратился к своему адвокату Лойду

Райту, объяснив ему, что порвал всякие отношения с Берри более двух лет назад.

Зная о моем намерении приступить к съемкам «Призрака и действительности», Райт деликатно посоветовал мне отложить их, а Уну на время отослать в Нью-Йорк. Но мы не последовали его совету — поступать в зависимости от очередной клеветы газет было противно. Еще прежде я просил Уну стать моей женой, и теперь мы решили, что нам следует обвенчаться немедленно же.

Зарегистрировав наш брак в Керпинтерии, тихом маленьком селении в пятнадцати милях от Санта-Барбары, мы сняли неподалеку домик и прожили в нем два месяца.

В Лос-Анджелесе нас ждали неприятные известия от моего друга Мерфи, члена Верховного суда Соединенных Штатов. Он сообщил, что слышал за обедом, на котором присутствовали влиятельные лица, как кто-то из них сказал, что они «доберутся до Чаплина». «Если у вас будут неприятности, — писал Мерфи, — обратитесь лучше к малоизвестному скромному адвокату, только не к знаменитости».

Однако федеральные власти начали действовать лишь некоторое время спустя. Они встретили единодушную поддержку прессы, в

глазах которой я был гнуснейшим злодеем.

А пока мы готовились к процессу. Поскольку он касался гражданского иска о признании отцовства, федеральные власти не имели к нему никакого отношения. Лойд Райт предложил мне потребовать проверки группы крови, которая могла бы неопровержимо доказать, что я не являюсь отцом ребенка Берри. Райт договорился с ее адвокатом о следующих условиях: если я дам Джоан Берри 25 000 долларов, она согласится на проверку групп крови и в случае благоприятного для меня результата анализа откажется от своего иска. Я ухватился за это предложение. Однако шансов на благоприятный результат было мало, потому что одна и та же группа встречается у очень многих людей.

Сразу после рождения ребенка Берри большое жюри[6] по инициативе федеральных властей начало расследование и допрашивало Берри с явным намерением привлечь меня к ответственности. Друзья посоветовали мне обратиться к Гизлеру, известному адвокату по уголовным делам, что я и сделал, вопреки совету Мерфи. Это было, конечно, ошибкой, так как могло показать-

---

[6] Примечания: 6
Совет присяжных, решающий вопрос о подсудности данного дела.

ся, что мне грозят серьезные неприятности. Лойд Райт договорился о встрече с Гизлером. Оба адвоката слышали, что меня собираются обвинить в нарушении закона Манна.

Федеральные власти иногда прибегали к такому «законному» шантажу, стремясь дискредитировать политического противника. Закон Манна запрещал перевозить публичных женщин из одного штата в другой с целью проституции. После запрещения публичных домов закон устарел, но им продолжают пользоваться для расправы с неугодными лицами. Если, например, разведенные супруги вместе переедут границу штата, а потом проведут вдвоем ночь, муж окажется повинным в нарушении закона Манна и может быть приговорен к тюремному заключению сроком до пяти лет. Именно опираясь на этот призрачный закон, правительство Соединенных Штатов предъявило мне обвинение.

Было состряпано и другое обвинение, которое основывалось уже на таком фантастически устарелом параграфе, что в конце концов правительство само от него отказалось. Райт с Гизлером согласились, что оба обвинения нелепы и что добиться моего оправдания будет нетрудно.

Большое жюри начало расследование. Я был

уверен, что вся их затея провалится: ведь Берри, насколько мне было известно, ездила в Нью-Йорк и обратно в сопровождении своей матери. Однако несколько дней спустя ко мне явился Гизлер.

— Чарли, вам предъявлено обвинение по всем пунктам, — сказал он. — Обвинительный акт мы получим позднее. Я сообщу, когда будет назначен предварительный разбор дела.

То, что произошло в последующие недели, напоминало рассказ Кафки. Я изо всех сил боролся за свою свободу. Признание виновным по всем пунктам грозило мне двадцатью годами тюрьмы.

После предварительного слушания дела репортеры и фотографы развили бешеную деятельность. Они ворвались в кабинет федерального судебного исполнителя и, несмотря на мои протесты, сфотографировали меня в тот момент, когда у меня снимали отпечатки пальцев.

— Они имеют на это право? — спросил я.

— Нет, — ответил судебный исполнитель. — Но с ними невозможно справиться.

И это говорил правительственный чиновник.

Наконец врачи разрешили взять кровь на анализ у ребенка Берри. Взяли кровь у Берри и у меня.

Часа через два мне позвонил адвокат и радостно сообщил:

— Чарли, вы оправданы. Анализ показывает, что вы не могли быть отцом ребенка!

— Вот оно, возмездие! — сказал я с чувством.

Хотя результаты анализов крови поставили федеральные власти в затруднительное положение, дело прекращено не было. Приближался день суда, и мне приходилось проводить долгие, тоскливые вечера у Гизлера, вспоминая детали моих встреч с Джоан Берри. В это время я получил из Сан-Франциско очень важное письмо от одного католического священника, писавшего, что, по его сведениям, Берри является орудием фашистской организации и что он готов приехать в Лос-Анджелес, чтобы дать показания. Но Гизлер сказал, что это не имеет отношения к предъявляемым мне обвинениям.

Суд продолжался несколько дней. В качестве свидетелей вызвали Поля Гетти, приятеля Джоан Берри, двух молодых немцев и других ее поклонников. Поль Гетти признал, что в прошлом был в близких отношениях с Джоан Берри и давал ей деньги. Очень важное значение имели ее письма ко мне, в которых она просила прощения за все причиненные неприятности и благодарила меня

за доброту и щедрость. Гизлер пытался приобщить письма к делу, но суд возражал против этого. Мне думается, Гизлер не проявил достаточной настойчивости.

Защитой были представлены доказательства того, что одну из ночей, предшествовавших вторжению Берри в мой дом, она провела в квартире свидетеля — молодого немца, который подтвердил это.

Наконец разбирательство закончилось. Обвинитель и защитник потребовали по два с половиной часа для выступления. Я не представлял себе, о чем они будут говорить так долго.

Присяжные совещались более трех часов. Без четверти пять раздался звонок, возвестивший, что они наконец договорились. У меня забилось сердце, но Гизлер, когда мы входили в зал, торопливо шепнул:

— Будьте сдержанны, каким бы ни был приговор.

Зал суда быстро наполнялся, напряжение росло. Не знаю почему, но я был почти спокоен, хотя сердце бешено колотилось.

Секретарь суда трижды стукнул молотком — это означало, что суд идет, и все встали. Вошли присяжные, и старшина протянул вердикт секре-

тарю суда. Гизлер сидел, опустив голову, и нервно бормотал себе под нос:

— Если признали виновным — это будет самой большой судебной ошибкой, с какой мне когда-либо приходилось встречаться!

Секретарь прочитал обвинение, снова трижды постучал молотком и среди мертвой тишины объявил:

— Чарлз Чаплин, уголовное дело за номером 337068… По первому пункту обвинения… — последовала долгая пауза… — не виновен!

Публика охнула, и тотчас воцарилось напряженное молчание.

— По второму пункту обвинения… не виновен!

В зале началось настоящее столпотворение. Я даже не подозревал, что у меня так много друзей, кто-то, перепрыгнув через барьер, обнимал и целовал меня.

Тут ко мне обратился судья:

— Мистер Чаплин, вы можете покинуть зал суда. Вы свободны.

Он пожал мне руку и поздравил, то же самое сделал прокурор.

Дня через два Лион Фейхтвангер сказал мне шутя:

— Вы единственный актер, который войдет в

историю Америки как человек, вызвавший политическую бурю в стране.

Занятый судебным процессом, я все это время уделял мало внимания делам «Юнайтед артистс». Мой адвокат сообщил мне, что дефицит компании достиг миллиона долларов. Акционеры «Юнайтед артистс» начали продавать свои акции компании, что почти исчерпало весь наш наличный капитал. Совершенно неожиданно для себя я вдруг оказался владельцем половины акций. Другая половина принадлежала Мэри Пикфорд. Она прислала мне тревожное письмо, сообщая, что все банки отказывают нам в кредитах. Меня это не слишком обеспокоило — нам и прежде случалось быть в долгу, но фильм, пользовавшийся успехом, всегда выводил компанию из затруднений. А я только что закончил «Месье Верду», который, по моим расчетам, должен был дать огромные сборы.

В Голливуде я устроил закрытый просмотр фильма для моих друзей. Когда картина кончилась, Томас Манн, Лион Фейхтвангер и многие другие встали и больше минуты стоя аплодировали.

Уверенный в успехе фильма, я поехал в Нью-Йорк. Но по приезде меня сразу атаковала газета

«Дейли ньюс»:

«Чаплин прибыл на премьеру своего фильма. Пусть только этот „попутчик красных“ после всех своих подвигов посмеет устроить пресс-конференцию — уж мы зададим ему кое-какие неприятные вопросы».

Отдел рекламы «Юнайтед артистс» сомневался, нужно ли мне встречаться с представителями американской прессы. Я был возмущен гнусной заметкой, тем более что накануне меня очень тепло, даже восторженно приняли иностранные корреспонденты. К тому же я не из тех, кого можно запугать.

Наутро мы сняли в отеле зал для встречи с американскими журналистами. Я появился после того, как подали коктейли. Ощутив атмосферу недоброжелательства, я как можно веселее и непринужденнее сказал:

— Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я готов сообщить вам все, что вам угодно будет узнать о моем фильме и планах на будущее.

В ответ — гробовое молчание.

— Только не все сразу, — сказал я с улыбкой.

Сидевшая впереди женщина-репортер спросила:

— Вы коммунист?

— Нет, — ответил я твердо. — Следующий вопрос, пожалуйста.

Послышался чей-то бормочущий голос. Я подумал было, что это мой «приятель» из «Дейли ньюс», однако он блистал своим отсутствием. Оратор оказался довольно неопрятным на вид субъектом, не потрудившимся даже снять пальто. Низко наклонившись, он читал вопрос по бумажке.

— Извините, — прервал я его, — вам придется все это прочитать еще раз: я не разобрал ни слова.

— Мы, католики, ветераны войны... — начал он.

Я снова перебил его.

— Не понимаю, при чем тут католики — ветераны войны. Здесь пресс-конференция.

— Почему вы не стали гражданином Соединенных Штатов? — раздался другой голос.

— Не вижу причин к тому, чтобы менять свое подданство. Я считаю себя гражданином мира.

Поднялся шум. Сразу заговорило несколько человек. Один перекричал остальных:

— Но деньги-то вы зарабатываете в Америке?

— Ну что ж, — сказал я, улыбаясь, — раз вы все переводите на коммерческую основу, давайте

разберемся. Моя деятельность интернациональна. Семьдесят процентов моих доходов поступает из-за границы, а Соединенные Штаты взимают с них сто процентов налогов. Как видите, я довольно выгодный гость.

Тут опять забормотал представитель Католического легиона:

— Где бы вы ни зарабатывали свои деньги, здесь или за границей, мы, кто высаживался с десантом на берегах Франции, все равно возмущены тем, что вы не стали гражданином США!

— Не вы один высаживались на тех берегах, — сказал я. — Два моих сына тоже были в армии генерала Паттона и сражались на передовой, но они не похваляются и не спекулируют этим, как вы.

— Вы знакомы с Гансом Эйслером? — спросил один репортер.

— Да, он мне близкий друг и замечательный музыкант.

— Вы знаете, что он коммунист?

— Меня это не интересует. Наша дружба основана не на политике.

— Но вам, кажется, нравятся коммунисты?

— Никто не смеет мне указывать, кто мне должен нравиться, а кто нет. Мы еще до этого не

дошли.

И вдруг в воинственно настроенной аудитории послышался голос:

— Что должен чувствовать художник, подаривший миру столько радости и обогативший его пониманием психологии маленького человека, когда этого художника подвергают оскорблениям и насмешкам так называемые представители американской печати?

Я настолько не ожидал услышать выражение какого бы то ни было сочувствия, что довольно резко ответил:

— Извините, я вас не понял. Повторите ваш вопрос…

Наш агент по рекламе, подтолкнув меня, шепнул:

— Он за вас, он замечательно сказал.

Это был Джим Эджи, американский поэт и романист, писавший в то время очерки и критические статьи для журнала «Тайм». Я растерялся.

— Простите, но я не расслышал. Будьте так добры, повторите, что вы сказали.

— Не знаю, сумею ли, — сказал он, смутившись, но повторил вопрос.

Я лишь покачал головой и сказал:

— Ничего не могу ответить… И благодарю вас.

Его дружеские слова лишили меня боевого задора.

— Извините, господа, — обратился я к аудитории, — мне казалось, что мы будем говорить о моем фильме, а вместо того началась политическая дискуссия, и я хотел бы кончить на этом.

После пресс-конференции мне стало не по себе — я отчетливо ощутил атмосферу враждебности.

И все-таки я не мог до конца этому поверить. Ведь столько чудесных писем прислали мне люди, посмотревшие «Диктатора». К тому же, как и весь персонал «Юнайтед артистс», я не сомневался в успехе «Месье Верду».

В Нью-Йорке фильм не сходил с экрана полтора месяца. Но вдруг сборы начали падать. Гред Сирс из «Юнайтед артистс» объяснил мне это следующим образом:

— Любой ваш фильм первый месяц будет давать большие сборы, пока его смотрит ваша старая публика. Потом приходит обычный зритель, и вот тут сказывается то, что печать уже лет десять непрерывно поносит вас, и сборы начинают падать.

— Но ведь обычный зритель тоже не лишен юмора? — сказал я.

— Смотрите! — он показал мне «Дейли ньюс»

и херстовские газеты. — А это читают по всей стране!

На фотоснимке в одной из газет я увидел пикетчиков нью-джерсийского Католического легиона перед зданием кинотеатра, где показывали «Месье Верду». В руках они держали плакаты:

«Чаплин — „попутчик красных“!»

«Вон из нашей страны чужака!»

«Чаплин слишком загостился у нас!»

«Чаплин — неблагодарный! Он прихвостень коммунистов!»

«Выслать Чаплина в Россию!»

* * *

Подготовка к съемкам «Огней рампы» заняла полтора года.

Когда фильм был окончен, я волновался за него меньше, чем за прежние свои картины. Друзья, для которых мы устроили первый просмотр, встретили «Огни рампы» восторженно. Мы с женой начали подумывать о поездке в Европу — Уне очень хотелось, чтобы дети учились там, подальше от голливудского окружения.

Я подал прошение о выдаче мне обратной визы на въезд в Америку, но в течение трех месяцев не получил никакого ответа. Тем не менее я про-

должал приводить в порядок финансовые дела, готовясь к отъезду. Все налоги были уплачены. Но когда налоговый департамент узнал, что я уезжаю в Европу, вдруг «обнаружилось», что я задолжал большую сумму. Мне поставили условие, чтобы я внес два миллиона долларов — в десять раз больше того, чем было необходимо. Я потребовал, чтобы дело немедленно передали в суд. В результате мы поладили на довольно скромной сумме. После этого я снова подал прошение о выдаче мне обратной визы и опять несколько недель напрасно ждал ответа. Тогда я послал письмо в Вашингтон, указывая, что уеду даже в том случае, если мне не дадут обратной визы.

Неделю спустя позвонил чиновник департамента иммиграции и попросил разрешения зайти ко мне, чтобы выяснить кое-какие вопросы.

— Пожалуйста, — ответил я.

Явились трое мужчин и женщина. У нее в руках была машинка для стенографической записи, а у мужчин — маленькие чемоданы, видимо, с магнитофонами. Старшим у них был высокий худой человек лет сорока, красивый и неглупый.

Я проводил их на веранду. Женщина поставила свою машинку на столик, мужчины уселись на диване. Старший вынул из портфеля объеми-

стое досье и начал просматривать страницу за страницей.

— Чарлз Чаплин — это ваше настоящее имя? — спросил он. — Да.

— А говорят, что ваше настоящее имя… — он назвал замысловатую неанглийскую фамилию, — и что вы родом из Галиции.

— Нет. Меня зовут Чарлз Чаплин, так же, как и моего отца, и родился я в Лондоне, в Англии.

— Вы утверждаете, что никогда не были коммунистом?

— Никогда. Я ни разу в жизни не вступал в какую-либо политическую организацию.

— Но вы произнесли речь, в которой обратились к слушателям со словом «товарищи». Что вы хотели этим сказать?

— Именно то, что сказал. Загляните в словарь. У коммунистов нет монополии на это слово.

Он продолжал допрос в том же духе и вдруг неожиданно спросил:

— Вы когда-нибудь совершали прелюбодеяние?

— Послушайте, — ответил я, — если вы ищите формального повода, чтобы не пускать меня обратно, скажите прямо, — я вовсе не желаю оставаться где бы то ни было в качестве «персона

нон грата».

— Что вы, что вы! — воскликнул он. — Просто мы всегда задаем этот вопрос при выдаче обратной визы.

— А как вы определяете слово «прелюбодеяние»? — спросил я.

Пришлось принести толковый словарь.

— Ну, скажем, «блуд с чужой женой», — уточнил он.

— Насколько мне известно, нет, — сказал я, подумав.

— Если бы наша страна подверглась нападению, вы пошли бы сражаться за нее?

— Конечно. Я люблю Америку, это мой дом, я прожил здесь сорок лет, — ответил я.

Допрос продолжался часа три. Неделю спустя меня пригласили в управление иммиграции. Мой адвокат настоял, что пойдет со мной — «на случай, если они захотят продолжить допрос».

Встретили меня как нельзя более сердечно. Глава управления, очень приветливый человек средних лет, сказал почти виноватым тоном:

— Мне очень жаль, что мы вас так задержали, мистер Чаплин. Но сейчас, после того как в Лос-Анджелесе создано отделение департамента иммиграции, мы сможем действовать гораздо

быстрее — не нужно по каждому поводу сноситься с Вашингтоном. Нам остается выяснить только один вопрос, мистер Чаплин, как долго вы собираетесь пробыть за границей?

— Не более шести месяцев, — ответил я. — Мы едем просто отдохнуть.

— Но если вы задержитесь, вам придется просить о продлении визы.

Он положил на стол какой-то документ и вышел из комнаты. Адвокат успел заглянуть в бумагу.

— Это она, — сказал он. — Ваша виза!

Шеф управления вернулся с авторучкой.

— Подпишите, пожалуйста, мистер Чаплин. Разумеется, вам еще надо получить проездные документы.

После того как я расписался, он ласково похлопал меня по плечу:

— Вот ваша виза. Хорошенько отдохните, Чарли, и поскорее возвращайтесь домой!

Это произошло в субботу, а в воскресенье утром мы собирались уехать поездом в Нью-Йорк. На всякий случай я хотел дать Уне доверенность на доступ к сейфу, в котором хранилось почти все мое состояние, Уна все откладывала подписание нужных документов в банке.

— До закрытия банка осталось только десять

минут, надо поторопиться, — сказал я.

Но именно такие дела Уна любила откладывать.

— А почему нельзя подождать, пока мы вернемся? — спросила она.

К счастью, я настоял на своем, иначе нам пришлось бы до конца жизни вести тяжбу, пытаясь выручить свое состояние.

На пароходе я почувствовал себя легко и спокойно. Необъятный простор Атлантики очищает душу. Я перестал быть легендой киномира, мишенью для злобных нападок и превратился в простого отца семейства, который едет отдыхать с женой и детьми.

На следующий день мы весело завтракали. Нашими гостями были Артур Рубинштейн с женой и Адольф Грин. Во время завтрака вдруг принесли радиограмму. Гарри Крокер, мой «пресс-атташе», хотел было положить ее в карман, но посыльный сказал: «Они ждут ответа по радио». Гарри молча прочел ее и сразу помрачнел. Извинившись, он вышел из-за стола.

Позднее, у себя в каюте, Гарри зачитал мне радиограмму. В ней говорилось, что въезд в Соединенные Штаты для меня закрыт, и прежде, чем я получу на него разрешение, мне предстоит

ответить комиссии департамента иммиграции на ряд обвинений политического характера и на обвинение в моральной распущенности. «Юнайтед пресс» спрашивает, не желаю ли я выступить по этому поводу с каким-нибудь заявлением.

Мои нервы натянулись до предела. Мне было безразлично, вернусь ли я в эту злосчастную страну или нет. Я с удовольствием ответил бы им, что буду только рад не дышать больше этим воздухом, отравленным ненавистью, что я уже сыт по горло оскорблениями Америки и ее ханжеством и что вообще все это мне осточертело. Но все мое состояние оставалось в Штатах, и я с ужасом думал, что там сумеют найти какой-нибудь предлог его конфисковать. Теперь от них можно было ожидать любых, самых беззаконных действий. Учитывая это, я в напыщенной форме заявил, что, разумеется, вернусь и отвечу на все предъявленные мне обвинения и что обратная виза была, вероятно, не «клочком бумаги», а документом, с полным доверием выданным мне правительством Соединенных Штатов, — и так далее и тому подобное.

С этой минуты отдых кончился. Со всех концов мира газеты слали мне радиограммы, прося высказаться. В Шербуре на борт поднялось свыше

ста репортеров европейских газет, требовавших интервью. Условились, что после завтрака я побеседую с ними час в ресторане. Хотя все были настроены сочувственно, пресс-конференция вымотала меня предельно.

Нам предстояло решить множество задач, и прежде всего — вывезти из Штатов деньги. Для этого Уне пришлось лететь в Калифорнию и забрать то, что находилось в нашем сейфе. Через десять дней она вернулась.

Друзья спрашивали меня, чем я вызвал неприязнь американцев. Самым страшным моим грехом, видимо, было и остается то, что я никогда не следовал и не следую господствующему мнению, а полагаюсь на собственное суждение. Хоть я и не коммунист, я отказывался солидаризироваться с теми, кто их ненавидел. Разумеется, это раздражало многих, включая и членов Американского легиона. Я ничего не имею против этой организации — вернее, против тех целей, во имя которых она создавалась: такие меры, как билль о правах военнослужащих и установление других преимуществ для отставных солдат и нуждающихся детей ветеранов войны, замечательны и гуманны. Но когда легионеры под флагом патриотизма используют свое влияние для посягательств на

права других, они покушаются на самые основы американского строя. Такие «сверхпатриоты» могут образовать те ячейки, из которых в Америке вырастет фашистское государство.

Во-вторых, я выступал против комиссии по расследованию антиамериканской деятельности — само это название оскорбляло слух, давало возможность накинуть петлю на шею любого честного американца, если его мнение расходилось с официальным.

И, в-третьих, я не стал гражданином США. Однако многие американцы, работавшие в Англии, тоже не принимали британского подданства. Например, представитель фирмы «Метро—Голдвин—Майер» жил и работал в Англии больше тридцати пяти лет, не став британским подданным, и англичан это нисколько не волновало.

Мы начали порывать узы, еще связывавшие нас с Соединенными Штатами. Это заняло довольно много времени. Я поехал к американскому консулу и вручил ему свою обратную визу, заявив, что меняю местожительство.

— Вы не хотите возвращаться в Соединенные Штаты, Чарли?

— Нет, — ответил я почти сожалеющим тоном. — Я уже слишком стар, чтобы терпеть всю

эту чепуху.

Он не стал спорить и лишь заметил:

— Ну что ж, если захотите, всегда сможете вернуться, получив обычную визу.

Улыбнувшись, я покачал головой:

— Я решил навсегда поселиться в Швейцарии.

Мы пожали друг другу руки и расстались.

Меня нередко спрашивают, скучаю ли я по Соединенным Штатам, по Нью-Йорку. Откровенно говоря — нет. Америка очень изменилась, а вместе с ней и Нью-Йорк. Гигантский размах промышленных предприятий, печати, телевидения и коммерческой рекламы сделал для меня неприемлемым американский образ жизни. Я предпочитаю простую тихую жизнь чванливым авеню с небоскребами, призванными служить вечным напоминанием о могуществе бизнеса.

Стив Нелсон
ТРИНАДЦАТЫЙ ПРИСЯЖНЫЙ
(Подоплека моего процесса)

— Нелсон! С вещами на выход! — раздался крик надзирателя в коридоре девятнадцатой линии тюрьмы Железного Города, где я находился с 26 июня 1952 года, с того самого дня, как судья

Монтгомери приговорил меня к двадцати годам тюремного заключения за «подстрекательство к мятежу».

Я не мог понять, что произошло. Судья распорядился держать меня в тюрьме графства на время рассмотрения апелляции, пока велась борьба за мое освобождение под залог. А теперь, ровно через шесть недель, мне говорят: «На выход?».

Когда я пришел на контрольный пост, стражник с другой стороны зарешеченной двери крикнул:

— Один на выход?

Дверь растворилась, и я со всем своим имуществом — это были главным образом письма друзей, книги и немного белья — вошел в «клетку».

Затем обыск. Каждый мельчайший предмет тщательно исследован, каждая книга перелистана от корки до корки, все швы прощупаны, все вывернуто наизнанку.

Один из тюремщиков, внимательно рассматривавший иностранные марки на конвертах, сказал:

— Австралия? Гм! Страна за железным занавесом… Вот откуда твои сторонники пишут письма!

— Посмотрите внимательнее — марка-то австралийская.

— А я что говорю? Австралия. За железным занавесом.

Слишком многое происходило вокруг, чтобы вступать с ним в спор. Движение в обе стороны было прекращено. Начальник тюрьмы, крупный седой мужчина, бывший конный полицейский, который в начале тридцатых годов избивал забастовщиков и безработных, с важным видом «отдавал распоряжения»: нужно было показать присутствующим репортерам и фотокорреспондентам, как он обращается с «опасным преступником».

— Стой! — закричал он тюремщику, который собирался отпереть внутреннюю дверь и прийти к нему на помощь. — Дверь держать на запоре! Никого не впускать и не выпускать!

Затем он стер с лица пот и посмотрел на наружную дверь, где стоял шериф со своими помощниками. Наконец он подошел проверить документы, которые шериф вытащил из внутреннего кармана и положил на стойку. Покончив с проверкой документов, он пересек комнату и крикнул охранникам и помощникам шерифа:

— Все в порядке. Один на выход!

Помощники шерифа повторили:

— Все в порядке! Один на выход!

— Фамилия? — спросил часовой. Глупый вопрос, ведь со времени моего первого ареста, 31 августа 1950 года, я неоднократно попадал в эту тюрьму, где стражники уже называли меня просто по имени. Он повторил вопрос с циничной усмешкой.

— Нелсон, — ответил я.

— Полностью.

— Стив Нелсон.

— Все в порядке. Забирайте вашего человека, шериф.

Тут появились наручники: я уже было протянул руки, как вдруг помощник шерифа сунул их обратно в карман: главный помощник достал кожаный, скрепленный железными скобами ремень, шириной дюйма в четыре и толщиной в полдюйма, опоясал меня и защелкнул на запястьях наручники, висевшие на этом ремне. Смотритель и шериф сделали знак стражникам, стоявшим по обе стороны двери, и два огромных железных ключа заскрежетали в замках. Дверь открылась, и я с помощниками шерифа по сторонам спустился по гранитным ступеням на улицу как раз позади здания суда.

Сверкнули лампы. Защелкали затворы фотоаппаратов. Операторы телевидения включили свет, так как снаружи, перед тюрьмой Железного Города, было слишком темно для съемки. Десятки принадлежащих Меллону зданий нависали над судом графства, бросая вокруг свою тень.

У выхода на ступеньках собралась толпа, хотя обычно в этот час владельцы деловых контор и чиновники не показывались на улице. В том, что это за сборище, нельзя было ошибиться… Это были все те же, кого призывали судья Мусманно или Монтгомери, когда им надо было освистать меня или моих друзей, а то и банда, называющая себя «Американцы, борющиеся против коммунизма». Как это уже бывало, две старухи конторщицы из окружной налоговой канцелярии выкрикивали:

— Убирайся в Россию!

Я посмотрел на них в упор. Одна оглянулась, желая убедиться, видит ли ее хозяин, одобряет ли он ее поведение. Другая тоже подала голос:

— Коммунистическая собака, посмотрим, как тебе понравится в исправительной тюрьме. Это самое подходящее для тебя место!

Кричали и другие, но немногие. Я запомнил их, истериков в крахмальных рубашках, решивших, что это наилучший способ доказать свою

лояльность и американизм. Другие растерянно переминались с ноги на ногу. Один из знакомых мне репортеров смотрел перед собой остекленевшими глазами.

Машина шерифа тронулась с места первой. Заработали кинокамеры. Поперечное движение уличного транспорта было перекрыто. Гранитная тюрьма на Росс-стрит оказалась позади: мы направлялись в исправительную тюрьму в Блоноксе.

После короткого молчания помощник шерифа произнес:

— Вы ведь живете где-то здесь неподалеку, Стив?

— Да, — ответил я. — Вон там, на холме. Мы только что проехали школу, в которую ходят мои дети.

— Да? Какой позор! — И он отвернулся.

— Не исключено, что в этот самый момент, — продолжал я, — учитель рассказывает им, что в Корее мы воюем за демократию и свободу ради того, чтобы без страха думать и говорить все, что пожелаем.

Помощник шерифа промолчал. Я еще раз обернулся, чтобы бросить взгляд на дом, где жили мои жена и дети. Он стоял чуть-чуть за холмом,

как раз позади высоких зданий и деревьев. Рядом с нашим домом находятся водохранилище и старый железный флагшток. Я чуть не свернул себе шею, желая получше разглядеть его.

Вспомнилось, как однажды — не так давно это было — я сидел у водоема, наблюдая за Джози и Бобби, которые бегали наперегонки. После того как началась война в Корее, нам больше не пришлось там бывать. Так называемая Гражданская оборона подняла тревогу, как бы кто-нибудь не отравил водоем — в конце концов, надо же было внушить нам, что мы находимся «в состоянии войны»! В последний раз я видел водоем, когда уже был под судом. Но я еще не знал, что дорожка вокруг водохранилища стала «запретной зоной». Из маленькой сторожевой будки вышел человек и заорал на меня и детей:

— Эй вы, там! Стойте! Кто вы такие! Я могу забрать вас!

Мороз пробежал у меня по коже. Дети растерянно остановились: они знали этого человека, и он знал нас… Почему же и он тоже хотел «забрать меня»? Я и впрямь встревожился, поняв, как можно использовать эту ситуацию для того, чтобы быстро состряпать новое дело. Для этого надо было какой-нибудь газете или одному из

столпов местной организации «Американцев, борющихся против коммунизма» заявить, что я был «замечен слоняющимся вблизи резервуара городского водопровода». И если бы хоть один свидетель присягнул, что в эту ночь «кое-что» было обнаружено в водоеме, немедленно поднялся бы вой: «Шпион! Саботажник!» И — электрический стул… Беда заключалась в том, что подобные вещи были вовсе не кошмаром, а реальной действительностью сегодняшней Америки…

В конце мая, в полночь, после дня, проведенного в суде, я ехал на машине из Питтсбурга в Филадельфию, чтобы выступить там на митинге, организованном друзьями с целью сбора средств, необходимых для ведения первого процесса по обвинению Онды, Долсена и меня в подстрекательстве к мятежу.

Приближаясь к Филадельфии, я заехал навестить одного приятеля, и затем мы двинулись дальше. Вдруг авария: у меня все завертелось в голове, лицо залило кровью. Когда я очнулся в больнице, молодые врачи-практиканты готовили меня к операции. Кроме перелома ноги и колена, оказались сломаны четыре ребра и вывихнута левая рука! Пальцы онемели, голова кружилась и гудела. Мне рассказали, что прокурор Льюис

и его помощник изучают историю болезни и рентгеновские снимки и требуют, чтобы меня немедленно доставили в Питтсбург, — судебное разбирательство во что бы то ни стало должно продолжаться в понедельник, пусть я даже буду лежать на носилках. Эта настойчивость Льюиса и Мусманно скоро нашла свое объяснение: они были выдвинуты кандидатами на выборах, которые должны были состояться осенью. Мусманно баллотировался в Верховный суд штата, а Льюис — в суд графства. Они оба достигли своей цели, устраивая для этого процессы по обвинению в «подстрекательстве к мятежу», а также благодаря тому, что «охоту на ведьм» объявили девизом своей избирательной программы.

Проведя два месяца в больнице, я уже был в состоянии переехать в Филадельфию, в дом моего друга. Я должен был оставаться в Филадельфии до новой операции, которую сделал другой врач, применивший стальные гвозди, ввинчиваемые в кость, — они держали ногу на вытяжке. Колено же оперировали немедленно, чтобы не допустить окостенения. Нога требовала ежедневного наблюдения, что не давало мне возможности вернуться в Питтсбург, несмотря на неоднократные требования Льюиса, Мусманно, кровожадных

членов союза «Американцев, борющихся против коммунизма» и их друзей в прессе, на телевидении и радио.

В августе в филадельфийских квартирах очень жарко. Я был один в доме. Мои друзья ушли на работу. Маргарет, перед тем как пойти за покупками, растворила окно настежь в надежде, что хоть легкий ветерок проникнет в душные комнаты. Она еще не вернулась, как кто-то постучал в дверь. Я пластом лежал в постели. Моя правая нога в металлической шине была подвешена так высоко, что я не мог двинуться. Натянув на себя простыню, я сказал:

— Войдите!

Дверь отворилась, и в сопровождении двух неизвестных мне рослых мужчин в комнату вошел — кто бы вы думали? — Мусманно собственной персоной! Оглядевшись, он увидел, что я один, и, ухмыляясь, подошел ко мне. У него хватило наглости спросить:

— Как себя чувствуете, Стив?

— Что вам здесь нужно? Какое право вы имели войти в этот дом?! — закричал я.

— Пришел выяснить, скоро ли вы явитесь в суд.

— Убирайтесь отсюда! — воскликнул я, пытаясь

дотянуться до костылей.

Он выбежал из квартиры, даже не оглянувшись. Один из сопровождавших его людей остался в комнате.

— Я очень сожалею.

— О чем вы сожалеете и кто вы такой?

— Мне было приказано прийти сюда вместе с ним. Я городской сыщик, имею предписание всюду сопровождать его на время предвыборной кампании.

В этот момент началась гроза. Потоки дождя, подхваченного сильным ветром, заливали комнату. Видя мое беспомощное положение, сыщик произнес:

— Разрешите мне помочь вам закрыть окна... Поверьте, я действительно сожалею о случившемся.

Это потрясло меня: филадельфийский сыщик был смущен поведением члена Верховного суда штата! Шпик оказался порядочным человеком.

Надзор за моим филадельфийским местопребыванием был усилен. Агенты ФБР под разными предлогами появлялись у моих дверей. Мои друзья знали, что против меня затевается какая-то новая каверза. Но что им от меня нужно? Я все еще лежал почти без движения на спине, четырех-

дюймовые гвозди торчали из моих искалеченных ног. Я уже был обвинен в подстрекательстве к мятежу. Что же им еще надо?

Однажды утром двое довольно возбужденных молодых людей вошли в квартиру, когда я, пристроив сломанную ногу на столик, сидел и брился в ванной комнате. Без всяких предисловий один из них сунул мне под нос какую-то фотографию.

— Нелсон, вы знаете этого человека? — И пока я разглядывал карточку, он продолжал: — Это Джэксон, бежавший из заключения. Если вы знаете его местопребывание, значит, вы виновны в укрывательстве. Где он прячется?

— Вон отсюда, гады! Думаете, я с вами одной породы?

Должно быть, я кричал очень громко. Оба молодчика отступили из ванной и бежали, все же предварительно проверив, не скрывается ли кто-нибудь в стенном шкафу.

В тот же самый день в четыре часа сорок пять минут раздался стук в дверь. Мои друзья и Маргарет готовили обед, а я сидел в постели, дезинфицируя рану.

На этот раз шесть человек заполнили маленькую квартиру; все они держали руки в карманах, как гангстеры в кинофильмах. Один из них выта-

щил из кармана какую-то бумагу и сказал:

— Нелсон, вы арестованы по обвинению в нарушении закона Смита.

Они вывели меня через заднюю дверь. Пять машин с двадцатью агентами сорвались с места, увозя меня в канцелярию ФБР, расположенную неподалеку от здания муниципалитета.

Когда меня ввели в федеральное здание на Честнат-стрит, где судья должен был определить сумму залога, там уже были фэбеэровцы и Алесандрони — приятель Мусманно. Не моргнув глазом, судья определил «справедливый залог» — пятьдесят тысяч долларов, хотя до этого во время процесса, проводившегося на основе законов штата, залог уже был назначен в десять тысяч долларов.

Репортеры телевидения и газет вовсю щелкали своими камерами, пока я, опершись на костыли, стоял перед судьей.

Небольшого роста человек в шляпе техасского образца, в высоких сапогах подошел ко мне:

— Следуйте за мной, Нелсон. Я судебный исполнитель Соединенных Штатов. Мое имя Конвей. Я везу вас в Мэйомен-сингскую тюрьму.

В машине судебного исполнителя было включено радио. Обычная программа прерывалась

сообщениями о моем аресте.

Когда мы подъехали к тюремному зданию в южной части Филадельфии, выстроенному в 1859 году, была уже ночь, и я не увидел никого, кроме тюремщиков. Меня привели в маленькую низкую камеру, где уже сидело двое; они молча глазели на незнакомца, потревожившего их сон. Потолок в камере был сводчатый, выложенный кирпичом, как в старинных винных погребах. Тускло светила маленькая электрическая лампа. Тюремщик принес одеяло и мешок соломы вместо подушки; бросив все это на соломенный тюфяк, он сказал:

— Увидимся утром, приятель.

Лежа без дела в грязной камере, я стал испытывать зуд от стальных гвоздей в ноге и испугался осложнений. К счастью, Маргарет и несколько друзей знали о моем бедственном положении.

Был подан протест, который возымел силу, и меня перевели в «больницу», где я провел еще целую неделю, пока друзьям не удалось вырвать меня из тюрьмы под залог.

Я должен был предстать перед судом в Питтсбурге 28 сентября, ровно через четыре месяца после автомобильной катастрофы.

Все попытки найти для меня защитника

провалились. Жена и друзья посетили более восьмидесяти адвокатов в Питтсбурге, но все они отказывались: «Очень занят», «Не занимаюсь уголовными делами», «Не могу пойти на жертву»…

Вернувшись в Питтсбург, я сам посетил многих юристов — не менее двадцати пяти — и написал еще пятидесяти другим в Филадельфию, Нью-Йорк, Чикаго, Калифорнию, Вашингтон и в Западную Виргинию. Кто-то сказал мне об одном адвокате, который мог бы взяться за мое дело. Его контора помещалась во внушительном здании, неподалеку от суда. Хотя я предварительно созвонился с ним по телефону, мне пришлось долго ждать, пока он принял меня. Его библиотека состояла из тысяч законоведческих книг; стоявшие вдоль стен длинные полки были набиты до самого потолка. От нечего делать я порылся в книгах. Судя по пыли, которая их покрывала, они служили лишь для того, чтобы «производить впечатление на клиента». На стене висели портреты Линкольна, Эрскина, Джефферсона и нескольких местных судей, включая Мусманно. Тут была и медная плита с изречением: «Я могу не соглашаться с тем, что вы говорите, но буду бороться насмерть за ваше право говорить это». Но вот наконец меня пригласили в кабинет. Я

вежливо приветствовал адвоката, с которым несколько раз случайно встречался, и замолк в ожидании, что он предложит мне сесть. Вместо этого он произнес:

— Нелсон, я знаю, чего вы хотите. Но не стоит об этом говорить. Я не могу помочь вам. Слишком занят. Кроме того, я не принесу вам никакой пользы.

— В таком случае… — на мгновение я растерялся. — В таком случае не можете ли вы указать, к кому мне обратиться?

— Нет, не могу. Никто не захочет рисковать своей головой ради вас… Вы же сами знаете положение вещей. Люди настроены против ваших взглядов. Возьмите любую дюжину мужчин и женщин, посадите их на скамью присяжных — и они повесят вас.

Я стоял перед его столом, опираясь на костыли и посматривал на свободный стул, но он так и не предложил мне сесть.

— А как же мои права? — спросил я. — Я не требую, чтобы вы соглашались со мной, но требую, чтобы мне было позволено верить в социализм и отстаивать свои взгляды, если я того пожелаю. Я не совершал никаких преступлений. И вы отлично знаете, что меня вообще не за что отдавать под

суд. Но раз уж меня будут судить, я хочу осуществить эффективную защиту. Я хочу разоблачить моих преследователей. Хочу разоблачить судью и обвинителя, которые оболгали и оклеветали меня с целью добиться политической власти. Я не ищу такого защитника, который соглашался бы с моими взглядами. Я хочу найти человека, который защищал бы меня в духе вольтеровских слов, выгравированных на плите, висящей в вашей библиотеке.

— Нелсон, я ничем не могу помочь вам. Я не желаю загубить свою практику. Будьте благоразумны. Нельзя быть юристом в этом городе и идти на неприятности с судьями, которые настроены против вас и ваших друзей. Кроме того, я уже не юнец. Раньше я, бывало, лез на рожон, но теперь я уже не тот глупый идеалист, каким был когда-то.

— Значит, нет никакого смысла продолжать разговор? Не так ли?

— Сожалею, но это именно так. Ничем не могу помочь.

Шли дни. Я продолжал посещать адвокатов в Питтсбурге и писать в другие города. Вот содержание письма, которое я разослал в разные места:

«Уважаемый сэр!

Я предан суду на основании закона штата Пенсильвания о подстрекательстве к мятежу в суде общинных тяжб в городе Питтсбурге. Выдвинутое против меня обвинение — „подстрекательство к мятежу“. Суд надо мной и моими двумя сообвиняемыми, Энди Онда и Джеймсом Долсеном, шел уже пятый месяц, когда я пострадал при тяжелой автомобильной катастрофе, в результате чего дело мое было выделено. Суд над моими сообвиняемыми продолжался и окончился их осуждением.

Из-за полученных травм, а также из-за юридического крючкотворства в связи с обвинением меня по закону Смита я не имел возможности подготовиться к процессу, начало которого назначено на 1 октября. Адвокат, который защищал нас, — мистер Джон МакТернан — на этот раз не имеет времени вести мое дело из-за обязательств, данных им прежде другим клиентам, поэтому я обращаюсь к Вам с надеждой, что Вы найдете возможность защищать мои интересы.

По моему мнению, дело, возбужденное

против меня, возникло из-за нынешней антикоммунистической истерии и из-за отрицательного отношения моей партии к войне в Корее. Нет нужды говорить, что я не совершал никакого преступления. Все материалы обвинения основываются лишь на том, что я „верил в определенные идеи“, „имел и читал определенные книги“, которые обвинение признало „подрывными“.

Надеюсь, что Вы как член адвокатуры Пенсильвании согласитесь вести мое дело. В случае Вашего отказа я окажусь в большой опасности, представ перед судом без защитника.

Если Вы заинтересуетесь моим делом, прошу сообщить мне по адресу: Айова-стрит, 3120, Питтсбург, либо по телефону: Музей 1–0197. Любое содействие с Вашей стороны будет высоко оценено мной.

Искренне Ваш

Стив Нелсон».

Наступило 3 декабря, день начала процесса, а я все еще был без адвоката и все еще чувствовал себя больным, и голова у меня раскалывалась

от боли.

Я рассказал об этом судье Монтгомери, хотя он и сам все знал, и попросил отложить слушание дела.

— И так уже было слишком много отсрочек, — отвечал маленький, кругленький судья. — Суд продолжается!

У судьи Монтгомери были свои веские основания для того, чтобы торопиться с процессом. Ему надо было успеть попасть в списки кандидатов в Верховный суд штата, а для этого он должен был закончить дело моим осуждением. Он только следовал примеру других официальных лиц, которые фигурировали в предыдущем моем процессе, таких, как судья Гантер, который стал членом высшей судебной инстанции; прокурор округа Рахаузер, ставший судьей графства; Лорин Льюис, который попал в судьи графства, а был обвинителем в моем первом процессе по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Но прежде всего Монтгомери следовал примеру Мусманно, который лично участвовал в налетах на помещение коммунистической партии, сам назначил Монтгомери судьей по этому делу и добился своего избрания в Верховный суд штата Пенсильвания сроком на двадцать лет

и с ежегодным окладом в 22 тысячи долларов! Этот мелкий политический выскочка не желал упустить СВОЕГО шанса.

Монтгомери твердо решил судить меня со всеми надлежащими атрибутами: двенадцать присяжных; Библия для принесения присяги осведомителями и шпиками; мрачный судебный зал с единственным для меня выходом — в тюрьму на весь остаток жизни! Зато никто не посмеет утверждать, что Нелсон не был судим, что американское правосудие не было равным и нелицеприятным «даже по отношению к коммунисту», как благоговейно заметила «Нью-Йорк таймс».

День был холодный и тоскливый. Питтсбург — некрасивый город. Когда мы прибыли, зал суда был почти пуст. Меня знобило, Маргарет тревожно поглядывала на меня. Я решил снова просить судью отсрочить суд и помочь мне найти защитника.

Но его ответ был прост:

— Никаких отсрочек.

И я сделал последний отчаянный шаг.

— Ваша честь, так как вы, очевидно, не верите тому, что я не могу найти себе защитника в этом городе, прошу вас дать мне список адвокатов, с

которыми бы я мог обсудить свое дело и выбрать одного из них для моей защиты.

Судья колебался и смотрел на прокурора.

— Хорошо, я назову вам имена четырех юристов. Можете повидаться с ними сегодня же и подготовиться к суду, который будет продолжен завтра утром.

Я запротестовал:

— Какой адвокат возьмется выступать завтра по моему делу? Если он вообще достойный адвокат, у него должны быть другие обязательства, которые он и не подумает нарушать ради того, чтобы взяться за мою защиту. Кроме того, ему надо ознакомиться с материалами дела, не так ли?

Судья сделал нетерпеливое движение:

— Больше я ничего не могу сделать. Один из помощников прокурора передаст вам список.

Имена этих адвокатов передал мне Джон Льюис — человек, только и мечтавший сделать себе карьеру на моем процессе.

«Все же лучше какой-нибудь адвокат, чем никакого», — думал я. В этот вечер мне пришлось здорово поработать. Я посетил адвокатов, упомянутых в списке, но они дали мне один и тот же ответ. Я был в отчаянии. За пятнадцать минут до начала слушания дела мне удалось поймать

в коридоре суда последнего адвоката из списка судьи. Это был человек лет тридцати, если не меньше, высокий, плотный, пахнущий помадой. Не успели мы поздороваться, как он спросил:

— Вы согласны платить пятьдесят долларов в день?

Я взглянул в его расчетливые глаза и вспомнил о его репутации. Он был хорошо известен в качестве «тюремного адвоката», который жил за счет отчаявшихся людей; паразит худшего сорта, он вымогал у заключенных любую сумму, начиная с десяти долларов, обещая добиться для них условнодосрочного освобождения. Но стоило ему только вырвать эти деньги, и он больше не показывался на глаза. Боксер Ник рассказывал мне, как этот тип выманил у него двести долларов, пообещав добиться для него досрочного освобождения, но только и сделал, что написал обычное заявление в комиссию, ведающую этими делами.

А теперь он хочет пятьдесят долларов в день!

Я спросил у него, приходилось ли ему когда-нибудь вести серьезные дела, читал ли он что-нибудь по обвинению в подстрекательстве к мятежу, знает ли он что-нибудь о законе, по которому меня собираются судить, и считает ли

он необходимым ознакомиться с материалами предыдущего процесса надо мной? Он увильнул от ответа на эти вопросы и только заявил, что за пятнадцать минут вполне успеет просмотреть обвинительный акт, на основании которого сможет затем действовать. Я сказал ему, что обвинительный акт занимает четырнадцать больших листов, напечатанных на мимеографе через один интервал.

— А знаете ли вы, — спросил я, — что оно содержит более тридцати четырех длинных выдержек из книг? Не должны ли вы ознакомиться с этими книгами и цитатами, прежде чем дать согласие на ведение дела?

— Что поделаешь, — отвечал он, — судья обязательно хочет продолжать процесс сегодня же утром.

— Это он вам так сказал? — в упор спросил я.

На мгновение тот растерялся, поняв, что совершил промах.

— В состоянии ли вы платить мне пятьдесят долларов в день? — снова задал он тот же вопрос.

— У меня нет ни цента, — отвечал я. — Мои друзья собирают деньги, чтобы помочь мне, но будь я проклят, если заплачу за веревку, на которой

меня хотят повесить!

Итак, мне предстояло быть своим собственным защитником. Всю прошлую ночь я знакомился со старыми судебными отчетами, пытаясь стать адвокатом до восхода солнца. Никогда ни один студент юридического факультета не зубрил так усиленно.

При моем последнем ходатайстве судья чуть не взорвался от ярости. Я потребовал, чтобы он отвел себя ввиду того, что не может разбирать мое дело: он слишком тесно связан с лицами, подстроившими мой арест и подготовившими мой процесс.

Я попросил судью рассказать, правда ли, что он один из основателей организации «Американцы, борющиеся против коммунизма», которая потребовала моего ареста и распространяла против меня различные вымыслы. Да, он признал, что является одним из должностных лиц этой организации, но «в настоящее время не находится при исполнении своих обязанностей» (он имел в виду время, когда находился в зале суда).

— Правильно ли, по-вашему, что вы ведете мое дело, несмотря на все указанные обстоятельства? — спросил я.

Он ответил, не моргнув глазом:

— Да, правильно. — И тут же благочестиво добавил, что сумеет судить меня по справедливости.

К счастью, я знал о Мусманно почти все. Знал, что он страшно эгоцентричен, что он написал книгу, в которой предлагал себя в качестве кандидата на пост президента. Знал, что он тщеславен до сумасшествия. В другой его книге о Германии он изображен на всех шестидесяти с лишним фотоснимках, помещенных в ней, включая фотографии, на которых был увековечен рядом с собакой Гитлера, а также вместе с его фотографом, шофером и секретарем.

Он был готов на все, лишь бы его фотография появилась в газете. Будучи судьей, он однажды приговорил самого себя к трем суткам тюрьмы за нарушение правил уличного движения.

Я знал также, что он восхвалял Муссолини и был очень огорчен, когда Рузвельт не сделал того, что ему предлагали Херст и Джон Фостер Даллес: не поддержал Гитлера и Муссолини против Советского Союза. В моем распоряжении было письмо, в котором Мусманно восхвалял фашистский режим в Италии в 1926 году.

Бесспорно, Мусманно был психически неуравновешенный человек, у него уже было однажды нервное расстройство. Когда тринадцать из

четырнадцати судей в графстве Аллегейни выступили против него — он слегка помешался.

Крайне беспринципный, лживый, он, не задумываясь, связывался с кем угодно ради получения временной политической выгоды. Он очень поверхностно мыслил, хотя и считал себя культурным человеком с литературным вкусом.

Несмотря на все это, я знал, что он опасен. Во-первых, он был в демократической партии все еще скрытым маккартистом с «профсоюзным» прошлым, и многие из тех, кто впоследствии понял, что он собой представляет, пока еще не раскусили его. Во-вторых, он пользовался поддержкой председательствующего судьи, который позволял ему говорить все, что угодно, в присутствии репортеров газет и радио, готовых разнести его ложь по всему миру.

Было бы недостаточно назвать его дураком и шутом. Я знал, что он вожак местных фашистов, которые используют «красную опасность» для более зловещих дел, чем данный процесс.

Я задал вопрос:

— С какой целью вы заходили в помещение коммунистической партии в июле 1950 года?

— Покупать литературу.

— Было ли это сопряжено с какими-либо за-

труднениями?

— Нет, — ответил он наконец после моих долгих стараний выжать из него этот простой ответ.

— Знали ли вы или не знали, что в течение восьми лет помещение коммунистической партии находилось напротив здания суда? — Чтобы услышать в ответ короткое «да» понадобилось почти полчаса.

Он называл эти помещения «тайными убежищами», но уже через двадцать минут признал:

— Нет, они не были тайными.

— Обнаружили ли вы какое-нибудь оружие в помещении коммунистической партии?

Он ответил:

— Да, помещение было заполнено оружием, потому что я рассматриваю эти книги как оружие.

Протестуя против этого ответа, я радовался, что свидетель попадается на приманку.

Вопрос: Одну минуту! Что следует понимать под словом «оружие»?

Ответ: Оружие — это предметы, которые причиняют вред и наносят ущерб другим людям, и я считаю, что эти книги гораздо более опасны, чем огнестрельное оружие!

После длительного препирательства, когда мне пришлось задать около пятнадцати вопросов,

Мусманно наконец признал:

— Я не видел там огнестрельного оружия.

Я спросил, не ездил ли он в фашистскую Италию для изучения юриспруденции. Разве он не мог изучать юриспруденцию в Соединенных Штатах? Разве здесь нет хороших правовых учебных заведений? Что можно подумать о человеке, который из Соединенных Штатов отправляется в Германию для изучения чего-либо в то время, когда там у власти Гитлер.

Судья № 2 протестует.

Судья № 1 принимает протест.

Судья № 3 начинает чувствовать себя неважно: ему не нравятся подобные вопросы. Но я не отступаю.

Судья № 1 активизируется, пытаясь столкнуть меня с дороги и закрыть мне рот.

Председатель суда: Погодите. Я не собираюсь судить здесь ни Муссолини, ни Гитлера, ни… какую-либо философию, касающуюся их, или то положение, которое было в тех странах.

Я настаиваю на том, что настоящий процесс представляет собой суд над моими политическими взглядами, в связи с этим я хотел бы выявить один очень важный пункт. Но я не могу этого сделать при тех ограничениях, которые прини-

маются в отношении меня… Свидетель, будучи в Италии, подцепил там фашистского клопа и теперь пытается расплодить этого клопа в Соединенных Штатах.

Свидетель просит у суда защиты, а я требую, чтобы к нему относились, как и ко всем прочим свидетелям. Выражение лиц трех судей не оставляло сомнения в том, что мои слова попадают не в бровь, а в глаз. Некоторые из присяжных были этим довольны, других же это задело за живое. Мне не удалось вернуться к вопросу об изучении свидетелем Мусманно права в Риме, и я забросал его вопросами относительно его деятельности в Италии. Как я ни пытался заставить свидетеля высказаться против фашистского режима, он всячески увиливал от этого.

Трудный был разговор о письме, появившемся в то время, когда Мусманно служил в оккупационных властях, и которое позже поместил в гринсбургской газете (штат Пенсильвания). Все сказанное в этом письме свидетельствовало о том, что для Мусманно фашисты были хороши, потому что они боролись с коммунизмом. Моим попыткам вывести его на чистую воду препятствовали судьи № 1 и № 2, которые изо всех сил старались защитить свидетеля и помочь ему вы-

путаться. Но несмотря на эту судебную блокаду, я загнал его в угол.

Теперь я перешел к книгам, автором которых был свидетель. Тут я хотел еще раз опровергнуть его утверждение, что он якобы является защитником демократии. На мой вопрос, сколько книг им написано, он ответил «семь».

Критиковал ли он хоть в одной из этих книг фашистские режимы Гитлера и Муссолини или фашизм вообще? У него никогда не было случая говорить об этом в своих книгах.

Имел ли он возможность, находясь в Италии, покупать или читать книги, которые предъявлены суду в качестве вещественных доказательств, например «Коммунистический манифест»?

Он пытался уклониться от ответа, ссылаясь на то, что бывал в Италии не один раз — в 1924 году и в 1925 году, когда учился там, и позже — во время второй мировой войны, когда был назначен военным губернатором одной из провинций.

Вопрос: Хорошо. Но я спрашиваю, имели вы возможность во времена фашистского режима, когда вы изучали римское право, свободно купить эту книгу (я держал перед ним «Коммунистический манифест») в Италии?

После долгих увертoк он сказал, что не знает, не

уверен, но осмеливается предполагать, что «она была нелегальна».

Вопрос: Иными словами, эти книги были нелегальны, и тот, у кого их нашли бы, попал бы в тюрьму?

Ответ: Ну, теперь вы просто строите догадки.

Вопрос: Я задаю вам вопрос.

Ответ: Не знаю.

Вопрос: Хорошо. Вы ответили, что не знаете.

Ответ: Совершенно верно.

Вопрос: Но во всех демократических странах, где существует свобода, эти книги общедоступны, все имеют право иметь их и все имеют право читать их. Верно?

Ответ: Я считаю, что Соединенные Штаты — демократическая страна, самая демократическая страна в мире.

Забавный образец изворотливости: его друзья, очевидно, решили, что он сразил меня своим ответом.

Я перешел к вопросам о законодательной деятельности и к законопроектам, которые, по утверждению свидетеля, он поддерживал. Мусманно расхвастался тем, что внес в законодательный орган штата законопроект о запрещении коммунистической партии и выступал с подобными же

проектами на съезде Американского легиона. Да, он боролся против коммунизма многие годы. Я дал ему поговорить, а потом задал вопрос.

Вопрос: Хорошо. За то время, что вы были законодателем, судьей или политическим деятелем, вносили ли вы законопроект о запрещении в нашей стране нацистского Бунда, ку-клукс-клана или фашистов?

Ответ: Довольно об этом. (Он замолчал и взглянул на судью № 2, словно говоря: «Протестуй».)

Судья № 2 в конце концов заявил протест. Судья № 1 поддержал его. Они назвали мой вопрос «слишком общим». Глядя на присяжных, я думал, что некоторые из них понимают причину уверток трех судей, и продолжал:

Вопрос: В то время, когда вы были членом законодательного органа в 1928–1931 годах, вносили ли вы законопроект о запрещении ку-клукс-клана, который был тогда весьма активен в штате Пенсильвания?

Судья № 2 заявил протест. Судья № 1 принял его.

Но, казалось, судья № 1 обеспокоен тем, что так грубо прерывает меня. Он сам спросил свидетеля:

— Вносили ли вы законопроект о запрещении

ку-клукс-клана, будучи членом законодательного собрания?

Ответ: Нет. Подобного законопроекта я не вносил.

После ряда вопросов он признал, что не вносил законопроектов против нацистского Бунда, фашистов или клана. Протокол ясно показывает это (с. 880–882), но он не может показать жалкого выражения лица свидетеля, когда я вырывал у него эти ответы. Передо мной стоял демагог, претендующий на то, что он «великий демократ», но изобличенный как друг итальянского фашизма, как человек, не ударивший палец о палец, чтобы обуздать разгул нацистского Бунда или клана.

В доказательство, что судья оказывает помощь обвинению, я привел увертки и попытки увильнуть от ответа на вопрос: «Кто назначил судью для председательствования в настоящем процессе?»

Этот вопрос отнял очень много времени. Действительно, я поднимал его четыре раза. Он занимает по меньшей мере пятьдесят страниц протокола, но если кто-либо из присяжных или из вышестоящих судебных инстанций захотел бы узнать, кто назначил Монтгомери, он не мог бы этого выяснить ни из ответа Мусманно, ни

из «объяснений» Монтгомери. Я понимал, что не могу заставить этих двоих признать простую правду, что Мусманно назначил судью Монтгомери. Поэтому я и возвращался к данному вопросу, как только мне нужно было выиграть время и когда я хотел скрутить хвост лжецу. Мне доставляло удовольствие видеть, какую тонкую юридическую работу проделывали эти двое ради того, чтобы прикрыть свою ложь; и при этом они сохраняли бесстрастные лица! В таких случаях мне лишь оставалось повторять: «И все же я не знаю, кто назначил председательствующего судью», — и они оба снова принимались «объяснять» при общем смехе всех умных и порядочных людей, присутствующих в зале суда.

Время от времени Монтгомери принимал мои протесты: это делалось им для того, чтобы выглядеть в протоколах «беспристрастным». Но в тех случаях, когда мои протесты действительно имели значение, он отклонял их. «Я отклоняю ваш протест или ваше заявление, но принимаю их во внимание», — говорил он. Еще один трюк! Для меня это звучало так: «Я перережу вам глотку, но, если вы пожелаете зашить ее, предоставлю вам это право».

Прокурор закончил свою обвинительную речь

типичной для Дня четвертого июля фразой. Он обратился к присяжным с призывом выполнить свой долг — спасти страну, спасти христианство. Приспешники обвинения как прежде, так и теперь находились в зале суда, реагируя на речь прокурора, как от них и требовалось. Монтгомери не делал попыток прекратить их вой, ни разу не произнес обычную судебную угрозу: «Очистить зал суда!» Только после того, как я выразил протест против этого грубого нарушения судебной процедуры, судья раскрыл рот и сказал:

— К порядку!

Когда закончилось выступление прокурора, рассчитанное на то, чтобы вызвать неистовство толпы, судья стал выносить определения, отклоняя все заявленные мной ходатайства. Множество незаконных материалов осталось в деле. Монтгомери нисколько не беспокоили «ошибки». Он хотел сперва перерезать мне глотку, а потом уж «пусть колесо правосудия займется ошибками».

В то утро, когда судья должен был выступать со своим напутствием к присяжным, зал суда был заполнен приблизительно равным числом друзей и врагов. В 9 часов 30 минут утра Монтгомери был готов начать, но один из присяжных

запаздывал. Я не знал, чем это объяснить. Он ежедневно присутствовал на заседаниях суда в течение всего длинного процесса, неделю за неделей, и никогда не опаздывал… И вот сегодня отсутствовал. Одно-единственное место на скамье присяжных оставалось незанятым.

После короткого ожидания судья Монтгомери жестом подозвал прокурора и меня.

— Один из присяжных до сих пор не пришел, — сказал он. — Как вы смотрите, джентльмены, на то, чтобы заменить его одним из двух запасных присяжных? Согласны? Вы согласны, мистер Серконе?

Вопросительно глядя на меня, они ожидали моего решения. Но вместо ответа я спросил судью:

— А где присяжный? Не пытались ли вы его найти?

— Нет, — несколько раздраженно отвечал судья, словно обидевшись на то, что я подсказывал ему, как он должен действовать.

Но я настаивал на том, чтобы Монтгомери приказал детективам отправиться на розыски отсутствующего присяжного, и подчеркивал, что имею право знать, почему присяжный не явился в суд. В сгущавшейся атмосфере вспыхнула эта стычка между судьей, обвинителем и

мной. Мы пикировались и прощупывали друг друга. Я все больше убеждался, что случилось нечто новое и зловещее, и все время задавал себе вопрос: «Почему они с такой готовностью хотят заменить неявившегося присяжного?» Разумеется, не потому, что этот присяжный согласен с обвинением. По испытанному и проверенному опыту я знал: что хорошо для обвинения, плохо для меня, — и потребовал, чтобы суд разыскал отсутствующего. Если человек мог и захотел все это время выполнять обязанности присяжного, если шесть или семь недель процесса он каждое утро без опоздания появлялся в суде, то ему должно быть предоставлено право явиться с опозданием на час или два, прежде чем выносить решение о его замене. К тому же мне это было отлично известно, никаких попыток разыскать его не предпринималось.

Наконец судья отдал распоряжение детективам отправиться на поиски. Через два часа детективы вошли в зал № 8 вместе с присяжным, которого мы ждали. При его появлении весь суд пришел в смятение. Почти все лицо присяжного было смазано йодом и переносица заклеена пластырем. Подбитые глаза нервно перебегали с судьи на обвинителя, с обвинителя на меня. Посовещавшись

с детективами, судья объявил, что присяжный попал «в небольшую аварию», но сейчас в полном порядке.

Теперь судья мог зачитать свое напутствие присяжным. Он принялся «объяснять закон» под таким углом, что перед присяжными оставался только один путь — осудить меня. Больше я ничего не мог поделать. Мне оставалось только предоставить судье закончить свою речь и ждать вердикта присяжных.

Наконец присяжные удалились на совещание. Мои друзья и я ждали. Время шло, а мы все еще смотрели на часы и на лампочку над дверью в совещательную комнату. Эта лампочка загорается, когда присяжные вынесут вердикт. Наступило четыре часа, время занятий в суде окончилось, а решения все еще не было. Судья предложил мне отправиться домой, с тем что он вызовет меня, когда вердикт будет вынесен.

В 9 часов вечера присяжные прервали совещание до утра. Многие друзья пришли к нам домой. Даже играя, дети прислушивались к разговорам взрослых. Их юные головки были полны судом. Уходя спать, они пожелали нам счастья. Бобби душили слезы, и он быстро взбежал по лестнице, чтобы не заплакать при всех. И он и Джози пони-

мали, что такое двадцать лет тюрьмы.

На следующее утро в 9 часов 30 минут мы позвонили судебному приставу и узнали, что совещание присяжных все еще продолжается. В полдень вердикт все еще не был готов. Мы отправились в суд, надеясь, что лампочка уже будет гореть над дверью в совещательную комнату присяжных…

Но этого не случилось. По мере того как тянулось время ожидания, наши надежды росли. Мы не осмеливались думать, что хотя бы один присяжный может обладать силой, достаточной для того, чтобы держаться… Но все может быть.

Судья вновь угрюмо предложил мне поехать домой. Но только мы успели добраться до дома, как раздался телефонный звонок. Звонил судья. Присяжные вынесли вердикт. Мы бросились в суд. К нашему удивлению, зал был переполнен. Все другие дела были отложены. Вошли присяжные. Я взглянул на них и понял, что надежды нет. Они глядели куда угодно, но только не в мою сторону.

Монтгомери попросил доложить о решении, и старшина присяжных выступил вперед:

— Виновен по всем пунктам.

Я потребовал, чтобы присяжные были опроше-

ны каждый в отдельности. Когда они отвечали один за другим, некоторые — тихо, некоторые — невнятно, в зале стояла такая тишина, какой мне никогда не приходилось здесь наблюдать. Я стоял перед присяжными, пока они отвечали. Произнося «виновен», кое-кто опускал голову. (Установленная формула была: «Виновен по всем пунктам».)

Когда последний присяжный сказал свое слово, я подошел вплотную к ним и воскликнул:

— Вы знаете, что я невиновен. Пусть это будет на вашей совести.

Судья побледнел. Он растерялся, впервые не зная, что ему делать. Это было большим нарушением со стороны обвиняемого: обращаться к присяжным после объявления вердикта.

Друзья не верили случившемуся. Присяжные вышли, некоторые ликуя, а другие с болью на лице и со слезами на глазах. Толпа была в напряжении, но не торжествовала. Стол прессы опустел: газетчики, которые провели за ним несколько недель, побежали сообщить большие новости, пожимая по пути руку прокурору.

Дик Грегори
ИЗ РЕЧИ В ЙЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Я пришел сюда не для того, чтобы убеждать вас. Я пришел, чтобы информировать вас. Не знаю, поймете ли вы меня. В конце концов, мне это безразлично. Я пришел сюда не для того, чтоб просить вас сделать что-то для облегчения участи негров или что-то сделать для меня лично. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что происходит в нашей стране.

По моему убеждению, проблема номер один, которая угрожает Америке, — это не проблема загрязнения воздуха, а проблема морального загрязнения. Давайте будем честными, хоть в этой аудитории, и признаемся, что Америка — расистская страна номер один. Не народ американский, а Америка, с ее социальным устройством, с ее официальной идеологией и официальной моралью. Эта расистская идеология и буржуазная мораль определяют и формируют американский образ жизни. Этот образ жизни привычен как воздух для одних и является повседневным кошмаром для других. Чтобы понять это, вам было

бы полезно быть вместе со мной в те дни, когда на глубоком юге страны мы боролись за допуск негритянских детей в белые школы.

Белые родители угрожали:

— Пусть только появятся эти черные около наших школ!

Нужно было преодолеть страх, показать, что мы не боимся. В конце концов, когда ты уговорил негритянскую семью отправить с тобой их ребенка в белую школу, ты считаешь это победой. Ты берешь шестилетнего малыша за руку, сажаешь его в машину и везешь к школе. Как ведут себя дети, когда они впервые едут в школу? Болтают о своих играх и приятелях? А ты? Ты думаешь о том, что, может быть, через полчаса ты умрешь на глазах у этого малыша.

У школы тебя останавливает полицейский:

— Куда ты прешь, ниггер?

Ты отвечаешь, что везешь ребенка в школу.

— Здесь нельзя останавливаться. Проваливай! — говорит полицейский.

И ты останавливаешь машину в нескольких кварталах и идешь к толпе белых, которая молча ждет тебя у школы. О, какой это длинный путь! Как тяжело даются эти последние метры, потому что чувствуешь, как в твоей ладони дрожит

рука примолкшего шестилетнего малыша. Ты чувствуешь, как потеет твоя ладонь, потому что ты видишь лица ждущих тебя людей, и ты уже знаешь, что сейчас произойдет.

Но первый удар наносят тебе не из толпы. Тебя бьют полицейские. Ты летишь от удара на асфальт, чувствуешь тяжесть ноги полицейского на твоей груди, видишь дуло карабина и слышишь шипение:

— Куда ты прешь, ниггер! Я выколочу мозги из твоей черной головы?

И тебе становится страшно. Да, тебе становится страшно.

Но через мгновение ты понимаешь, что это лишь всего-навсего твой черед умирать, и ты перестаешь бояться и даже успеваешь увидеть агента ФБР, делающего фотоснимки (которые никогда никому не понадобятся, вы знаете это так же хорошо, как и я). Ты перестаешь бояться смерти, но пугаешься еще сильнее от того, что не ощущаешь больше в своей ладони маленькой доверчивой руки шестилетнего малыша. Ты поворачиваешь голову в поисках своего маленького друга как раз вовремя, чтобы увидеть, как обломок кирпича бьет его по лицу.

Не обижайтесь на меня, мои юные друзья в этой

аудитории, если я скажу вам, что вы не знаете, что такое жизнь. Ваши головы полны историческими фактами и научными данными, но вы не узнаете, что такое жизнь, пока не увидите, как обломок кирпича, попавший в лицо шестилетнему ребенку, опрокидывает его на землю. Вам нужно видеть это, чтоб хоть что-нибудь понять. Вскочив на ноги, малыш бросается к толпе. Это его первая и естественная реакция. Он бежит под защиту взрослых. Но в ужасе отшатывается от них, когда они начинают кричать и плевать в его окровавленное лицо. И последнее, что вы успеваете увидеть перед тем, как вас бросят в полицейский фургон, — это белую женщину, мать, которая с искаженным от ненависти лицом бьет зонтиком обезумевшего от ужаса шестилетнего негритянского ребенка.

Вот, господа, через что прошли и что впитали в себя Стокли Кармайкл и Рэп Браун в то время, как вы безмятежно и счастливо сидели в своих лилейно-белых классах. Если бы вы прошли через все это, я уверен, что половина из вас покончила бы жизнь самоубийством, а другая половина вышла бы на улицы, чтобы перевернуть эту страну вверх дном и сжечь ее дотла…

Теперь я расскажу вам о прогрессе.

Да, о прогрессе, которым так любят хвалиться наши политиканы. У меня дома шестеро маленьких ребятишек. И каждый раз, когда мы ожидали прибавления семейства, я думал о прогрессе моего народа. Ведь еще сто лет тому назад негритянская женщина, почувствовавшая, что она носит под сердцем новую жизнь, становилась перед распятием Христа на колени и молила бога, чтобы ее ребенок родился калекой или уродом. Рядом с ней на колени становился ее муж, и они вместе страстно молились:

— Всемогущий бог, сделай так, чтобы наш сын родился хромым или горбатым. Ведь если он родится здоровым, сильным и красивым, его отберут у нас и продадут другому хозяину.

Милые девушки, сидящие в этой аудитории, будущие матери, если у вас есть воображение, помолитесь вот так хоть раз только для того, чтобы понять, о чем я говорю.

А когда негритянская женщина становилась матерью, ее первыми словами, первыми счастливыми словами, обращенными к отцу ее ребенка, были:

— Любимый, посмотри, всевышний внял нашим молитвам. Тебе не кажется, что у нашей малютки какая-то странная голова?

И они оба плакали от счастья, что их ребенок не будет продан в рабство чужому хозяину.

Так вот я сказал, что у нас шестеро детей, и мы с женой ни разу не возносили молитв, чтобы они родились уродами или калеками. Вот и весь прогресс за последние сто лет!

Впрочем, я не прав. Есть прогресс и в других областях. Вы, наверное, читали в газетах, что автомобильный король Генри Форд недавно принял на работу шесть тысяч негров. Принял без обычных экзаменов. Вы знаете об этих экзаменах. В течение полувека социологи всего мира писали, что благодаря этим хитрым экзаменам Форд держит негритянских рабочих вдали от своих станков. И вдруг Форд отменяет экзамены! Почему? Да потому, что пламя негритянских мятежей лизнуло стены его завода.

Вы говорите о том, что мятежи — это ужасно. Но послушайте, в течение 25 лет американские либералы безуспешно боролись за отмену позорных дискриминационных экзаменов у Форда. Мятеж в Детройте длился всего лишь шесть дней. По тысяче рабочих мест для негров на каждый день мятежа. Десятки убитых и тысячи раненых для того, чтобы были приняты на работу шесть тысяч негров. Это ли не прогресс!

Если говорить об Америке в целом, она представляется мне в целом в виде бездушного испорченного автомата. Он, этот автомат, забирает вашу жизнь, но ничего не выдает вам взамен. С автоматом у вас не может быть никаких душевных общений. Вы можете просить его о чем-нибудь, умолять, стоять перед ним на коленях, но он вас не слышит, не видит вас и не отвечает вам. Он остается автоматом, и ничем больше.

Представьте себе, что вы в аэропорту ждете посадки на самолет. Вам хочется курить. Вы подходите к автомату, опускаете в него 40 центов, но он отказывается выдать вам сигареты. Вы идете к билетной кассе и жалуетесь:

— Послушайте, я опустил деньги в автомат, но он, оказывается, испорчен.

— Я ничем не могу вам помочь, — отвечает кассирша, — я ведь только продаю билеты.

— Что же мне делать? — спрашиваете вы.

— Там на автомате написано, куда вам следует обратиться, — отвечает девушка.

Вы возвращаетесь к автомату и читаете: „Приветствуем вас в нашем чудесном городе! Чувствуйте здесь себя как дома! Если у вас возникли проблемы с автоматом, обратитесь в компанию

„Гиддингс Джонс“, город Канзас-Сити, штат Миссури“.

В это время вы слышите, как объявляют посадку на ваш самолет. Что вам остается делать с проклятым автоматом, который нагло ограбил вас? Только пнуть его ногой. Деньги он вам все равно не возвратит, но хоть какое-то удовлетворение от того, что вы пнули его, у вас появится.

Но теперь представьте себе, что это не вы пнули автомат, а он вас. И деньги забрал и ударил вас железной ногой в живот. Тогда вам уже никуда не захочется лететь. У вас появится желание выволочь эту машину на улицу и разбить ее на мелкие кусочки.

Так вот я вам говорю, что Америка — бездушный испорченный автомат. Мы бросили в него не 40 центов. О нет! Мы бросили в него несколько веков нашей жизни, а взамен получили нескончаемые удары железной автоматической ноги. Мы тысячи раз обращались в кассу, жаловались на бездушие автомата, а нас то и дело отсылали к таинственной фирме „Гиддингс Джонс“ в далеком городе Канзас-Сити.

Теперь нашему терпению пришел конец. Мы никуда не хотим лететь. Мы собираемся вытащить этот проклятый автомат на улицу и разбить

его на мелкие куски. Вот что мы собираемся сделать! И это будет прогрессом. Поверьте мне, это будет прогрессом!»

Джеймс Болдуин
ИМЕНИ ЕГО НЕ БУДЕТ НА ПЛОЩАДИ

После смерти Мартина[7] в Мемфисе и того необычайного дня в Атланте что-то во мне переменилось, что-то исчезло. Возможно, даже больше, чем сама его смерть, то, как он умер, принудило меня вынести человеческой жизни и людям приговор, которого я прежде не желал выносить. И я отдаю себе отчет, что мой жизненный стиль, как его видят лица осведомленные, во многом определялся именно этим нежеланием. Увы, неоспоримо, что большинство людей, когда доходит до дела, стоят немногого, и тем не менее каждый человек — это неповторимое чудо. И пробуешь относиться к ним, как того заслуживает чудо, и в то же время уберечь себя от этого

[7] Примечания: 7

Мартин Лютер Кинг — лидер движения за гражданские права в США, лауреат Нобелевской премии мира (1964), убитый расистами в Мемфисе 4 апреля 1968 г. На протяжении 50-х и 60-х годов Болдуин неоднократно выступал в поддержку проповедовавшейся Кингом доктрины ненасильственных действий как единственного пути решения расового конфликта в США.

живого воплощения беды и несчастья. Тут можно заметить сходство с той действенной верой, которой требовали все эти походы и петиции, когда Мартин был еще жив. Казалось, американцы уже не способны были ввести тебя в заблуждение, и ты уже не осмеливался ничего ожидать от огромной, необъятной безликой обобщенности. И тем не менее ты был вынужден требовать от американцев — в конечном счете ради них самих же — душевной щедрости, ясности мысли и благородства, каких им в голову не приходило требовать от самих себя. В одном отношении ошибка оказалась непоправимой, так как походы и петиции предполагали существование некоего единства, которое так и не удалось обнаружить, то есть, другими словами, американского народа пока еще нет. Но к этой мысли (или тоскливой надежде) мы еще вернемся. Однако мораль всего этого (и надежда мира), быть может, заключается в том, чего ты требуешь не от других, а от себя. Как бы то ни было, поражение и предательство навеки занесены в книгу судеб, обличая и покрывая непреходящим позоррм тех потомков варварской Европы, которые самовольно и надменно присваивают себе право называться американцами.

Когда Мартин был убит, я находился в Голливу-

де, где работал, — работал, собственно говоря, над сценарием для экранизации «Автобиографии» Малькольма Экса[8]. Писалось мне нелегко — ведь я лично знал Малькольма, спорил с ним, работал с ним и питал к нему то величайшее уважение, которое почти, а то и вовсе неотличимо от любви. (Мое голливудское сидение ни к чему не привело, так как я не захотел стать соучастником вторичного убийства, но в Голливуд мы еще вернемся.)

Незадолго до гибели Мартина я выступал с ним в Нью-Йорке в Карнеги-холле. Я так долго пробыл на Тихоокеанском побережье, что для Карнеги-холла мне нечего было надеть, а потому я кинулся в магазин, выбрал темный костюм, его подогнали, и я выступил. Через полмесяца я в этом костюме присутствовал на похоронах Мартина, затем вернулся в Голливуд и тут же должен был по делам снова съездить на Восток. Как-то вечером я встретил Леонарда Лайонса[9] и сказал ему, что никогда больше не смогу надеть этот костюм. Леонард упомянул об этом в своей колонке.

---

[8] Примечания: 8

Малькольм Экс — один из лидеров борьбы за права негритянского народа США, убитый в Нью-Йорке в 1965 году.

[9] Примечания: 9

Публицист, ведущий еженедельную колонку в «Нью-Йорк пост».

Эту колонку прочли жена, а может, кто-то из родственников одного моего старого школьного приятеля и узнали, что у меня есть костюм, который я не ношу, а мы же с этим приятелем как раз одного роста.

В моих глазах этот костюм был пропитан кровью всех преступлений, совершавшихся в нашей стране. И если я сказал Леонарду, что больше никогда не смогу его носить, то, несмотря на возможную высокопарность этих слов, я тем не менее говорил искренне. Ведь я не мог бы надеть его или просто увидеть, не вспомнив о Мартине, и о смерти Мартина, и о том, чем он был для меня и для стольких других. Я не мог бы его надеть, не подумав о будущем с холодным беспросветным унынием. Короче говоря, это одеяние было для меня слишком тяжелым. Но с другой стороны… это ведь был просто костюм, почти неношенный. Не слишком дорогой, но мой приятель купить себе такой не мог. Ему было не по карману держать в платяном шкафу костюм, который он не носит, ему было не по карману выбрасывать новые костюмы — короче говоря, ему было не по карману мое изысканное отчаяние. Мартин умер, но он-то еще жив, ему нужен костюм, и… и я одного с ним роста. Он пригласил меня пообедать у них вече-

ром, и я сказал, что привезу ему костюм.

Положение вещей в Америке и характер подавляющего большинства американских шоферов такси привели к тому, что мне было строжайше запрещено подвергать себя огромному риску, сопряженному с попыткой остановить такси на улице, и я был вынужден пользоваться заказными машинами. Конечно же, в этот вечер нечистой совести мне прислали «кадиллак» квартала в семьдесят три длиной, и, конечно же, шофер был белый. И ему никак не хотелось везти черного через Гарлем в Бронкс. Но американская демократия всегда была прислужницей доллара, и какие бы чувства ни вызывала у шофера такая поездка, терять свой кусок хлеба он не собирался. И вот мы — перепуганный белый и я — мчимся в брюхе этого чудища под ожесточенными взглядами местного населения. Но насмешливое презрение в глазах местного населения адресовалось не шоферу.

Я знал, как они относятся к черным в лимузинах — за исключением, конечно, кумиров дня, — и не осуждал их, **и** понимал, что ничего объяснить не смог бы. Мы подъехали к нужному дому, и я с костюмом на руке поднялся по знакомой лестнице.

Я уже не был тем человеком, которого знали и любили мой друг и его близкие, я стал чужаком, остро сознавал это и изо всех сил старался держаться, так сказать, нормально. Но что может быть нормальным в подобной ситуации? *Когда-то* они знали меня и любили, но теперь их нельзя было винить за подспудную мысль: *«Он считает, что мы ему — не компания».* Нет, я этого вовсе не считал, но между ними и мной не осталось ничего общего: того робкого пучеглазого подростка, которого любила и бранила мать моего друга, больше не существовало. Я перестал быть прежним мной, а они остались теми же, как будто их навсегда законсервировали в том временном моменте. Они словно бы ни на день не постарели — мой друг и его мать — и встретили меня так, как встречали в то давнее время, хотя мне уже перевалило за сорок и я ощущал каждый из прожитых мною часов. Мы с моим другом оставались похожими только в одном — ни он, ни я не растолстели. Его лицо было по-прежнему мальчишеским, как и его голос, и только легкая седина на висках выдавала, что мы уже не ученики средней школы № 139. И в их маленькие, темные, нестерпимо респектабельные комнатушки, завоеванные немыслимым трудом,

моя жизнь ворвалась, как взрыв шампанского и запах адской серы. Они все еще верили в Господа, но я рассорился с Ним, **и** оскорбил Его, и ушел из Его дома. Они не курили, но им было известно (они видели меня по телевизору), что я курю, и из уважения ко мне расставили повсюду в комнате эти мерзейшие пепельнички, которые вмещают ровно по одному окурку. А на столе красовалась бутылка виски, и они спросили, что я предпочту — бифштекс или курицу, ведь я столько путешествовал и мог утратить вкус к жареной курице. Испытывая большое облегчение от того, что могу сказать правду, я предпочел курицу. Я отдал моему другу костюм. Он не был способнейшим мальчиком в мире, да таких и не существует, но он был энергичным, подвижным, веселым, играл в гандбол и беззаботно подчинялся моей тирании вплоть до того, что преклонил колени пред алтарем и обрел спасение души, не выдержав моих настойчивых требований. Я помнил его старшего брата, который погиб в Сицилии в битве за свободный мир, — Сицилию он едва успел увидать, и, безусловно, свободного мира он не видел никогда. Я помнил тот день, когда он пришел ко мне сказать, что умерла его сестра, которая была тяжело больна. Мы сидели на лест-

нице трущобного дома, и он сказал мне это, чертя пальцем кружок на деревянной ступеньке там, куда капали его слезы. Мы тогда были детьми — его сестра только немногим старше; он был младшим, а теперь и единственным ребенком.

О да! Нас всех тогда связывала любовь, и я питал большое почтение к моему другу, который был более красив, чем я, и более ловок, и более популярен, и брал надо мной верх в любой игре, когда я по глупости пытался у него выиграть. Потом я пошел своим путем, и жизнь совершила свои неумолимые математические действия — и в конечном счете я был теперь всего лишь стареющим, неустроенным, политически неприемлемым, возмутительно неуравновешенным чудаком. А кем был теперь он? Он работал на почте и строил дом рядом с домом матери — на Лонг-Айленде, если не ошибаюсь. Следовательно, и они достигли всего. Но я не понимал одного: каким образом его ничто не коснулось? Мы переживаем, как выражается наша церковь, «последние, полные зла дни» среди войн и слухов о войнах, если не сказать большего. Он, например, должен был бы что-то знать о программе борьбы с бедностью, хотя бы потому, что его жена имела к этому какое-то касательство. Он должен был

бы что-то знать о бушевавшей тогда битве за образование, хотя бы потому, что его падчерица была учащейся. Но нет. Казалось, катаклизмы в его собственном доме и повсюду вокруг трогали его не больше, чем почта, которая ежедневно проходила через его руки. Это представлялось мне невероятным и — из-за моего характера и нашей прежней дружбы — выводило меня из себя. Мы сцепились из-за войны во Вьетнаме. Вероятно, мне все-таки не следовало бы этого допускать, но тут не обошлось без подзуживания падчерицы. И я был поражен, что мой друг начал защищать именно это расистское безумие. Ради чего? Ради своей работы на почте? И я немедленно получил ответ — увы, да. Ради его работы на почте. Я сказал ему, что американцам там делать нечего, а уж черным и тем более незачем помогать рабовладельцу обращать в рабство новые миллионы людей с темной кожей и делать себя соучастниками преступлений белой Америки — нам, черным, понадобятся союзники, так как американцы, как ни странно это звучит в настоящее время, скоро лишатся своих союзников, всех до единого. Нетрудно понять, сказал я, почему черный парень без будущего, околачивающийся на углу, решает пойти в армию, и нетрудно угадать,

почему рабовладелец надеется, что этот парень останется лежать в чужой земле, а не вернется домой с винтовкой, но зачем же защищать это и оправдывать? То есть защищать и оправдывать собственное убийство и собственных убийц?

— Погоди, — сказал он. — Дай я объясню тебе, чего, по-моему, мы пытаемся там добиться.

— Мы? — крикнул я. — Какие еще, мать-перемать, мы? А ну, встань, сукин ты сын, я тебе…

Он стоял и смотрел на меня. Его мать недвусмысленно показала (ведь только богу известно, какую боль я ей причинил), что не желает терпеть подобных выражений у себя в доме и что прежде я никогда не позволял себе ничего и отдаленно на это похожего. А я всегда любил ее. И никак не хотел ее оскорбить. Я смотрел на моего друга, на моего школьного друга, и чувствовал, что на нас смотрят миллионы людей. Я попытался свести все к шутке. Но было поздно. Их взгляды не оставляли сомнений, что я выдал свою истинную сущность. И тут больно стало мне. Уж они могли бы знать меня лучше — или хотя бы настолько, чтобы понимать, что я говорил искренне. Ну что ж. Тогда говорить не о чем. Конец дружескому обеду с курицей. Конец полному любви прошлому. Я смотрел, как его мать смотрит на меня, не

понимая, что произошло с ее милым Джимми, и отказывается от меня, ибо подтвердились самые печальные ее предположения. С великой горечью я налил себе еще одну большую рюмку, уже бесповоротно осужденный, и закурил еще одну сигарету, а они смотрели на меня, выискивая симптомы рака, и у моих ног разверзалась пропасть.

Ибо этот проклятый кровавый костюм принадлежал им, был куплен для них, и даже был куплен ими — они сотворили Мартина, а не он сотворил их, и кровь, от которой заскорузла ткань костюма, была их кровью. Расстояние между нами — я как-то не думал об этом прежде — возникло потому, что они этого не знали, и теперь я имел мужество понять, что люблю их больше, чем они любили меня. Я не хочу сказать, что моя любовь была больше: кто посмеет судить, в какую невыразимую цену обходится другому человеку его жизнь? Кому известно, кто и как его любит и что вдруг будет призвана совершить эта любовь? Нет, карты выпали так, что я вынужден был знать о них больше, чем они знали обо мне, я знал их квартирную плату, а моя была им неизвестна, и волей-неволей я смущал и раздражал их. Ибо, с другой стороны, их, несомненно, прельщала та

свобода, которой я, по их мнению, располагал: этот ужасающий лимузин, например, или возможность отдать новый костюм, или мои все более и более жуткие трансатлантические путешествия. Как объяснить, что свобода берется, а не дается, и что никто не свободен, пока все не свободны?

Мой друг примерил костюм — он сидел на нем как сшитый по мерке, и все они ахали, и я отправился домой.

Я вернулся в Нью-Йорк в 1952 году, после четырехлетнего отсутствия, и попал в самый разгар сводившей всю страну судороги маккартизма. Эта судорога меня не удивила — вероятно, американцы уже ничем не могли меня удивить, но во многих отношениях и по многим причинам она внушала страх. В частности, я прекрасно отдавал себе отчет, что от прямого, а точнее, публичного внимания американских инквизиторов меня спасли только цвет моей кожи, неизвестность и относительная молодость, то есть, другими словами, полное отсутствие у них воображения. Я был чуть-чуть слишком юн, чтобы обзавестись юридически признаваемым политическим прошлым. Тринадцатилетний мальчишка — несовершеннолетний, а если к тому же он черный

и живет в черном гетто, то, по мнению нашей республики, ему с рождения предназначено быть на посылках. На самом же деле в тринадцать лет я был убежденным «попутчиком». Я принимал участие в первомайской демонстрации — мы несли знамена и скандировали: «Ист-сайд, Вест-сайд, с нами пойте. Эй, домовладельцы, трущобы стройте!» О коммунизме я тогда не знал ничего, зато о трущобах — очень много.

Пятидесятые годы были грустным, подлым временем — мое презрение к большинству американских интеллигентов и (или) либералов восходит к моим тогдашним впечатлениям от их немужественности. Я сказал «к большинству», а не ко всем, но эти исключения составляют величественнейший пантеон, и особенно те, кто погиб на костре, в который были брошены их жизни и репутации. Я вернулся домой, в город, где почти каждый, отбросив какое бы то ни было чувство достоинства, спешил спрятаться, где друзья швыряли друзей на съедение волкам и оправдывали свое предательство высокоучеными лекциями (и толстенными томами) о предательстве Ко-

минтерна[10]. Кое-что из написанного в те годы — например, оправдание казни Розенбергов[11] или распятие Олджера Хисса (а также канонизация Уиттэйкера Чэмберса)[12] — показало мне всю меру безответственности и трусости либеральной общественности, и этого я не забуду до конца моей жизни. Проявленное ими тогда искусство поведения, даже больше той смеси невежества и высокомерия, с помощью которых эти либералы всегда отгораживались от всего, чем были чреваты страдания черных, убедило меня, что блеск без страсти всегда бесплоден. Все-таки необходимо помнить, что я-то был знаком с этими людьми задолго до того, как они начали знакомиться со мной, — ведь до этого я много лет доставлял им пакеты, и выносил их мусорные ведра, и получал

---

[10] Примечания: 10

В годы маккартизма и «охоты на ведьм» в США усиленно распространялся миф о том, что III Интернационал был организацией, якобы готовившей «экспорт революции».

[11] Примечания: 11

гов остается одним из самых тяжких преступлений маккартистской эпохи.

[12] Примечания: 12

Олджер Хисс — американский юрист, до 1948 года работавший в ряде правительственных учреждений. Арестованный по обвинению в шпионаже, журналист Дж. Д. Уиттэйкер Чэмберс, спасая себя, обвинил в своих показаниях Хисса в «сотрудничестве с Москвой». После двух судебных разбирательств, в ходе которых Хисс отверг предъявленные ему обвинения, суд в 1950 году приговорил его к 5 годам тюрьмы.

Процесс Хисса — одна из позорных страниц истории США первых послевоенных лет.

их чаевые (на чаевые они скупы). А то, что они на моих глазах в эпоху Маккарти проделывали друг с другом, было в некоторых отношениях куда хуже того, что пришлось вытерпеть от них мне, так как я по крайней мере никогда не был настолько безрассуден, чтобы рассчитывать на их принципиальность.

Мне представляется ясным как день, что, объясняя свои побуждения, они лгут, шантажируемые своей собственной виной, что на самом деле, если копнуть поглубже, они всего лишь добропорядочные потомки всевозможных иммигрантов и отчаянно пытаются удержать и сохранить обретенные ими блага. Ибо, на мой взгляд, интеллектуальная деятельность всегда бескорыстна и может быть только такой, истина — действительно обоюдоострый меч, и если ты не готов подставить собственную грудь этому мечу даже с риском умереть на нем, тогда вся твоя интеллектуальная деятельность — только духовный онанизм, только гнусный и опасный обман.

Я делал что мог, чтобы понять происходящее и удержаться на плаву. Но я отсутствовал слишком долго. И не только не мог заново приспособиться к жизни в Нью-Йорке, но и не хотел — я не собирался опять превращаться в черномазого

на побегушках. Однако мне предстояло убедиться, что у мира есть много способов оставлять тебя в черномазых. Если рука ослабеет тут, она крепче сожмется там, и вот мне с чрезвычайной любезностью предложили вступить в клуб. Мне уже приходилось завтракать в модных бистро и обедать в аристократических клубах. Я пытался смотреть без предубеждения на озабоченность моих соотечественников судьбой такой трудной личности, как я, и моих непокорных собратьев — я с полной искренностью старался быть терпимым, хотя не без недоумения, а позже и не без злости. Мне становилось все более не по себе. Я испытывал тягостную тревогу, мучительно боялся, что сбиваюсь с пути. Я не вполне понимал то, что слышал. Я не доверял тому, что слышал из собственных уст. Самые мои основы, мои инстинкты начали колебаться так же нервно, как сигаретный дым, завивавшийся вокруг моей головы. Я вовсе не цеплялся за мои невзгоды. Наоборот, если моя бедность наконец уходила в прошлое — тем лучше, да и давно пора! И все же мне становилось холоднее и холоднее, как будто всю остальную жизнь мне предстояло прожить в молчании.

Возможно, я начал подозревать в бессилии и

нарциссизме людей, чьи имена привык уважать, именно из-за своей одержимости маккартизмом. Случая судить об этих людях, так сказать, с близкого расстояния у меня не было. Просто для меня Маккарти был трусом и погромщиком без чести и без права на какое-либо иное к себе отношение; с моей точки зрения, у этой сомнительной медали не было и не могло быть другой стороны, а вредоносность и опасность его зловещего воздействия были самоочевидны. А они могли часами спорить, враг ли Маккарти внутренних свобод или нет. Я только недоумевал, какие еще доказательства им требуются! И тем не менее этот ученый, цивилизованный, интеллектуально-либеральный спор продолжал оживленно бушевать в своем вакууме, а каждый час приносил все больше горя, смятения — и бесчестия — стране, которую они якобы любили. Предлогом для всего этого, разумеется, была необходимость «сдерживать» коммунизм, который, как они, не краснея, втолковывали мне, был угрозой «свободному» миру. Я не объяснял в ответ, какой угрозой был этот свободный мир для меня и для миллионов таких, как я. Но я спрашивал себя, каким образом оправдание наглой и бессмысленной тирании на любом уровне может послужить свободе, и я

спрашивал себя, какие внутренние, не выражаемые в словах потребности этих людей делали для них необходимой столь малопривлекательный самообман. Я спрашивал себя, а как они на самом деле относятся к реальной человеческой жизни — ведь они до такой степени были набиты всяческими формулами, что, казалось, полностью утратили всякую связь с ней.

Все они — во всяком случае, какое-то время — очень мной гордились, то есть гордились тем, что я сумел всползти до их уровня и «стал своим». И в полуночный час они не терзались вопросами о том, что я-то думаю об их уровне и каково мне чувствовать себя «своим» или во что мне это обходится. И я спрашивал себя: а способно хоть что-нибудь лишить их сна? Ведь они ходили по тем же улицам, что и я, ездили в той же подземке, несомненно, видели тех же самых отчаявшихся, озлобленных мальчишек и девчонок. Да, конечно, даже те, кто преподавал в Колумбийском университете, ни разу в жизни не видели Гарлема[13], но, с другой стороны, все, чем Нью-Йорк стал в 1970 году, уже зримо и стремительно начиналось в 1952 году — достаточно было сесть в

[13] Примечания: 13

Колумбийский университет расположен в непосредственной близости от Гарлема.

автобус и проехать через город, чтобы увидеть, как он темнеет и становится все хуже, как растут человеческая растерянность и враждебность, как слабеют и рвутся человеческие связи. Конечно, в отличие от меня, эти либералы не мозолили глаза полиции в «не тех» районах, а потому не знали на собственном опыте, с каким упоением полицейский претворяет в дело полученный сверху приказ. Но вот права не знать этого у них не было — если они этого не знали, они не знали ничего и не имели права разглагольствовать так, словно в их обществе им принадлежала ведущая роль. Их пособничество тогдашним «патриотам» означало, что полицейский действует во исполнение и их приказов.

Нет, я не мог этого переварить. Когда мой первый роман был наконец продан, я забрал аванс, отправился прямо в пароходную контору и снова купил билет во Францию.

Осенью 1956 года я освещал для «Энкаунтера» (или же для ЦРУ[14]) Первую Международную конференцию черных писателей и художников, которая проводилась в Сорбонне в Париже.

[14] Примечания: 14

Впоследствии было установлено; что английский журнал «Энкаун-тер» издается на средства ЦРУ.

Как-то в ясный солнечный день мы небольшой компанией, включавшей покойного Ричарда Райта, неторопливо шли по бульвару Сен-Жермен, собираясь пообедать. Многие среди нас были африканцами, и все мы — черными (хотя кое-кто — лишь юридически). Из каждого газетного киоска на этом широком тенистом бульваре на нас с фотографий смотрела пятнадцатилетняя Дороти Каунтс, проходящая сквозь вопящую, плюющую в нее толпу по дороге в школу в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Лицо этой девочки, шедшей к храму знания под улюлюканье истории за ее спиной, выражало неописуемую гордость, напряжение и муку.

Я впал в ярость, исполнился ненавистью и жалостью, и мне стало стыдно. Некоторым из нас следовало бы быть сейчас там, с ней! Я пробыл в Европе еще почти год из-за моих личных дел и из-за романа, который пытался кончить, но я понял, что уеду из Франции, именно в тот солнечный день. Я уже не мог больше посиживать в Париже, рассуждая о проблемах алжирцев и черных американцев. Все вносили следуемую с них плату, и настало время мне вернуться домой и внести свою.

Я уехал домой летом 1957 года, намереваясь

отправиться на Юг, как только получу от какой-нибудь газеты или журнала подходящее задание. В 1957 году это было нелегко, и я застрял в Нью-Йорке на выматывающе долгий срок. И теперь мне приходилось как-то сживаться с Нью-Йорком — ведь я впервые за девять лет вернулся домой, чтобы тут остаться. Остаться! Если от этой мысли мне становилось холодно, то одновременно я испытывал облегчение. Ведь только здесь я в конечном счете мог узнать, что дали мне мои странствия и что они сделали из меня.

И я начал видеть Нью-Йорк по-иному: за бесформенностью я различал в деталях карниза, в очертаниях окна, во взлете каменных ступеней — различал за почти непобедимым, на пределе отчаяния, шумом звук многих языков, оспаривающих господство. И раз я приехал, чтобы остаться здесь, мне необходимо было исследовать Нью-Йорк, заново узнать его и разобраться, любил ли я его когда-нибудь. Но в самом этом вопросе, как мне казалось, уже заключался тоскливый ответ на него. Если я когда-то и любил Нью-Йорк, эту любовь из меня выбили в буквальном смысле слова; люби я его, моя жизнь не могла бы строиться на столь долгой разлуке с ним и на столь глубоком отчуждения, люби я его, я радовался бы,

а не боялся, вернувшись в свой родной город. Нет, я не любил его — во всяком случае, больше не любил, но я намеревался выжить в нем. А для того, чтобы выжить в нем, мне нужно было бдительно следить за ним. И хотя Юг, которого я никогда не видел, преследовал меня в кошмарах, мне не терпелось скорее попасть туда — возможно, чтобы кошмары подтвердились, но несомненно — чтобы выбраться из «великого незавершенного города», как мне однажды его описали.

Наконец я получил задание, которое мне было нужно, и отправился на Юг. И началось нечто для меня гигантское. Я познакомился с такими благородными, такими прекрасными людьми, каких только можно себе представить, и я видел много прекрасного и много ужасающего. Я был достаточно зрелым, чтобы понимать, какими глубокими и давящими были мои страхи, какими многообразными и непреодолимыми — поставленные мне ограничения. Но самое большее, что человек может потребовать от жизни, — это чтобы она сделала ему честь, потребовав от него: научись жить со своими страхами, научись жить изо дня в день в пределах своих ограничений и вне их.

В Америке меня всегда потрясали эмоциональ-

ная нищета — настолько бездонная — и ужас перед человеческой жизнью, человеческим прикосновением — настолько глубокий, что буквально ни одному американцу словно бы не удается достичь полноценного, органического слияния своего общественного положения со своей личной жизнью. Вот почему они так непредсказуемы, так трогательны, так невыносимы и так ненадежны. «Только бы связать», — сказал Генри Джеймс. Пожалуй, лишь у американского писателя могли вырваться подобные слова, так как отсутствие в жизни большинства американцев наиболее элементарных и важных связей ставит под угрозу само его существование.

Крах личной жизни всегда оказывал катастрофическое влияние на общественное поведение американцев и на взаимоотношения черных и белых. Если бы американцы менее страшились собственной личности, им не понадобилось бы изобретать то, что они все еще называют «негритянской проблемой», и они никогда не попали бы в такую от нее зависимость. Эта проблема, которую они придумали для обеспечения своей чистоты, сделала из них преступников и чудовищ, она губит их. И дело тут не в том, что делают или чего не делают черные, а в той роли, которую

виноватое и сведенное судорогой воображение белых отвело черным…

Нельзя долго пробыть на Юге, не столкнувшись с вопросом о том, что такое человек, что он должен делать и чем стать. В конечном счете мир, в котором мы живем, — это отражение желаний и действий людей. Мы ответственны за мир, в котором оказались, хотя бы потому, что мы — единственная разумная сила, способная его изменить. Меня же над этим вопросом заставил задуматься тот факт, что большинство черных, с которыми я разговаривал на Юге в те годы, были (за неимением лучшего слова) героями. Я не хотел бы, чтобы меня напрасно заподозрили в дешевом восхвалении своих, но никакой беспристрастный наблюдатель Юга того времени не мог бы прийти к иному заключению. Их героизм проявлялся не столько в большом, сколько в малом, не столько на общественной арене, сколько в частной жизни. Некоторые из тех, кого я имею в виду, были достаточно крупными общественными фигурами и инициаторами больших событий, но меня потрясало не это. Меня потрясало то, как они занимались своей обычной ежедневной работой в тисках южного террора. Например, впервые я увидел преподобного Шатлсворта, когда он,

сдвинув шляпу на затылок, совсем один, неторопливо шел через стоянку автомашин в мотеле, где я ночевал. Был поздний вечер, а в Бирмингеме Шатлсворт был бельмом на глазу у многих. Он поднялся ко мне в номер и в течение нашего разговора все время подходил к окну. В конце концов я сообразил, что он присматривает за своей машиной, возможно, проверяя, не подкладывает ли кто-нибудь в нее бомбу. Но раз он сам про это не упомянул, естественно, мне тоже оставалось только молчать. Однако меня тревожило, что он поедет домой один, и, когда он прощался, я, не выдержав, сказал об этом. А он улыбнулся — улыбнулся, как наивному новичку, который еще многому должен научиться (что было правдой), улыбнулся так, словно был бы рад кое в чем меня просветить (что довольно скоро и сделал), и ответил, что отлично доедет, и спустился вниз, и сел в свою машину, и уехал в тихую алабамскую ночь. Он держался без малейшей бравады. Только когда я, запинаясь, сказал ему о своей тревоге, по его лицу скользнула тень печали. Скользнула и исчезла. Я больше никогда не видел на человеческом лице страдания, настолько отчужденного от личной судьбы. Казалось, он сознавал величайшую истину, что грозящая ему опасность — ничто

по сравнению с духовными страхами, которые правят теми, кто пытается покончить с ним. Они могли причинить вред ему, но обрекали себя.

Как ни странно, мне повезло, что я так долго не был в Америке и приехал на Юг практически из Парижа, а не из Нью-Йорка. Если бы я приехал не из Парижа, то, несомненно, попробовал бы применить кое-какие нью-йоркские трюки, обеспечивающие выживание — а их у меня был большой запас, — и неизвестно, к чему это привело бы, так как на Юге они, безусловно, не сработали бы. Но я настолько забыл свои нью-йоркские штучки, что был не способен воспользоваться ими даже в Нью-Йорке и теперь просто, обнаженно, беспомощно оказался своего рода заезжим иностранцем и мог воспринимать окружающее только так. И как заезжий иностранец, я испытывал не столько страх, сколько завороженный интерес.

А завораживало там многое. Глубины Юга — Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, например — раскинулись огромной хмурой, гостеприимной и окровавленной землей, такой прекрасной, что дух захватывает от удивления и больно сжимается сердце. Эта земля словно плачет под гнетом испражнений этой цивилиза-

ции. Взрослые и дети слепо бродят в лесу реклам, антенн, бутылок с кока-колой, бензозаправочных станций, мотелей, жестянок из-под пива, музыки, полной жестокой и непобедимой тоски, надменных деревянных веранд, щелкающих вееров, джинсовых задниц и вызывающих ляжек, пустых бутылей в бурьяне и презервативов, гниющих автомобильных трупов, бурых, как жуки, блеска сережек в сумраке автобусных вокзалов — и надо всем этим нависает ядовитый полог похоти, томления и бешенства. Каждый южный город, казалось мне, лишь совсем недавно был извлечен из трясин, которые терпеливо выжидали, когда же удастся вновь его поглотить. Все люди, казалось, помнили свое пребывание под водой и, страшась, предвкушали возвращение к этой свободе от ответственности. Каждого черного, каков бы ни был его стиль, испещряли рубцы, словно от какого-то племенного ритуала, а белые, почти все без исключения лишенные стиля, были искалечены. И повсюду женщины — самые притесняемые существа в здешних краях, — с суженными глазами и поджатыми губами, втянутыми как после попробованной гадости, смотрели, раскачивались в качалках, ждали.

В первый свой вечер в Монтгомери я как хоро-

ший репортер решил познакомиться с городом. Меня предупреждали, чтобы, выходя на Юге в темень, я соблюдал особую осторожность, — собственно, мне советовали не выходить совсем. Но вечер был очень приятен, сумерки только-только сгустились, и наступало время ужина.

Я шел мимо темных веранд, которые почти все тонули в полной тишине, хотя чувствовалось, что кто-то сидит там во мраке, порой — но очень редко — вырисовываясь силуэтом на фоне распахнутой двери. Иногда виднелся светлячок сигареты или слышался детский голос. Всюду был разлит тихий покой, и, как ни странно, я радовался, что приехал на Юг. Хотя многое нас разделяло и хотя некоторые из них смотрели на меня с неизбежным подозрением, я чувствовал себя дома среди темнокожих людей, которые жили там, где по логике вещей родился бы и я, если бы столько не было разрушено и разорвано. Под всеми наслоениями я ощущал глубокое единение, непривычный мирный покой, почти так, словно после безнадежного, уродующего путешествия наконец вернулся домой. Если это ощущение отчасти было самообманом, то отчасти оно было и правдой. За все годы в Париже я ни разу не испытал тоски ни по чему американскому — ни по

вафлям, мороженому и сосискам, ни по бейсболу и кино, ни по Эмпайр-стейт-билдингу, ни по Кони-Айленду, ни по статуе Свободы, ни по «Дейли ньюс», ни по Таймс-сквер. Со всем этим я расстался так же спокойно и естественно, как со старыми носками, и даже еще более равнодушно. Что до меня, их могло бы и вовсе не быть, и мысль, что я могу их больше никогда не увидеть, нисколько меня не тревожила. Но я скучал по моим братьям и сестрам, по моей матери. Я хотел снова увидеться с ними, увидеть их детей. Я надеялся, что они меня не забудут. Мне не хватало Гарлема по утрам в воскресенье, и жареных кур, и домашних лепешек, мне не хватало музыки, мне не хватало этого стиля, — стиля, которого ни у кого в мире больше нет. Мне не хватало возможности видеть, как замыкается темное лицо, как смотрят темные глаза и как расцветает темное лицо, словно озаряя все вокруг. Особенно мне не хватало моих братьев — улыбки Дэвида, серьезности Джорджа, бешеных вспышек Уилмера. Короче говоря, мне не хватало моих близких, той жизни, которая меня породила, вскормила и расплачивалась за меня. Теперь же, хотя я и был чужим, я был дома.

Расовое разделение южных городов запутано и расставляет ловушки приезжим: границы

районов здесь не обозначены так четко, как на Севере, — во всяком случае, для приезжих. Я прошел мимо веранды с темнокожими людьми; на углу в конце улицы был ресторан. Поравнявшись с рестораном, я вошел в него.

Никогда этого не забуду. Не знаю, сумею ли я это описать. Все мгновенно застыло, как мне показалось даже тогда, в гротескной пародии на ужас. Все белые лица до единого окаменели — прибытие ангела смерти не могло бы вызвать большего потрясения, чем возникновение на пороге ресторана щуплого, невооруженного, растерявшегося человека с черной кожей. Я осознал свою ошибку, едва открыл дверь, но беспредельный ужас на всех этих белых лицах — клянусь, никто даже не шелохнулся, — совершенно меня парализовал. Они смотрели на меня. Я смотрел на них.

Оцепенение нарушила женщина, каких, хочется верить, создает только Юг; ее лицо было похоже на проржавевший топор, а глаза — на два ржавых гвоздя, оставшихся после распятия. Она кинулась ко мне, как будто собираясь сбить меня с ног, и пролаяла (в этих звуках не было ничего человеческого):

— Чего тебе нужно, парень? Чего тебе нужно здесь? — И добавила: — За угол, парень. За угол.

Я ничего не понял и попятился с порога.

— За угол, парень, — сказал голос позади меня.

На тротуаре, всего секунду назад пустом, неизвестно откуда появился белый. Я с недоумением взглянул на него. Он смотрел на меня пристально, с какой-то затаенной угрозой.

Ошеломление прошло. До этого момента я не успел почувствовать ни страха, ни гнева. Теперь во мне поднялись и страх и гнев. Я понимал, что мне необходимо уйти с этой улицы.

Это было страшное мгновение — краткое, как молния, и озарившее несравненно больше. Я осознал, что этим человеком руководят самые, с его точки зрения, добрые побуждения. Да он и был добр, насколько этого можно требовать от проводника по аду. Я осознал, что не должен отвечать ему, не должен вступать с ним в какое бы то ни было общение. Есть мне расхотелось, но этого я, конечно, сказать не мог. И не только потому, что это означало бы начало столкновения, которого я не хотел и боялся, но и из-за моего северного акцента. Только теперь я сообразил, что этот акцент окажется заметным минусом. Изменить его я не мог, и оставалось искать способа, как превратить его в плюс. Но не в это накаленное мгновение на этой темной и пустой улице.

Я спас свою честь, подумав с решимостью надежды: «Ты же ради этого и приехал сюда! Действуй!», — и, оторвав глаза от его лица, я вошел в дверь, которую он с такой добротой указал мне.

Я очутился в крохотной комнатушке с единственной электрической лампочкой и стойкой, перед которой стояло четыре-пять табуретов. В стене напротив двери было окошко — вернее, квадрат из мелкой проволочной сетки с небольшим отверстием в ней. Я находился теперь за ресторанным залом, хотя никто в нем не мог меня увидеть. Я был позади ресторанной стойки, позади женщины с ржавым лицом, которая спиной ко мне обслуживала белых клиентов. Я был так близко, что почти мог дотронуться до нее, — так близко, что мог бы убить их всех, а они меня так бы и не увидели.

Ржавое лицо повернулось ко мне:

— Чего тебе нужно?

Теперь она не сказала «парень» — в этом больше не было необходимости.

Я сказал ей, что возьму рубленый бифштекс и чашку кофе. Я не хотел ни того, ни другого, но я хотел посмотреть, как обслуживают тех, кто находится по эту сторону сетки, и прикинул, моет ли она руки всякий раз, как возвращается к

своим белым клиентам. Наверно, нет: бифштекс появился на бумажной тарелочке, а кофе — в бумажном стаканчике.

Я постарался ничего не сказать, когда расплачивался с ней, и она отвернулась. Я сел на табурет, а в комнатушку вошел черный, буркнул мне «здравствуйте», подошел к окошку, дал заказ, расплатился, сел и принялся за еду. Я сидел там и думал, что напросился на черт-те какое задание. Я не жалел, что приехал, — и никогда впоследствии я об этом не жалел, и до смертного часа буду считать великой честью, что пусть и не так, как мне хотелось бы, но я побывал там. Однако в этот момент я понял, что трудности подстерегают меня совсем не там, где я их ждал, не в других, а во мне самом. У меня не было никакой уверенности, что я способен просуществовать тут хотя бы день, а если я не сумею заставить себя, то поставлю под угрозу все, чего добиваются другие, и предам их безмерные усилия. Они меня сюда не звали — моей задачей было собирать материал, а не самому им становиться. Я смотрел, как ест мой терпеливый сосед, смотрел на него с удивлением и уважением. Если он был на это способен, то люди по ту сторону сетки имели основания бояться — если он был способен на это, значит,

он способен сделать все, и, когда он пройдет за сетку, его уже ничто не остановит. Но я пока еще не был на это способен — мой желудок сжался в тугой резиновый мячик. Я взял свой бифштекс, вышел на улицу и бросил его в бурьян. Темное безмолвие улиц теперь пугало меня, и я вернулся в гостиницу.

Моя гостиница была настоящей черной дырой, настолько нищей и так давно нищей, что ни прятать, ни терять ее обитателям было нечего, хотя они не прекращали своих попыток и терпели неудачу в первом с таким же скучным постоянством, с каким преуспевали во втором. В глубинах Юга вопросы жилья для приезжих черных и развлечений для местных подчинены строжайшему регламенту, и потому приезжий, который не может остановиться у родных или друзей, селится в гостинице вроде моей, а если родственники или друзья хотят угостить тебя, они идут с тобой в бар этой же гостиницы. Мне это очень нравилось. Мне нравилось наблюдать, как солидные баптистские священнослужители и их дородные накрахмаленные жены усаживаются за столик по соседству с тем, за которым расположились местные распутные и падшие дамы в обществе своих ненакрахмаленных мужчин.

Мне это представлялось оздоровляющим, так как снижало возможность самообмана — особенно в те годы. Все были упрятаны в один мешок и по одной причине, независимо от того, какой костюм носит упрятанный и в каком автомобиле ездит. И мне казалось, что люди тут обращаются друг с другом гораздо уважительнее, чем в Нью-Йорке, где, разумеется, возможностей для самообмана было относительно куда больше.

Там, где виски запрещено законом, вы просто покупаете его у блюстителей закона. Я много раз проделывал это по всему Югу — вначале желая проверить, правду ли мне говорили, посмотреть своими глазами, заплатить ему своими руками, а позже потому, что эта кочевая жизнь начала сказываться на моих нервах. Почти всюду можно было достать только кукурузное виски, и до сих пор его запах вызывает в моей памяти злобные глазки помощников шерифа, кобуру на бедре и зловещие деревья вдоль шоссе. И нигде на Юге вы не можете пообедать без того, чтобы вам не предложили белесую комкастую безвкусную кукурузную кашу, которую южане упорно считают деликатесом, хотя, по моему мнению, они едят ее в наказание за свои грехи. «Что? Вы не берете каши?» — спрашивает официантка, тара-

ща глаза, пока еще без враждебности, а только с недоумением. Отойдя, она сообщает всем вокруг: «Видите вон того? Так он не ест каши!» И вы уже меченый человек.

На Юге нетрудно стать меченым — для этого достаточно просто приехать туда. Аэровокзал в Монтгомери, например, был в те времена задорной лачужкой, торчавшей среди пустоты. В то утро, когда я впервые туда прилетел, его охраняли трое более или менее почтенных граждан металлического отлива и крайне скупых на слова. Я был единственным предметом какого бы то ни было цвета, доставленным в аэропорт в это утро, и они стояли у ворот и следили, как я иду через летное поле. Я нес пишущую машинку, и она вдруг стала очень тяжелой. Я боялся. Их пристальный взгляд пугал меня. Их молчание пугало меня. Мартин Лютер Кинг обещал, что в аэропорту меня будет ждать машина. Ни одного автомобиля у ворот не было, но я знал номер телефона Монтгомерийской ассоциации… Только бы найти автомат, только бы пройти мимо этих людей у проволочной изгороди. Было и жутко и поучительно осознать, что мне, хотя они такие же люди, как я, нельзя ждать от них человеческой реакции на самую простую мою просьбу. Позади

меня было только пустое пространство, а впереди — только эти трое, и мне оставалось только идти к ним. В конце-то концов, я сел в самолет для того, чтобы прилететь сюда. Самолет приземлился, и вот я здесь — так что они, собственно, могли с этим поделать? Разве что убивать подряд всех черных пассажиров или взорвать аэропорт? Но сколь соблазнительными ни были эти две последние возможности, их осуществление представляло известные трудности. Я прошел мимо них и направился к первой же телефонной будке, которую увидел, не позаботившись взглянуть, попал ли я в зал ожидания для белых или для черных. Я с самого начала решил избегать столкновений, если удастся, но уже было понятно, что удаваться это будет далеко не всегда. К тому времени, когда под их немигающим взглядом я набрал нужный номер, подъехал автомобиль Ассоциации. Обладай глаза этих людей силой стереть машину в порошок — они бы ее стерли, как в Библии был стерт с лица земли греховный город: никогда в жизни мне не приходилось видеть такой сконцентрированной, такой злобной нищеты духа.

Не забудьте, что в Монтгомери черные тогда сплотились для организованного протеста

и должны были вот-вот поставить на колени автобусную компанию. То, что началось в Монтгомери, начинало теперь происходить по всему Югу. Студенческие сидячие забастовки были пока делом будущего. Никто еще не слышал о Джеймсе Формене[15] или Джеймсе Бивеле[16]. Мы только-только услышали про Мартина Лютера Кинга. К Малькольму Эксу еще предстояло отнестись серьезно. О существовании Хьюи Ньютона, Бобби Сила[17] или Анджелы Дэвис знали только их родители. Со смерти Эмметта Тилла[18] прошло два года. Бобби Хаттон и Джонатан Джексон[19] начали лепетать свои первые слова и совсем недавно обнаружили, как весело, держась за чью-то руку, ковылять вверх и вниз по ступенькам лестницы. О, первые-из первых! Я сел в машину, и мы поеха-

---

[15] Примечания: 15

Один из лидеров негритянского движения в США, начинал как активный приверженец идей Кинга, впоследствии выступал идеологом ультралевой организации «Черные пантеры».

[16] Примечания: 16

Участник движения за гражданские права, призывавший бойкотировать попытки объединения белой и негритянской общин в церквах Юга США.

[17] Примечания: 17

Студенты Меррит-колледжа в Окленде (штат Калифорния), создатели партии «Черные пантеры», появившейся в 1966 году после негритянского восстания в Уоттсе (пригород Лос-Анджелеса), подавленного при помощи войск. «Черные пантеры» объявили себя организацией негритянской самообороны, однако вскоре эта партия выступила и

с программой политического решения расового конфликта ультралевыми и экстремистскими средствами.

[18] Примечания: 18

Негритянский активист, убитый расистами на Юге.

[19] Примечания: 19

Активные деятели «Черных пантер».

ли в город — колыбель Конфедерации, белейший из городов к западу от Касабланки и один из самых несчастных на всей земле. Несчастный потому, что никто из имеющих власть в городе, в штате, в стране не обладал достаточной силой, или смелостью, или любовью, чтобы научить вежливости, спасти души этих трех отчаявшихся людей, которые стояли у ворот убогого аэропорта, воображая, будто удерживают потоп.

Но как мне передать, какими были некоторые из черных мужчин и женщин тогдашнего Юга? А попытаться сделать это — необходимо. Называть имена я не могу — потому, что одни не помню, другие никогда не знал или же по иным причинам. В подавляющем большинстве мужчины были священниками, мелкими торговцами (это последнее слово охватывает — во всяком случае, должно подразумевать — бесчисленные и неописуемые усилия) и людьми интеллигентных профессий — например, учителями, зубными врачами, адвокатами. Поскольку Юг представляет собой (во всяком случае, представлял тогда) замкнутую общину, цвет их кожи, светлый цвет, бросался в глаза гораздо больше, чем такие же оттенки на Севере: именно запрет социального общения подчеркивал размах биологического

слияния. Девушки с золотистой кожей, мужчины почти цвета мела, волосы как шелк, волосы как хлопок, волосы как медная проволока, глаза голубые, серые, зеленые, светло-карие, черные как у цыган, темно-карие, как у арабов, узкие ноздри, тонкие ноздри, широкие губы, тонкие губы — всевозможные сочетания, располагающиеся по невероятной шкале. Нет, не на Юге мог человек сохранить свою тайну! И черномазые, конечно, и не пытались, хотя они знали своих белых братьев, сестер и отцов и ежедневно наблюдали, как они расхаживают, щеголяя белой кожей. И иногда убирали мусор своих кровных родственников, а иногда отправлялись со шляпой в руке искать работу или что-нибудь более отчаянное.

Я помню преподобного С., невысокого бледнокожего человека с волосами как пережаренные кукурузные зерна, и его крохотную церквушку в крохотном городке, где каждый черный принадлежал какому-нибудь белому. На демократическом жаргоне, разумеется, это звучит как «каждый черный работал у белого», и демократический миф требует, чтобы мы верили, будто они работали вместе, как люди, и уважали, почитали и любили друг друга, как люди. Но демократическое краснобайство подразумевает

свободу, которой нет и не может быть, пока рабству в Америке не будет положен конец, — в этих городках в те дни (если говорить только об этих городках и только о тех днях) черному, который вызвал недовольство своего нанимателя, есть после этого оставалось недолго; другими словами, предполагалось, что ни ему, ни его жене, ни детям нечего заживаться на свете. И все-таки каждое воскресенье преподобный С. со своей кафедры в церкви, где сидели его жена и дети и где стены были пробиты пулями, убеждал своих прихожан действовать, протестовать, идти к избирательным урнам. Ибо в те дни мы верили — или внушали себе, будто верим, — что поход черных к избирательным участкам будет охраняться Вашингтоном. Я вспоминаю преподобного Д., который, кроме того, был бакалейщиком, и тот вечер, когда он рассказывал мне, как стал убежденным сторонником принципа ненасилия. Черный бакалейщик в глубинах Юга, как и все бакалейщики повсюду, должен где-то закупать бобы, которые он выставляет в своей лавке на продажу. Это означает, что черному бакалейщику, который призывает и убеждает регистрироваться на избирательных участках, будет крайне нелегко сохранить свое дело, не

говоря уж о своей жизни. Это был веселый великан, сильный как бык, упрямый как мул — муха, не предназначенная для липкой бумаги, — и он сохранил свое дело. Это ему кое-чего стоило. В то время бросание бомб еще не стало излюбленным развлечением южан, и они просто били его окна кирпичами. Он вооружился сам, вооружил своих сыновей, и они ночь за ночью дежурили в темной лавке, ожидая появления своих сограждан. Но сограждане, зная, что они вооружены, так и не появились. А потом в одно прекрасное утро после долгой ночи преподобный Д. решил, что такая жизнь не годится ни для мужчин, ни для женщин, ни для детей. Возможно, к настоящему времени его уже принудили снова переменить мнение, но он был первым, кто сделал для меня живым принцип ненасилия, ибо этот принцип стал тогда делом личного, а главное, собственного выбора, и я впервые увидел, каким трудным может быть подобный выбор.

Всякий, кому доводилось участвовать в программах «борьбы с бедностью» в американских гетто или хотя бы наблюдать, как онй претворяются в жизнь, сразу же получал полное представление об «иностранной помощи» в «слаборазвитых» странах. И в том и в другом случае

наиболее ловкие мошенники улучшают свое материальное положение, наиболее преданные идее туземцы теряют рассудок от бессилия и разочарования, в отчаянии опускают руки или уходят в подполье, а горе и нужда страдающих безгласных миллионов неизмеримо возрастают. Но этого мало: их реакция на эти страдания подается остальному миру как преступление. И нигде эта гнусная система не выступает так ясно, как в современной Америке. Но то, что Америка творит в своих пределах, она творит и по всей земле. Достаточно вспомнить, что американские капиталовложения считаются находящимися в безопасности только до тех пор, пока местное население остается покорным и сговорчивым: сравните отношение к американскому еврею, который хвастает, что посылает оружие в Израиль, с вероятной судьбой черного американца, который попробовал бы организовать митинг, чтобы послать оружие черным в Южной Африке.

Америка больше, чем любая другая страна, доказывает, что не хлебом единым жив человек, но ведь люди едва ли способны исходить из этого принципа. Они и — что еще важнее, — их дети получают достаточно хлеба. Голод не имеет принципов: он просто делает людей в худшем

случае жалкими, а в лучшем — опасными. К тому же необходимо помнить — и это самое главное, — что века угнетения слагались, кроме того, в историю определенного мировоззрения, так что и тот, кто считает себя господином, и тот, с которым обходятся, как с вьючным животным, — оба страдают особого рода шизофренией: каждый носит в себе другого, каждый томится желанием быть этим другим. «То, что связывает раба с господином, — указывает Дэвид Кот в своем романе „Упадок Запада“, — даже более трагично, чем то, что их разделяет».

Очень долго Америка процветала — во всяком случае, внешне, — и это процветание стоило жизни миллионам людей. Теперь даже те, кто в полной мере получает все блага этого процветания, не в состоянии их выносить: они не умеют ни понять их, ни обходиться без них, ни стать выше их. А самое главное, они не могут или не осмеливаются отдать себе отчет в том, какую цену заплатили их жертвы, их подданные за подобный образ жизни, и, следовательно, не могут себе позволить разобраться в том, почему их жертвы восстают. Им остается только прийти к выводу, что их жертвы — варвары! — восстают против всех утвержденных ценностей цивили-

зации (что в равной степени и верно и неверно); и во имя сохранения этих ценностей, пусть угнетающих их собственную жизнь и лишающих ее радости, людские массы лихорадочно ищут представителей, которые жестокостью возместили бы отсутствие убежденности в своей правоте и у них самих, и у тех, кого они представляют.

Такова формула падения нации и царства, ибо ни одно царство не может держаться только силой. Сила воздействует вовсе не так, как чудится сторонникам ее применения. Она, например, вовсе не убеждает жертву в могуществе ее врага, а, наоборот, изобличает его слабость, его панический страх, а потому вооружает жертву терпением. К тому же избыток жертв может оказаться роковым. Победитель ничего не может поделать с этими жертвами, ибо они принадлежат не ему, а… жертвам. Они принадлежат народу, с которым он борется. Народ это знает, и с той же неумолимостью, с какой растет почетный список жертв, он проникается неодолимой решимостью: нет, смерть братьев не будет напрасной! И с этой минуты, как бы долго ни длилось сражение, победитель перестает быть победителем: теперь все его усилия, вся его жизнь превращаются в непостижимый ужас, в неразгаданную тайну, в битву,

из которой он не может выйти победителем, — он становится пленником тех, кого хотел привести к покорности страхом, цепями и убийствами.

Когда убили Малькольма, я был в Лондоне. Моя сестра Глория, которая была тогда моей секретаршей, всякий раз, когда ей казалось, что мне будет полезно проветриться, имела обыкновение выбирать первое попавшееся приглашение, неважно куда, и тут же сажать меня в самолет. Так, например, мы однажды оказались под полуночным солнцем финской столицы Хельсинки. А на этот раз мы были гостями моих английских издателей в Лондоне и жили в отеле «Хилтон». В этот вечер мы были свободны и решили отпраздновать это самым роскошным обедом. Разодетые по-парадному, мы сидели за столиком и уже все заказали, и нам было очень хорошо. Подошел метродотель и сказал, что меня просят к телефону. Пошла Глория. Когда она вернулась, у нее было странное лицо — но она ничего не сказала, и я побоялся спрашивать. Потом, машинально что-то откусив, Глория сказала: «Я должна все-таки сказать тебе, потому что сюда едут репортеры. Только что убили Малькольма Экса».

Английские газеты утверждали, что я обвинял в этом убийстве ни в чем не повинных людей. Я

же пытался сказать тогда и попробую повторить сейчас: чья бы рука ни спустила курок, не она покупала пулю. Эта пуля была отлита в тиглях Запада, эта смерть была продиктована самым успешным за всю историю заговором, название которому — белое превосходство.

Всякое новое окружение, особенно если ты знаешь, что должен свыкнуться с ним для работы, всегда чревато неожиданными травмами. Ты замечаешь, что нервно исследуешь свое новое окружение, а потому судорожно ищешь путей приспособиться к нему. Я вполне сознательно попытался убедить себя, что Голливуд мне нравится. В конце-то концов, тут было небо, которое ньюйоркцы забыли, и могучий, полный движения Тихий океан, и горы. Тут много лет жили и работали некоторые очень уважаемые и приятные люди, уговаривал я себя, так почему же я не могу? У меня уже были там друзья и знакомые, и я не сомневался, что их очень обрадует мое решение остаться. Если мне придется провести в Голливуде несколько месяцев, так какой же смысл ставить себе рогатки, проникаясь к нему ненавистью или презрением? К тому же это было бы слишком явной попыткой побороть страх перед ним. Но отель «Беверли-Хилз», в котором

я поселился, моей средой не был. По неясной причине его просторность, его роскошь, его бесформенность угнетали и пугали меня. Люди в баре, в холлах, в коридорах, в плавательных бассейнах, в магазинах казались такими же неприкаянными, как и я, казались нереальными. Как я ни старался расслабиться, почувствовать себя непринужденно, почувствовать себя дома (ведь Америка — это все-таки мой дом!) — а может быть, именно из-за этих стараний, — я ощущал себя вне реальности, словно играл скверную роль в дешевой, скверной мелодраме. Я, чуть ли не половину жизни проживший в отелях, просыпался среди ночи в ужасе, пытался сообразить, где я. Хотя я не отдавал себе в этом отчета и, возможно, устыдился бы такой мысли, мое состояние, по-видимому, отчасти объяснялось тем, что я был единственным черным в «Беверли-Хилз». Хочу подчеркнуть, что никто и ничем там ни разу не заставил меня почувствовать это, и я сам об этом тогда как будто не думал, но теперь, задним числом, я начинаю подозревать, что причина отчасти заключалась именно в этом. Мое присутствие в отеле не вызвало ни малейшего недоумения даже у тех, кто меня не знал. Просто считалось само собой разумеющимся, что, раз я

нахожусь в отеле, значит, мое присутствие там уместно. И это, против всякой логики, заставило меня задаться вопросом: а уместно ли оно? В любом случае присутствие тысяч черных, живших в нескольких милях оттуда, было в этом отеле неуместно, хотя некоторые из них навещали меня там. Пожалуй, я не испытывал пошлого ощущения вины за мою внешне как будто благополучную судьбу, но меня сковывала гнетущая беспомощность. Эти два мира не могли сойтись, что предвещало катастрофу — и для моих соотечественников, и для меня. Вот почему я смотрел вокруг себя с напряженным изумлением, за которым не скрывалось никакого удовольствия.

Голливуд, или, во всяком случае, какая-то его часть, начинал все активнее интересоваться вопросом о гражданских правах — теперь, когда вопрос этот находился при последнем издыхании, думал я раздраженно и не вполне справедливо. Тем не менее там намечалось движение за то, чтобы сменить зубастого, белого до мозга костей мэра Сэма Йорти, занимавшего этот пост с незапамятных времен, кем-то, кто хотя бы слышал о наступлении XX века — в данном случае Томом Брэдли, негром. Такие люди, как Джек Леммон, Джин Сиберг, Роберт Калп и Франс Найен, актив-

но поддерживали Мартина Лютера Кинга, обещая собственную финансовую помощь и добиваясь ее от других, а некоторые собирали средства для задуманного фонда Малькольма Экса.

Марлон Брандо принимал во всем этом самое горячее участие. Его очень интересовали «Черные пантеры», и он был знаком со многими из них. Шестого апреля в Окленде Элдридж Кливер был ранен, а Бобби Хаттон убит — «в перестрелке», как утверждала полиция. Марлон позвонил мне и сообщил, что едет в Окленд. Я хотел поехать с ним, но всего за два дня до этого был убит Мартин Лютер Кинг, и, по правде говоря, я находился в шоковом состоянии. Ни описать этого состояния, ни оправдать его я не могу и не стану на нем останавливаться. Марлон улетел в Окленд, чтобы произнести хвалебную речь в честь семнадцатилетнего Бобби Хаттона, которого верные долгу полицейские пристрелили словно бешеную собаку на городской улице. Оклендские полицейские власти, естественно, возмутились и, по-моему, угрожали подать на него в суд — возможно, за диффамацию. Большое жюри признало, что обстоятельства дела вполне оправдывают это убийство невооруженных черных подростков, — разумеется, фамилии этих присяжных, многие

из которых могут назвать в числе своих близких друзей немало видных судей и адвокатов, не попали бы в список, если бы существовала хоть малейшая вероятность того, что они способны вынести другой вердикт.

Если не ошибаюсь, в марте, а может быть и раньше, в Голливуд приехал Мартин Лютер Кинг, чтобы выступить в частном загородном доме среди голливудских холмов — он занимался сбором средств для Конференции христианского руководства на Юге. Я уже давно не видел Мартина и радовался, что встречусь с ним в спокойной обстановке и мы успеем поговорить, прежде чем ему придется уйти, чтобы урвать час-другой сна перед отправлением самолета. Много лет почти все мы виделись друг с другом только на бегу в аэровокзалах или во время походов и маршей. Мы познакомились в последние дни бойкота автобусов, устроенного в Монтгомери, — сколько времени прошло с тех пор? Бессмысленно отвечать — восемь, девять, десять лет, такой счет идет не на годы. Мы с Мартином так и не узнали друг друга близко — по вине если не наших характеров, то обстоятельств, но я питал к нему большое уважение и привязанность, а Мартин, по-моему, относился ко мне с симпатией.

По мере того как ситуация в стране усложнялась, речи Мартина становились все более простыми и конкретными. Я помню, в этот вечер он просто рассказал о работе Конференции христианского руководства на Юге, о том, что уже сделано, о том, что делается, и о колоссальности стоящих перед ней задач. Но я помню не столько его слова, сколько интонацию. Он говорил скромно, так, будто был одним из них и все они делали общее дело. Мне кажется, он сумел внушить каждому из присутствующих ощущение важности — огромной важности — того, что они делают или могут сделать. Он не льстил им, он очень тонко требовал от них выполнения их моральных обязательств. Когда он кончил, в комнате царила удивительная атмосфера тишины, задумчивости, благодарности, словно — тут, пожалуй, будет уместна и эта избитая фраза — все ощущали, что им оказана высокая честь.

И все же… насколько изменился его тон по сравнению с тем, каким он был лишь несколько лет назад. Лишь несколько лет назад мы все при-

нимали участие в походе на Вашингтон[20].

Около двухсот пятидесяти тысяч человек явилось в столицу страны, чтобы подать своему правительству петицию, требуя у него помощи. Они явились со всех концов страны, люди самого разного положения, в самой разной одежде и во всевозможных экипажах. Даже скептик вроде меня, имевший все основания сомневаться в том, что петиция будет выслушана, в том, что это вообще возможно, все-таки не мог не заразиться страстью такого множества людей, собравшихся тут ради этой цели. Их страсть заставляла забывать, что насмерть перепуганный Вашингтон запер свои двери и бежал, что многие политики не уехали только из страха оказаться не у дел и что правительство шло на все, лишь бы воспрепятствовать походу, — даже зондировало, не соглашусь ли я, не имевший никакого отношения к его организации, пустить в ход свое влияние и сорвать поход. (Я ответил, что даже то небольшое влияние, какое у меня, возможно, есть, я никогда

[20] Примечания: 20

нием; проводились демонстрации на местах, в ходе которых шел сбор подписей под петицией, требовавшей от конгресса немедленного одобрения нового закона о правах. Петиция была вручена 28 августа у памятника Линкольну. При вручении Кинг произнес знаменитую речь «Есть у меня мечта», вошедшую в одноименный сборник его выступлений, изданный в СССР (М., 1970).

не использую против похода; и, пожалуй, именно для того, чтобы доказать это, я возглавил парижский поход на Вашингтон — от американской церкви до американского посольства — и привез с собой из Парижа воззвание с тысячью подписей. Интересно, где оно теперь?)

Несмотря на все, о чем ты знал и чего опасался, это был волнующий момент — несмотря на все, пробуждалась надежда, что нужды и чаяния людей, раскрытые с такой обнаженностью и яростью, с таким достоинством, не будут снова преданы.

Мартин в тот день говорил с удивительной проникновенностью. Марлон (который нес пастуший кнут, чтобы обличать всю гнусность Юга), Сидней Пуатье, Гарри Белафонте, Чарлтон Хестон и еще некоторые из нас должны были уехать на радиостудию, а потому выступление Мартина мы смотрели и слушали по телевизору. Мы сидели в полном молчании, и слушали Мартина, и ощущали, как вздымается к нему волна человеческих чувств, преображая его, преображая нас. Мартин поднял руку и произнес заключительную фразу своей речи: «Наконец свободен, наконец свобо-

ден, хвала всемогущему, наконец я свободен!»[21] В этот день на миг показалось, что мы достигли вершины и видим землю обетованную, — быть может, нам удастся воплотить мечту в жизнь, быть может, она перестанет быть видением, пригрезившимся в муках. С наступлением сумерек участники похода спокойно разошлись, как и было условлено. Вечером Сидней Пуатье повез нас ужинать по очень, очень тихому Вашингтону. Люди пришли в свою столицу, заявили о себе и ушли — больше уже никто не мог сомневаться в подлинности их страданий. По иронии судьбы из Вашингтона я отправился в лекционное турне, которое привело меня в Голливуд. И я был в Голливуде, когда недели две спустя зазвонил телефон и белая сотрудница КРР[22] почти в истерике сказала мне, что воскресную школу в Бирмингеме забросали бомбами и что четыре черные девочки убиты. Таков был первый ответ, который мы получили на нашу петицию.

Первоначальный план похода на Вашингтон

---

[21] Примечания: 21

Эти слова выгравированы и на памятнике Кингу, установленном на его могиле.

[22] Примечания: 22

КРР — Конгресс расового равенства, одна из националистических негритянских организаций.

был далеко не таким мирным — первоначально мы намеревались ложиться на взлетные дорожки аэропорта, перекрывать улицы, блокировать учреждения и, полностью парализовав город, оставаться в нем до тех пор, пока мы не вынудим правительство признать неотложность и справедливость наших требований. Малькольм саркастически относился к походу на Вашингтон и называл его трусливым компромиссом. Мне кажется, он был прав. Теперь, пять лет спустя, Мартин был на пять лет более усталым и более печальным и все еще подавал петиции. Но стоявшая за ним сила исчезла, ибо люди больше не верили в свои петиции, не верили в свое правительство. Поход на Вашингтон в том виде, какой он в конце концов принял — или, если употребить выражение Малькольма, до какого он был «разжижен», — опирался на предпосылку, будто мирные средства дадут наилучшие результаты. Однако пять лет спустя трудно было поверить, что даже лобовая атака на столицу могла бы породить больше кровопролитий и отчаяния. Пять лет спустя стало ясно, что мы только отсрочили — не к своей выгоде — час страшного расчета.

Этот жаркий день в Палм-Спрингсе я не забуду

вовек. Мы с Билли Уильямсом[23] и журналисткой, которая пришла брать интервью по поводу нашего фильма, сидели за рюмкой у плавательного бассейна. Уолтер, мой шофер и повар, начал готовить ужин. Журналистка встала, мы проводили ее до машины и вернулись в самом ликующем настроении.

Телефон был вынесен к бассейну, и теперь он зазвонил. Билли на противоположной стороне бассейна выделывал какую-то африканскую импровизацию под пластинку Ареты Франклин. Трубку взял я.

Звонил Дэвид Моузес. Я не сразу воспринял звук его голоса — вернее, что-то в его голосе.

Он сказал:

— Джимми? В Мартина стреляли.

Кажется, я ничего не сказал и ничего не почувствовал. Я даже не уверен, что понял, о каком Мартине он говорит. И тем не менее, хотя я знаю, что пластинка еще крутилась — во всяком случае, так мне кажется, — вдруг наступила полная тишина. Дэвид сказал:

— Он еще жив.

Вот тут я понял, о каком Мартине он говорит. —

---

[23] Примечания: 23
Актер, которого Болдуин предлагал на роль Малькольма Экса.

Но он ранен в голову… и…

Не помню, что я сказал, но несомненно, я что-то сказал. Билли и Уолтер смотрели на меня, и я передал им слова Дэвида.

Конец вечера полностью изгладился из моей памяти. Если у нас был телевизор, то, конечно, мы его включили, но я не помню. Впрочем, телевизор у нас, наверное, был. Я помню, что плакал — урывками, скорее от бессильной ярости, чем от горя, — а Билли меня утешал. Но нет, я этого вечера не помню. Говорили, что всю ночь вокруг дома ездила какая-то машина.

Одно я в Голливуде узнал доподлинно: как бесцеремонно распоряжаются поставщиками массовой культуры. Обработка сознания производится с таким совершенством, что грубая, жестокая реальность перед ней бессильна. Разоблачение коррупции в высших государственных учреждениях — например, недавние «скандалы» в Нью-Джерси — никак не действует на американское самодовольство. И ни одно из недавних политических убийств не произвело ни малейшего впечатления, они только подтолкнули американцев обзаводиться оружием — тем самым доказывая свою «веру» в силы закона и порядка — и ставить на дверях двойные замки.

Без сомнения, за этими запертыми дверьми они, положив оружие поближе, включают телевизор и развлекаются какой-нибудь успокоительной фебе-эровской сказочкой. А потому бессмысленно втолковывать столь хорошо герметизировавшимся людям, что в гетто силы преступного мира и силы закона и порядка работают рука об руку, терзая его и днем и ночью. Бессмысленно втолковывать, что в глазах черных, в глазах бедняков полицейский и преступник различаются главным образом костюмами. Преступник вламывается в дом без предупреждения, когда хочет, издевается над всеми, кто там живет, и не останавливается перед убийством — как и полицейские. Тот, кто пробует заниматься в гетто темными делишками, не откупаясь от полиции, занимается ими недолго, и следует помнить, что торговля наркотиками долгие годы процветала в гетто без каких-либо серьезных помех. И только когда наркомания стала распространяться среди белых девочек и мальчиков, когда эпидемия поползла из гетто в другие районы, как всегда бывает с эпидемиями, только тогда общественное мнение наконец возмутилось. Пока же губили себя одни черномазые, щедро платя белым за эту привилегию, силы закона и порядка храни-

ли безмолвие. Сама структура гетто открывает широчайшие возможности для преступлений любого типа: человек, который удержится от соблазна эксплуатировать слабых и беспомощных, — большая редкость. Домовладельца никто не ставит перед необходимостью содержать его собственность в хорошем состоянии, он признает только одну необходимость — получать квартирную плату, то есть грабить гетто. У мясника нет необходимости быть честным — если можно сбыть испорченное мясо с прибылью, тем лучше! Покупай дешево, продавай дорого — вот политика, которой наша страна обязана своим величием. Если лавочнику удается продать в рассрочку скверненький «спальный гарнитур» в шесть-семь раз дороже его реальной цены, что может помешать ему? И кто будет выслушивать жалобы его клиента даже в том маловероятном случае, когда клиент будет знать, куда следует обращаться с жалобой? Кроме того, гетто — золотое дно для страховых обществ. Десять центов в неделю в течение пяти, или десяти, или двадцати лет — это немалая сумма, но похороны, оплаченные страховым обществом, — большая редкость. Сам я не знаю ни об одном таком случае. Одна моя родственница много лет выплачивала страховой

взнос по десять центов в неделю, но в конце концов мы уговорили ее бросить это и аннулировать страховой полис, по которому уже причиталось свыше двухсот долларов. Разрешите мне заявить откровенно (и тут я говорю не только от своего имени!), что всякий раз, когда я слышу, как черных в нашей стране называют «безалаберными» и «лентяями», каждый раз, когда кто-то дает понять, будто черные иного положения и не заслуживают, я всякий раз думаю о тех муках и поте, в которых были заработаны эти засаленные монетки, о том, с какой доверчивостью их отдавали, чтобы облегчить заботы живых, чтобы почтить мертвых, и тогда я не испытываю ни малейшего сострадания к моей стране и моим соотечественникам.

И вот в этот водоворот, в этот современный усовершенствованный вариант поселка рабов, в этот предварительный набросок концентрационного лагеря мы помещаем — вооружив его не для защиты гетто, а для защиты американских капиталовложений там — безликого американского юнца, ответственного только перед таким же безликим пожилым патриотом. Ричард Гаррис в статье «Поворотный момент», опубликованной в «Нью-Йоркер», замечает: «Еще в 1969 году об-

следование трехсот полицейских управлений в стране выявило, что лишь в двух-трех из них для поступления на службу требовалось законченное среднее образование».

Белый полицейский в гетто невежествен, напуган и убежден, что полицейская работа сводится к тому, чтобы держать туземцев в кулаке. Он не несет перед этими туземцами никакой ответственности и знает, что его коллеги, оберегая честь мундира, грудью встанут на его защиту, что бы он ни натворил. После окончания рабочего дня он отправляется к себе домой и крепко спит в своей постели в десятке миль от черномазых — именно так он называет про себя черных…

В нашей стране и особенно в наше время поколения расцветают, зреют и вянут поистине со скоростью света. Не думаю, что за этим кроются только ощущения, неизбежно присущие пожилому возрасту, — нет, мне кажется, в структуре, в самой природе времени произошли какие-то радикальные изменения. Еще можно сказать, что ясные образы отсутствуют: все накладывается на что-то другое, все ведет войну с чем-то еще. Нет ясных перспектив: дорога, которая как будто уводит тебя в будущее, одновременно возвращает тебя назад, в прошлое. Я, во всяком случае,

ощущал себя калейдоскопично раздробленным, когда ходил по улицам Сан-Франциско, пытаясь расшифровать, как мое сознание воспринимает разрозненные элементы, в которых я запутался и которые спутались вокруг меня…

В первый раз я побывал в Сан-Франциско в разгар борьбы за гражданские права, сначала по заданию «Эсквайра», потом во время лекционного турне. Тогда «детей цветов»[24] там не было и в помине — только студенты, полные энергии и самых серьезных намерений, которые озабоченно спрашивали, что они могли бы «сделать». Как отнесутся черные к тому, что белые ребята придут в их район и будут… брататься — другого слова, пожалуй, нет — с черными ребятами в бильярдных, в барах и закусочных? Как отнесутся черные к тому, что некоторые из них, белых, зайдут в церковь для черных? Можно им пригласить черных верующих в белые церкви или черные будут чувствовать себя там неловко? Ведь неплохо было бы устроить встречу черных и белых баскетбольных команд? А на танцах потом все

[24] Примечания: 24

«Детьми цветов» в США называют (из-за ранней приверженности к наркотикам, а также ввиду исповедуемых ими принципов любви и братства всех людей) представителей молодежи из средних классов, бунтующей против потребительского общества и культивирующей идеалы, близкие к анархистским.

будет прекрасно, потому что каждый придет со своей девушкой. Как я думаю, стоит ли им на лето поехать на Юг и принять участие в регистрации избирателей или лучше остаться тут и работать в своих округах? Они хотят устроить дискуссию о сегрегации в жилищном вопросе — не соглашусь ли я выступить, а потом ответить на вопросы? Что делать, если люди старшего поколения по-настоящему хорошие, но только… ну, не понимают сути современных проблем, — что им говорить? Как поступать? А черные ребята: тут совсем другой образ жизни, это же надо учитывать. И то, что многие черные плевать на вас хотят, это тоже надо учитывать. Я-то знаю, что моя мать к вам в церковь не пойдет, в нашей церкви куда больше жизни. Мистер Б., что вы думаете об интеграции? Вам не кажется, что это просто ловушка, средство заморочить черным голову? Значит, если после баскетбольной встречи мы устроим танцы, каждый будет весь вечер танцевать только с одной девушкой? А белые как же? Ну, они пусть танцуют с твоей девушкой. Смех, смущение, растерянное недоброжелательство. Мистер Б., а как вы относитесь к смешанным бракам?

Настоящие вопросы нередко задают в нелепой форме, и ответить на них, возможно, способен

лишь тот, кто спрашивает, причем только со временем. Но настоящие вопросы, особенно если их задает молодежь, всегда очень трогают, и я никогда не забуду лиц этих детей. Перед ними стояли трудные вопросы, но им как будто нравилось искать ответы. Правда, белые студенты, казалось, относились к черным студентам с некоторой опаской и растерянностью, а кроме того, они то и дело бессознательно и по-разному демонстрировали, как глубоко их развратила доктрина белого превосходства.

Особенно же белых студентов угнетал — ну, может быть, «угнетал» в данном случае слишком сильное слово, — особенно их смущал и заставлял задумываться малообещающий характер открытых перед ними возможностей. Нет, не то чтобы они сравнивали свои возможности с возможностями черных студентов и терялись из-за очевидного неравенства шансов в чисто практическом отношении. Наоборот, они словно бы ощущали, кто смутно, а кто с отчаянием, что роли, которые им предстояло играть как белым, были не слишком наполнены внутренним смыслом и, пожалуй, — по той же причине — не слишком почетны. Помню одного мальчика, которого уже ждало место в административном

аппарате крупной авиакомпании — небесная карьера, уныло шутил он. Но он не знал, сумеет ли он «остаться собой», сумеет ли сохранить уважение тех, кто уважает его теперь. Другими словами, он надеялся, что все-таки не превратится из человека в автомат, и явно опасался самого худшего. Он, как и многие другие студенты, был вынужден выбирать между изменой и неприкаянностью. Если они искренне верили в свои моральные обязательства по отношению к брату с более темной кожей — настолько, чтобы действовать, исходя из них, — они тем самым вступали в конфликт со всем, что любили прежде, что формировало их личности; эти обязательства лишали их настоящее и тем более будущее какой бы то ни было определенности и даже ставили под угрозу их жизнь. Они отнюдь не осуждали американское государство и не отрекались от него как от тиранического или безнравственного — нет, их просто томила глубокая тревога. Они осознавали, насколько скептически черные относятся к таким порывам белых, недвусмысленно показывая, что ни в чем на белых не полагаются. И не могли положиться до тех пор, пока белые не отдадут себе более ясного отчета, на что они, собственно, идут. Садясь в Поезд Свободы они не

задумывались о том, что положение черных в Америке — всего лишь один из аспектов фальшивой природы американского образа жизни. Они не ожидали, что будут вынуждены с такой беспощадностью судить собственных родителей, все старшее поколение и свою историю, а кроме того, они не осознавали, как дешево в конечном счете ценят правители республики их белые жизни. Встав на защиту отвергнутых и обездоленных, они вдруг увидели масштабы собственного отчуждения и собственную невообразимую бедность. Они пользовались привилегиями и могли быть уверены в завтрашнем дне лишь до тех пор, пока послушно выполняли то, что от них требовали. Но при этом их воспитывали в убеждении, будто они свободны.

В следующий раз я приехал в Сан-Франциско в эпоху «детей цветов», когда все — молодые и не такие уж молодые люди — чудили, как только могли. «Дети цветов» заполонили район Хейт-Эшбери и заполонили бы весь Сан-Франциско, если бы не бдительность полиции, — длинноволосые, в длинных одеяниях, перебирающие четки, они воображали, будто сопротивляются чему-то, и, несмотря на жесткий, умный скепсис, такой же размагничивающий, как и неопровержимый,

по-настоящему терзались надеждой на любовь. И нельзя было ставить им в вину, что их наряд и жаргон точно указывали, какое расстояние им еще предстоит преодолеть, прежде чем они достигнут зрелости, которая делает любовь возможной — или же больше уже невозможной. Они родились в обществе, где достичь этого невероятно трудно, где ничто не вызывает такого презрения и страха, как понятие душевной зрелости. Во всяком случае, их цветы бросали прямой вызов американской романтике пистолета, их кротость, пусть своеобразная, была прямым отрицанием американского преклонения перед насилием. Но, увы, они выглядели обреченными.

Колесо истории описало полный круг. Внуки ковбоев, которые истребляли индейцев, потомки авантюристов, которые обратили черных в рабство, жаждали сложить мечи и щиты. У меня было такое ощущение, словно я читаю по губам крик отчаяния.

«Дети цветов», казалось, всем своим существом знали, что черные — их отвергнутые братья, казалось даже, терпеливо ждали, чтобы черные признали, что они отреклись от своего дома. Они ушли на улицы в надежде обрести цельность. Они сделали первый шаг, они сказали «нет!».

Сумеют ли они сделать и второй шаг, более трудный, скажут ли они «да!» — этот вопрос очень занимал меня, как, по-видимому, и всех туристов, а также всех полицейских в этом районе…

Но черные не испытывали никакого доверия к этим смятенным белым мальчикам и девочкам. У черных были заботы иного порядка: им приходилось думать о чем-то несравненно большем, чем личное счастье или тоска. Они понимали, что эти смятенные белые могут вдруг решить, что пора успокоиться, и уедут домой — а уехав, станут врагами. Вот почему не следует слишком откровенно говорить с незнакомцами, которые говорят с тобой слишком уж откровенно, — и тем более на улицах страны, которая имеет больше наемных доносчиков и внутри и вне своих границ, чем любое другое государство в истории.

Конфронтация черных и белых, враждебная ли, как в больших городах и в профессиональных союзах, или же имеющая целью образование общего фронта и создание основ нового общества, как у студентов и радикалов, имеет решающее значение, поскольку в ней заложен облик американского будущего и единственный зачаток по-настоящему значимой американской личности. Никому точно не известно, как имен-

но выковывается личность, но можно смело утверждать, что личности не придумываются; по-видимому, личность слагается в процессе того, как данный человек воспринимает и использует свой опыт. Это длительный, в чем-то обескураживающий и очень трудный процесс. Например, когда я был молод, слово «черный» воспринималось как оскорбление. Но теперь черные взяли себе это еще недавно уничижительное определение, сделали его своим девизом и почетным эпитетом. Они учат своих детей гордиться тем, что они — черные…

Белые убивали черных за отказ произнести слово «сэр», но им было нужно подтверждение их достоинства и власти, а вовсе не труп и тем более не липкая кровь. Когда над сознанием черного перестают тяготеть фантазии белых, возникает новое равновесие, или, иными словами, начинает ощущаться беспрецедентное неравенство, так как белый уже не знает, кто он такой, а черный знает, кто такие они оба. Ведь если трудно освободиться от позорного клейма черноты, то не менее, если не более, трудно преодолеть предрассудки белости. И в то время, как черный гордится своим новообретенным цветом, который наконец-то стал его собственным, и утверждает (не всегда с

чрезмерной деликатностью) значимость и силу своего «я» — даже на краю гибели, белый нередко чувствует себя оскорбленным и очень часто насмерть перепуганным. У него в конечном счете есть все основания не только устать от самого понятия цвета кожи, но и тревожиться при мысли о том, чем может обернуться это понятие, если оно попадет, так сказать, не в те руки. И опасаться есть чего, однако суть в другом: рано или поздно черные и белые должны были достичь этих невероятных высот напряжения. И только когда мы проживем этот момент, нам станет ясно, чем нас сделала наша история.

Лестер Коул
ГОЛЛИВУДСКИЙ КРАСНЫЙ[25]

В октябре 1947 года комиссия конгресса по расследованию антиамериканской деятельности обвинила десять голливудских сценаристов и режиссеров в неуважении к конгрессу. В первые дни ведущие газеты резко критиковали цели и методы комиссии, и те из нас, кому было

[25] Примечания: 25

© Lester Cole, 1981. Hollywood Red: The Biography of Lester Cole. Ramparts Press, 1981.

предъявлено обвинение, черпали ободрение и уверенность в такой широкой общественной поддержке.

Но примерно через неделю конгресс, стоявший на позициях «холодной войны», подавляющим числом голосов поддержал это обвинение. И тон газет начал стремительно меняться. Недавние негодующие защитники первой поправки к конституции уже не посвящали случившемуся редакционных статей, ограничиваясь «объективным репортажем».

За годы, протекшие с тех пор, о «голливудской десятке», как нас называли, было написано без малого два десятка книг. В первых из них мы чаще фигурировали в качестве эдакой помеси злодеев и дураков или — в лучшем случае — выглядели чудаками, людьми, не сумевшими найти свое место в обществе. Позднее, для ученых нового поколения, мы стали предметом более серьезных исследований. Но и у них были свои политические предубеждения и пристрастия, определявшие — порой завуалированно, иногда с полной очевидностью — трактовку материала. И хотя некоторые из этих книг были написаны умело и правдиво, представляли они взгляд со стороны. Эти историки и журналисты не могли

знать доподлинно, что думали и чувствовали те, кто последовательно боролся против обвинений комиссии вплоть до Верховного суда и после трех лет борьбы подвергся тюремному заключению. Они, сторонние, были неспособны приобщить читателя к конфликтам, которые нам довелось пережить, — конфликтам с друзьями, с близкими, с самими собой, — пока мы отстаивали свои принципы и убеждения, еще не вполне сознавая, какие страдания, унижения, душевные муки и кары ждут нас впереди.

В «Голливудском красном» рассказывается о том, как следовал своим принципам и убеждениям автор этих строк. При взгляде со стороны невозможно по-настоящему оценить радость побед в такой борьбе, дружбу и верность, которые она помогает узнать — равно как и сопряженные с ней неудачи, предательства, разочарования в былых товарищах, подчас и в самом себе. Я старался рассказать обо всем этом откровенно, останавливаясь не только на победах, но и на поражениях.

1

Март 1932 года. В полном разгаре невиданная депрессия, сковавшая экономическую жизнь

страны. Десять миллионов людей внезапно оказались без работы. Во всех больших и малых городах страны измученные голодом мужчины, женщины, дети стоят в бесконечных очередях за миской благотворительного супа, сотни тысяч людей выброшены на улицы, потому что им нечем было платить за квартиру. Сам я еще не провалился в эту черную пропасть, но оказался уже на самом ее краю, когда мне неожиданно улыбнулась удача. Моя вторая пьеса наделала такого шума, что три голливудские кинокомпании предложили мне работу по контракту. Я выбрал «Парамаунт» — двести пятьдесят долларов в неделю в течение пяти лет с прибавкой в пятьдесят долларов каждые полгода. Правда, в контракте была статья, дававшая им — но не мне! — право его расторгнуть, но тогда я еще не знал, чем может обернуться подобное неравенство.

На Центральном вокзале в Нью-Йорке мои друзья обнимали меня на прощание, а я заверял их, что презираю кино. Театр — моя единственная любовь, я вернусь на премьеру своей пьесы, а потом напишу еще одну, и еще одну, и еще…

Утром я проснулся в Чикаго, где мне предстояла пересадка на трансконтинентальный экспресс. И вот я стою на перроне перед составом из две-

надцати сверкающих вагонов. До отправления остается пятнадцать минут, а кругом — ни души. Это меня смутило. Может быть, я ошибся? Однако проводник заверил меня, что все в полном порядке.

— Но где же пассажиры? — спросил я с недоумением.

— Уже в своих купе. Оба, — ответил он и добавил: — А вы — все остальные пассажиры.

Знаменитый экспресс повезет на запад страны только троих пассажиров! Но я знал, что отправляемся туда не только мы трое. Сотни тысяч людей с жалкими узелками на спине брели из никуда в никуда по дорогам и железнодорожным путям, надеясь найти хоть какую-то работу. Бездомные мужчины, женщины, дети просили милостыню или крали, чтобы не умереть с голоду. А я мчусь в купе люкс. И вдруг я словно услышал голос своего отца, шестнадцатилетним пареньком эмигрировавшего в Америку из маленького местечка под Варшавой. Казалось, он и поздравляет, и предостерегает меня: «Знай, сынок, удача выпадает, может быть, один раз на миллион, но не на долю рабочих. А потому помни: сколько бы тебе ни платили за твой труд, это всегда будет меньше, чем ты заработал. Раз-

ница и есть прибыль — та часть твоего труда, которую присваивает хозяин».

Словно и не прошли эти двадцать лет, и я слушаю, как он объясняет своим друзьям на скамейке в парке, что такое марксизм, или же, стоя на ящике из-под мыла у станции надземки, агитирует выходящих из поезда рабочих, призывает их объединяться, организовывать профсоюзы, быть людьми, а не рабами. А для этого на выборах нью-йоркского мэра надо голосовать за кандидата социалистов. Меня особенно поражало, что он продолжал говорить, даже если возле его ящика останавливались двое-трое, а то и один человек.

2

В киностудии любезный редактор сценарного отдела показал мне мой кабинет в «сценарном корпусе» и посоветовал освоиться с обстановкой, пока мне не подберут задание. Оно оказалось очень легким: один эпизод в фильме о чудаковатом миллионере, который перед смертью решает раздать все свои деньги — по миллиону — самым разным, наугад выбранным людям. Мне был поручен эпизод с персонажем, обвиненным в убийстве. Чек на миллион долларов он получает накануне казни. Уж не помню, что произошло

дальше.

Эпизод был одобрен и снова потянулось ожидание. Но вот удача, в которую трудно было поверить. Меня пригласил режиссер Барни Глейзер и сказал, что ему предстоит снимать самый престижный фильм студии в этом году и он убежден, что сценарий следует поручить мне. Он видел ленту с моим эпизодом и почувствовал в нем то «нечто», что видится ему в авторе нового сценария. И с улыбкой протянул мне книгу, которую предстояло экранизировать. «Прощай, оружие!» Хемингуэя! Я онемел, а он ободряюще улыбнулся.

— Но только, Коул, пусть это будет между нами. Ни слова никому. Наверное, вы уже заметили, что сценаристы — народ своеобразный. Зависть, интриги, подножки — ну, вы, понимаете.

Такое задание — и новичку! Так что никому ни слова, даже близким друзьям.

Я обещал. И поблагодарил его за доверие. А потом побежал к себе и принялся перечитывать книгу. Почти сразу же позвонил Глейзер:

— Я забыл вас предупредить. Сначала представьте мне развернутый проспект страниц на пятьдесят-шестьдесят. Основные эпизоды и прикидка диалога. Ну, вы понимаете.

Я не понимал, но отправился в библиотеку, взял несколько развернутых проспектов и прочел их. Технически несложно, но как претворить литературную прозу в зрительные образы? Работал круглые сутки, целиком поглощенный этой задачей. Когда страниц двадцать было готово, в самый разгар творческой лихорадки ко мне постучали. Вошел высокий худой человек, которого я не раз видел в столовой, — сдержанный, замкнутый, редко улыбающийся.

— Лестер Коул? — Я кивнул, и он протянул мне руку. — Я Джо Марч.

Джозеф Монкер Марч! Теперь он, возможно, забыт, но в двадцатые годы его иронические стихи пользовались большой известностью. Неужели он зашел ко мне просто познакомиться? Я был польщен, но вскоре выяснилось, что привела его сюда другая причина.

— А я знаю, над чем вы работаете!

Растерявшись, я пробормотал что-то невнятное. Как он мог узнать?

— И Глейзер просил вас свято хранить все в тайне, верно?

— Откуда вы знаете? — выпалил я, растерявшись.

— А он и меня просил о том же самом. — Марч

усмехнулся. — Да, мне дано то же задание. И учтите, это вовсе не конкурс между нами на лучший вариант. Что бы мы с вами ни написали, он наши проспекты даже читать не станет. Вам знакомо слово «бизнес»? Глейзер не хуже и не лучше остальных. Честных продюсеров в кинопромышленности можно пересчитать по пальцам одной руки. А подоплека нашей с вами ситуации такова: на главную роль приглашен Гарри Купер, деньги ему уже выплачивают, а он простаивает, и контора требует от Глейзера рабочий сценарий. Чтобы продемонстрировать свое рвение, он привлек не одного, а сразу двух сценаристов и заставляет их потеть день и ночь. На самом же деле — тянет время, пока не освободится тот, кому он действительно намерен поручить сценарий. А тогда и вы и я будем сразу же от этой работы отстранены.

— Так зачем же мы сейчас надрываемся? — растерянно спросил я.

— Ну, я-то отнюдь не надрываюсь, а работаю над собственной книгой. Советую и вам заняться чем-нибудь своим. — Он улыбнулся и ушел.

Я не знал, что делать. Обличить Глейзера? Но он отопрется. И еще жаловался на подножки, интриги! Подлость и подлость. Вся кинопро-

мышленность прогнила насквозь. Я тяжело переживал свое унизительное положение. Но вскоре мне пришлось узнать, каким унижениям подвергается большинство сценаристов. То, что проделали со мной, было по сравнению с этим сущими пустяками.

3

Не следует забывать, что тогда в Голливуде был только один большой профсоюз — Международная ассоциация рабочих сцены. Возник он, разумеется, в театрах Нью-Йорка, но затем соприкоснулся и с кинопромышленностью, принимая в свои члены киномехаников. Это был влиятельный профсоюз, но его руководство, затем попавшее в руки мафии, уже давно продалось предпринимателям, соглашаясь на кабальные контракты для своих членов и получая за это солидный куш.

В январе 1933 года кинокомпании объявили о значительном понижении заработной платы всем своим служащим. Тут члены Ассоциации впервые пошли против своего руководства и проголосовали против понижения. Победа осталась за ними. Тогда же во всех студиях были созваны совещания сценаристов, актеров и режиссеров.

Перед нами выступил представитель администрации и, взяв доверительный тон, сразу воззвал к нашим лучшим чувствам. Кинопромышленность, которую мы все так любим, находится в тяжелейшем положении, депрессия углубляется, и, хотя кассовые сборы пока катастрофически не понизились, надо, чтобы мы все, творцы и художники, были к этому готовы. Американский народ ждет от своих художников жертвы. Но жертва эта была бы не столь велика, если бы не чужеродный элемент в киностудиях — если бы не Ассоциация. Поскольку ее члены навязали администрации свой контракт, у администрации нет иного выхода, и она просит нас, своих творческих работников, в интересах страны согласиться на немедленное пятидесятипроцентное сокращение сумм, обозначенных в наших контрактах.

Мы расходились ошеломленные, негодующие. Брайен Марлоу, еще один сценарист из Нью-Йорка, с которым я подружился, поглядел на меня с улыбкой:

— Ну и дурак! Он же сам подсказал нам, что делать, правда?

— Разжевал и в рот положил, — кивнул я и вспомнил отца: настал мой черед влезть на ящик из-под мыла — здесь, в Голливуде!

До конца вечера и добрую часть ночи мы обзванивали всех, кого могли, и зачитывали им предварительное заявление. В конце концов его подписали десять сценаристов. На другой день мы встретились, окончательно отредактировали текст, размножили его на мимеографе и разослали по студиям. В нем мы предлагали организовать Гильдию кинодраматургов и категорически отвергали «рекомендованное» администрацией сокращение нашего жалованья на пятьдесят процентов.

Наш документ произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Такой протест потряс администрацию, и его инициаторов, конечно, тут же объявили коммунистами, большевиками, которые стремятся подорвать кинопромышленность.

Однако настроение подавляющего большинства сценаристов было таким, что эти ярлычки никого не испугали — во всяком случае, тогда. «Преступления» нашей первой «голливудской десятки» были именно теми, которые инкриминировались второй «десятке» четырнадцать лет спустя. Мы организовали творческий профсоюз — акция поистине «революционная», а позднее некоторые из нас принимали активное участие в деятельности антифашистских организаций и

проводили по всей стране сбор средств для Интернациональной бригады, в помощь испанскому народу, сражавшемуся против Франко, Гитлера и Муссолини. Но среди членов этой первой «десятки» не было ни одного коммуниста, как не было их тогда среди наших знакомых. Председателем Гильдии мы единодушно выбрали Джона Говарда Лоусона. Это произошло в 1933 году, а в коммунистическую партию он вступил только в 1936 году.

На первом собрании нашей Гильдии присутствовало около трехсот человек, и в Гильдию вступили сто два из них. Десять месяцев спустя в ней состояло уже триста сорок три члена.

А на исходе 1934 года, когда моя активная деятельность в Гильдии принесла мне некоторую известность, меня навестили два члена коммунистической партии и пригласили принять участие в занятиях кружка по изучению марксизма, считая, что, познакомившись с философией Маркса и Энгельса, я обязательно захочу вступить в партию.

Это было время прихода Гитлера к власти, время пожара рейхстага и позорного суда над Димитровым по сфабрикованным обвинениям. Призыв Димитрова к организации всемирного

фронта борьбы с фашизмом вызвал у меня глубочайшее сочувствие.

4

Происходили перемены и внутри страны. Некоторые продюсеры обнаружили, что доходными могут быть не только глупые сказочки, уводящие от действительности. Как ни пугали их идеи и социальная реальность, заложенные в новой кинотематике, соблазн завоевания новой сферы получения прибылей был настолько велик, что превозмогал все опасения. Однако показ нищеты, безработицы, голода и бездомности не только привлекал миллионы зрителей, видевших на экране самих себя, но — как и боялись кинопромышленники — будил в них сознательность, воспитывал чувство собственного достоинства, учил простых людей мужеству и борьбе.

В 1937 году вышел подлинно революционный фильм — «Жизнь Золя» с Полем Муни в главной роли. Власти и военная элита разоблачались в нем с полной беспощадностью как преступные тираны, не останавливающиеся ни перед чем, лишь бы сохранить привилегии правящего класса, обрисованного столь же беспощадно. Затем последовали снятый по сценарию Лоусона фильм

«Блокада» — о войне испанского народа против Франко — и «Хуарес», с глубоким реализмом изображавший революцию, покончившую в прошлом веке с европейским колониальным господством в Мексике.

Однако было бы большим заблуждением полагать, будто такие разоблачения власть имущих как-либо влияли на людей, выпускавших эти фильмы!

Были и другие признаки того, что действительно наступило «наше время». На выборах калифорнийского губернатора в 1938 году мы были в числе тех, кто поддерживал Калберта Олсена, либерального кандидата, заручившись его обещанием освободить Тома Муни и Уоррена Биллингса, двух активных профсоюзных деятелей в Сан-Франциско, которые в 1917 году были приговорены к пожизненному заключению по сфабрикованному обвинению.

Двадцать два года безвинно в тюрьме — это такая вопиющая несправедливость, такой возмутительный произвол, что дело Тома Муни давно стало для нас в один ряд с юридическим убийством Сакко и Ванцетти и расправой над восемью черными юношами в Скоттсборо.

В тот день, когда Олсен был приведен к прися-

ге, как губернатор он исполнил свое обещание, и на следующее утро мы — все те, кто принимал активное участие в работе «комитета по освобождению Муни и Биллингса», — поехали в тюрьму Сан-Квентин. Нас впустили во двор, и мы столпились у двери, из которой должен был выйти Муни. Минуты напряженного ожидания — и вот на пороге появился Том Муни и раздались оглушительные радостные крики приветствий. Десятки людей кинулись обнимать его и пожимать ему руку. Но к ощущению победы примешивалась грусть — таким постаревшим и больным он выглядел. (Действительно через несколько месяцев он умер, не дождавшись освобождения своего товарища Биллингса.) И все же он не утратил способности улыбаться, принимать и дарить дружеское тепло и даже смеяться — после двадцати двух лет тюрьмы за преступление, которого он не совершал! Это производило необычайное впечатление, укрепляло мою решимость не прекращать борьбы за изменение системы, столь преступно нарушающей самые священные принципы правосудия.

Тогда же, в 1938 году, обострившееся положение в автопромышленности, беспорядки, сидячие забастовки и экономические трудности — более

десяти миллионов безработных — привели к победе республиканцев в конгрессе и к созданию комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, председателем которой стал честолюбивый техасец Мартин Дайс, заклятый реакционер. Объектом для первого своего нападения он избрал Голливуд — ему нужны были аршинные газетные заголовки. Многим наиболее влиятельным людям в сфере кино с самого начала стало ясно, что Дайс, хотя ему полагалось расследовать любую «антиамериканскую деятельность», не намерен заниматься растущими фашистскими организациями вроде ку-клукс-клана или Американского христианского крестового похода, а потому в кинопромышленности он столкнулся с таким единодушным отпором, что не нашел поддержки даже у продюсеров, несмотря на потуги зарождающихся правых группок, которые в недалеком будущем образовали голливудский Союз защиты американских идеалов.

5

День двадцать второго июня 1941 года был для всех американцев профашистских правых великим праздником. Наконец-то господь внял их молитвам и Гитлер бросил свои орды на Совет-

ский Союз. Тут же многие западные генералы и государственные мужи с плохо скрытым злорадством принялись предсказывать, что эти русские крестьяне и двух месяцев не продержатся против могучей машины вермахта, а после такой достославной победы у нас можно будет вышвырнуть вон президентскую прокоммунистическую шайку и всерьез взяться за полное очищение страны от всяких нежелательных лиц.

Но непонятно, каким образом эти «тупые мужики» не сдались, а шесть месяцев спустя бомбы обрушились на Пирл-Харбор, и мы вступили в войну, причем — господи помилуй! — как союзники этих самых безбожных коммунистов!

Теперь руководители кинопромышленности вдруг обнаружили, что русские героически сражаются против гитлеровских полчищ. Надо спешно браться за работу, надо показать истинную природу общего врага. А кому поручить это, как не антифашистам, которые, пусть «преждевременно», но хорошо изучили его природу?

Мы, еще недавно лишенные работы, были теперь нарасхват — ведь патриотический порыв вновь сулил киноворотилам прибыль.

На протяжении следующего года было снято по меньшей мере полдесятка первых просоветских

военных фильмов. В «Метро-Голдвин-Мейер», специализировавшейся прежде на антисоветской стряпне вроде «Ниночки», шла работа над сценарием «Песни о России», Джек Уорнер по просьбе президента Рузвельта с удовольствием взялся за экранизацию нашумевшей книги американского посла в СССР «Миссия в Москву», и даже «Парамаунт», заразившись этим новым духом, приобрела права на экранизацию сборника рассказов немецкого писателя-эмигранта о борьбе чешского Сопротивления против нацистских оккупантов.

Сценарий пригласили писать меня — это был первый из трех моих киносценариев о войне. Когда я приехал в студию, продюсер Бадди Де Сильва встретил меня очень приветливо. Он сказал, что режиссером будет Фрэнк Татл, ставивший в «Парамаунт» комедии и мелодрамы еще с дней немого кино. Я знал, что Фрэнк Татл был членом компартии, и решил, что найду в нем союзника, если у меня с Де Сильвой возникнут разногласия по каким-нибудь политическим проблемам. В помощники мне дали Фрэнка Батлера, одного из опытнейших сценаристов студии, очень милого человека, но совершенно далекого от политики.

Мы взялись за работу. Опыт Батлера, бесспорно,

сыграл большую роль при разрешении сложной задачи, которую ставила компоновка стройного сюжета и разработка характеров действующих лиц при объединении восьми рассказов в единое целое. Месяца через два мы подготовили черновой вариант сценария и передали его Де Сильве.

На следующий же день он пригласил нас к себе и рассыпался в похвалах и поздравлениях. Сценарий просто великолепен, сказал он, и не требует никаких доработок, кроме одной второстепенной детали — ну, сущей мелочи, с которой мы, конечно, без малейших затруднений справимся при окончательной шлифовке. Сигел, помощник Де Сильвы, энергично закивал, но Татл отвел глаза, и я почувствовал, что дело неладно.

Де Сильва поспешил сообщить нам приятную новость — на главную женскую роль приглашена Луиза Райнер. Она только что получила «Оскара», и кассовый успех обеспечен. Затем он перешел к распределению остальных ролей, а я сидел как на иголках, гадая, в чем заключается подвох. Но только под самый конец, словно вдруг вспомнив о каком-то вылетевшем из головы пустяке, Де Сильва сказал:

— Ах да. Маленькая переделка. Значит, так. Луиза Райнер у вас — дочка богатого чешского

промышленника, который сотрудничает с нацистами, верно?

Я выжидательно кивнул.

— Ну, папаша ее устраивает у вас званый вечер для нацистской сволочи. По-вашему, она их ненавидит. Для нее они убийцы, негодяи, последние преступники. Ей даже говорить с ними противно. Так?

— Так, — хором ответили Татл, Батлер и Сигел, а я кивнул, полный самых дурных предчувствий.

— Поэтому на следующий день она у вас тайно нащупывает связи с подпольем. Сперва ей не доверяют, но она доказывает свою верность. И, сотрудничая с ними, влюбляется в одного из подпольщиков. Верно?

Вновь дружное подтверждение, а у меня защемило сердце.

— Так вот, ребята, что надо переделать. Совсем простенько. На этот званый вечер — мы его, конечно, сохраним, — является красавец, сукин сын, коллаборационист, как ее папаша, то есть нам так кажется. А она в политике не разбирается, плевать ей на политику, и он для нее просто мужчина. Да такой, что у нее коленки подкашиваются. Она тут же прыгает с ним в постель, ну и он совсем ее покоряет. И только тогда мы узнаем,

что он притворяется коллаборационистом, а сам работает в подполье. Здорово? Ей на политику плевать, но она в него врезалась. Понятно? Тут вам все — и любовь, и секс, и политика. В подполье она пошла из-за любви, а не из-за этой интеллигентской политической чепухи. Вот и все. Единственная поправочка. А все остальное — прекрасно. Ну как?

— Вполне приемлемо, — сказал Фрэнк Батлер. Для него так оно и было.

Я посмотрел на Татла. Он выжидательно глядел на меня. Черт, подумал я, неужели он боится рот раскрыть? А ведь он у них больше двадцати лет числится в ведущих режиссерах!

— Бадди! — сказал я, стараясь выглядеть спокойно. (Думаю, мне это удалось.) — Фильма это не испортит, но, извините меня, полностью его перечеркнет. Видите ли, я пытаюсь показать, что не только мужчины, но и женщины способны найти в себе силы, чтобы восстать против жестокости и несправедливости. И у нас будет такая героиня, Бадди, а не просто еще одна похотливая бабенка.

Де Сильва сказал терпеливым тоном:

— Спустились бы вы с облаков на землю, малыш. Бабы — они все такие. У бабы — и принципы! Даже разговаривать об этом не стоит.

Я знал, что теряю эту работу, но слишком уж непристойной, слишком гнусной была такая «поправочка».

— Нет. Я категорически не согласен.

Он искренне удивился.

— Неужто вы все бросите из-за такого пустяка?

— Да, Бадди. Вы превращаете сценарий в избитую ремесленную поделку.

Татл смотрел в сторону, и я пошел к двери, но Де Сильва меня остановил.

— Погодите. Я знаю, вы в этот текст душу вложили, малыш.

Договоримся так: может, я не прав, может, не правы вы — давайте подумаем до завтра и уж тогда решим.

Я ушам своим не поверил. И был даже тронут.

— Спасибо, Бадди. Это разумно. Давайте оба подумаем.

— Отлично! — Он встал и протянул мне руку.

Мы ушли все втроем, и Батлер объявил, что ничего подобного еще ни разу не слышал, а Татл поздравил меня и сказал, что теперь будет поддерживать меня до конца.

Телефон на следующий день позвонил только после обеда. Я нервно снял трубку. Это был Де Сильва.

— Ну, решили? Впрочем, не отвечайте. Мы сделаем по-вашему. Так что беритесь с Фрэнком Батлером за дело и недельки через две представьте мне рабочий сценарий.

— Спасибо, Бадди! Сто раз спасибо. Это чудесно.

Татл и Батлер меня поздравили, а Татл сказал:

— Извините меня, Фрэнк, но тут Лестер в своей стихии, и Бадди это знает.

— Ия знаю, — великодушно ответил Батлер.

Работая буквально круглые сутки, мы сдали сценарий через три недели. Из студии я летел домой прямо как по воздуху. Победа, говорил я себе. Вот пример, чего можно добиться, если занять твердую принципиальную позицию, невзирая на риск потерять работу!

Несколько недель спустя я встретил Фрэнка Татла на каком-то собрании. Он явно смутился, торопливо поздоровался со мной и поспешил отойти.

Поняв, что совесть у него нечиста, я пошел за ним:

— В чем дело?

Он что-то забормотал, но я сказал, уже догадываясь, что произошло:

— Не виляйте! Что вы сделали со сценарием?

— Не я, Лестер! Я тут ни при чем, честное слово! Это Де Сильва. Он вас обвел вокруг пальца, но я тогда ничего не знал. Ему было нужно, чтобы вы докончили сценарий, а потом он просто велел Батлеру переписать эти два эпизода на его лад.

— И вы позволили?

— Но что я мог сделать? — искренне взмолился он.

— Я сказал, что лучше откажусь от работы. И вы могли бы…

— Да, конечно! — Он преисполнился праведного негодования. — Вы-то пришли со стороны, и вам это обошлось бы в трёхнедельный заработок. А у меня контракт! Есть маленькая разница!

Не такая уж она была маленькая. Я по опыту знал, насколько денежные соображения управляют всеми нами. Но время показало, что для одних из нас существовал какой-то предел, зато другие готовы были пасть как угодно низко, лишь бы не поступиться материальным благополучием.

— Но ведь контракт, — сказал я, — предоставляет вам право, как любому режиссеру или сценаристу, отказаться от задания, если вы считаете, что оно для вас не подходит.

В ответ он пробормотал что-то нечленораздельное:

— Да… однако… только… может быть…

— Только, может быть, — не выдержал я, — вы трус и лизоблюд?

Как и следовало ожидать, несколько лет спустя Фрэнк Татл, хотя он вполне обеспечен и почти уже ушел на покой, при самом легком нажиме включился в хор птичек, усердствовавших перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, и я был одним из главных мотивов его песенки.

6

Ленинградцы выдержали нацистскую блокаду с несравненным мужеством, вызвавшим восхищение во всем мире. Блистательно завершилась битва за Сталинград. В конце концов последовала высадка союзников в Нормандии. Все сильнее росло ощущение, что победа близка. Повсюду восхищались русскими — подавляющее число американцев считало их доблестными союзниками, и кое-какие продюсеры уже предвкушали прибыли от наших победных фильмов.

Но мини-война против нас в Голливуде не утихала. Нашими врагами были не только продюсеры, но и Международная ассоциация рабочих сцены, приобретшая в кинопромышленности

большое влияние. Ее руководители завоевали любовь правых листков, пообещав вести «беспощадную борьбу с коммунизмом и подрывными элементами в Голливуде». Однако газеты обходили молчанием историю о том, как эти руководители принимали взятки от продюсеров. Началась она еще в 1932 году в Чикаго, когда двое владельцев местных кинотеатров испугались возможности забастовки и откупились двадцатью тысячами долларов, вручив их руководству профсоюза киномехаников, который входил в Ассоциацию. Два года спустя этот профсоюз прибрал к рукам Аль Капоне, знаменитый чикагский гангстер.

Газетам следовало бы кричать о коррупции и засилии гангстеров в кинопромышленности, но они не сочли эту историю достойной расследования, а сосредоточились на усилиях «по борьбе с подрывной деятельностью в Голливуде». Активистов в нашей Гильдии мазали дегтем, и «Голливуд рипортер» начал печатать личные выпады против людей, известных своими прогрессивными взглядами. Херстовские газеты присоединились к этой травле, как только надежда на быструю победу нацистов над Советским Союзом рассеялась.

Весной 1945 года умер Рузвельт, и политические ветры быстро превратились в холодные, а вскоре и в леденящие. Под давлением реакционных сил, чье влияние в конгрессе становилось все ощутимее, Трумэн подписал распоряжение о «клятве в лояльности», которое формально касалось только государственных служащих, но вскоре было распространено на промышленность и на все учебные заведения.

Двадцать третьего сентября 1947 года, когда я зашел постричься в парикмахерскую студии, мне позвонил туда Эдди Мэнникс, администратор фильма, над сценарием которого я как раз начал работать. Его явно что-то очень развеселило.

— Лестер? У меня в кабинете судебный исполнитель с повесткой для тебя. — Он засмеялся. — Если хочешь улизнуть, я его задержу!

Хотя я из года в год ждал, что комиссия по расследованию антиамериканской деятельности наконец доберется и до меня, все равно к этому сообщению я не был готов.

— Улизнуть? Куда? — Я не сдержал истерического смешка. — Скажи ему, что я в парикмахерской, в третьем кресле от двери. Веди его сюда.

— Ты в своем уме? Надо сохранить это в тайне. Он подождет тебя здесь.

Внешне все прошло очень по-деловому: я назвал себя, и исполнитель вручил мне повестку. Я вернулся к себе в кабинет и позвонил Джеку Лоусону. Ему принесли повестку домой час назад.

— Кому еще? — спросил я.

— Не знаю.

К вечеру в стране не нашлось бы газеты, которая так или иначе не оповестила бы своих читателей о случившемся. Заголовки варьировались — от злобных воплей «Красные вовремя обезоружены: им не дали захватить Голливуд!» до более спокойных, оповещавших только о начинающихся слушаниях и называвших фамилии девятнадцати «враждебных» свидетелей, вызванных для дачи показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. (Среди этих девятнадцати были Альва Бесси, Бертольт Брехт, Ринг Ларднер Младший, Альберт Мальц и Дальтон Трамбо.)

Трудно описать страх, хаос, растерянность, охватившие нас. Моя жена была возмущена и очень боялась за меня. Майкла и Джефри, моих сыновей, перепугали сообщения по радио. Думаю, то же самое происходило в семьях остальных девятнадцати. Я отчаянно пытался представить все в розовом свете и уверял своих домашних, что

все это просто газетная шумиха, но, видимо, голос выдавал мою тревогу. Яростные нападки радиокомментаторов, жуткие намеки на сенсационные преступления, предсказания длительных сроков тюремного заключения… Мне становилось нехорошо при мысли о том, что на следующий день придется перенести мальчикам в школе!

В семь часов вечера мы собрались в доме режиссера Льюиса Майлстоуна, тоже получившего повестку. Надо было встретиться с адвокатами, согласившимися представлять нас, и выработать линию поведения. Но какую? По сути, речь шла о продолжении репрессий, начатых в 1940 году «законом Смита», запрещавшим деятельность коммунистической партии как «агента иностранной державы». Партия тогда ушла в подполье — вплоть до того момента, когда СССР стал нашим военным союзником. Теперь же реакционное отребье вроде ку-клукс-клана и правые элементы среди и демократов и республиканцев узрели возможность пробиться к власти на выборах 1948 года, сделав ставку на антикоммунизм — выигрышную карту в своей игре.

Я тихонько поглядывал на товарищей. Знаком я был со всеми, с некоторыми меня связывала давняя дружба. Многие из них были членами

компартии, с другими я встречался только в студиях. По меньшей мере трое в партии никогда не состояли.

Размышлять о том, почему и они угодили в сеть, времени не было. Адвокаты рекомендовали, чтобы мы отказывались отвечать на вопросы, ссылаясь на конституцию, и в частности на первую поправку к ней. Свобода слова подразумевает и свободу молчать, сказали они и объяснили подоплеку одного из правил, введенных комиссией: если, подтвердив свою личность (от чего уклоняться не следовало), свидетель затем ответит хотя бы еще на один вопрос, это накладывает на него обязательство отвечать на все остальные. Отказ в таком случае рассматривается как неуважение к конгрессу со всеми проистекающими отсюда последствиями. Но имеется даже худшая возможность: какой-нибудь член комиссии спросит, состояли ли вы когда-нибудь членом коммунистической партии, и вы честно ответите «нет», вас затем спросят, знакомы ли вы с людьми, в ней состоящими, вы опять ответите «нет», а они тогда предъявят свидетеля, который покажет, что вы были знакомы с членами компартии, после чего вас привлекут к ответственности за дачу ложных показаний. А допрашивать этого

свидетеля вашим адвокатам не разрешат. Совершенно в духе средневековой инквизиции!

Затем почти внезапно выяснилось, что нас не оставили в беде. Чуть ли не сразу в нашу поддержку был организован Комитет в защиту первой поправки к конституции, в который вошли многие самые знаменитые актеры, режиссеры и сценаристы. А также некоторые сенаторы, Газетные издатели и известные общественные деятели. Они выступали с резкими протестами и собрали достаточные суммы для организации двух радиопередач на всю страну. Легко понять, насколько нас ободрило, что у нас нашлись такие единомышленники. Радуясь, я как-то не заметил, что среди них блистают своим отсутствием кое-какие левые либералы на словах — и в частности, Рональд Рейган (или Риган, как он тогда произносил свою фамилию).

Уж не помню почему, меня попросили заехать к Ронни Рейгану домой и пригласить его на заседание Комитета в защиту первой поправки. Было еще рано, но мне открыла его тогдашняя жена Джейн Уаймен и явно смутилась, когда я объяснил цель моего визита. Она сказала, что Рейган прихворнул и только прилег, но она его спросит. Через минуту-другую она вернулась и

еще более смущенно попросила меня передать комитету, что он нездоров, но серьезно думает о том, чтобы присоединиться к ним. Свой ответ он сообщит на следующий день.

Ответа от него так и не последовало. С этого времени он начал стремительно праветь, развелся с Джейн Уаймен, женился на богатой Нэнси Дэвис, стал председателем Гильдии киноактеров и начал свое восхождение по политической лестнице. Его прошлое как либерала с левыми симпатиями было надежно погребено и забыто.

Сейчас, в 1981 году, несколько месяцев спустя после того, как он стал президентом США, Голливуд уже посмеивается (сардонически?) над его недавним заявлением, будто в Голливуде никогда никаких черных списков не существовало. Сразу же появилось много статей, написанных теми, кто был тогда там, с разоблачением этой фальшивки и перечислением эпизодов, в которых он принимал личное участие. В «Лос-Анджелес тайме» Фил Керби, член редколлегии, рассказал, в частности, как к Рейгану в те дни, когда он был председателем Гильдии киноактеров, пришла молоденькая актриса по имени Нэнси Дэвис и попросила о помощи: ее занесли в черный список, потому что ее фамилия значится в списке

«красных». Но есть другая Нэнси Дэвис, и красная — это та, другая. Так, может быть, Ронни поможет покончить с этим недоразумением? Он помог, между ними начался роман, и они поженились. И вот теперь, почти тридцать лет спустя, Керби задает вопрос, а где же «красная» Нэнси Дэвис? Никаких ее следов обнаружить не удалось. Существовала ли она на самом деле? Если же нет и супруга президента — та самая Нэнси, то, с тревогой осведомляется Керби, не находится ли внутренняя безопасность нашей страны даже под еще большей угрозой, чем прежде?

7

Слушания должны были начаться 20 октября с опроса «дружественных» свидетелей, «добровольцев», тщательно отобранных комиссией. Но мы не собирались допустить, чтобы предубеждения этих «свидетелей», а может быть, и просто корыстолюбие безнаказанно сошли им с рук. Гордон Кан, один из нас, опубликовавший год спустя «Голливуд под судом» — единственную книгу, в которой верно излагалось, что происходило на слушаниях, побывал на самом первом из них и поделился с нами своими впечатлениями о председателе комиссии Парнелле Томасе, который

был очень невысок ростом, но зато весьма широк. Когда он занял свое место на предназначенном для комиссии возвышении, то почти исчез из виду — над столом маячила только розовая лысина. Пришлось прибегнуть к двум телефонным книгам и подушке, чтобы кроме лысины зал мог созерцать и круглое багровое лицо. Забавная сцена — но почему-то никому из нас не было смешно.

Затем наши адвокаты сообщили нам о своих переговорах с Эриком Джонсоном, председателем Ассоциации кинопродюсеров, который на пресс-конференции дал понять журналистам, что продюсеры согласились создать черные списки, охватывающие всю кинопромышленность. Джонсон негодующе заявил:

— Абсолютная чушь! Пока я жив, я никогда не окажусь причастным ни к чему столь антиамериканскому, как черные списки, и любой намек, будто я согласился на введение черных списков, — это клевета на меня как на истинного американца! А ребятам передайте, чтобы они не беспокоились, — заверил он адвокатов, — мы не станем разыгрывать деспотов, чтобы угодить комиссии!

Слушания начались на следующее утро,

20 октября. Нас и наших адвокатов, как «приглашенных гостей», посадили в первых рядах неподалеку от других «приглашенных гостей» — «дружественных свидетелей». Среди них я узнал киномагната Джека Уорнера, кинозвезду Роберта Тейлора, самозваную экспертшу по «советскому коммунизму» Эйн Рэнд и еще многих других. Незнакомая пожилая дама оказалась матерью кинозвезды Джинджер Роджерс.

Комиссия решила начать с Джека Уорнера. В мае они провели с ним предварительную беседу в Голливуде и, по-видимому, считали, что он может задать нужный тон. Вначале Уорнер, явно посоветовавшийся с компетентными людьми, попробовал пойти на попятный, но ему этого не позволили, и он повторил ложь, будто Говард Кок (один из «враждебных девятнадцати») пытался ввести подрывной материал в сценарий «Миссии в Москву». При этом Уорнер опускал все, что полностью опровергло бы это утверждение, если бы его могли допросить наши адвокаты. Ведь не только Уорнер экранизировал эту книгу по просьбе президента Рузвельта, но ее автор, бывший американский посол в Советском Союзе, постоянно бывал в студии, санкционируя буквально каждую строчку сценария! Затем Джек

разохотился и, назвав пять-шесть предполагаемых коммунистов, заговорил о пьесе Артура Миллера «Все мои сыновья», которую видел на Бродвее. По его мнению, Миллер был явно коммунистическим писателем, а уж режиссер Элиа Казан и подавно коммунист! Он так разошелся, что комиссии лишь с трудом удалось предоставить слово следующему свидетелю.

Эйн Рэнд показала, что фильм «Метро-Голдвин-Мейер» «Песнь о России» был явной коммунистической пропагандой. Один из доводов: актеры, игравшие в нем русских, часто улыбались.

— В России же, — заявила она, сияя своей улыбкой, — никто не улыбается.

Настал черед маменьки Джинджер Роджерс.

— Я знаю, что Далтон Трамбо — коммунист, потому что в сценарии, который он написал, моей дочери пришлось произнести фразу: «Делись, и делись поровну — это и есть демократия».

Действительно, каких еще доказательств им было нужно?

Л. Б. Мейер выступил в защиту своей студии. Да, они сняли «Песнь о России», но ведь Россия была военным союзником! И он поспешил сослаться на довоенные антисоветские фильмы «Ниночка» и «Товарищ Икс». Он признал, что двое

сценаристов, работающие для него по контракту, — Лестер Коул и Далтон Трамбо — являются коммунистами, а может быть, и Дональд Огден Стюарт.

Затем давал показания Роберт Тейлор. Ему явно не хотелось касаться «Песни о России», в которой он играл главную роль. По-видимому, на секретной беседе весной он объяснил, будто его принудили играть в этом фильме, но теперь смягчил свое утверждение: он возражал, но его убедили, что это часть «военных усилий». На вопрос, будет ли он работать с коммунистами, он ответил категорическим «нет!». (А ведь Тейлор совсем недавно сказал Мейеру, что роль в сценарии «Высокая стена», соавтором которого был я, лучшая, какую ему предлагали за последние десять лет!) Но Томас тут же спросил его, знает ли он каких-нибудь коммунистов, и, помявшись, он признался, что, кажется, сценарист Далтон Трамбо — коммунист, а также еще один сценарист — Лестер Коул.

«Высокая стена» вышла на экраны в декабре 1947 года и имела большой успех. В рецензии на нее одна из нью-йоркских газет писала: «Это лучший фильм, в котором выпало счастье играть Роберту Тейлору, и самый интересный из

всех, какие „Метро-Голдвин-Мейер“ выпускала за последние годы, — прекрасный сценарий, прекрасная режиссура и прекрасная постановка. Из глубочайшей лояльности по отношению к комиссии конгресса по расследованию антиамериканской деятельности „Метро“ решила забыть свои запечатленные в контракте обязательства по отношению к Лестеру Коулу, соавтору сценария, и в одностороннем порядке расторгнуть контракт».

Рецензент не знал, что Тейлор не только был вполне согласен с ним в оценке сценария, но, едва прочитав его, потребовал у Л. Б. Мейера, чтобы сценарии всех его дальнейших фильмов обязательно писал я!

Четыре дня усердствующие «патриоты» чернили нас как могли. Но ни единого слова не было сказано в подтверждение первоначального обвинения в том, что на экране появлялся «подрывной материал». Не было сказано потому, что сказать было нечего. Это обвинение тут же оказалось забытым: совершенно явно целью слушаний являлось вовсе не оно.

Наконец вызвали Эрика Джонсона. После его заверений мы преисполнились оптимизма. Он начал с декларации:

— Большинство нас, американцев, — маленькие люди, а беспочвенные обвинения наносят маленьким людям тяжкий вред. Они могут отнять у человека все — его заработок и его достоинство!

Прекрасные слова! Но они не устроили Парнелла Томаса. Нет, не своей красивостью — он и сам пускал в ход такой стиль. К полному нашему ошеломлению, быстро выяснилось, что подоплека была совсем иной. Под нажимом Томаса Джонсон, этот защитник маленького человека, назвавший черные списки антиамериканскими по духу, вынужден был признать, что прошлой весной он согласился с Томасом по поводу необходимости введения черных списков. И даже обещал убедить в этом продюсеров!

Вот Томаса и возмутило, что мистер Джонсон подвел его! Сдержи он свое обещание, в нынешних слушаниях отпала бы всякая надобность! Тут разъярился мистер Джонсон. Он не лгал Томасу и не подводил его! Он убеждал продюсеров «в необходимости черных списков», как и обещал, но они сочли это слишком рискованным.

Мистер Томас не мог более сомневаться в искренности мистера Джонсона, который даже вспотел от негодования, и удовлетворенно

закивал, словно учитель, одобряющий ответ прилежного ученика.

На следующее утро Парнелл Томас на своем насесте громко ударил молотком. Настал наш черед давать показания. Первым вызвали Джона Лоусона, но прежде наши адвокаты вновь потребовали права допросить ранее выступавших свидетелей. Им вновь было отказано.

— Здесь не суд, — сказал Парнелл Томас.

— Еще бы! — крикнул кто-то из зала. — Конечно, не суд, а чистейшая инквизиция!

Кричавшего вывели, а Лоусон попросил разрешения огласить приготовленное им заявление. Его передали Томасу, и он сказал:

— Я прочел первую фразу. В просьбе отказано.

Лоусон вышел из себя, хотя ничего другого ждать не приходилось: его заявление было красноречивым и исчерпывающим разоблачением комиссии и ее целей. Он ответил, повысив голос:

— Жаль, что мне пришлось проделать такой путь, чтобы научить вас, что значит быть настоящим американцем.

Тут же под удар председательского молотка Лоусону предложили покинуть трибуну. Члены комиссии переглянулись, закивали, и Лоусон был обвинен в неуважении к конгрессу.

Для некоторого разнообразия Томас разрешил Альберту Мальцу, который был вызван пятым, огласить свое заявление, но члены комиссии его попросту не слушали. Когда он кончил, ему задали все тот же вопрос: «Состоите ли вы теперь или состояли когда-либо в коммунистической партии?» Он попытался ответить на него по-своему, указав, что вопрос этот и не относится к делу, и незаконен. Тогда его, как и остальных, попросили покинуть трибуну. Неуважение к конгрессу. Так оно и шло: нам не разрешили оглашать наши заявления, задавался навязший в зубах вопрос, мы, ссылаясь на первую поправку к конституции, отказывались отвечать только «да» или «нет» и тут же обвинялись в неуважении к конгрессу.

С радостью вспоминаю, как Томас Манн, один из крупнейших писателей XX века, публично выступил в поддержку наших принципов. Вот текст его незабываемого заявления, переданного по радио на всю страну:

> «Имею честь представить себя как враждебного свидетеля!
>
> Свидетельствую, что очень интересуюсь киноискусством и что со времени своего приезда в Соединенные Штаты

девять лет назад я посмотрел много голливудских фильмов. Если в какие-либо из них была тайком вставлена коммунистическая пропаганда, то скрыта она самым недоступным образом. Я, например, ни разу ничего хоть отдаленно на нее похожего не заметил.

Далее я свидетельствую, что, на мой взгляд, невежественное, суеверное преследование тех, кто верит в политическую и экономическую доктрину, созданную великими умами великих мыслителей, не только унижает преследователей, но и наносит большой вред культурной репутации этой страны. Как американский гражданин немецкого происхождения, я, в-третьих, свидетельствую, что на собственном горьком опыте познакомился с определенными политическими тенденциями и тем, к чему они ведут. Духовная нетерпимость, политическая инквизиция, пренебрежение законами, охраняющими права личности, — все во имя так называемого „особого положения“… вот как это начиналось в Германии. Затем пришел фашизм, а за

фашизмом последовала война».

Парнелл Томас все глубже и глубже проваливался в им же выкопанную яму, так ничего и не достигнув, а потому для завершения слушаний ему требовалась бомба всецело в духе «холодной войны». И вот, после того как нас кончили допрашивать и мы покинули зал, он вызвал своего последнего свидетеля, некоего Луиса Рассела, бывшего агента ФБР, чьи показания были направлены против Роберта Оппенгеймера, бывшего в годы войны директором атомного центра в Лос-Аламосе. Нас же десятерых приплели сюда просто с помощью газетных заголовков вроде: «Допрос кинокрасных раскрывает шпионский заговор вокруг атомной бомбы!»

Вслед за этим победоносным «изобличением» Томас объявил о временном прекращении слушаний. Он утверждал, будто не только доказал, что мы протаскивали пропаганду в фильмы, но и что мы были сообщниками шпионов.

Вечером перед отъездом из Вашингтона домой мы поужинали вместе в ресторане. О том, сколь неусыпно за нами следили, свидетельствует следующее небольшое происшествие. За ужином Герберт Бибермен отпустил саркастическое за-

мечание по адресу Эдгара Гувера, директора ФБР. Несколько недель спустя к нему домой явились два агента ФБР и предупредили его, что еще одна такая шуточка — и сверх года за неуважение к конгрессу он получит еще десять за клевету.

Неделю спустя продюсеры встретились в Нью-Йорке с финансировавшими их банкирами. Присутствовали все главы киностудий, в том числе Эрик Джонсон, который заверял нас, что, пока он жив, никаких черных списков не будет. Однако он, вполне живой и здоровый, способствовал превращению поражения Томаса в победу, поставив свою подпись под следующим документом:

«Заявление в „Уолдорф-Астории“

Члены Ассоциации кинопродюсеров крайне сожалеют о действиях десяти голливудцев, которые навлекли на себя обвинение в неуважении к конгрессу. Мы не желаем нанести какой-либо ущерб их юридическим правам, но их действия наносили ущерб их нанимателям и свели на нет их собственную ценность для кинопромышленности.

Мы немедленно уволим или отстраним без компенсации тех из этих десятерых,

кто работает у нас, и не возьмем обратно ни одного, если он не будет оправдан судом или не очистит себя от обвинений и не заявит под присягой, что он не коммунист.

Наши члены готовы принять более широкие меры против тех в Голливуде, кто заподозрен в подрывной деятельности.

Мы готовы откровенно признать, что подобная позиция сопряжена с различными опасностями и риском. Есть опасность, что пострадают ни в чем не повинные люди, есть риск, что возникнет атмосфера страха. Творческая работа не может давать наилучшие плоды в атмосфере страха. Вот почему мы будем просить все голливудские гильдии сотрудничать с нами в деле отстранения подрывных элементов, защиты невиновных, ограждения свободы речи и свободы экрана при любом на них покушении...»

Под этим документом, переданным радиостанциями и напечатанным по всей стране, стояли фамилии глав всех киностудий — не было там фамилий нью-йоркских и бостонских финанси-

стов, которые настояли на нем.

На следующий же день Далтон Трамбо, Дональд Огден Стюарт и я были уволены компаниями «Метро-Голдвин-Мейер», а Ринг Ларднер — «20-й век — Фокс». В тот момент только мы трое из всех десятерых непосредственно работали для киностудий.

В начале 1948 года мы вернулись в Вашингтон, явились в окружной суд и без всякой процедуры, автоматически были признаны виновными и приговорены к уплате штрафа в тысячу долларов и году тюрьмы — максимальное наказание, предусмотренное за такого рода нарушение закона.

В тюрьму нас с Рингом Ларднером везли на поезде под стражей, сковав наручниками. Сопровождавший нас полицейский любезно посоветовал нам бросить на цепь пиджак, чтобы она не так бросалась в глаза. Правда, казалось, будто мы держимся за руки, точно дети, но мы все-таки решили последовать его совету.

В тюрьму мы прибыли под вечер. С нас сняли наручники, раздели, поставили под душ, подвергли обязательной процедуре «обезвшивливания», выдали тюремное белье и одежду, сняли отпечатки пальцев, повесили нам на грудь номера

и сфотографировали. Ринг стал номером 8016, а я — 8017.

Затем нас с Рингом развели по разным комнатам, и скучающий тюремный чин объяснил мне тюремные правила и в заключение присовокупил:

— Наказание за любые попытки насильственных действий очень сурово: одиночное заключение и перевод в тюрьму максимально строгого режима. Вы поняли? И еще хочу предупредить вас, что вы будете находиться под постоянным наблюдением и при малейшем признаке того, что вы замышляете насильственные…

— Погодите! Я же здесь за неуважение к конгрессу, а не за какие-то насильственные действия!

— Нам сообщили, — возразил он, — что вы с Ларднером намерены мстить с применением насилия, если это сойдет вам с рук.

8

Выйдя на свободу, я начал работать официантом и продолжал писать пьесу, задуманную в тюрьме. Потом меня повысили в повара закусочной.

Однажды мне позвонил Алан Макс, в то время редактор «Дейли уоркер». Он пытался написать

пьесу, но был недоволен тем, что у него получалось, и попросил меня прочесть ее. Мои советы так ему понравились, что он пригласил меня в соавторы. Я знал, что эту пьесу, направленную против расистских бесчинств на Юге, может поставить только левый театр, но в 1951 году левые театры ушли в область воспоминаний о менее неразумных временах. Тогда у меня возникла идея послать ее Бертольту Брехту. Он ответил, что она ему понравилась, и, к нашему восторгу, пьеса была поставлена в его театре и отлично принята прессой и зрителями ГДР.

Другой писатель, который покинул Голливуд до того, как комиссия по антиамериканской деятельности возобновила охоту на ведьм, и работал на телевидении редактором, раза два давал мне работу — переделку рассказов в короткометражные сценарии (под псевдонимом). Но потом он тоже стал жертвой травли и был сам уволен.

Навеки врезался в мою память сорок девятый день моего рождения–19 июня 1952 года. Это был день, когда на закате предстояла казнь супругов Розенберг. Я бродил в одиночестве по пустынному берегу Кейп-Код и смотрел туда, где за спокойными водами бухты лежала нью-йоркская тюрьма Синг-Синг. У меня сжималось сердце: вот сейчас

солнце закатится за горизонт здесь, закатится за горизонт там, и будет включен электрический ток… Мысль о их твердости преисполняла меня горем и гордостью. Их отказ признать себя виновными, хотя любая малодушная просьба о помиловании могла бы спасти жизнь одному из них или им обоим, заставляла меня остро осознавать, как по сравнению с этим ничтожны испытания, доставшиеся на мою долю.

Сомкнулся мрак, а с ним перестали существовать Юлиус и Этель Розенберги. Их мужество было столь же велико, как справедливость их дела, и я поклялся себе, что тоже никогда не предам его.

Еще один друг пришел мне на помощь, устроив меня на склад итальянской фирмы, импортировавшей мраморные крышки для столиков. Восемьдесят пять долларов в неделю, восьмичасовой рабочий день — и время по вечерам, чтобы писать.

А в Голливуде лился и лился поток помоев. Более шестидесяти усердствовавших осведомителей выступило перед комиссией, прежде чем он иссяк четыре года спустя.

Наша Гильдия стала теперь называться Гильдией писателей Америки — но, меняя ее название,

руководство с большими основаниями могло бы наречь ее «Гильдией писателей комиссии по расследованию антиамериканской деятельности». В черные списки мы попали не только по милости кинопромышленности — теперь мы были занесены в них нашей собственной Гильдией, которую многие из нас активно помогали создавать.

Честность, принципиальность, совесть — все было забыто или глубоко запрятано. Жалкие людишки, стоявшие теперь во главе, явно боялись, что и их зачислят в коммунисты или попутчики, если они откажутся целовать сенатору Маккарти… ну, скажем, руку.

Огромное впечатление на меня произвело в те дни выступление перед комиссией Поля Робсона. На вопрос, является ли он членом коммунистической партии, Робсон ответил вопросом: «Что вы имеете в виду, говоря о коммунистической партии? Насколько известно мне, это не менее законная партия, чем республиканская или демократическая. Вы имеете в виду… партию людей, жертвовавших всем ради моего народа, всех простых американцев, всех рабочих, чтобы они могли жить достойно? Вы имеете в виду эту партию?»

В полную силу своего великолепного голоса он

гневно объявил, что сама комиссия состоит из «неамериканцев» и «непатриотов».

Это была не только его личная большая победа. Его выступление вдохнуло мужество в тех, кого вызывали после, — среди них больше не нашлось ни одного «дружественного» свидетеля.

Теперь, когда я был вынужден работать под чужими именами, перемены в Гильдии имели для меня особое значение: вслед за антикоммунистической поправкой к конституции ее руководство в 1954 году ввело хитрую систему, препятствовавшую авторам, работавшим под псевдонимами, становиться ее членами. Продюсер, нанимавший такого сценариста, ставил под угрозу собственную карьеру, если бы об этом пронюхали сторожевые псы Гильдии. Экономически для автора, попавшего в черный список, это означало катастрофу: поскольку его псевдоним официально не признавался, он не мог получать гонорары за фильмы, показывающиеся по телевидению, и не мог платить взносы на социальное обеспечение. В результате между шестьюдесятью и шестьюдесятью пятью годами — наиболее важными для получения пенсии — я был лишен возможности делать эти взносы, а в результате позднее пенсия мне была начислена

самая минимальная.

В начале пятидесятых годов мне неожиданно позвонил Боб Кемпнер, с которым я подружился в Нью-Йорке. Из Чехословакии приехала знакомая его жены, ее интересовали новые пьесы, которые подошли бы для чешских театров. Он читал мою пьесу «Цветы и корни» и советует немедленно прислать ее: если Мирославе Грегоровой она понравится так же, как ему, она переведет ее и предложит для постановки. Несколько месяцев спустя Мирослава написала, что пьеса пойдет летом по меньшей мере в двух театрах. Была весна 1959 года.

Меня и мою жену пригласили присутствовать на премьере в качестве почетных гостей. И тут же кто-то посоветовал, чтобы мы обязательно постарались попасть из Праги в Москву на Первый международный кинофестиваль. «Стараться» нам не пришлось: к тому времени мы как раз получили приглашение на фестиваль от советского консульства в Вашингтоне. В Москве нас встретила действительность, непрерывно нас поражавшая. Более приветливых и гостеприимных людей, чем я увидел там, трудно и представить себе…

Домой я вернулся буквально переполненный

чувствами восхищения и радости от встречи с новым миром.

Сейчас, на пороге семьдесят седьмого года моей жизни, мне кажется, я не просто копчу небо. У меня еще хватает душевных и физических сил не оставаться в стороне от борьбы. Повторяю, на своему веку я видел примеры героического самопожертвования и рассчитанного коварства, мне улыбалась удача, меня преследовали беды, я наблюдал неколебимую стойкость и предательства, приобретал друзей, которых нельзя забыть, и врагов, которым нельзя простить.

Когда оглядываешься на свое прошлое, к самым счастливым воспоминаниям неизбежно примешиваются сожаления — некоторые очень горькие и редко свободные от сознания собственных ошибок. Но ведь не зря писал Фридрих Энгельс о том, что до утверждения повсеместно социализма человечество будет оставаться на стадии предыстории.

Дух мой укрепляет сознание, что я всегда оставался верным среде тружеников, из которой вышел. Верность их делу и идеалам я сохраню до конца дней.

Сюжеты стереотипные

Майкл Голд

БОСТОН ГОТОВИТСЯ К ЛИНЧЕВАНИЮ

14 августа 1927 г.

Бостоном сегодня правит дух своры линчевателей. Узаконенные нормы отбрасываются, они не более чем уступки внешнему миру и уже ничего не значат.

Штат Массачусетс, по крайней мере его буржуазная часть, корчится в тисках страха, жажды крови, ярой ненависти — причудливой смеси возбуждения и массовой психопатии, именуемой «комплексом линчевания». Штат Массачусетс решил уничтожить Сакко и Ванцетти.

Тон задает шайка ку-клукс-клана, во главе ее — внешне вполне цивилизованные и респектабельные личности во фраках, снедаемые неутолимой яростью: губернатор штата, судьи, ректор Гарварда. Заодно с ними, из того же клана, чиновничья знать, духовные пастыри и коммерсанты — заправилы Торговой палаты.

Большой город потерял голову. Его колотит лихорадка возбуждения и страха. Он вскакива-

ет, как испуганный кот при малейшем шорохе. Вдоль всей Вашингтон-стрит перед газетными стендами с последними новостями не убывают толпы. Читают выпускаемые каждый час бюллетени о деле Сакко и Ванцетти. Перешептываются, ерзают, поглядывают с тревогой друг на друга. Точно в дни войны, когда квалифицированные лжецы Джорджа Крили[26] запугивали всех и каждого информацией, будто самолеты кайзера скоро начнут бомбить Нью-Йорк, Бостон и Чикаго.

Пройдите сквозь эти толпы — вы не услышите ни слова сочувствия Сакко и Ванцетти. Сочувствующие запуганы, подобно чудаку-северянину, оказавшемуся среди южан, линчующих какого-нибудь несчастного негра.

Все, что вы слышите, — это приглушенный шепот, невнятное бормотание, злобный рокот безликой толпы.

«Убить их! Мы не желаем, чтобы такие люди правили нашей страной!» — слышу я возле одного из стендов голос с хрипотцой молодого

---

[26] Примечания: 26

Комитет общественной информации под руководством Джорджа Крили был создан правительством Вудро Вильсона после вступления США в первую мировую войну для разжигания милитаристских настроений в стране.

питомца Гарварда, бывшего футболиста университета.

Я работал прежде в одной из газет Бостона и отыскал в городе некоторых старых друзей, которые все еще пишут репортажи и редакционные статьи для одной из газет. Они сказали мне, что никогда прежде не видели этот медлительный, провинциальный, умеренный город в таком состоянии. Все настолько взвинчены, что может случиться что угодно, говорили журналисты. «Если бы это происходило на Юге, благопристойная свора взяла бы штурмом тюрьму в Чарльзтауне, чтобы линчевать двух рабочих-итальянцев».

Пусть никого не обманет новый «законный» поворот этого дела. Верховный суд штата Массачусетс, скорее всего, освятит своим авторитетом законность и респектабельность этого линчевания. Опасность так же серьезна, как и на прошлой неделе. Наших товарищей ожидает казнь. Так постановил штат Массачусетс. Только энергичные массовые демонстрации могут спасти Сакко и Ванцетти.

Письмо «Ветерана»

Я только что получил письмо из отделения ку-клукс-клана в Бруклине. Конверт с открыто

обозначенной угрозой (на нем красуется наклейка с надписью: «Мы следим за тобой. — К.К.К.») спокойно проделал свой путь по государственной почте.

Я не передал это письмо полиции для расследования, хотя сомнений о намерениях авторов текст его не оставляет. Почему не передал? Да потому, что я уверен — это было бы совершенно бесполезно; полиция у нас существует для того, чтобы защищать лишь одних капиталистов, когда те получают письма с угрозами.

Я, однако, провел свое собственное расследование и могу указать без риска ошибиться, кем именно оно послано. Мне бы хотелось сказать пожелавшим остаться анонимными джентльменам из К.К.К.: если уж они следят за мной, то и я, а вместе со мной несколько сотен тысяч других жителей Нью-Йорка тоже следим за ними. И следим внимательно.

Неужели анонимные джентльмены в самом деле полагают, что смогут запугать нас? Неужели они думают, что способны застращать, к примеру, миллионы безработных Нью-Йорка до такой степени, чтобы заглушить их вопль: «Мы хотим есть!»? Вся капиталистическая система уже опустилась ниже той отметки, когда шайка ее

прислужников способна терроризировать народ. Когда люди голодают, они вынуждены бороться.

Мужество отчаяния — вот истоки радикального движения в Америке. И все боссы, даже вкупе с нанятыми ими в К.К.К. головорезами, не смогут заглушить требование: «Хлеба!» — которое отчетливо слышит вся страна.

«Ветеран» К.К.К.

Я полагаю, что мой долг — обнародовать содержание полученного послания, во всем его фашистском «великолепии», и проанализировать для читателей нашей газеты. Вот это послание:

> «Майкл Голд!
>
> Итак, вы, ничтожества, дурни с замороченными чепухой головами, уверены, что устроите советскую Америку? Не так ли? Ну что же, позволь уж мне сказать тебе, харя, что наша страна собирается остаться американской страной. А если тебе и твоей крысиной породе это не по нутру, мы устроим вам такую веселую жизнь, что вспомните всех чертей в аду, мы заставим вас полюбить Америку.

Некоторые говорят, будто коммунист — это рабочий. Ну что же, я скажу тебе прямо, что такое коммунист.

Коммунист — это иностранец. Из тех, кто слез с парохода и нудно треплется о списках на пособие по безработице, кто хочет, чтоб ему помогали, а он бы ни черта не делал. Короче, он ничего не создает, он — смутьян и паразит. И для нас, ветеранов, есть только один способ обращаться с вами: когда наступит час, мы возьмемся за ружья.

В ваших рядах у нас уже теперь имеются свои люди, и мы разнесем вас в клочья, когда придет время.

Ветеран».

Ну, разве это не прелестно? И разве это не показывает вполне отчетливо образ мышления автора?

Быть может, автор послания и «ветеран», но он отнюдь не представляет сотни тысяч парней из рабочих и фермерских семей, которые служили в американской армии во Франции. Они страдали, истекали кровью в окопах, эти сотни тысяч, а теперь эти же парни бродят по улицам голодные и

безработные. Их требование о пособии потому-то и звучит с такой силой, потому-то и пропитано такой горечью, что ветераны находятся в отчаянном положении. Но «ветеран» К.К.К., тот самый, что подписал присланное мне письмо, конечно же, не из их числа. Он, по сути дела, враг массы ветеранов. Ведь большая их часть числится в списках тех, кто нуждается в пособии, именно тех, кто, как пишет «ветеран», «хочет, чтоб ему помогали, а он бы ни черта не делал».

Ни один настоящий американец, который любит своих соотечественников хотя бы чуточку больше, чем доллары, не станет издеваться над безработными. Может быть, он сам и работает, но знает, что завтра может потерять работу. Не вина безработных в том, что у нас в стране безработица. Это вина богатых нанимателей, тех, кто заправляет страной при существующей системе.

Наемники домовладельцев

К.К.К. начал свою, с позволения сказать, деятельность как гангстерская банда. Она зарабатывала на жизнь неистовым, безумным шовинизмом. Она проводила кампанию ненависти против негров, евреев и католиков-ирландцев. А позже К.К.К. ринулся на борьбу с рабочими

союзами, но его методы были такими кровавыми и грубыми, а его вожаки — столь откровенно продажными, что организация распалась[27].

Остатки ее кое-где сохранились. Я изучил письмо К.К.К., которое полно нападок на безработных и некоренных американцев, и узнал кое-что интересное от Ричарда Салливана, прежнего секретаря Совета безработных. Он рассказал мне, что в Браунсвилле несколько лет назад проходили забастовки против домовладельцев и он этими забастовками руководил.

Многие домовладельцы были богачами евреями. Их отношение к своим единоверцам не отличалось, однако, избытком любви. И они, должно быть, наняли местный К.К.К., чтобы бороться со своими бастующими квартиросъемщиками, которые нередко тоже были евреями.

Сомнительные типы проносились на автомобилях там, где собирались уличные митинги, мимо линий пикетчиков — бастующих жильцов. И эти типы разбрасывали листки с угрозами, очень похожие на письмо, которое получил и я. На всех них стояла подпись «К.К.К.».

---

[27] Примечания: 27

В то время когда Майкл Голд писал эти строки, ку-клукс-клан находился в состоянии упадка.

Энн Брейден
СТЕНА ОТЧУЖДЕНИЯ

Дом для Эндрю

Мы познакомились с Эндрю, когда он был еще молодым человеком лет около тридцати и работал электромонтером. Это было за четыре-пять лет до того, как он обратился к нам с просьбой купить для него дом. Мы познакомились, когда он пришел что-то починить или сделать электропроводку в помещении одной из общественных организаций, с которой мы были тогда связаны. Потом мы встречались с ним время от времени на некоторых — а они, вообще-то, были немногочисленными — совместных собраниях белых и негров в Луисвилле. Несколько раз мы виделись и с его родителями, главным образом на собраниях, которые иногда устраивались в домах наших друзей. Следует, однако, оговориться, что такого рода встречи характеризуют скорее нашу с Карлом жизнь, чем образ жизни, принятый в Луисвилле.

— Дорогая, — сказал Карл, — нам предстоит купить дом. Эндрю хочет, чтобы мы на свое имя

купили дом и передали ему. Само собой, деньги он выкладывает тотчас же.

Эндрю Уэйд — негр. Мы — белые. Луисвилл — город, в котором глубоко укоренилась сегрегация, город, в котором ограничительные оговорки к законам негласно сохранялись долгое время после того, как Верховный суд Соединенных Штатов объявил их недействительными.

— Так за чем же дело стало? — спросила я. Ответ был ясен, и вопрос мой поэтому носил скорее риторический характер.

— Он уже несколько месяцев ищет себе дом, — сказал Карл. — У него дочурка двух лет, как раз ровесница нашему Джимми, и беременная жена. Они снимали небольшую квартиру, но теперь она для них тесновата. Он обегал все районы, отведенные под поселение неграм. Но там не продается ни одного нового дома. Для негров у нас ведь их почти не строили после войны. Он мог бы купить старый дом. Но это не то, что ему хочется. И, кроме того, в уплату за эти старые дома требуют слишком большую сумму наличными, таких денег у него не наберется. Его жена спит и видит маленький домик вроде ранчо где-нибудь в пригороде. Таких повсюду понастроили теперь сотни, сама знаешь. Он сунулся было туда,

но каждый раз, как только выяснялось, что дом хочет купить негр, о сделке не хотели и слышать. Задача ему действительно выпала не из легких.

Эндрю Уэйд Четвертый играет в этой истории важную роль не только как личность, но и как представитель одной из общественных групп, существующих в сегодняшней Америке. Вопросы, с которыми он столкнулся, имеют значение для всей страны. А те ответы, которые он получил, касаются очень многих.

Обращаясь к нам с просьбой купить для него дом, он так и сказал: раз не удается самому приобрести дом, который подходит и будет по карману, остается только одно — открыто объявить войну сегрегации. Он не только обегал весь Луисвилл, но искал дом еще и в двух пригородах по ту сторону Огайо, в Южной Индиане. Но и там, как и в предместьях Луисвилла в Кентукки, он еще раз убедился, что новые дома неграм не продаются.

Ему просто до зарезу нужен был новый дом, и это был единственный способ купить его.

И все-таки наряду с материальной необходимостью стимулом для Эндрю была еще другая, духовная. Это была внутренняя потребность пробить брешь в стене отчуждения. Если ему был нужен дом с лужайкой, где дети его смогут растя-

нуться на траве под солнцем, на свежем воздухе, то не меньше он жаждал и другого: обрести мир, где он и его семья смогут расправить плечи и вздохнуть свободно. Утверждение собственного достоинства необходимо человеку так же, как пища и крыша над головой.

В тот день, когда Эндрю пришел к нам и попросил купить дом, он знал о нас не больше, чем мы о нем. Но ему было известно, что мы принимаем активное участие в кампаниях против сегрегации в школах, больницах, общественных местах. Ему известна была наша репутация противников сегрегации. Впоследствии Эндрю рассказывал, что прежде, чем просить нас, он обращался с подобной просьбой к другим белым семьям, нередко к людям, с которыми был знаком ближе, чем с нами. Все они под тем или иным предлогом ему отказали. Тогда он и пришел к нам в надежде, что слово у нас не расходится с делом.

Мир, где жили Карл и я

Карл вырос в Луисвилле, городе, где прочно укоренилась сегрегация. Но сам он не вкусил горьких плодов, которые приносят расовые предрассудки. Детям в доме Брейденов всегда внушали, что все люди равны и относиться к ним надо с

уважением. И каждый выросший в этом доме хорошо помнит, как сердились родители, если дети иногда пренебрежительно отзывались о неграх. Частично в этом сказывались социалистические взгляды отца, а частично и то обстоятельство, что отец вырос в одном из тех сельских районов Кентукки, где отношения между бедняками белыми и неграми были дружественными и строились на взаимном уважении. Это не забылось и в городе, в условиях жестокой сегрегации.

Совсем иначе обстояло дело со мной. Я тоже родилась в Луисвилле, в 1924 году, то есть через десять лет после рождения Карла. Семья моя принадлежала к «сливкам» общества и селилась только в лучших районах города. Конечно, всем окружающим не отказывалось в признании их людьми, но я рано усвоила — ведь подобные вещи легко откладываются в сознании ребенка, не нуждаясь в определении их словами, — что принадлежу к лучшим представителям рода человеческого, более привилегированным, чем все остальные, потому что мои родители происходят из «господ». Так уж, стало быть, рассудил сам всевышний: он поставил одних выше, других ниже.

Прежде всего он вознес белых над черными.

В таких семьях, как наша, ребенку внушали

чуть ли не до того, как он начинал говорить, — внушали делами, которые говорят громче всяких слов: негры всегда в кухне, белые — в комнатах. Многое говорилось без обиняков. Помню, как-то, мне тогда было не больше четырех-пяти лет, я сказала маме что-то о некоей «цветной даме».

— Никогда не называй цветных женщин дамами, Энн Гэмбрелл, — как сейчас слышу голос матери. — Говори о цветных — «женщина», а о белых — «дама». И чтобы я больше не слышала «цветная дама».

Это походило на ту самую песню, что нескончаемо звучит в ушах негритянских детей: «Не ходи туда… Здесь место для белых… Тебе здесь нечего делать». И белые дети тоже наслушались: «Не называй цветных женщин дамами. Не называй цветного мужчину „мистер“… В театре наше место в партере, их — на галерке… Ты пьешь из одного крана, негры — из другого… Мы едим в столовой, негры — в кухне… Поселок для цветных, наши улицы… Школы для белых, школы для цветных… Берегись негров на улицах, гляди за ними в оба… Не приближайся к негритянской части города, когда стемнело… Садись в передней части автобуса, их место — на задних сиденьях. Место для тебя, место для них… Твой мир, их

мир...» Но голоса, твердившие эти нерушимые заповеди южного «общества», никогда не произносили слово «негр». В наши дни многие даже из числа наиболее твердолобых поборников сегрегации на Юге выучились, правда не без некоторого усилия, выговаривать это слово. Когда я была ребенком, это казалось неслыханным. Даже самые образованные люди в тех кругах, где я росла, выговаривали это слово как «ниггер» — черномазый, хотя обычно о неграх говорилось «цветной». Чуть ли не в двенадцать лет я впервые узнала правильное произношение этого слова.

Когда мне было лет около двадцати, у меня произошел незабываемый разговор с одним другом нашей семьи, человеком много старше меня. Это был южанин, один из самых добрых людей, каких мне доводилось встречать. Для друга он не пожалел бы ничего. Он занимал видное место в церковной общине и пользовался авторитетом как общественный деятель. Человек в нужде — будь то друг или первый встречный, черный или белый — никогда не встречал у него отказа. И тем не менее он был глубоко убежден в необходимости сегрегации. Мы с ним говорили о том, нужен ли федеральный закон против суда Линча. Обсуждение этого законопроекта волновало тогда все

умы. Я ратовала за этот закон, а мой старший друг просто из себя выходил от того, что я, южанка, и притом «благородного происхождения», могу высказывать подобные мысли. Неожиданно в пылу спора у него вырвалось:

— Одно-другое хорошее линчевание время от времени просто необходимо, чтобы держать черных в узде.

Я онемела, просто не поверила своим ушам. До самой смерти, вероятно, я не забуду этих слов убийцы в устах одного из благороднейших людей, каких я только встречала! Через мгновение он уже опомнился и пожалел о сказанном. До сих пор не верю, что этот человек был сам способен кого-нибудь линчевать. Но слова, которые у него вырвались, были выражением почти подсознательного, глубоко скрытого убеждения. Стоило ему выйти из себя — а мои взгляды привели его в ярость, — как эти слова явились сами собой. Мягкий, культурный человек, в помыслах своих он в ту минуту уже совершал убийство. До чего же должна доводить сегрегация негров, если она так исковеркала этого белого? Вот что я подумала тогда, и с тех пор то и дело возвращалась к этой мысли.

Окончив колледж, я вернулась в Алабаму и

начала работать в газете. Затем переехала в более крупный город — Бирмингем. Я вела репортаж из полицейских участков в Эннистоне и из суда в Бирмингаме. Там мне волей-неволей пришлось выйти за пределы того узкоограниченного мира, в котором я выросла. Пришлось сбросить шоры, которые большинству людей моего круга всю жизнь не давали оглянуться по сторонам. Хотя и с другого конца, я входила в соприкосновение с тем же миром, который узнал Карл, работая полицейским репортером, — с миром, превращавшим людей в «пьяниц, циников либо в сторонников преобразований».

В особенности я с каждым днем все острее сознавала, что нужно уничтожить проклятие сегрегации. Работая хроникером в бирмингамском суде, я довольно быстро уяснила себе, что существуют два правосудия: одно — для белых, другое — для негров. Если негр убивал белого, это рассматривалось как уголовное преступление и каралось смертью; если же белый убивал негра, то, хотя не всегда следовало полное оправдание, в подавляющем большинстве случаев находились «смягчающие обстоятельства». Если негр убивал негра, это было «просто убийство черномазого», наказуемое самое большее годом тюрьмы. Если

белый насиловал негритянку, дело никогда и не доходило до суда. Но стоило негру только посмотреть на белую женщину так, что взгляд казался ей недостаточно почтительным, это уже рассматривалось как «нападение с целью изнасилования». Особенно запомнилось мне дело одного молодого негра, приговоренного к тюремному заключению по такому обвинению. Белая женщина заявила, что, проходя по другой стороне улицы, этот негр бросил на нее «оскорбительный» взгляд… На дверях бирмингамского суда начертаны слова Томаса Джефферсона: «Правосудие, равное и беспристрастное для всякого, невзирая на его положение и убеждения». Я читала эти слова каждое утро, приходя на работу. Кончилось тем, что, входя в суд, я должна была отводить глаза — читать эту надпись у меня больше не было сил. Последней каплей было одно событие в канцелярии шерифа, чуть не лишившее меня рассудка.

Сотрудники канцелярии гордились рекордным числом раскрытых преступлений. Не думаю, что они действительно поставили такой рекорд, но хвастались этим на каждом шагу. Как-то раз, когда я от нечего делать болтала с помощниками шерифа, один из них сказал:

— А знаете ли вы, что за последние два года у

нас в графстве было только одно убийство, которое так и осталось не раскрытым?

— Что же это за случай? — спросила я.

— Идемте, покажу, — сказал он, повел меня в другую комнату, открыл ящик стола и вынул из него череп. — Вот, — сказал он, кладя череп на стол. — Оно никогда не будет раскрыто, это убийство: убили черномазого, и сделал это белый.

Я взглянула на него. В глазах его вспыхивали искорки смеха, и не оттого, что он шутил, а потому, что говорил о тайном сговоре, который очень ему нравился. Он, очевидно, не сомневался, что и я тоже приду в восторг. Я посмотрела на череп. Он стал расти у меня на глазах. Он заполнил собой комнату, весь мир. Он стал как бы символом смерти, бесчинствующей на Юге. В ужасе я молча вышла.

Я сама принадлежала к тому миру белых, в котором жизнь негра не ставилась ни в грош. Раз я не выступала против этого мира, значит, была с ним заодно и несла ответственность за его пороки. Компромисс невозможен. Тот, кто не старается изменить существующий порядок вещей, тем самым укрепляет его, в результате щупальца спрута оплетают его душу, уродуют и ожесточают ее, делают черствой. Эти щупальца

обвивались и вокруг меня. Я чувствовала, что задыхаюсь, точно в детстве, когда смотрела на маленькую негритянку в моем старом, не сходящемся на груди платье. Мне не хватало воздуха. Я рвалась на волю.

Вскоре мне представилась возможность уехать в Луисвилл, работать там в «Луисвилл тайме», и я покинула Бирмингам. Уезжая, я сознавала, что это бегство, и оправдывала свой отъезд тем, что это необходимо для моей журналистской карьеры. Но втайне я понимала: уезжаю потому, что не могу больше жить в Бирмингаме, потому, что иначе мне не уйти от тлетворного влияния окружающей среды, от смерти, которую олицетворял череп на столе в канцелярии шерифа, от спрута, протянувшего ко мне свои щупальца.

Когда Эндрю Уэйд попросил купить для него дом, я не сочла это особо серьезным делом и не предвидела тех осложнений, которые последовали. Я объясняла всем, что мы делаем это, чтобы помочь другу. Так оно и было. Я уже говорила, что мы не могли поступить иначе, потому что ни разу еще не отказывали в поддержке неграм, выступавшим против сегрегации и обращавшимся к нам за помощью. Я была убеждена в том, что моя белая кожа лишает меня права ответить хотя

бы одному из негров: «Еще не время...» Я не отказывала, когда друзья-негры просили меня помочь им в борьбе за уничтожение сегрегации в школах и больницах, я не могла отказать в помощи при покупке дома. Вот как все это произошло.

Но может ли хоть кто-нибудь из нас с полной уверенностью сказать, какие именно побуждения руководили его поступком подсознательно? Разве я вправе решительно утверждать, что эта покупка не отвечала и другому моему заветному желанию — бросить смелый вызов общине, которая, по-моему, раскачивалась слишком медленно, и обществу, которое слишком закоснело в своих пороках? Я хотела, чтобы этот вызов прозвучал как ответ человеку, с которым я много лет назад спорила о линчевании, ответ полицейскому, хладнокровно доставшему из ящика череп убитого негра, ответ на муки моей собственной совести, пережитые в те дни, когда щупальца страшного мира белых расистов все туже сжимали мою душу. Мне хотелось бросить этот вызов как полное веры пророчество о новом, грядущем мире, пока еще смутно различимом вдали, о мире, в котором не будет стен отчуждения.

Выстрелы в ночи

Сожжение креста произошло 15 мая в ночь на воскресенье, в ту самую исполненную ужаса ночь в доме Уэйда, которая завершила двое суток непрерывных угроз со стороны обитателей Роункорт; 14 мая, в пятницу, на другой день после того как толпа явилась в наш дом, на рассвете раздался звонок. Я встала с кровати и взяла трубку. Незнакомый женский голос произнес: «Заставьте этих черномазых убраться вон из этого дома. Мы не потерпим, чтобы они тут жили. Вы их здесь поселили, вы и заставьте их уехать. Даем вам сорок восемь часов или за последствия не отвечаем».

Я попыталась уговорить ее, но она повесила трубку. Звонок телефона разбудил детей, и я пошла к Аните, чтобы сменить пеленку. Едва я успела расстегнуть на пеленке первую застежку, как снова зазвонил телефон. На этот раз в трубке послышался мужской голос: «Даем вам сорок восемь часов. Заставьте этих черномазых убраться вон из этого дома».

С этой минуты звонки уже не прекращались — порой они следовали друг за другом, через каждые четыре-пять минут. Иногда мне приходилось выслушивать целую речь, иногда — краткие за-

явления вроде: «Берегитесь!» или «Долой Уэйдов из Роун-корт!». Я боялась не отвечать на звонки или просто снять трубку с рычажка, так как думала, что могут позвонить Уэйды или кто-нибудь еще, если случится что-нибудь важное. Поэтому я продолжала подходить к телефону, а в промежутках между звонками готовила завтрак детям и устраивала Джимми во дворе в ящике с песком, а Аниту — в ее загородочке. Когда проснулся Карл — он всегда вставал позже остальных, потому что работал по ночам, — мы стали отвечать на звонки по очереди. Иногда звонили женщины, иногда — мужчины. Но, судя по голосам, мне казалось, что звонило не очень много людей. Человек пять — не больше. В перерыве между звонками, если мне это удавалось, я сама звонила людям, которые, по моему мнению, могли поддержать Уэйдов.

В доме Эндрю в Роун-корт тогда еще не было телефона, и эта компания принялась звонить к нему на работу. Он оставался спокойным. Он собирался в пятницу перевезти в дом остальную мебель и не стал менять свое намерение.

Вечером в пятницу вся мебель была перевезена, но Эндрю и его семья не остались ночевать в новом доме. На следующее утро наш телефон

зазвонил очень рано, в семь часов утра. Нам заявили: «Брейден, берегись. В двенадцать часов что-то произойдет».

Звонки с перерывами продолжались все утро. К полудню они участились. «Брейден, остался один час». «Брейден, пятьдесят минут».

Без четверти двенадцать телефон звонил каждую минуту. «Брейден, берегись!», «Брейден, пятнадцать минут!». В конце концов я сняла трубку с рычажка.

К вечеру Эндрю и Шарлотта отправились в Роун-корт, чтобы в первый раз переночевать в новом доме. Из-за угроз они решили оставить свою двухлетнюю дочь Роузмэри у родителей Эндрю, но с ними пошел их молодой друг Карлос Лайнс. Подъехав к дому, они увидели, что одно из окон фасада разбито. В комнате на полу валялся камень. Он был завернут в бумагу, на которой было написано: «Убирайся вон, чернокожий!». Эндрю и Карлос осмотрели дом снаружи. Больше никаких повреждений не было, и только решетка на одной из отдушин под домом была сломана. Это была та самая отдушина, куда шесть недель спустя был заложен динамит.

Семья Уэйд и Лайнс весь вечер расставляли мебель в доме. Около десяти часов они услышали

снаружи какой-то шум. Эндрю вышел на боковую террасу и увидел, что на соседнем поле пылает крест. Возле него плясали какие-то пять фигур. Он разобрал, что это были взрослые мужчины, но рассмотреть их лиц не смог. Один из них закричал:

— Убирайся вон, пока еще жив!

У Эндрю в кармане был револьвер. Он вытащил его, но затем засунул обратно.

— Значит, вы хотите сжечь свой собственный американский флаг? — крикнул Эндрю в ответ. Через несколько минут они ушли.

Около двух часов ночи их разбудили звуки ружейных выстрелов. Стреляли примерно раз десять. Раздался звон разбитого стекла. Лайнс услышал, как около его уха просвистела пуля. Он бросился на пол. Эндрю и Шарлотта вскочили с кровати и выбежали в коридор. Эндрю толкнул Шарлотту на пол, а сам пополз в кухню. Выглянув в окно, он увидел футах в двухстах от дома отъезжающую машину. Стекло в кухонной двери было разбито. Пули впились в деревянную стенку чулана. Все было тихо. Слышался лишь шум мотора удаляющейся машины.

Уэйды и Лайнс не ложились до утра, ожидая рассвета, чтобы можно было добраться до телефо-

на. Но остальная часть ночи прошла спокойно.

События в Роун-корт взбудоражили сонный, благодушный Луисвилл.

Взрыв

Атмосфера оставалась накаленной, Неведомые люди продолжали звонить Уэйду на работу, а после установки у него домашнего телефона — и на квартиру; иногда люди, проезжавшие мимо его дома на машинах, выкрикивали угрозы; то и дело возникали новые слухи: одна негритянка рассказала Уэйду о том, что слышала в магазине, как один белый грозился, что дом Уэйдов взлетит на воздух; один человек рассказал другу Эндрю, что слышал, как какие-то двое в баре говорили, что надо бы взорвать дом Уэйда; одна женщина позвонила нам и сообщила, что в Шивли в магазине она слышала, как какие-то женщины говорили: «Когда полиция уйдет, мы вытащим их из дома и убьем». А когда отец Эндрю и еще несколько человек заменяли разбитые стекла в большом окне фасада, мимо проехала машина с молодыми людьми и один из них крикнул:

— Незачем вставлять это стекло, мы его сегодня вечером снова разобьем.

Рабочий с «Дженерал электрик» сказал одному

из друзей Уэйда, Льюису Лубка:

— Вот что, Лью, предупреди Уэйдов: они уже купили динамит.

Уэйды свыклись с этими слухами и постепенно перестали обращать на них внимание. Шарлотта спокойно продолжала обставлять дом и шить занавески, Эндрю скосил траву и сорняки на заднем дворе и посадил перед домом цветы. Около середины июня полиция сообщила Эндрю, что, по их мнению, опасность миновала, и они снимают дневную охрану. Уэйды и Комитет защиты Уэйдов требовали, чтобы охрана была оставлена, но ее все-таки сняли. Однако по ночам полиция продолжала дежурить у дома. Кроме того, добровольная охрана — в основном негры, но и некоторые белые тоже — продолжала оставаться в доме на ночь; но даже это начинало все больше принимать характер вечеринок. Часовые просиживали всю ночь в кухне, разговаривали, смеялись, шутили, а иногда засыпали. Наблюдение за подходами к дому велось все менее бдительно. К концу июня стали стихать даже угрожающие слухи.

Жизнь в нашем доме стала спокойнее, хотя с середины мая до середины июня наш телефон, казалось, звонил не переставая. Те же голоса, те

же угрозы — настойчивые, непрерывные: «Берегитесь?», «Вам достанется так же, как Уэйдам!», «Заставьте этих черномазых убраться вон!» Иногда по ночам неизвестные автомобили ездили взад и вперед перед нашим домом, объезжали квартал и снова возвращались. Так продолжалось до рассвета. Однажды нам позвонила женщина и сообщила, что какие-то мужчины в Шивли грозились как-нибудь ночью прийти к нам, вытащить на улицу и линчевать.

Эндрю Уэйд и другие наши друзья с самого начала уговаривали меня завести револьвер. Они считали, что эта предосторожность просто необходима, так как я оставалась одна с детьми, когда Карл работал ночью.

Я знала, разумеется, что у Уэйдов в доме в Роункорт было оружие. Я знала, что и у хозяев дома, Роунов, тоже было оружие: в воскресенье после сожжения креста я видела, как жена Роуна, забрав несколько ружей из грузовичка, несла их в дом. Уэйдам приходилось думать о самозащите. Я знала, что они не будут стрелять до тех пор, пока их к этому не принудят, да и тогда сделают все возможное, чтобы никого не убить.

Конечно, я не осуждала их за это, а просто знала, что сама я ни за что не буду стрелять. Поэтому

я наотрез отказалась от револьвера.

Но я изменила свое решение в тот июньский день, когда Карл, захватив Джимми, поехал по какому-то делу к Уэйдам. На обратном пути, едва они отъехали от дома Уэйдов, за ними последовал автомобиль с двумя молодыми женщинами. На шоссе он обогнал машину Карла и преградил ей путь. Карл остановился. Одна из женщин крикнула ему:

— Будь поосторожнее!

— Я в няньках не нуждаюсь, — ответил Карл.

— Тогда побереги-ка своего ребенка — как бы с ним чего-нибудь не случилось! — крикнула женщина. Затем машина умчалась.

Когда Карл, вернувшись домой, рассказал мне об этом, я решилась. В тот же день я позвонила Эндрю и попросила его принести револьвер, который он мне предлагал.

Позднее наши противники пытались обвинить нас в том, что оружие, которое Уэйды отвезли к себе в Роун-корт, они получили от нас. На самом деле все было как раз наоборот. Эндрю принес мне маленький револьвер. Все лето он каждую ночь лежал на книжном шкафу, стоящем у входной двери, или рядом с моим стулом, когда я сидела во дворе. Мне ни разу не пришлось им

воспользоваться, но тем не менее револьвер у меня был.

В субботу 26 июня я решила как следует выспаться. Угрожающих телефонных звонков не было уже больше недели. Все, казалось, успокоилось. Можно было предположить, что самое худшее уже давно позади и скоро все окончательно придет в порядок. Уэйды решили не опротестовывать иска о лишении права выкупа закладной, поданного ассоциацией ссудных касс, а попытаться достать еще денег на дом. Срок апелляции истекал в первую неделю июля, и мы вместо апелляции намеревались внести необходимую сумму. Уэйд, его друзья и Комитет защиты на протяжении последних недель искали заимодавца, который бы согласился дать денег под закладную. Конечно, ни один из банков, владельцами которых были белые, не пошел на это. Но на той же неделе негритянская страховая компания фактически согласилась быть поручителем по большей части закладной и назначила на 28 июня заседание правления для принятия окончательного решения. Казалось, выход из положения был найден, и тогда же об этом было публично заявлено на заседании Комитета защиты. Никому не пришло в голову,

насколько опасно ставить обитателей Шивли в известность о том, что усилия суда лишить Уэйдов их дома оказались тщетными. Как раз в эту роковую субботу нам позвонил Эндрю и сообщил, что несколько человек обещали дать ему недостающие деньги — вместе с займом, предоставляемым страховой компанией, этого было совершенно достаточно, чтобы выкупить закладную. Впервые за долгое время казалось, что все мы можем наконец отдохнуть.

Меня разбудил телефонный звонок. Не знаю, сколько времени ему пришлось звонить, прежде чем я проснулась. Не совсем очнувшись от сна, я прошла в соседнюю комнату и сняла трубку.

— Энн… — это звонил Эндрю. Он на мгновение умолк, словно не решаясь продолжать, и я, помню, успела подумать: который теперь час и почему он звонит мне ночью.

— Все кончилось благополучно, — продолжал он.

Странно, как быстро работает мозг в такие минуты. Эндрю не сделал паузы, и все-таки я успела подумать, что он, возможно, собирается сообщить мне, что страховая компания окончательно согласилась дать деньги. В моем полусонном состоянии мне не показалось странным, почему

он выбрал такой поздний час, чтобы сообщить об этом, не удивило меня и то, откуда он в ночь на воскресенье успел получить эти сведения: ведь мы разговаривали с ним вечером.

И тут он докончил:

— …но они только что взорвали дом.

Я мгновенно очнулась.

— Когда? Как это случилось? Вы ранены?

— Двадцать минут назад. Никто не пострадал. Нас только немного оглушило. — Его голос был ровным и спокойным.

— А Роузмэри?.. — спросила я.

— Ее комната разрушена, но ее там не было. Мы отвезли ее к маме, чтобы она могла пойти утром в воскресную школу, — ответил он.

Я помню еще его слова, что дом наполовину разрушен — одна половина совершенно уничтожена взрывом. Я сказала ему, что Карл все еще на работе, но, вернувшись домой, он, возможно, поедет к ним в Роун-корт.

— По-моему, этого делать не стоит, — ответил Эндрю. — Они могут попытаться сделать что-нибудь и с вашим домом. Внимательно осмотрите все кругом.

Я согласилась с ним и повесила трубку. Затем пошла посмотреть на часы — еще не было и часа

ночи. Я проверила, как спят дети, затем взяла с книжного шкафа свой револьвер и вышла во двор. Газон перед нашим домом обычно ярко освещался соседним уличным фонарем — теперь этот фонарь был разбит, хотя он горел, когда я ложилась спать. Светя себе карманным фонариком и крепко сжимая револьвер, я обошла вокруг дома. Все выглядело нормально. Я вернулась к входной двери и села на ступеньки, не выпуская револьвер из рук. Так я просидела до тех пор, пока Карл не вернулся с работы. Я рассказала ему обо всем, что случилось, и мы с ним в эту ночь совсем не ложились.

На следующий день после взрыва Эндрю Уэйд сообщил репортерам:

— Несмотря ни на что, мы останемся здесь, хотя бы нам пришлось жить в палатке.

Он не собирался отступать. Дом был теперь только знаменем и символом. Он перестал быть родным очагом, о котором они мечтали.

Убеждения или взрыв — в чем же преступление?

Я оказалась вторым свидетелем, вызванным по делу о взрыве (первым давал показания полицей-

ский, дежуривший в ту ночь, когда был взорван дом). Пока я не вошла в комнату, где заседал суд, мне и в голову не приходило, что произойдет дальше.

— Существует два мнения относительно этого взрыва — объявил прокурор Скотт Гамилтон. — Одни полагают, что он произведен белыми — соседями или, скорее всего, приезжими, — для того чтобы запугать Уэйдов и выжить их из дома. Другие же, напротив, считают, что взрыв подстроили сами Уэйды или кто-нибудь из их друзей, чтобы поднять вокруг этого дела шумиху и вызвать беспорядки. Скажу вам больше, ходят слухи, что взрыв был инспирирован коммунистами… Потому-то я и счел себя обязанным напомнить вам о вашем праве отклонять вопросы, ответы на которые могут, по вашему мнению, повредить вам.

Прервав мой рассказ о событиях, случившихся после покупки дома для Уэйда, Гамилтон начал расспрашивать о Комитете защиты Уэйда. Кто его создал? Зачем он был организован? Кто бывал на его собраниях? Затем последовали вопросы о моем отношении к «расовым проблемам». Почему они меня интересуют? Предпринимала ли я и раньше какие-либо действия, направленные

против сегрегации? Какие именно? А затем:

— Миссис Брейден, не состояли ли вы здесь, в Луисвилле, в какой-либо организации, в которой белые… общаются с цветными?

Не давая мне ответить, Гамилтон снова задает вопрос:

— А скажите, миссис Брейден, не состояли ли вы когда-нибудь в прогрессивной партии?

Вопрос за вопросом, со скоростью беглого огня направленные на меня. Не была ли я когда-нибудь связана с Конгрессом гражданских прав? Не являлась ли членом Рабочего комитета по борьбе за права негров? Входила ли в Лигу американских писателей? Не состояла ли в коммунистической партии? Читаю ли коммунистическую газету «Дейли уоркер»? Подписана ли на нее?

Немало доводилось мне читать и слышать о допросах, подобных тому, что учинило мне тогда Большое жюри. Я знала, что за последние годы при конгрессе было создано несколько комиссий, их главное назначение состояло в том, чтобы посылать своих представителей в поездки по всей стране и задавать людям вопросы такого же характера, как те, которыми бомбардировал меня прокурор. Я была принципиально против подобных расследований, считая, что они попирают

основные принципы американской демократии: ведь во что бы человек ни веровал, в каких бы организациях он ни состоял — это его личное дело, в котором судьями ему могут быть только собственная совесть да всевышний. Но могла ли я когда-нибудь всерьез предполагать, что в один прекрасный день мне самой придется быть ответчиком в такого рода дознании?

Наша с Карлом общественная деятельность до покупки дома для Уэйда, хотя кое-кто и заносил ее в рубрику «подрывной», казалась нам слишком незначительной и мелкой, чтобы кого-нибудь заинтересовать. Кому могла прийти охота в ней копаться? Но теперь, когда такое все-таки случилось, я сразу воспротивилась этому всем своим существом. Иначе я поступить не могла: эти люди не имеют права задавать мне подобные вопросы. Какое им дело? Я не стану, говорила я себе, рассказывать им ничего. Не стану отвечать ни на один вопрос…

О некоторых из упомянутых Гамилтоном организациях я никогда и не слышала. О других слышала, но никогда к ним не примыкала. В третьих я состояла или поддерживала их деньгами. Но независимо от того, знала я что-нибудь или нет, я наотрез отказалась отвечать на подобные

вопросы. Я сказала судьям, что, на мой взгляд, все это не имеет никакого отношения к взрыву дома Эндрю Уэйда.

Хотя во время всего опроса свидетелей они настойчиво ссылались на «заявления», которые полиция собирала у соседей Уэйда сейчас же после взрыва, ни один из полицейских чиновников не был вызван в суд и допрошен относительно содержания этих заявлений. Более того, присяжные не проявляли ни малейшего желания разобраться в том более чем странном обстоятельстве, что в ночь взрыва ни в одном доме по всему району Роун-корт не зажигали света. Они не обратили внимания и на то, что перед самым взрывом поблизости от дома трижды вспыхнул и погас свет. Такое невнимание к фактам кажется особенно подозрительным, если иметь в виду, что о них говорили многие свидетели.

Редактор выходящей в Шивли «Ньюсуик» Джон Хитт побывал в ту ночь в Роун-корт. Он по собственной инициативе заявил об этом чуть ли не с первых же слов, едва переступив порог зала суда. Он объяснял свое ночное появление на месте взрыва тем, что часто заезжал в Роун-корт в поисках новостей. Но полицейский, дежуривший в ту ночь, не был опрошен ни об этом странном

посещении, ни о том разговоре, который он имел с Хиттом незадолго до взрыва, когда Хитт спросил, «неужели до сих пор в доме Уэйда так и не случилось ничего особенного?». Никто из присяжных не проявил интереса к заявлению того же полицейского, который показал, что оглушительный взрыв почему-то не разбудил ни одного из соседей Уэйдов.

Уэйд вручил Гамилтону список лиц, которых имел основания считать подозрительными: это были соседи, настроенные к нему враждебно, люди, постоянно разъезжавшие перед его домом и выкрикивавшие угрозы. Фамилии этих лиц он установил по номерам их машин. Кое-кого из владельцев машин вызывали в суд, но лишь очень немногих. Соседей же вообще не вызывали.

Все те, чьи машины были названы Уэйдом, решительно утверждали, что нога их никогда не ступала по соседству с его домом. Эти заявления были незамедлительно приняты на веру. Некоторые объясняли появление своих машин тем, что ими постоянно пользуются их взрослые сыновья. Но ни одного из этих сыновей ни разу не вызвали для показаний.

Наиболее примечательной из числа акций, не предпринятых Большим жюри, была следующая:

суд так и не предъявил официального обвинения трем молодчикам, которые задолго до заседания признались, что участвовали в сожжении креста в первую же ночь после переезда Уэйда в новый дом. Их звали Бастер Роун, Лоуренс Райнхардт и Стенли Уилт. Все трое сказали, что сжигали крест, чтобы Уэйд понял: его присутствие соседям не по душе. В штате Кентукки сожжение креста с целью запугивания считается преступлением. Тем не менее ни одному из этих молодчиков обвинение предъявлено не было.

В отношении Бастера Роуна, Лоуренса Райнхардта, Стенли Уилта и других лиц, названных Эндрю, суд ограничился только беглым опросом. У них осведомились, что они знают о взрыве и случалось ли им покупать или взрывать динамит. Когда они ответили отрицательно, их отпустили с миром, и на этом дело кончилось.

Большая часть восьмитомного протокола заседаний Большого жюри посвящена бесконечным расспросам об Уэйде и его друзьях. В начале расследования нападки на Эндрю и его друзей-негров, с одной стороны, и его белых приверженцев — с другой, распределялись почти поровну. Чем дальше шло следствие, тем больше они сосредоточивались на белых.

Следует заметить, что весь протокол заседаний жюри не содержит ни единого доказательства того, что хоть кто-нибудь из допрошенных действительно был, как это внушал присяжным Гамилтон, коммунистом. Нет в протоколе и никаких данных о хотя бы косвенной причастности кого-нибудь из нас к взрыву. Всему этому можно дать только одно объяснение: присяжные и представители обвинения заранее договорились, что именно им думать об этом деле.

Как-то в начале следующей недели Карл вернулся с работы и сел за ужин.

— Вот что, — сказал он спокойно. — Встретил одного приятеля. Сейчас он работает в суде. Последнее время у них там ходят слухи, будто Гамилтон выкопал один допотопный закон о подготовке государственного переворота, когда-то действовавший в нашем штате, и хочет подвести нас под этот закон.

— Закон о государственном перевороте? — спросила я недоверчиво. — А разве такой существует в Кентукки?

— Да, хотя он почти никому не известен. Он был принят в начале двадцатых годов как потенциальное оружие против социалистической партии, в тот период, когда в ней состоял отец, —

сказал Карл с усмешкой. — Впрочем, до сих пор к этому закону еще ни разу не прибегали.

— Государственный переворот! Но как ему удастся обвинить нас в подстрекательстве к нему?

— Очень просто, — сказал он. — Гамилтон утверждает, что покупка дома для Эндрю и взрыв — звенья одного коммунистического заговора с целью разжечь расовые беспорядки, поднять бунт, начать восстание и привести к свержению правительства.

Сейчас проснусь, подумала я, и все это окажется сном…

— Чем это карается? — спросила я.

— Двадцатью одним годом тюремного заключения и 10 000 долларов штрафа.

В последний день судебного расследования, 1 октября, нас с Карлом вызвали на заседание Большого жюри. Когда мы вошли в зал, он был полон. Расследование вызвало в городе невиданную сенсацию, и любопытные слетелись к месту действия, как саранча. Большинство толпились небольшими группками, негромко переговариваясь, то и дело бросая на нас враждебные взгляды.

В последние дни судебное расследование фактически превратилось в охоту на коммунистов.

О взрыве в этой суматохе, кажется, совершенно забыли.

Обвинение в подстрекательстве к государственному перевороту не инкриминировало нам ничего конкретного. В нем просто приводился текст закона и говорилось, что мы «пропагандировали подстрекательство к перевороту», или, как заметил позднее один комментатор по нашему делу, нас обвиняли в «подстрекательстве к подстрекательству к перевороту». Но у общественности Луисвилла не возникало сомнений в том, какое именно преступление нам вменялось в вину.

На следующем заседании Большого жюри, происходившем через месяц, обвинение отличалось несколько большей определенностью: нас обвиняли в том, что мы тайно сговорились взорвать дом Уэйда, чтобы вызвать беспорядки и смуту.

Отказ отвечать на вопросы присяжных расценивался как признание вины. Обвинение, очевидно, основывалось на следующем соображении: легко доказать, что те, кто не хотят отвечать, — коммунисты, и подкрепить обвинение утверждением, что белые, выступающие против сегрегации, не могут не быть коммунистами.

«Поступили бы вы так снова?»

Если бы, зная то, что мы знаем теперь, мы могли снова пережить весну 1954 года, сказали бы мы по-прежнему «да», если бы Эндрю Уэйд снова попросил нас купить дом? Зная, что для нас и нашей семьи это означает смертельную опасность и оскорбления, обвинение в уголовных преступлениях, возможность долгих лет тюремного заключения и длительную борьбу за свободу, поступили бы мы так же снова? Рассматривая этот вопрос в более широком плане, чем некоторые из тех, кто задавал нам его, — поступили бы мы так же снова, зная, что во многом наш поступок окажется бесполезным, зная, что белые соседи не позволят Эндрю и его семье жить счастливо в Роун-корт, зная, что пребывание там могло окончиться смертью Эндрю, его жены и детей?

Я взвесила все это, не забыв и о том, какое влияние дело Уэйдов оказало на жизнь нашей семьи. И, вспомнив обо всем, я только лишний раз обрадовалась тому, что нам не дано предугадывать последствия наших поступков. К счастью, будущее нам неизвестно. Поэтому мы можем поступать так, как считаем в данный момент правильным. И, если это приводит к плохим

результатам, мы ищем выхода из тяжелого положения, когда попадаем в него, и откуда-то у нас находятся нужные силы. Могу сказать только одно: хочу надеяться, что эгоистическое опасение за свое личное благополучие не остановило бы меня, даже если бы было по-иному, если бы в 1954 году в тот весенний день, когда Эндрю пришел к нам в первый раз, мы могли предвидеть все, что за этим последует. А что было бы на самом деле — не знаю.

Что же касается других сторон этого вопроса: что бы мы стали делать, если бы предвидели, какой опасности будет подвергаться Эндрю и его семья, а также имели бы в виду возможный урон для так называемых «отношений между расами», мне кажется, ответить на него можно только с точки зренйя самих Эндрю и Шарлотты Уэйд.

Если бы мы обладали даром сверхъестественного предвидения и могли бы точно предсказать все то, что последует за нашей продажей дома Уэйдам, я думаю, моим долгом было бы сразу сообщить Эндрю, что его ожидает. Но, если бы он, зная обо всем, все-таки продолжал упорствовать в своих намерениях, я считаю, мы были бы обязаны поступить так, как поступили.

Попранными оказались права Эндрю и Шар-

лотты. Это их лишили дома. Если бы они могли предвидеть будущее и все еще надеялись, что, несмотря на риск, смогут преодолеть предстоящие трудности и сопротивление, если бы они желали попытать счастья, мы не должны были бы отговаривать их. Мы — белые, мы обязаны бороться против системы сегрегации, мы убеждены, что сегрегация калечит нашу собственную жизнь не меньше, чем жизнь негров. Но именно негры являются прямыми жертвами сегрегации. Именно им решать, когда и как бороться против сегрегации. Раз мы с Карлом согласны с этим, то наша обязанность помогать всем, чем можно, когда они просят помощи. Но не нам решать вопрос о сроках. И, если бы мы сказали Эндрю Уэйду, что, по нашему мнению, в 1954 году еще не время переезжать в Роун-корт, это значило бы, что мы устанавливаем какие-то сроки.

Именно поэтому мы не могли сделать того, в чем обвинял нас прокурор, — другими словами, не могли пойти к Эндрю и сказать, что, поскольку надо бороться против сегрегации в жилищном вопросе, ему следовало бы пойти наперекор традициям, что мы купим дом и, если он согласен, перепродадим ему. Это также значило бы самим устанавливать сроки. Но раз он сделал выбор,

наши дальнейшие действия были предрешены.

Томас Дж. Бьюкенен
КТО УБИЛ КЕННЕДИ

24 ноября — через два дня после смерти Кеннеди и спустя день после того, как полиция Далласа заявила, что дело об убийстве президента «закрыто» и больше выяснять нечего, некий гангстер застрелил Освальда в Главном управлении полиции. Он совершил преступление на глазах полицейских, не сделавших даже попытки остановить его; это событие было донесено телевизионной камерой до рекордного числа телезрителей. И начиная с этого момента все обстоятельства дела приобрели совершенно иной облик.

Тем, кто готов был поверить, что Освальд — коммунист, нельзя было внушить, что Руби — патриот. Объяснялось это очень просто. Среднему американцу не часто встречались субъекты типа Освальда — мрачные, замкнутые, сосредоточенные на самих себе, от которых и слова не дождешься. Трудно сказать, на что был способен Освальд. Но таких, как Джек Руби, знали предостаточно. В любом городе можно найти его

двойников, готовых на все, что угодно, занимающихся всем на свете — лишь бы это не было дозволено законом. Вы хотите сделать ставку на скачках? В Америке это разрешается только на ипподромах, но такой человек, как Руби, может без особого труда помочь вам обойти закон. Вам надо только заглянуть за угол направо — в вестибюль при бассейне или кегельбане, разыскать там парня по имени Майк и шепнуть ему, что Тони сказал «о'кей». А быть может, вам нравятся порнографические фильмы? Или вы предпочитаете не фильм, а «натуру»? Что ж, отправляйтесь по такому-то адресу и скажите, что вас прислал Тони. Не хотите ли вы наркотика — марихуаны? Тони знает, где все это можно раздобыть. А если вы поставили свою машину рядом с пожарным краном, Тони просто-напросто уничтожит квитанцию на штраф. Дружков в полиции у Тони хоть отбавляй. В его деле без них не обойтись. Это все равно что платить налог. И таких, как Тони или Джек Руби, — тысячи.

Кое-кому по душе люди, подобные Руби, другие их боятся, но многие ими пользуются, как пользуются проститутками, которыми эти темные личности торгуют. Однако никто не верит такому типу, когда он заявляет, что убил мнимого

убийцу президента в порыве патриотического чувства, чтобы отомстить за вдову павшего лидера и избавить ее от мучительных переживаний, связанных с «бесполезным процессом».

Когда люди, подобные Руби, живущие в мире наемных убийц, совершают убийство, они делают это совсем по другим причинам. А в том преступном мире, где Руби вращался с детских лет, принят такой «закон»: если убивают свидетеля, который вскоре должен дать показания на суде, то убивают с одной-единственной целью — помешать ему сознаться и выдать соучастников.

Следовательно, Руби так или иначе был связан с человеком, которого он убил. Но никому на свете не придет в голову, что Руби — коммунист. Преступление — а его миллионы людей могли видеть своими глазами, сидя в собственной гостиной, — никак не вязалось ни с одной из версий, приводившихся полицией Далласа в связи с покушением на Кеннеди.

Таков был первый вывод, к которому пришла широкая публика. Отсюда вытекало и второе заключение: те, кто сначала склонен был говорить, что Освальд совершил свое преступление в одиночку, без посторонней помощи, никак не могли принять на веру, что Руби — виновник

второго преступления — не имел пособников. Руби — один из самых известных в Далласе гангстеров, его уже привлекали к судебной ответственности за незаконное хранение оружия. При любых обстоятельствах и в любое время было бы недопустимо позволить такому человеку проникнуть в Главное полицейское управление, да еще с заряженным пистолетом, — это ничем не могло быть оправдано. Но что именно в ту минуту, когда в полицейское управление будет доставлен самый важный из всех арестантов в США (на которого, как уже дважды настоятельно предупреждала федеральная полиция, готовится покушение), что именно в ту минуту туда же пройдет незамеченным сквозь ряды полицейских хорошо известный полиции гангстер (тогда как было строжайше приказано не допускать посторонних) и выстрелит без всякой помехи — такую ситуацию не могла бы породить самая необузданная фантазия. Между тем все произошло именно так на глазах всей страны, видевшей это убийство на экранах телевизоров, и почти вся нация сделала напрашивающийся сам собой вывод.

Некоторые американцы, не веря объяснениям Руби, все же были очень довольны, что от его

руки «коммунистический убийца» получил по заслугам. Так рассуждали люди, которые при известных обстоятельствах присоединились бы к толпе линчевателей, хотя сами, возможно, и не были бы застрельщиками. Они не составляли большинства — я бы сказал, что они составляли примерно треть населения. Ибо всюду, где есть люди типа Руби, находятся и такие, кто пользуется их услугами. Последние не любят задавать вопросов. Если они хотят, чтобы девушка провела с ними ночь или помогла им заполучить контракт от своего клиента, они подходят к телефону и набирают определенный номер. Если им нужно подкупить профсоюзного чиновника, чтобы предотвратить забастовку, набирают другой. Меньше всего они думают о том, кто оказывает им эти противозаконные услуги или извлекает из них выгоду. Они, разумеется, не дали себе труда подумать, что и Руби, которого они приветствовали, и столь ненавистный им Освальд, возможно, играли за одну и ту же команду.

Но в большей своей части американцы отвергли Руби как символ их образа жизни, хотя в качестве символа образа смерти он был бы идеален. Много уже писалось о зловещем характере даппасовских затей Руби, служивших прикрытием для

более серьезной деятельности, — о звезде стриптиза Тамми Трю из его «Карусели», предлагавшей зрителям проверить собственноручно, что их не надули; и о «любительских» сеансах, на которых, по словам одного репортера, зрительницы «боролись» друг с другом за «лучший» стриптиз. Все это несущественно. Но большинство американцев не могло простить рекорд непристойности: человек, который в течение двух дней околачивался среди репортеров и с игривой улыбкой раздавал свои черно-розовые визитные карточки — «под цвет белья его звезд», — неожиданно провозгласил себя защитником молодой вдовы Кеннеди, называя ее только по имени…

Многие репортеры, сохранившие чувство ответственности, стали подвергать сомнению прежние версии, хотя до того принимали их на веру. К вящему своему смущению, они обнаружили, что и полиция, и пресса явно не выполнили своего долга, не обеспечив Освальда физической и моральной защитой, на которую он имел право по закону.

На другой день после второго убийства в Далласе газета «Нью-Йорк таймс» заявила: «Далласские власти, поощряемые и вдохновляемые прессой, телевидением и радио, растоптали в прах все

принципы справедливости своим отношением к Ли Освальду. Их прямая обязанность — ограждать интересы общества, предоставляя любому обвиняемому полную возможность для своей защиты перед судом, назначенным должным образом… Вопреки этому — еще до рассмотрения предъявленного обвинения и представления доказательств — и не обращая внимания на то, что арестованный упорно отрицал свою вину, начальник полиции и окружной прокурор объявили о виновности Освальда. „В основном дело закончено“, — сказал начальник полиции… После того как на протяжении двух суток распространялась версия о виновности Освальда — в атмосфере, насыщенной электричеством, — перевод Освальда в тюрьму состоялся в самый полдень, и об этом широко оповестили заранее. Каковы бы ни были просьбы репортеров и операторов телевидения, полиция вопиющим образом нарушила свой долг, организовав публичный перевод Освальда в тюрьму в обстановке, в которой он так легко мог пасть жертвой покушения».

По англосаксонскому законодательству всякий заподозренный в преступлении имеет право не только на обеспечение физической безопасности, но и на определенную юридическую процедуру,

которая в данном случае не была соблюдена; он считается невиновным, пока суд не признает его вину. «Нью-Йорк таймс» проявила немалое достоинство и мужество, когда в номере от 27 ноября поместила заявление, подписанное редактором Тернером Кэтледжем, признавшим, что «редакция допустила ошибку» в заголовке на первой полосе, назвав без каких-либо оговорок Освальда «убийцей президента».

«В соответствии с американской системой судопроизводства, — писал Кэтледж, — он невиновен, пока его виновность не будет доказана. В дальнейшем в наших статьях и заголовках будет учитываться это обстоятельство».

Как только на таком уровне была взята под сомнение первоначальная официальная версия об убийстве Кеннеди, начал подвергаться сомнению и тезис о коммунистическом заговоре. Он не исчез совершенно — он попросту поблек. Было подчеркнуто, что никто не утверждал, будто у Освальда есть соучастники, напротив, полиция стала настаивать, что таких соучастников не было и в помине. Директор ФБР Дж. Эдгар Гувер заявил, что нет оснований полагать, будто американские коммунисты каким-либо образом замешаны в заговоре Освальда.

Но как же можно было объяснить это разноречие, если из дела не были изъяты ни одно доказательство, ни одна улика — из множества накопленных далласской полицией и впоследствии признанных следователями федеральной полиции окончательным подтверждением виновности Освальда? Ведь едва ли могло казаться правдоподобным, что сторонник коммунистов убил президента США, не посоветовавшись с какой-либо левой группой или отдельным деятелем, и сделал это без всякого мотива, который те могли бы одобрить: ныне большинство наблюдателей в США согласны с тем, — кстати, иностранная пресса утверждала это с самого начала, — что акт Освальда нанес коммунистам явный вред. Короче говоря, чего ради стоило коммунисту действовать как антикоммунисту?

Но тогда напрашивается другое объяснение: так мог поступить только сумасшедший. И вот с каждым днем все более настойчиво навязывается версия: Освальд был фанатиком, страдавшим психическим расстройством. И столь же чудесным образом было признано, что и Руби находился в состоянии помешательства — разумеется, временного. Предполагалось, что, как только суд признает его невиновным, он вновь обретет

желаемое здоровье — так же неожиданно, как утратил. Его адвокаты заявили: столь громко превозносившийся патриотический порыв, что охватил Руби, когда он стрелял в Освальда, был всего лишь кратковременным приступом помешательства — неприятным инцидентом, о котором стрелявший ничего не помнит.

Таким образом, вторая версия объяснения этого двойного убийства свелась к тому, что ни у одного из преступников не оказалось серьезных побудительных мотивов. Речь уже не шла о том, что патриотически настроенный гражданин убил коммунистического убийцу, чтобы отомстить за вдову президента, — просто один безумец застрелил другого.

Тем американским гражданам, что по своей простоте и наивности верят побасенкам Джека Руби, я могу лишь посоветовать обратиться к чтению юмористических фельетонов, ибо история покажется им скучной. Нам же, однако, предстоит обратиться к истории, ибо все, кто считает Освальда сумасшедшим, подкрепляют свои доводы ссылкой на то, что во всех случаях убийств президентов, имевших место в Соединенных Штатах, преступником оказывался безумец.

Не было представлено никаких медицинских

доказательств, что подозреваемый Освальд страдал какой-либо душевной болезнью, толкнувшей его на преступление. Единственный факт, имеющий отношение к этому, звучит до смешного неубедительно — речь идет о сообщении, будто Освальда еще в годы учебы в школе обследовал психиатр и нашел тревожные симптомы «недостаточной приспособляемости». Когда Освальд стал взрослым, в особенности во время его трехлетней военной службы, любые признаки психического заболевания были бы, несомненно, сразу же обнаружены. Журнал «Тайм» от 29 ноября писал: «Многочисленные соседи Освальда по прежним и по нынешней квартире отзываются о нем как о человеке достаточно разумном, но настолько неразговорчивом, что его молчаливость казалась выражением высокомерия». Помощник пастора Первой унитарной церкви в Далласе преподобный Берд Хеллигас заявил 1 декабря репортеру газеты «Вашингтон пост», что Освальд был человеком «спокойным» и не обнаруживал признаков какого-либо расстройства. Рой С. Трюли, у которого Освальд работал в последнее время, говорил: «Он производил впечатление простого нормального парня». Поведение Освальда после ареста, по наблюдениям репортеров,

казалось также вполне нормальным, даже после того, как в течение двух дней он находился в состоянии чрезвычайного эмоционального и физического напряжения. А далласский окружной прокурор Генри Уэйд в ответ на вопрос, заданный ему, когда Освальд был еще жив, нет ли подозрения, что тот психически болен, категорически отверг это предположение.

В некоторых случаях при предыдущих убийствах президентов США адвокаты делали намеки, что их подопечный психически болен, а один из обвиняемых своим поведением в зале суда старался придать правдоподобность этим доводам защитника. Но и он был казнен, как и другие убийцы. В случаях убийства президента ссылки на то, что убийство могло произойти при отсутствии разумных побудительных мотивов, никогда не встречали доверия и не принимались в расчет, если не было доказательств, что и в прошлом обвиняемый проявлял признаки душевного расстройства.

Один только факт приятия таких политических убеждений, какие большинство окружающих людей отвергает, не является, разумеется, признаком невменяемости, классическое определение которой на юридическом языке выражается

следующей формулой: неспособность понимать последствия своих поступков. Во всех предыдущих случаях убийства президентов считалось, что убийца отдает себе полный отчет в своих действиях — он располагал не мнимым, а реальным поводом для недовольства президентом, рассчитывал, что совершенное преступление пойдет на пользу той группе, к которой он принадлежал, кроме того, во всех этих случаях убийца был членом партии, до фанатизма враждебной политике, осуществлявшейся президентом.

Следует помнить, что в обстановке ожесточенных гражданских конфликтов и разногласий внутри нации некоторые люди считают, что ради интересов страны необходимо заставить умолкнуть лидеров оппозиции.

Зачастую история отражает суждения победителей, а с их точки зрения, естественно, безумной нередко была жертва, но не убийца. Таково, например, всеобщее мнение о Калигуле — двадцати пяти лет от роду став императором Рима, он в течение первых восьми месяцев правления славился добротой и справедливостью. Однако после перенесенной болезни Калигула резко переменился. В последующие три года в стране воцарился режим террора. Сам Калигула

наслаждался зрелищем пыток, провозгласил себя богом, построил в свою честь храм, присвоил своему коню Инцитатусу звание консула. В конце концов Калигула был убит офицерами личной охраны. В наши дни ни один суд не признал бы убийц Калигулы психически ненормальными.

А что сказать о Цезаре и о Бруте? И тот и другой имели сторонников, искренне веривших, что противник потерял рассудок на почве честолюбия и жажды власти. Споры на эту тему ведутся и поныне.

Джон Уилкс Бут — человек, первым убивший президента Соединенных Штатов, — считал Линкольна тираном, достойным смерти, подобно тому как и Брут видел деспота в Цезаре. Первые слова, произнесенные Бутом после совершения террористического акта, — это те самые слова, которые, по преданию, произнес Брут после убийства Цезаря — «Sic semper tyrannis» («Пусть всегда так погибают тираны»). Впрочем, слова эти в устах Бута обретали двойной смысл, поскольку именно таким был девиз Виргинии, оплота Конфедерации, к сторонникам которой принадлежал Бут.

Бута, как и следовало ожидать, многие сочли сумасшедшим. Когда преступление обрело из-

вестность, стали ходить слухи об отдельных особенностях характера Бута, придававшие версии о его безумии некоторую долю правдоподобия. Так, рассказывали, что он подвержен внезапным приступам гнева, совершенно несоразмерного с той обидой, которая якобы была ему нанесена. Однажды, обсуждая в кругу семьи вопросы политики, Бут вскочил с места и схватил за горло мужа своей сестры, пытаясь его задушить. Повышенную чувствительность в характере Бута объясняли зачастую тем, что он являлся последним и наименее удачливым отпрыском самого прославленного в Америке актерского рода. Его отец Юний Брут Бут в 1821 году приехал в Соединенные Штаты из Англии, где пользовался репутацией одного из наиболее одаренных актеров того времени, талантливейшего исполнителя шекспировских ролей. Старший сын Юния, Эдвин Томас Бут, добился признания и в Англии и в Соединенных Штатах главным образом своим исполнением роли Гамлета. Карьеру младшего сына Юния — Джона Уилкса Бута, разумеется, затмила слава отца и брата, но совершенно неверно думать, будто это неизвестный и бездарный актер, не нашедший себе места на подмостках. Он был весьма популярен, и его

часто приглашали в театральные труппы, этим Бут обязан был не только громкому имени, но и привлекательной внешности, романтической страстности своей натуры.

Надо признать, что в том, как Бут совершил преступление, было больше элементов мелодрамы, нежели приемов расчетливого и хладнокровного убийцы. Он застрелил Линкольна, когда тот в ложе вашингтонского театра смотрел спектакль. За пять дней до этого события Гражданская война пришла к завершению, армия южан под командованием Ли капитулировала. После того как Бут выстрелил и пуля попала в голову Линкольна, убийца замешкался на месте происшествия, хотя мог быстро и незаметно скрыться из театра, где все ходы и выходы были ему хорошо знакомы. Не сделал Бут и другого — не выстрелил в единственного человека, который оказался в состоянии его задержать. Вместо этого он нанес ему удар ножом в кисть руки. Затем он пробежал мимо умирающего президента; за Бутом следовали раненный им офицер и две перепуганные женщины. Опираясь левой рукой на перила ложи, он спрыгнул вниз, на сцену, где продолжался спектакль. Это был прыжок с изрядной высоты, но не больше, чем с той скалы, с какой так часто прыгал строй-

ный молодой актер, появляясь на подмостках в сцене встречи Макбета с ведьмами. Такой прыжок был ему вполне под силу, и он, очевидно, рассчитывал, что все сойдет гладко. Но в момент прыжка шпора сапога Бута зацепилась за флаг, драпировавший ложу президента, — флаг Союза (столь ненавистный Буту). Бут подвернул ногу и упал на нее. Как впоследствии выяснилось, нога была сломана, однако Бут немедля встал и обратился к зрителям (многие из них узнали его и подумали, что прыжок имеет непосредственное отношение к комедии, которую они смотрели); подняв окровавленный нож, он крикнул: «Sic semper tyrannis». И тут же быстрой, хромающей походкой он прошел через сцену и скрылся. Два-три человека, услышав шум в президентской ложе, оставили свои места и побежали за Бутом. Но Бут дошел до выхода, вскочил на ожидавшую его лошадь и ускакал прежде, чем началась погоня. Лишь через одиннадцать дней его обнаружили в Боулинг-Грин, в штате Виргиния, где он скрывался на ферме, расположенной за линией действия южных войск. На предложение сдаться Бут ответил отказом, и солдат выстрелил в него. Три часа спустя Бут умер.

Был ли он безумен? Разумеется, не подлежит

сомнению, что в Джоне Уилксе Буте можно обнаружить больше признаков психической неуравновешенности, чем в тех двух людях, имена которых пока связаны в нашем понимании с убийством Кеннеди. И если Бут осуществил бы план убийства и бегства в одиночку, тогда, пожалуй, было бы можно отнестись более серьезно к той версии, что явилась первым откликом в народе на убийство Линкольна: «Это мог сделать только сумасшедший».

Но действовал ли Бут в одиночку? Ведь гипотеза о безумии убийцы рушится сразу же, как только выясняется, что он не совершил и не мог совершить свое преступление без помощи соучастника. Заговор всегда подразумевает наличие побудительных мотивов. Трудно представить, что двое сумасшедших убийц сговорились убить президента Соединенных Штатов. И уж совсем невозможно предположение, что в заговоре участвовали трое или даже больше безумцев.

Все это, конечно, не исключает, что какой-нибудь сумасшедший или слабоумный мог быть использован для совершения преступления. Предположим — хотя это менее вероятно, — такому человеку отвели роль убийцы. Однако в заговоре, руководимом Джоном Уилксом Бутом,

сам предводитель предпочел сделать роковой выстрел, хотя у него было двое помощников — их, вероятно, признали бы психически неполноценными, если бы подвергли исследованию современными методами диагностики.

Уже одного того, что Буту, несмотря на травму ноги, удалось скрываться от посланных в погоню отрядов в течение одиннадцати дней, достаточно, чтобы предположить, что Бут действовал не в одиночку. Он имел соучастников и пособников. Однако у него не было необходимости пережидать эти одиннадцать дней. Широкие масштабы заговора стали ясны сразу. Линкольн не являлся единственной мишенью убийц в тот вечер 14 апреля 1865 года. Три главных руководителя правительства должны были стать жертвой покушения, назначенного на одно и то же время. Для устранения каждого из них был выделен особый убийца.

В Линкольна стреляли немногим позже 10 часов вечера. За два часа до этого человек, убивший президента, передал своему соучастнику маленький, завернутый в бумагу пакет. Оба заговорщика сверили часы. И как раз в тот момент, когда Бут входил в театр, его соучастник скакал к дому государственного секретаря в правительстве

Линкольна.

Молодого всадника звали Льюис Торнтон Поуэлл. Уроженец южного штата Флорида, он одно время сражался в армии южан. (Сам Бут никогда не нюхал пороха, хотя достиг призывного возраста и на здоровье не жаловался. Несмотря на свою пылкую приверженность делу южан, он продолжал выступать в театре.) Поуэлл взял себе имя Пейн. Человек исключительной физической силы и вместе с тем психически неполноценный, он являл собой, таким образом, подходящее орудие для любого жестокого преступления, не требовавшего от преступника умственных усилий. План его действий был разработан Бутом, который в течение некоторого времени объяснял Поузллу, что тому надлежит делать. Сам Поуэлл был бы не способен выработать такой план — и если бы ему пришлось проявлять собственную инициативу, то по своему психическому складу он оказался бы не в состоянии правильно реагировать на обстоятельства, не предусмотренные заранее тем, от кого он получал указания.

Поведение Поуэлла в этом смысле весьма поучительно. Напрашивается вывод, что любая попытка убийства, предпринятая в одиночку психически ненормальным человеком, встретила бы

такие же, если не более серьезные, препятствия: Поуэлл располагал большим преимуществом — с самого начала он должен был лишь следовать определенному плану, весьма хитроумному и тонкому, разработанному человеком коварным, но вполне разумным. Сумасшедший, действующий в одиночку, таким преимуществом не обладал бы.

Уильям Сиворд, государственный секретарь Соединенных Штатов и вторая по значению после Линкольна фигура в правительстве, лежал в постели, когда Поуэлл подъехал к дверям его дома. За несколько дней до этого карета, в которой ехал Сиворд, опрокинулась, и при падении он повредил себе правую руку и челюсть. Бут знал об этом обстоятельстве и рассчитывал им воспользоваться. Следуя его инструкциям, Поуэлл соскочил с лошади и вбежал в дом. Под мышкой он держал пакет, который вручил ему Бут. Стоявшему в дверях слуге он сказал, что принес лекарство от врача, лечившего Сиворда. Когда слуга вызвался отнести лекарство, «курьер» ответил, что дело не терпит отлагательства и что ему поручено передать лекарство сиделке в руки.

Поуэлл чуть ли не силой прорвался в дом, взбежал по лестнице. Пререкаясь с Поуэллом, слуга

не отставал от неожиданного «курьера». Голоса спорящих привлекли внимание сына государственного секретаря, и тот вышел в коридор выяснить, в чем дело. Фредерик У. Сиворд и сам был видным государственным чиновником — он занимал пост помощника государственного секретаря. Он сказал, что лично передаст пакет отцу. Поуэлл не был подготовлен к такому вмешательству со стороны члена семьи — преподанные ему наставления годились только для разговора со слугой. На мгновение Поуэлл задумался. Затем он выхватил пистолет и в слепой ярости ринулся на того, кто пытался ему помешать. Он спустил курок, но произошла осечка, и Поуэлл стал наносить удары пистолетом по голове своей жертвы; и Поуэлл и младший Сиворд ввалились через открытую дверь в комнату государственного секретаря. Фредерик Сиворд упал на пол без сознания и не приходил в себя в течение нескольких недель.

В комнате у постели больного находились его дочь и санитар из медицинского корпуса армии. Поуэлл оттолкнул их, ударил санитара ножом, а затем принялся наносить удары по предназначенной ему жертве. Он нанес Сиворду три глубокие раны в щеку и затылок. Пытаясь

защититься от ударов, Сиворд упал на кровать к стенке. Санитар тем временем с трудом поднялся на ноги и, схватив убийцу сзади, хотел оттащить его от кровати Сиворда. Повернувшись к санитару, Поуэлл нанес ему еще два ножевых удара в плечо. Между тем другой сын Сиворда — полковник Огастас, услыхав крики сестры, вбежал в комнату, схватил Поуэлла и, хотя тоже был серьезно ранен в голову и лицо, сумел вытолкнуть его из спальни. Поуэлл пустился бежать. Его пытался остановить другой слуга Сиворда. Но Поуэлл тяжело ранил и его. Не получив ни единой царапины, выбежал из дома, вскочил на лошадь, оставленную, как и для Бута, у ворот дома, и ускакал, надеясь укрыться в безопасном месте. Он нашел прибежище в лесах вблизи Вашингтона, казалось, ему ничто уже не грозило, но без наставлений Бута он чувствовал себя до того беспомощным, что через два дня вернулся в маленький городок Сурратсвилль (в Мэриленде), чтобы получить там дополнительные распоряжения. Именно в это время полиция допрашивала владелицу таверны, где, как предполагали, встречались Бут и другие заговорщики. Вдова Мэри Суррат происходила из семьи, по-видимому пользовавшейся влиянием в Сурратсвилле, но дела

ее пришли в упадок, от былого богатства не осталось и следа, и ей пришлось содержать пансион и таверну — занятие, которым она явно гнушалась. Когда полицейские спросили Поуэлла, знает ли он Мэри Суррат, тот ответил, что работает у нее. Вдова, не подозревая о его ответе и опасаясь, что он во всем уже сознался, подняла правую руку и тоном благочестивой южной аристократки торжественно произнесла: «Клянусь богом, я его не знаю, никогда не видела и не нанимала». Эта потрясающая ложь была правильно истолкована как подтверждение того, что ей известна тайна убийства президента, и 7 мая 1865 года Мэри Суррат и Поуэлл были повешены как соучастники Бута. Следствие показало, что хозяйка таверны играла отнюдь не пассивную роль в заговоре: она не только предоставляла убежище заговорщикам, но и участвовала в подготовке убийства и с помощью своего сына и нанятого ею человека, который обслуживал таверну, снабдила Бута оружием[28].

Итак, распространенное в народе мнение, что

[28] Примечания: 28

Подробности о заговоре, приведенные здесь, основаны главным образом на книге Дж. Николая и Дж. Хэя «Авраам Линкольн: История» (1890) — одном из важнейших биографических трудов, ставшим классическим.

убийца Линкольна — сумасшедший, осуществивший свой преступный замысел в одиночку, оказалось неверным. Бут не только имел соучастников, эти соучастники занимали гораздо более высокое положение, чем он сам. Они-то и остались безнаказанными. А избежали они виселицы благодаря тому, что единственного человека, который мог их назвать, заставили замолчать. Этим человеком был Джон Уилкс Бут, и, подобно Ли Освальду, он был убит в то время, когда уже находился в распоряжении своих преследователей.

Смерть Бута явилась поистине даром судьбы тем, кого он мог выдать. Во время суда над второстепенными участниками заговора правительственные адвокаты ясно доказали их подчиненную роль. Главные заговорщики остались непойманными, и первым среди них был не кто иной, как Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации, за поимку которого была назначена награда в 100 000 долларов.

Даже несмотря на отсутствие главного свидетеля, прокуратура Соединенных Штатов смогла доказать, что убийство в театре Форда вовсе не было, как думали вначале, стихийной вспышкой, порожденной жаждой мести после капитуляции генерала Ли. Заговор существовал никак

не меньше года и по первоначальному замыслу должен был вылиться в военную операцию, а не в изолированный террористический акт. Бут рассчитывал не на убийство президента, а на захват его живым. Затем он предполагал с помощью своей группы и других пособников южан доставить президента в расположение южных войск и передать правительству Конфедерации. Бут даже выезжал в Канаду и там обсуждал этот план с агентами конфедератов, в том числе — на последнем этапе переговоров — с Джекобом Томпсоном, личным эмиссаром Джефферсона Дэвиса и, по-видимому, самым видным представителем правительства Конфедерации в Канаде, которая на всем протяжении войны была главным центром интриг агентов Конфедерации и изменников из числа северян. Предложение Бута произвело столь большое впечатление на Томпсона, занимавшего пост министра внутренних дел в расположенном к южанам правительстве президента Бьюкенена — предшественника Линкольна, что Томпсон перевел крупную сумму на текущий счет Бута в банке Онтарио, в Канаде. Соответствующий чек, закрепивший эту финансовую операцию, был предъявлен судебным адвокатом Джоном Бингхемом военной

комиссии, которая судила участников заговора. Заручившись официальным одобрением Джекоба Томпсона и ощутимыми доказательствами поддержки со стороны правительства конфедератов, Бут возвратился в Соединенные Штаты вербовать помощников для выполнения своего замысла. Мимо друзей Бута не прошел незамеченным тот факт, что никогда еще у него не было столько денег, как во второй половине 1864 года. Он объяснял это тем, что нажился на спекуляциях нефтяными акциями, однако на суде маклер Бута показал, что Бут не получил ни пенса из этого источника, напротив, спекулируя на бирже, он едва не разорился.

Когда армии южан были разгромлены и возникла опасность капитуляции, группа, организованная Бутом для похищения президента, пришла к выводу, что от этого плана следует отказаться. Найти возможность захвата Линкольна оказалось нелегким делом: его слишком хорошо охраняли. Теперь, казалось, уже чересчур поздно думать о похищении, и один из заговорщиков высказал эту точку зрения Буту в письме, написанном за 18 дней до убийства президента. Он посоветовал Буту, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, «отправиться в Ричмонд

и выяснить, как там относятся к его планам». Намеки, содержащиеся в этом письме, и другие свидетельские показания говорили о том, что Бут при посредстве агентов, засылавшихся в расположение северян для встречи с ним, осведомил столицу южан о своей деятельности. Так же очевидно, что он не только не был единственным инициатором заговора, но и являлся всего лишь подчиненным, выполнявшим приказы заговорщиков, которые стояли выше его; их авторитет был для него непререкаем вплоть до того момента, когда падение Конфедерации освободило Бута от всяких обязательств по отношению к его хозяевам. Если ставший завершением заговора террористический акт был осуществлен Бутом по собственному почину, что кажется наиболее вероятным, то ответственность за первоначальный план заговора падает на гораздо более высокопоставленных лиц и таких почетных и знатных людей, как Джекоб Томпсон, а тем самым — непосредственно на столицу Конфедерации и ее правителей.

Кажется ясным, что убийство Линкольна рассматривалось южными штатами как реальная цель — высшие руководители этих штатов распорядились тщательно изучить планы и, если они

окажутся основательными, поощрить и поддержать заговорщиков денежной субсидией. Можно считать также установленным, что несколько групп, подобных группе Бута, действовали на Севере независимо друг от друга; если бы члены одной из них при попытке осуществить свой план были бы арестованы, то южные штаты, по-видимому, отреклись бы от них, как это бывает всегда при провале шпиона или саботажника.

Но как только убийца сам был убит, ни одно из этих обвинений не могло быть доказано с достаточной, не оставляющей места для сомнения убедительностью. Все нити между правительством мятежников и убийством Линкольна проходили через Бута — а Бута заставили замолчать навсегда.

Лица, представшие перед судом по обвинению в убийстве Линкольна, были всего лишь простыми исполнителями, а инициаторы заговора, за исключением самого Бута, ушли от возмездия.

Дэвис, впрочем, в конце концов был арестован.

Однако арест еще не означал признания виновности. Дэвиса даже не привлекли к ответственности за участие в заговоре с целью убийства президента. Со смертью Линкольна атмосфера в стране быстро менялась. Те самые люди, кото-

рые всего лишь несколько лет назад боролись против собственной родины, были возвращены к власти. Несколько человек из числа свидетелей, доказывавших в своих показаниях непосредственную связь между Джефферсоном Дэвисом и заговором Бута, спустя год решили, что гораздо разумнее отказаться от прежних показаний. Дэвис, проведший два года в одной из тюрем Юга в весьма приличных условиях, в конце концов был признан виновным по статье об измене. Его дело слушалось в суде Ричмонда, столицы Конфедерации, однако виргинские судьи не сумели договориться между собой и прийти к единому решению. Тогда дело передали в Верховный суд США. Пока тянулось следствие, президент Соединенных Штатов южанин Джонсон (в момент убийства Линкольна он занимал пост вице-президента) объявил амнистию всем заключенным в тюрьмах Юга; кстати, именно Джонсон был единственным из трех руководителей государства, вышедшим невредимым из замышлявшегося тройного убийства. В первые месяцы после смерти Линкольна Джонсон был среди тех, кто громче всего требовал возмездия, впоследствии, однако, его пыл поугас. Джонсон настолько тесно связал себя с южанами, выступавшими против поли-

тики реконструкции, что в сенате было даже проведено голосование по поводу предъявленного новому президенту прямого обвинения в государственном преступлении. Ничего подобного не случалось за всю историю Соединенных Штатов. Тридцать пять голосов было подано за признание президента виновным и девятнадцать голосов — в его поддержку, но поскольку при решении такого рода вопросов требуется большинство в две трети голосов, не хватило только одного голоса, чтобы лишить его власти. И вот, когда уже был выбран новый президент, когда оставались считанные дни до его вступления в должность, Джонсон по случаю рождества 1868 года провозгласил «безоговорочно и без всяких ограничений, всем и каждому, кто прямо или косвенно участвовал в недавнем восстании или бунте, полное прощение и амнистию, если преступление заключалось в измене Соединенным Штатам или в принадлежности к стану их врагов в годы Гражданской войны, с восстановлением всех прав, привилегий и неприкосновенности, предусматриваемых конституцией и законами, введенными в ее развитие».

К тому времени Дэвис был освобожден под залог, большую часть которого внес один из

самых богатых в стране людей — Корнелиус Вандербильт, миллионер с Севера. «Бизнес — как обычно» — таков был общий лозунг; решение вопроса об ответственности за смерть Авраама Линкольна казалось теперь предпочтительнее всего предоставить на усмотрение историкам — считалось, что «не может послужить никакой доброй цели» постановка вопросов, могущих ввергнуть в смущение южан, помощь которых так необходима для реконструкции.

После амнистии все обвинения против Дэвиса были сняты. Он прожил еще двадцать один год и умер в 1889 году, почти четверть века спустя после смерти Линкольна.

В какой мере первый случай убийства президента Соединенных Штатов мог быть объяснен помешательством в том смысле, как этот термин понимается в нынешних судебных инстанциях? Ни в какой. В группе, которую сколотил Бут, двое характеризовались столь низким уровнем интеллекта, что их можно было отнести к слабоумным. Однако ни один из них не мог бы выполнить самостоятельно даже своей доли участия в заговоре. Люди подобного типа могут использоваться в качестве орудий убийства, но не способны организовать его.

Это, однако, не означает, что убийство президента не может быть осуществлено неполноценным человеком более высокого умственного развития, но судебные инстанции Соединенных Штатов всегда придерживались мнения, что помешательство такого рода должно носить характер, распознаваемый медициной. Прецедент был установлен в ходе разбирательства дела Чарльза Дж. Гито, казненного за убийство Джеймса А. Гарфилда, второго президента Соединенных Штатов, которому суждено было погибнуть от пули убийцы. В Гарфилда стреляли 2 июля 1881 года, всего через несколько месяцев после его вступления на президентский пост. Стрелявший был тотчас же арестован и сразу признал себя полностью виновным, хотя признание его было аннулировано несколько месяцев спустя, когда адвокат обратился в суд с заявлением о помешательстве подзащитного, что могло послужить основанием к отмене наказания.

Сам Гито был адвокатом — или по меньшей мере претендовал на такое звание — и, подобно многим людям этой профессии, рассчитывал на политическую карьеру. В выборах 1880 года планы Гито потерпели крах. Он делал ставку не на то крыло своей партии, и, хотя республикан-

цы получили большинство, лавры достались тем, кто поддерживал Гарфилда в борьбе за выдвижение его кандидатом на последнем съезде республиканской партии. Фракция Гито — из числа ньюйоркцев, известных под кличкой «стойкие», — составляла главную оппозицию Гарфилду. Тридцатидевятилетний Гито все еще оставался скромной политической фигурой и неудачливым адвокатом. Едва ли и тот кандидат, которому он оказывал поддержку, предоставил бы ему желаемое — скромный дипломатический пост во Франции. На это и не пошел Гарфилд, у которого Гито непрестанно домогался аудиенции. Гарфилд, будучи в то время осаждаем другими претендентами на посты, игнорировал просьбы Гито. Наконец в приступе гнева и отчаяния Гито, взяв пистолет, отправился на железнодорожный вокзал, откуда президент — один из самых мягких и самых интеллигентных людей, когда-либо занимавших этот пост, — намеревался покинуть Вашингтон, направляясь с коротким визитом в университет, в котором когда-то учился. Разъяренный адвокат окликнул его и, подняв пистолет, дважды выстрелил в Гарфилда. Первая пуля скользнула по плечу Гарфилда и слегка ранила его, зато вторая прошла вглубь, в область

позоночника. Президента в тяжелом состоянии перевезли в больницу. Все лето Гарфилд боролся за жизнь, а 19 сентября скончался от последствий ранения.

У Гито были свои мотивы для подобной акции. Это не преступление безумца, который слепо наносит удар своей жертве без всякого к тому основания. Гито ненавидел Гарфилда, он был уверен, что президент обошел привилегиями его и других ему подобных, хотя они имели право на вознаграждение за свои услуги партии. В предвыборной кампании, рассуждал Гито, Гарфилд пользовался их поддержкой, но, попав в Белый дом, на все административные должности назначил исключительно политиков противоположного «стойким» лагеря, тогда как по традиции они предназначались тем, кто больше всего приложил стараний для победы своей партии. Обладая здравым рассудком, Гито был преисполнен злобы и жажды мщения. Если бы все убийцы, движимые подобными мотивами, объявлялись сумасшедшими, то наказание за убийство стало бы редчайшим явлением.

Сумасшедший, обуреваемый манией преследования, наверняка мотивировал бы свой акт мщения совершенной в отношении него неспра-

ведливостью. Гито сформулировал свои мотивы значительно сложнее. Это типично для людей вполне здравых, когда они совершают акт, который даже им самим показался бы невыносимо мелочным или неблагородным, если бы они решились признаться в этом. Они, как правило, изобретают мотив более благородный и обманывают самих себя верой в то, что они действовали якобы от лица некоей группы, с которой обошлись несправедливо, а вовсе не во имя самих себя. Так и Гито, выпустив пули в Гарфилда, провозгласил, что после смерти Гарфилда президентом станет вице-президент Честер А. Артур, а он был из группы «стойких».

Здесь не было и признаков бреда сумасшедшего. Убийство Гарфилда действительно способствовало приходу к власти группы единомышленников Гито. Добившись выдвижения в кандидаты на пост президента в жесточайшей борьбе, Гарфилд пытался внести мир в ряды своей партии, предоставив побежденной фракции выдвинуть в вице-президенты собственного кандидата. Таким образом, как это часто случается в США, два первых лица в государстве представляли прямо противоположные воззрения. Так было и с Эндрью Джонсоном при Линкольне, а по мне-

нию многих, это в какой-то мере относится и к Линдону Джонсону при Кеннеди. В трех из четырех случаев убийства президента Соединенных Штатов его преемником становился человек, выдвинутый оппозицией справа. В четвертом, как мы покажем ниже, президент Маккинли, хотя и сам являлся представителем крайне правых, все же оказался впоследствии смененным еще более правым экстремистом.

Просчет Гито заключался в том — и это свидетельствует всего-навсего, что он был лишь никудышным политиком, а отнюдь не каким-то психически неполноценным человеком, — что он воображал, будто совершенный им акт будет на руку «стойким», если он, Гитсу, открыто провозгласит свою приверженность к этой группе. Он был готов рискнуть собственной жизнью, принеся в жертву жизнь Гарфилда, во имя того, что сам он называл «политической необходимостью», которая «сплотит партию». В письме, написанном до убийства и предъявленном самим Гито в момент ареста, он обращался к лидерам группировки «стойких» с просьбой обеспечить его защиту. Он называл самого себя «стойким из стойких», перечисляя свои заслуги перед кандидатами этой группы во время предвыборной

кампании.

По предположениям Гито, смерть Гарфилда должна была произвести тот же эффект, что в свое время и смерть Линкольна.

И в известной степени так оно и было. Изо всех тех, кого Гарфилд выбрал в состав своего кабинета — людей, в руках которых сосредоточивалась бы вся власть в стране на последующие четыре года, — лишь один остался незамеченным Артуром. Этим исключением был человек, которого он не посмел тронуть, — сын Линкольна. Впрочем, с другой стороны, новый президент порвал и со «стойкими». Открытое признание, что убийца действовал как их агент, возымело действие, обратное тому, на что рассчитывал Гито. Мужество, с которым Гарфилд боролся за свою жизнь, привлекло к нему симпатии всего народа, всеобщая же ненависть к «стойким» привела к устранению их ставленников с занимаемых должностей.

Акция Гито, разумеется, была осуждена «стойкими» точно так же, как в свое время преступление Бута было осуждено Югом после первой реакции стихийного ликования, о которой говорил Дэвис. Однако в общественном сознании политический характер преступления Гито был широко признан: подлинной причиной пре-

ступления считались поджигательские выпады против Гарфилда со стороны людей, которые не могли ссылаться на «психическую неполноценность». Газета «Нью-Йорк ивнинг телеграф» в день покушения писала, что, «говоря попросту», акт, совершенный Гито, был «естественным исходом грязной и разлагающей политической игры, жертвой которой с самого окончания войны является вся страна».

Пока Гито в тюрьме дожидался суда, у него была возможность поразмыслить над опрометчивостью своего поступка. Он мог понять теперь, как сильно он просчитался. «Стойкие», на одобрение которых он рассчитывал, оказались не в состоянии защитить его. Он был предоставлен самому себе, и когда Гарфилд умер, то для него уже не просто тюрьма, а смертный приговор стал реальностью.

Он не мог отрицать свою виновность в преступлении, которое, подобно Джеку Руби, совершил публично. Ему надо было подобрать иной способ защиты — и для этого существовала лишь одна возможность.

С самого начала, как уже отмечалось, Гито отказался от версии, будто он действовал из личных соображений, из мелкой злобы. Он нашел мотив

более благородный, попытавшись связать свои личные обиды с обидой всех претендентов от «стойких» на выгодные посты в правительственном аппарате. Поскольку теперь оказалось, что этого недостаточно, он решил искать оправдания своих действий в болёе высоких сферах — у самого господа бога. Ведь оставался один путь к спасению жизни — и это превосходно понимал сам Гито с его познаниями в области права: можно объявить себя сумасшедшим и своим поведением убедить в этом суд.

В медицинских кругах уже тогда предпринимались первые попытки опротестовывать приговоры к тюремному заключению, вынесенные в отношении сумасшедших, поскольку, по мнению врачей, такого рода преступников надо отправлять в психиатрические лечебницы. Использовав увлечение этой теорией в Америке, Гито (под руководством своего зятя, Джорджа Сковилля, своего официального защитника) ухитрился превратить зал судебных заседаний на протяжении всех десяти недель, пока шел процесс, в поразительное зрелище: суд порою напоминал сумасшедший дом. Гито вскакивал и, прерывая свидетелей обвинения и прокурора, произносил длинные и несвязные речи, он утвер-

ждал, будто Иегова внушил ему нанести удар по Гарфилду, а в заключение обращался к суду с просьбой: «Пусть ваше решение подтвердит, что это акт божий, а не мой».

Судья, председательствовавший на фантастическом процессе-спектакле, подвергся резкой критике за то, что он предоставил Гито полную возможность демонстрировать свое помешательство, будь оно подлинным или симуляцией. В связи с этим еженедельник «Нейшн», выходивший и в то время, заявил: «Словом, надо задуматься, не следует ли, невзирая на использование обвиняемым ссылки на помешательство в качестве защиты, обращаться с ним в зале суда как со здравомыслящим и ответственным лицом, настойчиво требуя от него такого поведения, которое давало бы понять, что вся его защита есть не что иное, как обман».

Итак, Гито была предоставлена полная возможность продемонстрировать, что он полоумен. После того как присяжным рассказали немало историй о его прежних эксцентрических выходках и они терпеливо выдержали целую серию диких взрывов со стороны подсудимого, дело наконец было закончено — после часового обсуждения присяжные вернулись с определением: «В своем

уме, виновен». Гито казнили. Теория помешательства «ad hoc», или «внезапного и временного помешательства, длящегося ровно столько, чтобы выполнить определенный противозаконный акт, получила, пожалуй, самый серьезный удар, какой ей когда-либо наносился».

Суд над Гито в отличие от предыдущих процессов, последовавших за убийством Линкольна, происходил в современную эпоху — при толковании закона, по которому помешательству давалось современное определение. Он послужил бы явным прецедентом при суде над Ли Освальдом, если бы защитник Освальда объявил своего клиента невменяемым. Совершенно очевидно, что уж если такой неврастеник, как Гито, мог рассматриваться как человек, ответственный за свои поступки перед законами Соединенных Штатов, то убийца Кеннеди, притом, несомненно, в значительно большей степени, ответствен за свое преступление. Что же касается Руби, то приведенный выше отрывок из «Нейшн» превосходно формулирует доводы в пользу того, чтобы отвергнуть ссылки на «временное помешательство, длящееся ровно столько, чтобы выполнить определенный противозаконный акт».

Джон Уилкс Бут был убийцей со стороны пра-

вых. «Стойких»

Чарльза Гито, хотя им трудно дать какое-либо четкое определение, можно было бы считать правым крылом этой партии. Но Ли Харви Освальд, обвиняемый в убийстве Кеннеди, назван сумасшедшим левым — примечательно, что и в прошлом уже имел место прецедент подобного обвинения.

В этой связи поучительно было бы разобрать обстоятельства убийства Маккинли. В истории Соединенных Штатов не существовало президента, чья внешняя и внутренняя политика была бы столь ненавистной для левых, как политика республиканца Маккинли, впервые избранного в 1896 году и переизбранного четыре года спустя.

Если искать современного двойника Маккинли, то на ум приходит имя Джона Фостера Даллеса. Президент Маккинли находился в Белом доме, когда выявились два фактора огромного значения: США стали показывать себя империалистической державой с притязаниями на мировое господство, а с другой стороны — окончательно утвердился контроль крупных корпораций и финансовых учреждений над американской экономикой. Именно в период президентства Маккинли была спровоцирова-

на и выиграна война с Испанией — почти без всякого сопротивления со стороны испанцев, но при упорном и мужественном сопротивлении народов, населявших испанские колонии, только что захваченные Соединенными Штатами. После окончания войны США произвели своего рода оккупацию этих колоний — либо косвенную, как это было в случае с Кубой, которой американцы навязали долгосрочный договор, утверждавший их экономическое господство над островом, либо прямую, как это было с новыми колониями — Пуэрто-Рико. Гуамом, Гавайями и Филиппинами.

В оправдание своих действий у Маккинли всегда находились веские моральные доводы. В войне с Испанией президент отказывался внимать своим советникам — сторонникам еще более крайних действий, заявлявшим, что движение за независимость Кубы несет угрозу американским капиталовложениям на этом острове (сахар, железо, табак), и требовавшим ввода войск США на Кубу для охраны этих ценностей и без разрешения на то испанского правительства.

Это противоречило тактике Маккинли. Он предпочел направить в Гавану линкор с заданием обеспечить безопасность жизни и собственности американцев, находящихся на Кубе, если

там произойдет революция. Через три недели после прибытия линкора в порт Гаваны он был взорван и потоплен. Испания, отдававшая себе отчет в том, что она беззащитна, и предпринимавшая отчаянные попытки избежать войны, торжественно заверяла мир, что она не несет ответственности за этот взрыв. Несмотря ни на что, Маккинли толкнул жаждавшую возмездия страну на объявление войны Испании, чтобы, как он утверждал, отомстить за потопленный ею линкор.

Это была самая недостойная война из всех, в которых когда-либо приходилось участвовать великим державам. Ни одного дюйма захваченной земли не приходилось завоевывать, ни один солдат американской армии не был взят в плен; потери, понесенные американской стороной, почти исключительно объяснялись либо малярией, либо смертельными отравлениями консервами, которые спекулянты сбывали армии США.

Что касается аннексии Филиппин, Маккинли сказал, что, дескать, ему открылось — такова воля самого господа бога. В беседе с группой духовных лиц президент Соединенных Штатов заявил, что он обратился к всевышнему за советом, как надлежит поступить с этими островами. По словам

Маккинли, чудодейственный ответ, ниспосланный ему, гласил: Америка должна отправить туда свои войска с целью поднять, цивилизовать население, распространяя христианство, «поскольку эти темнокожие существа являются нашими собратьями: Христос отдал свою жизнь также и за них».

Президент известил духовенство, что, когда бог ниспослал ему такое откровение, он вызвал официального картографа и дал ему указание впредь на всех выпускаемых картах отмечать Филиппины как собственность Соединенных Штатов. Но покорение этих островов оказалось делом не таким простым, как рассчитывал президент. Среди местного населения, боровшегося за свою независимость, погибло 600 тысяч человек, потери американской армии составляли 4300 человек. Когда американцы — противники империализма — задавали вопрос, какие права их страна предполагает предоставить филиппинскому народу, Маккинли отвечал: «Сейчас неподходящий момент для освободителей выдвигать важные вопросы, касающиеся свободы и правительства для освобождаемых, поскольку последние заняты истреблением своих избавителей».

Внутри страны Маккинли следовал политике

мультимиллионера Маркуса А. Ханны, который еще в начале политической карьеры Маккинли предоставил ему большую денежную ссуду для уплаты долга, после чего стал его главным «советником».

Много воды утекло в Америке со времен Линкольна. Гражданская война была вызвана причинами более сложными, чем те, которые приводятся обычно; с точки зрения экономической — это был союз независимого фермера Среднего Запада с предпринимателями и работниками Севера против крупных владельцев плантаций на Юге и тех, кто от них зависел. Союз между Севером и Средним Западом, сложившийся в период Гражданской войны, уже распадался во время правления Гарфилда, бывшего генерал-майора линкольновской армии, которого поддерживали фермеры с Запада в борьбе с богатыми ньюйоркцами за право держать в своих руках партию, некогда избравшую Линкольна. В годы, последовавшие за убийством Гарфилда, финансовый капитал, открыто помогавший «стойким», полностью овладел контролем над Соединенными Штатами. К тому моменту, когда Маккинли был выдвинут кандидатом от республиканцев, они уже являлись главной силой и

в сфере политической. Антитрестовский закон Шермана, имевший своей целью защиту мелких предпринимателей от монополий, был принят в 1890 году, но в 1896 году президентом избрали Маккинли, и при его правлении тресты с многомиллионными капиталами, созданные вопреки этому закону, не подвергались ни малейшим ограничениям. Одним из таких трестов была сталелитейная компания «Ю. С. стил», располагавшая уже тогда миллиардом долларов.

Президент, прибывший в Буффало 5 сентября 1901 года на грандиозную выставку, открывшуюся в этом городе с целью прославить превращение Соединенных Штатов в мировую державу, был, таким образом, деятелем не совсем обычного типа. Маккинли проехал по «триумфальной дороге», произнес речь, затем осмотрел выставку, выпил кофе в пуэрто-риканском павильоне и в тот же вечер полюбовался фейерверком — огненным изображением в небе двадцати двух боевых кораблей. На следующий день он вновь посетил выставку, чтобы еще раз осмотреть ее экспонаты. К вечеру, по заведенному обычаю, он направился пожать руки своим почитателям в толпе посетителей выставки. Их выстроили в ряд. Маккинли шел вдоль шеренги, пожимая

руки, пока не остановился возле какого-то человека, который не подал ему руки, а вместо этого выстрелил сначала в грудь, потом в живот президента.

Убийцу Маккинли сбили с ног, его волокли по земле и избивали, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Как выяснилось, это был рабочий по имени Леон Чолгош, 28 лет, сын польских иммигрантов. Когда его спросили о мотивах убийства, Чолгош тихо ответил: «Я убил президента, потому что он — враг честных трудовых людей. Я не раскаиваюсь в своем преступлении».

Убийство президента Соединенных Штатов во имя честных трудовых людей расценено было в Америке как неопровержимое доказательство невменяемости Чолгоша. Когда на допросе он сообщил, что в свое время посещал митинги социалистов и анархистов, это первое предположение укрепилось. А когда он заявил своим адвокатам, что знает, какой конец его ждет, и не намерен помогать назначенным судом юристам готовить выступления в его защиту, люди окончательно убедились в том, что он сумасшедший.

По мнению американцев, голосовавших за Маккинли, лишь обезумевшие заговорщики либо вступившие в заговор безумцы могли восприни-

мать анархизм как философское направление, а марксизм как экономическую доктрину.

О жизни Чолгоша мало что публиковалось, да и то, что известно, окрашено субъективным отношением его биографов.

Отец Чолгоша, простой чернорабочий, приехал в Соединенные Штаты из Польши. Леон Чолгош родился уже в Соединенных Штатах. Когда он достаточно подрос и мог начать работать, его приняли на кливлендский завод по производству проволоки. Сохраняя репутацию честного и знающего свое дело рабочего, ему удалось остаться на работе и в годы кризиса, когда многие другие ее потеряли.

В Кливленде он увлекался чтением. Многие из его знакомых считали его «необщительным», «тихоней», но в остальном его поведение было вполне нормальным. Молодой рабочий интересовался теоретическими дискуссиями, касавшимися взаимоотношений капитала и труда, он посещал лекции на эту тему. Из всех рассмотренных им доктрин его больше всего привлекали убеждения анархистов.

Когда 29 июля 1900 года итальянский король Умберто I был убит анархистом, который незадолго до этого жил в Нью-Джерси, Чолгош вырезал

из газеты сообщение об убийстве короля и постоянно перечитывал его. Как говорили, он неоднократно пытался вступить в анархистские организации в Кливленде и в Чикаго, но в то время анархистов подвергали таким тяжелым репрессиям, что они с недоверием относились к любому незнакомому человеку, опасаясь, что это агент, подосланный полицией с заданием следить за ними. Представления Чолгоша об анархизме были весьма наивными и ультрарадикальными. Это усугубляло подозрения, и орган американских анархистов «Свободное общество» в выпуске, опубликованном за пять дней до убийства Маккинли, особо предостерегал своих читателей, что Чолгош, несомненно, является провокатором и следует пресекать всякую его деятельность среди анархистов.

Невзирая на это, считалось, что все анархисты Соединенных Штатов несут коллективную ответственность за убийство Маккинли. Сотни из них были схвачены, арестованы и заключены в тюрьмы. Пытались утверждать, что среди них Чолгош имел сообщников, хотя и не нашлось улик, подтверждавших подобное подозрение. При всем этом можно с полной определенностью утверждать — и здесь обвинения основываются

на более твердой почве и заслуживают большего внимания, — что при определенных обстоятельствах и в известные периоды анархисты других стран замышляли и осуществляли аналогичные убийства Несомненно, преступление Чолгоша было продиктовано исключительно его философской позицией, которую он, во всяком случае, определял как анархистскую.

Как мы могли убедиться, все три убийства были продиктованы политическими мотивами. Но при убийстве Маккинли — что является случаем из ряда вон выходящим — отсутствовало какое бы то ни было стремление убийцы к славе или мести.

Бут прыгнул на сцену, чтобы удостовериться в том, видела ли толпа человека, который нашел в себе мужество выстрелить в Линкольна, а когда впоследствии Бут прочитал в газетах сообщение о своем преступлении, он записал в дневнике: «Я нанес удар отважно, а не так, как об этом сообщают газеты. Я твердым шагом направился к нему сквозь тысячи его друзей, меня останавливали, но я упорно пробивался вперед. Возле него находился полковник. Прежде чем грянул выстрел, я воскликнул: „Пусть так всегда погибают тираны“.

Прыгая, я сломал себе ногу. Я прорвался через все заграждения. В эту ночь я проскакал шестьдесят миль с переломом кости, и при каждом толчке кость вонзалась в мякоть ноги. Я покинут всеми, на мне лежит печать Каина, хотя, если бы мир знал, что происходит у меня в душе, одно это сразу сделало бы меня великим».

Гито вручил схватившим его письмо, содержащее его собственную, не лишенную преувеличений биографию, а Чолгош, когда полиция спросила его имя, ответил: «Nieman» — «Никто». Он ни разу не проявил чувств личной обиды. Сидя в тюремной камере, когда от него требовали признания в тайных мотивах убийства, Чолгош твердил только одно: «Я думал, что это будет на пользу родине».

Сообщникам Бута было дано право обжаловать приговор в течение нескольких месяцев, так же поступили и с Гито. Процесс над Чолгошом был проведен скоропалительно, всего за восемь часов; суд признал его виновным, посовещавшись ровно 34 минуты. Затем он был казнен на электрическом стуле. Палачи не сразу выдали его тело семье, сначала они обильно полили останки карболовой кислотой. Этот последний жест — возмездие трупу «безумного» убийцы

— очевидно, казался сторонникам Маккинли вполне нормальным.

Убийство Маккинли попросту привело к переходу власти в руки человека, который, хотя и проявлял меньшее раболепие перед монополиями внутри страны, в своей внешней политике придерживался более империалистического курса. Сам по себе Маккинли не был той движущей силой, которая направляла экспансионистскую политику США. Он являлся лишь одним из выразителей интересов монополий. Находилось немало и других, вроде сенатора из Индианы Бевериджа, которому принадлежит следующее изречение: «Господь сделал нас руководителями и организаторами мира, призванными внести порядок и систему в царство хаоса… Он выделил американский народ как избранную им нацию, которой суждено возглавить возрождение мира. Такова священная миссия Америки». И даже такой здравомыслящий человек, как Уильям Аллен Уайт, один из известнейших американских редакторов и советников Белого дома, заявил: «Судьба явно предназначила англосаксам роль завоевателей мира».

После убийства Маккинли в Белом доме воцарился Теодор Рузвельт, самый оголтелый из всех

империалистов, считавший политику Маккинли слишком умеренной. Однажды, разгневанный затяжкой нападения на Кубу, он заявил, что президент Маккинли, пытавшийся искать какие-либо моральные оправдания войне, «был не тверже шоколадного крема»[29].

В отличие от двух предыдущих убийств, убийство Маккинли не изменило политических позиций прежнего правительства — напротив, лишь укрепило уже намеченный курс. Поэтому можно усомниться в действенности террористических актов даже с точки зрения тех, кто замышляет и осуществляет их.

Никаких убедительных объективных доказательств безумия Чолгоша никогда не было представлено. Ни один суд не признал его невменяемым. Вся эта версия строится на весьма поверхностном доводе — о приверженности его к определенной идеологии, которая-де сама по себе уже является свидетельством невменяемости. И в то же время не известно ни одного высказывания, приписываемого Чолгошу, которое по своему безумию могло бы сравниться с заявлением Теодора Рузвельта, сделанным перед началом во-

---

[29] Примечания: 29
Маргарет Лич. В дни Маккинли (1959).

енных действий на Кубе: по мнению последнего, именно потому, что так много людей жаждет мира, должна начаться война. «Шумиха, поднятая кликой, ратующей за мир, убедила меня в том, что нашей стране нужна война… Я бы предпочел, чтобы она началась как можно скорее».

Этот исторический обзор предыдущих убийств позволяет дать оценку тому заявлению, которое так часто повторяется на страницах газет и журналов, откуда большинство американцев черпает факты и на основании их делает свои выводы, — заявлению, что все президенты Соединенных Штатов, павшие от пули убийц, были жертвами сумасшедших, у которых не было ни сообщников, ни определенных политических целей. Следует еще раз отметить, что подобная официальная версия выдвигалась не раз.

Поначалу утверждали, что Освальд — агент мирового коммунистического революционного движения, а Руби — разгневанный патриот, взявший на себя миссию отомстить за мученически погибшего президента и его отважную молодую вдову. И лишь после того, как доводы Руби были подвергнуты сомнению во всем мире, на смену этой версии преступления появилась новая.

И Освальд, и Руби были представлены как

безумцы, действовавшие в одиночку и незнакомые друг с другом. А поскольку не существует конкретных доказательств невменяемости Освальда, новая версия основывается исключительно на беспрестанных заверениях в том, что исторически это являлось единственным объяснением всех предыдущих убийств, поскольку убийства политического характера никогда в Соединенных Штатах, дескать, не происходили.

Майк Макгрейди
ГОЛУБЬ ВО ВЬЕТНАМЕ

Была весна 1967 года, и над страной кричали ястребы. Была весна, и увешанный орденами генерал Уильям Уэстморленд прибыл домой с полей сражения, скорбя, что его храбрые солдаты «приходят в отчаяние, как и я сам», из-за недавних непатриотичных выступлений у нас здесь, на родине; была весна, и «патриоты», устроившие парад в Нью-Йорке, вымазали дегтем и вываляли в перьях человека, который посмел с ними не согласиться. Это была странная, печальная весна, когда голубям подстригли крылья. И во время этой печальной весны 1967 года громче всех протестовала молодежь. Теперь в стране живет

страх, что эта война, четвертая из крупнейших войн в ее истории, окажется самой дорогой из них. И не потому, что она уже оплачена жизнью пятнадцати тысяч американских мальчиков, не потому, что только один ее год обошелся в 30 миллиардов долларов, не потому, что из-за нее засохла на корню программа обеспечения гражданских прав и сошла на нет крупнейшая программа социального обеспечения, когда-либо принимавшаяся в масштабах всей страны.

Но если будет доказано, что эта война не была нужна, что в конечном итоге нас вовсе не заботили интересы народа Южного Вьетнама, вот тогда наше преступление по своей чудовищности превзойДет все другие, которые знает современная история, — кроме одного.

Я поехал во Вьетнам, чтобы найти какое-то объяснение войне, которая издали казалась унылой, грязной, а часто и нелепой. Меня интересовали наши солдаты там — что делают они и что делает с ними война; и не меньше меня интересовали вьетнамцы — что мы делаем с ними и что мы делаем для них. Возможно, я уезжал во Вьетнам с голубиными иллюзиями, но моя цель была проста: рассказать все как есть.

Сайгон

Впечатления. Первые дни в Сайгоне — ничего, кроме прямых впечатлений. Никаких ответов, только вопросы. Но если есть нить, объединяющая первые впечатления от Вьетнама, то она определяется характером американского присутствия там.

А характер этого присутствия, несомненно, окрашен насилием. Двадцатилетний Том Чэмпьон, уроженец Сан-Франциско, отсчитывающий последние шестнадцать дней своей службы во Вьетнаме, говорил, сидя в вестибюле «Каравеллы», наименее плохого из сайгонских отелей: «Это грязная война. Если бы кто-нибудь раньше сказал мне, что я буду стрелять в женщин и детей, я назвал бы его лжецом. Но тут в тебя стреляют женщины и дети, так что же делать?»

Чэмпьон — лучший стрелок в своем взводе. Его оружие — «М–16». «Можно сделать двадцать выстрелов за полторы секунды, просто держа палец на спусковом крючке. Пули не толстые, но длинные и оставляют порядочные дыры. Иной раз видишь — лежит Чарли с малюсенькой дырочкой в груди, а перевернуть его — рану в спине и каской не закроешь. Один мой приятель как-то

стрелял и попал женщине сзади под коленку, так ей почти начисто оторвало ногу.

Да, это грязная война. Главное то, что не знаешь, кто тут враг, а кто друг. Некоторые офицеры говорят просто — валяйте стреляйте, не разбирайтесь. Тут все зависит от того, какой офицер».

Другие впечатления — денежные впечатления, впечатления от экономического присутствия американцев. Сайгон, быть может, первая крупная жертва войны, и причина тому — не бомбы, которые порой бросают террористы, а всемогущая зеленая долларовая бумажка.

Города, который когда-то называли жемчужиной Востока, — этого города больше нет. Остается только труп, в котором копошатся черви в человеческом облике — безногие нищие, еще донашивающие заплатанную форму южновьетнамской армии, детишки, аккуратно вылущивающие вшей из волос дряхлых стариков, беженцы, варящие жидкий суп на тротуарах… В этом городе много улиц, на которых можно продать и купить что угодно.

«Желаете разменять деньги, сэр? Нет? Двести пиастров за доллар? Нет? Не хотите ли порнографическую книжку? Или фотографии — не простые фотографии, а… вроде этих? Нет? Но,

может быть, у вас есть аппарат и вы сами хотите поснимать что-нибудь такое? Ах, так вам просто нужна первоклассная девушка?»

А если не девушка, так две девушки… гуталин… флакончик для зажигалки… сигареты… черные очки… краденые часы… и наконец (последнее предложение) — белая женщина?

Влияние американского доллара приводит не только к инфляции, хотя инфляция колоссальна и продолжает расти. Это влияние приводит еще и к необычайной переоценке ценностей. Закон спроса и предложения действует тут так же, как и везде, и американские деньги идут не на жалованье университетским преподавателям, юристам или врачам — кроме, конечно, тех врачей, которые специализируются по венерическим болезням. Эти новые деньги попадают в карманы владельцев баров и публичных домов.

В этой стране продается все, кроме, пожалуй, хорошего отношения людей. В Сайгоне, где большая часть денег попадает в руки немногих, это отсутствие хорошего отношения можно заметить на каждом шагу. Лица прохожих враждебно замкнуты и недоверчивы, каждую ночь происходят драки между нашими солдатами и вьетнамцами, даже жестоко цензурируемые газеты, выходящие

на вьетнамском языке, отражают глубочайшие антиамериканские настроения.

И наконец, впечатления от деятельности высокого военного начальства. Военные советники и штабисты в Сайгоне днем работают в кабинетах с кондиционированным воздухом, под охраной вооруженных винтовками военных полицейских, которые стоят за вездесущими заграждениями из мешков с песком. По вечерам советников и штабистов можно увидеть в сайгонских ресторанах: они сидят за изящными решетками, которые должны предохранять их от ручных гранат, рисуют на скатертях карты Вьетнама, останавливаются, чтобы показать особенно уязвимые места на Севере, а также места, где можно было бы с наибольшим эффектом применить тактическое ядерное оружие, и так далее.

Военные аспекты войны приезжим журналистам объясняли офицеры, которые провели значительное время в районах боевых действий. Полковник Макклюр с седеющими, коротко подстриженными волосами, ветеран военно-морской пехоты с образованием психолога, объяснял ситуацию несколько часов подряд.

Он объяснил, что вьетконговцы — хорошие солдаты. Он объяснил, что вьетконговцы контро-

лируют сельские местности («Они установили по всему Южному Вьетнаму свою власть — в деревнях, селениях, округах, провинциях»). Он объяснил, что у сайгонского правительства не ладится дело с управлением («Этому правительству чрезвычайно трудно хоть что-нибудь наладить»).

Полковник Макклюр объяснил, что, несмотря на все это, Вьетконгу приходится плохо («Их потери еще никогда не были так велики. За март они составили девять тысяч пятнадцать человек убитыми. В целом с начала войны мы убили свыше ста девяноста тысяч человек»).

Полковника Макклюра спросили, относится ли эта цифра к военным или к гражданским лицам.

— К врагам, — ответил он. — Но нам еще остается много сделать. Враг еще никогда не был так силен.

Он заговорил о проблеме беженцев, возникшей из-за того, что мы ведем военные действия в демилитаризованной зоне:

— Нам пришлось очистить эту зону от населения. Примерно двенадцать тысяч человек превратились в беженцев, но теперь у нас там обстановка, которая нам нужна. Если хоть что-то шелохнется к югу от демилитаризованной зоны,

мы сразу стреляем.

Мы спросили лейтенанта, не могут ли пострадать невинные люди.

— В этом районе, — сказал он, — они все вьетконговцы.

Ну, если они еще не были вьетконговцами утром, то к вечеру, вероятно, уже стали ими. Прочие результаты операции оценить было труднее. Мы уничтожили несколько рисовых полей гусеницами наших танков. Мы сожгли напалмом несколько красивых рощ. Мы бомбили деревни и разнесли в клочья несколько свиней. И не встретили никакого сопротивления. Точно били молотками по золотым рыбкам.

Нелепость всего этого поразила врача, наблюдавшего операцию «Аризона» с самого начала.

— Победа осталась за нами, — сказал он.

Уничтожение листвы

Уничтожение листвы было в шутку определено как «война против враждебной растительности». В идее уничтожения листвы для меня кроется что-то неуловимо гнетущее. Может быть, тот факт, что деревья — даже деревья! — можно делить на «дружеские» и «враждебные». А может быть, и ничего столь философского — а просто как-то

не укладывается в голове, что рис поливают отравляющими веществами. Однако в Сайгоне, где уничтожение листвы считается существеннейшей частью наших военных операций, меня попытались успокоить. Мне сказали, что уничтожение листвы не так уж отличается… впрочем, нет, вовсе не отличается от уничтожения сорняков на газоне перед пригородным домом.

К несчастью, я наблюдал операцию уничтожения листвы — и это не совсем то же, что уничтожение сорняков на газоне перед пригородным домом. Мы прилетели в лучах утреннего солнца и убили небольшой лес. Нет, это совсем другое!

Но сначала было объяснение, официальное объяснение уничтожения листвы. Как правило, подобные программы объясняются высокопоставленными офицерами, обладающими личным опытом. Обычно перед этим офицер пониже чином сообщает вам некоторые требования.

— Давайте уточним несколько моментов, — сказал молодой капитан. — Вы можете ссылаться на «осведомленные источники».

— Без фамилий?

— Без фамилий, — сказал он. — Просто «осведомленные источники».

— А могу я написать — «осведомленные источ-

ники, тесно связанные с программой уничтожения листвы»?

— Безусловно, нет, — сказал он.

— А можно указать, что «осведомленные источники» носят чин полковника?

— Вряд ли, — сказал он. — Но я это уточню.

Такие предосторожности выглядели чуточку странными. Но возможно, что человек, о котором идет речь, этот Осведомленный Источник, не хотел, чтобы его имя тесно связывалось с программой уничтожения листвы. Разве можно его за это упрекнуть?

— В этой программе нет ничего особенного, — сказал в диктофон Осведомленный Источник. — Мы используем три сорта гербицидов, и это все коммерческие гербициды, какими вы пользуетесь дома, в Штатах. Они не вредны ни для кого, кроме растений, — растения они убивают, но таково их назначение.

Все это весьма успокаивало, хотя и не вполне соответствовало истине.

Вот несколько предупреждений, которыми компания «Доу кемикл» снабжает те же самые гербициды, когда продает их в Штатах.

«Не загрязняйте ирригационные сооружения и воду, предназначенную для домашнего использо-

вания. Предостережение: может вызвать кожную сыпь. Остерегайтесь попадания в глаза, на кожу и на одежду. Запирайте от детей».

«Вызывает раздражение кожи и глаз… При попадании в глаза промывайте их не менее 15 минут и обратитесь к врачу; кожу мойте мылом с большим количеством воды. Одежду снимите и выстирайте».

«Не допускайте соприкосновения… с полезными растениями… следите, чтобы распыляемую взвесь не отнесло к ним, так как даже самое малое количество ее может оказать крайне неблагоприятное воздействие и в период роста, и в период покоя… Распыление с самолета, машинами или вручную должно производиться так, чтобы не возникла опасность относа взвеси… Удойных коров выпускайте на обработанные участки не ранее, чем через семь дней (во избежании порчи молока)».

Осведомленный Источник желал сделать абсолютно ясным одно: уничтожение листвы не было американской программой.

Он не мог взять в толк, почему столько людей находится в заблуждении и считает, будто это — американская программа. Летчики — американские, и самолеты — американские, и

химикалии куплены на американские деньги и производятся компаниями, вроде «Доу кемикл», но не следует думать, будто программа — американская. На самом деле это программа правительства Южного Вьетнама.

Главная цель программы уничтожения листвы, сказал Осведомленный Источник, заключается в увеличении видимости, что затруднит противнику устройство засад и позволит нашим воздушным разведчикам обнаруживать все те силы противника, которые решат остаться в обработанном районе месяца на три, пока листья на деревьях не побуреют и не облетят. Однако этим ее назначение не исчерпывается.

— Нам сообщают, — сказал Осведомленный Источник, — что солдаты в этих обработанных районах, где образуется много сухого подлеска, лучше могут расслышать шаги, чем в районах, обработке не подвергавшихся.

Третья цель (ее поклонники программы обычно не подчеркивают) заключается в уничтожении недружественного риса. По приблизительной оценке, в этом году были сделаны бесплодными 450 000 акров обрабатываемых полей — более пяти процентов всей обрабатываемой земли Южного Вьетнама.

— Но вы должны помнить, что это вьетнамская программа, а не американская. Вы убедитесь, что в тех случаях, когда самолеты вылетают опрыскивать поля, на самолетах вьетнамские опознавательные знаки и в каждом самолете — не менее одного вьетнамца. Обычно при уничтожении листвы мы этого не делаем — например, когда вылетаем покончить с десятком-другим деревьев. Но когда дело идет о полях, ну… это весьма щекотливая программа вьетнамского правительства.

Но довольно официальных объяснений. Небольшой уголок воздушной базы в Бьен-Хоа, в двадцати милях севернее Сайгона, занимают самолеты, снабженные тысячегаллонными баками для гербицидов. За рядами самолетов стоят тысячи бочек с гербицидами. Подполковник Робеот Деннис, как и Осведомленный Источник, поспешил объяснить, что это — вьетнамский проект.

— За перевозку и выгрузку здесь химикалий отвечает вьетнамское правительство. Это нелегкая работа — каждая бочка весит шестьсот сорок фунтов.

Эта склонность снимать с себя ответственность наводит на интригующие вопросы. Если в уничтожении листвы нет ничего сомнительного, то

почему мы с таким жаром настаиваем, что явно американская программа на самом деле якобы принадлежит вьетнамскому правительству? Если во всем этом нет ничего постыдного, то почему мы помещаем вьетнамские опознавательные знаки и наблюдателей на самолеты, уничтожающие поля? Непонятно. Непонятно.

Деннис, командир звена и пилот самолета, на котором летим мы, сообщил, что полеты производятся семь раз в неделю. Больше пяти раз подряд никто не летает, но и реже — тоже почти никто.

Пока мы шли к самолету, Деннис сообщил, что вовсе не считает свою деятельность разрушительной. Наоборот. Ему кажется, что в некоем отдаленном и счастливом будущем эта работа даст плоды, весьма благотворные для вьетнамского народа. «Мне нравится думать, как в один прекрасный день окажется, что мы превратили джунгли в готовые для обработки поля. Благодаря гигантским затратам нашего правительства мы облегчили и удешевили для кого-то расчистку всей этой земли. Даже и сейчас мы уже видим некоторые полезные результаты — в некоторых районах, где мы побывали, сухие деревья используются для выжигания древесного угля».

Он сказал одну весьма верную вещь — затраты

поистине колоссальны. В апреле 1967 года было сообщено, что гербициды практически исчезли с внутреннего рынка США. Позже сообщалось, что военно-воздушные силы только в этом году закупили гербицидов на 57 690 000 долларов — примерно 6,5 миллиона галлонов.

Взлетели мы не слишком гладко: возможно, из-за груза, прикрепленного снизу к фюзеляжу, — сине-черной цистерны с гербицидами весом одиннадцать тысяч фунтов. Облака вскоре разошлись, и земля внизу выглядела ослепительно и сочнозеленой. Возможно, при виде ее у наших летчиков начинали чесаться руки. Не знаю. Деннис изучал местность опытным взглядом человека, живущего близко к природе. Он указал на распаханные поля внизу — скоро начнется сев. Один раз он снизился, чтобы мы могли посмотреть на бой. Подлетали бомбардировщики и сбрасывали бомбы, вертолеты порхали вокруг, как стрекозы.

Затем он начал указывать на работу своих ребят — многомильные бурые пространства джунглей, лишенных листвы. Бывали минуты, когда в поле нашего зрения не оказывалось ничего, кроме тусклой, безжизненной, бурой пустыни.

Размах нашей программы уничтожения листвы

поистине колоссален — колоссален и засекречен. Никто не говорит, какие площади джунглей и риса уже уничтожены, и приходится пока ограничиваться примерными оценками.

Над целью самолеты резко нырнули вниз, к самым древесным вершинам, после чего пошли точно по рельефу крон. Приближаясь к холму или к особенно высокому дереву, наш самолет резко взмывал вверх и так же резко уходил вниз, и хотя такой полет продолжался всего четыре минуты, он показался мне куда более долгим. Мысль о вражеских снайперах была совсем вытеснена опасением, что мы можем напороться на какое-нибудь внезапно вставшее перед нами дерево. В этом была бы своего рода высокая справедливость — дерево сбивает самолет, уничтожающий листву.

— Кто-нибудь разбился о дерево?

— Пока еще нет, — сказал Деннис.

Из-под хвоста каждого самолета теперь тянулась полоса голубоватого дымка. Она казалась совсем безобидной, но была достаточно сильной — достаточно сильной для того, чтобы уже через неделю воздушные разведчики заметили первые признаки осени, сотворенной человеком. А через три месяца здесь образуется сухая, хрустящая

пустыня.

Все это заняло четыре минуты. Понадобилось ровно четыре минуты, чтобы каждый самолет убил триста акров леса. Ощущения смерти не возникало. Ни стонов, ни воплей, ни взрывов — ничего, кроме бесшумного маслянистого дождя, падающего на ветки и листья внизу…

— А вы никогда не ошибаетесь? — спросили мы у Денниса. — Не бывает случаев, чтобы вы поражали не ту цель?

— Конечно, ошибки случаются, — сказал он. — Но в этих случаях правительство Соединенных Штатов возмещает убытки.

Бернард Фолл сообщил в «Рэмпартс» (декабрь 1965 года) о некоторых из этих ошибок:

«Бен-Кэт, большая плантация вблизи Сайгона, была почти полностью уничтожена из-за несчастной случайности… Деревня Хонай на шоссе № 1 была опрыскана по ошибке. Все фруктовые деревья в ней погибли. Самолеты военно-воздушных сил США уничтожали листву вдоль шоссе № 1, но ветер переменился и понес гербицидную взвесь на деревню. И вот теперь, точно издеваясь, джунгли встают на заднем плане сочной зеленой стеной, а деревни опустошены. Когда я был там, жители рубили свои сады. У них осталась только

одна возможность не умереть от голода — продать высохшие фруктовые деревья в Сайгоне на дрова».

Уничтожение листвы — всего лишь второстепенный аспект этой войны, но весьма мало приятный ее аспект. Людей можно убивать прямо, а можно обречь на голодную смерть, если они не уйдут из родных мест, превращенных в пустыню, — результат, грубо говоря, получается один и тот же.

Способ, каким мы спасаем селения от грозного Вьетконга, весьма и весьма сложен. Он включает сбрасывание на них бомб и напалма, а нередко и сжигание их дотла. Но сначала… сначала мы сбрасываем листовки. Листовки объясняют жителям, что именно мы собираемся сделать с их домами. Кроме того, листовки приглашают всех дружественных вьетнамцев смело выступить вперед и пополнить собой ряды беженцев. Наш военный интерес во всем этом исчерпывается созданием «зоны свободного огня», обширных областей, в которых мы могли бы чувствовать себя свободными стрелять по всему, что движется.

Нередко заявляют, что мы ведем самую гуманную войну в истории. Самый факт, что во Вьетнаме у нас столько беженцев — почти два

миллиона — живет в неописуемых условиях, некоторые рассматривают, как доказательство нашей гуманности. Ведь что ни говори, а беженцы — это люди, которых мы спасли от Вьетконга и от нашего собственного напалма. Но какую цену они за это заплатили! Пожалуй… пожалуй, генерал Шерман был прав, когда сказал: «Война — жестокая вещь, и ее нельзя облагородить».

Покидая Вьетнам

Уехать от войны оказалось не так-то просто. Путь спасения был выбран с большой тщательностью: остановка в Дананге — на этот раз, чтобы провести день на одном из лучших пляжей мира, затем последняя краткая остановка в Сайгоне, а дальше — Гонолулу, Сан-Франциско, озеро Тахо или любое другое место, где люди радуются жизни.

Трудности начались уже во время полета в Дананг. Мой сосед назвал себя — сержант Пристли из Филадельфии. Он сказал, что служит в морской пехоте в должности гробовщика.

— Но что вы делали в Сайгоне!

— Там была конференция, — сказал он. — Конференция военных гробовщиков. Вы бы поразились, сколько их там было! Но, правда, все

больше армейские. Съехались со всей страны.

Сержант Пристли объяснил, что конференция собралась для обсуждения проблем, общих для всех военных гробовщиков, а потом пригласил меня посетить его морг в Дананге.

— Впрочем, может, вы обождете до первого числа, — сказал он. — Для меня строят новый морг — просто чудо. А в настоящее время нам никогда не хватает места в хранилище.

Воды Южно-Китайского моря прозрачны и теплы, солнце над ним печет до самого вечера. Песок данангского пляжа мелкий и белый, как тальк, а дальше высятся зеленые сосны.

Те, кого прислали сюда купаться, успели навидаться войны, и она прячется в их глазах. Таких мертвых глаз, как у людей, присланных сюда купаться, мне не приходилось видеть ни у кого.

Те, кого прислали сюда купаться, были в том возрасте, когда человеку свойственно бездумно буянить и веселиться, — им было по девятнадцать-двадцать лет, — но между ними и естественными потребностями их возраста пролегла пропасть, и я не знал, поможет ли тут купание в теплой морской воде.

Пока они купались, война продолжалась, но ее можно было не замечать. На холмах вокруг

Дананга рвались бомбы, но грохот взрывов не доносился до пляжа. В шести милях в вышине над пляжем тянулись многочисленные белые полоски — следы, оставленные бомбардировщиками «Б–52», базирующимися на Гуаме, но они пролетали слишком высоко. Только вертолеты кружили низко над пляжем, высматривая снайперов, но здесь вертолеты привычны, как воробьи, и на них никто не обращал внимания.

— Жаль, что сержанту Мэрони не удалось попасть сюда, — сказал один из пловцов. — У них в Калифорнии все помешаны на плавании.

— А где он?

— Убит…

На пляже был установлен громкоговоритель, и над водой разносились песни Нэнси Синантра и новинки битлзов. Тем, кого прислали сюда купаться, выдавалось пиво — по две жестянки на человека — и бутерброды.

— Ну, не знаю, — сказал кто-то из пловцов, — нам могло бы быть и хуже.

— Это еще как!

— Валялись бы где-нибудь сейчас мертвыми…

Пиво, музыка, солнце и вода понемножку оказывали свое действие: кто-то обдавал кого-то брызгами, кто-то боролся в воде. Потом они раз-

леглись на песке и уже не говорили о смерти и убитых. Говорили о девушках. Говорили о новых машинах. Говорили о модных песенках. И ненадолго стало казаться, будто от войны можно уйти. Но этому заблуждению был положен конец в пять минут третьего. Среди сосен раздались винтовочные залпы, и один из вертолетов всего в нескольких сотнях ярдов от купающихся тяжело рухнул вниз, точно утка, подстреленная на лету. Появились еще вертолеты… четыре… нет, пять, раздались пулеметные очереди, начали рваться ракеты, и глаза тех, кого прислали сюда купаться, снова стали мертвыми.

Только в Сан-Франциско я понял, что вернулся в Америку. Впервые за несколько месяцев люди вокруг говорили не о Вьетнаме. Оказалось, что в жизни существует еще много другого — волнения и уличные беспорядки в крупнейших городах страны, благополучные роды дочери президента, предполагаемое введение десятипроцентного налога: ну, словом, много всякого другого.

И позже в Тахо женщина в ресторане громогласно объясняла:

— Раньше мы всегда ездили отдыхать в Лас-Вегас, но там все еще держат черных — горничные, официанты, ну, вы понимаете… А здесь вас об-

служивают белые. Тут никаких беспорядков не будет.

И почему-то от ее слов у меня перед глазами вновь возник труп солдата-негра, убитого в небольшой стычке под Дак-То. Голову ему оторвало снарядом, и о том, что он негр, можно было догадаться только по его рукам.

Так продолжалось неделю. Счет на 28 долларов во французском ресторане почему-то вызывал в памяти лагеря беженцев. Морской курорт в Орегоне, встающий из утреннего тумана, напоминал спаленную напалмом деревню вблизи от демилитаризованной зоны. Леса секвой… уничтожение листвы; благосостояние… нищета; народ, не знающий, что такое война в его стране… народ, уже давно не знающий ничего, кроме войны… Уехать от войны оказалось далеко не так просто, как представлялось вначале.

Дома мне потребовалось две недели, чтобы собраться с мыслями и подвести итоги моей поездки в Южный Вьетнам. Ее результат — эта книга, она может произвести на некоторых людей неприятное впечатление, показаться слишком критичной. Но я считаю, что журналист, не использующий своих критических способностей, не выполняет взятых на себя обязательств.

Еще только отправляясь туда, во Вьетнам, я считал эту войну лишенной каких-либо исторических, практических или нравственных оправданий. Она представлялась мне неимоверно дорогим просчетом, нагромождением больших и малых нелепостей. После поездки во Вьетнам это мое мнение не только не изменилось, но еще сильнее укрепилось. И дальше я позволю себе изложить субъективные умозаключения так называемого «голубя», которому удалось побывать в Южном Вьетнаме.

Народ Южного Вьетнама не хочет нашего присутствия там. Антиамериканские чувства распространены от самого крохотного рисового поля до омута коррупции, который носит название Сайгон. Даже те, кто извлекает прямую выгоду из нашего присутствия — сводники, проститутки и политические дельцы, — не питают любви к Америке, не испытывают благодарности за те огромные расходы, которые мы несем якобы ради них. Подавляющее большинство южновьетнамского народа хочет, чтобы нас там не было; они — что вполне понятно — устали от войны, от всякой войны, и от этой войны в частности.

Правительство Южного Вьетнама было и остается военной диктатурой, опирающейся на

помощь США. Пресса подвергается жесточайшей цензуре уже много лет, и критические голоса полностью заглушаются.

В военном отношении война идет для нас плохо. Солдаты противника, чье оружие и снаряжение заметно хуже, чем у солдат южновьетнамской армии, в моральном отношении стоят заметно выше и куда лучшие бойцы. Они чувствуют, что сражаются за освобождение своей страны. Таким образом, мы сами содействуем подъему национального чувства.

Расходы на войну граничат с безумием. Каждый житель Соединенных Штатов — каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок — заплатил в 1967 году за войну во Вьетнаме по 150 долларов. Этих денег хватило бы, чтобы подарить каждому жителю Вьетнама — каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку — по 2000 долларов, то есть примерно шестилетнюю заработную плату вьетнамского чернорабочего. Полет каждого бомбардировщика «Б–52» с гуамской военно-морской базы обходится в 13 000 долларов; смерть одного солдата противника обходится в 500 000 долларов; в целом эта война обходится нашей стране в настоящее время в 70 миллионов долларов ежедневно, в 30 миллиар-

дов долларов ежегодно.

И несмотря на все это, наши военные успехи более чем ничтожны. Если верить сайгонским сообщениям, наши войска не проигрывают ни единого боя. Ричард Гудвин, бывший помощник президента Кеннеди и президента Джонсона, указывает:

«Если взять объявленное нами число убитых солдат противника и прибавить к нему число дезертиров, а также раненых, даже в заметно меньшей пропорции, чем обычно существует между убитыми и ранеными у нас, то получится, что мы каждый год уничтожаем всю северовьетнамскую армию. И если война все-таки продолжается, ничем, кроме чуда, этого объяснить нельзя».

Воздействие войны на вьетнамский народ губительно: мы непосредственно ответственны за парализующую инфляцию, мы ничего не предприняли для борьбы со взяточничеством и коррупцией, мы поддерживаем диктаторов, мы допустили уничтожение элементарных свобод, мы повинны в том, что ежегодно гибнет сто тысяч гражданских лиц, мы уничтожаем леса и пахотную землю, вынуждая сельскохозяйственную страну ввозить продукты питания, мы произвели

более двух миллионов беженцев, мы развязали жестокую войну в стране, которая много веков не знала мира.

Труднее оценить воздействие войны на наших солдат, но я стараюсь представить себе этих мальчиков через двадцать лет. Я вижу, как они в ярких фуражках того или иного братства ветеранов призывают новое молодое поколение покрыть себя бранной славой в каких-нибудь новых священных войнах, призывают, исходя из смертоносного предрассудка, будто сила может служить ключом к разрешению политических проблем.

Из всего этого я сделал вывод, что мы не должны находиться во Вьетнаме. И в конце концов мы неизбежно уйдем из него. Выиграв войну, проиграв ее или сведя вничью, мы когда-нибудь покинем Вьетнам. И я надеюсь, что мы сделаем это, не покрыв себя окончательно бесславием.

Война у нас дома

Это рассказ о маленьком городке, о далекой стране и о мальчике. Городок, Миллер-Плейс, расположен на северном берегу Лонг-Айленда, в шестидесяти милях прямо на восток от Манхэттена. Страна, расположенная еще примерно

на девять тысяч миль восточнее, — это Вьетнам. Мальчика звали Брюс Кернделл.

Я поехал в Миллер-Плейс, чтобы посмотреть, как воздействует Вьетнам на маленькие американские городки. К моему удивлению, между городком Миллер-Плейс и страной Вьетнам обнаружилось не так уж мало связующих звеньев, но, бесспорно, самым крепким из них был мальчик Брюс Кернделл, сын мясника, выросший в Миллер-Плейсе, лучший бейсболист городка. Он вырос в Миллер-Плейсе, он поехал во Вьетнам, он был убит.

Подробности смерти мальчика были изложены в письме, которое армейское начальство прислало его матери. В письме говорилось, что командир расчета Брюс Э. Кернделл, США, 51 586 794, рота А 1-го батальона 27-го пехотного полка, принимал участие в боевом поиске в южновьетнамской провинции Тайнинь вблизи камбоджийской границы. В письме говорилось, что двадцатидвухлетний мальчик был смертельно ранен в бою. В заключение в письме говорилось: «Смерть наступила быстро, и он не испытывал излишних страданий».

За три века существования Миллер-Плейса между этим маленьким американским городком

и далекой страной Вьетнам было мало связующих звеньев.

Полвека назад в Миллер-Плейсе проживало лишь несколько десятков семей, и еще два года назад на улицах висели надписи, запрещающие выводить лошадей на тротуары. И даже сейчас Миллер-Плейсу присуща тихая провинциальная красота. Посреди города расположен пруд, где летом плещутся утки, а зимой катаются на коньках мальчики.

Теперь в Миллер-Плейсе живет 1711 человек. Теперь в городке есть даже дискотека и ночной клуб, предлагающий «Стриптиз с Бурбон-стрит» каждую пятницу. И теперь, разумеется, Миллер-Плейс принимает участие в войне.

Самое оживленное место в городке — почта. С утра и до вечера горожане заходят туда узнать, нет ли для них писем, и перебросится двумя-тремя словами с почтмейстером Чарлзом Гермеком. И там же можно увидеть первые признаки того, что в Миллер-Плейс пришла война. На фасаде почты между американским флагом и большим термометром, рекламирующим слабительное, висят различные объявления. «Корпусу мира» требуются учителя в Африку. Продаются облигации государственного займа США, приносящие

купившему 4,15% в год. И наконец, вербовочная афиша морской пехоты — шеренга юных силачей в синей форме, развевающиеся флаги, сверкающие медали, подпись: «Служба в морской пехоте создает настоящих мужчин — тело… дух… воля!»

Мать Брюса Кернделa вспоминает:

«Днем у нас тут праздновали день рождения моего внука, а я была на работе. Домой я вернулась в шесть — по дороге я все думала, как они тут празднуют. Смотрю — перед домом стоят две машины. „Ну, — думаю, — кто-то из девочек остался до ужина“. А занавески были задернуты неплотно, и я увидела офицера в форме и сразу все поняла, потому что они приезжают только по одной причине. Я вошла, а офицер сказал… я, наверно, никогда этих слов не забуду: „Ваш сын был вчера днем убит в бою“. А другой офицер расхаживал по комнате с моим внуком на руках. Они пробыли у нас еще двадцать минут, и я все думала, какая это для них тяжелая обязанность».

Многие обитатели Миллер-Плейса были озабочены возрастающей стоимостью войны. Ведь кому-то приходится оплачивать пребывание почти полумиллиона солдат во Вьетнаме. Кому-то приходится оплачивать 637 000 тонн бомб, сброшенных в прошлом году, 594 сбитых

американских самолета и 243 уничтоженных вертолета. Миллер-Плейс выплачивает свою долю стоимости войны, которая обходится нашей стране более чем в два миллиарда долларов в месяц.

И, конечно, городок начинает оплачивать войну монетой и другого рода. К началу этого года во Вьетнаме было убито 6407 американских военнослужащих. К концу 1967 года будет убито не меньше пятнадцати тысяч. И по крайней мере один из убитых окажется уроженцем Миллер-Плейса.

Но, разумеется, существует значительная разница между войной, которую ведет Миллер-Плейс, и войной, которая обрушивается на вьетнамскую деревушку.

Нет-нет, я не собираюсь рассказывать еще одну историю о войне во Вьетнаме. Но мне хотелось бы избавиться от кошмара, который мешает мне мирно спать по ночам в тихом пригороде, где я живу. И дальше последуют всего лишь бредовые видения одного человека, картина того, во что могла бы превратиться жизнь в нашей стране, если бы мы оказались в положении Вьетнама.

Как во всяком приличном кошмаре, нас здесь интересует не политика, а люди. Пожалуй, бу-

дет проще, если рассматривать дальнейшее как краткое изложение сценария не слишком оригинального научно-фантастического фильма.

Наши герои — американцы, белые (в большинстве), обеспеченные (относительно), пользующиеся репутацией трудолюбивых, честных, богобоязненных людей; они славятся чувством юмора и красотой своих женщин. В один прекрасный день в неизвестно каком году они просыпаются и узнают, что повсюду в Соединенных Штатах приземлились значительные силы неведомой нечеловеческой расы, прибывшие сюда из какой-то невидимой галактики. Учитывая размеры Соединенных Штатов, примем, что число пришельцев составляет шесть миллионов — шесть миллионов вооруженных до зубов оккупантов из глубин космоса.

Хотя они обладают некоторым сходством с людьми, но различий еще больше. Например, глаза у них имеют форму не овала, а ромба, отчего они вскоре получают кличку Ромбоглазые. Кожа у них заметно светлее нашей — белая-белая, почти прозрачная, и большинство американцев начинает называть своих непрошеных гостей «прозрачниками».

Но самое пугающее их отличие — это рост. Про-

зрачники достигают в высоту восьми футов, весят в среднем 260 фунтов и кажутся очень сильными, хотя, может быть, и не такими подвижными, как американцы. И последнее различие — они не способны есть такие традиционные американские блюда, как яичница с ветчиной, и предпочитают обезвоженные консервы, более подходящие для их несообразно капризной пищеварительной системы.

Влияние вторжения прозрачников на Миллер-Плейс вначале принимает экономический характер. Прозрачники располагают, по-видимому, неограниченными средствами и неутолимой жаждой удовольствий. Поэтому во многих традиционных отраслях деловой жизни — торговле земельными участками, книготорговле и т. д. — наступает резкий спад, зато предприятия, служащие удовлетворению потребностей прозрачников — магазины сувениров, публичные дома, рестораны, отели, дискотеки, кафе-мороженое, — переживают бум и растут как грибы после дождя. Внезапный приток иностранной валюты вызывает в стране бешено нарастающую инфляцию. Средний обитатель Лонг-Айленда, зарабатывающий в день двадцать пять долларов, вскоре обнаруживает, что ботинки теперь стоят

200 долларов пара, номер в отеле–750 долларов в день, обед в хорошем ресторане –150 долларов.

К этому времени большинство американцев мужского пола уже покинули свои дома и родные города. Некоторые — те, кто богат и пользуется влиянием, — заняли высокие посты в Новой армии Соединенных Штатов (НАСША). Другие, в возрасте от девятнадцати до сорока пяти лет, призваны в НАСША рядовыми, получили форму прозрачников (укороченную и обуженную), проходят обучение под руководством прозрачников, учатся пользоваться оружием прозрачников, а затем отправляются, например, в горы Пенсильвании и болота Флориды воевать с теми американцами, которые решили оказать сопротивление пришельцам из глубокого космоса.

По какой-то причине американцы, призванные в НАСША, оказываются не слишком хорошими бойцами — и уж во всяком случае, они куда хуже американцев, которые предпочли сопротивляться. Дезертирство по временам достигает 40%. Офицеры-прозрачники жалуются на слабый моральный дух НАСША, и в конце концов основные военные действия приходится вести армии прозрачников.

Женщины Миллер-Плейса, покинутые мужья-

ми, которых призвали в НАСША, и мужьями, присоединившимися к силам противника, должны искать способа не умереть с голода. Те, кто постарше, становятся прачками, и на веревках от Атлантического океана до Тихого повсюду сохнут кители и брюки прозрачников. Три пивные Миллер-Плейса превратились в тридцать шесть баров, обслуживаемых только американскими девушками.

Эта война будет казаться странно односторонней. Сопротивляющиеся американцы — плохо экипированные, вооруженные тем, что удалось отбить у врага, — воюют под покровом ночи. У них есть только одно преимущество: подвижность. Они ведь не только прекрасно знают местность, но, кроме того, могут рассчитывать на помощь почти любого из земляков. Незаметно передвигаясь от одного городка, вроде Миллер-Плейса, к другому, они минируют главнейшие шоссе, устраивают засады в лесах, а время от времени проводят и крупные операции в густонаселенных районах.

Днем в американском небе чертят белые полосы бомбардировщики прозрачников, воды у Лонг-Айленда кишат вражескими кораблями, а по ночам в вышине повисают осветитель-

ные ракеты и темнота рассекается вспышками рвущихся снарядов. Сопротивляющиеся американцы, теряя трех человек за каждого убитого вражеского солдата, продолжают сражаться, быть может вдохновляемые тем патриотизмом, который никогда не выходит из моды.

Начинаются затруднения с продовольствием, и жители Миллер-Плейса впервые в жизни узнают, что такое голод. На фермах некому работать, большие площади обрабатываемой земли изрыты бомбовыми воронками, а кроме того — тут мой кошмар явно сближается с жутчайшими измышлениями научной фантастики, — прозрачники проводят особую операцию под названием «уничтожение листвы».

Прозрачники, уничтожающие листву, сосредоточивают свои усилия на районах, где положение с продовольствием особенно тяжело: сначала они наносят удар по картофельным полям Лонг-Айленда, затем по капустным полям и, наконец, по основным посадкам, отделяющим одну ферму от другой. Под конец даже живые изгороди возле домов желтеют и погибают. Но, может быть, это и не так уж важно, если вспомнить, какой непоправимый ущерб наносится лесам секвой в Калифорнии.

По мере усиления сопротивления прозрачники начинают проводить военные операции непосредственно возле Миллер-Плейса. Всем жителям городка предлагается бросить свои дома и перебраться в колоссальные лагеря для беженцев на окраине Чикаго, Нью-Йорка и Питтсбурга. И многие люди, не выдержав, покидают родные места. Число беженцев в Соединенных Штатах достигает тридцати миллионов — седьмая часть всего населения страны ютится в наспех сооруженных лачугах без водопровода, канализации, отопления и электричества.

Те обитатели Миллер-Плейса, которые не пожелали расстаться с родным городом, подвергаются обработке согласно проводимой прозрачниками программе психологической войны. На города сыплются листовки: «Каждый день, каждую неделю, каждый месяц гибнет все больше и больше ваших товарищей, все больше обнаруживается и уничтожается баз и складов. Вас чаще обстреливают. Вас чаще бомбят. СМЕРТЬ близка. Вы слышите самолеты? Вы слышите взрывы бомб? Это СМЕРТЬ. Ваша СМЕРТЬ».

Затем последние обитатели Миллер-Плейса узнают, что их городок объявлен «зоной свободного огня». Это означает, что солдаты прозрачников

вольны стрелять по всему, что движется, включая женщин и детей. Число жертв среди гражданского населения быстро растет — на одного убитого солдата сопротивления приходится не меньше трех гражданских лиц. Для всей страны это число достигает полутора миллионов в год.

В этом кошмаре, посетившем некую личность, в этом сценарии научно-фантастического фильма грохочут орудия эсминцев, сметающие пятидюймовыми снарядами деревни на морском берегу, трещат охваченные пламенем дома, которые подожгли солдаты прозрачников, и Миллер-Плейс лежит в развалинах — разбомбленных, сгоревших дотла.

Но едва дым рассеивается, как на пожарище появляются прозрачники-умиротворители. Это совсем молодые люди с громкоговорителями, винтовками и набором инструментов. Их прислали одержать победу в сражении за сердца и умы тех из нас, кто еще уцелел. Их главная задача — отыскать и уничтожить «врагов населения», и приступают они к ее выполнению, предлагая награду доносчикам. Затем каждая семья получает обещание, что ей выдадут сорок пять долларов на семена и сельскохозяйственные орудия, а кроме того, ей вручается чертеж однокомнатной лачуги

на пять человек.

На этом мой кошмар кончается. Но, конечно, все это относится к области научной фантастики. У нас ничего подобного произойти не может. Во всяком случае, не в Миллер-Плейсе, во всяком случае, не в Соединенных Штатах. Разве что наша страна окажется по-настоящему втянутой в войну типа вьетнамской — так, как в эту войну втянут Вьетнам…

Трумэн Капоте
ОБЫКНОВЕННОЕ УБИЙСТВО

Молодой человек, завтракавший в кафе «Маленький брильянт», никогда не пил кофе. Он предпочитал имбирное пиво. Три таблетки аспирина, холодное имбирное пиво и одна за другой несколько сигарет «Пэл-Мэл» — таков был, по его мнению, «правильный закусон». Прихлебывая пиво и затягиваясь дымом, он изучал карту Мексики, которую расстелил перед собой на стойке, но никак не мог сосредоточиться, потому что ждал друга, а друг запаздывал. Он посмотрел в окно на тихую улицу маленького городка, улицу, которую впервые в жизни увидел вчера. Дика все еще нет. Впрочем, прийти-то он

придет: ведь они встречаются тут по плану Дика, это была его «идея». А после, когда дело будет сделано, — Мексика. Карта была потрепана и от частого употребления стала словно замшевой. В гостинице за углом, в его номере лежали сотни таких потрепанных карт — все штаты США, все провинции Канады, все латиноамериканские страны: этот молодой человек любил заранее планировать путешествия и уже успел побывать на Аляске, на Гавайях, в Японии, в Гонконге. Теперь благодаря письму, приглашавшему его участвовать в деле, он очутился здесь со всеми своими пожитками: фибровым чемоданом, гитарой и двумя большими сундуками, набитыми книгами, картами, песенниками, стихами и старыми письмами, общим весом в четверть тонны. (Ну и рожу скорчил Дик, когда увидел это имущество! «Черт, Перри, ты что, всюду таскаешь этот хлам?» А Перри ответил: «Какой хлам? Одна из этих книг обошлась мне в тридцать долларов».) Да, он здесь, в Опейте, штат Канзас. А вообще-то смешно, если подумать хорошенько: он в Канзасе, хоть всего четыре месяца назад обещал сначала комиссии по условному освобождению, а затем и себе, что его ноги больше не будет в этом штате. Ну да ничего страшного — долго он здесь не задержится.

Обведенные чернилами названия теснились на карте: КОСУМЕЛЬ, остров близ побережья Юкатана, где, как пишут в журнале для мужчин, можно «скинуть одежду, улыбаться, жить, как индийский раджа, и иметь столько женщин, сколько душе угодно, — и все это за пятьдесят долларов в месяц!». В этой же статье он заучил и другие заманчивые места: «Косумель — это последний бастион, устоявший против социального, экономического и политического натиска. На этом острове у чиновника нет власти над частным лицом, и каждый новый год сюда с материка прилетают попугаи, чтобы выводить птенцов». Акапулько означало рыбную ловлю, казино и томящихся от скуки богатых дам, Сьерра-Мадре обещало золото — фильм «Сокровища Сьерра-Мадре» он смотрел восемь раз. (Это была лучшая картина Богарта, а старик, который играл золотоискателя, напоминавшего Перри его отца, был просто классный. Перри сказал Дику сущую правду: он действительно знал все тонкости старательского дела — ведь его научил этому отец, профессиональный старатель. Так почему бы им не купить пару вьючных лошадей и не попытать счастья в Сьерра-Мадре? Но Дик, практичный Дик, ответил: «Тише, детка, тише… Я это кино

видел. Там под конец все с ума посходили. Из-за жары, мошкары, клещей, и вообще труба была. А когда они нашли золото, помнишь, поднялась буря, и все полетело к черту»). Перри сложил карту. Он заплатил за имбирное пиво и встал. Сидя, он казался высоким богатырем с плечами, руками и мускулистым торсом штангиста. Он и правда увлекался штангой. Но Перри был сложен непропорционально. Его малюсенькие ножки, обутые в короткие черные сапожки со стальными пряжками, легко влезли бы в бальную туфельку; стоя, он был не выше двенадцатилетнего мальчика. Мелко семеня короткими ногами, которые никак не вязались с фигурой взрослого мужчины, он становился похожим на бывшего жокея с гипертрофированной мускулатурой.

Выйдя из кафе, Перри остановился, греясь на солнце. Было без четверти девять, и Дик опаздывал на полчаса; ожидание не тяготило Перри, у него были разные способы коротать время — например, смотреться в зеркало. Дик как-то сказал: «Стоит тебе увидеть зеркало, и ты обалдеваешь. Вроде как увидел потрясающую бабу. И как тебе не надоест?»

А ему не надоедало. Собственное лицо завораживало его. Его мать была чистокровной инди-

анкой из племени чероки, от нее он унаследовал медную кожу, темные, влажные глаза, черные блестящие волосы, такие густые, что их хватало и на пряди над ушами, и на челку. Черты отца, рыжего веснушчатого ирландца, проявились менее четко. Казалось, индейская кровь возобладала над кельтской. Однако о наличии этой последней свидетельствовали розовые губы и курносый нос, а также оживляющая индейскую маску ирландская нагловатость, которая была особенно заметна, когда Перри играл на гитаре и пел. Петь или представлять, как ты выступаешь перед публикой, — так тоже можно убивать время. Он всегда рисовал в своем воображении одну и ту же сцену — ночной клуб в Лас-Вегасе, его родном городе. Роскошный зал, набитый знаменитостями, которые не могут оторвать глаз от новой звезды, и он исполняет под аккомпанемент скрипок «Я тебя увижу», а на бис поет балладу собственного сочинения «Поющие попугаи». (Дик, впервые услышав эту песню, сказал: «Попугаи не поют. Ну, может, говорят. Вопят. Только, черт подери, не поют». Дик все понимает буквально — он ничего не смыслит ни в музыке, ни в стихах, и все-таки, если разобраться, именно этот буквализм Дика, его прагматизм и привлекали Перри, так как в

сравнении с ним Дик казался по-настоящему закаленным, несгибаемым, «стопроцентным мужчиной».)

Но какой бы сладостной ни была эта мечта о Лас-Вегасе, она бледнела перед другой. Ему исполнился тридцать один год, и уже более пятнадцати лет он систематически выписывал книги («Состояние на подводном плавании! Тренируйтесь дома в свободное время. Брошюры бесплатно…») и отвечал на рекламные объявления («Потонувшие сокровища! Пятьдесят достоверных карт! Поразительное предложение…»), которые питали его ненасытную жажду приключений. Снова и снова рисовались его воображению картины: вот он опускается сквозь таинственные незнакомые воды, ныряет вглубь, в зеленый сумрак, скользит мимо чешуйчатых и свирепых стражей утонувшего корабля, корма которого вырисовывается впереди, — это испанский галион, затонувший с грузом алмазов и жемчуга, — и вот уже выкатывает на дно бочонки с золотом.

Дик сидел за рулем черного «шевроле» выпуска 1949 года. Перри осмотрел заднее сиденье, проверяя, на месте ли его гитара. Накануне вечером он играл и пел для друзей Дика, а потом забыл гитару в машине. Это была старая гибсоновская гитара,

отполированная наждаком и натертая светло-желтым воском. Рядом с ней лежал инструмент другого рода — новенькое, полуавтоматическое охотничье ружье, его дуло отливало синевой, а на прикладе была выгравирована стая летящих фазанов. Этот странный натюрморт завершался карманным фонариком, охотничьим ножом, парой кожаных перчаток и патронташем, туго набитым патронами.

— Ты собираешься это надеть? — спросил Перри, показывая на патронташ.

Дик постучал костяшками пальцев о ветровое стекло.

— Стук-стук. Извините меня, сэр. Мы тут охотились и заблудились. Не разрешите ли воспользоваться вашим телефоном…

— Si señor. Yo comprendo[30].

— Все будет в ажуре, — сказал Дик. — Даю тебе слово, дорогуша, все стены залепим волосьями.

— «Волосами», — поправил Перри. Завзятый грамотей, он старался научить своего друга говорить грамотно. Перри занимался этим с тех самых пор, как они познакомились в камере тюрьмы штата Канзас.

---

[30] Примечания: 30
Да, сеньор, я понимаю *(исп.)*.

Дик был одет в синюю спецовку с рекламной надписью на спине: «Боб Сэндс. Ремонт кузовов». Вместе с Перри они ехали по главной улице Олейте, пока не добрались до мастерской Боба Сэндса, где Дик работал с тех пор, как вышел из тюрьмы в середине августа. Квалифицированный механик, он зарабатывал шестьдесят долларов в неделю. За ту работу, которой он собирался заняться сейчас, жалованья ему не полагалось. Мистер Сэндс, оставлявший на него мастерскую по субботам, не подозревал, что заплатил своему служащему за профилактику его же собственной машины. Дик начал работать, а Перри помогал. Они сменили масло, отрегулировали сцепление, подзарядили аккумулятор, сменили подшипник, поставили новые баллоны на задние колеса — все это было необходимо, ибо старенькому «шевроле» надлежало в ближайшие сутки проделать чудеса.

— Мой старик торчал дома, — ответил Дик, объясняя, почему он опоздал на свидание в кафе. — Я не хотел, чтобы он видел, как я выношу ружье. Черт, он бы сразу догадался, что я соврал.

— А что гы ему сказал?

— Как уговорились. Сказал, что мы уедем с ночевкой к твоей сестре в Форт-Скотт. Потому что у нее твои деньги. Полторы тысячи долларов.

У Перри действительно была сестра, а прежде их было даже две, но та, что осталась в живых, не проживала в Форт-Скотте, канзасском городке в восьмидесяти пяти милях от Олейте: более того, он даже не знал, где она живет.

Дик в свои двадцать восемь лет успел уже дважды жениться и дважды развестись и был отцом троих детей. При условном освобождении его обязали поселиться у родителей, которые вместе с его младшим братом жили на маленькой ферме около Олейте.

В сущности, между Диком и Перри было мало общего, но они этого не осознавали из-за внешнего сходства их вкусов. Оба они, например, отличались чистоплотностью, соблюдали правила гигиены и уделяли пристальное внимание состоянию своих ногтей.

Кончив возиться с машиной, они добрый час приводили себя в порядок в душевой гаража. Дик, раздетый до трусов, несколько отличался от Дика одетого. В одежде он казался довольно хилым блондином, узкогрудым и тощим, но стоило ему раздеться — и оказывалось, что он сложен, как боксер полулегкого веса. На правой его руке была вытатуирована ощеренная кошачья морда, а на плече распускалась синяя

роза. Множество татуировок, сделанных им самим, украшало его руки и торс: голова дракона с человеческим черепом в раскрытой пасти, полногрудые обнаженные женщины, размахивающий вилами гном, слово «МИР» по соседству с крестом, излучающим нимбообразное сияние, и в довершение две сентиментальные композиции — букет цветов «маме-папе» и сердце, увековечивающее любовь Дика и Кэрол — девушки, на которой он женился в девятнадцать лет, чтобы через шесть лет развестись с ней и «спасти честь» другой девицы, матери его младшего сына. («У меня трое сыновей, о которых я обязательно буду заботиться», — писал он в прошении об освобождении. «Моя бывшая жена вышла замуж. Я женат дважды, но не хочу иметь ничего общего с моей второй женой».)

Впрочем, ни фигура Дика, ни украшающая ее картинная галерея не производили такого впечатления, как его лицо, которое словно состояло из частей, плохо пригнанных друг к другу. Оно напоминало яблоко с небрежно приложенными друг к другу половинками. Нечто в этом роде и случилось на самом деле после автомобильной катастрофы в 1950 году. Его длинная узкая физиономия слегка перекосилась — левая сторона

была чуть ниже правой, вследствие чего губы превратились в зигзаг, нос искривился, а глаза не только не располагались на одном уровне, но были разной величины, левый по-змеиному зло косил, словно предупреждая о ядовитом осадке в глубине души его обладателя. Но Перри как-то ему сказал: «Глаз — это ничего. Потому что у тебя прекрасная улыбка. Редкая, такая проймет любого».

Действительно, улыбка натягивала мышцы, и из-под неприятной маски проступало лицо «хорошего американского парня», вполне серьезного, хотя и не слишком умного. (На самом деле он был очень умен. В проведенном в тюрьме тесте «Ай-Кью»[31] он получил 130 очков, человек со средними умственными способностями — как заключенный, так и на воле — получает от девяноста до ста десяти очков.)

Перри также был жертвой несчастного случая — он разбился на мотоцикле и получил значительно более серьезные повреждения, чем Дик. Полгода он провел в больнице штата Вашингтон, а потом шесть месяцев ковылял на костылях. Хотя катастрофа произошла еще в 1952 году, его

---

[31] Примечания: 31
Проверка умственных способностей.

кривые ноги карлика, переломанные в пяти местах, все в шрамах, так сильно болели, что он стал «аспиринщиком». Куки — имя медсестры, которая была добра к нему, когда он лежал в больнице, — было вытатуировано на его правом бицепсе. Его татуировки, не столь многочисленные, как у приятеля, были значительно более «художественными» — не любительской мазней, а шедеврами мастеров Гонолулу и Иокогамы. Краснозубый, оранжевоглазый синий тигр рычал на его левом бицепсе, шипящая змея, обвившись вокруг кинжала, скользила вниз по правому предплечью, тут и там сияли черепа, угрюмо торчала могильная плита, расцветала хризантема.

— Ладно, красавица, прячь расческу, — сказал Дик, уже одетый и готовый к пути.

Чисто вымытые и причесанные, словно два щеголя, идущие на свидание, они направились к машине.

Днем черный «шевроле» въехал в Эмпорию, довольно большой канзасский город и вполне безопасный, так что приятели решили заняться покупками. Они поставили машину в тихом переулке, а затем, немного побродив, обнаружили достаточно многолюдный универсальный магазин.

Сперва они приобрели пару резиновых перчаток для Перри, который в отличие от Дика забыл захватить их с собой.

Потом они остановились в отделе, где продавались женские чулки. После небольшой перепалки Перри сказал:

— Я — за.

Но Дик сомневался.

— А как же мой глаз? Они все слишком светлые, чтобы скрыть его.

— Мисс, — позвал Перри продавщицу, — у вас есть черные чулки?

Услышав отрицательный ответ, Перри предложил попытать счастья в другом магазине.

— Черные — это полная гарантия.

Но Дик уже принял решение: чулки, независимо от цвета, им не нужны. К чему лишние расходы? («Я уже вложил в это дело достаточно денег».) А свидетелей все равно не останется.

— Никаких свидетелей, — напомнил он в миллионный раз, как показалось Перри. Его раздражало то, как Дик произносил эти два слова, будто бы они снимали все проблемы. Ведь может найтись свидетель, которого они вовремя не заметят, и отрицать подобную возможность было по меньшей мере глупо.

— Дело может принять самый неожиданный оборот, — изрек он.

Но Дик, самоуверенно и ребячливо улыбнувшись, возразил: — Не дрейфь. Все будет в порядке.

Разумеется. Потому что план принадлежал Дику и все было предусмотрено — от скрипа первой половицы до воцарения мертвой тишины.

Затем они купили веревку. Перри внимательно изучил весь ассортимент, попробовал некоторые веревки на крепость. В прошлом моряк торгового флота, он разбирался в веревках и узлах. Перри выбрал белый нейлоновый шнур, крепкий, как проволока, только чуть потолще. Предстояло решить, сколько метров взять. Дика этот вопрос разозлил, потому что за ним стояли трудности, которые он не мог предусмотреть, несмотря на хваленое совершенство своего плана. Наконец он сказал:

— Черт подери, откуда я знаю?

— А надо бы знать.

Дик прикинул:

— Значит, так: он, она. Парнишка и дочь. Могут быть и две другие дочки. Но сегодня суббота. Возможно, приедут гости. Скажем, восемь или даже двенадцать человек. Ясно только одно: убрать

надо будет их всех.

— Многовато, пожалуй.

— Разве это не то, что я тебе обещал, дорогуша, много… волос на стенах?

Перри пожал плечами.

— Тогда купим весь моток.

В мотке было сто ярдов — вполне достаточно для двенадцати человек.

Пока Перри ждал в машине, Дик отправился в больницу, чтобы попытаться купить у монахини пару черных чулок. Такой несколько необычный способ их приобретения придумал Перри. Он не сомневался, что у монахинь должен быть большой запас черных чулок. Правда, имелось и одно «но» — монахини и все, что к ним относилось, сулили беду, а Перри был суеверен. (По его мнению, несчастьем грозили цифра 15, рыжие волосы, белые цветы, священники, переходящие дорогу, и змеи, увиденные во сне.) Но делать было нечего. По-настоящему суеверные люди чаще всего — фаталисты, так обстояло дело и с Перри. Он оказался здесь и участвовал во всем этом не потому, что так ему хотелось, а потому, что так распорядилась судьба.

После освобождения Перри четыре месяца ездил по стране в стареньком «форде», приоб-

ретенном по случаю за сто долларов: из Рено он проехал в Лас-Вегас, из Беллингема, штат Вашингтон, в Бьюл, штат Айдахо, и в Бьюле, где он временно устроился на работу водителем грузовика, его настигло письмо Дика:

«Дружок П. Вышел в августе. Без тебя познакомился с Одним Человеком, ты его не знаешь, который подсказал мне Дельце, которое мы можем прекрасно обделать. Идея — блеск». До сих пор Перри не думал, что когда-нибудь снова увидит Дика. Или настоящего и единственного своего друга Уилли-Джея. Но оба они жили в воображении Перри, особенно последний, выросший в его представлении до десяти футов. Седовласый мудрец, который вновь и вновь возникал в лабиринте его сознания. «Тебя влечет негативизм, — сказал ему однажды Уилли-Джей. — Ты стремишься плевать на все, существовать, не неся никакой ответственности, жить без веры, друзей и человеческого тепла».

Во время своих одиноких и тоскливых скитаний Перри не раз мысленно возвращался к этому обвинению и решил, что оно несправедливо. Он вовсе не хочет плевать на все, да только на него-то всем наплевать. Кому он нужен? Отцу? Да, в какой-то степени. Одной-двум девушкам, но это

— «длинная история». По-настоящему его ценил только Уилли-Джей. Только Уилли-Джей воздавал должное его способностям, понимал, что он не просто метис, карлик с гипертрофированной мускулатурой; несмотря на свои нотации, он видел Перри таким, каким тот сам себя представлял, — «исключительной, редкой, артистической натурой». Уилли-Джей давал пищу его тщеславию, оберегал его чувствительность — после четырех месяцев разлуки встреча с ним казалась Перри желанней всех золотых кладов, рисовавшихся его воображению. Получив приглашение Дика, он сообразил, что, согласившись, приедет в Канзас примерно в тот день, когда будет освобожден Уилли-Джей и решение пришло само собой. Он поехал в Лас-Вегас, продал свою колымагу, упаковал коллекцию карт, старых писем, рукописей, книг и купил билет на автобус линии «Грейхаунд». В остальном он целиком полагался на волю судьбы: если у него с Уилли-Джеем «ничего не получится», можно будет «поразмыслить над предложением Дика». Однако выбирать ему не пришлось — когда Перри доехал до Канзас-Сити вечером 12 ноября, Уилли-Джей, которого он не сумел предупредить о своем приезде, уже уехал — уехал на какие-то пять часов раньше с той же

самой автобусной станции, куда прибыл Перри.

Дик вернулся без чулок.

— Не вышло, — бросил он небрежно, и Перри сразу заподозрил его во лжи.

— Это точно? Ты хоть спросил кого-нибудь?

— Конечно.

— Может, это и к лучшему. Монашки приносят несчастье.

Путники остановились в Грейт-Бенде, чтобы пообедать. У Перри оставалось только пятнадцать долларов, поэтому он готов был обойтись имбирным пивом и сандвичем, но Дик сказал, что надо «подзаправиться» как следует, а платить будет он. Они заказали два бифштекса с печеной картошкой, жареную картошку и лук, кукурузу с бобами, макароны, мамалыгу, салат, сладкие булочки, яблочный пирог с мороженым и кофе. После обеда они зашли в аптеку и купили две сигары; там же они купили два рулончика широкого лейкопластыря.

Машина шла на большой скорости. Свет фар выхватывал из темноты рекламные плакаты: «Посмотрите белых медведей!», «Буртис моторе», «Самый большой в мире бесплатный плавательный бассейн!», «Мотель Пшеничных Полей» — и, наконец, перед первыми фонарями городских

улиц: «Здравствуйте? Добро пожаловать в Гарден-Сити! Самый гостеприимный город!»

Они обогнули город с юга. Улицы в этот поздний час пустовали, все было закрыто, кроме ряда ярко освещенных бензоколонок. У одной из них Дик остановился. К ним подбежал юноша и спросил:

— Залить?

Дик кивнул, а Перри вышел из машины и пошел в мужской туалет. Очень болели ноги, словно он разбился на мотоцикле пять минут назад. Перри вытряхнул на ладонь три таблетки аспирина, отправил их в рот и медленно, с удовольствием стал пережевывать. Выпил воды из-под крана. Сел на унитаз, вытянул ноги и стал массировать колени, отказывавшиеся сгибаться. Дик сказал, что они почти у цели — осталось «миль семь». Перри вынул из кармана тужурки бумажный мешочек с недавно приобретенными резиновыми перчатками. Они были липкие, цвета клея, тонкие; пока он надевал их, одна перчатка слегка порвалась — ничего серьезного, просто прореха между пальцами, но ему это показалось плохим предзнаменованием.

Кто-то стал дергать ручку двери. Раздался голос Дика.

— Хочешь конфету? У них тут есть конфетный

автомат. — Нет.

— Ты в норме?

— Вполне.

— Ну так выходи, не всю же ночь там сидеть.

Дик опустил десяти центовую монету в автомат, потянул ручку и получил мешочек леденцов, сунул несколько штук в рот, вернулся к машине и стал наблюдать за тем, как служащий пытался очистить ветровое стекло от пыли и следов размозженных насекомых. Служащему, которого звали Джеймс Спор, стало не по себе. Глаза Дика, его мрачное лицо и затянувшийся визит Перри в уборную пробудили в нем смутную тревогу. (На следующий день он сообщил своему хозяину: «Вчера ночью у нас заправлялись две темные личности.» Но тогда он не связал их появление с холкомбской трагедией — это случилось много позднее.)

Дик сказал:

— Местечко тут не бойкое.

— Это точно, — согласился Джеймс Спор. — Вы первые остановились за два часа. Откуда едете?

— Из Канзас-Сити.

— Думаете поохотиться у нас?

— Да нет, мы едем дальше, в Аризону. Нас там ждет работа. Не знаете, сколько миль отсюда до

Тукумкари, Нью-Мексико?

— Не знаю. С вас три доллара шесть центов.

Он взял деньги у Дика, протянул сдачу и сказал:

— Извините, сэр У меня работа: надо поставить бампер на грузовик.

Дик ждал, хрустя леденцами, и нетерпеливо нажимал на клаксон. Неужели он ошибся в Перри? И Перри вдруг сдрейфил? Год назад, когда они познакомились, Перри показался ему «своим парнем», хотя он «задавался», был «сентиментальным» и «мечтателем». Он понравился Дику, впрочем, не настолько, чтобы водить с ним дружбу, пока Перри не рассказал ему, как он «смеха ради» однажды убил негра в Лас-Вегасе, забил его до смерти велосипедной цепью. Дик почувствовал к нему уважение, стал чаще видеться с ним. В тюрьме Лансинг было немало таких, которые хвастались тем, что убили, либо тем, что готовы совершить убийство. Однако Дик пришел к убеждению, что Перри — «прирожденный убийца», тип поистине редчайший — совершенно нормальный, но лишенный совести человек, который способен убивать без всякой цели. Дик считал, что дар подобного рода — бесценная вещь, когда он попадает в умелые руки. Придя

к этому выводу, Дик начал обхаживать Перри, он льстил ему, притворялся, что верит его россказням о кладах, что разделяет его любовь к бродячей жизни и портовым городам — хотя все это было ему совершенно чуждо и он мечтал о «нормальной жизни»: собственное дело, дом, верховая лошадь, новый автомобиль и цыпочки-блондинки. Однако Перри не следовало знать об этом — во всяком случае, до тех пор, пока его талант не поможет Дику воплотить свои мечты в жизнь. Но вдруг он просчитался? Вдруг его одурачили? Если это так, если Перри просто-напросто «слабак» — тогда «прогулка» закончена, месяцы, ушедшие на тщательное обдумывание плана, потрачены зря, и остается только вернуться восвояси. Нет, этого не может быть! Дик бросился в здание бензоколонки.

Дверь мужской уборной все еще была заперта. Он начал барабанить в нее:

— Перри! Да что с тобой, Перри?

— Сейчас.

— Тебе что — плохо?

Перри ухватился за умывальник и с трудом поднялся. Ноги дрожали, от боли в коленях он вспотел. Вытерев лицо бумажной салфеткой, он отпер дверь и сказал:

— Ладно! Поехали.

— И я позвонила, — объясняла Сьюзен, давая показания. — Я набрала номер и ждала, наверно, целую минуту, пока телефон звонил, то есть я думала, что он звонил. Никто не подошел, и мистер Юолт предложил «подъехать к ним и разбудить их». Но, когда мы приехали, я не хотела входить в дом. Мне было страшно, сама не знаю почему, — мне и в голову не приходило, что… ведь о подобном просто не думаешь. Но солнце так сияло, все кругом было так светло и тихо — даже слишком. Потом я заметила, что все автомобили на месте. Мистер Юолт был в рабочей одежде, сапоги у него были в грязи, и ему не хотелось заходить к Клаттерам в таком виде, тем более что он прежде никогда у них не бывал. То есть у них в доме. Наконец Нэнси сказала, что пойдет со мной. Мы подошли к кухонной двери, которая, конечно, не была заперта: в семье Клаттеров никто не запирал дверей, кроме экономки миссис Хелм. Мы вошли, и я сразу заметила, что Клаттеры не завтракали — не было никакой посуды, на плите ничего не стояло. И тут я увидела странную вещь: на полу валялась сумочка Нэнси. Мы прошли через столовую и остановились у лестницы. Комната Нэнси выходит на площадку. Я позвала ее,

потом стала подниматься по лестнице, а сзади шла Нэнси Юолт. Меня больше всего пугали наши шаги — они раздавались так громко, а кругом все было так тихо. Дверь в комнату Нэнси была приоткрыта. Занавески не были задернуты, солнечный свет заливал всю комнату. Я не помню, чтобы я кричала, но Нэнси Юолт говорит, что кричала — снова и снова. Я только помню, как плюшевый мишка Нэнси смотрел на меня. И на Нэнси. И я побежала…

— В то воскресенье, — рассказывал Лэрри Хендрикс, двадцатисемилетний преподаватель английского языка, — пятнадцатого ноября, я сидел у себя и читал газеты — гремел телевизор, дети ходили на головах, но все равно я слышал голоса, доносившиеся снизу из квартиры миссис Кидуэлл. В общем, меня это не касалось, тем более что я здесь человек новый. Но тут прибежала Шерли — моя жена, она развешивала белье на улице. Она сказала:

— Спустись вниз. Там все в истерике.

Я спустился. У девочек действительно была настоящая истерика. Сьюзен так и не оправилась после этого потрясения и, по-моему, никогда по-настоящему не оправится. И бедняжка миссис Кидуэлл! У нее и так слабое здоровье и нервы

расшатаны. Даже мистер Юолт был не в себе. Он говорил по телефону с шерифом Гарден-Сити и, когда кончил, сказал:

— У Клаттеров случилось что-то страшное.

Мы поехали к ферме Клаттеров. Там шериф выслушал рассказ мистера Юолта, затем передал по радиотелефону приказ, чтобы прислали людей и карету «скорой помощи». Он сказал:

— Здесь произошел несчастный случай.

Потом мы втроем вошли в дом. Прошли через кухню и увидели на полу дамскую сумочку и телефон с перерезанным проводом. Когда мы поднимались вверх по лестнице, шериф не снимал руки с кобуры своего пистолета.

Это было страшно. Такая замечательная девушка… Но ее нельзя было узнать. Ей выстрелили в затылок с близкого расстояния из охотничьего ружья. Она лежала на боку лицом к стене, стена была вся в крови. Одеяло было натянуто ей на плечи, Шериф Робинсон приподнял одеяло, и мы увидели, что она была в халате, пижаме, носках, домашних туфлях — как будто еще не ложилась, когда все произошло. Ее руки были связаны за спиной, ноги тоже связаны шнуром. Шериф спросил:

— Это Нэнси Клаттер?

Он ее никогда прежде не видел. А я ответил:

— Да, да, это Нэнси.

Мы снова вышли в коридор и огляделись. Все другие двери были закрыты. Мы открыли одну — это была ванная. Мне показалось, что здесь что-то не так — наверно, из-за стула. Это был мягкий стул, которому не место в ванной. Следующей была спальня Кеньена, как мы догадались. Я узнал его очки — они лежали на книжной полке около кровати. Но кровать оказалась пустой, хотя видно было, что в ней спали. Мы дошли до конца коридора и там, в последней комнате, на кровати нашли миссис Клаттер. Ее тоже связали, но иначе — руки были связаны спереди, казалось, она молится. В одной руке она зажала носовой платок. Шнур стягивал кисти рук, спускался к щиколоткам и под кровать, где был привязан к ножке — очень сложный способ. Страшно подумать, что она пережила. Да, у нее на пальцах остались кольца — два, поэтому-то я, в частности, и подумал, что это была не кража. Она была в халате, белой ночной рубашке и белых носках. Рот был заклеен пластырем, но, так как стреляли в упор в висок, сила удара сорвала пластырь. Ее глаза были открыты. Широко открыты. Будто она все еще смотрела на убийцу. Ведь она же

видела, как он… как он целится. Все молчали. Просто не могли говорить. Помню, шериф стал искать гильзу. Но тот, кто стрелял, видно, был слишком хладнокровным и опытным убийцей, чтобы оставить такую улику.

Мы, конечно, думали о Кеньене и мистере Клаттере. Где они? Шериф сказал:

— Пошли вниз.

Мы вошли в спальню мистера Клаттера. Ничего необычного не заметили, никаких следов борьбы. Только телефонная трубка была снята с аппарата и провода перерезаны, как в кухне. Шериф Робинсон нашел в стенном шкафу несколько охотничьих ружей и понюхал их, чтобы проверить, не стреляли ли из них недавно. Оказалось, что нет. Он был совершенно растерян, все говорил:

— Куда же девался Херб?

Вдруг мы услышали шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Шериф крикнул «кто там?» таким тоном, будто вот-вот будет стрелять. Раздался голос:

— Это я, Вэндл. — Это был помощник шерифа Вэндл Майер. Он подъехал к дому и, не увидев нас, пошел обследовать подвал. Шериф сказал ему — даже как-то жалко его стало:

— Вэндл, я ничего не понимаю. Там наверху два трупа.

— Что же, — ответил Вэндл, — в подвале лежит еще один.

Мы спустились за ним в подвал. Кеньен лежал в углу на кушетке. Рот у него был заклеен пластырем, и у него были связаны руки и ноги, как у матери. Почему-то он произвел на меня самое страшное впечатление. Может быть, оттого, что он как-то больше остальных был похож на себя, хотя ему и выстрелили прямо в лицо. Он был в майке и джинсах, босой — словно торопился и оделся кое-как. Под его головой лежали две подушки — вроде как их подсунули, чтобы удобнее было стрелять.

Потом шериф спросил:

— Куда ведет эта дверь?

Мы открыли ее и вошли в котельную, только там было черным-черно. Мистер Юолт нащупал выключатель. В общем, я взглянул на мистера Клаттера и отвернулся. От пулевой раны не могло быть столько крови. Так оно и оказалось. Ему, конечно, стреляли прямо в лицо, как Кеньену. Но он, наверно, умер до выстрела. Или умирал. Потому что ему перерезали горло. Он был в полосатой пижаме. Рот заклеен пластырем — лента

была обмотана вокруг головы. Ноги связаны, а руки — нет, вернее, он от боли или ярости сумел разорвать шнур. Он лежал перед топкой на огромном картонном коробе. Было похоже, что его специально туда положили — короб из-под матраца. Шериф сказал:

— Погляди-ка, Вэндл.

Он пальцем показал на кровавый след. На коробе. Отпечаток подошвы с двумя кружками, почти как два глаза. Потом кто-то из нас — не помню точно кто, вроде мистер Юолт, — заметил другое. Я этого не забуду до самой смерти. Под потолком шла труба отопления, и с нее свисал кусок все того же шнура. Видно, сперва мистера Клаттера подвесили за руки, потом срезали веревку. Зачем? Для того, чтобы пытать его? Наверно, этого мы никогда не узнаем. Никогда не узнаем, кто и зачем это сделал и что произошло ночью в этом доме.

Далеко-далеко, в Олейте, в гостиничном номере с занавешенными окнами спал Перри, а рядом что-то бормотал старый транзистор. Перри снял только сапоги. Он растянулся на кровати и уткнулся лицом в подушку, словно сон дубинкой ударил его по затылку. Сапожки — черные, со стальной пряжкой — отмачивались в раковине,

и теплая вода чуть-чуть отливала розовым.

В двух-трех милях к северу Дик в уютной кухоньке скромной фермы с удовольствием доедал воскресный обед. Мать, отец и младший брат, сидевшие рядом, не замечали в его поведении ничего необычного. Дик вернулся домой в полдень, поцеловал мать, спокойно отвечал на вопросы о том, как он съездил в Форт-Скотт, и так же спокойно сел есть. После обеда трое мужчин устроились у телевизора, чтобы посмотреть баскетбол. Но не успела передача начаться, как Дик громко захрапел, и его отец, удивившись, сказал младшему сыну, что никак не думал дожить до того дня, когда Дик предпочтет сон баскетболу. Разумеется, он даже не подозревал, как устал Дик, и не знал, что его сладко спящий сын, помимо всего прочего, проехал за прошлые сутки более восьмисот миль и все время сам вел машину.

Два молодых человека обедали в закусочной «Орел» в Канзас-Сити. Один из них, узколицый юноша с наколотой на правой руке голубой кошкой, быстро умял несколько сандвичей с курятиной и теперь пожирал глазами мясо, лежащее на тарелке перед его товарищем: нетронутый рубленый бифштекс. Рядом стоял стакан имбирного пива, в котором растворялись три

таблетки аспирина.

— Перри, детка, — сказал Дик, — может, ты не хочешь мяса? Я его возьму.

Перри со злостью отодвинул тарелку.

— Тьфу ты, дашь ты мне сосредоточиться или нет?

— Нечего читать это пятьдесят раз подряд.

На первой странице канзасской городской газеты «Стар» от 17 ноября было помещено сообщение под заголовком: «Разгадка убийства четверых еще не найдена». Статья заканчивалась следующим резюме:

«Поиски убийцы или убийц завели сыщиков в тупик, так как ловкость преступников столь же очевидна, как и отсутствие всяких видимых мотивов. Этот убийца или убийцы перерезали провода обоих имеющихся в доме телефонов, связали свои жертвы и заткнули им рты кляпами. Следов борьбы с потерпевшими не обнаружено. В доме не осталось никаких улик, никаких указаний на то, что они что-либо искали, за исключением, быть может, бумажника мистера Клаттера. Застрелили четырех человек в разных частях дома, а затем спокойно собрали все гильзы. Имея с собой огнестрельное оружие, приехали в дом и покинули его, никем не замеченные.

Действовали немотивированно, если не считать неудавшейся попытки грабежа, которую сыщики все-таки учитывают».

— «Этот убийца или убийцы», — повторил Перри вслух. — Неправильно. Грамматическая ошибка. Должно быть так: «Этот убийца или эти убийцы»

Прихлебывая начиненное аспирином пиво, он продолжал: — Что-то мне не верится. И тебе тоже. Сознайся, Дик. Ты ведь тоже не веришь этой болтовне об отсутствии улик?

Перри впервые задал Дику этот вопрос вчера, изучив газеты, и Дик, видимо, напрасно понадеялся, что убедил Перри, ответив ему: «Слушай. Если бы эти ковбои доперли хоть до чего-нибудь, мы услышали бы топот их лошадок за сто миль».

Теперь, когда разговор возобновился, Дик даже не пытался протестовать — Перри осточертел ему со своими вопросами.

— Я всегда все предчувствовал. Поэтому-то я сейчас и жив. Ты знаешь Уилли-Джея? Он говорил, что я «медиум» от природы, а уж он как-нибудь разбирался в этом. Он сказал, что мне свойственна высшая степень «интуитивного восприятия». У меня внутри что-то вроде радиолокатора — я вижу все раньше, чем это

происходит. Я предчувствую ход событий. Вот, например, история с моим братом и его женой. Джимми и его жена были до смерти влюблены друг в друга, но он был ревнивый как черт, и она вечно страдала, потому что Джимми на каждом шагу подозревал ее в измене. В один прекрасный день он убил ее, а на следующий застрелился сам. Когда это случилось — в сорок девятом, — мы с отцом были на Аляске, в районе Сёркл-Сити. Я сказал отцу: «Джимми умер». Неделей позже мы узнали, что так оно и есть. Ей-богу. В другой раз, в Японии, я грузил корабль и на минуту присел отдохнуть. Вдруг внутренний голос сказал мне: «Прыгай!» Я отскочил, наверно, на десять футов, и именно на то место, где я только что сидел, грохнулась целая тонна какого-то груза. Могу привести тебе еще сотню подобных примеров. Мне безразлично, веришь ты или нет. Но вот, например, прямо перед тем, как попасть в катастрофу с мотоциклом, я все уже мысленно себе представил: дождь, мокрая дорога, и я лежу окровавленный, с перебитыми ногами. И вот сейчас я что-то почувствовал, некое предостережение. Чувствую, что это ловушка. Он сложил газету:

— Тут не все чисто.

Дик заказал еще один рубленый бифштекс.

Последние дни он до того хотел есть, что ни три куска мяса подряд, ни дюжина плиток шоколада, ни фунт леденцов не могли утолить его голода. Перри, напротив, совершенно лишился аппетита. Он довольствовался лишь имбирным пивом, аспирином и сигаретами.

— Ясно, детка, ты перетрухал, — сказал ему Дик. — Ну же, не дрейфь. Счет-то в нашу пользу. Все получилось отлично.

— Принимая во внимание все обстоятельства, я просто потрясен тем, что ты говоришь, — произнес Перри спокойно. Торжественность тона лишь подчеркивала сарказм, звучащий в его голосе. Но Дик будто ничего не заметил. Он даже улыбнулся. Это была улыбка с самого удачного рекламного снимка. Посмотрите-ка на нашего обаятельного парня, казалось, говорила она, на его открытое лицо, приветливое, полное внимания и неподдельной доброты, — такому можно доверить брить себя опасной бритвой!

— Ладно, — сказал Дик. — В конце концов, я могу и ошибиться.

— Слава тебе господи.

— Но в общем-то все получилось отлично. Мы спрятали концы в воду. И никто не найдет их. Нет ни одной зацепочки.

— Я могу назвать одну.

Перри зашел слишком далеко. Он уже не мог остановиться: — Кажется, его звали Флойдом?

Удар ниже пояса, но Дик заслужил его. Самоуверенность завела его слишком далеко, пора было дернуть за ниточку бумажного змея, залетевшего бог весть куда. Между тем Перри не без опаски заметил симптомы начинающегося у Дика приступа ярости: челюсть его отвисла, рот раскрылся, на губах выступила пена. Что ж, если дело дойдет до драки, Перри сумеет постоять за себя. Он был пониже Дика, и его короткие, непропорциональные по отношению к туловищу ножки не служили надежной опорой. Но Перри превосходил Дика в весе, и мог бы, пожалуй, придушить медведя. Но как бы то ни было, проверять силу Дика на деле было крайне нежелательно. Нравился ему Дик или нет (раньше Перри больше уважал его), совершенно очевидно, что им в целях безопасности надо держаться друг друга. В этом они были единодушны. Дик как-то даже сказал:

— Если нас схватят, уж лучше обоих разом. Тогда мы сможем скоординироваться. Пусть только они попробуют показать этот фокус с признанием, мы-то точно будем знать, кто из нас что

сказал. Нам будет легче.

Кроме того, разрыв с Диком означал для Перри крах всех столь долго вынашиваемых планов. Потому что, несмотря на недавние неудачи, Перри связывал свои мечты о подводных поисках сокровищ с Диком. Именно с ним Перри мечтал отправиться на южное побережье Штатов и поселиться там.

Дик сказал:

— *Мистер* Уэллс! — Он поднял вилку. — Да, пожалуй, стоило бы. Я готов снова отправиться в тюрьму за подделку чеков, лишь бы только встретится с ним. — Вилка вонзилась в стол. — Прямо в сердце, детка.

— Я не говорю, что он обязательно сделает это, — заметил Перри, стараясь теперь смягчить гнев Дика. — Он, скорее всего, побоится.

— Точно, — сказал Дик. — Скорее всего, он побоится.

Поражала легкость, с какой одно настроение Дика сменялось другим: вмиг с его лица исчезло и злобное выражение, и маска напускной храбрости.

— Насчет этой истории с предчувствиями, — сказал он, — ты мне вот что объясни: если ты был так чертовски уверен в том, что попадешь в

аварию, ну что бы тебе слезть тогда с мотоцикла? Ничего и не случилось бы.

— Нет. Потому что если что-то должно случиться, то единственное, что можно сделать, — это надеяться, что все-таки оно не случится. Или случится — это уж зависит от обстоятельств. Пока живешь, тебя всегда что-то ожидает, и даже если это что-то плохое и ты знаешь, что оно плохое, все равно, разве ты в силах это предотвратить? Ты же не можешь остановить жизнь. Вот, к примеру, мои сны. Когда я был маленьким, мне вечно снился один и тот же сон: я в Африке, в джунглях. Продираюсь сквозь заросли к дереву, совсем одинокому. Смердит это дерево — просто страх, так воняет, что мне становится дурно. Но какое же оно красивое: на нем голубые листья, и отовсюду свисают брильянты, похожие на апельсины. Вот потому я и здесь: я хочу набрать мешок брильянтов. Но я знаю, что в ту минуту, когда я доберусь до дерева, на меня бросится удав. Удав, который охраняет дерево. Этот жирный сукин сын спрятался в ветках. Я ведь знаю это заранее, правда? Я, клянусь богом, я понятия не имею, как с ним бороться. Но я решаю все же рискнуть. Это все потому, что я больше хочу брильянтов, чем боюсь удава. В общем, я собираюсь сорвать один,

я уже держу брильянт в руке, я тяну к себе ветку, и в это время удав падает на меня. Мы начинаем бороться, но он такой скользкий, сукин сын, что я не могу удержать его, и он душит меня, и слышно даже, как трещат мои кости. Дальше происходит такое, что даже вспоминать страшно. Понимаешь, он начинает заглатывать меня, сначала ноги, как будто засасывает трясина.

Перри запнулся. Он вдруг заметил, что Дик вилкой выковыривает из-под ногтей грязь и не проявляет к его сну ни малейшего интереса.

Дик сказал:

— Ну? Змея проглатывает тебя. Дальше что?

— Ладно, неважно.

На самом деле это было очень важно! Финал, полный значения! Источник радости для Перри! Однажды он рассказал сон Уилли-Джею; он описал своему другу гигантскую птицу, нечто вроде «желтого попугая». Конечно, Уилли-Джей совсем другой, он человек тонкой душевной организации, «святой». Он бы все понял. Но Дик? Дик рассмеялся бы. Этого Перри не мог вынести, никто не смел насмехаться над попугаем, который впервые посетил сны Перри, когда ему было всего семь лет. Всеми ненавидимый и сам всех ненавидящий, мальчик-полукровка жил тогда

в Калифорнии в монастырском сиротском доме. Монашки нещадно секли ребенка всякий раз, когда постель его оказывалась мокрой. Одно из таких избиений Перри не забудет никогда. «Она меня разбудила. У нее был карманный фонарик, и она била им меня. Все била и била. Когда фонарик разломался, она продолжала бить в темноте». Именно тогда ему и приснился попугай, птица побольше самого господа нашего, желтая, как подсолнух! Ангел-хранитель, который выклевал монашкам глаза, убил их, хотя они «молили о пощаде». Потом попугай осторожно поднял Перри и в своих объятиях перенес в рай. Шли годы, и одни мучения, от которых попугай спасал Перри, сменялись другими. Вслед за монашками пришли старшие ребята, отец, неверная девушка, сержант, под началом которого Перри служил в армии. Все новые и новые мучения, но попугай, этот крылатый мститель, оставался. Так и с удавом из сна. Кончилось все тем, что не удав проглотил Перри, а попугай проглотил змею. И в довершение всего — благословенное вознесение в рай! Рай являлся ему в двух вариантах. В первом Перри понимал, что он в раю, по ощущению собственного могущества, своего неоспоримого превосходства над всеми. В другом варианте рай

представлялся Перри чем-то вполне реальным.

— Наверно, было что-нибудь такое в кино. Иначе, где еще я мог видеть такой сад? С белой мраморной лестницей? С фонтанами? А если спуститься в конец сада, то открывался потрясающий вид на океан. Как у побережья Кармела в Калифорнии. Но самое удивительное — там был длинный-длинный стол. Ты, наверно, никогда и не представлял себе, что вообще может быть столько еды! Устрицы! Индейки! Сосиски! И фрукты — столько фруктов — на целый миллион человек! И подумать только, все это можно есть даром. Я не боюсь дотронуться до всего этого. Я могу есть, сколько влезет. Вот какой он, рай!

— Я-то человек нормальный, — сказал Дик, — мне ничего не снится, кроме кошечек-блондинок. Кстати, насчет снов: помнишь, что приснилось козе?

Таков был Дик. О чем бы ни говорили, он всегда тут как тут со своими сальными анекдотами. Но он хорошо их рассказывает, и даже ханжа Перри не мог не рассмеяться.

Канзасская «Стар» поместила на своих страницах подробное описание похорон Клаттеров. Перри прочел его два дня спустя, валяясь на постели в номере гостиницы.

«За пять лет существования методистской церкви такое здесь случилось впервые. Почтить память погибших собралась тысячная толпа. И около шестисот человек пришли в тот теплый не по сезону день на кладбище „Вэлли Вью“ в северном районе городка. Они молились господу у открытой могилы. Их голоса, слитые воедино, разносились по всему кладбищу».

Тысяча человек! Перри был потрясен. Во что же могли обойтись такие похороны? Мысли о деньгах все еще не оставляли Перри. Правда, они не мучили его так неотступно, как утром, когда за душой не были ни гроша. Дела поправились. Благодаря Дику денег было вполне достаточно, чтобы переправиться в Мексику.

Этот Дик! Хладнокровный. Ловкач. Надо отдать ему должное. Черт его побери, он умеет «втереть очки». Ну хотя бы с этим продавцом из магазина в Канзас-Сити. Там Дик начал действовать. Перри-то и в голову не приходило пытаться подделать чек. Никогда он этого не пробовал. Перри нервничал, но Дик был спокоен.

— Ты только стой рядом — больше мне ничего от тебя не надо. Не вздумай смеяться или удивляться, что бы я ни болтал. Вся штука в том, чтобы перестраиваться на ходу.

Дик небрежно вошел в магазин, представил продавцу Перри как друга, который собирается жениться, и быстро продолжал:

— Я буду шафером. Помогаю с покупками. Ха-ха-ха, с его, с позволения сказать, приданым.

Продавец попался на крючок. И вскоре Перри примерял довольно мрачного вида костюм, который продавец счел наиболее подходящим для предстоящей церемонии. Оглядев непропорциональную фигуру покупателя, продавец сказал:

— Боюсь, нам не обойтись без кое-каких переделок.

— О, не беспокойтесь, — сказал Дик. — Свадьба состоится только на будущей неделе.

Уладив дело с костюмом, они выбрали кучу пиджаков и брюк ярких расцветок, которые, по мнению Дика, как нельзя лучше годились для медового месяца во Флориде.

— Вы знаете Иден-Рок в Майами? — спросил Дик продавца. — У них там забронированы места в гостинице. Ничего себе подарочек преподнесли ее старики: две недели по сорок долларов в день. Как вам это нравится! Девочка в порядке, да к тому же еще и богата. Неплохо пристроился несчастный коротышка. А красивые парни вроде нас с вами…

Продавец протянул ему счет. Дик полез в карман, нахмурился, щелкнул пальцами и сказал:

— Черт возьми, я забыл бумажник.

Эти слова показались Перри жалкой уловкой, которая вряд ли обманет даже «старого ниггера». Однако продавец не разделял мнения Перри. Он достал чековый бланк и после того, как Дик заполнил его и проставил сумму, на восемьдесят долларов превышающую предъявленный счет, немедленно вернул разницу наличными.

Выйдя из магазина, Дик сказал:

— Значит, на будущей неделе ты собираешься жениться? Тогда надо купить кольцо.

Спустя несколько минут они подъехали на стареньком «шевроле» Дика к магазину «Лучшие ювелирные изделия». Там они таким же способом приобрели два бриллиантовых кольца. Из ювелирного магазина Перри и Дик двинулись в ломбард, чтобы заложить драгоценности. Перри было явно жаль расставаться с кольцами. Он уже наполовину поверил в существование своей выдуманной невесты, хотя его представление о ней отличалось от образа, созданного Диком. Она вовсе не красавица или богачка, просто аккуратная девушка, ласковая, с тихим голосом, может быть с образованием. Короче говоря, интеллигентная

особа. О такой девушке Перри мечтал всегда, но встретить ее никак не мог.

Если, впрочем, не считать Куки, медсестру, которая выходила его в госпитале, куда он попал после катастрофы. Перри пробыл там полгода. Куки жалела его, давала читать разные «серьезные книги», вроде «Унесенных ветром» и «Это моя любовь». Они сошлись, и речь заходила уже не только о любви, но даже и о предстоящей женитьбе. Но, выздоровев, Перри сказал Куки «прощай» и, не утруждая себя объяснениями, подсунул ей стихотворение, соврав при этом, что сочинил его сам.

Больше Перри никогда не видел Куки и даже не слышал о ней ничего, но несколько лет спустя он выколол ее имя у себя на руке, и, когда Дик спросил его, кто это — Куки, он ответил:

— Да так, никто. Девушка, на которой я чуть не женился. — Перри даже немного завидовал Дику, дважды женатому и имевшему троих сыновей. Жена и дети — через это положено пройти каждому мужчине. Даже если все это и не принесет счастья, как, например, Дику.

Заложив кольцо и выручив сто пятьдесят долларов, они зашли в другой ювелирный магазин и вышли оттуда с мужскими золотыми часами.

Следующим объектом стал магазин фотопринадлежностей, где они «купили» кинокамеру новейшей конструкции.

— Лучший способ поместить деньги — это купить камеру или телевизор, — заявил Дик. — Их легче всего загнать или заложить.

Они тут же запаслись парочкой телевизоров, а потом взялись за самые шикарные магазины одежды: «Шепард и Фостер», «Ротшильд», «Рай для покупателя». К вечеру, когда магазины закрылись, карманы друзей были набиты деньгами, а машина ломилась от покупок, которые можно было легко «загнать или заложить». Рубашки, зажигалки, дорогие телевизоры и дешевые запонки. Глядя на все это, Перри преисполнился сознанием собственного величия. Теперь впереди замаячила Мексика. Можно было начать все сначала и пожить «по-настоящему». Но Дик выглядел подавленным. Он лишь пожал плечами в ответ на поздравления Перри:

— Нет, честное слово, Дик, ты был на высоте. Я сам чуть не поверил тебе.

Перри было трудно понять, почему Дик, обычно столь самоуверенный, вдруг скис, загрустил и поник именно теперь, когда у него были все основания для бахвальства.

— Может, выпьем?

Они остановились у бара. Дик выпил три «апельсиновых». После третьей рюмки он вдруг спросил:

— А как же отец? Он славный старикан. А мать, ты же ее видел. Что же будет с ними-то? Ну я, скажем, поеду в Мексику. Или еще куда-нибудь. Но они-то останутся, когда начнется заваруха с этими чеками. Я знаю отца. Он наверняка захочет оплатить их. Как всегда. А он не может, потому что он старый, больной и нищий.

— Я тебе вполне сочувствую, — искренне сказал Перри.

Перри не был добряком, но всегда отличался сентиментальностью. И привязанность Дика к родителям, его забота о них трогали его.

— Но, черт возьми, Дик, это же очень просто, — сказал Перри. — Мы сможем оплатить чеки. Ведь в Мексике мы добудем кучу денег.

— Как?

«Как?» Почему Дик спрашивает? Это озадачило Перри. Ведь столько возможностей, о которых они не раз говорили. Золото-искательство, подводные поиски скрытых в пучине моря сокровищ — вот хотя бы два из многочисленных вариантов, которые предлагал Перри. Но есть же и другие

способы разбогатеть. Например, рыболовецкая шхуна. Они часто обсуждали возможность приобретения шхуны для ловли рыбы в открытом море. Они собирались водить судно сами, хотя никогда не имели дела даже с каноэ и в жизни не поймали ни одной гуппи. Судно можно сдавать в аренду туристам. Еще можно солидно подзаработать, перегоняя через границы южноамериканских стран краденые автомобили. (За один такой перегон платят пятьдесят долларов, вычитал где-то Перри.) Но Перри решил напомнить Дику только о сокровищах, которые ждали их на Кокосовом острове, крохотном кусочке земли, примыкающем к Коста-Рике.

— Без дураков, Дик. Это точно, — сказал Перри. — У меня есть карта. Я все разузнал про это дело. В восемьсот двадцать первом году там закопали золотые самородки, драгоценные камни, я читал, что они стоят шестьдесят миллионов долларов. Даже если мы найдем не все, и то хлеб. Ты слушаешь меня, Дик?

До сих пор Дик всегда горячо поддерживал россказни Перри о всяких там его сокровищах. Но на этот раз Перри показалось, что Дик всего лишь делал вид, что верит, а на самом деле издевался над ним.

Эта мысль, впервые пришедшая в голову Перри, причинила ему острую боль. Но она мелькнула и прошла, не оставив следа, потому что Дик, ухмыльнувшись и подмигнув ему, сказал:

— Конечно, слушаю, детка. Ты прав всю дорогу.

Старый «шевроле» выехал из Канзас-Сити в ночь на воскресенье 21 ноября. Багажник был так забит вещами, что не закрывался, и часть из них пришлось привязать на крыше. В машине на заднем сиденье стояли один на другом два телевизора. Пассажирам было тесновато: и Дику, который вел машину, и Перри, прижимавшему к себе любимую гитару. Что касается прочего имущества Перри — фибрового чемодана, старого транзистора «Зенит», бутылки с имбирным пивом (он опасался, что в Мексике может не оказаться этого божественного напитка), двух огромных ящиков, набитых книгами, рукописями и дорогими сувенирами, — то оно тоже было засунуто внутрь машины. И все это — несмотря на яростный протест Дика. Он орал, топал ногами и назвал вещи Перри «пятьюстами фунтов дерьма собачьего».

К полудню они пересекли границу штата Оклахома, Канзас — позади! Перри вздохнул с облегчением. Наконец-то они в дороге! В пути.

И никогда не вернутся обратно. Ему не о чем жалеть, ему не с кем прощаться, никто всерьез не задумается о том, куда он исчез. Другое дело Дик. Он покидал тех, кого, по его словам, любил: сыновей, мать, отца, брата, — людей, которых он не осмелился посвятить в свои планы, с которыми не простился, хотя понимал, что не увидит их больше никогда, во всяком случае, на этом свете.

Дик и Перри остановились перекусить. Был полдень. Дик в бинокль обозревал окрестности. Горы, ястребы на фоне светлого неба. Пыльная дорога через пыльную деревню. Вот уже два дня они в Мексике, и пока все вполне прилично, включая пищу. (Как раз в этот момент Дик уплетал холодную жирную тортилью.) Утром 23 ноября они пересекли границу у Ларедо, в Техасе, и первую ночь провели в публичном доме Сан-Луис-Потоси. До Мехико-Сити, конечного пункта их маршрута, еще двести миль на юг.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросил Перри. — По-моему, мы с тобой малость того. Если могли такое сделать.

— Какое «такое»?

— Ну, тогда.

Дик вложил бинокль в роскошный кожаный футляр с тиснеными буквами Г. У. К. Он был раз-

дражен. Дьявольски зол. Какой черт тянет Перри за язык? Что толку все время вспоминать эту проклятую историю? Ну просто же невыносимо. Они ведь договорились не вспоминать ни о чем. Забыть — и все тут.

— У людей, которые могли сделать такое, не все дома, — сказал Перри.

— Отвяжись, — ответил Дик. — Я вполне нормальный.

Дик не кривил душой. Он считал себя человеком уравновешенным и неглупым, пожалуй, даже поумнее многих. Что до Перри, то да, он уж точно малость не в себе, по меньшей мере у него «не все в порядке». Весной в канзасской тюрьме Дик стал кое-что замечать за ним: Перри «был таким ребенком» — мочился в кровать, звал во сне папу («Папа, я тебя везде искал, где ты был, папа?»), «мог часами сидеть, посасывая большой палец и изучая дурацкие карты». В то же время он мог «нагнать жуть», приходил в ярость быстрее, чем «десять пьяных индейцев». Но никто не подозревал об этом. «Он мог запросто решить прикончить тебя, но и вида не подавал», — сказал Дик однажды. Потому что внешне он всегда оставался спокойным парнишкой со слегка сонными глазами и ровным вкрадчивым голосом. Было

время, когда Дик думал, что имеет власть над этими внезапными вспышками холодной ярости. Но он ошибся. Он не был больше уверен в Перри — он не знал, что думать о нем. Одно Дик знал твердо: Перри следует опасаться, но не понимал, почему он его все-таки не боится.

— В глубине души, — продолжал Перри, — в самой, самой глубине не представляю, как я мог сделать такое.

— А как же насчет черномазого? — спросил Дик.

Молчание. Дик почувствовал, что Перри смотрит на него. Неделю назад в Канзас-Сити Перри купил темные очки — шикарные темные очки с зеркальными стеклами. Дику они не нравились будто бы потому, что стыдно появиться где-нибудь с человеком, «который может нацепить на себя такую пижонскую штуку». На самом деле его раздражали зеркальные стекла, которые скрывали глаза Перри.

— Черномазый, — сказал Перри, — это другое дело.

Он проговорил эти слова с явной неохотой, и Дик сразу насторожился:

— А может, ничего и не было? Может, ты вовсе и не убивал его?

Это был очень важный для Дика вопрос, потому что весь интерес его к Перри, мнение о его характере и возможностях вытекали именно из рассказа Перри о том, как он «под настроение» забил да смерти негра.

— Ясно, я убил его. Но ведь то черномазый. Вот в чем разница, — сказал Перри. — И знаешь, что больше всего меня грызет? Насчет того, нашего дела? Не может оно так просто сойти нам с рук. Не может этого быть. Говорить о стопроцентной гарантии — просто бред. Что-то должно случиться. Не могу избавиться от этой мысли.

Хотя Дик ходил в детстве в церковь, в бога он никогда не верил. Да и суеверным его нельзя было назвать. Не то что Перри. Дик не придавал никакого значения ни разбитым зеркалам, которые сулили семь лет несчастий, ни свету молодого месяца, который, отразившись в стекле, навлекал различные беды. Но Перри со своей тревогой все-таки посеял сомнения в душу Дика. Временами его одолевал страх, особенно когда он задавал себе вопрос: так ли уж все сойдет им с рук? Вдруг он крикнул Перри:

— А ну, заткнись!

Он завел мотор. Впереди по пыльной дороге в лучах теплого солнца трусила собака.

Когда Перри задал Дику тот вопрос: «Знаешь, о чем я думаю?» — он понимал, что этим начал разговор, который вряд ли придется по душе Дику. Да и сам он хотел поскорее замять дело. Он был согласен с Диком: действительно, зачем снова возвращаться к больному вопросу? Но Перри не мог заставить себя выбросить все из головы. Временами он ощущал странную подавленность, особенно когда «вспоминал это» — вспыхнувшее в темной комнате голубое пламя, стеклянные глаза большого игрушечного медведя и слова, голос, повторявший несколько слов: «Нет! Пожалуйста! Нет! Нет! Нет! Нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!»

Он снова и снова слышал звук покатившегося по полу серебряного доллара, топот ботинок по деревянной лестнице, дыхание, хрип, а потом бульканье и клекот, мучительные попытки мужчины с перерезанным горлом втянуть в себя воздух.

Сказав: «Я думаю, что мы с тобой малость того», Перри признался в том, в чем «ненавидел признаваться». Ведь «горько» признаваться в чем-то постыдном, особенно если ты в этом не виноват и, может быть, «таким родился на свет». Посмотрите на его семью. Его мать, алкоголичка, умерла,

захлебнувшись собственной блевотиной. Из всех ее детей — двух сыновей и двух дочерей — только младшая дочь, Барбара, жила по-человечески: она обзавелась семьей и растила детей. Ферн, другая дочь, выбросилась из окна гостиницы в Сан-Франциско. (Перри старался убедить себя в том, что Ферн «просто выпала из окна», потому что он любил ее. Она была «такая чудесная», такая «способная», «ужасно здорово» танцевала и недурно пела. «Если бы ей хоть немножко повезло, она при своей наружности могла бы стать звездой». Очень грустно представлять себе, как она карабкается на подоконник и бросается вниз с пятнадцатого этажа!) Был еще Джимми, старший брат, который убил свою жену и на другой день покончил с собой.

Потом до него донеслись слова Дика: «Отвяжись. Я вполне нормальный». Вот смехота! Ладно, пусть. Перри продолжал: «В глубине души, в самой, самой глубине не представляю, как я мог сделать такое». И тут же он понял свою ошибку, потому что Дик немедленно спросил: «А как же насчет черномазого?» Перри рассказал Дику эту историю для того, чтобы завоевать его дружбу и доверие. Перри хотелось, чтобы Дик уважал его, видел в нем такого же «настоящего мужчину»,

каким был сам. Однажды они прочитали и обсудили статью из «Ридерз дайджест» «Умеете ли вы разбираться в людях?». («Когда вы ждете приема у зубного врача или стоите на вокзале в ожидании поезда, постарайтесь внимательно рассмотреть окружающих вас людей. Обратите внимание на их походку. Негнущиеся колени, скорее всего, выдают сильный характер. Нетвердая походка говорит о недостатке решительности».) Перри тогда сказал:

— Я всегда блестяще разбирался в людях, будь это не так, меня бы уже давно не было на свете. Если бы я не понимал, кому можно доверять. Вообще-то, таких мало. Но тебе, Дик, я доверюсь. Сейчас ты в этом убедишься, потому что после того, как расскажу тебе кое-что, я окажусь в твоей власти. Этого я еще никогда никому не рассказывал. Даже Уилли-Джею. Как однажды я порешил одного парня.

И Перри увидел, что Дик сразу заинтересовался, стал слушать внимательно.

— Все произошло пару лет назад. В Лас-Вегасе. Я жил в старом пансионе, когда-то там был шикарный публичный дом. Но это давно, а теперь от былого шика не осталось и следа. Дом надо было снести десять лет назад, а пока он разваливался

сам по себе. Самые дешевые комнаты находились на чердаке, там я и жил. Рядом со мной жил черномазый. Его звали Кинг, он остановлился там проездом. Кроме нас с Кингом на чердаке не было ни души, если не считать миллиона тараканов. Кинг был немолод, но он много работал на открытом воздухе, строил дороги и сложения был — будь здоров. Он носил очки и много читал. Кинг никогда не запирался на ключ, и, проходя мимо, я всегда видел его лежащим на постели с книгой и веером в руках. Он тогда не работал, потому что ему удалось скопить немного денег. Кинг хотел отдохнуть, поваляться немного в постели, поразвлечься и попить пива. Читал он всякую дребедень, комиксы и разную ерунду о ковбоях. В общем, парень он был в порядке. Иногда мы вместе пили пиво, а однажды он одолжил мне десять долларов. У меня не было никаких оснований причинять ему вред. Как-то ночью стояла страшная жарища, мы оба не могли заснуть, мы сидели на чердаке, и я предложил: «Пошли, что ли, покатаемся». У меня была старая колымага, которую я перекрасил в серебряный цвет. Она называлась «Серебряный призрак». Мы поехали кататься. Выехали в пустыню. Там было холодно. Мы остановились и выпили пива. Кинг вышел

из машины, и я вслед за ним. Он не заметил, как я прихватил с собою цепь. От велосипеда Она лежала под сиденьем. В общем-то, я и не собирался ничего делать, пока не начал. Я ударил его по лицу. Разбил очки. И пошло. После я ровно ничего не чувствовал. Я оставил его там и больше никогда о нем не слышал. Может, никто его там и не нашел. Кроме стервятников.

Во всей этой истории правдой оставалось лишь то, что Перри действительно был знаком с негром по имени Кинг. Но если он и умер, то уж никак не по вине Перри: Перри никогда не поднимал на него руку. Вполне возможно, что Кинг все еще валялся на какой-нибудь кровати, обмахивался веером и посасывал пиво.

— А может, ничего и не было? Может, ты вовсе и не убивал его? — спросил Дик.

Перри не был прирожденным лгуном, но он уже наврал, и пути к отступлению не было.

— Ясно, я убил его. Но ведь то черномазый. Вот в чем разница. И знаешь, что больше всего меня грызет? Насчет того, нашего дела? Не может оно так просто сойти нам с рук. — Перри подозревал, что Дик разделяет его опасения. Видимо, он успел слегка заразить Дика своими мистическими предчувствиями, иначе чем объяснить его рез-

кий окрик: «А ну, заткнись»?

Машина продолжала путь. Впереди них в ста шагах по дороге трусила собака. Дик направил машину в ее сторону. Собака была старая, полумертвая от голода. Хрупкие ее кости четко обозначались сквозь клочковатую шерсть; налети птица на ветровое стекло, удар не был бы слабее. Но Дик остался доволен.

— Так-то! — Он говорил это каждый раз, когда представлялась возможность переехать собаку. — Так-то. Была собачка — и нет ее.

В комнате отеля в Мехико-Сити стоял уродливый комод с вделанным в него сиреневатым зеркалом. В углу висело предупреждение администрации:

SU DÍA TERMINA A LAS 2 P.M.[32]

Иными словами, нужно было освободить комнату в указанный час или заплатить за следующие сутки полностью — роскошь, которую никак не могли себе позволить нынешние постояльцы. Они сомневались даже в том, смогут ли уплатить по уже предъявленным им счетам. Все получилось именно так, как предсказывал Перри: Дик продал машину, и через три дня от двухсот

---

[32] Примечания: 32
Ваш день кончается в 2 часа пополудни *(исп.).*

долларов не осталось и следа. На четвертый день он отправился на поиски «честной работы».

— К черту! — ругался он вечером. — Ты знаешь, сколько они платят? Какая тут *зарплата?* Механик высшей квалификации — и два доллара в день! Мексика! Я сыт ею по горло, детка. Мы сматываемся отсюда. Обратно в Штаты. Нет, все. Я не желаю ничего слушать. Брильянты? Зарытые сокровища? Детка, очнись. Сундуков с золотом не бывает. И потопленных кораблей тоже. А даже если они и были бы, дьявол тебя побери, ты ведь и плавать-то не умеешь.

Дик одолжил денег у наиболее обеспеченной из своих здешних подружек, пятидесятилетней вдовы банкира, и купил билеты на автобус до Барстоу в Калифорнии.

— А оттуда двинемся на своих двоих, — сказал он.

Прохладным декабрьским утром с первыми лучами солнца Перри был уже на ногах. Упаковывая пожитки, он двигался почти бесшумно, чтобы не разбудить спящего Дика и младшую из его подружек, Инес.

Перри просматривал старые письма, фотографии, газетные вырезки, отбирая из них те, которые хотел взять с собой. Среди них был сквер-

но отпечатанный опус, озаглавленный «История жизни моего сына». Автором труда являлся отец Перри. Год назад он отослал это письмо в Совет по условному освобождению штата Канзас для того, чтобы помочь Перри выбраться из тюрьмы, взять его на поруки. Перри читал и перечитывал послание отца, возвращался к нему сотни раз, всегда ощущая при этом острое волнение.

Собственная биография всегда вызывала у него бурю эмоций, главным образом жалость к себе, любовь и ненависть. Причем ненависть обычно преобладала. Воспоминания были печальные, хотя и не всегда. Те из них, которые относились к раннему детству, были полны радостью, рукоплесканиями, волшебством. Ему было, кажется, всего три года, когда он вместе с сестрами и старшим братом присутствовал на родео. На арене высокая женщина из племени чероки объезжала дикую лошадь. Распущенные волосы женщины развевались, как у танцовщицы фламенко. Ее звали Фло Бакскин, она занималась родео профессионально и была даже чемпионкой. На одном из состязаний и произошла встреча красавицы индианки и простого ирландского парня Текса Джона Смита. Они вскоре поженились и наплодили четверых детей, которые и присутствовали

сейчас на состязании в качестве зрителей.

Текс и Фло продолжали участвовать в родео, пока Перри не исполнилось пять лет. Жизнь их отнюдь не текла как по маслу, вспоминал Перри. «Мы вшестером ездили на раздолбанном грузовике, в нем спали, в нем же и ели — в основном кашу и сгущенное молоко. Это-то сладкое сгущенное молоко, избыток сахара изо дня в день, и доконало мои почки».

И все-таки неплохая была жизнь. Маленький Перри гордился родителями, восхищался их мастерством, их смелостью. Это было почти счастьем по сравнению с тем, что пришло на смену. Текс и Фло стали хворать и расстались со своей профессией. Они поселились недалеко от Рено, штат Невада, стали ссориться. Фло пристрастилась к виски, и в один прекрасный день (Перри только-только исполнилось шесть лет), прихватив с собой детей, отправилась в Сан-Франциско. Отец писал:

«Я послал привет вслед уезжающему грузовику, который увозил ее и орущих во всю мочь детей. Она осыпала их площадной бранью и вопила, что когда-нибудь они все равно сбегут от нее».

Действительно, в течение следующих трех лет Перри несколько раз бежал, пытаясь разыскать

своего потерянного отца, потому что мать он тоже «потерял», научившись при этом презирать ее: от постоянного употребления спиртного черты ее расплылись, она разжирела, ничто уже не напоминало в ней прежнюю красавицу индианку. Она до того опустилась, что даже не знала имен тех грузчиков и кондукторов троллейбусов, которых бесплатно принимала, — она требовала только, чтобы прежде они с ней выпили и потанцевали.

— Вскоре мать отправила меня в католический сиротский дом, которым заправляли монашки, — рассказывал впоследствии Перри. — Монашки меня ненавидели. Они били меня за то, что я мочился в кровать. С тех пор не выношу монашек. И бога. И религию. Правда, потом я понял, что люди могут быть еще злее. Несколько месяцев спустя меня вышвырнули из сиротского дома и отправили кое-куда похуже. В детский приют Армии спасения. Там меня тоже возненавидели. По той же самой причине. И еще за то, что я наполовину индеец. Одна воспитательница называла меня «черномазым» и говорила, что никакой разницы между неграми и индейцами нет. Она была сам дьявол во плоти. Она наполняла ванну ледяной водой, сажала меня в нее и держала там до тех пор, пока я не синел и не начинал захлебываться.

Но ее накрыли, эту суку. Потому что я схватил воспаление легких. И чуть не сдох. Два месяца меня продержали в больнице. Отец вернулся, как раз когда я помирал. Он дождался, пока я выздоровел, и забрал меня.

Отец повез Перри в Вайоминг, Айдахо, Орегон и потом на Аляску. Там Текс научил сына мечтать о золоте, находить его в песчаных отмелях ледниковых горных рек, на Аляске же Перри научился пользоваться оружием, свежевать медведей и выслеживать волков и оленей.

Теплым вечером 1945 года, во время войны, Перри очутился в Гонолулу, в одном из заведений, где наносят татуировку. Он вышел оттуда с вытатуированной на левой руке змеей с кинжалом. В Гонолулу он сбежал, поссорившись с отцом. На попутных добрался до Сиэтла, а там подрядился служить в торговом флоте.

— Но я никогда не сделал бы этого, если бы знал, что меня ждет. Я угодил в Корею, там шла война. В армии был на хорошем счету — в общем, не хуже других. Они наградили меня бронзовой медалью. Но повышения я не получил. Воевал четыре года на этой чертовой войне — как будто мог надеяться дослужиться хотя бы до капрала. Но не дослужился, и знаешь почему? Потому что

сержант кое-чего хотел от меня. А я не хотел. Еще во время службы в армии, когда моя часть находилась в Форт-Льюисе, штат Вашингтон, я купил мотоцикл (или, правильнее сказать, «мертвоцикл»). Как только срок службы вышел, я сел на мотоцикл и поехал на Аляску, но доехал всего лишь до Беллингема. Шел дождь, и мотоцикл занесло.

На операцию и больницу ушло полгода. Остальные полгода Перри выздоравливал, живя в бревенчатом домике близ Беллингема. Домик принадлежал молодому индейцу, который сплавлял лес и ловил рыбу.

— Джо Джеймс. Он и его жена приютили меня. Между нами было всего три года разницы, но они обращались со мной, как с сыном, и это было прекрасно. А детей у них было много. Уже тогда — четверо. А потом стало семеро. Джо и его семья обращались со мной очень хорошо. Я ходил на костылях, ничего не мог, кроме как сидеть. Чтобы хоть как-то быть им полезным, я устроил нечто вроде школы. Учениками были их дети и несколько их приятелей — мы занимались в гостиной. Я учил детей играть на губной гармонике и на гитаре, рисовать. Проходил с ними каллиграфию. Все знают, какой у меня красивый почерк.

Я как-то купил книгу по каллиграфии и до тех пор упражнялся, пока не стал писать так, как было показано в книге. Еще мы читали разные рассказы, ребята читали, а я их поправлял. Это меня забавляло. Я люблю детей. Хорошее было время. Но пришла весна. Ходить было больно, но все-таки я уже мог передвигаться.

Покинув Джеймсов, Перри решил поехать в Вустер, в Массачусетсе, к армейскому приятелю. Перри думал, что друг хорошо примет его и поможет найти приличную работу. Но разные отклонения от маршрута затянули его путешествие он мыл тарелки в ресторане в Омахе, служил на бензоколонке в Оклахоме, месяц проработал на ранчо в Техасе. В июле 1955 года по дороге в Вустер он добрался до маленького канзасского городка Филипсберга, где его настигла судьба в образе «плохой компании».

— Его фамилия была Смит. Как моя. Я даже не помню, как его звали. У него была машина, и он обещал довезти меня до Чикаго. В общем, мы добрались до этой дыры Филипсберга и остановились там, чтобы сориентироваться по карте. Кажется, было воскресенье. Все магазины закрыты. Улицы тихие, пустые. Тут мой дружрк, черт бы его побрал, предложил кое-что.

«Кое-что» сводилось к ограблению магазина «Чендлер сэйлс компани». Перри согласился, и они забрались в пустой магазин, откуда вынесли целый набор пишущих и счетных машинок. Все, возможно, сошло бы им с рук, если бы через несколько дней они не нарушили правил уличного движения в Сент-Джозефе, в штате Миссури.

— Барахло было еще в машине. Фараон, задержавший нас, хотел знать, как мы все это приобрели. Навели справки, а там, как говорится, нас «вернули» в Филипсберг. У них очень уютненькая тюрьма. Весь вопрос в том, нравятся ли человеку тюрьмы вообще или нет.

Через сорок восемь часов после ареста Перри с приятелем обнаружили открытое окно, вылезли, угнали машину и помчались на северо-запад к МакКуку, в штате Небраска.

— Мы со Смитом скоро расстались. Понятия не имею, что с ним стало дальше. Оба мы попали в списки Бюро расследований, но, думаю, он по сей день разгуливает на свободе.

Сырым ноябрьским днем автобус линии «Грейхаунд» довез Перри до Вустера, заводского городка, расположенного в холмистой местности, его улицы то поднимались вверх, то круто сбегали вниз и даже в самую хорошую погоду казались

мрачными и недружелюбными.

— Я нашел дом, где жил мой друг по армии. Тот, с которым я служил в Корее. Но мне сказали, что он выехал шесть месяцев назад, а куда — неизвестно. Ну, я попереживал, поплакал, мол, всему конец и т. д. Пошел в магазин, где торговали спиртным, купил полгаллона итальянского красного, вернулся на автобусную станцию, сел на скамейку и стал пить, чтобы согреться. Скоро от плохого настроения не осталось и следа, но тут появился один тип и арестовал меня за бродяжничество.

В полицейском участке Перри записали как «Боба Тернера» — он придумал этот псевдоним, помятуя о списках ФБР. Просидев четырнадцать дней в тюрьме и уплатив штраф в десять долларов, Перри вышел из тюрьмы таким же сырым ноябрьским днем.

— Я двинул в Нью-Йорк и остановился в паршивой гостинице на Восьмой авеню, — рассказывал Перри. — Около Сорок второй улицы. С трудом получил работу в ночную смену. Мальчиком на побегушках в «Грошовом пассаже», где открыта круглосуточная торговля мелочью. Это прямо там же, на Сорок второй улице, около ресторана-автомата. Там я и ел, когда было на что. За три месяца

ни разу не уходил из этого района Бродвея — не так был одет. Джинсы и сапоги. А на Сорок второй улице это все равно, там хоть голым пройдись. За всю жизнь не видал столько кретинов.

Перри провел зиму в этом безобразном районе Нью-Йорка, освещенном неоновыми рекламами; воздух был насыщен запахами воздушных кукурузных хлопьев, горячих сосисок и апельсинового напитка. Но однажды ранним солнечным мартовским утром произошло следующее:

— Две суки из ФБР разбудили меня. Арестовали прямо в гостинице — трах! Вернули в Канзас, в Филипсберг. Та же уютная тюрьма. Понавешали на меня всех собак: обвинили в воровстве, побеге из тюрьмы и краже автомобиля. Получил срок от пяти до десяти лет и очутился в Лансинге. Спустя некоторое время написал отцу. Сообщил ему приятное известие. Написал сестре Барбаре. Теперь только они и оставались у меня. Джимми покончил с собой. Ферн выбросилась из окна.

Мать померла. Уже восемь лет, как ее нет. Нет никого, кроме отца и Барбары.

Пока Перри копался и раскладывал вещи, горка предметов, которыми он очень дорожил, постепенно превратилась в гору. Но что было делать? Не мог же он бросить бронзовую медаль,

полученную в Корее, или свидетельство об окончании средней школы (оно было выдано Отделом образования графства Ливенуэрт — в тюрьме Перри закончил курс образования, прерванный столько лет назад)? Жалко расстаться и с толстым конвертом, полным фотографий собственной персоны — с юношеского возраста (на обороте одной из фотографий периода службы в торговом флоте написано «16 лет. Молодо-зелено») до недавних снимков в Акапулько. И еще полсотни других реликвий: карты с помеченным местонахождением кладов, объемистая тетрадь представлявшая собой личный толковый словарь Перри и содержавший выражения, которые казались ему «полезными» или «красивыми».

На обложке другой тетради было выведено изысканным почерком «Личный дневник Перри Эдуарда Смита» — заглавие неточное, так как оно не отвечало содержанию тетради. На самом деле это была своего рода антология малоизвестных фактов («Каждые пятнадцать лет Марс приближается к Земле. 1958 год — это такой год»), стихов и цитат («Человек — не остров, он не сам по себе») и отрывков из газет и книг, которые либо переиначивались, либо цитировались. Например: «У меня много знакомых и мало друзей; тех, кто зна-

ет меня по-настоящему, еще меньше», «Услышал о новом крысином яде. Действует мгновенно, не имеет запаха, не оставляет никаких следов». «Прочитал интересную статью в февральском номере журнала „Как мужчина с мужчиной“. Называется „Как я ножом пробил себе дорогу к бриллиантам“. „Человеку, привыкшему к свободе и всей ее прелести, почти невозможно понять, что значит лишиться этой свободы“ — слова Эрла Стэнли Гарднера». «Что такое жизнь? Это блеск светлячка в ночи. Это вздох бизона зимой. Это маленькая тень, которая пробегает по траве и исчезает в заходящем солнце» — слова Кроуфута, вождя индейцев племени блекфут.

Последняя запись была сделана красными чернилами и окружена зелеными звездочками; этим, видимо, подчеркивалось личное отношение к ним. «Вздох бизона зимой» — так он представлял себе жизнь. Зачем волноваться? К чему потеть, беспокоиться? Человек — ничто, туман, тень, поглощаемая тенью. Но, черт возьми, все равно беспокоишься, вынашиваешь планы, кусаешь себе ногти и бесишься из-за дурацкой надписи на картоне:

SU DÍA TERMINA A LAS 2 P.M.

— Эй, Дик, ради Христа, — позвал Перри, — по-

торапливайся! Наш день кончается в два часа.

* * *

Парня звали Флойдом Уэллсом. Он был мал ростом и отличался полным отсутствием подбородка. За свою жизнь Уэллс перепробовал немало способов заработать себе на хлеб; служил в армии, нанимался на ранчо, работал механиком, крал. Последнее обстоятельство привело его в канзасскую тюрьму, где ему надлежало отбыть срок от трех до пяти лет. Во вторник вечером 17 ноября он лежал в камере и слушал радио. Передавали сводку новостей, но монотонный голос диктора и обыденность событий («Канцлер Конрад Аденауэр прибыл сегодня в Лондон, чтобы вести переговоры с премьер-министром Гарольдом Макмилланом…», «Президент Эйзенхауэр в течение семидесяти минут рассматривал проблемы, связанные с космосом, и уточнял бюджет, необходимый для изучения космического пространства, с доктором Т. Кейтом Гленнаном») действовали на него усыпляюще. Внезапно он услышал нечто такое, что сон как рукой сняло: «Следственные органы, занятые расследованием обстоятельств трагической гибели четырех членов семьи Герберта У. Клаттера, обратились

к общественности с просьбой сообщить любые данные, которые могли бы пролить свет на это необъяснимое преступление. Рано утром в прошлое воскресенье Клаттера, его жену и двоих детей нашли убитыми в их доме близ Гарден-Сити. Преступники их связали, заткнули рты кляпами и убили выстрелами в голову из охотничьего ружья двенадцатого калибра. Следственные органы признают, что им не удается выяснить мотивов преступления, которое, по словам Лоутена Сэнфорда, директора канзасского Бюро расследований, является самым жестоким в истории Канзаса…»

Уэллс был потрясен. Он не мог поверить своим ушам, так он впоследствии описал свою реакцию, хотя ему-то меньше всех следовало бы удивляться: Уэллс не только был знаком с убитыми, но и прекрасно знал, кто их убил.

Началось это давным-давно — одиннадцать лет назад, осенью 1948 года, когда Уэллсу было девятнадцать. Он шатался по стране, работал кем придется.

— Как-то меня занесло в западный Канзас неподалеку от границы с Колорадо. Искал работу. Спрашивал, где можно устроиться. Мне сказали, что человек нужен на ферме «Ривер-вэлли» — так

мистер Клаттер называл свое хозяйство. И точно, он взял меня. Я проторчал там что-то около года и ушел только потому, что меня тянуло к перемене мест. Хотелось побродить по свету. Это было в сорок девятом году. Я женился, потом развелся. Попал в армию. То да се. И в пятьдесят девятом году — в июне — ровно через десять лет после того, как в последний раз видел мистера Клаттера, я сел в тюрьму. За магазин электротоваров. Хотел стащить там пару машин для стрижки газонов. Продавать их не собирался. Просто думал сдавать в аренду. Взбрело мне в голову организовать собственное дельце. Конечно, ни черта из этого не вышло. Кроме срока «от трех до пяти». Если б не это, я бы в жизни не встретил Дика. И мистер Клаттер не оказался бы в могиле. Теперь-то что уж? Ничего не попишешь. Дик был моим первым соседом по камере. Мы просидели вместе, пожалуй, с месяц. Июнь и начало июля. Он досиживал срок, в августе его должны были досрочно освободить. Дик все время трепался про то, чем займется, когда выйдет. Будто бы он отправится в Неваду, в один из этих «ракетных» городишек, купит себе форму и сделается «офицером» военно-воздушного флота. В таком виде будет очень удобно обделывать делишки с чека-

ми. (Я не принимал эту его идею всерьез. Он хоть и продувной парень, но в офицеры уж никак не годится.) Еще он вспомнил своего дружка, Перри. Дик с ним сидел. Вроде они с Перри задумали провернуть на воле крупное дело. Я этого Перри никогда не видел. Он отсидел свое и тоже был освобожден досрочно. Но Дик всегда говорил, что если выгорит когда-нибудь стоящее дельце, то на Перри можно положиться. Не помню точно, как у нас зашла речь о Клаттере. Наверно, я вспомнил его, когда мы вспоминали, кто кем работал. Я рассказал ему, как работал целый год на пшеничных полях в западном Канзасе на мистера Клаттера. Дик спросил, богатый ли он. Да, сказал я, здорово богатый. Однажды он за одну неделю истратил десять тысяч долларов. Случалось, что таков был его недельный оборот. Потом Дик все время приставал ко мне насчет семьи Клаттера. Сколько их человек? Сколько теперь лет детям? Как до них добраться? Какова планировка дома? Есть ли там сейф? Не буду отрицать, я ответил, что есть. В рабочей комнате мистера Клаттера, позади его письменного стола был сейф, или шкаф, или еще что-то в этом роде. Тут Дик и стал болтать, что убьет мистера Клаттера. Говорил, что они с Перри доберутся туда, ограбят дом и укокошат всех

свидетелей, всех, кто там окажется. Он десятки раз расписывал, как они все это сделают — как свяжут людей, как потом прикончат. Я говорил ему: Дик, ты с этим делом не справишься. Но, если по-честному, я ни разу не пытался его отговаривать. Потому что ни секунды не верил, что он это серьезно, считал все пустой болтовней. В тюрьме о чем только не треплешься. То и дело слышишь о будущих грабежах и убийствах. Сплошной свист. Никто не принимает это всерьез. Поэтому, когда я услышал сообщение по радио, я ушам своим не поверил. Подумать только, вышло. Совсем так, как Дик говорил.

Все это Флойд Уэллс рассказал впоследствии, а сейчас он был еще далек от каких-либо признаний. Он до смерти боялся, что другие заключенные проведают о его доносе. И тогда за его жизнь можно будет поручиться разве что шкурой дохлого койота. Прошла неделя. Флойд выжидал. Он следил за всеми сообщениями радио и газет и в одной из них прочел, что канзасские «Новости» обещали награду в тысячу долларов тому, кто сумеет пролить хоть какой-нибудь свет на тайну убийства Клаттеров. Ради этого стоило рискнуть. Уэллс почти решился. Но страх все еще сдерживал его. Уэллса пугали не столько другие

заключенные, сколько власти, которые могли счесть его самого причастным к этому преступлению. Ведь в конце концов, именно он показал Дику дорогу к дому Клаттеров. Можно было даже утверждать, что он знал о намерениях Дика. В общем, с какой стороны ни взглянуть, положение было двусмысленным, а оправдания сомнительными. И он молчал. Прошло еще десять дней. Наступил декабрь. Сообщения в газетах становились все более краткими, радио перестало упоминать о трагедии в Холкомбе. Видимо, те, кто занимался расследованием, не двигались с места: преступление казалось необъяснимым, улик не прибавилось с того утра, когда оно было совершено.

Но он знал. Мучимый необходимостью «с кем-нибудь поделиться», он доверился своему соседу по камере.

— Близкий друг. Католик. Верующий до мозга костей. Он спросил меня: «Что ты думаешь делать, Флойд?» А я ведь потому и рассказал ему все, что не знал, как мне быть. Он посоветовал сказать обо всем тюремному начальству. Иначе вряд ли я смогу жить с таким грузом на совести. И еще он пообещал устроить все так, что никому и в голову не придет подозревать в доносе именно

меня. На следующий день он сумел передать начальнику тюрьмы, что я хочу, чтобы меня «вызвали». Он сказал, что я, кажется, знаю, кто убил Клаттеров. Ну, ясное дело, меня немедленно вызвали. Господи, до чего же я боялся, что меня сочтут соучастником убийства. Но как только начал говорить, страх пропал. Рассказал все заместителю. Потом самому начальнику. Прямо при мне он снял телефонную трубку и начал набирать номер…

В этот вечер, покидая здание суда в Гарден-Сити, Дьюи захватил конверт из плотной бумаги.

Пока на кухне жена рассказывала ему обо всех домашних неурядицах, Дьюи наливал кофе. Внезапно Мэри остановилась на середине фразы, тут только обратив внимание на раскрасневшееся лицо мужа.

Не говоря ни слова, он передал ей конверт. Мэри наспех вытерла руки, села за стол и, отхлебнув кофе, открыла конверт. Из него выпали фотографии двух молодых людей: светловолосого и брюнета со смуглой кожей — так называемые «полицейские портреты». К фотографии были приложены дела. Первое гласило:

«Хикок, Ричард Юджин. Муж. Возраст,

28. КБР 97093; ФБР

859273А. Адрес: Эджертон, Канзас. Дата рождения 6–6–31. Место рождения: К. — С. Канз. Рост: 5 футов 10 дюймов. Вес: 175 фунтов. Волосы: светлые. Глаза: голубые. Телосложение: плотное. Цвет кожи: красноватый. Профессия: красильщик машин. Преступление: обман, мошенничество, подделка чеков. Освобожден на поруки 8–12–59. Кем: Об. К. — С. К.»

Второе дело столь же кратко излагало историю жизни и деяний его напарника.

«Смит, Перри Эдвард. Муж. Возраст: 27–29. Место рождения: Невада. Рост: 5 футов 4 дюйма. Вес: 156 фунтов. Волосы: брюнет. Преступление: кража и побег. Когда арестован: (прочерк). Кем: (прочерк). Принятые меры: направлен в тюрьму К. С. 3–12–56 из Филипсберга. Срок–5–10. Освобожден на поруки 7–6–59».

В тот же вечер другая женщина в другой кухне, отложив в сторону носок, который она штопала, говорила, тыча очками в сторону гостя:

— Я надеюсь, что вы найдете его, мистер Най.

Ради его же блага. У нас два сына, он — старший. Мы его любим. Но, господи, я же все понимаю. Он бы не собрался так скоро. Не удрал бы, не сказав ни слова ни отцу, ни брату.. Наверно, опять что-нибудь натворил. Что его толкает на это? В чем дело?

Она посмотрела в угол комнатки, где у печки на кресле-качалке сидел ссутулившись изможденный мужчина — Уолтер Хикок, ее муж и отец Ричарда Юджина. Его выцветшие глаза выражали тоскливую безнадежность. Руки огрубели; когда он заговорил, голос его звучал так, словно он им редко пользовался:

— Не могу сказать ничего плохого о сыне. Он самый обыкновенный парень, мистер Най, замечательный спортсмен, всегда был первым на школьных соревнованиях. Баскетбол! Бейсбол! Футбол! И учился хорошо. По некоторым предметам получал высшие оценки. По истории. По черчению. После школы хотел поступить в колледж. Собирался стать инженером. Но мы не сумели помочь ему. Денег не было. У нас никогда их не было. Что наша ферма — всего сорок четыре акра, еле сводим концы с концами. Думаю, Дик затаил на нас обиду из-за колледжа. Он пошел работать, сначала на железную дорогу Санта-Фе в

Канзас-Сити. Зарабатывал семьдесят пять долларов в неделю. Вообразил, что с такими деньгами можно жениться. Вот они с Кэрол и поженились. Ей было шестнадцать, а ему только исполнилось девятнадцать. Я всегда знал, что это плохо кончится. Так оно и вышло.

Миссис Хикок, полная женщина с мягким овалом лица, на котором повседневная работа от зари до зари не сумела оставить следов, с упреком перебила его:

— У нас три прелестных мальчика, наши внуки, — вот что из этого вышло. А Кэрол была очень хорошая. Она тут ни при чем.

Мистер Хикок продолжал:

— Дик и Кэрол сняли приличный дом, купили шикарную машину и увязли в долгах. Хотя довольно скоро Дик стал получать больше, работая шофером на санитарной машине. Потом его взяли в «Маркл бьюик компани» — в Канзас-Сити находилось большое отделение этой компании. Он был у них механиком и красильщиком машин. Но они с Кэрол жили слишком широко, не по средствам, покупали вещи, которые были им не по карману. И Дик стал подделывать чеки. Раньше он никогда этим не занимался. В общем, мистер Най, вы, наверно, не хуже нас знаете обо

всем. Почему нашего сына отправили в тюрьму? Он отсидел семнадцать месяцев за то, что просто одолжил у одного соседа охотничье ружье. Мне плевать, что говорят: ручаюсь, что он не собирался ничего красть. И парень пропал совсем. Когда он вернулся из тюрьмы, его нельзя было узнать. Стал просто чужим человеком. С ним нельзя было говорить. Он решил, что весь мир против него. Даже вторая жена бросила его, подала на развод, пока он сидел в тюрьме. Потом мне показалось, что он успокоился. Работал в магазине Боба Сэндса в Олейте. Жил вместе с нами, рано ложился спать, никак не нарушал условий досрочного освобождения. Прямо скажу, я не долго протяну, мистер Най, у меня рак. И Дик знал об этом, во всяком случае, знал, что я болен. В аккурат перед тем, как сбежать, меньше месяца назад, он сказал мне: «Ты всегда был мне хорошим отцом. Я больше никогда не сделаю ничего такого, что могло бы тебя огорчить». Он не врал, я уверен. В нем много хорошего. Если бы вы увидели его на футбольном поле или как он играл со своими детьми, вы бы мне поверили. О господи, дай мне силы понять, что же все-таки случилось?

День клонился к вечеру, и человек, сидевший за рулем, порядком устал. Это был коммивоя-

жер средних лет, назовем его, скажем, мистером Беллом. Он мечтал передохнуть где-нибудь. Однако ему оставалось проехать еще сто миль до конечного пункта назначения — Омахи в штате Небраска. Там находилась контора огромного мясокомбината, в котором мистер Белл работал. Правила компании запрещали коммивояжерам брать в машину случайных пассажиров, но мистер Белл часто нарушал это правило, особенно когда ему становилось скучно и не было сил бороться со сном. Поэтому он немедленно затормозил, увидев на обочине двух молодых людей.

Они показались ему вполне «симпатичными ребятами». Тот, что повыше, крепкий парень с грязно-желтым ежиком на голове, привлекал к себе обаятельной улыбкой и хорошими манерами. Его спутник, коротышка с губной гармоникой в одной руке и разбухшим чемоданом в другой, в общем тоже производил впечатление славного парня, хотя и несколько стеснительного. Мистер Белл обрадовался, что пришел конец его одиночеству, что будет с кем перекинуться словечком и что ему не дадут задремать. Разве мог он предполагать, что «симпатичные ребята» собираются задушить его ремнем и завладеть его машиной и деньгами?

Он представился первый, затем поинтересовался, как зовут спутников. Приветливый молодой человек, которого он посадил рядом с собой на переднее сиденье, назвался Диком.

— А это Перри, — сказал Дик, подмигнув Перри, сидящему позади водителя.

— Я могу довезти вас до Омахи.

— Большое спасибо, сэр, — ответил Дик. — Мы и хотели в Омаху. Надеемся найти там работу.

А какую работу они ищут? Коммивояжер полагал, что может помочь им.

— Я красильщик машин, имею высшую квалификацию, и еще механик, — сказал Дик. — Привык зарабатывать приличные деньги. Мы вот с корешем только что из Мексики. Думали было остаться там. Но они ни черта на платят. Что это за заработки для белого человека?

Ах, Мексика! Мистер Белл, оказывается, провел в Куэрнаваке свой медовый месяц.

— Мы всегда мечтали съездить туда еще раз. Но когда у тебя пятеро детей, нелегко сдвинуться с места.

Перри вспоминал потом, что подумал: пятеро детей — да, жалко все-таки. И, слушая, как Дик самодовольно похвалялся своими мекеиканскими «любовными победами», Перри размышлял

о том, что странно и эгоистично пытаться произвести впечатление на человека, которого собираешься убить, который через десять минут будет мертв. Если только все пройдет гладко. А почему бы и нет? Это был тот самый вариант, о котором они мечтали все эти три дня, когда на попутных добирались из Калифорнии в Неваду и через Неваду, Юту и Вайоминг в Небраску. До сих пор им ни разу не попадалось ничего подходящего. Мистер Белл, посадивший их к себе в машину, был первым человеком, который ехал один и казался денежным. Те, кто подвозил Дика и Перри раньше, совершенно им не годились: ни водители грузовиков, ни солдаты, ни тем более два негра — боксеры-профессионалы в сиреневом «кадиллаке». А мистер Белл — этот как раз то, что надо. Перри опустил руку в карман своей кожанки. Кроме пузырька с таблетками аспирина в нем лежит острый, величиной с кулак, камень с зазубринками, завернутый в носовой платок. Перри расстегнул ремень — отделанную серебром и бирюзой плеть работы индейцев племени навахо, снял его, пару раз попробовал на гибкость и положил на колени. Перри ждал, пока Дик произнесет: «Эй, Перри, дай-ка мне спичку». По этому сигналу Дик схватится за руль, а Перри

раскроит голову мистера Белла завернутым в носовой платок камнем. Потом в каком-нибудь тихом местечке они пустят в ход ремень с бирюзовыми камешками и серебряной пряжкой.

Между тем Дик и приговоренный ими человек обменивались сальными анекдотами. Их смех раздражал Перри, особенно лающее похохатывание мистера Белла. Так смеялся отец Перри Текс Джон Смит. Воспоминание об отце усилило напряжение, в котором он находился: голова болела, появилась ноющая боль в коленках. Он проглотил не запивая три таблетки аспирина. Перри чувствовал, что его стошнит или он потеряет сознание, если Дик будет продолжать оттягивать. Темнело. Перед ними расстилалась совершенно пустынная дорога — ни одного жилища, ни одного живого существа. Кругом, насколько хватал глаз, простиралась голая земля, серая, как листовое железо. Пора начинать. Ну же! Он уперся взглядом в Дика, как бы стараясь передать тому свою мысль. Но Дик и сам решил действовать. Перри понял это по подрагивающему веку и каплям пота над верхней губой Дика.

И все же, когда Дик снова заговорил, это был всего лишь очередной анекдот.

Мистер Белл хохотнул.

— Эй, Перри, дай-ка мне спичку.

Но как только Перри поднял руку и уже готов был опустить камень на голову жертвы, произошло нечто потрясающее. Впоследствии Перри сказал: «Случилось чудо, будь оно проклято». Чудо предстало перед ними в виде невесть откуда появившегося на шоссе солдата-негра. Увидев человека с поднятой рукой, великодушный мистер Белл не преминул остановиться.

Дик и Перри бежали под проливным дождем. Перри отставал, потому что ноги у него короче и к тому же он тащил чемодан. Дик первым скрылся в амбаре, стоявшем рядом с шоссе. Предыдущую ночь они провели в Омахе в ночлежном доме Армии спасения. На другой день шофер грузовика доставил их через границу Небраски в Айову. Последние несколько часов они шли пешком. Дождь застал их в тот момент, когда они были на шестнадцать миль севернее разъезда Тенвилль.

В амбаре было темно.

— Дик, ты здесь? — спросил Перри.

— Давным-давно, — ответил Дик, лежавший на соломе. Дрожащий и промокший до нитки Перри упал рядом с ним. — Я до того замерз, — сказал он, зарываясь в солому, — до того замерз, что согласился бы сгореть вместе с этой проклятой

соломой.

Он продрог до костей и умирал с голоду. В прошлую ночь они довольствовались супом Армии спасения, а сегодня их единственной едой были несколько кусочков шоколада да жевательная резинка, которую Дик стащил с какого-то прилавка.

Все упиралось в деньги. Их отсутствие заставило Дика принять решение, которое Перри назвал бредом сумасшедшего. Дик решил вернуться в Канзас-Сити. Когда он впервые заикнулся об этом, Перри сказал:

— Сходи к психиатру.

Они возобновили спор сейчас, прижавшись друг к другу в холодной тьме и прислушиваясь к шуму дождя. Да им хотя бы потому нельзя появляться в Канзас-Сити, доказывал Перри, что Дика наверняка уже разыскивают за нарушение условий досрочного освобождения. Это «в лучшем случае». Но на Дика аргументы Перри не произвели ни малейшего впечатления. Он утверждал, что именно в Канзас-Сити легче всего осуществить махинации с подделкой чеков. Он продолжал:

— Конечно, нам надо быть поосторожнее. Ордер-то на арест у них есть. За те чеки. Но мы

провернем все за один день. Только день — и дело в шляпе. Если сделаем достаточно денег, то можно будет двинуть во Флориду. Проведем рождество в Майами. Пожалуй, и на зиму там останемся, если Майами нам подойдет.

Но Перри жевал резинку, дрожал и хранил угрюмое молчание. Дик спросил:

— В чем дело, дорогуша? Ты все о том же? Да выкинь ты это из головы. Не допрут они никогда, что есть какая-то связь.

Перри ответил:

— Думаю, что ты ошибаешься. И если так — не миновать нам «угла».

До сих пор никто из них не упоминал о высшей мере наказания в штате Канзас — о виселице, о смерти в «углу». Так заключенные канзасской тюрьмы называли сарай, в котором приводились в исполнение смертные приговоры.

Оушен-драйв, 335-адрес отеля «Соммерсет» на Майами-Бич. Это грязно-белое квадратное строение с лиловыми разводами на стенах. Реклама гласит: «Свободные комнаты — дешевые цены, комфортабельный пляж, свежий морской воздух». Вдоль унылого вида улочки тянется длинный ряд точь-в-точь таких же грязно-белых оштукатуренных отелей. Комфортабельный

пляж «Соммерсета» в декабре 1959 года являл собой два зонта, воткнутых в узкую полоску песка позади отеля. На одном из зонтов, розовом, было написано: «Мы обслуживаем мороженым „валентайн“». В рождественский полдень в тени этого зонта возлежали, наслаждаясь звуками транзистора, четыре дамы. Под голубым зонтом с повелительной надписью: «Загорайте с кремом „Коппертон“ обосновались Дик и Перри. Вот уже пять дней они занимали двухместную комнату в „Соммерсете“ и платили за нее восемнадцать долларов в неделю».

Перри сказал:

— Ты ни разу не пожелал мне веселого рождества.

— Веселого тебе рождества, детка. И счастливого Нового года.

Дик был в плавках, а Перри сидел совершенно одетый, не сняв даже туфель и носков. Ничто, однако, не мешало ему пребывать в хорошем расположении духа. Дик, пытаясь завладеть вниманием дам под розовым зонтом, занялся гимнастикой. Перри читал газету «Майами геральд». От одной статьи он не мог оторваться. Речь шла об убийстве семьи во Флориде — мистера и миссис Клиффорд Уокер, их четырехлетнего

сына и двухлетней дочери. Убийца обошелся без кляпов и веревок, прикончил свои жертвы выстрелами в голову из мелкокалиберной винтовки. Преступление, лишенное улик и немотивированное было совершено в субботу вечером 19 декабря на ранчо вблизи Таллахасси.

Перри прочитал статью Дику:

— Где мы были в прошлую субботу вечером?

— В Таллахасси, что ли?

— Спрашиваю, кажется, я?

Дик задумался. В четверг вечером они выехали из Канзаса, попеременно меняясь у руля, проехали через Миссури в Арканзас, через Озарке до Луизианы, где рано утром в пятницу вынуждены были остановиться из-за перегоревшего генератора. (Подержанная запасная часть, купленная в Шривпорте, обошлась им в 22 доллара пятьдесят центов.) В ту ночь они спали в машине где-то у границы Алабамы с Флоридой. На следующий день они меньше торопились и позволили себе обычные для туристов развлечения: побывали в питомниках аллигаторов и гремучих змей, покатались в лодке со стеклянным дном по кристально чистому озеру, съели дорогой обед из омара на вертеле в приморском ресторане. Прекрасный был день! Но, добравшись до Тал-

лахасси, они оба порядком устали и решили там заночевать.

— Фантастика! — Перри снова пробежал глазами статью. — Знаешь, я бы совершенно не удивился, если бы узнал, что это дело рук сумасшедшего. Какого-нибудь чокнутого малого, который прочитал о том, что было в Канзасе.

Дик побежал к воде. Он брел по мокрому песку, останавливаясь то там, то тут в поисках ракушек. Еще мальчишкой он завидовал соседскому сыну, который поехал отдыхать к океану и вернулся с коробкой, битком набитой ракушками. Дик так возненавидел парнишку, что украл ракушки и раздробил их молотком одну за другой. Он постоянно ощущал зависть, врагом становился тот, кем хотел быть сам Дик, или тот, у кого было что-нибудь, чего хотелось Дику. Например, мужчина из гостиницы «Фонтенбло». Дик и сейчас видел окутанные дымкой, расплывчатые контуры башен дорогих гостиниц — «Фонтенбло», «Иден Рок». «Рони Пласа». На второй день их пребывания в Майами он предложил Перри пойти взглянуть на эти злачные места. «Может, удастся подцепить пару богатых баб». Перри колебался, он боялся, что все уставятся на их одежду: брюки цвета хаки и спортивные рубашки. На самом

деле их появление в роскошном «Фонтенбло» среди мужчин в шелковых полосатых плавках и женщин с норковыми палантинами поверх купальных костюмов прошло незамеченным. Они зашли в холл, постояли там, потом двинулись в сад и задержались около плавательного бассейна. Там-то Дик и увидел того мужчину. Он был примерно одних с Диком лет, этот человек, и сошел бы за игрока, или адвоката, или чикагского гангстера. Уж он-то изведал прелесть денег и власти. Весь его вид говорил об этом. Блондинка, похожая на Мэрилин Монро, натирала его жидкостью для загара, а он лениво протягивал руку с усеянными перстнями пальцами к запотевшему ото льда стакану апельсинового сока. Почему все это никогда не будет принадлежать Дику? Почему этому сукину сыну дано все, а ему — ничего? Почему везет именно этому жирному ублюдку? Он, Дик, обладал властью, держа в руке нож. И пусть жирные ублюдки остерегаются, не то он им выпустит кишки. День был испорчен. Виной тому — красивая блондинка, втиравшая лосьон для загара. Он сказал Перри:

— Пошли отсюда к чертовой матери.

Звуки рождественских гимнов, доносившихся из транзистора — из-под розового зонтика,

странно сочетались с яркими лучами солнца над Майами и с неумолчными криками чаек.

Возвышенная музыка в исполнении церковного хора до слез взволновала Перри. И, как всегда в такие минуты глубокого волнения, в голову ему пришла мысль, полная тайного очарования: самоубийство. Опаленные солнцем острова, зарытое золото, синее полыханье моря, в глубины которого ныряет охотник за подводными сокровищами, — все эти мечты постепенно улетучились. Умер, не успев родиться, и «Перри О'Парсонс», плод необузданной фантазии, звезда сцены и экрана, в существование которой Перри в свое время поверил почти всерьез. На что теперь можно было рассчитывать? Они с Диком участники гонки без финиша — так казалось Перри. Вот и теперь, не проведя в Майами и недели, они собирались вновь двинуться в путь. Дик, проработав один день в автодорожной компании «Эй-би-си», где в час платят 65 центов, заявил:

— Майами еще почище Мексики. Шестьдесят пять центов! Это не для меня. Я пока еще белый.

Так что завтра с утра пораньше с двадцатью семью долларами в кармане, оставшимися от добытых в Канзасе, они двинут куда-нибудь на запад, в Техас, в Неваду, — в общем, без точного

маршрута.

В пять часов пополудни, приблизительно через двадцать минут после того, как угнанный «шевроле» оставил позади невадскую пустыню и въехал в город Лас-Вегас, длинное путешествие подошло к концу. Однако это случилось только после того, как Перри навестил местное отделение связи и получил высланную им самим до востребования большую картонку; ее содержимое — хлопчатобумажные армейские брюки цвета хаки, изношенные рубашки, нижнее белье и две пары сапог с серебряными пряжками — никак не соответствовало сумме, в которую Перри оценил посылку, отправляя ее из Мексики, сто долларов. Дик, ожидавший Перри на улице, пребывал в радужном настроении, он принял решение, которое, как ему казалось, позволит покончить со всеми трудностями и откроет перед ним новую блестящую дорогу. Он решил разыграть из себя офицера авиации. Эта мысль уже давно увлекала Дика, и Лас-Вегас был идеальным местом для ее осуществления. Он уже успел выдумать себе офицерский чин и фамилию, которая на самом деле принадлежала бывшему знакомому — начальнику тюрьмы штата Канзас, Трэси Хэнду. В качестве капитана Трэси Хэнда он собирался, щеголяя

сшитой на заказ формой, «пройтись по полосе», то есть обойти все круглосуточно действующие игорные дома Лас-Вегаса, тянувшиеся длинной полосой вдоль главной улицы города. Выдавая фальшивые чеки в течение двадцати четырех часов кряду, он рассчитывал собрать три, а то и четыре тысячи долларов. В этом заключалась лишь половина его плана. Другая же половина заключалась в два слова: «Прощай, Перри». Дика от него уже тошнило — от его губной гармошки, от его предрассудков, от его слезливых, женских глаз, от его вкрадчивого, тихого голоса. Подозрительный, злопамятный, самодовольный, Перри походил на жену, от которой не чаешь как избавиться. А для этого существовал лишь один путь: удрать потихоньку.

Погруженный в свои мысли, Дик не заметил, как полицейская патрульная машина проехала мимо, сбавила скорость и стала вести наблюдение. Не заметил ее и Перри, который спускался по лестнице почты, неся на плече свою мексиканскую коробку, — он тоже пропустил патрульную машину и сидевших в ней Оси Пигфорда и Фрэнсиса Маколи, полицейских, в чьих головах хранились выученные наизусть данные картотеки, в том числе описание черно-белого «шевроле»

с канзасским номером–16212. Ни Перри, ни Дик не заметили полицейской машины, которая «села им на хвост», когда они отъехали от почты. Дик вел «шевроле», а Перри показывал дорогу; проехав пять кварталов к северу, затем налево, потом направо и еще четверть мили прямо, они остановились перед полувысохшей пальмой и поблекшей от непогоды вывеской, где выцвели все буквы, кроме трех: «АТЫ».

— Тут, что ли? — спросил Дик.

Перри кивнул — в тот самый миг, когда с ними поравнялась полицейская машина.

* * *

Тюрьмы — важная статья дохода графства Ливенуэрт, штат Канзас. В графстве находятся обе тюрьмы штата — мужская и женская; кроме того, здесь расположены тюрьма Ливенуэрт — главная в стране федеральная тюрьма, в Форт-Ливенуэрте, и дисциплинарные бараки военно-воздушных сил и армии США — крупнейшая военная тюрьма страны. Если выпустить на волю всех обитателей этих учреждений, ими можно было бы заселить небольшой город.

В южной части тюремного ансамбля находится небольшое странное здание — темное, двух-

этажное, оно имеет форму гроба. Это строение, официально именуемое «зданием изоляции и сегрегации», представляет собой тюрьму в тюрьме. Среди заключенных нижний этаж известен под названием «ямы» — место ссылки «упрямых» заключенных, тех, кого время от времени надо «приводить в чувство». К верхнему этажу ведет железная винтовая лестница. Там, наверху, находятся камеры смертников. Убийцы Клаттеров впервые поднялись по этой лестнице дождливым субботним вечером в конце апреля.

«Новичков» раздели, помыли, постригли под бобрик; затем выдали грубую холщовую одежду и мягкие шлепанцы (в большинстве американских тюрем это обычная обувь осужденных). Вооруженный конвой провел их сквозь моросящую мглу к гробообразному строению, погнал вверх по винтовой лестнице и запер в двух камерах из двенадцати, составляющих «галерею смертников» Лансинга. Камеры похожи одна на другую как две капли воды. Размер — семь на десять футов. Освещение — ввинченная в потолок лампочка, горящая от зари до зари. Окна камеры предельно узки; в дополнение к обычной решетке они перекрыты густой проволочной сеткой, черной, как траурная вуаль. Стена сложена из грубого

камня, в ее расщелинах гнездятся голуби. Ржавые железные ворота, расположенные в части стены, доступной взорам заключенных, резким скрипом петель будоражат голубей. Эти ворота ведут в пещероподобный склад, в котором даже в самый жаркий день воздух сыроват и холоден. Здесь свалены груды разных вещей: куски металла, из которых заключенные делают автомобильные номера, тес, старые станки, принадлежности для бейсбола. Здесь же стоит деревянная некрашеная виселица, слегка пахнущая сосной. Это — место казни. Когда сюда уводят преступника, заключенные говорят, что он «пошел на угол» или «отправился на склад».

В соответствии с приговором суда Смит и Хикок должны были «отправиться на склад» через шесть недель — в ноль часов одну минуту в пятницу 13 мая 1960 года.

В апреле 1960 года в тюрьмах США ожидали приведения приговора в исполнение сто девяносто человек, пятеро из которых, включая убийц Клаттеров, находились в Лансинге. Иногда важному гостю предлагают, как выразилась одна высокопоставленная особа, «совершить небольшую экскурсию по галерее смертников». Если он соглашается, ему выделяют охранника, который,

сопровождая экскурсанта по железному настилу вдоль камер смертников, читает ему нечто вроде лекции о демонстрируемых «экспонатах».

— Вот это, — говорил он, возможно, посетителю в 1960 году, — не кто иной, как мистер Перри Эдвард Смит. А вот тут, по соседству, вы видите его дружка, мистера Ричарда Юджина Хикока. Вон там — мистер Эрл Уилсон. А за ним мистер Бобби Джо Спенсер — познакомьтесь. Что до этого джентльмена, то я не сомневаюсь, вы уже узнали его: это знаменитый Лоуэлл Ли Эндрюз.

Два года назад Лоуэлл Ли Эндрюз, грузный, близорукий юноша восемнадцати лет, носивший очки в роговой оправе и весивший почти триста фунтов, был второкурсником биологического факультета Канзасского университета — он учился отлично. Несмотря на его молчаливость, замкнутость и скрытность, знакомые Эндрюза как по университету, так и дома, в Уолкотте, штат Канзас, считали его очень мягким человеком, «добрейшим из добряков» (позже одна из канзасских газет напечатала о нем статью под заголовком «Самый милый мальчик Уолкотта»). Но за внешностью ученого-тихони, всегда аккуратно посещавшего церковь, скрывалось существо с извращенным, жестоким умом, пол-

ностью лишенное обычных человеческих чувств. Его семья — родители и старшая сестра Дженни Мэри — была бы потрясена, узнав, какие планы вынашивал Лоуэлл Ли летом и осенью 1958 года. Прекрасный сын и обожаемый брат обдумывал способ отравить всю свою родню.

Старший Эндрюз был относительно богатым фермером; его счет в банке был не особенно велик, но принадлежащие ему земли оценивались в двести тысяч долларов. Видимо, желание унаследовать отцовские владения и привело Лоуэлла Ли к мысли уничтожить всю семью. Лоуэлл Ли, носивший личину стеснительного, набожного студента-биолога, втайне воображал себя хладнокровнейшим преступником-профессионалом. Ему хотелось носить, подобно гангстерам, шелковые рубашки, сидеть за рулем красных спортивных автомобилей. Он хотел, чтобы в нем видели вовсе не очкастого книжного червя, не упитанного юнца. Хоть он и не питал неприязни ни к кому из своих родных — по крайней мере осознанной, — ему казалось, что убийство — самый быстрый и наиболее целесообразный способ осуществления владевших им помыслов. Он выбрал мышьяк. Задумал отравить всех, уложить мертвых в постели и поджечь дом. Тем самым

Лоуэлл Ли надеялся пустить следствие по ложному следу — могла возникнуть версия о пожаре, как о несчастном случае. Но одна мысль не давала ему покоя: что, если на вскрытии обнаружатся следы мышьяка, ведь тогда можно будет заподозрить в убийстве его, Лоуэлла? К концу лета он принял другое решение. Три месяца обдумывал все детали. Наконец морозной ноябрьской ночью настала пора действовать. Лоуэлл Ли проводил каникулы дома; была дома и Дженни Мэри, умная, но внешне простоватая девушка, которая училась в колледже в Оклахоме. Двадцать восьмого ноября, около семи часов вечера, Дженни Мэри сидела с родителями перед телевизором; Лоуэлл Ли, запершись в своей спальне в конце коридора, дочитывал последнюю главу «Братьев Карамазовых». Кончив чтение, он побрился, надел свой лучший костюм, зарядил полуавтоматическую винтовку 22-го калибра и револьвер марки «рюгер» того же калибра. Сунув револьвер в кобуру, прикрепленную специальным ремешком на уровне внутреннего кармана пиджака, и перекинув винтовку через плечо, он пошел по коридору к погруженной в темноту гостиной, где светился голубой экран телевизора. Он включил свет, прицелился из винтовки, спустил курок

и прямым попаданием между глаз убил сестру. В мать он выстрелил трижды, в отца — дважды. Мать с расширенными от ужаса глазами и вытянутыми руками, шатаясь, пыталась приблизиться к сыну, она пробовала что-то сказать, ее рот открылся и закрылся, но Лоуэлл Ли процедил сквозь зубы: «Заткнись!» Затем он выстрелил в нее три раза, чтоб она послушалась наверняка. Мистер Эндрюз был еще жив; он со стонами полз к кухне. На пороге кухни сын вынул из кобуры револьвер и разрядил его в отца. Выстрел, второй, пятый, десятый… Всего он выпустил в отца семнадцать пуль.

Пятница, тринадцатое мая 1960 года, день, на который была намечена казнь Перри и Хикока, прошел спокойно: Верховный суд штата Канзас разрешил отсрочку до пересмотра дела в новом составе суда в соответствии с апелляцией. В это же время приговор, вынесенный Эндрюзу, тоже рассматривался Верховным судом.

Камеры Перри и Дика были соседними, они переговаривались без труда, даже не видя друг друга. Все же Перри мало разговаривал с Диком, хотя они и не стали врагами — обменявшись вялыми упреками, они теперь относились друг к другу терпимо, словно сиамские близнецы, кото-

рым волей-неволей приходится сосуществовать. Перри разговаривал мало потому, что он — осторожный и подозрительный — не хотел, чтоб его «личные дела» становились достоянием стражи и других заключенных, особенно Эндрюза, или Энди, как его здесь называли. Интеллигентный выговор Эндрюза, его ум, образование, полученное в колледже, — все это бесило Перри, который хоть и проучился всего лишь три класса, но считал себя более образованным, чем большинство его знакомых, и любил исправлять их ошибки, особенно когда дело касалось произношения и грамматики. А тут вдруг — на тебе! — появляется какой-то мальчишка и смеет поправлять его, Перри. Нет ничего удивительно, что он и рта не раскрывает. Эндрюз, в сущности, ничего плохого не думал, он поправлял Перри не из вредности, но тем не менее Перри готов был сварить его в кипящем масле. Он долго не хотел признаваться в этом. Не желал, чтобы кто-нибудь угадал, почему однажды после очередного унижения он надулся и отказался от еды, которую приносили в камеры три раза в день. В начале июня он вовсе отказался от пищи. Перри сказал Дику:

— Ты, если хочешь, можешь дожидаться веревки. А я — нет.

С этого дня он не притрагивался к еде и питью, не произносил ни единого слова. Пост длился пять дней, пока начальник тюрьмы не счел необходимым обратить на Перри внимание. На шестой день он приказал перевести Перри в тюремную больницу. Но и это не поколебало решимости Перри: когда его пытались накормить насильно, он отчаянно сопротивлялся, мотал головой и стискивал челюсти так, что они казались окаменевшими. Дело дошло до того, что его пришлось связать и кормить при помощи зонда, введенного через нос. Тем не менее за последующие девять недель вес его упал со ста пятидесяти шести до ста пятнадцати фунтов; начальника тюрьмы предупредили, что насильственным питанием сохранить жизнь заключенному не удастся.

Хотя сила воли Перри произвела на Дика впечатление, он никак не мог поверить, что Перри в самом деле хочет покончить с собой. Когда распространился слух, будто Перри в тяжелом состоянии, Дик сказал Эндрюзу, с которым успел подружиться:

— Он просто хочет, чтоб они подумали, будто он сошел с катушек.

Эндрюз, отчаянный гурман (за время пребывания в «галерее смертников» он испещрил весь

блокнот разнообразнейшими меню — там было все, от клубничного торта до жареного поросенка), сказал:

— Может, он и в самом деле сошел с ума. Так морить себя голодом!..

— Он просто хочет вырваться отсюда. Строит из себя психованного, чтоб его поместили в сумасшедший дом.

Проснувшись однажды вечером, Перри увидел у постели начальника тюрьмы.

— У меня есть кое-что для тебя. От твоего отца. Я подумал, тебе будет интересно взглянуть.

Не дождавшись ответа, начальник положил цветную открытку на постель и удалился. Ночью Перри прочитал открытку. Адресованная начальнику тюрьмы, она была отправлена из Блю-Лейка, Калифорния. Знакомым нескладным почерком на ней было выведено: «Дорогой сэр, насколько мне известно, мой сын Перри находится у вас. Напишите мне, пожалуйста, что он сделал плохого и смогу ли я увидеть его, если приеду. У меня все в порядке, и у вас, надеюсь, тоже. Текс Дж. Смит».

Перри разорвал открытку, но ее слова врезались ему в память. Она пробудила в нем чувства — и любовь, и ненависть, напомнила ему, что

он все-таки жив, хоть и пытался убить себя. «И я решил — буду жить, — рассказывал он потом одному знакомому. — У меня хотят отнять жизнь, но я им помогать не стану. Нет уж, пусть сами стараются». К октябрю врач Роберт Мур счел его достаточно окрепшим для того, чтобы вернуться в «галерею смертников».

Когда он возвратился, Дик встретил его словами:

— С приездом, дорогуша.

Прошло два года.

Ушли Уилсон и Спенсер, оставив Хикока, Смита и Эндрюза одних в «галерее» с вечно горящими лампочками и затянутыми проволочной сеткой окнами.

Перри казалось, что он живет «где-то глубоко под водой». Возможно, это объяснялось тем, что в «галерее смертников» было тихо, как на дне морском; туда не проникал ни единый звук, кроме похрапывания, покашливания, шарканья ног, обутых в мягкие шлепанцы, да похлопывания голубиных крыльев. Так бывало обычно, но не всегда. «Иногда тут такой шум и гам, что не слышишь собственных мыслей», — жаловался Дик в письме к матери. «Некоторых заключенных запирают в камеры на первом этаже — здесь это

называется „ямой“. Многие дерутся как бешеные, попадаются и настоящие сумасшедшие. По дороге в „яму“ они ругаются, орут. Просто жуть, выдержать невозможно. Тогда все начинают вопить, чтобы те заткнулись. Я бы очень хотел, чтобы ты прислала затычки для ушей. Только мне, наверно, все равно не разрешат ими пользоваться. Как говорят, грешным нет покоя».

Маленькое здание, построенное больше века назад, реагировало, как барометр, на любые изменения погоды: зимний холод проникал в пористый камень, а летом, когда температура превышала 100 градусов по Фаренгейту, старые камеры превращались в вонючие котлы. «Такая жара, что горит кожа, — писал Дик в письме от 15 июля 1961 года. — Я пытаюсь поменьше двигаться. Сижу на полу. Постель вся пропитана потом, лечь противно, а вонь такая, что тошнит: моемся только раз в неделю и носим одну и ту же одежду. Никакой вентиляции, а от лампочек делается еще жарче. Жуки и всякая другая нечисть стукаются об стены».

В отличие от обычных заключенных, смертники не работают; они могут использовать свое время, как хотят, — целыми днями спать, как Перри, или ночами напролет читать, как Эндрюз.

Он прочитывал в среднем пятнадцать-двадцать книг в неделю — от откровенной макулатуры до поэзии Роберта Фроста, Уолта Уитмена, Эмили Дикинсон и Огдена Нэша. Дик тоже стал книжным червем. Правда, его интересы ограничивались двумя темами — сексом и юриспруденцией. Он часами перелистывал юридические книги, собирая сведения, которые, как он надеялся, помогут отменить приговор. С этой же целью он посылал письма в Американский совет гражданских свобод и в Ассоциацию адвокатов и юристов штата Канзас. В этих письмах он называл суд над собой и Перри «издевкой над процедурой суда» и просил адресатов помочь ему добиться пересмотра дела. Ему удалось уговорить Перри тоже писать подобного рода прошения, но с Эндрюзом у него этот номер не прошел.

— Ты о своей шкуре беспокойся, а я как-нибудь позабочусь о своей, — ответил Эндрюз.

На самом деле Дик в эту пору заботился не столько о своей шкуре, сколько о другом. «Волосы у меня вылезают целыми клочьями, — писал он матери, — прямо с ума схожу. Мне помнится, в нашей семье не было лысых, и я страшно боюсь, что сделаюсь старым и лысым уродом».

Осенним вечером 1961 года ночная смена кара-

ула принесла новость.

— Ну, — сказал один из караульных, — кажется, к вам прибыло пополнение.

Смертники сразу поняли, что речь идет о двух военнослужащих, которых недавно судили за убийство канзасского железнодорожника.

— Ага, — подтвердил другой караульный, — им вынесли смертный приговор.

— Ясное дело, — ответил Дик. — Популярная эта штука в Канзасе — смертный приговор. Присяжные раздают его направо и налево, все равно как конфеты детишкам.

Одному из военнослужащих, рядовому Джорджу Рональду Йорку, было восемнадцать лет; его приятель Джеймс Дуглас Лэтам был на год старше. Было в них обоих что-то необычное, поэтому в зал суда набились целые полчища девиц. Хотя молодых людей приговорили к смерти за одно убийство, они хвастали, что во время своего краткого путешествия по стране отправили на тот свет семерых.

Ронни Йорк, голубоглазый блондин, родился и вырос во Флориде. Его отец был известным водолазом, и труд его хорошо оплачивался. Семья Йорков жила дружно, а Ронни, всеми любимый сын и брат, всегда был в центре внимания. Про-

шлое Лэтама было тяжелым и безрадостным, пожалуй, таким же мрачным, как детство Перри. Родившись в Техасе, в многодетной, бедной семье, где мать и отец постоянно скандалили, он вскоре оказался брошенным на произвол судьбы, так как родители разошлись, не позаботившись о детях.

В семнадцать Лэтам, лишенный крова, добровольцем вступил в армию; через два года он был посажен за решетку военной тюрьмы в Форт-Худе: ходил в самоволку. Там он и встретил Ронни Йорка, отбывавшего наказание за такое же нарушение устава. Хотя они ничем не походили друг на друга — Йорк — флегматичный парень высокого роста, а Лэтам — низенький, с лисьими глазами, оживлявшими хитрое личико, — по одному вопросу их мнения абсолютно совпадали: наш мир — ненавистное, отвратительное место, и людям лучше всего быть мертвыми.

— Весь мир провонял, кругом одно дерьмо, — говорил Лэтам. — Единственный ответ на зло — это зло. Люди ничего другого не понимают. Только зло. Сожги человеку сарай — это он поймет. Отрави его собаку. Убей его.

Ронни соглашался: «Да, Лэтам прав на все сто». И добавлял при этом;

— Кого ни убей, ты сделаешь человеку одолжение.

Первыми, кому они решили сделать это одолжение, были две женщины из штата Джорджия, домохозяйки, имевшие несчастье встретить Йорка и Лэтама вскоре после того, как те удрали из военной тюрьмы, угнали пикап и отправились в Джэксонвилл, штат Флорида, — родной город Йорка. Встреча произошла у бензоколонки на темной окраине Джэксонвилла: это было ночью 29 мая 1961 года. Рядом с ними заливала бак другая машина; в ней сидели две будущие жертвы, возвращавшиеся в маленький городок около границы Флориды с Джорджией после целого дня, проведенного в магазинах Джэксонвилла. К сожалению, они заблудились, а Йорк, к которому они обратились за помощью, проявил к ним исключительную предупредительность:

— Следуйте за нами, мы вас выведем на верную дорогу.

Однако он вывел их вовсе не на ту дорогу — маленькая боковая дорожка постепенно сошла на нет в болотистой местности. Тем не менее дамы в своей машине неуклонно следовали за пикапом, пока он не остановился. В свете фар женщины увидели, как два любезных молодых

человека вылезли из машины и приблизились к ним, держа в руках по черному кнуту, какими пользуются, чтобы погонять рогатый скот. Кнуты принадлежали хозяину угнанного пикапа, скотопромышленнику; Лэтам предложил использовать их как гаротту, так они и сделали, предварительно ограбив женщин. В Нью-Орлеане парни приобрели пистолет и вырезали на его рукоятке две насечки.

В течение последующих десяти дней количество насечек увеличилось сначала в Таллахоме, штат Теннесси, где бандиты стали владельцами красной спортивной машины марки «додж», убив ее хозяина, коммивояжера; и затем на окраине Сан-Луи, где они убили еще двоих. Канзасской жертвой, последовавшей за этой пятеркой, стал некий Отто Циглер. Это был крепкий старик шестидесяти двух лет, очень отзывчивый — словом, не такой человек, чтобы не помочь автомобилисту, попавшему в аварию. Естественно, мистер Циглер сразу же остановился, когда, проезжая по канзасской автостраде в одно прекрасное июньское утро, заметил спортивную машину, стоящую у обочины, и двух симпатичных молодых людей, копавшихся в моторе. Откуда мог знать добряк Циглер, что машина в полном порядке, что все

это — лишь ловушка для добрых самаритян, которых хотят обокрасть и убить? Его последние слова были: «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Йорк, находившийся в двадцати футах от старика, выстрелом из пистолета раскроил ему череп, а потом, повернувшись к Лэтаму, сказал:

— Какова точность! А?

Последняя их жертва вызывала особую жалость. Восемнадцатилетняя девушка служила горничной в колорадском мотеле. Там убийцы переночевали и заодно разделили с ней ложе. Они сказали, что едут в Калифорнию.

— Махнем все вместе, — уговаривал ее Лэтам, — может, станем кинозвездами.

Девушка, захватив багаж — картонный, наспех собранный чемодан, — закончила свой путь на дне оврага близ Крэйга в Колорадо. И вскоре после того, как ее застрелили и выбросили из машины, убийцы действительно предстали перед кинокамерой.

Нашлись свидетели, запомнившие приметы пассажиров красного «доджа», проезжавшего там, где был убит старый Циглер, и дали соответствующее описание, которое было разослано полицией в западных и среднезападных штатах. Вертолеты патрулировали шоссе, кое-где устано-

вили контрольно-пропускные пункты. На одном из таких пунктов в штате Юта и были задержаны Йорк и Лэтам. Потом в Солт-Лейк-Сити полиция разрешила местной телекомпании заснять на пленку интервью с двумя арестованными. Если посмотреть отснятую пленку с выключенным-звуком, создается впечатление, что два жизнерадостных здоровяка обсуждают хоккей или бейсбол — словом, все, что угодно, кроме убийства или той роли, которую они сыграли, по их собственному хвастливому признанию, в судьбе семерых людей.

— Зачем? — спрашивает журналист. — Зачем вы это сделали?

И Йорк с самодовольной улыбкой ответил:

— Мы ненавидим весь мир.

Обитатели «галереи смертников» встретились с новыми соседями второго декабря 1961 года. Конвойный, проводив смертников в камеры, представил их:

— Мистер Йорк, мистер Лэтам, позвольте познакомить вас с мистером Смитом. А вот это — мистер Хикок. А это — мистер Лоуэлл Ли Эндрюз — «самый милый мальчик Уолкотта».

Когда конвойный ушел, Хикок, услышав тихий смешок Эндрюза, спросил:

— Что этот сукин сын сказал такого смешного?

— Ничего, — ответил Эндрюз, — но я просто подумал, если сложить моих троих с вашей четверкой да еще прибавить их семерку, то получается четырнадцать на пять. Если разделить четырнадцать на пять, выходит в среднем…

— Четырнадцать на четыре, — поправил его Дик. — Здесь четверо убийц и один несправедливо осужденный. Я не какой-нибудь проклятый убийца. Я никого не тронул и пальцем.

Рассмотрев апелляцию Хикока и Смита, Верховный суд штата Канзас отклонил ее как необоснованную и назначил новую дату приведения приговора в исполнение — четверг, 25 октября 1962 года. Казнь Лоуэлла Ли Эндрюза, чье дело дважды доходило до Верховного суда США, была назначена на месяц позже. Убийцы Клаттеров, получив еще одну отсрочку от председателя федерального суда, ускользнули от свидания с виселицей. Эндрюз пришел на свидание точно в срок.

Даже посредственный адвокат может тянуть дело годами, ибо система апелляций, существующая в Америке, есть не что иное, как своего рода колесо фортуны, азартная, нескончаемая игра. Она играется сперва в судах штатов, затем в фе-

деральных судах, а потом и в высшей инстанции — в Верховном суде Соединенных Штатов. Адвокат Эндрюза сражался до последнего, и все же его клиент отправился на виселицу в пятницу, 30 ноября 1962 года.

— Ночь была холодная, — рассказывал Хикок журналисту, с которым переписывался и которому время от времени разрешали навещать его. — Холодная и сырая. Дождь лил как из ведра. Бейсбольное поле превратилось в кашу. Когда Энди повели «на склад», мы все стояли у своих окон и смотрели: Перри, я, Ронни Йорк, Джимми Лэтам. Только что пробило полночь, и «склад» сиял, как елка на рождество. Мы могли видеть свидетелей, конвойных, врача, начальника тюрьмы — в общем, все, кроме самой виселицы. Она была где-то в углу. Правда, видели ее тень. Тень на стене, как тень боксерского ринга. Энди вели четверо конвойных и священник. Когда они дошли до дверей «склада», все остановились. Энди смотрел на виселицу — это просто чувствовалось. Он был в наручниках. Вдруг священник протянул руку и снял с Энди очки. Какой-то у него стал жалкий вид. Энди без очков. Они повели его внутрь, и я подумал, интересно, сумеет ли он без очков подняться по лестнице? Было очень

тихо. Только собака лаяла где-то далеко. Верно, в городе. Потом мы услышали этот звук, и Джимми Лэтам спросил:

— Что это?

Ну, я сказал ему, что это такое, — звук, когда пол проваливается под человеком. Потом стало очень тихо. Только все та же собака лаяла. Старик Энди долго болтался на веревке, никак не хотел умирать.

Криво улыбаясь и засовывая сигарету в рот, Хикок продолжал:

— Чудной он парень, этот Энди. Он плевал на всех людей, даже на себя. Когда за ним пришли и мы попрощались, я сказал ему: «До скорого, Энди, ведь мы наверняка окажемся в одном и том же месте. Так что ты поищи, нет ли тенистого уголка под деревьями там, внизу». Он рассказал, что к нему приезжали тетя и дядя. Они пообещали увезти его гроб на кладбище на севере Миссури, где лежали останки тех троих, кого он убил. Тетя с дядей собирались похоронить его рядом с родителями. Он сказал, что, услыхав это, чуть не лопнул со смеху. А я ответил ему: «Знаешь, тебе-то повезло с могилой. А ведь нас с Перри наверняка отдадут в анатомический музей». Так мы и шутили, пока его не увели.

Хикок вынул из пачки еще одну сигарету «Пэл-Мэл».

— Я пытался бросить курить. А потом подумал: какой смысл? Учитывая мое положение… Может, если чуть-чуть повезет, заболею раком и лишу палача удовольствия. Некоторое время я курил сигары Энди. В то утро, после того как его повесили, я проснулся и позвал его: «Энди!» — будто ничего не произошло. Потом вспомнил, что он вместе с тетей и дядей уже на пути в Миссури. Посмотрел в коридор. Убирали его камеру, и все было свалено на полу. Матрац, шлепанцы, альбом с рисунками разной жратвы — Энди называл его своим холодильником. И еще коробка сигар «Макбет». Я сказал охраннику, что Энди хотел их отдать мне. Завещал вроде. В конце концов я их не смог выкурить — может, потому, что они мне напоминали Энди. Вообще-то у меня от них живот болел. Что можно сказать о смертной казни? Я не против. В сущности, это месть. Что, разве мстить плохо? По-моему, без этого нельзя. Если бы я был близок Клаттерам или кому-нибудь из тех, кого убили Йорк и Лэтам, мне не было бы покоя, пока виновные не качались бы на Больших Качелях. Взять хотя бы тех, кто пишет письма в газеты. На днях было два таких письма в топекской га-

зете. Одно написал священник. Он писал, что это издевательство, судебный фарс! Почему эти два сукина сына, Смит и Хикок, все еще продолжают жрать за счет налогоплательщиков? Почему их до сих пор не повесили? Что ж, я его понимаю. Он злится, что не получает того, чего хочет, — возможности отомстить. И не получит, если только я смогу помешать этому. Я за смертную казнь. Лишь бы казнили не меня.

Но его казнили.

Прошло еще три года. За это время два выдающихся канзасских адвоката сумели, прибегая к повторным апелляциям, трижды отсрочить приведение приговора в исполнение: 20 октября 1962 года, 8 августа 1963 года и 18 февраля 1965 года. Трижды хитроумные адвокаты доходили до Верховного суда Соединенных Штатов — до Главного Хозяина, как его называли смертники. Но в каждом из этих случаев Верховный суд, никогда не объяснявший в подобных ситуациях причин, по которым он принимает то или иное решение, отклонял апелляцию. В марте 1965 года, после того как Смит и Хикок провели почти две тысячи дней и ночей в «галерее смертников», канзасский Верховный суд постановил, что их сердца должны перестать биться между полуночью и двумя

часами ночи в среду 14 апреля 1965 года.

Среди двадцати собравшихся на «церемонию» был и Дьюи. Он никогда раньше не присутствовал при казни и, войдя в «склад» после полуночи, был несколько удивлен обыденностью обстановки — устрашающее впечатление производила только сама виселица с двумя качающимися петлями.

Внезапно по высокой крыше «склада» застучал частый дождь. Этот звук, напоминавший торжественный треск барабанов, возвестил о появлении Хикока в сопровождении шести конвойных и шепчущего молитвы священника. Вошел Дик; он был в наручниках, уродливый кожаный хомут пригвоздил его руки к торсу. У подножия виселицы начальник тюрьмы зачитал официальный документ о приведении приговора в исполнение. Пока зачитывался документ, глаза Дика, ослабленные почти пятью годами тюремной мглы, блуждали по лицам собравшихся. Не найдя того, кого искал, Дик шепотом спросил у ближнего конвойного, присутствует ли здесь кто-нибудь из семьи Клаттеров. Услышав отрицательный ответ, он как будто огорчился, словно ритуал мести не был выдержан до конца. Дочитав документ, начальник тюрьмы, как положено, спросил осужденного, не хочет ли он сделать

последнее заявление.

Хикок кивнул.

— Я просто хотел сказать, что я ни на кого не в обиде. Куда бы вы меня сейчас ни отправили, это будет место получше, чем наш мир, уж точно.

Палач нетерпеливо кашлянул, глубже надвинул свою ковбойскую шляпу. Хикок, подталкиваемый одним из сопровождающих, поднялся на помост.

— Бог даст, бог отнимает, — причитал священник под дробный стук дождя, а осужденному надевали петлю на шею и черную повязку на глаза. — Да святится имя его.

Люк провалился, и Хикок в течение двадцати минут висел у всех на виду, пока тюремный врач наконец не сказал:

— Этот человек мертв.

Рой Чёрч, один из тех, кто выследил Дика, покачал головой.

— Никогда бы не подумал, что парня хватит на это. Был уверен, что он — трус.

Тот, к кому он обращался, ответил:

— Слушай, Рой, это же мразь. Сволочь. Он получил по заслугам.

Чёрч все так же задумчиво продолжал качать головой.

Пока свидетели ждали второй казни, репортер спросил конвойного:

— Это ваша первая казнь?

— Я видел Ли Эндрюза, — ответил конвойный.

— А для меня это впервые.

— Ну, и как вам? — поинтересовался конвойный.

Репортер скорчил гримасу и сказал:

— В офисе никто не хотел ехать сюда. Я тоже. Но, в общем, думал, будет страшнее. Все равно что нырять с вышки. Только с веревкой на шее.

— Они ничего не чувствуют. Провалился. Хрясь. И точка. Ничего не чувствуют.

— Вы уверены? Я стоял рядом и слышал, как он хватал воздух ртом.

— Ага. Но он ничего не чувствовал. Иначе было бы негуманно.

— Наверно, им еще дают и таблетки. Успокоительные средства.

— Черта с два. Это против правил. Вот и Смит.

— Ну и ну! Я не думал, что он такая букашка.

— Верно. Он коротышка. Но тарантул тоже не ахти какой великан.

Когда Смита вели в «склад», он узнал своего старого врага Дьюи, перестал на миг жевать резинку, ощерился и подмигнул — этакий бесшабашный

весельчак. Однако выражение его лица стало серьезным, когда начальник тюрьмы спросил, не хочет ли он что-либо сказать. Его выразительные глаза пристально вглядывались в присутствующих, затем наткнулись на почти скрытого тенью палача, уперлись в собственные, в наручниках, руки. Он посмотрел на свои пальцы, перепачканные чернилами и краской: последние три года пребывания в «галерее смертников» он проводил за рисованием отличных автопортретов и портретов детей, чаще всего это были детишки заключенных. Он делал портреты с фотографий, которые ему давали.

— По-моему, просто позор — вот так отнимать у человека жизнь, — сказал он. — Я против применения смертной казни, против — и морально, и юридически. Может быть, я смог бы что-то дать, что-то такое… — Он как-то вдруг сник, застеснялся, голос стал глухим, еле слышным. — Наверно, нет смысла извиняться за то, что сделал. Даже неуместно. Но я прошу прощения.

Вверх по лестнице. Петля. Повязка. Дьюи закрыл глаза и не открывал их до тех пор, пока не услышал глуховатый треск ломающихся позвонков. Как и большинство американских блюстителей закона, Дьюи был убежден, что

смертная казнь является мерой, пресекающей рост серьезных преступлений. Он также считал, что если кто и заслуживал смертной казни — так это Перри и Дик. Предшествующая казнь оставила его равнодушным: но Перри Смит, хотя он и был настоящим убийцей, вызывал в нем другое чувство. Дьюи вспомнил первую встречу с Перри на допросе в Лас-Вегасе: полумальчик-полумужчина, чем-то похожий на карлика, сидел на металлическом стуле, не доставая до пола своими обутыми в сапожки ногами. И теперь, открыв глаза, он увидел те же слегка кривоватые, болтающиеся в пустоте детские ноги.

А ведь Дьюи думал, что со смертью Смита и Хикока он испытает облегчение, чувство выполненного долга, удовлетворение…

Он вспомнил случайную встречу, которая произошла почти за год до казни преступников, на кладбище «Вэлли-Вью», мысленно возвратившись к этой встрече, Дьюи подумал, что для него именно она логически завершала дело Клаттеров.

В дальнем тенистом углу кладбища, почти на границе с широким простором пшеничного поля, среди деревьев, под простым серым камнем похоронены четверо убитых. Когда Дьюи подошел к

могилам, он увидел другого посетителя — гибкую девушку в белых перчатках, с копной блестящих темно-рыжих волос и длинными стройными ногами.

Она улыбнулась ему, но Дьюи не мог вспомнить, кто это.

— Вы не помните меня, мистер Дьюи? — спросила она. — Я — Сьюзен Кидуэлл.

Она рассмеялась. Рассмеялся и Дьюи.

— Сью Кидуэлл, ну конечно же! — воскликнул Дьюи.

Он не видел ее с самого первого суда, а тогда она была еще ребенком.

— Как дела? Как мама?

— Спасибо, все хорошо. Мама по-прежнему преподает музыку в холкомбской школе.

— Давно я там не был. Что-нибудь изменилось?

— Поговаривают, что неплохо бы вымостить улицы. Но вы же знаете Холкомб… А вообще-то я там редко бываю. Я поступила в Канзасский университет. А сейчас приехала на несколько дней, надо же навестить маму.

— Это замечательно, Сью. Что ты изучаешь?

— В основном искусство. Мне так нравится в университете. Я просто счастлива. Мы ведь

хотели учиться там вместе с Нэнси. Собирались жить в одной комнате. Иногда я думаю об этом, особенно когда чувствую себя счастливой.

Дьюи посмотрел на серый камень, на котором были выгравированы четыре имени убитых и дата четырех смертей — 15 ноября 1959 года.

— Ты часто приходишь сюда? — спросил он Сьюзен.

— Нет, не очень. Господи, ну и жара…

Она надела темные очки.

— Помните Бобби Раппа? Он женился на красивой девушке.

— Да, я слышал об этом.

— К сожалению, мне надо бежать! Было очень приятно повидаться с вами, мистер Дьюи.

— И мне тоже, Сью. Желаю удачи! — крикнул он вслед удалявшейся фигурке.

Сью спешила. Такой же была бы сейчас Нэнси.

Дьюи пошел домой мимо деревьев, оставив за собой просторы неба и пшеничных полей, по которым гулял ветер.

...и один, выходящим из ряда вон

Джон Херси
ХИРОСИМА

Утром 6 августа 1945 года, ровно в восемь часов пятнадцать минут по японскому времени, когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба, доктор Масаказу Фудзии, закинув ногу на ногу, устраивался поудобнее, чтобы почитать осакскую газету «Асахи» на крыльце своего частного госпиталя, нависавшего над одним из семи рукавов реки Оты, в дельте которой расположена Хиросима. Хацуе Накамура, вдова портного, стояла у окна кухни и наблюдала, как сосед ломает свой дом, подлежавший сносу по плану противовоздушной обороны для создания в городе противопожарных коридоров. Доктор Тэруфуми Сасаки, молодой врач-хирург большого современного госпиталя Красного Креста, шел по длинному коридору и нес пробирку с кровью на реакцию Вассермана. А преподобный Киёси Танимото, пастор методистской церкви Хиросимы, отдыхал у дверей дома богатого фабриканта в Кои, на западной окраине города, и собирался разгружать ручную тележку с

различными вещами, вывезенными из города на случай массированных налетов «Б–29», которым, как все полагали, должна была подвергнуться Хиросима. Сто тысяч человек погибли при взрыве атомной бомбы, а эти четверо были среди тех, кто остался жить. Они до сих пор удивляются, почему именно они остались живы, когда так много людей погибло. Каждый припоминает самые незначительные подробности игры случая или провидения, которые спасли ему жизнь, — один вовремя сделал шаг, другой решил войти в дом, третий поехал в этом, а не в следующем трамвае.

В тот день преподобный Танимото встал в пять часов утра. Он был дома один, так как жена с годовалым ребенком уже несколько дней уезжала ночевать к подруге в местечко Усида, к северу от Хиросимы. Только два из основных городов Японии — Киото и Хиросима — не подвергались пока массированным налетам *Би-сан,* «господина Би», как японцы со смешанным чувством опасения и невеселой фамильярности называли самолеты «Б–29». Танимото, как и все его друзья и соседи, совсем извелся. Он слышал страшные подробности о массированных налетах на Курэ, Ивакуни, Токуяму и другие близлежащие города; он не сомневался, что скоро наступит черед

Хиросимы. Танимото плохо спал в эту ночь, так как несколько раз объявляли воздушные тревоги. Уже несколько недель воздушные тревоги в городе объявлялись чуть ли не каждую ночь: в этот период самолеты «Б–29» использовали озеро Бива, к северо-востоку от Хиросимы, в качестве ориентира, и независимо от того, какой город американцы собирались бомбить, летающие крепости выходили на побережье Японских островов в районе Хиросимы. Частые воздушные тревоги, никогда не завершавшиеся бомбардировкой, нервировали жителей города, прошел слух, что американцы готовят для Хиросимы что-то особенное.

Около шести утра преподобный Танимото пошел к дому Мацуо. Там он увидел груз, который им предстояло перевезти, — *тансу*, большой японский шкаф с одеждой и другими домашними вещами. Двое мужчин отправились в путь. На небе не было ни облачка, жаркое утро предвещало очень душный день. Они шли всего несколько минут, как вдруг загудела сирена — непрерывный сигнал звучал одну минуту, предупреждая о приближении самолетов, но жители Хиросимы не воспринимали его как сигнал серьезной опасности — каждое утро в это время пролетал

американский метеорологический самолет и гудела сирена. Танимото и Мацуо продолжали везти тележку по улицам города. На карте Хиросима напоминала веер: основная часть города была расположена на шести островах, образованных семью рукавами реки Оты; здесь, в центре города, в основных торговых и жилых районах, занимавших по площади примерно четыре квадратные мили, было сосредоточено три четверти всего населения, которое в результате нескольких эвакуационных кампаний сократилось с трехсот восьмидесяти (пик военного времени) до двухсот сорока пяти тысяч. Промышленные зоны и пригородные жилые районы располагались компактно по краям города. Южная его часть, где находились доки и аэропорт, выходит к заливу Внутреннего Японского моря, усеянному многочисленными островами. Кольцо гор охватывает три другие стороны дельты. Путь Танимото и Мацуо лежал через городской торговый центр, уже запруженный народом, через два моста к крутым улицам Кои, вверх по этим улочкам, за город, к подножию гор. Сигнал «отбой воздушной тревоги» прозвучал, когда они выбрались наконец из тесного лабиринта городских улиц. (Японские операторы радиолокатора, обнаружив

только три самолета, решили, что это самолеты-разведчики.) Перевозка вещей на ручной тачке была очень утомительным занятием, и когда Танимото и Мацуо добрались до места и по асфальтированной дорожке подогнали свой груз к крыльцу, они остановились, чтобы немного передохнуть, прежде чем внести свою кладь в дом. Они стояли у флигеля, закрывавшего от них город. Как и большинство домов в этой части Японии, дом имел деревянный каркас и деревянные же стены, которые поддерживали тяжелую черепичную крышу. Передняя комната, забитая тюками с постельным бельем и одеждой, походила на прохладную пещеру с мягкими подушками. Справа от входа начинался большой и очень красивый японский сад. Танимото и Мацуо не слышали шума самолетов. Утро стояло мирное, и здесь, за городом, было прохладно и хорошо.

Вдруг яркая вспышка света прорезала небо. Она метнулась с востока на запад, от города по направлению к горам, и казалась куском солнца. И Танимото, и Мацуо очень испугались — и у них было время испугаться (они находились на расстоянии 3500 ярдов, или двух миль, от эпицентра взрыва). Мацуо бросился в дом по ступенькам крыльца, нырнул под тюки с постельным бельем

и затаился между ними. Танимото кинулся в сторону и бросился на землю между двух больших камней в японском саду, крепко прижавшись животом к одному из них. Танимото уткнулся лицом в камень и не видел, что происходило вокруг. Вдруг его что-то сдавило, а в следующий момент на него посыпались обломки досок и куски черепицы. Никакого грохота он не слышал. (Почти никто в Хиросиме не припоминает какого-либо шума от взрыва бомбы. Но рыбак, находившийся в своей сампанной лодке во Внутреннем море недалеко от Цузу — в доме этого рыбака жили теща и золовка Танимото, — видел вспышку и слышал оглушительный взрыв; этот человек находился в двадцати милях от Хиросимы, но грохот был сильнее, чем в тот раз, когда «Б–29» бомбили Ивакуни всего в пяти милях от него.) Когда Танимото решился поднять голову, он увидел, что дом хозяина шелковой фабрики рухнул. Танимото подумал, что бомба попала прямо в этот дом. Огромные тучи пыли поднимались в небо, и казалось — начинает смеркаться. В панике, забыв о Мацуо, оставшемся под развалинами, он выскочил на улицу. Пробегая мимо ограды, Танимото заметил, что бетонная стена, окружавшая дом, рухнула по большей части

внутрь здания. Выбежав на улицу, он прежде всего увидел группу солдат. Эти солдаты работали на противоположной стороне улицы, на склоне горы, они рыли одну из тысяч траншей, в которых японцы, по-видимому, намеревались в случае вторжения драться за каждый холм не на жизнь, а на смерть. Солдаты выбирались из траншеи, в которой они должны были быть вне опасности, их головы, грудь и спины были в крови. Они молчали, на их лицах было недоумение.

В дни непосредственно перед бомбардировкой преуспевающий врач Масаказу Фудзии был не очень занят работой и поэтому позволял себе роскошь спать до девяти — половины десятого. Но, к счастью, именно в то утро, когда была сброшена бомба, он должен был встать рано, чтобы проводить на поезд своего гостя. Он поднялся в шесть часов утра и через полчаса проводил друга на вокзал, который находился недалеко от его дома — нужно было перейти через два моста.

К семи, как раз к тому времени, когда загудела непрерывная сирена, он уже вернулся домой. Д-р Фудзии позавтракал и, так как было очень жарко, разделся до нижнего белья и вышел на заднее крыльцо почитать газету.

Закинув ногу на ногу, доктор Фудзии уселся в

нижнем белье на чистую циновку, расстеленную на крыльце, надел очки и принялся читать осакскую газету «Асахи». Ему нравилось читать осакскую газету, потому что в Осаке была его жена. Вспышку он видел. Поскольку он сидел спиной к центру города и смотрел на газету, свет показался ему бриллиантово-желтым. Совершенно ошеломленный, он начал подниматься. В этот момент (он находился в 1550 ярдах от эпицентра) дом за его спиной накренился и со страшным грохотом свалился в реку. Доктора, пытавшегося встать на ноги, швырнуло вперед, закрутило и перекувырнуло, затем его что-то ударило и сжало. Все это произошло с такой молниеносной быстротой, что он никак не мог понять, что случилось. Он очутился в воде. У д-ра Фудзии едва ли было время подумать о смерти, прежде чем он понял, что жив. Он был крепко стиснут двумя длинными досками в виде латинской буквы «V» и напоминал кусочек, схваченный двумя огромными палочками для еды, поднятыми вертикально вверх, так что он не мог двигаться, голова его каким-то чудом торчала над поверхностью, а тело и ноги были погружены в воду. Обломки госпиталя плавали вокруг него. Левое плечо невыносимо болело. Очки исчезли.

Д-р Тэруфуми Сасаки добрался до госпиталя в семь сорок и доложил о приходе на работу главному врачу. Спустя несколько минут он пошел в палату на втором этаже и взял кровь у больного на реакцию Вассермана. Лаборатория, в которой находился термостат, была на четвертом этаже. Держа пробирку с кровью в левой руке, он шел по главному коридору к лестнице, все еще испытывая какую-то рассеянность, которая не покидала его с самого утра. Он был на расстоянии одного шага от открытого окна, когда в коридоре, словно гигантская фотовспышка, отразился свет от взрыва бомбы. Д-р Сасаки опустился на одно колено и сказал сам себе, как может сказать только японец: «Сасаки, *гамбарэ!*» («Сасаки, смелей!») И тотчас же (здание находилось В 1650 ярдах от эпицентра) взрывная волна ударила в госпиталь. У доктора слетели очки, пробирка с кровью разбилась о стену; его японские туфли выскользнули из-под ног, но ничего другого с ним не случилось благодаря тому, что он стоял именно в том месте.

Д-р Сасаки позвал главного врача, повернулся и бросился в его кабинет. Главный врач был весь изранен битым стеклом. Госпиталь являл собой ужасное зрелище: тяжелые перегородки и потолки упали на больных, кровати были перевернуты,

стекла вылетели и поранили людей, пол и стены были забрызганы кровью, всюду валялись медицинские инструменты, и многие больные с криками бегали по госпиталю, но большинство были мертвы (работавший в лаборатории врач, к которому шел д-р Сасаки, погиб; больной д-ра Сасаки, которого он только что оставил и который так боялся, что у него сифилис, тоже был мертв). Д-р Сасаки оказался единственным непострадавшим врачом. Полагая, что бомба попала в здание госпиталя, он схватил бинты и принялся перевязывать тех немногих, кто был в здании. А за стенами госпиталя со всей Хиросимы нетвердыми шагами уже шли к госпиталю Красного Креста искалеченные и умирающие люди. Их было столько, что д-р Сасаки надолго забыл о своем ночном кошмаре.

Сразу же после взрыва, выбежав в панике из сада Мацуо и оторопело взглянув на окровавленных солдат у входа в недокопанную траншею, Киёси Танимото стал помогать незнакомой пожилой женщине. Она шла по улице, ничего не видя перед собой, держась левой рукой за голову, а правой поддерживая на спине трех-четырехлетнего мальчугана. «Я ранена. Я ранена. Я ранена», — без конца причитала она. Препо-

добный Танимото взял ребенка себе на спину и в неожиданно наступивших сумерках повел женщину за руку. Казалось, всю улицу окутало облако пыли. Танимото отвел раненую в расположенную поблизости среднюю школу, которая в случае налета должна была использоваться как временный госпиталь. Эта забота о других людях помогла Танимото сразу же избавиться от страха. В школе его чрезвычайно поразило, что весь пол засыпан битым стеклом, и уже пятьдесят или шестьдесят человек ожидают медицинской помощи. Он подумал, что, хотя и прозвучал сигнал «отбой воздушной тревоги» и он не слышал гула самолетов, очевидно, было сброшено несколько бомб. Танимото вспомнил, что в саду хозяина шелковой фабрики есть небольшой пригорок, с которого хорошо виден весь район Кои — вернее, вся Хиросима, и он побежал обратно в сад.

Когда Танимото взошел на пригорок, перед его глазами открылось потрясающее зрелище. Не в одном маленьком районе Кои, как он ожидал, а во всех частях Хиросимы, которые он только мог разглядеть в сгущавшихся сумерках, в небо поднимались густые жуткие испарения. Клубы дыма начали уже пробиваться то там, то здесь сквозь эту пелену испарений. Танимото не мог понять,

как такие колоссальные разрушения можно причинить бесшумно — ведь гул даже небольшого числа самолетов, пусть и на большой высоте, был бы слышен. Кругом горели дома, и когда начали падать крупные капли воды — величиной с большую бусину, — у него мелькнула мысль, что это вода из шлангов пожарных, боровшихся с огнем. (На самом деле это были капли конденсированной влаги, выпадавшие из вихря пыли, пара и частиц распада, который уже поднялся на несколько миль в небо над Хиросимой.)

Танимото оторвался от этого страшного зрелища, услышав голос Мацуо, который спрашивал, жив ли он. Танимото едва ответил ему. Он подумал о жене и ребенке, о своей церкви, о доме, о своих прихожанах — все они были там, в этом жутком мраке. И он опять в панике побежал — теперь по направлению к городу.

Больницы д-ра Масаказу Фудзии уже не было на берегу реки Киё, она была в самой реке. После своего сальто-мортале д-р Фудзии был настолько ошеломлен, и доски так крепко сдавливали его грудь, что сначала он не мог даже шевельнуться и минут двадцать висел так в сгущавшихся сумерках. Затем мысль о том, что скоро должен начаться прилив и его с головой накроет во-

да, заставила его сделать отчаянную попытку освободиться из плена; он извивался, вертелся и напрягал все силы (хотя его левая рука из-за боли в плече бездействовала) и очень скоро освободился от тисков. Немного передохнув, д-р Фудзии взобрался на груду досок и, приметив одну довольно длинную, конец которой лежал на берегу, превозмогая боль, выбрался на берег.

Белье д-ра Фудзии насквозь промокло и было вымазано в грязи. Его нижняя рубашка порвана, и на нее из порезов на спине и на подбородке стекала кровь. В таком растерзанном виде д-р Фудзии подошел к мосту Киё, у которого стояла его больница. Мост не был разрушен. Без очков д-р Фудзии видел все вокруг очень смутно, но все же достаточно, чтобы ужаснуться колоссальному количеству разрушенных домов. На мосту он встретил своего друга, д-ра Мачии, и недоуменно спросил его: «Как вы думаете, что это было?»

Д-р Мачии сказал: «Я думаю, это кассетная зажигательная бомба.»

Сначала д-р Фудзии видел только два пожара: один — на другой стороне реки, напротив того места, где стояла его больница, второй — далеко в южной части города. Но в то же самое время он и его коллега наблюдали явление, которое они

не могли объяснить, хотя как врачи сразу обратили на него внимание: пожаров было еще очень мало, однако по мосту бесконечным потоком двигались изувеченные люди, на лицах и руках которых были видны жуткие ожоги.

Рано утром, когда д-р Фудзии провожал на станцию своего друга, не было даже легкого ветерка, а теперь повсюду дул сильный ветер самых разных направлений; здесь, на мосту, дул восточный ветер. Повсюду возникали новые пожары, огонь быстро распространялся, и скоро на мосту стало невозможно стоять из-за сильных порывов горячего воздуха и дождя искр. Д-р Мачии перебежал по мосту на другой берег реки, на улицу, еще не охваченную огнем. А д-р Фудзии спустился в воду под мостом, где уже нашли убежище десятка два людей. Среди них он увидел своих служащих, которым удалось выбраться из-под развалин больницы. Из-под моста д-р Фудзии увидел, как, зацепившись ногами за балку его больницы, висит вниз головой одна из медицинских сестер, а еще одна медицинская сестра крепко прижата другой балкой поперек груди. Д-р Фудзии попросил людей, укрывавшихся под мостом, помочь ему и спас обеих медсестер. В какой-то момент ему показалось, что он слышит голос своей

племянницы, но найти ее он не мог; он больше никогда не видел ее. Погибли также остальные четыре медицинские сестры и обе больные. Д-р Фудзии вернулся под мост, вошел в воду и стал ждать, когда стихнет огонь.

Все, что случилось с докторами Фудзии и Мачии сразу же после взрыва, — а судьба их была типичной, — все, что случилось с большинством гражданских и военных врачей Хиросимы (их больницы и госпитали были разрушены, оборудование разбросано, а сами они в той или иной степени выведены из строя), объясняет, почему так много пострадавших жителей города не получили никакой медицинской помощи и почему так много людей, которых можно было спасти, погибли. Из ста пятидесяти врачей города шестьдесят пять к этому времени уже погибли, а большинство оставшихся в живых получили ранения. Из 1780 медицинских сестер 1654 были убиты или тяжело ранены, и не могли работать.

Преподобный Танимото с ужасом подумал о своей семье и о своей церкви и сначала бросился домой кратчайшей дорогой, по шоссе Кои. Он был единственным человеком, который шел в город, навстречу ему, из города, шли сотни людей, и среди них не было ни одного непострадавшего.

У одних были выжжены брови и кожа свисала клочьями на лице и на руках. Другие, чтобы пересилить боль, держали руки над головой, как будто несли что-то на вытянутых руках. Третьих все время рвало. На многих болтались какие-то лоскутья вместо одежды, а на других вообще ничего не было. Ожоги оставили на обожженных телах следы лямок и подтяжек, а на коже некоторых женщин отпечатались цветы их кимоно (это произошло потому, что белый цвет отталкивал тепловое излучение, а черный поглощал его и притягивал к коже). Многие люди, пострадавшие сами, поддерживали своих родственников, которые пострадали еще сильнее. Почти все они шли, низко опустив голову, смотрели себе под ноги, молчали и ни на что не реагировали.

Перейдя через мосты Кои и Каннон (все это время Танимото бежал бегом) и почти достигнув центра города, он увидел, что все дома разрушены и многие горят. Деревья здесь стояли голые, стволы их обуглились. В нескольких местах Танимото пытался пройти через завалы, но каждый раз огонь останавливал его. Из-под развалин раздавались крики, но никто не приходил на помощь. Вообще в тот день люди, спасшиеся после взрыва, помогали только своим родным

или ближайшим соседям, они не могли понять масштабов бедствия, и их сочувствия не хватало на всех. Раненые шли прихрамывая, не обращая внимания на стоны, и Танимото тоже бежал мимо. Он сочувствовал людям, заваленным обломками, и ему было немного стыдно, что он цел и невредим, когда так много его соотечественников пострадало, и он молился: «Боже, помоги им и отведи от них огонь».

Тонимото надеялся обойти огонь слева. Поэтому он вернулся к мосту Каннон и пошел вдоль берега реки. Он несколько раз пробовал свернуть в одну из поперечных улиц, но его останавливал огонь, поэтому он взял резко влево и побежал по направлению к Иокогаве, станции на линии окружной железной дороги, которая широким полукругом опоясывала город; по рельсам он дошел до горящего поезда. Теперь размеры разрушения представлялись Танимото такими грандиозными, что он повернул назад и пробежал еще две мили на север, прочь от центра города, к местечку Гион, расположенному у подножия гор. Он все время обгонял сильно обожженных и искалеченных людей. Танимото по-прежнему чувствовал какую-то вину и время от времени поворачивался то налево, то направо и извинялся: «Простите,

простите...»

Весь день в парк Асано тянулись люди. Этот частный парк был расположен довольно далеко от места взрыва, поэтому его бамбуковые деревья, сосны, лавры и клены еще не погибли; этот зеленый уголок манил к себе людей. Люди думали, что, если американские самолеты вернутся, они будут бомбить только дома; кроме того, листва деревьев казалась олицетворением прохлады и жизни, а прекрасные декоративные сады с тихими прудами и горбатыми мостиками выглядели такими японскими, такими привычными и безопасными. И еще (как говорили многие бывшие там) людей влекло какое-то древнее неодолимое чувство, заставлявшее искать убежище под деревьями. Вдова Накамура с детьми пришла одной из первых. Они расположились в бамбуковой рощице у реки. Их мучила жажда, и они напились из реки. Их сразу же начало мутить, потом рвать и тошнило весь день. Других тоже рвало. Все считали (возможно, из-за сильной ионизации воздуха, возникшей в результате взрыва атомной бомбы), что их тошнит, потому что американцы сбросили химическую бомбу.

Когда преподобный Танимото со своим ковшиком в руках добрался до парка, парк был уже

переполнен, и трудно было отличить мертвых от живых, потому что большинство людей лежали неподвижно, с широко раскрытыми глазами.

Преподобный Танимото решил сделать еще одну попытку пройти к своей церкви.

Он пошел через район Нобори но ему не удалось пройти далеко — сильный огонь снова заставил его вернуться. Тогда Танимото пошел по берегу реки, надеясь найти какую-нибудь лодку, чтобы перевезти через реку тяжелораненых и спасти их от надвигавшегося огня. Скоро он нашел довольно большую прогулочную плоскодонку, вытащенную на берег. Но она являла собой ужасное зрелище: пять мертвецов, полуобнаженных, с жуткими ожогами. Эти люди, очевидно, погибли одновременно, поскольку их позы говорили о том, что все они вместе пытались столкнуть свою лодку в воду. Танимото оттащил их от плоскодонки. При этом он вдруг испытал внезапный испуг, оттого что он нарушает покой мертвецов и мешает им отправиться в своей ладье в мир теней. И он сказал вслух: «Простите меня, но лодка нужна живым». Плоскодонка была тяжелой, но ему все-таки удалось столкнуть ее в воду. Весел не было, однако Танимото повезло — он нашел толстый бамбуковый шест. Он поплыл вверх по течению

реки, подвел лодку к самому переполненному участку парка и начал перевозить раненых. Каждый раз ему удавалось взять десять — двенадцать человек, но посредине реки шест уже не доставал до дна, и Танимото приходилось грести шестом, поэтому каждая поездка занимала очень много времени. Он проработал так несколько часов.

После полудня огонь достиг парка Асано. Танимото понял это, когда, возвращаясь со своей лодкой, увидел, что люди перебрались к самой воде. Причалив к берегу, он поднялся наверх посмотреть, где огонь, и, увидев его совсем близко, закричал: «Все молодые люди, которые ранены легко, ко мне».

Послышался шум приближающихся самолетов. Кто-то закричал: «Американцы хотят расстрелять нас из пулеметов!» Пекарь Накасимо поднялся и скомандовал: «Снимите все белые вещи!» Вдова Накамура сняла с детей рубашки, раскрыла зонт и велела им забраться под него. Многие, в том числе и сильно обожженные, отползли в кусты и оставались там, пока не замер окончательно шум винтов разведывательного или метеорологического самолета.

Пошел дождь. Вдова Накамура не разрешала детям вылезать из-под зонта. Капли дождя стано-

вились все крупнее и крупнее, и кто-то закричал: «Американцы сбрасывают бензин. Они хотят нас сжечь!» (Эта новая паника подогревалась домыслами людей о причинах пожара, уничтожившего значительную часть Хиросимы: говорили, что один самолет сбросил на город большое количество бензина, а другой каким-то образом поджег этот бензин.) Но капли были явно водяные, дождь продолжался, и ветер становился все сильнее и сильнее, и вдруг — очевидно, в результате конвекции огромной силы, порожденной пылавшим городом, — вихрь пронесся по парку.

Ураган валил огромные деревья, а небольшие вырывал с корнем и подбрасывал вверх. И еще выше в воронке смерча неслись в бешеном хороводе куски железных крыш, дверей, бумаги и обрывки циновок.

Танимото снова стал перевозить раненых через реку.

Лодка, которую он вел, медленно двигалась вверх по течению, вдруг раздались слабые крики о помощи. Среди них выделялся женский голос: «Здесь тонут люди! Помогите! Вода поднимается!» Крики доносились с одной из отмелей. С лодки в отраженном свете все еще продолжавшихся пожаров были видны раненые, лежавшие

у самой воды. Прилив уже частично покрывал их. Танимото хотел им помочь, но лодка была тяжело перегружена.

Ночь была душной, и духота казалась еще невыносимей из-за зарева пожаров. Но какая-то маленькая девочка все жаловалась и жаловалась, что ей холодно. Ее укрыли. Они со старшей сестрой пробыли в соленой воде около двух часов, прежде чем их спасли. Кожа на теле младшей девочки была прожжена до мяса, и соленая вода причиняла ей страшные мучения. Ее всю трясло, и она снова пожаловалась, что ей холодно. Отец Клейнзорге попросил у кого-то из сидевших поблизости людей одеяло и укрыл девочку, но ее знобило все больше и больше, она без конца твердила, что ей холодно, а потом вдруг затихла и умерла.

На отмели Танимото нашел человек двадцать мужчин и женщин. Он подвел свою лодку к отмели и предложил им садиться. Никто не двинулся с места, *и* Танимото понял, что все они слишком слабы, чтобы подняться. Тогда он перегнулся через борт и взял за руки одну из женщин, но ее кожа соскользнула, как перчатки, огромными кусками. Танимото при этом стало дурно, и ему пришлось на минуту присесть. Затем он вылез

в воду и, хотя был не очень силен физически, поднял и перенес в лодку нескольких мужчин и женщин. Все они были обнажены. Спина и грудь у них были скользкими, и его передернуло от воспоминания об ожогах, которые он видел в течение дня, — сначала ожоги были желтыми, потом красными и вздувшимися с лопнувшей кожей и, наконец, вечером, загноившимися и зловонными. Из-за наступившего прилива шест уже не доставал дна, и Танимото пришлось большую часть пути грести. На другой стороне реки, отыскав отмель повыше, Танимото взял на руки легкие тела и положил их на берегу вне зоны действия прилива.

К тому времени, когда стемнело, уже десять тысяч жертв взрыва скопилось в госпитале Красного Креста, и д-р Сасаки, совершенно измотанный, бесцельно и тупо бродил по душным коридорам с кипами бинтов и бутылочками дезинфицирующего средства; на нем все еще были очки, которые он одолжил у раненой медсестры; он перевязывал сильные порезы. Другие врачи накладывали компрессы с физиологическим раствором на самые серьезные ожоги. Ничего другого они сделать не могли. С наступлением темноты врачи продолжали работать при свете

городских пожаров и свечей, которые держали для них девять оставшихся сестер. Весь день д-р Сасаки не выходил из госпиталя; все, что происходило в стенах госпиталя, было так ужасно, что ему даже не приходило в голову задавать какие-либо вопросы о том, что же произошло за дверями и окнами госпиталя. Потолки и перегородки рухнули; повсюду — штукатурка, пыль, кровь, блевотина. Больные умирали сотнями, но некому было убирать трупы. Кое-кто из медицинского персонала раздавал сухари и рисовые котлеты, но запах мертвецкой был так силен, что мало кто мог есть. К трем часам ночи, после девятнадцати часов непрерывной нечеловеческой работы, д-р Сасаки уже не мог бинтовать раны. Он и еще несколько оставшихся в живых врачей и сестер взяли соломенные матрацы и вышли из здания — тысячи больных и сотни мертвых заполняли двор и улицу, — врачи обогнули здание госпиталя и прилегли в укромном месте, чтобы подкрепиться сном. Но раненые отыскали их меньше чем через час: «Врачи! Помогите нам! Как вы можете спать?» Д-р Сасаки встал и снова принялся за работу. Рано утром он в первый раз подумал о матери. Она была за городом, в Мукаихаре, в тридцати милях от Хиросимы. Обычно

он приезжал домой каждый вечер. Д-р Сасаки беспокоился, что мать сочтет его мертвым.

В парке никто из семьи Накамура не мог заснуть; хотя дети чувствовали себя очень плохо, их интересовало все происходившее вокруг. Они были в восторге, когда взорвалось, выбросив гигантский язык пламени, одно из городских газохранилищ. Танимото после долгого бега и многих часов спасательных работ забылся тяжелым сном. Когда он проснулся с первыми лучами солнца и посмотрел на противоположный берег реки, он увидел, что вечером накануне положил гниющие тела пострадавших недостаточно высоко. Прилив затопил их, и у них не было сил отползти; должно быть, они все погибли; он увидел несколько трупов в реке.

Рано утром 7 августа японское радио передало в первый раз очень краткое заявление, которое услышали лишь немногие из тех, кого оно непосредственно касалось, — пережившие бомбардировку жители Хиросимы (если вообще кто-нибудь из них слышал эту передачу). «Несколько самолетов „Б–29“ произвели бомбардировку города Хиросима и причинили значительные разрушения. Полагают, что был применен новый тип бомбы. Подробности уточ-

няются». И уж вряд ли кто-либо из переживших бомбардировку настроился на волну коротковолновой станции передававшей чрезвычайное заявление президента Соединенных Штатов Америки, в котором новая бомба называлась атомной: «Мощность этой бомбы более двадцати тысяч тонн тринитротолуола. Ее взрывная сила в две тысячи раз больше взрывной силы английской бомбы „Грэнд слэм“, которая считается самой мощной бомбой, примененной в истории человечества». Те жертвы атомной бомбардировки, которые вообще могли еще думать о том, что же произошло, говорили об этом в более примитивных, почти детских выражениях — может быть, бензин, разбрызганный с самолета, или какой-нибудь легковоспламеняющийся газ, или большая кассета зажигательных бомб, или же дело рук парашютистов; но даже если бы они и узнали правду, большинство из них было слишком поглощено собой, слишком обессилено или слишком изувечено, чтобы думать о том, что они явились объектом первого великого эксперимента по использованию атомной энергии, который (как о том кричали голоса коротковолновой станции) не могла бы произвести ни одна держава, кроме Соединенных Штатов, имевших

столь высокий уровень технических знаний и не поколебавшихся поставить два миллиарда золотых долларов на эту позорную карту.

Утром 9 августа, в две минуты двенадцатого, была сброшена вторая атомная бомба — на Нагасаки. Прошло еще несколько дней, прежде чем люди, пережившие атомную бомбардировку Хиросимы, узнали, что у них теперь есть товарищи по несчастью, поскольку японское радио и газеты очень осторожно говорили о новом странном оружии.

Примерно через неделю после того, как была сброшена бомба, до Хиросимы дошли неопределенные и непонятные слухи о том, что город был уничтожен энергией, которая высвобождается, когда атомы каким-то образом расщепляются надвое. В этих слухах бомба именовалась *генси бакудан* — эти слова можно перевести как «атомная бомба». Никто не понимал, в чем суть, и никто не придавал этим слухам большого значения, как и слухам о порошкообразном магнии и прочих подобных вещах. Из других городов в Хиросиму доставляли газеты, но они по-прежнему ограничивались очень общими заявлениями. Вот, например, что писала газета «Домен» 12 августа: «Нам ничего не остается, как только признать

колоссальную мощь этой бесчеловечной бомбы». Японские физики уже прибыли в город с электроскопом Лаурицена и счетчиком Гейгера: ученые, к сожалению, очень ясно понимали суть всего происшедшего.

Д-р Сасаки, вернувшись в госпиталь после отдыха, попытался классифицировать своих пациентов (больные и раненые по-прежнему лежали по всему госпиталю, даже на лестницах). Работники госпиталя постепенно убирали обломки и мусор. Медицинские сестры и служители начали убирать трупы. Похороны — кремация и установка урны в алтаре — больший моральный долг для японцев, чем надлежащая забота о живых. Родственники опознали большинство погибших в госпитале и около госпиталя в первый день. Начиная со второго дня всем умирающим прикрепляли к одежде клочок бумаги, на котором писали имя. Санитары относили трупы на небольшую площадку поблизости от госпиталя и, положив на поленницу, сложенную из деревянных обломков соседних домов, сжигали. Горстку пепла они вкладывали в конверты из-под засвеченных рентгеновских пластинок, надписывали на конвертах имена покойных и складывали эти пакеты аккуратно и уважительно в штабеля в

конторе госпиталя. Уже через несколько дней эти конверты заняли целую стену импровизированного алтаря.

Утром 15 августа в Кабэ десятилетний мальчик Тосио Накамура услышал высоко в небе гул моторов. Он выбежал на улицу и наметанным глазом определил, что летит «Б–29». «Би-сан, Би-сан!» — закричал он.

«Ты еще не нагляделся на них?» — отозвался один из родственников Тосио. И слова эти прозвучали символически…

II. ИЗ ХРОНИКИ ДНЕИ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

Вдоль и поперек Америки
Джон Стейнбек
ПУТЕШЕСТВИЕ С ЧАРЛИ В ПОИСКАХ АМЕРИКИ

За долгие годы жизни я побывал во многих странах. В Америке я живу в Нью-Йорке, бываю наездами в Чикаго и Сан-Франциско. Но Нью-Йорк не Америка, так же как Париж не Франция и Лондон не Англия. И вот я вдруг обнаружил, что не знаю собственной страны. Я — американский писатель, пишущий об Америке, — работаю, полагаясь только на память, а память и в лучшем-то случае источник ненадежный, того и гляди получится перекос. Я давно не слышал говора Америки, не вдыхал запаха ее трав, деревьев, ее сточных вод, не видел ее холмов, рек и озер, ее красок, ее теней и света. О переменах, которые произошли в ней, мне известно только из книг и газет. Но мало того, за последние двадцать пять лет у меня исчезло ощущение, какая она, эта страна. Короче говоря, я писал о том, о чем не имел понятия, а, по-моему, для так называемых писателей в подобной практике есть нечто пре-

ступное. Разрыв в двадцать пять лет сделал свое дело — воспоминания мои порядком оскудели.

Когда-то я путешествовал в хлебном фургоне — допотопном рыдване с двустворчатой дверью, с матрасом на полу. Я останавливался там, где останавливались или собирались люди, слушал, смотрел, старался все почувствовать, и в результате у меня возникала картина нашей страны, — точности ее могли помешать только мои собственные несовершенства.

И я задумал снова все увидеть своими глазами и попытаться открыть заново эту огромную страну. Только так, казалось мне, можно нащупать истину в каждом отдельном случае и поставить диагнозы, которые лягут в основу истины большого охвата.

Я выбрал место для стоянки подальше от шоссе и от снующих машин, решив как следует отдохнуть и отчитаться перед самим собой. Моя поездка для меня дело нешуточное. Я поборол в себе лень и пустился в дальнюю дорогу не ради нескольких забавных анекдотов. Мне надо было узнать, какая она стала, наша Америка. Но прибавляется ли у меня знаний о ней? Трудно сказать. Я поймал себя на том, что говорю вслух, обращаясь к Чарли. В теории мой пес такие раз-

говоры одобряет, а как доходит до дела, начинает клевать носом.

— Ну хоть для смеху давай попробуем произвести некоторые обобщения. Правда, мои сыновья именуют такое занятие мурой. Распределим материал по разделам и рубрикам. Возьмем еду, какую нам приходится есть в пути. Более чем вероятно, что в городах, которые мы проезжали без остановок, подхваченные общим потоком транспорта, имеются хорошие, первоклассные рестораны с такими изысканными меню — пальчики оближешь. Но в придорожных закусочных и барах блюда были чисто приготовленные, безвкусные, бесцветные и повсюду одни и те же. Создалось впечатление, будто людям все равно, что есть, лишь бы не было ничего неожиданного. Это относится к любой трапезе, кроме завтраков, которые отменно хороши повсеместно, если вы твердо придерживаетесь одного меню: яичница с беконом и жареная картошка. В придорожных ресторанах меня ни разу не накормили ни по-настоящему хорошим обедом, ни по-настоящему плохим завтраком. Бекон и колбасы там были вкусные, в фабричной упаковке, яйца свежие, вернее, сохранившие свою свежесть с помощью холодильников, а холодильные установки полу-

чили у нас самое широкое распространение.

Я берусь даже утверждать, что придорожная Америка — это рай, поскольку дело касается завтраков. Впрочем, с одной оговоркой. Время от времени на автострадах мне попадались таблички, на которых было написано: «Домашняя Колбаса», или «Бекон и Ветчина Домашнего Копчения», или «Яйца из-под Курицы», — и тогда я останавливался и запасался этими продуктами. А потом, собственноручно приготовив себе завтрак и вскипятив кофе, я сразу чувствовал разницу. Только что снесенное яйцо не имеет ничего общего с тем, что вынули из холодильника — белесым, от инкубаторской курицы. Домашняя колбаса бывала пахучая, сочная, со специями, а кофе собственной заварки цвета темного вина веселил мне душу. Итак, имею ли я право сказать, что представшая передо мной Америка возносит на первое место санитарию, жертвуя вкусовыми качествами пищи? И поскольку все рецепторы человеческого организма, включая и вкусовые, могут не только совершенствоваться, но и подвергаться травмам, не притупляются ли наши пищевые рефлексы и не потому ли все духовитое, терпкое и непривычное вызывает у нас подозрение, неприязнь и начисто отвергается?

Теперь, Чарли, давай приглядимся к тому, что происходит в других областях. Возьмем книги, журналы и газеты, которые были выставлены на продажу там, где мы с тобой останавливались. Основной вид печатной продукции — это сборники комиксов. Местные газеты. Я покупал и читал их. Полные стеллажи дешевых книжек. Среди них, правда, попадались названия почтенных и великих творений, но основная масса чтива на все лады перепевает человекоубийство, садизм и секс. Газеты крупных центров отбрасывали от себя длинную тень — «Нью-Йорк таймс» хватало до Великих озер, «Чикаго трибюн» забирался даже в Северную Дакоту. Но тут, Чарли, предупреждаю тебя: будь осторожен и не очень-то увлекайся обобщениями. Если у нашего народа настолько атрофированы вкусовые луковицы, что он не только мирится с безвкусной пищей, но и предпочитает ее всякой другой, то что сказать об эмоциональной стороне его жизни? Или эмоциональная кормежка кажется ему пресной и он приперчивает ее садизмом и сексом, черпая и то и другое из дешевых книжонок? Неужели же у нас нет других приправ, кроме горчицы и кетчупа? Местные передачи мы слушали всюду, куда только ни попадали. И если не считать ре-

портажа о футбольных матчах, то пища для души была повсеместно так же стандартна, так же расфасована и так же пресна, как и пища для тела.

Я потрогал Чарли ногой, чтобы он не заснул окончательно. Меня очень интересовали политические взгляды людей. Те, с кем я встречался в пути, не говорили о политике и как будто не хотели говорить — отчасти, пожалуй, из осторожности, отчасти потому, что такие темы их просто не интересовали. Во всяком случае, резких суждений я ни от кого не слышал. Хозяин одной лавки признался мне, что ему приходится делать бизнес с обеими сторонами и он не может позволить себе такой роскоши, как собственное мнение. Это был невеселый человек — владелец такой же невеселой маленькой лавчонки у перекрестка двух дорог, куда я заехал за коробкой собачьих галет и банкой трубочного табака. Такого человека и такую лавку можно увидеть в любой части Америки, но я говорю о том, что было в штате Миннесота. В глазах у моего собеседника мелькнула искорка, хоть и не очень веселая, но, судя по ней, он еще помнил те времена, когда чувство юмора не считалось чем-то противозаконным. И я решил рискнуть и сказал:

— Неужели же исчез наш былой задор в споре?

Что-то не верится. Может, он повернет в другое русло? Может, вы знаете, сэр, в какое именно?

— Вас интересует, как люди душу отводят?

— Значит, все-таки отводят?

Я не ошибся насчет искорки — драгоценной смешливой искорки в глазах.

— Да как вам сказать, сэр, — отвечал он. — Кое-когда случаются убийства, а нет, так книжку про убийство можно прочитать. Ну а бейсбол — «Уорлд сириз»! Пожалуйста, спорьте с пеной у рта, какая команда сильнее, «Янки» или «Пираты». Но есть еще кое-что получше бейсбола — русские.

— Тут страсти разгораются?

— Еще бы! Дня не проходит, чтобы на них всех собак не вешали.

Не знаю почему, но он стал держаться свободнее, даже позволил себе легкий смешок, который можно было выдать за откашливание, если бы на моем лице выразилось недовольство.

Я спросил:

— А тут у вас кто-нибудь когда-нибудь знал русских?

Теперь он окончательно растаял и засмеялся.

— Да нет, конечно. Поэтому они так и пригождаются на все случаи жизни. Ругайте русских

сколько влезет, никто вас за это не осудит.

— Не потому ли, что мы с ними не делаем никакого бизнеса?

Он взял с прилавка нож для сыра, осторожно провел по лезвию большим пальцем и положил его на место.

— Может, вы и правы. Черт возьми! Может, в самом деле так? Потому что мы не делаем с ними бизнеса!

— Значит, вы думаете, что мы пользуемся русскими по мере надобности, когда нет других отдушин?

— Я, сэр, ничего такого не думал, но теперь буду, конечно, думать. А помните, было время, когда все валили на мистера Рузвельта? Мой сосед Энди Ларсен просто на стену лез — такой-сякой Рузвельт! — когда у него куры заболели крупом. Да, сэр! — Он оживлялся все больше и больше. — Этим русским нелегко приходится. Поссорился человек с женой и опять же клянет русских.

— Может быть, русские всем нужны? Даже в самой России. Только там их называют американцами!

Он отрезал ломоть сыра от целого круга и протянул его мне на лезвии ножа.

— Вот теперь будет над чем подумать. Хитро вы

мне подсунули эти мысли.

— А по-моему, вы сами меня на них навели.

— Я?

— Да, когда сказали насчет бизнеса и собственных мнений.

— Может быть. А знаете, что я теперь сделаю? В следующий раз, как только Энди Ларсен опять начнет бушевать, я поинтересуюсь, не русские ли донимают его кур. Для Энди была большая потеря, когда мистер Рузвельт умер.

Я не берусь утверждать, что у нас очень уж много таких людей, как этот лавочник, который понимал, что к чему. Может быть, их мало, а может, и много, но мысли свои они, вероятно, тоже хранят про себя, а вслух размышляют только о том, что не затрагивает бизнеса.

В молодости я хорошо знал Сан-Франциско; будучи начинающим писателем, ютился на его чердаках, в то время как другие подвизались в Париже в качестве пропащего поколения. В Сан-Франциско я оперился, я лазил по его холмам, спал в его парках, работал в его доках, маршировал и горланил в его бунтарских шеренгах. В какой-то степени он принадлежал мне, пожалуй, не меньше, чем я ему.

В честь меня Сан-Франциско показал себя в тот

день во всей красе. Я увидел его через залив, с магистрали, которая, минуя Сосолито, вбегает прямо на мост Золотых ворот. Вечернее солнце позолотило и высветило его, и он стоял передо мной на холмах — величественный град, какой может привидеться только в радужном сне. Город, раскинувшийся на холмах, много выигрывает по сравнению с равнинными городами. Нью-Йорк сам громоздит у себя холмы, вздымая ввысь свои небоскребы, но мой бело-золотой акрополь, поднимающийся волна за волной в голубизну тихоокеанского неба, — это было нечто волшебное, это была писаная картина, на которой изображался средневековый итальянский город, какого и существовать не могло. Я остановился на автомобильной стоянке полюбоваться им и ведущим к нему ожерельем моста над входом в пролив. По зеленым холмам — тем, что повыше, с южной стороны, — влачился вечерний туман, точно отара овец, возвращающихся в овчарни золотого города. Никогда я не видел его таким прекрасным. В детстве всякий раз, как мы собирались в Сан-Франциско, меня так распирало от волнения, что несколько ночей до поездки я не спал. Сан-Франциско навсегда оставляет на тебе свою печать.

Наконец я проехал по огромной арке, подвешенной на тросах, и очутился в так хорошо знакомом мне городе.

Он был все такой же — уверенный в себе, настолько уверенный, что ему ничего не стоило и приласкать человека. Он благоволил ко мне в те дни, когда я был беден, и не возражал против моей временной платежеспособности. Я мог бы оставаться здесь до бесконечности, но мне надо было в Монтерей — отправить оттуда мой избирательный бюллетень.

В дни моей молодости в округе Монтерей, на сто километров южнее Сан-Франциско, все были республиканцами. У нас в семье все тоже были республиканцы. Я, наверно, так и остался бы приверженцем республиканской партии, если бы не уехал оттуда. К демократам меня толкнул президент Гардинг, а президент Гувер утвердил меня там. Я вдаюсь в свою личную политическую историю только потому, что мой опыт в этой области вряд ли уникален.

Я приехал в Монтерей, и сражения начались сразу. Мои сестры все еще республиканки. Из всех войн гражданские междоусобицы бывают самыми жестокими, а уж что касается споров о политике, то в семьях они приобретают особенно

яростный и неистовый характер. С посторонними я могу говорить на политические темы хладнокровно, проявляя аналитический подход к делу. С сестрами это было просто немыслимо. К концу каждого такого спора мы задыхались от ярости и чувствовали себя совершенно опустошенными. Компромисса нам не удавалось достичь ни по одному пункту. Пощады никто из нас не просил и не давал.

Каждый вечер мы обещали:

— Будем хорошие, добрые, будем любить друг друга. О политике сегодня ни слова.

А через десять минут мы уже орали во все горло:

— Джон Кеннеди такой-сякой…

— Ах, вот оно что! Как же тогда вы терпите Дика Никсона?

— Спокойно, спокойно! Мы же разумные люди, давайте вникнем в это как следует.

— Я уже вникла. Что ты скажешь об афере с шотландским виски?

— Ну, если уж выдвигать такие доводы, то что ты скажешь об афере в бакалейной лавке в Санта-Ана, красавица моя?

— Отец перевернулся бы в гробу, если бы услышал, что ты тут несешь.

— Отца вы, пожалуйста, не приплетайте. Он был бы теперь демократом.

— Нет, вы слышали что-нибудь подобное? Роберт Кеннеди скупает бюллетени мешками.

— Что же, по-твоему, республиканцы никогда не покупали голосов? Ох, не смеши меня!

И так без конца и все с таким же накалом. Мы выкапывали из-под земли устаревшее обычное оружие и оскорбления и швыряли ими друг в друга.

— Коммунистом заделался!

— А от тебя подозрительно отдает Чингисханом.

Это было ужасно. Услыхав такие наши разговоры, человек посторонний вызвал бы полицию, чтобы предотвратить кровопролитие. И мне кажется, мы были не единственные. В домашней обстановке нечто подобное творилось, наверное, по всей стране. Язык прилипал у всех к гортани только на людях.

Выходило так, будто я приехал на родину главным образом для того, чтобы ввязываться в политические драки, но в промежутках между ними мне все же удалось кое-где побывать. Состоялась трогательная встреча друзей в баре Джонни Гарсиа в Монтерее с потоками слез и

объятиями, речами и нежными излияниями на poco[33] испанском языке времен моей юности. Среди присутствующих были индейцы, которых я помнил голопузыми ребятишками. Годы откатились вспять. Мы танцевали, не касаясь друг друга, заложив руки за спину. И пели гимн здешних мест:

Один молодой паренек
Соскучился жить одиноко.
И вот в город Фриско
К податливым киско
Спешит на свидание он.

Я не слышал этой песенки бог знает сколько лет. Все было как раньше. Годы попрятались по своим норкам. Это был прежний Монтерей, где на арену выпускали одновременно одичалого быка и медведя-гризли; это была прежняя обитель умильно-сентиментальной жестокости и мудрого простодушия, еще неведомого грязным умам, а следовательно, и не загаженного ими.

Составляя в основных чертах план своего путешествия, я включил в него некоторые вопросы,

---

[33] Примечания: 33
Зд.: бедном *(исп.).*

на которые требовалось получить точные ответы. По-моему, они были вполне разрешимы. Собственно, все их можно было объединить одним-единственным вопросом: «Что собой представляют современные американцы?»

В Европе все берутся описывать теперешних американцев и любят это занятие. Их особенности доподлинно известны каждому. И у нас такая игра тоже в большом ходу. Сколько раз мне приходилось слышать, как мои соотечественники, совершив трехнедельный тур по Европе, с полной уверенностью в безошибочности своих суждений характеризуют французов, англичан, итальянцев, немцев, а уж русских-то и подавно. Я в своих разъездах быстро научился отличать отдельного американца от американцев вообще. Они так далеко отстоят друг от друга, что их можно счесть полной противоположностью. Мне часто приходилось слышать, как европейцы отзывались об американцах с враждебностью и презрением, а потом утешали меня: «Вы, конечно, не в счет. Мы говорим о тех, о других». Если убрать из этих высказываний все лишнее, то останется вот что: американцы, англичане — это безликая, неведомая нам масса, но отдельный француз или итальянец — твой хороший знакомый, твой друг.

У него нет тех черт характера, к которым ты по невежеству своему питаешь ненависть.

Я всегда расценивал это как своего рода семантическую ловушку, но, поездив по стране, усомнился в своей оценке. Отдельные американцы — те, с кем я встречался и с кем говорил, действительно обладали каждый своей индивидуальностью, каждый чем-то отличался от всех прочих, но постепенно мне становилось ясно, что американцы как тип существуют, что им свойственны общие черты характера независимо от их местожительства, от их социального и экономического статуса, от их образования, религиозных и политических убеждений. Но если действительно существует обобщенный образ американца и в основе его лежит правда, а не отражение чьих-то враждебных чувств и предвзятостей, то каков он, этот образ? Что он собой представляет? Из чего состоит? Если одна и та же песня, одна и та же шутка, одно и то же поветрие моды мгновенно облетают все уголки нашей страны, значит, в чем-то американцы сходны между собой. А тот факт, что та же самая шутка, та же самая мода не имеет успеха ни во Франции, ни в Англии, ни в Италии, только подтверждает этот вывод. Но чем больше я думал над обобщенным

образом американца, тем сильнее брало меня сомнение. Уж слишком много возникало тут всяческих парадоксальностей, а я по опыту знаю, что, если парадоксы пойдут выскакивать один за другим, следовательно, какие-то величины в уравнении отсутствуют.

Я проехал целую галактику штатов, таких разных, своеобычных, повидал мириады, сонмы людей, а дальше на моем пути лежал наш Юг, который мне предстояло увидеть и услышать. Это было страшно, но неизбежно. Страдания, жестокость не обладают для меня притягательной силой. Я не смотрю на несчастные случаи, если ничем не могу помочь, не глазею на уличные драки ради сильных ощущений. Встреча с Югом пугала меня. Я знал, что там будет все: и страдания, и растерянность, и маниакальный психоз — результат смятения и страха. А поскольку Юг — это часть тела нашей нации, его страдания отдаются во всей Америке.

Мне, как и каждому из нас, была известна близкая к истине, но не исчерпывающая формулировка проблемы Юга: первородный грех отцов падает на детей последующих поколений. У меня есть друзья на Юге и среди негров, и среди белых, многие из них — люди высокого ума и высоких

моральных качеств, но сколько раз бывало, что лишь только речь у нас зайдет даже не о самой этой проблеме, а о чем-нибудь отдаленно касающемся ее, друзья мои уходили в ту зону опыта, куда, как я видел и чувствовал, мне доступа нет.

Может быть, из всех так называемых северян я больше чем кто-либо лишен возможности постичь эту трагедию — не потому, что у меня, у белого, не было опыта в общении с неграми, а именно вследствие того особого опыта, который дала мне жизнь.

В Салинасе, в Калифорнии, где я родился, рос и ходил в школу, набираясь впечатлений, которые и создали меня таким, какой я есть, жила всего одна негритянская семья, по фамилии Купер. Муж и жена появились в нашем городе еще до моего рождения, и у них было трое сыновей — один чуть постарше меня, второй моих лет, а третий на год младше, так что и в начальной и в средней школе один Купер всегда учился классом выше, один со мной и один классом ниже. Короче говоря, Куперы захватывали меня в клещи. Отец семейства, которого все звали «мистер Купер», держал небольшой извоз, вел дела умело и хорошо зарабатывал. У его жены, женщины сердечной, ласковой, всегда находились для нас

имбирные пряники, стоило только потормошить ее как следует.

Если в Салинасе и были расовые предрассудки, то я о них понятия не имел. Куперов все уважали, а в их самоуважении не чувствовалось никакой нарочитости. Старший сын, Улисс, рослый, спокойный юноша, был одним из лучших прыгунов, каких только знавал наш город. Помню грациозность движений его поджарого тела в спортивном костюме, помню, как я завидовал идеальному расчету и безошибочности его прыжка с шестом. Он умер за год до окончания средней школы. Меня в числе других выбрали нести его гроб, и, признаюсь, я, грешный, возгордился оказанной мне честью. Средний сын, Игнациус, мой одноклассник, не внушал мне особых симпатий, как я теперь понимаю, ибо он был первый ученик в классе. По арифметике, а в дальнейшем и по математике Игнациус Купер был сильнее всех, а по латыни шел первым без всяких шпаргалок. Кто же таких любит в школе? Меньшой Купер — самый младший в семье — так и сиял улыбками. Странно, что я не помню, как его звали. Он с молодых ногтей увлекался музыкой, а когда я его видел в последний раз, уже сочинял сам, и его вещи показались мне, не такому уж невежде

в музыке, очень смелыми, самобытными и красивыми. Но дело не в одаренности этих ребят, а в том, что я дружил с ними.

Так вот, это были единственные негры, которых я знал в годы моего детства, проведенного на одном месте, точно на мушиной липучке, и судите сами, как мало я был подготовлен к вступлению в большой мир. Когда мне пришлось услышать, например, что негры низшая раса, я расценил это утверждение как результат плохой осведомленности. Когда мне пришлось услышать, что негры грязнули, я вспомнил сверкавшую чистотой кухню миссис Купер. Бездельники? Стук лошадиных копыт и скрип колес подводы мистера Купера, доносившиеся с улицы, будили нас чуть свет. Нечестные? Мистер Купер был один из весьма немногих граждан города Салинаса, которые платили по счетам не позднее пятнадцатого числа каждого месяца.

Но было в Куперах, как я теперь понимаю, еще нечто такое, что выделяло их среди других негров, с которыми мне приходилось сталкиваться в дальнейшем. Их никто не обижал и не оскорблял, и потому им не было нужды обороняться и держать кулаки наготове. Их чувство собственного достоинства никто не ущемлял, и

потому им не надо было проявлять заносчивость, а так как куперовских мальчиков никто не называл существами низшей расы, они могли расти и развиваться умственно в полную меру своих способностей.

Вот чем ограничивалось мое знакомство с негритянской проблемой до тех пор, пока я не стал взрослым, пожалуй, слишком взрослым для того, чтобы ломать негибкие навыки детских лет. О, с тех пор мне многое пришлось повидать — повидать и почувствовать, насколько сокрушительны волны насилия, безнадежности и смятения. Мне пришлось повидать негритянских детей, действительно неспособных к учению, и большей частью это были те ребятишки, кому в самом нежном возрасте внушали, что они существа низшей расы. И при воспоминании о Куперах и о нашем отношении к ним во мне из всех эмоций, пожалуй, сильнее всего говорит чувство горечи, оттого что завеса страха и злобы отделяет нас — белых и негров — друг от друга. А сейчас меня позабавила вот такая мысль: если бы кто-нибудь из того, чуждого нам мира, кто-нибудь более искушенный в житейских делах, спросил бы нас тогда в Салинасе: «А вы хотели бы, чтобы ваша сестра вышла замуж за какого-нибудь Купе-

ра?» — мы, наверно, покатились бы со смеху. Ибо нам, пожалуй, пришло бы в голову, что дружба дружбой, а жениться на наших сестрах Куперы, может, и сами не пожелают.

Вот и выходит, что я совершенно не способен примкнуть ни к той, ни к другой стороне в расовом конфликте. Правда, когда жестокость и сила ополчаются на слабого, меня охватывает бешенство, но так со мной бывает при столкновении между любым слабым и любым сильным.

Как расист я критики не выдерживаю, но, и помимо этого, мое пребывание на Юге вряд ли пришлось бы кому-нибудь по вкусу. Когда люди не имеют причин гордиться своими деяниями, они предпочитают обходиться без свидетелей. Да и вообще им кажется, что в свидетелях вся и беда.

В своих рассуждениях о Юге я здесь имел в виду главным образом те силы зла, которые развязала борьба против сегрегации в таких ее формах, как посылка детей в школы для белых, требования негритянской молодежи, чтобы ей предоставили сомнительную привилегию ходить в рестораны, ездить в автобусах, пользоваться уборными наравне с белыми. Но меня больше всего интересуют школьные дела, так как я считаю, что язва,

съедающая наше общество, исчезнет лишь тогда, когда у нас будут миллионы Куперов.

Не так давно один южанин, мой близкий друг, со страстью проповедовал мне теорию: «права равные, но пользоваться ими врозь».

— Представь себе, — говорил он, — у нас в городе три новые негритянские школы, и они не только на одном уровне со школами для белых, они гораздо лучше! Казалось бы, на этом можно успокоиться. А уборные на автобусных станциях одинаковые что для них, что для нас. Ну что ты на это скажешь?

Я ответил:

— Может быть, всему виной неосведомленность? Поменяйтесь с ними школами и уборными, и тогда эта проблема сама собой разрешится. Как только им станет ясно, что ваши школы хуже, они поймут свои заблуждения.

И знаете, что он мне сказал на это? Он сказал:

— Ах ты бунтовщик, сукин ты сын!

Но это было сказано с улыбкой.

В самом конце 1960 года, пока я еще ехал по Техасу, со страниц газет не сходили фото и статьи, посвященные зачислению в одну новоорлеанскую школу двух маленьких негритянских девочек. За спиной у этих крохотных чернушек

стояли величие Закона и власть Закона, который можно утвердить силой. Чаша весов и меч были на стороне детей, а путь им преграждали триста лет страха, злобы и боязни перемен в нашем меняющемся мире. Каждый день я видел в газетах снимки, на экранах телевизоров — кинорепортаж, и все об одном и том же. Этот сюжет прельщал газетчиков тем, что у здания школы по утрам собиралась компания дородных пожилых женщин (как это ни странно, именуемых в прессе «матерями»), которые встречали маленьких школьниц отборной руганью. Мало-помалу среди них выделилось несколько дамочек, настолько понаторевших в такого рода занятии, что их прозвали «заводилами», и на представления «заводил» ежедневно собиралась толпа, не жалевшая им аплодисментов.

Эта странная драма казалась мне настолько неправдоподобной, что я решил сам посмотреть, что там происходит. Так нас обычно тянет поглазеть на какой-нибудь аттракцион, вроде теленка о пяти ногах или двухголового зародыша — словом, на всякое отклонение от нормы, и мы охотно платим деньги за это, может быть желая убедиться, что у нас-то самих ровно столько голов и ног, сколько человеку положено. От новоорлеанского

спектакля я ждал развлечения, как от всякой курьезной аномалии, и вместе с тем ужасался, что такое может быть.

К этому времени зима, которая следовала за мной по пятам со дня моего отъезда из дому, вдруг подула сильным северным ветром. Пошел дождь со снегом, крупа, шоссе подмерзло, потемнело. Я забрал Чарли от хорошего ветеринара. Пес выглядел вдвое моложе своих лет, чувствовал себя прекрасно и в доказательство этого носился кругами, прыгал, катался по земле, хохотал и тявкал, полный радости бытия. Хорошо было, что он снова со мной, сидит такой пряменький рядом в кабине, смотрит сквозь стекло на развертывающуюся перед нами дорогу или свернется клубочком и спит, положив голову мне на колени, так что можно мять пальцами его смешные уши. Этот пес ухитряется спать, невзирая на ласку, если соблюдаешь в ней благоразумие.

Теперь мы кончили бить баклуши, стали на колеса и покатили дальше. На обледенелом шоссе давать большую скорость было нельзя, но мы ехали, не щадя себя, почти не глядя на Техас, мелькавший по сторонам. А тянулся он мучительно долго — Суитуотер, Баллинджер и Остин, Хьюстон мы объехали стороной. Останавливались

за горючим, за чашкой кофе с куском пирога. На заправочных станциях Чарли получал еду, прогуливался. Ночь не задерживала нас, но, когда глаза мне начинало жечь и ломить от напряжения, а плечи превращались в бугры боли, я сворачивал с шоссе на обгонный путь и забирался, как крот, в свою постель, но все равно и с закрытыми глазами видел перед собой извивающуюся дорогу. Поспать мне удавалось каких-нибудь два часа, а потом снова в студеную ночь и снова гнать все дальше и дальше. Вода в придорожных канавах была замерзшая, а встречные пешеходы накручивали на головы шарфы и высоко поднимали воротники свитеров, чтобы не отморозить уши.

Раньше, бывало, я приезжал в Бомонт, обливаясь потом, и вожделенно мечтал о льде и кондиционированном воздухе. На этот раз Бомонт, несмотря на сверкание неоновых реклам, был весь какой-то скрюченный от холода. Я проехал его вечером, вернее, далеко за полночь. Человек, который посиневшими пальцами наливал мне бензину в бак, посмотрел на Чарли и сказал:

— А-а, да это собака! А я думал, у вас там черномордый сидит. — И радостно захохотал.

Это было только начало. Потом то же самое мне пришлось услышать по меньшей мере раз два-

дцать. «Я думал, у вас там черномордый сидит».

Такая шутка была для меня внове и не теряла своей свежести от повторения. И хоть бы раз «негр» или даже «негритос» — нет! только так: «черномордый». Этому слову, как заклинанию, придавался чрезвычайный смысл, за него цеплялись, будто оно могло сохранить какое-то сооружение от обвала.

А потом я въехал в Луизиану и в темноте прокатил мимо Лейк-Чарльза, но огни моих фар по-прежнему поблескивали на льду и высвечивали иней, а люди — те, что всегда тянутся по ночам вдоль дорог, — были до глаз закутаны во все теплое. Я с ходу взял Лафайетт и Морган-сити и на рассвете въехал в Хуму — по воспоминаниям одно из самых приятных для меня мест на всем земном шаре. Там живет мой старый друг доктор Сент-Мартин — милейший, ученейший человек, француз родом из Новой Шотландии, который принимает младенцев и лечит расстройство желудка у всех своих земляков на несколько миль в окружности. По-моему, он знает этих выходцев из Канады так, как никто другой. Но сейчас я вспомнил с грустью иные таланты доктора Сент-Мартина. Он умеет делать самый лучший в мире и самый тонкий по вкусу коктейль мар-

тини, и процесс приготовления этого напитка граничит с волшебством. Я знаю из докторского рецепта только то, что лед должен быть из дистиллированной воды, и для верности доктор дистиллирует ее собственноручно. Я едал дикую утку у него за столом — сначала два мартини Сент-Мартина, потом крылышко дикой утки, а к ней бургундское, которое так бережно льют из бутылки, точно принимают младенца на свет божий, и все это в полутьме дома, где ставни закрыли на рассвете, чтобы комнаты подольше хранили ночную прохладу. Я помню, как за этим столом, где серебро отсвечивает мягко, тускло, будто олово, поднимался бокал со священной кровью виноградной лозы и ножку его ласкали сильные пальцы доктора — пальцы художника, и у меня до сих пор стоит в ушах милый тост и радушное приветствие на певучем языке Новой Шотландии, который раньше был французским, а теперь стал самим собой. Эта картина заслонила мне запотевшее ветровое стекло, и если бы на улицах Хумы было сильное движение, такой водитель за рулем представлял бы собой опасность. Но над городом занимался палевый морозный рассвет, и я знал, что, стоит мне заехать к доктору, только чтобы засвидетельствовать свое

почтение, волю мою и твердость принятых мною решений унесут прочь те соблазны, которые выставит на стол доктор Сент-Мартин, и мы с ним будем толковать о вечных материях и этот день, и весь следующий, с утра и до вечера. Поэтому я ограничился поклоном в том направлении, где живет мой друг, и рванул дальше, к Новому Орлеану, так как мне хотелось поспеть к спектаклю при участии «заводил».

Даже я знаю, что туда, где неспокойно, не рекомендуется соваться с машиной, особенно с такой, как мой Росинант с его нью-йоркским номерным знаком. Только накануне там поколотили одного репортера, а фотокамеру его разбили вдребезги, ибо даже самые политически активные наши граждане не стремятся предавать огласке и сохранять для потомства исторические моменты своей жизни.

Я выбрал стоянку на окраине Нового Орлеана. К окошечку кабины подошел механик гаража.

— Вот так история, доложу я вам! Я думал, у вас черномордый сидит. А это собака! Вижу, мурло темное, ну, думаю, это черномордый.

— Когда он чистый, лицо у него серо-голубое, — холодно проговорил я.

— А они тоже бывают серо-голубые, только не

от чистоты. Ах, из Нью-Йорка!

Мне почудилось, что холод эдаким утренним ветерком проступил в его голосе.

— Проездом, — сказал я. — Машину поставлю часа на два. Такси мне не вызовете?

— Поспорим? Об заклад бьюсь, что вы собираетесь посмотреть на наших заводил.

— Правильно.

— Ну что ж, будем надеяться, вы не из газеты из какой-нибудь и смутьянить тут не станете.

— Просто хочу посмотреть.

— Н-да, доложу я вам! Посмотреть есть на что. Наши заводилы кое-чего стоят. Как начнут, так, доложу я вам, больше нигде такого не услышишь.

Я запер Чарли в кузове, предварительно удостоив механика экскурсией по всему Росинанту, стаканом виски и долларом.

— Только будьте осторожнее, когда я уйду. Не открывайте дверцу, — сказал я. — Чарли очень серьезно относится к своим обязанностям. Не остаться бы вам без руки.

Это была наглая ложь, но механик сказал:

— Слушаю, сэр. Не беспокойтесь, я с чужими собаками не балуюсь.

Шофер такси, болезненно желтый, весь ка-

кой-то сморщенный от мороза, точно мелкий горошек, сказал мне:

— Я туда ближе чем на два квартала не подвезу. Не желаю, чтобы мою машину изуродовали.

— Разве ожидается что-нибудь?

— Ожидается или нет — не знаю. Все может быть.

— Когда там самый разгар?

Он посмотрел на часы.

— Сегодня, правда, холодно, а так они чуть свет там собираются. Сейчас без четверти. В самый раз попадешь. Если только они холода не побоятся.

В целях маскировки я надел старую синюю куртку и свою английскую капитанку, рассчитывая, что как в ресторане никто не приглядывается к лакеям, так и в портовом городе на моряка не положено пялиться, он безлик, и в обдуманном образе действий его не заподозришь: самое большее — напьется или угодит куда следует за драку. Таково, во всяком случае, общепринятое мнение относительно моряков. Я это дело проверил на себе. Что может случиться? Самое худшее — услышишь вдруг начальственно-ласковый голос: «А почему вы не на судне, матрос? Заберут в каталажку, застрянете на берегу. Что хорошего-то, а, матрос?» И через пять минут этот блюститель вас

и не узнает. Единорог и лев у меня на околыше только увеличивали мою анонимность. Но тех, кто захочет проверить эту теорию на практике, предупреждаю: такие вещи можно делать только в портовых городах.

— Ты откуда? — спросил шофер совершенно без всякого интереса.

— Из Ливерпуля.

— А, цинготник! Ну, это еще ничего. Вся смута от нью-йоркских евреев идет, пропади они пропадом.

У меня вдруг появился акцент, хоть и английский, но не имеющий никакого отношения к Ливерпулю.

— Что? Евреи? Какая же от них смута?

— Мы, друг любезный, сами знаем, как с этим управляться. Все довольны, везде мир и лад. Да я даже люблю черномордых. А нью-йоркские евреи, будь они прокляты, приезжают сюда и мутят их. Сидели бы у себя в Нью-Йорке, и ничего бы такого не было. В расход их надо выводить.

— То есть линчевать?

— Вот именно.

Он высадил меня на углу, и дальше я пошел пешком.

— Ты близко-то не лезь, — крикнул он мне

вслед. — Издали тоже потеха, а соваться в самую гущу нечего.

— …спасибо, — сказал я, убив в зародыше слово «большое», невольно просившееся на язык.

Подходя к школе, я очутился в людском потоке — все белые и все идут туда же, куда и я. Люди шагали деловито, точно на пожар, который уже давно занялся, на ходу похлопывали руками по бедрам или совали их за борт куртки, и у многих под шляпами были повязаны шарфы, закрывающие уши.

Через улицу напротив школы стояли деревянные загородки, чтобы сдерживать толпу, и полисмены прохаживались перед ними взад и вперед, не обращая внимания на шуточки, которые отпускались по их адресу. У дверей школы никого не было, однако вдоль тротуара, ближе к мостовой, на равном расстоянии друг от друга торчали федеральные приставы в штатском, но с повязками на руках для опознания. Револьверы, упрятанные благопристойности ради с глаз долой, оттопыривали им пиджаки, а глаза их нервно шныряли по сторонам, изучая лица в толпе. Мне показалось, что меня они тоже обшарили, проверяя, завсегдатай я или нет, и, вероятно, сочли чем-то не заслуживающим внимания.

Где стоят «заводилы», я догадался по тому, куда напирала толпа, стараясь подойти к ним поближе. Место у них было, видимо, облюбованное, постоянное — у деревянных загородок, как раз напротив школьной двери, и там же поблизости полисмены топтались кучкой на тротуаре и похлопывали рука об руку в непривычных для них перчатках.

Меня вдруг сильно толкнули, и я услышал крики:

— Идет, идет! Пропустите ее… Назад давайте, назад. Пропустите ее. Где же ты была? Опаздываешь в школу. Где ты была, Нелли?

Звали ее как-то по-другому. Настоящее имя я забыл. Она протискивалась сквозь тесноту толпы совсем близко от меня, и я успел рассмотреть, что на ней было пальто из нейлона под мех, в ушах — золотые серьги. Роста она была невысокого, но полная, с большим бюстом. Так лет под пятьдесят. Пудра лежала у нее на лице таким густым слоем, что по контрасту двойной подбородок казался совсем темным.

Женщина свирепо улыбалась и прокладывала себе путь сквозь бурлящую толпу, держа высоко над головой — чтобы не измять — пачку газетных вырезок. Рука с вырезками была левая, я

посмотрел, есть ли на ней обручальное кольцо, и такового не обнаружил.

Я было пристроился следом за этой женщиной, рассчитывая, что меня понесет в ее кильватере, но началась давка, да к тому же мне было сказано предостерегающим тоном:

— Тише, моряк, тише. Думаешь, одному тебе хочется послушать?

Нелли встретили приветственными криками. Сколько их тут собралось, этих «заводил», я не знаю. Между ними и напиравшей сзади толпой демаркационной линии не было. Я только видел, что несколько женщин передают друг другу газетные вырезки и читают их вслух, подвывая от восторга.

Потом в толпе почувствовалось беспокойство, как в зрительном зале, когда вовремя не поднимают занавес. Мужчины, стоявшие вокруг меня, стали поглядывать на часы. Я тоже сверился со своими. До девяти не хватало трех минут.

Спетакль начался без задержки. Вой сирен. Полисмены на мотоциклах. Потом у школьного подъезда остановились два огромных черных автомобиля, набитые здоровенными мужчинами в светлых фетровых шляпах. В толпе будто переста-

ли дышать. Здоровенные маршалы[34] вылезли из машин — четверо из каждой, и откуда-то из недр переднего автомобиля извлекли малюсенькую негритянскую девочку в белоснежном накрахмаленном платье и в новых белых туфельках, таких маленьких, что ступни ее казались почти круглыми. Белоснежное платье резко подчеркивало черноту лица и тоненьких ног малышки.

Здоровенные маршалы поставили ее на тротуар, и сразу по ту сторону деревянной загородки закричали, заулюлюкали. Маленькая девочка не смотрела на воющую толпу, но сбоку мне было видно, что белки у нее выступили из орбит, как у испуганного олененка. Маршалы повернули девочку кругом, точно куклу, и странная процессия двинулась по широкому тротуару к зданию школы — здоровенные маршалы и между ними ребенок, казавшийся совсем лилипутом от такого соседства. Малышка шла, шла и вдруг ни с того ни с сего подскочила, и, по-моему, я понял, в чем тут было дело. За всю свою жизнь эта девочка, вероятно, и десяти шагов не сделала без того, чтобы не подпрыгнуть, но сейчас первый же ее прыжок оборвался, словно под какой-то навалив-

[34] Примечания: 34

Государственные чиновники, назначаемые в некоторых американских городах для выполнения административных и судебных функций.

шейся на нее тяжестью, и маленькие круглые туфельки перешли на размеренный шаг, нехотя ступая между рослыми конвоирами. Процессия медленно поднялась по ступенькам и скрылась за школьными дверями.

В газетах писали, что издевательские выкрики и шуточки на этих спектаклях жестоки, а порой и непристойны, и так оно и оказалось, но главное было еще впереди. Толпа ждала, когда появится белый, осмелившийся отдать своего белого ребенка в эту школу. Наконец белый появился на тротуаре, охраняемом полицией, — высокий, в светло-сером костюме, и он вел за руку своего перепуганного сына. Отец был весь напряжен, как стальная пружина, натянутая до предела; лицо мрачное, серое, глаза смотрят вниз, под ноги, на скулах четко проступающие желваки. Человек, которому страшно, человек, который только усилием воли сдерживает свой страх, как искусный всадник, принуждающий пугливую лошадь к повиновению.

Послышался чей-то пронзительный, скрипучий голос. Кричали не хором. Женщины солировали по очереди, и после каждого такого соло толпа разражалась ревом, воем и одобрительным свистом. За этим они и пришли сюда,

вот это им и хотелось видеть и слышать.

Ни одна из газет не приводила слов, которые выкрикивали женщины. Говорилось только, что они не совсем скромные, кое-где их даже называли непристойными. В телевизионных передачах этих «спектаклей» звуковую дорожку приглушали или же делали врезку из шума толпы. Но теперь я сам слышал эти слова, мерзкие, похабные — слова-выродки. За долгие годы моей жизни, отнюдь не изнеженной, я порядочно наслушался и насмотрелся блевотины, которую изрыгают дьяволы в образе человеческом. Почему же эти вопли так потрясли меня и вызвали во мне чувство гнетущей горечи?

Когда такие слова написаны, они грязны, они обдуманно, намеренно непристойны. Но здесь оказалось нечто худшее, чем грязь, это был страшный шабаш ведьм. Вспышек исступленной злобы, безудержной ярости я здесь не слышал.

Может быть, это и вызвало во мне томящее чувство тошноты. Не было тут ни определенного плана действий, ни какого-нибудь принципа — дурного или хорошего. Толстые бабы в маленьких шляпках и с газетными вырезками в руках всеми силами старались привлечь внимание к себе. Они хотели, чтобы ими восхищались. Они

отвечали на аплодисменты блаженными улыбочками, почти невинными в своем простодушном торжестве. Бессмысленная, чисто ребяческая в своем эгоизме жестокость — вот что тут главенствовало, и это оголтелое скотство еще больше надрывало мне сердце. Это были не матери и даже не женщины, а одержимые актерки, играющие перед одержимыми зрителями.

Люди за деревянной загородкой ревели, кричали «гип-гип-ура!» и на радостях угощали друг друга тумаками. Нервничающие полисмены прохаживались взад и вперед, следя, как бы загородку не повалили. ИХ плотно сжатые губы то и дело расползались в улыбке, но они тут же сгоняли ее с лица. На противоположной стороне улицы неподвижно стояли маршалы правительства Соединенных Штатов Америки. Ноги человека в сером костюме вдруг заторопились, но он сдержал их усилием воли и зашагал дальше, к дверям школы.

Толпа замолчала; наступила очередь следующей солистки. Голос у этой был по-бычьему низкий, зычный, со взлетами на концах фраз, как у балаганного зазывалы. Вряд ли стоит приводить здесь ее словеса. Набор их был тот же самый, разница заключалась только в ритме речи и

тембре голоса. Каждому, кто был когда-нибудь хоть мало-мальски причастен к театру, стало бы ясно, что эти речи весьма далеки от импровизации. Их составляют заранее, заучивают наизусть и тщательно репетируют. Это было театрализованное зрелище. Я следил за сосредоточенными лицами в толпе — так слушают только в театре. И аплодисментами здесь награждали за исполнение ролей.

Меня всего передергивало от томительного чувства тошноты, но я не позволял недомоганью ослепить себя, потому что было бы обидно попусту проделать такой длинный путь. И вдруг меня осенило: нет, тут что-то неладно, есть тут какой-то перекос, какая-то диспропорция. Я знал Новый Орлеан, в этом городе у меня были давнишние друзья — люди мыслящие, сердечные, выросшие в добрых традициях. Я вспомнил гиганта Лайла Сэксона, вспомнил его негромкий смех. Сколько дней я провел с Руарком Брэдфордом, с тем, кто взял у Луизианы ее краски и звуки и сотворил Зеленые пастбища и господа бога, который ведет нас туда[35]. Я стал искать похожие лица в толпе и

[35] Примечания: 35

Р. Брэдфорд — современный американский писатель, автор книги рассказов «Старый Адам и его дети», по которой был поставлен спектакль «Зеленые пастбища».

не нашел ни одного. Те, что были здесь, мне тоже известны. Они воют, одержимые жаждой крови, на матчах по боксу, доходят до оргазма, когда бык поднимает матадора на рога, похотливо глазеют на автомобильную катастрофу, тупо выстаивают длинную очередь, лишь бы посмотреть на чьи-то муки, чью-то агонию. Но где же другие — те, кто с гордостью сказал бьг «Мы такие же, как этот человек в сером костюме»? Где же те, чьи руки рывком протянулись бы к испуганной черной девчурке?

Я не знаю, где они. Может быть, им не меньше, чем мне, мучительно чувствовать свою беспомощность? Как бы там ни было, но мир по их вине получит ложное представление о Новом Орлеане. Толпа теперь, должно быть, разбежится по домам смотреть самих себя по телевизору, и то, что они увидят на экранах, обойдет весь свет, а другой Новый Орлеан, который, как я знаю, существует, не скажет ни слова в свою защиту.

Эрскин Колдуэлл
ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК АМЕРИКИ

РИМ-ВЭЛЛИ, КАЛИФОРНИЯ

Среди всех разнообразных характеристик, приложимых к Соединенным Штатам, возможна и такая: это страна, где живут люди, по счастью довольные собственной жизнью, и люди, по праву недовольные существующим порядком вещей. Из этого исходил я, когда решил провести целое лето, в разъездах и наблюдениях, надеясь, что встречи с различными людьми на их родной почве помогут мне разобраться в причинах такого довольства и недовольства.

Когда все время колесишь по стране, переезжая с места на место, это дает простор наблюдениям — меняется климат, меняются люди вокруг, видишь этих людей и за делом, и на досуге, что позволяет судить о многом. Но в положении странствующего наблюдателя есть и оборотная сторона: ведь несколько часов, пусть даже несколько дней — срок слишком ничтожный, чтобы как следует узнать человека, сойтись с ним на короткую ногу.

Конечно, картина современной жизни США, в ее социальном, экономическом, политическом, нравственном аспектах, складывается в такой поездке из личных впечатлений наблю-

дателя и не свободна от обычных человеческих пристрастий. Но каждый, кому приходилось путешествовать по Америке, знает, как много нового, неожиданного встречаешь всякий раз наряду со свидетельствами цепкости пережитков старины; а ведь то, что сам видел или слышал, куда убедительней любых философских или моралистических умозаключений.

Мне не в новинку путешествовать по родной стране; за полстолетия я во всех направлениях изъездил Америку на автобусах, легковых машинах, поездах и самолетах. Раз начав эти странствия с юга на север и с запада на восток, я повторял их ежегодно, а иногда и по нескольку раз в год.

Вполне естественно — особенно если речь идет о стране, находящейся, как Америка, постоянно в процессе перемен, — что самое последнее путешествие всегда самое памятное. И сейчас, когда я отсюда, с гор, высящихся над долиной Рим-Вэлли, мысленно возвращаюсь назад, мне кажется, что лучше всего будет собрать кое-какие разрозненные мысли и впечатления и рассказать о них по порядку.

...При всех похвальных проявлениях патриотизма американцы поражают своей местниче-

ской ограниченностью, когда дело касается того определенного штата, в котором они имеют честь проживать. Иному ревнителю местной славы ничего не стоит пустить в ход кулаки, если кто-то осмелится утверждать, что в соседнем штате земля родит больше репы или что в парке чужого университета насчитывается больше кленов.

Мало того, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе есть почтенные граждане, которые похваляются, что ни разу в жизни не заезжали восточнее Чикаго, а в Балтиморе и Филадельфии вы можете встретить старожилов, гордых тем, что никогда не бывали западнее реки Миссисипи.

Почтмейстер одного городка в Нью-Хэмпшире, расположенного меньше чем в миле от вермонтской границы, без колебаний изложил нам мотивы, по которым он предпочитает эту границу не пересекать:

— Положим, отправлюсь я в свой выходной день туда, и меня там примут за вермонтца — да я ж вовек не забуду такого позора! А ведь это очень даже легко может случиться: вермонтцы такие олухи, что не умеют отличить наших от своих. А вы знаете, как они честят ньюхэмпширцев, когда думают, что никто посторонний не слышит? Спорить же с ними — гиблое дело, ведь всякий знает,

что вермонтцы родятся на свет головой вперед и все в эту голову уже вколочено раз и навсегда. Так что мне только и останется, что слушать да молчать, а потом вернуться в Нью-Хэмпшир и до конца дней жить с этим позором в душе.

Еще сравнительно недавно среди коммивояжеров и студентов считалось особым шиком стянуть в гостинице полотенце ценой в пятьдесят центов и потом с гордостью демонстрировать его друзьям и знакомым в качестве сувенира. Сейчас, в наш век придорожных мотелей и машин, на которых можно дать тягу со скоростью шестьдесят миль в час, модным объектом воровства стали двухсотдолларовые телевизоры. Но на подобные кражи студенты или коммивояжеры уже не идут; похитителями, как правило, оказываются отпускники и туристы.

Не часто удается поймать такого вора с поличным, но в тех случаях, когда это удавалось, на скамью подсудимых попадали банковские кассиры, продавцы из больших магазинов, сборщики мостовой и дорожной пошлины — словом, люди, на работе обязанные до последнего гроша отчитываться в деньгах, проходящих через их руки.

Вот что рассказал мне один содержатель мотеля в Колорадо по поводу участившихся краж

телевизоров:

— У меня останавливаются туристы высшего разряда, из тех, что готовы заплатить несколько лишних долларов за удобства, которые они здесь находят. В частности, телевизор в каждой комнате: приходится ведь тянуться за конкурентами, иначе не продержишься. За два года с тех пор, как я открыл этот мотель, если и бывало, что гость смоется, не расплатившись, — так это один случай из ста. Я никогда не требую денег вперед — человек может увидеть в этом недоверие и обидеться. А тогда он не только сам больше ко мне не заедет, но и знакомых будет отговаривать. В нашем деле дурная слава — зарез.

Но, между прочим, в прошлом году у меня пропало одиннадцать телевизоров, да и в этом году уже семь штук, причем ни один вор не уехал, не расплатившись за комнату. А что сделаешь? Даже полицию не пошлешь вдогонку, ведь телевизора может и не оказаться в машине, мало ли где его успели спрятать. Да если б и обнаружился телевизор, попробуй докажи, что он украден у тебя. А не докажешь — еще сдерут с тебя за ложное обвинение.

Религиозная концепция загробной жизни всегда держалась на пессимистическом страхе

вечного проклятия и адских мук, но за последнее время в англиканской церкви возобладала оптимистическая философия гарантированного блаженства на том свете. Однако страх перед неведомым, как видно, заложен в человеческой природе, и, с тех пор как ослабела угроза геены огненной, люди стали бояться гибели от вполне реальной бомбы.

Вот как рассказывал об этом новом, современном страхе пожилой лавочник из Теннесси:

— Яс детства был приучен по воскресеньям ходить в церковь, как оно было заведено у нас в городке, и в самостоятельную жизнь вступил я человеком набожным. Потом началась война, я как-то поотвык от церкви и за много лет не слыхал ни одной воскресной проповеди. Мне они были ни к чему. Не то чтобы я там атеистом сделался или что-нибудь в этом роде. Просто у меня были свои личные понятия о жизни, и я вполне ими обходился.

Но вот в газетах начали писать про атомную бомбу и про всякие другие бомбы, которые уже изобрели или еще только собираются изобрести. И все твердят, что несколько таких бомб довольно, чтобы целую страну смести с лица земли. Страшно даже подумать о таком, а чем больше

читаешь да слушаешь, тем страшней становится. Я в конце концов стал сам не свой от страха: вечером не могу уснуть — боюсь, что не доживу до утра, а утром проснусь — начинаю бояться, что уж наверняка не доживу до вечера.

Ну вот, иду я однажды мимо церкви и вижу объявление, что в церковном подвале оборудовано бомбоубежище — подвал в нашей церкви большой, глубокий, с толстыми стенами. С того дня я и сделался опять усердным прихожанином, ни одной воскресной проповеди не пропускаю. Конечно, для всех в подвале может и не хватить места, но уж я позабочусь, чтоб быть одним из первых.

Кое-где в Америке проституция узаконена, в других местах на нее глядят сквозь пальцы, в городах с большим населением существуют профессиональные «девушки по вызову», и в любом баре и коктейль-холле страны можно найти «девушек для знакомства». Что касается старомодной уличной проститутки, то при современном уровне гражданской добродетели она низведена на положение перемещенного лица, безнадежно отставшего от требований профессии.

Самая многочисленная и поистине вездесущая

из перечисленных категорий — это «девушки для знакомства», излюбленным местом сбора которых является коктейль-холл при гостинице, кабачок где-нибудь в тихом переулке или бар придорожного мотеля. Секретарши днем, беглянки ночью или разведенные жены во всякое время суток, они готовы к услугам за выпивку, ужин, пару чулок и деньги на такси — в таком количестве, что их и за месяц не проездить.

Один бармен из Луизианы, тридцать лет из своих пятидесяти простоявший за буфетной стойкой, объяснял мне, что жизнь давно научила его принимать без оговорок существующий порядок вещей и менять свое отношение он не собирается.

— Не мое это дело — судить девушек, которые здесь собираются. А если вы меня спросите, я скажу, что по нынешним временам они ничем не хуже других. Попробуйте встать на мое место да понаблюдать за ними из вечера в вечер — вы и не подумаете никогда, что они ходят сюда только затем, чтобы подцепить мужчину и выжать из него, что удастся. Они не сквернословят, не напиваются и не дают мужчинам особенно вольничать, пока сидят здесь. Так что полиции не так-то просто обвинить их в приставании к муж-

чинам в публичном месте — улик недостаточно.

Разве ж это все не говорит в их пользу? И во всяком случае, они куда приличнее обитательниц тех домов, что когда-то стояли в конце улицы.

Вот только об одном я думаю: что, если такая особа захочет переменить свой образ жизни и выйти замуж? Правда, сами они вроде бы не беспокоятся на этот счет — что ж, может, я тут чего-то недопонимаю… Скорей всего, так. Наверно, они что-то знают такое, что мне невдомек. Может, мир очень изменился с тех пор, как я был молодым, и нынешний мужчина наперед уверен, что такой девушки, какую ему хотелось бы, он не найдет, а значит, надо брать, что можно.

Есть в Джорджии, на полпути между Мэконом и Уэйкроссом, придорожный ресторан. Еще за пять миль большие рекламные щиты у шоссе предупреждают туриста, направляющегося во Флориду, что, не заехав в этот ресторан, он упустит единственный и неповторимый случай отведать такой жареной курятины и ветчины домашнего копчения, каких больше на всем Юге не найти.

Последний щит, украшенный изображением конфедерально-го флага, находится у ворот автомобильной стоянки, устроенной рядом с ре-

стораном, — сооружением из красного кирпича с белыми колоннами. Текст рекламы гласит, что и янки тоже приглашаются заехать и насладиться несравненным гостеприимством истинных южан.

Ровно в полдень, на стоянку въехала автомашина с номерным знаком одного из штатов Новой Англии. Сидевший за рулем негр вышел и направился к ресторану; в машине осталась его жена и трое детишек. Негр несколько минут постоял у двери, пропуская других туристов и вошел последним.

Владелец ресторана, все время следивший за негром из окна, тотчас же загородил ему дорогу.

— Нельзя, нельзя. Проваливай отсюда. Мы с вашим братом дела не имеем. Вон прочитай, что на щите написано, если грамотный. Мы оставляем за собой право обслуживать только тех, кого желаем. Тебя мы не желаем обслуживать. Так что проваливай. Тебе здесь не место.

Негр попятился к двери и спросил, нельзя ли ему получить пять готовых завтраков в пакетах для его семьи, которая ждет в машине.

— Ты что, глухой? Я же тебе сказал: мы с вашим братом дела не имеем. У меня ресторан для белых людей, а не для негров. Сказано тебе, проваливай

— вот и проваливай.

Негр спросил, нельзя ли ему получить бутылку молока для детишек, которые ждут в машине.

— Поезжай дальше, найдешь магазин какой-нибудь из крупных северных фирм с отделениями по всей стране, там тебе продадут все, что угодно. Этим янки все равно, кто у них покупает, платили бы деньги. А никто другой тут с черномазыми не торгует.

Зондирование общественного мнения, учет избирательских симпатий, выборочный опрос с целью выяснения общей политической атмосферы — таковы общепринятые теперь методы, на основе которых составляются научные прогнозы политических тенденций в Америке. В наше время ни один благоразумный претендент на президентский пост — все равно, признанный ли он фаворит или темная лошадка, — не рискнет выступить в качестве кандидата, не оснастившись солидными политикостатистическими данными, полученными с помощью электронной вычислительной машины.

Более того, люди, искушенные в деле финансирования избирательных кампаний, прежде чем поставить на карту свои деньги и свой политический престиж, тщательно изучают процентные

показатели и анализируют числовой коэффициент. Да еще иной осмотрительный деятель возьмет в руки логарифмическую линейку и самолично проверит точность произведенных машиной расчетов.

И тем не менее сейчас, как и в старину, в любом уголке страны находится немало избирателей, которые остаются верны традициям века минувшего и упорно не признают современных методов выдвижения и избрания партийных кандидатов. Электронная машина, не рассчитанная на столь твердое проявление независимости, вынуждена регистрировать их в качестве неорганизованных избирателей. Но, как это хорошо известно многим неудачливым кандидатам, именно от этих избирателей и зависит порой тот небольшой перевес, который обеспечивает победу или определяет поражение.

В западном Канзасе я беседовал с фермером-хлебопашцем, одним из тех избирателей, что всегда сбивают с толку мастеров политических анализов и прогнозов.

— Шляются тут всякие, пристают с дурацкими вопросами — что я думаю об ООН, да к какой я принадлежу партии, да кто был бы лучшим президентом для нашей страны. В одной руке

книжечка, из которой они вычитывают все эти вопросы, а в другой большущий лист бумаги — записать то, что они рассчитывают от меня услышать. Но в конце концов оказывается, что записывать им нечего, и они от злости на стену лезть готовы. А я, между прочим, не молчал, я им говорил то, что, кажется, уже каждому должно быть ясно.

Элф Лэндон[36] — вот кто был бы таким президентом, лучше которого еще не бывало в нашей стране, если бы у американцев хватило ума проголосовать за него. Тогда бы никакого ООН не нужно было бы, если б Элфа Лэндона выбрали в президенты. И всей этой заварушки с Кубой и с Россией тоже бы не случилось, если бы Америкой правил Элф Лэндон.

Все это мелочи — случайные и незначительные по сравнению с важными событиями, совершающимися в мире, или с грандиозными бедствиями, такими, как пожар, землетрясение, наводнение, ураган, война, эпидемия, — и тем не менее они по-своему отражают кое-какие из бесчисленных граней современной американской жизни.

---

[36] Примечания: 36

Алфред Лэндон — кандидат в президенты США от республиканской партии, потерпевший сокрушительное поражение на выборах 1936 года.

Переход от старого к новому обычно незаметен, пока он не стал свершившимся фактом, но время от времени в каком-нибудь пустяковом обстоятельстве проявится вдруг направление происходящей перемены. Вот, например, в газетных киосках, на том месте, которое прежде занимали комиксы, вы теперь все чаще видите иллюстрированные журналы для женщин. Не говорит ли это о том, что современным американцам уже некогда разбирать, что написано на облачках, выходящих изо рта персонажей комикса, и они предпочитают картинки, непосредственно воздействующие на чувства без всякого сопроводительного текста.

Другой пример, показывающий, как меняется самый характер американского быта, — необычайная популярность телевизионных передач, ставших поистине общенациональным увлечением. Еще недавно вы слушали по радио Бинга Кросби или Гая Ломбарда и одновременно могли читать книгу. Но Эд Салливэн, Лоуренс Уэлк и состязания по реслингу требуют безраздельного внимания зрителей, и они, прикованные к телевизору, не успевают читать даже в те минуты, когда действие прерывается рекламой новейших желудочных пилюль или модного сорта мыла.

Но, по счастью, американцы не все еще сдали в архивы прошлого. Никакой напор пропаганды, никакие высмеивания и вышучивания не в силах изменить местных кулинарных привычек и пристрастий. Как и пятьдесят лет назад, на Юге едят мамалыгу, в Новой Англии — тушеных моллюсков; в атлантических штатах к мясу, птице и рыбе подают французский соус, а на Среднем Западе предпочитают кетчуп; на юго-западе гренки смазывают подливкой из чилийского перца, а на Тихоокеанском побережье любят пиццу, соевые бобы и рубленый бифштекс.

Приятно сознавать, что есть в жизни Америки хоть какие-то нерушимые, вековые устои.

СЕНТ-ДЖОНСБЕРИ, ВЕРМОНТ

Как выглядит жизнь в Соединенных Штатах Америки в шестидесятые годы нашего века?

Сплошное движение. Сплошное прозябание. Открыто всю ночь. Закрыто до начало сезона. Добро пожаловать, кто бы вы ни были. Только для белых. Вход для цветных. Непомерное богатство и отчаянная нищета. Агрессия и реакция. Благочестивая набожность и разнузданное беспутство. Покупайте сегодня, уплатите завтра. В рассрочку. В кредит. Кое-что за ничто. День проработал — за

день получил. Программы обдуманной ненависти и планы преданной дружбы.

Что нужно, чтобы во всем этом разобраться? Как приступить к делу?

Поездить и посмотреть, разумеется.

— Откуда лучше всего начать путь?

— С макушки страны.

А где эта макушка?

Сент-Джонсбери, Вермонт.

Почему Сент-Джонсбери?

Сент-Джонсбери только один в США, да и во всем мире. Это уже само по себе выделяет его в государстве, кичащемся тем, что считает все не иначе как на дюжины, гроссы[37] и миллионы.

И это единственная причина?

Нет. Уж если говорить правду, истинной побудительной причиной послужило то, что Сент-Джонсбери давно привлекал мое любопытство. Во-первых, своим названием, данным ему Итеном Алленом в честь простого человека, француза, который вовсе не был святым, хоть и имел в своем имени приставку Сент. Во-вторых, тем, что именно в Сент-Джонсбери Таддеус Фэрбенкс изобрел медицинские весы и тем положил

---

[37] Примечания: 37
Мера счета, равная 12 дюжинам.

начало чисто американской привычке, заставляющей миллионы толстяков каждое утро со злостью смотреть на шкалу этого прибора.

И вот моя жена Вирджиния уложила в дорожную сумку запас перьев, чернил и бумаги для рисования, а я вооружился пишущей машинкой, и, гонимые любознательностью, мы готовы проделать хоть двадцать пять тысяч миль, пересекая в разных направлениях четыре временных пояса США.

Чтобы побольше успеть за умеренный срок в нашей обширной стране, мы будем пользоваться поездами, автобусами, легковыми машинами и самолетами. А если окажется, что для того, чтоб попасть, куда нужно, и увидеть то, что интересно, лучше всего идти пешком, мы и пешком пойдем. Не увлекаясь, конечно, и помня о таких обстоятельствах, как гроза, дождь, пыльная буря, солнечный удар, снег, град, туман и волдыри на ногах.

Поскольку моя цель — набраться впечатлений от жизни в сегодняшней Америке и проверить, как отразятся на мне эти впечатления, я считаю самым верным способом при каждом удобном случае интервьюировать самого себя. Не говоря уже о таком очевидном преимуществе, как от-

сутствие риска что-либо переврать, этот способ исключает опасность подпасть под влияние чужих предрассудков. А мои собственные предрассудки, я уверен, достаточно крепки, чтобы вынести тяжесть любых впечатлений.

С такими благими намерениями я вышел в Сент-Джонсбери из прокатного автомобиля, на котором мы ехали от Берлингтона. Но я не мог предугадать, что нам вдруг повстречается добродушно улыбающийся туземец лет шестидесяти, с румяным, чуть одутловатым лицом, одетый в синие бумажные брюки, выцветшую желтую тенниску и мешковатый свитер красно-бурого цвета, и что этот туземец отнесется к нашему прибытию с большим интересом, чем можно было ожидать от торговой палаты или портье центральной гостиницы Сент-Джонсбери.

Он завел разговор, когда я опускал монетку в счетчик на автомобильной стоянке.

— Наконец-то я вижу первых приезжих в этом сезоне, а то, как уехали бостонские лыжники, так никто к нам сюда и не заглядывал. Что ж, охотно вам расскажу про наш город, Сент-Джо, как мы его называем.

Он бережно прижимал к себе пустое розовое пластмассовое ведерко литра на два, посуду из-

под мороженого или мыльных хлопьев, и меня заинтересовало, почему он так бережно с ним обращается, но неудобно было спросить об этом.

— Я вам приведу факт, не требующий доказательств. Калвин Кулидж учился здесь, в Академии Сент-Джонсбери, потому он и стал великим человеком. Все вермонтцы неразговорчивы, но у многих это оттого, что они по природе своей олухи и в академии не учились, а Калвин Кулидж был неразговорчив оттого, что знал цену словам и не любил тратить их по-пустому. Помните, какой он дал ответ, когда в Вашингтоне спросили, что он думает о новых президентских выборах? «Выставлять свою кандидатуру не намерен» — вот как он выразился, Калвин Кулидж. «Выставлять свою кандидатуру не намерен». Уменье пользоваться словом — большая заслуга, и научили его этому в Академии Сент-Джонсбери. А возьмите вы этого, как бишь его, Трумэна. Знаете, как он ответил на тот же вопрос? «Что до меня, так я больше выставляться не собираюсь». Уж не знаю, где он получил образование — если оно вообще у него есть, — но только не в Академии Сент-Джонсбери. «Выставляться не собираюсь!»

Он бережно перехватил розовое пластмассовое ведерко другой рукой и снова прижал его к себе.

Мне еще сильней захотелось узнать причину такого деликатного обращения с пустой посудиной, но спросить было по-прежнему неудобно. Он без всякой передышки заговорил уже о другом.

— А вот вам еще факт, не требующий доказательств: наша молодежь не остается в Вермонте, потому что в Бостоне, в Нью-Йорке и всяких других местах она преуспевает куда больше. Государству до зарезу нужны молодые вермонтцы, вот оно их и забирает одного за другим. Так уж издавна повелось. Мы воспитываем молодежь, а у нас ее забирают. Только олухи наши никому не нужны. Этого добра в Вермонте что ни день, то больше.

Помните, как было с адмиралом Дьюи? Его забрали у нас и отправили куда-то в Манилу, потому что шла война и нужно было спасать родину. И Бригхема Янга[38] забрали и отправили куда-то в Юту, потому что нужно было показать тамошним жителям, как один мужчина может управляться с целым десятком женщин, а то и больше, и притом сохранять в доме мир и порядок. Конечно, получается, в общем, что все, кто поумнее, уезжают в другие штаты, где можно

[38] Примечания: 38

Бригхэм Янг (1801–1877) — религиозный деятель, отстаивавший принципы многоженства, имел 27 жен.

разбогатеть и прославиться, а олухи остаются в Вермонте и плодят детей, так как ни на что другое не годны; и многие ропщут и требуют принять меры, чтоб было наоборот. Но ведь это противоречило бы интересам других штатов. А мы должны помогать другим штатам, так что пусть уж смекалистые молодые вермонтцы выручают их и теперь, как в свое время выручали Калвин Кулидж, и адмирал Дьюи, и Бригхем Янг.

Я указал на розовое пластмассовое ведерко:

— Для чего у вас эта штука?

Он терпеливо улыбнулся.

— Все приезжие меня спрашивают. Как начнется летний сезон, так до самого конца, кто бы ни приехал, всем это покою не дает. Да и зимой, в лыжный сезон, тоже. Когда-то, еще молодым парнишкой, я зарабатывал свои первые деньги на курортах и в летних лагерях для приезжих, и с тех пор завелась у меня думка: хоть раз пожить так, как живут на отдыхе те богатые люди, что приезжают в Вермонт из Бостона и Нью-Йорка. И вот я взял себе за правило каждую лишнюю монетку в пять, десять, пятнадцать центов бросать в посудину из-под варенья или сока, которую всегда держу под рукой для этой надобности. А бывает, туда и четвертак попадет, и даже долла-

ровая бумажка, если посчастливится урвать от себя столько. Наполнится посудина — я несу ее в банк и отдаю деньги в оборот до поры до времени, а банк мне платит за это четыре процента. Так я смог купить себе телевизор и совсем исправную машину, притом за наличные. Но у моего изголовья стояла еще одна посудина, куда я тоже откладывал кое-какие сбережения, потому что за все эти годы я так и не позабыл свою думку про отдых на курорте.

И вот сегодня утром я снес это хорошенькое ведерко в банк и сосчитал все свои денежки. Вместе с теми, что отданы в оборот, у меня теперь уже достаточно накоплено, чтобы осенью поехать отдыхать во Флориду. Говорят, там, во Флориде, очень рады людям с деньгами, ведь без них курорт прогорит, — вот я и поеду, поддержку коммерцию. Может, и там для приезжих все втридорога, как у нас летом, но будь я проклят, если потрачу хоть часть своих сбережений на вермонтском курорте. Не для того я копил деньги, чтобы платить за все по тем бешеным ценам, какие летом дерут с приезжих в Сент-Джонсбери и его окрестностях.

Счетчик щелкнул, и на нем выскочил красный флажок. Я стал шарить по карманам, но нигде не

нашел пятицентовой монеты.

Перехватив розовое пластмассовое ведерко другой рукой, мой собеседник опустил в щель пятачок и подмигнул мне.

— Не вздумайте только рассказывать кому-нибудь в Сент-Джонсбери. Люди решат, что я свихнулся, если узнают, что я свои деньги потратил на приезжего.

Когда он собрался уходить, я бросил в розовое пластмассовое ведерко четвертак. Бережно прижимая посудину к себе, он посмотрел на монетку и улыбнулся с довольным видом.

— Если и вы ненароком попадете осенью во Флориду, непременно разыщите меня. Я буду там, где останавливаются все богачи, разве только вовремя одумаюсь и оставлю деньги в вермонтском банке, чтобы получать свои четыре процента, как оно и пристало нам, олухам.

Только когда он уже скрылся из виду, мне пришло на ум, что слушать, как интервьюирует себя вермонтец, пожалуй, куда интереснее, чем интервьюировать собственную персону, и всего на двадцать центов дороже.

УЭЛЧ, ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ

Уважаемый господин Президент!

Двести пятьдесят миль по воздуху от Вашингтона-на-Потомаке до Чарлстона в Западной Виргинии, а затем два часа автомобильного пути до Уэлча на южной окраине этого штата — таково время и расстояние, отделяющие Вас от каменноугольного бассейна Покахонтас и Таг-Ривер. Миллионы тонн угля (ведь на Западную Виргинию приходится около одной трети всей угледобычи США) добываются здесь для металлургических заводов Питтсбурга, для электростанций, дающих ток всем городам от Балтимора до Бостона.

Но вот беда — на каждого работающего шахтера в этих краях приходится пятеро безработных. И это не ново. Такое положение существует уже десяток лет. Как ни странно, всякий подъем в угольной промышленности неизбежно сопровождается ростом безработицы. Причина в том, что механизация подземных работ уменьшает потребность в рабочих руках.

Шахтеры и их семьи отдают должное правительственной программе помощи безработным. Раздача талонов на дешевое питание, бесплат-

ный отпуск муки и бобов — все это очень хорошо в качестве временной меры, чтобы накормить неимущих и спасти от голодной смерти. Хорошо и то, что безработных по нескольку раз в неделю посылают сгребать песок на дорожных обочинах или серпом и косой очищать от сорняков полосу отвода и платят за эту работу доллар в час. Но подобные меры — все равно что монетка, опущенная в чашку слепого нищего; она свидетельствует о сострадании, и на нее можно купить что-нибудь поесть, но слепоты ею не излечишь.

Разрушительный ураган или сильное наводнение неизменно вызывают по всей стране искреннее сочувствие к пострадавшим. Щедро льются пожертвования — деньгами, продуктами, носильными вещами, и общественные деятели завоевывают себе славу, сокрушаясь о жестоком стихийном бедствии, причинившем столь неисчислимый ущерб жизни и имуществу сограждан.

А вот здесь, в угольных районах на юге Западной Виргинии, происходит экономическое и социальное бедствие, истощающее людские ресурсы США. Речь идет не о какой-нибудь малочисленной группе, но о тысячах мужчин, женщин, детей. Естественные богатства страны

находятся под защитой и охраной закона, леса и общественные угодья заботливо сохраняются, в заповедниках животного мира поддерживается строгий порядок. Национальные памятники делают честь стране — но ведь живые люди тоже кое-что значат. Жизнь на износ, которую влачат обитатели лачуг, лепящихся по отвесам скал и по склонам горных ущелий в треугольнике, образованном округами Минго, Макдоуэлл и Вайоминг (Западная Виргиния), — поистине трагическое явление в динамичной, процветающей, изобильной, как о ней принято говорить, Америке.

Уважаемый господин Президент! Для безработного шахтера не утешение и не помощь, если ему говорят, что он — безвинная жертва во многом неясных законов спроса и предложения, причины и следствия. Подобные разъяснения, как бы мягко они ни были сформулированы, не заменят ни работы, ни хотя бы минимального заработка. Безработный знает одно: шахта, где он проработал десять, пятнадцать, двадцать лет, закрылась и нет никакой надежды когда-нибудь снова найти там работу. Или же на ней установлено новое, высокопроизводительное оборудование, сократившее вдвое или втрое потребность в человеческом труде, — иными словами, он знает,

что его место заняли машины.

И это не единственный источник постоянной угрозы безработицы. Причин и следствий много. Нефть и газ оказались более экономичным топливом для жилых домов, учреждений и предприятий. Железные дороги, по которым перевозится уголь, и те перешли с паровой тяги на дизельную. Электростанции, работавшие на угле, почти везде уступили место гидротехническим сооружениям. А на очереди использование атомной энергии, которая окончательно вытеснит уголь.

Рассуждая теоретически, трудоспособному шахтеру, оставшемуся без работы, может быть предложено — в качестве разумного выхода — сняться с насиженного места и искать работу за пределами угольного района. Но на деле, если человек впервые спустился в шахту в восемнадцать или двадцать лет, а теперь ему уже за сорок или даже за пятьдесят, для него почти невозможно приобрести новую специальность и найти по этой специальности работу — предпочтение всегда будет отдано тому, кто на десять или на пятнадцать лет моложе и притом имеет стаж и профессиональную подготовку.

Конечно, и на шахтах южных районов Запад-

ной Виргинии работают люди, и минимальная ставка там, где действуют профсоюзные расценки,–24 доллара 25 центов за восьмичасовой рабочий день. Нельзя забывать, однако, о периодах перепроизводства и о сезонном свертывании работ. Шахтер, который в среднем работает три дня в неделю и теряет на сезонном простое всего три или четыре месяца в году, считает себя счастливым. Вряд ли у него есть текущий счет в сберегательной кассе или другие накопления, но, во всяком случае, он может платить тридцать долларов в месяц за квартиру, кормить и одевать семью, посылать детей в школу и надеяться, что угольная пыль, оседающая в легких, не сделает его инвалидом раньше шестидесяти лет, и тогда профсоюз Объединенных горнорабочих Америки будет платить ему пенсию по старости в размере семидесяти пяти долларов в месяц.

Но не всем выпадает подобное счастье. Если человек измучен безработицей, если в доме голод и болезни и если у него хватит сил и выносливости, чтобы лежа или скорчившись орудовать шестидесятифунтовым отбойным молотком в штреке восемнадцать-двадцать дюймов высотой, он, может быть, найдет себе место на шахте, где с профсоюзными расценками не считаются, и

ему станут платить по доллару с четвертью за тонну отгруженного угля. И если ему удастся проработать на этом месте пять или шесть недель в квартал, получая пятнадцать долларов за день, он по крайней мере может считать себя занятым. А если он и такой работы не найдет или она ему окажется не по силам, он пополнит собой ряды систематически безработных.

Уважаемый господин Президент! Работа на шахтах — опасная работа и в Западной Виргинии, и во всей Америке, и во всем мире. Каждый миг может произойти катастрофа. Спросите любого шахтера, и он, не задумываясь, ответит вам, что всякий раз рискует жизнью, спускаясь в шахту.

Когда на две-три мили уходишь под землю и восемь часов работаешь там, в глубине, никак нельзя думать о том, что может с тобой случиться. Сойдешь с ума, если будешь думать об этом там, в глубине. Вот и стараешься работать как можно быстрее, чтобы некогда было думать, что вдруг обвал, и ты захлопнут в ловушку, и не видать тебе больше белого света.

Вентилятор гонит туда, в глубину, свежий воздух, но стоит подумать о том, откуда этот воздух там берется, и сразу полезет в голову: а вдруг вентилятор испортится до конца твоей смены?

Или из-под отбойного молотка вылетит искра и попадет в газовый карман? Или отбойный молоток обломится и осколки брызнут тебе в лицо и ослепят тебя?

Вот почему там, в глубине, работаешь, как проклятый, без единой минуты передышки. Если дать волю мыслям, недолго потерять голову и убить себя этим же отбойным молотком. Не все, кто погибает в шахте, — жертвы взрыва или обвала. Человеку недолго повернуть отбойный молоток другим концом и пробурить собственное брюхо, если он не будет держать свои мысли на привязи там, в глубине.

Уважаемый господин Президент! Я много слышу и читаю о том, как восторженно встречают и правительства и народы разных стран идею организации Корпуса мира.

Но как необходимо было бы создать здесь, у себя в стране, внутренние Корпуса мира или Корпуса национальной службы для оказания такой же помощи многим гражданам Соединенных Штатов, вполне того заслуживающим! Я говорю о тысячах мужчин и женщин — жителях бедствующих районов, у которых есть только один путь к овладению ремеслом или профессией, чтобы получить возможность прокормиться своим

трудом, — это если об их обучении позаботится государство.

Новый миссионерский пыл нашего правительства, будучи обращен на людские ресурсы страны, явился бы надежным капиталовложением — при условии, что миссионеры будут направлены туда, куда следует, и что это будут люди, способные понять нужды тех, кто стал жертвой экономического или социального бедствия. Иначе говоря, это дело для мужей, а не для мальчишек. И если уж браться за подобное предприятие, нужно заранее исключить из программы уроки прополки сорняков, сгребания песка и разговорного французского языка.

Многие помнят еще Гражданский корпус по охране лесов и мелиорации, Управление работ общественного назначения и прочие благоглупости тридцатых годов. В наше время затеи такого рода не могут иметь успеха. Граждане США, оказавшиеся экономически или социально ущемленными, не склонны сгребать гнилые листья за мизерное пособие или строить отхожие места для кого-то, сами таковых не имея. Люди хотят найти средства и способы улучшить свои жилищные условия, хотят научиться ремеслу и приобрести профессию, хотят получить возмож-

ность содержать себя и уважать себя.

Округа Минго, Макдоуэлл и Вайоминг в Западной Виргинии имеют все основания быть избранными в качестве объекта для деятельности Корпусов национальной службы или как там они будут названы. Здесь — глубоко укоренившаяся хроническая безработица; здесь вместо жилых домов — хижины и лачуги; здесь среди круч и теснин не заведешь не то что коровы — даже курицы с цыплятами. В этом горном суровом краю редкий удачник тот, кому посчастливится вскопать две-три грядки под картофель или бобы.

Горы и ущелья создают величественный ландшафт, но мастеру-умельцу не найти здесь материала для обработки. Нелегкая будет задача — наладить ремесленное производство в этом уголке земли, где нет ни шерсти для тканья ковриков, ни кожи для разных поделок, ни пера для подушек, ни тряпья для лоскутных одеял.

Понадобится и время и труд, чтобы организовать и подготовить работоспособный Корпус национальной службы. А пока что кто не хочет виДеть, как расходуется впустую человеческая жизнь, пусть держится поближе к Бекли и Блуфилду и не ездит по узким дорогам вдоль горных

теснин. Это зрелище неприглядное даже для своих.

Джозеф Норт
ЗАБАСТОВКА ШОФЕРОВ ТАКСИ

3 апреля 1934 г

И вот целый день ты колесишь без передышки по улицам, а в пять часов смотришь на счетчик, и что же ты там видишь? Настучал один «солдат» (доллар). «Добрый мой боже, добрый Христос, — говоришь ты, — я должен сделать так, чтобы настучало еще три доллара, прежде чем отправляюсь в гараж». И ты носишься и кружишь по улицам и под конец приходишь в отчаяние. И тогда распахиваешь дверцу и говоришь: «Входи кто хочет. Любой». А кто войдет в машину? Одно приведение, конечно. И ты говоришь привидению: «Куда отвезти?» А приведение отвечает: «Вези меня вокруг Сентрал-парка». И ты возишь привидение вокруг Сентрал-парка, пока счетчик не настучит четыре целковых. Тогда ты просишь деньжат у привидения. А при-

видение говорит тебе, что оно пусто, у него в кармане свистит ветер. Ты выбрасываешь привидение из машины и едешь в гараж. Там ты выкладываешь три своих кровных целковых, чтобы тебе не показали на ворота. А когда доберешься до дома, жена говорит: «А деньги-то где?» И ты отвечаешь ей: «Сегодня я отдал их компании, чтобы не потерять место». Жена говорит: «Не потерять место… будь оно проклято. Ты кормишь компанию. Ладно, выбирай, муженек. Кого ты собираешься кормить? Меня или эту самую компанию?» И ты должен выбирать. В самом деле, друзья, кого вы собираетесь кормить: жену или компанию?

(Из баллады нью-йоркского таксиста)

У людей, которые всегда курсируют по улицам, зарабатывая на хлеб, свое отношение к дорогам. Они убеждены, что дороги принадлежат им. И когда эти люди, будь то водители такси или те, кто вообще работает на транспорте, начинают бастовать, у властей есть все основания ожидать на улицах и дорогах рожденную возмущением пиротехнику, в полном объеме. И пусть дубинка полисмена бьет от зари до полуночи, вышибить

веру из голов людей ей не под силу. Мэр города может поочередно то исходить лестью, то буйствовать с рассвета до сумерек, но те, кто трудится на улицах, все равно останутся на улицах. Они — хозяева всей улицы, а не только сточных канав на ее обочинах.

Сочный жаргон нью-йоркских таксистов рожден отчасти бытом трущоб, отчасти их вынужденным общением с типами, которыми населена ночная жизнь большого города, и, наконец, странными до причудливости условиями их ремесла. Так вот, на своем жаргоне они говорят: «Что?! Они, падаль, суки, велят нам уматывать с улиц? Начхать на них! Попробуй убери меня с улицы, крыса!»

Стачка шоферов такси Нью-Йорка — явление уникальное в истории американского рабочего движения. На сегодняшний день это самая крупная стачка во всех отраслях промышленности, и ее значение, ее последствия для всех тружеников Америки очень важны. Сорок тысяч водителей оставили свои машины ради того, чтобы организовать независимый, настоящий союз, ради того, чтобы вырваться из смирительной рубашки профсоюза компании. Они наиболее наглядно и ярко символизируют протест американских

рабочих, 700 000 которых втянуты в силки профсоюзов компаний. Протест против демагогии и обмана организаций, «представляющих интересы служащих».

…Трио полисменов расположилось бивуаком по ту сторону улицы. Рассвет застал их, когда они с хрустом ломали деревянные планки и кормили ими полыхавший костер. Три «фараона» с красными лицами — три «хари» — делали вид, что им нет никакого дела до таксистов, которые пикетировали гараж Папмели на углу 23-й стрит и Одиннадцатой авеню. Один из полицейских подобрал валявшуюся морковку и кормил ею покрытую попоной лошадь. Он демонстративно повернулся спиной к забастовщикам. По другую сторону улицы таксист Луи Чезнар с сандвичем из плакатов, хлопавших его по груди и спине, искоса поглядывал на полисмена. «Семнадцать лет у меня вымогали деньги, — сказал мне Луи. — Никогда раньше не видел такой стачки. Самое красивое и интересное в ней, парень, — это то, что мы делаем историю для всего света. Глаза целого мира смотрят на нас, на шоферов Нью-Йорка».

Он шагал взад и вперед по тротуару, в кепке таксиста и видавшем виды пальтишке. Каждый раз, проходя мимо ворот гаража, он заглядывал

внутрь. «Что за картина! Что за вид! Нет, ты только взгляни на них, парень, ты только взгляни на них! Двести и еще пятьдесят машин, и все они толпятся у стен».

Блестящие, глянцевитые, сияющие чистотой автомобили, ряд за рядом, выстроились от стены до стены гаража. Фаланги великолепных машин словно замерли в каком-то жутком, противоестественном бездействии.

Переходя от одного гаража к другому, мы с Луи обошли в то утро весь Нижний Манхэттен. По очереди сами стояли в пикетах и проверяли, как идут дела у забастовщиков. Полицейские машины с радиоустановками проносились вверх и вниз по Уэст-стрит. За бульваром призывно трубили из гавани океанские лайнеры. Первые грузовики уже громыхали, направляясь куда-то своей дорогой, но ни одно такси не катилось по улицам. «Посмотри на эту авеню, — радовался таксист Чезнар, — она чистая, будто ее вымыли».

Нью-йоркский таксист — человек, издавна преисполненный мятежного духа. Ярость его зрела исподволь. Каждый полисмен имеет право в любой момент распорядиться его машиной, привлечь для полицейской службы — и без выплаты компенсации. Городские власти повышают его

налоги, плату за лицензию, заставляют шофера вывешивать свое фото в машине, приклеивая ему ярлык полууголовника, личности, связанной с преступным миром. Задиристый и независимый по своей натуре, он негодует и возмущается необходимостью жить на чаевые — ведь это всегда несет в себе привкус нищенства. Он нигде не находит заступников — ни у прессы, ни у правительства; и для чего же в таком случае они избирали в мэры Фиорелла[39], который сам себя объявил «другом» шоферов?

Водители такси, если их рассердить, злые люди. Как и все рабочие, которым пришлось долго терпеть, они не отличаются особой изысканностью в обращении со скэбами или собственностью компании. В ходе этой забастовки они выработали свои правила действий. «Воспитательный комитет» («учителя получше, чем профессора из Йельского университета») — это линия пикетчиков, хорошо приспособленных к ведению забастовки такого рода в условиях большого города.

Шоферов-скэбов останавливает красный свет, и тут-то они зачастую и встречаются с целым ко-

[39] Примечания: 39

Фиорелло Лагардия — один из «великих либералов» 30-х годов, избранный мэром Нью-Йорка после широковещательных обещаний.

митетом «профессоров», которые их поджидали. Кроме звучных обращений, вроде «Крыса!» или «Падаль!», скэб может получить более серьезное наказание, сорванную дверцу, например, или даже увидеть свою машину в языках пламени — этот фокус проделывает зажженная спичка, брошенная в мотор под кожух.

На одном из митингов я стал свидетелем того, как выступал таксист-негр от имени забастовщиков Гарлема.

«Парни, — сказал он, — когда вы говорите, что вы с нами, поймите: это должно быть честно. Поймите это всем сердцем!

Нас обманывали и обжуливали с тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Поэтому докажите нам: ведь мы из Миссури[40] Если вы покажете ребятам там, в Гарлеме, что говорите честно и понимаете, что значат ваши слова, то рядом с вами станет самая лучшая в мире боевая команда; ребята, что водят такси там, в Гарлеме, смогут кое-что сделать — они смогут бороться!»

В воздух полетели кепки. Шофер-негр показал рукой, что просит тишины. «Когда мы боремся вместе, когда мы — черные и белые — вместе, лю-

---

[40] Примечания: 40

Поговорка «Я из Миссури» означает: не верю на слово, дайте пощупать.

ди, да они никогда не смогут остановить нас!..»

После этих слов вспыхнула овация; овацию устроили рабочие, лишь недавно политически неграмотные, и она была бурной. Она означала для меня вот что: упорно вносимые в пролетарскую среду предрассудки, внедряемая в нее ненависть могут исчезнуть за один вечер, когда общая борьба потребует солидарности.

Вернувшись после митинга в штаб забастовщиков (необходимо было поднять перчатку, брошенную шеренгами «синих мундиров», всадниками, автомобилями с радиопередатчиками и ревущими грузовиками), таксист Чезнар обессиленный рухнул на скамью. «Э-эх, прикорнуть бы на пару часиков, — простонал он. — Я уже трое суток на ногах».

Здоровый курносый парень-ирландец — его называли Пондзи — рассказывал о приеме, который встретили таксисты у делегатов окружной конференции коммунистов в Колизее прошлым вечером: «Мы вошли, и коммунисты будто взорвались. Они встали — и много же их там собралось — и начали петь. Мы поднялись на площадку, и они направили на нас прожектор». Толпа вокруг Пондзи слушала его внимательно. «Потом, когда они дошли до припева, они сделали нам комму-

нистический салют». Его левый кулак — а на него стоило взглянуть — взлетел вверх; движение напоминало стремительный аперкот. «Знаете, что у них за салют? — спросил он, оглядывая помещение. — Хук слева»[41]. И он показывает его снова и снова. Другие в комнате смотрели на него и тоже пытались повторить его движение. Я заметил, как юноша с веточкой вербы на лацкане пиджака (было вербное воскресенье) делал «хук слева». «И потом, — закончил Пондзи свой рассказ, — они стали собирать деньги. Люди, они нагребли столько монет… Почти три сотни целковых дали нам эти красные».

У парня с веточкой вербы удивленно поднялись брови. «Три сотни целковых! — Он сделал несколько „хуков слева“ в воздух. — Если коммунисты с нами, то и я с ними. Левый удар!» — кричал он. Другие подхватили хором: «Левый удар… Левый удар…»

Когда печатаются эти строки, владельцы таксомоторных парков действуют через свои профсоюзы, требуют ареста Орнера и Джильберта[42]

---

[41] Примечания: 41

Пондзи ошибся: коммунисты поднимали в знак приветствия сжатый кулак правой руки. — *Прим. авт.*

[42] Примечания: 42

Руководители забастовки.

по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Им грозит смерть, и все сорок тысяч водителей такси добровольно стали их телохранителями. Арестовано сто забастовщиков, многих шоферов избили почти до потери сознания, другие — в больницах… Это открытая классовая война на улицах нашего семимиллионного города.

Кто же такие коммунисты?

13 июня 1948 года

Недавно я побывал у себя на родине, в штате Пенсильвания. В городе моего детства встретились выпускники нашей средней школы. Я получил несколько писем с приглашением провести вечер со школьными товарищами, с теми, кто были моими одноклассниками четверть века назад. Много времени прошло с тех пор, как мы незаметно исчезли из жизни друг друга, и в первые минуты встречи все испытывали какую-то неловкость и выглядели смущенно. Эти первые минуты прошли в нелегких усилиях распознать своих когда-то юных однокашников в почтенных мужчинах, у которых как-то нелепо и смешно раздалась вширь талия или напрочь исчезла копна волос. Мы изумленно глазели один на другого, с трудом прикрывая по-дружески грубо-

ватым смехом унылый испуг перед неумолимым временем.

Я разглядывал их, моих дорогих однокашников, людей моего поколения. Сентиментальный момент в биографии, но, что касается меня, я всегда отдавал должное сентиментальности.

Что предложила жизнь нам, полным надежд юнцам шумного и велеречивого времени Вудро Вильсона? Я размышлял над жизненным путем, который мы прошли: от президентства Гардинга через годы правления Кулиджа до принесшей стране опустошительное разорение эры Гувера, которого когда-то величали «Великим строителем» А затем «великая депрессия», эра Франклина Делано Рузвельта, вторая мировая война и, наконец, тревожный 1948 год.

Мы устроились в маленькой таверне; в ней, если верить хорошо знакомой с детства мемориальной доске, когда-то ночевал сам Джордж Вашингтон. Заказали виски с содовой и льдом — то, что обычно подают в высоких бокалах. И мой старый друг, чокаясь с нами под мелодичный перезвон тонкого стекла, запел «Добрые старые времена».

Чуть позже он наклонился над столом:

— Послушай, это правда, Джо? Мне сказали, что

ты работаешь в коммунистической газете.

— Работаю, Джордж, — ответил я.

— Но ведь это значит, что ты коммунист. Неужели правда?

— Правда, — сказал я.

Он откинулся назад и какое-то время рассматривал меня. В его взгляде сквозили озадаченность и вместе с тем насмешливое любопытство.

— Ты был довольно шустрым и ловким парнем двадцать пять лет назад. Что же, скажи на милость, заставило тебя пойти такой дорогой?

И тут началась беседа, которую лишь на рассвете прервало закрытие ресторана.

— Я решительный противник коммунизма, — предупредил Джордж. — Хотя, — добавил он великодушно, — готов признать, что многого в нем не знаю или не понимаю.

Прежде всего ему хотелось знать, почему же я стал коммунистом.

— У тебя были такие же шансы, что и у меня. Мой отец работал на паровозостроительном заводе. И твой тоже. Ты хорошо учился. И я тоже. Оба окончили колледж. Меня вполне устраивают порядки в нашей стране. Мне нравится моя страна. Мне по душе ее система. И я не могу считать себя неудачником. Получаю жалованье без малого

пять тысяч долларов в год. Построил уютный и чистенький домик в пригороде, обзавелся изумительной женой, автомобилем, двумя здоровыми парнишками. Теперь они ходят в колледж. Ты мог бы иметь то же самое. Может, так оно и есть. Но скажи мне бога ради, почему ты коммунист?

Мы снова заказали виски с содовой, и Джордж наклонился над столом, извиняясь.

— Прости, если я, ну как бы сказать, слишком влезаю в душу… Я не за тем. Я просто хочу узнать. Ты меня понял?

— Прежде всего хочу сказать вот что, — начал я свою ответную речь. — Не верь россказням, будто коммунист не любит свою страну. Нет ничего «чужого», «иностранного» в вере в социализм. Разве не близки его идеи тем идеям, что сидели в головах американцев еще сто лет назад? Известно ли тебе, Джордж, что коммунисты в нашей стране были задолго до создания республиканской партии?

Он посмотрел на меня недоверчиво и скептически, а потом расхохотался. Я повторил свои слова.

— Ну что ж, это новость для меня, — сказал он. — Я никогда не слышал такого. Никогда прежде.

Я от души порекомендовал ему книгу, где все об этом хорошо написано: Филипп Фонер, «История рабочего движения в Соединенных Штатах»[43], и сказал, что, если книга его интересует, я могу прислать ее. Он поколебался минуту-другую, а потом согласился.

Я подробно рассказал Джорджу, как глубоки корни социализма в американской почве. Я говорил о Роберте Оуэне, социалисте-утописте, который дважды в 1825 году выступал в палате представителей. Президент Монро и избранный, но еще не вступивший в должность президента Куинси Адамс специально приходили послушать человека, который мечтал о мире, где народ будет контролировать производительные силы общества.

— Самые светлые умы тех дней были сторонниками нового образа жизни, — сказал я. — Такие люди, как Ральф Уолдо Эмерсон, Натаниел Хо-

[43] Примечания: 43

Филипп Фонер — известный прогрессивный историк США. Первые четыре тома его «Истории рабочего движения» изданы на русском языке.

торн, Джон Гринлиф Уитьер[44] и многие другие.

Я рассказал Джорджу об Иосифе Вейдемейере, друге Карла Маркса, который вступил в федеральную армию, в ряды северян, и получил свои офицерские эполеты от президента Линкольна. Вейдемейер, коммунист, приехал сюда из Германии в то же самое время, что и семья, из которой вышел Уэнделл Уилки, кандидат на пост президента в сороковом году, соперник Рузвельта.

Я рассказывал о коммунистических клубах, которые были основаны в 1857 году в Нью-Йорке и распространились по всей стране. Об истоках американского социализма — нашем рабочем движении, о Юджине Дебсе, о миллионе голосов избирателей, которые он получил в 1912 году.

— Так что, Джордж, ты видишь — есть множество оснований стать коммунистом в Америке. И в этом нет ничего нового, ничего антиамериканского. В конце концов, как ты думаешь, что мы, коммунисты, защищаем?

— Это ты мне объяснишь, — произнес Джордж.

— Если говорить совсем кратко, в нескольких

---

[44] Примечания: 44

Ральф Уолдо Эмерсон (1802–1882) — известный американский философ-идеалист и поэт, основоположник трансцендентализма; Натаниел Хоторн (1804–1864) — писатель, представитель американского романтизма; Джон Гринлиф Уитьер (1807–1892) — поэт-демократ, связанный с движением за освобождение негров от рабства.

словах, то это звучит так: общественная собственность на основные ресурсы страны и ведущие отрасли промышленности. Управление ими по плану в интересах народа и для его блага. И что же в этом такого плохого?

Он пожал плечами.

— Итак, Джордж, ты видишь, что были американцы, которые верили в социализм, верили в коммунизм за три четверти века до возникновения Советского Союза. Миллионы людей в Соединенных Штатах жили и умирали с мечтой о том, что наступит день, когда никто не сможет больше копить и тайно хранить огромные богатства. И очень многие не будут больше страдать от нечеловеческой бедности из-за кучки таких, как Джон Пирпонт Морган, Дюпон, владельцы «Дженерал моторс».

Джордж поморщился.

— Нечеловеческая бедность! — воскликнул Джордж. — Большинство у нас не умирает от голода. У нас самый высокий в мире жизненный уровень. Мы живем лучше, одеваемся лучше, чем кто-либо другой в мире. Верно? Я признаю, у нас есть бедные люди, и, конечно, больше, чем их должно быть. Бог тому свидетель. И я могу понять, если кто-то из них интересуется коммунизмом.

Но ты? Ты не рабочий. У тебя есть специальность, высшее образование. Как и у меня. У нас уйма возможностей. Почему же ты против нашей системы? Как это случилось? Что сделало тебя коммунистом?

— Это долгая история, — ответил я. — Великий марксист сказал однажды, что каждый человек приходит к коммунизму своей собственной дорогой. Да, прежде всего это — участие в борьбе рабочего класса, но коммунист беспокоится о всем человечестве, о всех рабочих людях, людях-созидателях, независимо от цвета кожи, их убеждений, их происхождения или того места, где они трудятся.

Да, по существу, это — движение рабочего класса, потому что он теперь восходящий класс, каким были когда-то и капиталисты. Теперь капитализм отжил свое, он бесполезен для человека. Сегодня он рождает в мире отчаянную бедность, депрессию и застой, ты знаешь, как приходит депрессия. Он рождает фашизм и войну.

— Как ты стал верить во все эти вещи? — упорствовал Джордж.

И я рассказал ему свою историю.

— В ней нет ничего необычного, многие американцы стали коммунистами по тем же причинам.

Ты помнишь, Джордж, я родом из рабочей семьи, и все свои школьные годы я работал. Летом — на судоверфи, потом — на текстильной фабрике. Как и ты, Джордж.

Он кивнул в знак согласия.

— Итак, я знал кое-что о рабочих. Я не мог забыть, что мой отец умер в тридцать восемь лет; он работал в цехе, где производили кислоту. Я до сих пор слышу шаги отца, в резиновых сапогах до самых бедер, помню, как он поднимал тяжелые бочки, которые надломили его здоровье. Я обычно приносил ему судок с обедом и видел своими глазами, как он шлепал по лужам смертоносной кислоты. Я не забыл и не забуду этого. Я помню очереди за благотворительным супом в девятьсот двенадцатом и тринадцатом, как раз перед первой мировой войной.

— Давно это было, — сказал Джордж.

— Погоди, — ответил я. — Это еще не все.

Я напомнил Джорджу о большом буме 20-х годов. О'кей. Новая эра: процветание, «просперити» навсегда. Гувер обещал каждому из нас автомобиль в гараже и курицу в супе. Только храни веру в свободное частное предпринимательство, в Уоллстрит — и мир превратится в лучший из возможных миров.

— Что ж, — продолжал я, — начнем с веры в Уолл-стрит? Так получилось, что мне после колледжа пришлось год поработать на Уолл-стрит. Случайно я получил место в конторе Кун-Леба. Как там говорили, «начинал с самого начала».

Довольно скоро я понял: Уолл-стрит — это огромный игорный стол, игорное заведение с громким именем. Там играют вашей жизнью, вашим будущим, страной.

Год на Уолл-стрит стал для меня хорошим уроком. Но это был лишь первый урок.

Я продержался на этом, с позволения сказать, «высоком» окладе — восемнадцать долларов в неделю — только один год. А потом пошел работать в ежедневную газету. Ты знаешь.

— Как же, читал твои статьи, — сказал Джордж.

— Что ж… Я пришел в журналистику, желая посвятить себя делу, которое требует преданности и самоотверженности. Да, настоящего служения. Так представляли себе работу газетчика многие выпускники колледжа. Я хотел писать правду, и ничего кроме правды.

Уже через несколько месяцев эту «дурь» вышибли из моей головы, когда я описывал забастовку и попытался встать на сторону стачечников. Как

репортер, я довольно быстро открыл для себя в нашей муниципальной системе грязь, коррупцию, взятки. «Позор городов» — называл такие вещи Линкольн Стеффенс[45]. Я сам лично видел, как издатель газеты, мэр города и важные шишки из «великой старой партии» — партии республиканцев — каждый субботний вечер делили добычу: взятки от торговцев контрабандным спиртом, от «бутлеггеров» и владельцев веселых заведений с красным фонарем над входом. И дележ происходил за красивым полированным столом в оффисе самого богатого человека в городе.

Как ты знаешь, то же самое происходит в каждом городе нашей страны. Может быть, не всюду так открыто, но, по сути дела, всюду одно и то же. Теперь-то эти вещи давно всем известны, Джордж, но ты прожил вместе с ними так долго, что считаешь их само собой разумеющимися. Будто так всегда и должно быть. И ничего другого быть не может.

И еще один урок, самый серьезный. Катастрофа двадцать девятого года. Я тогда готовил серию

---

[45] Примечания: 45

Линкольн Стеффенс — известный американский радикальный публицист, один из виднейших представителей антимонополистического движения «разгребателей грязи» в публицистике США начала XX века. «Позор городов» — название одной из книг Стеффенса.

статей и объехал всю страну, Джордж. Я видел города. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Я видел американских ребятишек с ввалившимися щеками и мужчин, которые ничего не ели долгие дни. На одной ферме в Индиане я видел фермера — он разрезал свой «форд» на две половины, чтобы сделать экипаж, который бы везла его лошадь. У фермера не было денег, чтобы купить бензин. А в больших городах — в Дулуте, в Чикаго — я писал о матерях, которым пришлось убить своих любимых собак, чтобы накормить мясом голодных детей.

Джордж показал жестом, что не верит сказанному.

— Я видел это, Джордж. В Америке, в те годы — тридцатом, тридцать первом, тридцать втором. Ты, может, не помнишь всех тех событий. Но я видел все это своими глазами. И когда наступит следующая депрессия, неужели нам придется вновь пережить весь этот чудовищный, жестокий хаос?

Я видел, как в Калифорнии сваливали в мусорные кучи апельсины. Как в Айове жгли пшеницу. Как жирный, упитанный скот бродил по полям, когда дети умирали от голода. Да, в самой богатой стране мира.

И кого же все это тревожило? Кто действовал в те годы? Ты действовал, Джордж?

Были в Америке люди, которые действовали. Повсюду в стране, от океана до океана, я встречал группы бедняков; они называли себя «советами безработных». Они вносили мебель своих соседей обратно в маленькие домики, откуда их вместе с детишками выгоняли прямо на тротуары, и им некуда было идти, для них не было места в мире.

А кто же входил в «советы безработных?» Где бы я ни сталкивался с ними, всюду в самом ядре, в самой сердцевине этих групп я находил коммунистов.

Я видел Америку голодных, Джордж, и я видел, что богатым и респектабельным на нее в высшей степени наплевать. Да, в самом деле. Они-то сами ели регулярно.

И, Джордж, оттого, что я любил Америку, любил наш народ, я полюбил и тех, кто делал что-то реальное для Америки. Я полюбил коммунистов. Я пошел к ним, попросил их книги, их программу. Я видел их в действии, в деле; я хотел познакомиться с их идеями. А увидев их в действии, я решил — наплевать на весь вздор нашей прессы и радио, разглагольствующих о «подрывных элементах», «агентах иностранной державы» и тому

подобной чепухе. Для меня коммунисты были американцами, которые отказывались мириться с нищетой, бесчеловечностью и искали способ покончить со всем этим. Я читал, я учился, и я стал коммунистом.

Арт Шилдс
В СТОРОНЕ ОТ ПАРАДНЫХ АЛЛЕЙ

Объяснение в любви сражающейся газете

Мы не говорим тебе «прощай», дорогой «Уоркер». Мы передаем тебя в надежные руки, в руки нашей новой газеты «Дейли уорлд». Ваша встреча произойдет во время, полное борьбы и надежд. И у «Дейли уорлд» впереди — большая работа.

Дорогой «Уоркер», ты всегда делал все возможное, чтобы помочь народу, когда он боролся со злом. А сегодня наш народ сопротивляется угнетению с решимостью большей, чем когда-либо за все время после окончания второй мировой войны.

Бастуют рабочие. Чтобы добиться более сносного жизненного уровня. Чтобы завоевать уверенность в завтрашнем дне, очистить будущее от призрака безработицы.

Идут в гневных колоннах участники походов бедняков. Они требуют работы, крова и хлеба.

Восстают против второсортного гражданства и бесчеловечных негритянских гетто американцы с темным цветом кожи.

Отказываются надевать военную форму, уезжать на преступную войну во Вьетнам наши молодые парни.

Сегодня сотни тысяч американцев участвуют в движении за мир. Мира хотят массы американцев. И протест их обрел такую силу, что под его мощным, свежим порывом не устоял и глава нашего правительства, один из главных зачинщиков войны: мистер президент решил освободить от своего присутствия Белый дом и вернуться в Техас[46].

Массы американцев размышляют о своем будущем, дорогой «Уоркер». Идеи социализма весенним разливом растекаются по всей планете. И будущее принадлежит народу, как ты его понимаешь, — тем людям, кто зарабатывает себе на жизнь честным трудом.

Рабочий класс и ты, его газета, как верные союзники, сражались плечом к плечу во многих

---

[46] Примечания: 46

Арт Шилдс пишет здесь об отказе Линдона Б. Джонсона выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1968 года.

битвах, дорогой «Уоркер» И память уносит меня в те дни, когда ты только родился.

Вначале ты был всего лишь еженедельной газетой. Но все новые и новые друзья собирались вокруг тебя, и после окончания первой мировой войны ты вырос в ежедневную газету. Произошло это в Чикаго.

Большой город, обдуваемый ветрами с Великих озер, в то время по праву называли «мировой скотобойней». Но город был также резиденцией короля преступного мира Аль-Капоне, который сдавал напрокат своих головорезов предпринимателям, стремящимся загнать профсоюзы в угол. То были мрачные, страшные дни для рабочего класса Америки. Голод, «клаб» — дубинка полисмена и пуля гангстера — все это, казалось, сокрушило профсоюзы Американской федерации труда. Но ты сражался в боевых рядах рабочего класса на передовой, дорогой «Уоркер». Гангстеры охотились за тобой. И я отлично помню, как они едва-едва не расправились с начальником твоего отдела распространения молодым парнем Джеком Маккарти…

Гангстеры действовали заодно и в союзе с «Чикого трибюн» реакционера Паттерсона и с херстовскими изданиями. Они отнюдь не жела-

ли видеть поблизости «Уоркер», рабочую газету. И как только Джек вошел в бюро, где собирались распространители газет Чикаго, грохнул выстрел: высказался револьвер, спрятанный в кармане одного из «джентльменов удачи». Пуля, свистя, рассекла воздух рядом с Джеком, который прыжком бросился к лестнице, ведущей вниз.

Ты был с рабочими в доброй тысяче линий пикетчиков, дорогой «Уоркер», с тех пор как впервые стал слышен твой голос. И в каждой стачке, которую мне довелось наблюдать, у тебя было огромное и неоспоримое преимущество над твоими соперниками — газетами капиталистов. Рабочие всегда знали: ты на их стороне. В обычное, ничем не примечательное время рабочего порою может сбить с толку пропаганда его врагов. Но он всегда неминуемо обращается к тебе, когда борется с боссом.

Я видел своими глазами, как рабочие приветствовали тебя в эпоху голодных походов «великой депрессии». Я видел, как рабочие приветствовали тебя во время кампаний за создание Национального союза моряков, Объединенного союза рабочих-сталелитейщиков и других производственных профсоюзов. И я вновь увидел это прошлой зимой во время забастовки рабочих

медных рудников.

Я гордился тобой, дорогой «Уоркер». И я довольно скоро понял: самое лучшее, когда приходишь в новый отряд пикетчиков, — без промедления вручить рабочим свои журналистские верительные грамоты: удостоверение редакции «Уоркер», их газеты.

Я осознал это впервые туманным, пасмурным утром в «шоколадном городе» Херши, штат Пенсильвания. Пикеты вначале приняли меня довольно враждебно. Они по ошибке полагали, что я репортер из «Гаррисбург пэтриот», антирабочей газеты, которая палила по стачечникам клеветой. Но как только узнали, что я из «Уоркер», немедленно пригласили меня в свою рабочую столовую позавтракать с ними. Они хорошо знали, кто их друзья, хотя прежде никогда не бастовали.

Я отчетливо помню, как обожгли меня холодные и пристальные взгляды, когда несколько лет спустя после этой стачки я вошел в негритянское похоронное бюро в Монро, штат Джорджия. В комнате толпилось человек сорок — мужчин и женщин, разгневанных и убитых горем одновременно. Они пришли оплакивать двоих издольщиков и их жен, которых линчевали за

день до этого. Воздух, казалось, пропитывала настороженная напряженность, и ситуация была не из легких. Но атмосфера изменилась словно по взмаху волшебной палочки, когда я произнес: «Я из „Дейли уоркер“», — и юноша-негр сказал людям: «Он наш друг».

Ты, конечно, имел и врагов, дорогой «Уоркер». Их было немало среди эксплуататоров чужого труда и их агентов, разбросанных в народе. Они никогда не прекращали попыток избавиться от тебя. И работники твоей редакции не раз оказывались под шквальным огнем.

Однажды я видел, как враги избивали редактора Кларенса Хатауэя в Мэдисон-сквер-гарден. Они размахивали стульями, как полисмены — дубинками, когда напали на твоего редактора во время массового митинга протеста против австрийских фашистов.

Многие погибли в борьбе с фашизмом. Одного из работников твоей редакции, Джона Скотта, сразила в Испании фашистская пуля, когда он боролся против франкистов в рядах бригады Авраама Линкольна. Другой журналист из «Уоркер», Джо Норт, твой корреспондент на передовой, остался в живых после наступления на реке Эбро. Но твой корреспондент едва избежал

расстрела карательным отрядом франкистов в мадридской темнице.

Нужна была немалая смелость и для того, чтобы сражаться на внутреннем фронте, здесь, в Америке, в пору, когда буйствовал фашист Маккарти. Я думаю о таких людях, как Джим Дольсен и Билли Аллен, твоих корреспондентах в Филадельфии и Детройте.

Ты помнишь, когда Джим много лет назад вернулся из-за границы, он обратился с необычной просьбой. «Пожалуйста, пошлите меня в самый трудный район», — сказал он.

В ответ ему тогда назвали Питтсбург, город, где всем ворочали стальные тресты и миллиарды семьи Меллон. Джим не только освещал для печати ход классовой борьбы в городе металлистов. Он помогал строить организацию твоей партии в этом городе и помогал заложить основу для создания профсоюза сталелитейщиков.

А как твои враги ненавидели Билли Аллена?

Билли никогда не покидал рабочих в беде. Его любовью к белым и черным строителям автомобилей и к их водителям согрето все написанное для тебя, «Уоркер».

Боссы отомстили Билли, приговорив его к пяти годам тюрьмы по фашистскому закону Смита. Но

заговор врагов сорвался. Длительная кампания протестов убедила на этот раз Верховный суд взглянуть в глаза истине. И приговоры Джиму, Билли и многим другим друзьям «Уоркер» были отменены.

Америка в большом долгу перед тобой и твоими друзьями, дорогой «Уоркер». Твоя роль стала решающей в организации массовых профсоюзов. Ты подарил немало демократических завоеваний нашей стране. Ты многое сделал, стараясь изменить ход истории Америки.

Враги никогда не оставляли тебя в покое, никогда не забывали о тебе. Пять лет они держали в тюрьме твоего издателя Бенджамина Дэвиса, негритянского лидера-коммуниста, вместе с другими руководителями партии. И они нанесли тебе новый удар 27 марта 1956 года, после того как товарищ Дэвис вышел на свободу.

Удар на этот раз нанесли люди министра финансов Диллона, реакционера и банкира с Уолл-стрит. Пиратским рейдом налетела саранча на редакцию «Уоркер». Она захватила и опечатала все имущество редакции. До тех пор пока мы не уплатим подоходные налоги на получаемые «доходы».

У нас не было никаких «доходов». И пираты

из министерства финансов отлично знали это. Твой ежегодный платежный дефицит покрывали пожертвования твоих читателей, белых и негров. Налетчики просто-напросто пытались задушить тебя. Они, впрочем, и не скрывали этого: «С вами покончено, вы больше не сможете выпустить ни одного номера».

Но тебя нельзя было сокрушить. Мы нашли новые пути, чтобы продолжать нашу работу. Мы не прервали издание нашей газеты ни на один номер. Администрацию Эйзенхауэра бомбардировали протестами. И налетчики вскоре очистили редакцию, оставив после себя пестрящие пятнами папки для так и неначатых судебных дел.

Не всегда, однако, удары врагов били мимо цели. На время им удавалось кое-чего добиться.

В 1958 году «Уоркер» снова стал еженедельной газетой. Но массы опять начали пробуждаться. Росло стачечное движение.

Движение за мир пускало корни во всех частях страны. Борьба темнокожих американцев волновала весь мир. Именно в это время ты вновь проявил свою жизнестойкость.

С шестьдесят первого года накал борьбы народа за свои права все более нарастал. И положение

дел в мире стало куда серьезнее. Газета авангарда рабочего движения больше не может справиться со своими задачами, выходя дважды в неделю. Наша газета вновь расправляет крылья — она становится ежедневной. Это будет единственная ежедневная рабочая газета на английском языке в Западном полушарии. И первые номера «Дейли уорлд», которые выйдут вслед за этим прощальным номером «Уоркера», превратятся в бесценные экспонаты в музеях Социалистического Будущего.

В стороне от парадных аллей капитализма

Нью-Йорк

Мистер Линдсей, мэр Нью-Йорка, очень занят. Он бьет на эффект. Он организует еще один крестовый поход против торговли телом на улицах. Мне пришлось наблюдать десятки таких крестовых походов с тех пор, как много лет назад я писал о заседаниях и приговорах суда, разбиравшего дела проституток. Всегда жертвами оказывались на поверку сами женщины-рабыни, а не их хозяева, оптовые торговцы сексом, рабовладельцы нашего времени. И движение по магистрали секса вскоре вновь шло полным ходом.

Нынешний крестовый поход строго ограничен

территорией определенного района. Это — центральный район Нью-Йорка, Таймс-сквер, он вырождается, по словам полицейского Патрика Мэрфи, в «распущенный город, гниющий из-за проституции».

Здесь, в этом районе, видишь сотни женщин — и с темным, и с белым цветом кожи, — которых бедность и вездесущие торговцы наркотиками довели до цепких объятий сводников.

Их можно увидеть перед любой витриной на Таймс-сквер, в цветастых блузках и забористого покроя брючках. К лицам их приклеены фальшивые улыбки, но они не в силах скрыть всю безысходность жалкого положения этих несчастных. «Нью-Йорк таймс» поместила моментальный снимок типичной секс-рабыни — движимой собственности сводников — в тот момент, когда она бродила по Таймс-сквер вместе с другими участниками парада обнаженной плоти. А ведь фотокамера могла щелкать и на 43-й Уэст-стрит, той самой, где издается газета Артура Сульцбергера[47]. Там тоже находится торговый центр такого рода, рынок, на котором торгуют человеческой плотью.

---

[47] Примечания: 47
Владелец и издатель газеты «Нью-Йорк таймс».

«Нью-Йорк таймс» надеется привести в порядок свой фасад, но отнюдь не надеется покончить с проституцией. Она полагает, что все попытки пресечь то, что она называет «древнейшей профессией нашего мира», тщетны и бесцельны. И «Нью-Йорк таймс» 13 июля в редакционной статье посоветовала городу Нью-Йорку «изучить преимущества легализованной проституции», воспользовавшись при этом опытом штата Невада.

Какого же рода примеры дают узаконенные публичные дома Невады, мистер Сульцбергер? О каких «преимуществах» идет речь? Мы предлагаем вам почитать «Уорлд мэгэзин», приложение к нашей газете. Вы узнаете из его материалов, что должностные лица в Неваде, которым поручено заботиться о благосостоянии населения штата, заниматься вопросами его быта, рекомендуют женщинам из бедных семей торговать своим телом, чтобы оплатить счета. Все это вполне законно, утверждают подобные сводники и поставщики живой плоти, состоящие на официальной службе.

Редакционная статья в «Нью-Йорк таймс» — постыдная капитуляция. Она ясно показывает, в какие тупики зашла мораль и этика капитализма

на его последней, загнивающей стадии — стадии империализма. Но за спиной организаторов нынешнего крестового похода стоит бизнес, а не мораль и этика. И район Таймс-сквер был избран объектом крестового похода отнюдь не случайно. Дело в том, что он, по словам мэра, «уникальный международный центр туризма и бизнеса».

Проституция сама по себе — большой бизнес. На нем жиреют сводники, короли индустрии порока, политиканы и полисмены. Но бизнес в других отраслях страдает в «распущенном городе, гниющем из-за проституции». И судья Морис Л. Швальб издает воинствующий клич — призыв к крестоносцам выступить в поход. Он заявил в уголовном суде:

«Они (проститутки) подвергают риску и ставят под удар бизнес — капиталовложения в театры, рестораны и отели». Судья добавил, что «число пораженных венерическими болезнями достигло угрожающих размеров». И чтобы придать больший вес своим словам, показать, что он не тратит слов попусту, он держал за решеткой двух молодых женщин и не выпускал их на поруки — явно пренебрегая восьмой поправкой к конституции Соединенных Штатов.

К сожалению, и газеты, и судьи, и полиция

молчат о причинах оживленного движения по магистрали секса. Полицейский Мэрфи признает, что «проституция неуклонно растет». Но он утаивает тот факт, что она растет наряду с безработицей и инфляцией военного времени.

Я вспоминаю о первом судье, с которым я, тогда еще молодой репортер, столкнулся много лет назад. Я вел хронику западной части Нижнего Манхэттена. В моем районе на Шестой авеню находилось старинное здание из красного кирпича. Это был суд, где разбирались дела проституток. Уличных женщин судили здесь без присяжных. И во время моего первого визита судья Херберт пригласил меня в свою судейскую камеру. Херберт, человек почтенного возраста, старался говорить со мной в отеческом тоне. Я напомнил судье о его собственной юности, когда он пришел в город, имея всего лишь тридцать долларов в кармане. Он сказал: «Вы преуспеете в жизни, как преуспел я, если будете усердно трудиться и избегать женщин и спиртного». Затем он сказал, что хочет сообщить мне честно и откровенно все о тех женщинах, которых он отправил в тюрьму. Чтобы я правильно понял, кто они такие. «Вы можете прочесть, что они — жертвы бедности. Это не так. Они просто порочные, развращенные

создания».

Я не мог согласиться с этим. Я читал и перечитывал шедевр Виктора Гюго «Отверженные». Меня тронула история Фантины, оставшейся без места фабричной работницы, которая торговала собой, чтобы накормить своего ребенка. И я понял обжегшие сознание слова Гюго: «Говорят, что рабство упразднено европейской цивилизацией. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, и имя его — п реституция».

Я увидел такое рабство в Нью-Йорке. Надсмотрщиками над рабынями были сводники, те, кто околачивался в коридорах храма правосудия. Они никогда не попадали под арест. Ни разу не побывала под арестом и ни одна «мадам» в тот год, когда я вел судебную хронику. Рабовладельцы были боссами, королями индустрии порока. Они пользовались правом неприкосновенности.

Я никогда не слыхал, чтобы судья спросил заключенную, что довело ее до такой жизни. Не заставлял он ее и назвать имя сводника, который завлек ее в ловушку. В этом судьи не были заинтересованы. Судьи и детективы из дежурных полицейских нарядов, вылавливавших проституток, со скучающим видом проводили

так называемые «судебные разбирательства». Но порою та или иная женщина словно взрывалась. Я помню, как молодая девушка-ирландка по имени Лаура начала пронзительно кричать на Херберта, когда ее уже собирались увести. Это была бледная и очень стройная, тоненькая девушка, с золотистыми локонами. На вид ей было лет девятнадцать или двадцать. Судья сопроводил свои «90 дней!» традиционным советом. «Будь доброй, благонравной девушкой, Лаура, когда ты выйдешь отсюда». Совет был дан в обычной манере, с утомленным видом. Девушка не смогла примириться с лицемерием судьи и закричала в ответ: «Как же я смогу быть доброй и благонравной, если на те центы, что платят в магазине, не проживешь?»

«Она еще новенькая в нашем бизнесе», — сообщила позже хозяйка заведения.

Когда я позвонил в газету и передал изложение этой истории, то в ответ услышал от редактора хроники ночных происшествий: «То, что говорит потаскуха, не может стать информацией на нашей полосе. Подождите, пока появятся солидные, стоящие посетители». Прошло немного времени, и я смог получить такой материал. Это произошло, когда в суд прибыли две дочери президента

Вудро Вильсона. Они были одеты словно собрались на вечер с благотворительными целями и, устроившись по обе стороны от судьи, смотрели на своих несчастных сестер.

Как-то после обильного возлияния адвокат сводника разговорился со мной и Биллом Болджером — тоже репортером. Адвокат любил говорить о своей юности, проведенной на ферме в Айове. «Какие счастливые деньки были у меня до того, как я связался со всем этим», — была его привычная фраза. Но на сей раз он напился куда сильнее, чем обычно, и соответственно разоткровенничался больше, чем обычно. «Мне до чертиков надоел этот бизнес», — сказал адвокат во время перерыва судебного заседания. «Почему же вы не бросите его?» — спросил я. «Я не могу. Они купили меня», — ответил он. Адвокат не объяснил, как «они» приобрели его, но начал оправдываться. «Я знаю, как вы все это понимаете, — сказал он. — А между тем вы тоже не в силах справиться со сводниками. И я сам их не люблю, но они — не самые худшие люди в нашем мире». «А кто же хуже?» — спросил Билли. «Люди из наряда, вылавливающего проституток, — ответил адвокат. Они гребут деньги. Они и есть настоящие сукины дети».

И здесь пора вспомнить Джонса, дородного верзилу шести футов роста, крикливо, но безвкусно одетого, с бриллиантами в галстуке и на пальцах. Джонс был довольно активен в наряде по борьбе с проституцией, который подчинялся полицейскому инспектору. Он каждый месяц доставлял десятки бедных женщин. Я был рад позабыть о Джонсе, когда перестал вести хронику этого района и покинул его. Но десять лет спустя произошло следующее. Лишь только моя жена и я устроились в комнатах, которые мы сняли в Коламбиа-хайтс в Бруклине, как за квартирной платой явилась знакомая фигура. Это был Джонс — на тридцать фунтов массивнее, чем прежде. «Купил два дома», — сказал он. Я вспомнил, что другие полисмены называли Джонса «добытчиком», то есть тем полисменом в наряде, кому инспектор поручает все расчеты. Мы быстро переехали в новое место.

Джек, молодой полисмен с заливающим лицо румянцем, тоже из наряда по борьбе с проституцией, производил арестов больше, чем кто-либо другой. Ночь за ночью он патрулировал одни и те же участки на Бродвее. Когда я спросил, почему его не опознают — ведь он бывает в одних и тех же местах, Джек ответил: «Девочки постоянно ме-

няются. Каждые шесть месяцев можно собирать новый урожай». Когда же я поинтересовался, что происходит с ними, он ответил улыбаясь: «На кладбище Гринвуд-семитри столько новых могил…»

Полицейские из нарядов по борьбе с проституцией всегда давали показания, что арестованные приставали к ним на улице. Я сомневался в этом и как-то спросил Тони, высокого, костлявого детектива, не пристает ли на улице он сам. «Конечно, — ответил он, — но я не могу сказать об этом в суде. В первый раз я так и сделал, и тогда судья послал меня к черту, задал головомойку, а ее освободил».

Заключить я хочу вот чем. Есть на земле страны, где вовсе нет нарядов по борьбе с проституцией, нет публичных домов и нет уличных женщин. Я видел такие страны — Советский Союз, другие социалистические государства. И в Соединенных Штатах мораль возродится, когда у народа здесь будет полная занятость, будет социальное обеспечение в любом возрасте — от колыбели до смертного часа. Когда народ будет владеть тем богатством, которое создает своими руками.

Норман Мейлер
МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

В МАЙАМИ

Майами-Бич, 5–9 августа 1968 года

В 1915 году перерезали ленточку, вылетела, хлопнув, пробка из шампанского — родился Майами-Бич. Скромный островной поселок стал городом. Остров — на девять десятых тропические заросли — тянулся вдоль побережья, от молодого в ту пору города Майами его отделяла бухта Бискейн. В 1868 году, когда Генри Лам впервые увидел остров с борта шхуны, место здесь было самое дикое; кокосовые пальмы на песке, у воды мангровые заросли на болотах, карликовые пальмы в трех метрах от берега.

Но к 1915 году остров уже стал золотым дном. Джон С. Коллинз, садовод из Нью-Джерси (его именем названа одна из улиц), создал плантации бобовых и авокадо; некто Карл Фишер, миллионер из Индианы (изобретатель престолита), купил у Коллинза большие участки, доставил машины, рабочих и даже двух слонов, расчистил заросли, засыпал болота, слепил островки для

жилья из поднятых со дна залива камней и песка, а естественные островки, побольше и поближе к главному острову, благоустроил: замостил улицы, построил тротуары и прочее. Так что в 1968 году, через сто лет после того, как Лам увидел берег, значительная часть береговой полосы спряталась под асфальтом и белыми домами — роскошными белыми отелями и оштукатуренными белыми «клоповниками». Сперва сотни, а затем и тысячи акров бывших зарослей превратились в улицы — землю скрыли мостовые, белые тротуары, белые дома. Словно изо дня в день в течение полсотни лет слой за слоем наклеивали клейкую ленту на буйную шевелюру. И наследие выкорчеванных, некогда буйных зарослей нависло над городом Майами-Бич ядовитой влажной жарой. Призраки загубленной растительности испускали под асфальтом беззвучные стоны, и они поднимались вверх проклятием тропиков — свинцовой невидимой испариной, которая исходила от самой земли, просачиваясь сквозь спекшийся асфальт, и вместе с горячим воздухом заползала в легкие, словно рука в резиновую перчатку…

На десять миль от «Дипломата» до «Ди Лидо» вдоль бульвара Халландейл-Бич до пристани Линкольна тянутся белые дома-холодильники

по шесть, и восемь, и двенадцать, и двадцать этажей, дома как сахарные головы и дома как вздыбленные формочки для льда, дома-мечети, дома-дворцы, дома — наборы белых чемоданов, дома — портативные радиоприемники, тумбы стереодинамиков, пластмассовые пудреницы и пластмассовые кольца, мавританские замки в форме электрических вафельниц или защитных белых пластин на электрическом камине, здания, похожие на гигантские полотна оп– и поп-искусства, или на свадебные торты, или на рулоны белой хлопчатобумажной ткани. На десять миль по набережной вдоль Коллинз-авеню протянулись отели для делегатов.

Реки безвкусицы, извиваясь, впадают в дельту вестибюлей отелей Майами-Бич, и нет ни одного зала, который не был бы похож на фойе кинотеатра — имитацию позднеренессансных подделок под античность, имитацию барокко, или рококо, или борделей викторианской эпохи. Все цвета радуги, все оттенки вульгарности и богатой безвкусицы, опиумный притон для долларов средних классов, материальный, как мясо, как пот, как сигара.

Это был первый любопытный факт из сотни других: в тот год, когда республика оказалась на

грани революции и нигилизма, когда полчища полицейских вытянулись до горизонта, а в наших городах разыгрывались будущие Вьетнамы, партия консерватизма и принципа корпоративного богатства и индивидуальной скаредности, партия чистоты, гигиены и сбалансированного бюджета, обосновалась именно тут, среди этого султанского великолепия.

Это был первый любопытный факт из сотен других, но к нему примешивалось и множество тайн. Репортер тихо пробирался через зал заседаний, стараясь остаться незамеченным, и настроение у него было тяжелое, мрачное, нервное. Среди республиканцев происходило нечто, чего он не мог определить и не знал, хорошо оно или плохо: впервые значительное общественное событие — этот съезд — так сбивало его с толку. А ведь он писал о многих съездах. Демократический съезд 1960 года в Лос-Анджелесе, объявивший кандидатом в президенты Джона Кеннеди, и республиканский съезд в Сан-Франциско в 1964 году, когда был выдвинут Барри Голдуотер, послужили материалом для лучших его произведений. Он считал, что обладает даром понимать эти съезды. Но съезд республиканцев в Майами-Бич в 1968 году был чем-то совсем иным:

нельзя было понять, происходят ли серьезные вещи или, наоборот, на поверхности ничего не происходит, но зато в глубине идет кипучая деятельность. Разговоры с другими журналистами только навели на него уныние — все единодушно жаловались, что не помнят такого скучного съезда. Эти жалобы отвлекали его от сумрачных раздумий над загадками консерватизма и республиканизма и от надежды распознать, что кроется за ними, — страна билась в судорогах, словно перед концом света. Романист Джон Апдайк, возможно, и не был любимым писателем репортера, но после убийства Роберта Ф. Кеннеди именно Апдайк сказал, что бог, наверное, лишил Америку своего благословения. А страна ревела, как раненый бык, задыхаясь от кашля, словно больные легкие в клубах смога, и металась во сне от рева мотоциклов, дрожала от ужаса, сознавая необходимость новых фаланг правопорядка. Но где же были фаланги, которым можно доверять? Репортер видел слишком много полицейских, чтобы доверить им покой своего сна. Даже напитки в Майами имели дурной вкус от этой жары и озноба.

Свой первый день в Майами-Бич репортер провел в зале заседаний съезда. Он поднялся на

трибуну, заглянул в помещение позади трибуны, где ораторам предстояло ждать своей очереди и куда после открытия съезда вход журналистам будет запрещен. Это помещение било все рекорды казенного уныния. Бутылочно-зеленые кресла и диваны, невзрачный серо-голубой ковер, стены, обшитые оргалитом, с торчащими шляпками гвоздей, стулья, обтянутые бежевой и коричневой искусственной кожей, скучная скатерть на столе. И каждый тусклый цвет кричаще дисгармонировал с прочими тусклыми цветами — в такой комнате следовало бы играть в бридж старичкам в летнем пансионате, где-нибудь среди пыльных равнин одного из внутренних штатов. И вот тут-то, готовясь к выступлению, будут ждать некоторые из наиболее честолюбивых людей Америки и некоторые из самых знаменитых; здесь будут просматривать тексты своих речей Джон Уэйн, Барри Голдуотер, Джон Линдсей, Томас Дьюи, Рональд Рейган, губернатор Рокфеллер, Джордж Ромни, сам Ричард Никсон и, уж конечно, Билли Грэхем. Все они пройдут через великолепие этой воистину американской комнаты ожидания. Все осмотрев, репортер внезапно решил, что он все-таки поедет в аэропорт встречать слоненка, которого должен был доста-

вить грузовой самолет в дар Ричарду Никсону от жителей Анахайма, штат Калифорния. Пожалуй, с этого и надо начинать репортаж о съезде.

Политического деятеля интервьюировать практически бесполезно, если, конечно, не знаешь его хорошо или если этому не предшествовала солидная подготовка. Ум политического деятеля настроен на политические вопросы. К тому времени, когда он решает выставить свою кандидатуру в президенты, он уже ответил на миллион таких вопросов. В том случае, конечно, если он занимается политикой двадцать лет и отвечает в среднем на сто пятьдесят таких вопросов в день — цифра довольно обычная. Опытного политика так же трудно подловить на вопросе, как ударить профессионального боксера. Вот почему интервью с кандидатом дает так мало. Зубы его сверкают белизной, манеры обворожительны, а суметь ускользнуть от ответа так же просто для его челюстей, как откусить кусок мяса. Проинтервьюировать кандидата в президенты — это почти то же самое, что смотреть его выступление по телевизору, разница невелика. Поэтому иногда бывает легче понять подоплеку его избирательной кампании, изучая, казалось бы, побочные явления. Вот почему репортер отправился встре-

чать слона.

Как и следовало ожидать, обставлено все было скромно. В тихом уголке международного аэропорта Майами собралось не больше десятка репортеров и дюжины фотокорреспондентов. Здесь же был оркестр и шесть никсонеток в голубых платьях и белых соломенных шляпках, на которых было написано: «Никсон — наш кандидат». Раздали листочки: в них информировали прессу о том, что животное зовут Ана (в честь Анахайма, штат Калифорния), что его высота равна 52 дюймам, возраст — два с половиной года, вес 1266 фунтов и что оно подарено Никсону счастливыми обитателями города Ана!

Ана прилетела на самолете «Локхид–100», четырехмоторном гиппопотаме с четырехлопастными пропеллерами. Как только самолет собрались разгружать, черная туча заволокла небо и хлынул такой тропический ливень, что даже фоторепортерам пришлось спрятаться. И вот никсонетки, кинооператоры, фотокорреспонденты и погонщики слона забились в небольшой автоприцеп, предназначенный для перевозки слона. Внутри фургона стояла влажная духота, и день сразу приобрел изящный оттенок сюрреалистичности: две дюжины любителей и

профессионалов, собравшиеся здесь ради одного слоненка (говорили, что слоненок прибудет в балетной пачке), в общем и целом по логике вещей были равны одному политическому съезду; когда дождь через пять минут прекратился, и клетку со слоном вынули из самолета, и она повисла на крюке автопогрузчика, и ее поставили около прицепа и открыли, все громогласно приветствовали Ану, которая вышла из клетки нервной походкой, но грациозно. Она быстро оглядела окружавших ее корреспондентов и кинокамеры, ступила на все еще влажный, дымящийся испарениями асфальт, лукаво взглянула на своего провожатого, уронила на землю небольшую лепешку, чтобы отметить место своего освобождения из плена, затем сделала настоящую республиканскую стойку, изящно выгнув хобот.

Представители прессы испустили одобрительные возгласы, никсонетки завизжали, оркестр Дона Гольди заиграл «Мой Юг», фотоаппараты защелкали, кинокамеры застрекотали на полную мощь, полицейские заухмылялись (четверо, вооруженные до зубов). Затем Дна из Анахайма встала на задние ноги. Полное одобрение. Она сделала реверанс, поклонилась и повернулась вокруг собственной оси, явно довольная собой.

Так продолжалось некоторое время, никсонетки фотографировались, и одна из них, скорее всего профессиональная модель, каждый раз умело оказывалась в объективе. Никсонетки пытались нахлобучить соломенную шляпу с именем Никсона на Ану, но шляпа все падала и падала. Минут через десять погонщики попытались уговорить Ану войти в фургон, но она не пожелала, тогда они повели ее гулять вокруг ангара, а потом запихнули 1200 фунтов ее тела в прицеп, применив какой-то свой тайный прием. Церемония закончилась.

Рокфеллер прилетел в аэропорт Опа-Лока на следующий день, и хлынул ливень. Перед дождем небо над Майами было прекрасным — кучевые облака громоздились друг на друга, превращались в башни, пирамиды, башенки и отели Майами-Бич, вознесенные на две мили в воздух, а черные горизонтальные полосы приближающегося тропического ливня рассекали небо, перечеркивали солнце, бросая золотые и черные блики на облачные башни.

Возможно, сто или сто пятьдесят журналистов, операторов и фотокорреспондентов толпились у главного ангара, где стоял автобус прессы, в дальнем конце почти пустого аэродрома, а над их

головами в низко нависшем небе патрулировали легкие самолеты и вертолеты, и четыре-пять полицейских машин настороженно ждали неподалеку от толпы. У ворот репортеру не пришлось предъявлять удостоверение личности, и теперь у него тоже никто не спросил пропуск; потенциальный убийца, которому сообщили бы заранее, что Рокфеллер прибудет в Опа-Лока, мог спокойно подойти к нему вплотную — после, конечно, скрыться ему не удалось бы. Словно куски плоти, взлетевшие в воздух от разрыва гранаты, эхо ужаса, рожденное убийством Кеннеди, отдавалось повсюду: над головой кружили вертолеты, федеральные полицейские с автоматами, в металлических шлемах, полицейские машины, мотоциклы — и никакой реальной защиты, только обещание возмездия. Поневоле проникаешься почтением к главным политическим фигурам страны, даже если они совсем бесцветные, — всех их окружал особый ореол с тех пор, как стало ясно, что внезапная смерть подстерегает их даже чаще, чем тореадоров, и потому все они вызывают что-то вроде боязливого благоговения. Так по крайней мере встречала Рокфеллера пресса. Не успел он сойти на землю, как его окружили и больше не оставляли в покое.

Журналисты и фотокорреспонденты сомкнулись вокруг него пятью плотными кольцами, и операторы держали камеры высоко над головой, нацеливаясь наугад, но благодаря долгому опыту совершенно точно, так что издали можно было сразу определить, где находится кандидат.

Рокки сошел с самолета со своей свитой и женой. Она оказалась на удивление привлекательной, великолепный цвет лица делал ее несравненно более красивой, чем она выглядела на фотографиях. В отличие от Рокки, который в жизни выглядел гораздо хуже, потому что его кожа была серой, серой, как нью-йоркские мостовые, серой, как у старого шулера; солнце, должно быть, не касалось его в течение всего месяца, а может быть, вся боевая кровь сердца отлила в глубины мозга, трудясь над тревожными расчетами, с которыми он, наверное, приехал в Майами, ибо Никсон получил 600 с лишним голосов и теперь от выдвижения его отделяло лишь несколько, может быть десяток, в крайнем случае всего пятьдесят голосов. И тревогу, должно быть, вызывала каждая мелочь: погода, первое незнакомое лицо, которое видишь у трапа самолета, неожиданно пролетевшая птица, истовость, с какой полицейский отдает честь, или энтузиазм журналистов.

Но если бы это было все, что необходимо для избрания, он был бы давно избран. Пресса совершенно очевидно отдала бы ему почти все свои голоса, а телевидение — все. Между Рокфеллером и этим средством массовой информации существовала такая общность «химических потенциалов», как будто они были созданы друг для друга. Если бы не цвет лица, Рокки с точки зрения внешности был бы идеальным президентом: мужественные, приятные, рубленные топором черты простого человека и все же в чем-то непростого — лицо младшего брата Спенсера Трейси, посвятившего себя политике.

Ливень, который было разразился, а потом, к счастью, перестал, опять взялся за свое, и Рокфеллеру удалось выскользнуть из плотного кольца корреспондентов после того, как он ответил еще на полсотни из миллиона политических вопросов, приходящихся на всю его жизнь. И вот уже автобус прессы и автомобили понеслись наперегонки через Майами, к 72-й улице, выходящей на пляж Майами-Бич, туда, где должен был состояться гигантский митинг. Вертолеты в небе двигались с боков процессии, точно ковбои, гонящие стадо. От Опа-Лока до назначенного места миль десять, и уже тридцать минут спустя

Рокки под грохот оркестра и звон цимбал прошел полквартала через толпу на 72-й улице и Коллинз-авеню. Прошел, окунувшись в толпу, взвинчивая себя и ее, — толпу несколько странную, если вспомнить, что дело шло о политике, потому что толпа эта щеголяла в купальных костюмах, бикини, купальных халатах, плавках, бумажных платьях, прозрачных рубашках, попирая мостовую босыми ногами, ногами просто в сандалиях и сандалиях на деревянной подметке. Купальщики кричали, перекликались, стояли в очереди за пепси-колой.

Рокки шел в своем серо-коричневом деловом костюме, а по всюду слышался шепот: «Вот идет следующий президент Соединенных Штатов». Но толпа была не настолько велика, чтобы служить подтверждением, и слагалась она скорее из туристов, чем из республиканцев. Эти голоса он, быть может, получит, если его выдвинут. Так он шел через толпу, пожимая руки, бросая направо и налево короткое: «Привет, привет», и его рот раздвигался в улыбку при криках: «Мы хотим Рокки», но тут высокий, худой негр лет тридцати выскочил вперед, чтобы пожать ему руку, а свободной рукой обзавестись сувениром, и выдернул красный платок из нагрудного кар-

мана Рокки. Рокфеллер показал себя истинным республиканцем. Краткая секунда замешательства — покушение?

Но платок в руке негра поставил все на свое место. Рокки сделал шаг вперед, выхватил платок, укоризненно посмотрел на негра, точно говоря: «Ну-ну!», и тут же разгоряченная, счастливая истеричка туристка выхватила у него из того же кармана картонные солнечные очки, но с ней он, конечно, не мог вступить в борьбу. Отвоевав платок и отдав очки, он взобрался на трибуну — в кузов грузовика с опущенными бортами, — и митинг начался. «Нью-йоркс тайме» потом сообщила, что на нем присутствовало три тысячи человек, и возможно, полторы тысячи там набралось бы. Все, что он говорил, встречалось криками одобрения тех, кто мог его расслышать.

«Для нас, ньюйоркцев, большое удовольствие быть здесь, во Флориде, — сказал он, — а ведь половина из вас наверняка из Нью-Йорка».

Половина слушающих его была из Нью-Йорка. Да, он был искушен в ведении политических кампаний и продолжал, беря быка за все его рога:

«Республиканская партия не может дольше позволять себе келейности».

Крики одобрения. На этот раз не столь гром-

кие, и некоторое замешательство в толпе. Слово «келейность» имело какую-то смутную связь с католическими учебными заведениями. Голос у Рокки прекрасный, доверительный, как у Трейси и Богарта, с обертонами Кларка Гейбла. Когда сверхбогачи отказываются от патрицианского применения голосовых связок (а другого выхода у них нет, если они хотят заниматься политикой) и решают говорить, как рубахи-парни, чернорабочие или фермеры, они волей-неволей подражают некогда любимым кинозвездам. Можно, например, биться об заклад, что любимым актером Рокки был Спенсер Трейси, которого он наверняка взял бы себе в вице-президенты, если бы выборы происходили на небесах. Это был честный голос, искренний, мужественный, звучный, с легкой хрипотцой, с честной ковбойской силой и честной нью-йоркской горловой тональностью. Это был почти идеальный кандидатский голос, и неясным оставалось одно: ему ли принадлежал этот голос или, подобно тому как центр его рта функционировал независимо от уголков, он возник только для ведения этой кампании.

«Я предлагаю выбор, — сказал Рокки, — этот выбор — победа в ноябре… победа на четыре года».

«На восемь лет!» — крикнул кто-то в толпе.

«Я не буду торговаться, — сказал Рокки с ухмылкой. Но затем центр его рта не смог растянуться достаточно широко, и, чувствуя поражение, он сухо добавил: — Тот, кто это сказал, наверно, из Нью-Йорка».

Митинг кончился, и черные тучи минут на десять заволокли солнце и скрыли белые кучевые облака. Начался тропический ливень, когда вода пытается пробить асфальт, добраться до спрятанных под ним джунглей. Все разбежались, одетые — с некоторым опозданием. Ливень усилился, Рокки и его свиту смыло с грузовика.

В тот вечер в Фонтенбло, за день до начала съезда, республиканцы устроили банкет, на который не пригласили прессу, но репортеру повезло, и он попал на прием одним из первых. Полиции собралось много, меры безопасности были приняты самые строгие, так как среди гостей находились наиболее известные лидеры республиканцев. Однако, прохаживаясь в вестибюле, репортер вдруг заметил, что он следует в кильватере губернатора Рейгана, который под надзором агентов тайной полиции двигался сквозь толпу к дверям банкетного зала. Те, кто уступал дорогу губернатору, считали, что репортер — агент в штатском, оберегающий его превосходительство

с тыла. И вот, то сдвигая брови, то сжимая губы, изображая на своей физиономии озабоченность безопасностью губернатора, репортер с надменным пренебрежением офицера секретной полиции к пригласительным билетам миновал все кордоны и успел одновременно насладиться лицезрением того, как губернатор Рейган и его супруга, одетые в соответствии с требованиями момента, улыбаясь, пожимали руки. И все это — оживленно, напряженно, по-птичьи любезно, без особой привычки к славе, желая как можно быстрее пройти сквозь толпу, никого не обидев и чувствуя себя в толпе неуютно (как большинство политических деятелей) после того памятного июньского вечера в Лос-Анджелесе[48] Репортер обнаружил, как и следовало ожидать, что мистер и миссис Рейган очень похожи на актера и актрису в ролях губернатора и его супруги. Тем не менее Рейган все время тревожно подбирал живот, словно его солнечное сплетение было очень чувствительно и даже от легкого удара он распластался бы на полу, как рыба.

Репортера никто не потревожил, и следующие тридцать минут он наблюдал тысячу республи-

[48] Примечания: 48

Имеется в виду покушение на Р. Кеннеди, совершенное 6 июня 1968 года в Лос-Анджелесе.

канцев, входивших в дверь, у которой он стоял, вторая же тысяча текла в банкетный зал через дверь у него за спиной.

Ядро гостей составляла тысяча богатейших республиканцев страны. Здесь, в этих легионах, связанных между собой невидимыми нитями, воплощались сила и влияние американских корпораций. И конечно, репортер стал жертвой собственного невежества, так как из этой тысячи, кроме кандидатов, политических деятелей и лиц, которые постоянно мелькают на страницах газет и на экранах телевизоров, он не узнал и десяти человек. И тем не менее они были здесь — экономическая сила Америки (в той мере, в какой экономическая сила остается частной, а не общественной), семейная сила (поскольку положение в обществе все еще важно для средних и честолюбивых американцев), военная сила (поскольку тут присутствовали сановные бряцатели оружием или патриоты, а также служащие корпораций, не связанных с Пентагоном), даже духовная сила Америки присутствовала здесь (ровно настолько, настолько ее воплощают пуританизм, кальвинизм, консерватизм и гольф). Да, пока существует американская вера, мистическая вера в то, что Америка — это не просто

сумма всех избирательных участков, триллионов долларов и миллиардов акров земли, созвездия фабрик и заводов, коммуникаций, гигантской финансовой системы, героики и церкви, пока существует вера в то, что Америка куда больше, чем все эти компоненты, вера в то, что Америка — это последний оплот мира и сад божий, пока эта мистическая вера жива в каждой христианской американской семье, до тех пор эти люди, входящие в банкетный зал, хотят они того или нет, останутся столпами этой веры, которую никто из них четко не формулировал, разве что на самом абсурдном безвкусном жаргоне патриотизма, смешанного с религией.

Их собственная ценность заключалась в этой вере, переходившей из поколения в поколение. Они верили в Америку, как в бога, они не могли бы представить себе, что Америка когда-нибудь может пасть, а бог при этом уцелеет, нет, они зашли так далеко, что вообразили, будто Америка — это спаситель мира, одной рукой несущий еду и лекарства, а другой сжимающий меч. Это была вера, которая достигла своего апогея в Сан-Франциско в 1964 году и забушевала так, что старые, надежные республиканцы чуть ли не с пеной у рта выдвигали Барри, но их герой познал ката-

строфу поражения, так как был слеп в политике, груб в тактике, глуп и неудачлив. И если его политика в какой-то мере восторжествовала — в той мере, какая означала эскалацию войны во Вьетнаме, — она же к концу текущего десятилетия охладила пыл американского оптимизма, который опустился на дно этого десятилетия, так как страна получила почти нестерпимый урок; ее история в Азии была почти кончена, и от настоящего желания держать армии на этой земле не осталось и помину; хуже того: страна начала изнашиваться внутри, призрак Вьетнама бродил по пригородам американских городов, и сообщения прессы и радио пронизывал ужас перед тем, что доллар уже не могли удержать никакие экономические якоря, а лучшие представители молодежи, словно взбесившиеся псы, впились зубами в тело самой глубокой республиканской веры. И этот пыл безоговорочной республиканской веры поугас, и миссия Америки представлялась более скромной. Требования, предъявляемые к империи, столкнулись с ограничениями. И все-таки было что-то странное и гротескное в том, что репортер должен был стоять в позе агента, охраняющего их безопасность, пока столпы этой последней американской веры

входили в банкетный зал, ибо, повторяю, в массе своей они не производили впечатления — во всяком случае, на взыскательный взгляд ньюйоркца. Значительная их часть имела какие-то физические недостатки. Конечно, большинство были старше пятидесяти лет, и их тела отражали их характер.

Больше половины мужчин были в очках — и молодые и старые. Трудно представить себе республиканца, собирающегося на банкет, который бы не был чисто выбрит уже к восьми утра. Они шли к власти и старались наводить чистоту в любой возникающей ситуации. А потому многие из женщин казались жертвами, принесенными на алтарь гигиены, и даже у значительной части молодежи лица были такие, словно им в щеки впрыснули новокаин.

Однако сердце репортера наполнила необъяснимая печаль. Эти люди не были ему отвратительны, и он не чувствовал себя настолько выше их, чтобы испытывать к ним жалость. Скорее, это было печальное и полное сострадания уважение. В их безупречной чистоте, антисептических ароматах их едкой туалетной воды и духов, в самоотреченности их походки и тяжеловесной скованности их тел, словно обуз-

данных сбруей жизни, — во всем этом была немая трагедия «ос»[49]: они жили не для того, чтобы получать удовольствие или любить, они жили для того, чтобы служить, и они действительно служили, представительствуя или занимаясь благотворительностью (хотя те, кого они облагодетельствовали, блевали от злобы и смеялись от презрения), они служили, когда состояли в оперных комитетах, когда часами восседали в концертных залах, на церковных скамьях, за школьными кафедрами, они служили культуре, они служили финансам, они служили спасению, они служили Америке. И подавляющая часть Америки не желала, чтобы они продолжали служить, а потому многие из них начинали сомневаться в себе, сомневаться в том, что сила их веры может осветить им путь в эти новые ужасные времена. Они все входили и входили в дверь, чисто вымытые, благовоспитанные, преуспевающие и, что самое поразительное, почти все безупречно корректные. Да, в Сан-Франциско в 1964 году они на короткое мгновение позволили себе обезуметь, но сегодня они были тихи, сегодня

[49] Примечания: 49

Оса по-английски — wasp. В то же время WASP — сокращение: «белые протестанты англосаксонского происхождения», республиканцы, считаются наиболее консервативной частью общества

они были скромны, сегодня они искали лидера, который вернул бы им Америку, их потерянную Америку, землю Иисусову.

Репортер неожиданно сказал себе: «Нельсон Рокфеллер спятил, если думает, что ему удастся взять верх над Ричардом Никсоном». Это была первая твердая уверенность, которую репортер почерпнул на съезде.

И тем не менее Рокфеллер делал все, что мог. Он многие недели готовил это массированное наступление. В своих речах, которые чаще всего облекались в форму телевизионных интервью и газетных объявлений на целые полосы, он наводнял Америку рокфеллеровской философией, платя за это рокфеллеровскими деньгами.

Это было лучшим образцом мощной риторики, адресованной благоденствующему либеральному центру Америки, где развертывался спектакль: строительные контракты, федеральные деньги на супераутострады, молодежные программы, благоустройство трущоб, война с нищетой, ханжеством, насилием и ненавистью. (Но как воюют с ненавистью? «На колени, стервец!» — вскричал святой.)

Да, стоило Рокфеллеру победить на этом съезде — и тогда уж только бог мог бы помешать ему

стать президентом. О таком кандидате могли лишь мечтать избиратели-демократы. Он бы получил три четверти демократических голосов. Конечно, он получил бы только четверть республиканских голосов (остальные получит Хэмфри или Уоллес, или избиратели вообще не пойдут голосовать).

Рокки уже потратил и, как говорят, еще потратит десять миллионов долларов, чтобы стать кандидатом в президенты. (Один журналист заметил, что ему было бы проще покупать делегатов — по 25 тысяч долларов на нос дали бы ему 400 голосов.) Во второй половине воскресенья можно было своими глазами посмотреть, как расходуются эти деньги. Некоторые богачи знамениты своей скаредностью — к ним, например, принадлежал дедушка Рокки. Но щедрость для богача — это как истерика скряги: если хоть раз дать ей волю, ей не будет конца.

После заявлений по телевидению пошли митинги и зафрахтованные самолеты. Теперь в Майами были наняты речные пароходики для доставки на Айленд-крик делегатов, которым хотелось отвести душу за выпивкой, кроме того, устраивались званые вечера. В воскресенье Рокки распахнул двери в отеле «Американа»,

закатив прием и ужин для нью-йоркской делегации. В понедельник от пяти до семи вечера, после прибытия Никсона, он пригласил на гигантский прием всех делегатов, их заместителей и руководство республиканской партии. Континентальный зал и Бальный зал «Американы» были битком набиты гостями, количество которых невозможно было подсчитать. Пять тысяч человек… шесть тысяч, а по оценке «Нью-Йорк таймс», так и восемь — и пятьдесят тысяч долларов на угощение. Возможно, половина жителей Майами-Бич побывала там, чтобы бесплатно поесть и выпить. На столах (там было 8 баров и 16 буфетных стоек) стояли тысячи стаканов с кубиками льда, салаты из креветок, фрикадельки, индейки, ветчина, гуляш, эклеры, жареные поросята, куриная печенка, бочонки с черной икрой, виноград «дамские пальчики», желе, пирожные — не хватало лишь омлета «сюрприз». Чудеса американского чревоугодничества. В каждом зале играл оркестр; в Континентальном зале, в котором было темно, как в ночном клубе (в будние дни это и есть ночной клуб), Лайонел Хэмптон барабанил, аккомпанируя молодому певцу-негру, отдающему душу Рокки. «Мы хотим Рокки!» — неслось по залу. Так… так… бухал

барабан, властно, слегка гипнотизируя, точно подчеркивая движения уже почти раздевшейся танцовщицы. Однако Рокки не показывался, он был где-то в другом месте, но члены его семьи: его старшие дети, и жены его старших детей, и его сестра, и Хелен Хэйс, и Билли Дэниэлс, — были на сцене рядом с Хэмптоном и счастливым молодым негром, который прищелкивал пальцами, и счастливой молодой певицей-негритянкой, в которой было так много души, задора и бюста.

Все ели, пили — младшие члены семьи Рокфеллера на эстраде беззаботно покачивались, обняв друг друга за плечи, а жители Майами-Бич подбадривали их снизу криками, и казалось, Америка готова была грузовиками вывозить свое счастье на вселенское шоссе № 1.

Там и сям делегаты или семьи делегатов из Огайо, или Колорадо, или Иллинойса с делегатскими значками на лацканах пиджаков, с выражением любопытства, удивления и удовольствия в глазах. «Ну, если он хочет швырять деньги на ветер, мы ему мешать не будем!» А выражение удовольствия в глазах порождалось предвкушением того, как, вернувшись домой, они будут рассказывать домашним об этом пьянстве, и об этом свинстве, и о том, сколько добра пропало

зря: «Половина напитков расплескивалась на пол, до того они торопились их разносить!»

В этот день немногим раньше приехал Никсон. Не слишком большая, но и не маленькая толпа — человек шестьсот — у входа в отель «Майами-Хилтон». Два оркестра, играющие «Никсон — наш кандидат», никсонетки и никсонеры — чистые христианские лица осененные белокурыми и каштановыми волосами шатены, две негритянки, две тысячи воздушных шаров в воздухе, мазки цвета, точки цвета и, наконец, сам Никсон в центре полумесяца кинокамер и фотоаппаратов, поднятых над головами снимающих. Потом он вошел в отель, подталкиваемый сзади, пожимая руки по пути.

Толпа проявляла энтузиазм без излишнего шума и суеты. Энтузиазм почтительный в смеси с жарким патриотическим стремлением подойти поближе к человеку, который, возможно, станет следующим американским президентом. Их воодушевлял не человек, а пост. И Никсон проходит сквозь них своей странной деревянной походкой. Он похож на актера с хорошим голосом и обещающими данными, который приводит в отчаяние руководителя кружка, где он подвизается: «Дик, научись же наконец двигаться

как следует!» Просто трогательно смотреть, как он это проделывает, словно его чувствительная плоть содрогается, потому что он невольно выдает, как ему претит источать в толпу сердечность и обаяние. И все же он всю душу вкладывает в свою задачу — будто, щедро напрягая волю, можно снискать благодать. Да, он похож на миссионера, раздающего Библии индусам. Господи, они грязью заросли, но все же достойны прикосновения! Нет, дело не в том, что Никсон плохой актер (в толпе он излучает всяческие чувства, стремясь вырваться из тюремных стен своих искусственных движений и губительной репутации, показать, что он искренен). Беда, пожалуй, в том, что он прошел актерскую подготовку в школах, хуже которых невозможно придумать: белые перчатки и церковный служка, дискуссионный клуб, молодые республиканцы, плен юридического стиля Айка. Никсон-актер считает, что его задача — значимое самовыражение. А потому, желая выразить симпатию, он неминуемо улыбается, а когда ему требуется выразить неодобрение коммунизму, он хмурится: Америка должна быть сильной — его грудь выпячивается. Пленник старых привычек, он не замечает новых приемов и не в состоянии их постичь.

Никсон этому так и не научился. Он действует прямолинейно.

Репортер никогда не писал о Никсоне ничего хорошего. В течение многих лет он приберегал для него самые острые свои выпады и невзлюбил его еще после его Чекерсской речи[50] в 1952 году. Человеку, способному засевать сентиментальностью такую трясину, мало что могло бы помешать нажать на любую кнопку, чтобы манипулировать массами, — а в те дни очень боялись кнопок, которые могли вызвать атомную войну. Появление Никсона на экране телевизора вызвало реакцию близкую к тошноте. Между человеком, который говорил, и тем, кто скрывался в говорящем, был разрыв, который сулил шизофрению широкой американской публике, если бы она не уловила этой пустоты. Хуже того. Единство было только в том, что самодовольство голоса соответствовало

[50] Примечания: 50

Во время избирательной кампании 1952 года съезд республиканской партии выдвинул кандидатуру Никсона на пост вице-президента США. В ходе кампании Никсона обвинили в том, что он присвоил значительные суммы из фондов, предоставленных частными лицами для ведения этой кампании. Было выдвинуто требование, чтобы Никсон снял свою кандидатуру. В ответ на это Никсон выступил по телевидению в свою защиту. В этом выступлении Никсон, опровергая выдвинутое против него обвинение, доказывал, что единственное, чем он воспользовался в личных целях, была собака по кличке Чекере, подаренная ему его почитателями. С тех пор это выступление известно как Чекерсская речь Никсона.

самодовольству идей. Словно Ричард Никсон пытался доказать, что человек, который ни разу не задался вопросом, а нет ли чего-то неладного в семье, в государстве, в церкви и в национальном флаге, вполне может без малейшего риска подниматься вверх от поста к посту, пока не станет президентом.

В 1962 году репортер устроил маленькую вечеринку, чтобы отпраздновать провал Никсона, выставившего свою кандидатуру в губернаторы Калифорнии. Человек, потерпевший поражение, сказал журналистам: «Ну, что же, господа, больше вам не придется лягать Никсона». Это казалось бесповоротным концом карьеры. Жалость к себе, выраженная публично, была так же непоправима, как самоубийство. В 1964 году Никсон стоял где-то за кулисами, а выдвигали Барри. Сейчас, в 1968 году, он должен был вот-вот стать кандидатом сам! Репортер явно чего-то не понял. Его прежнее представление о характере Ричарда Никсона исключало подобное возвращение. Либо Никсон изменился, либо какая-то его черта оставалась не замеченной с самого начала. Поэтому было очень интересно услышать, что он скажет. Репортера даже одолевало нетерпение.

В день прибытия, однако, он не устроил пресс-

конференции. На следующее утро в 8 часов 15 минут — вот когда он предстанет перед журналистами.

Зал заполнялся медленно. К тому времени, когда Никсон начал говорить, стало очевидно, что зал на 500 мест был явным излишеством. Занята была половина мест и, уж во всяком случае, не больше двух третей. Тем не менее это была большая пресс-конференция. Никсон явился в серо-голубом костюме спокойных тонов, в белой рубашке, черном с голубым галстуке и черных ботинках; платок из нагрудного кармана не торчал. Он поднялся на трибуну робко, не зная точно, будут аплодисменты или нет. Аплодисментов не было. Он постоял спокойно, с некоторой осторожностью оглядывая аудиторию, а потом сказал, что готов отвечать на вопросы.

Второй пресс-конференции до выдвижения он устраивать не собирался. Его скверные отношения с прессой были притчей во языцех, и последние несколько месяцев он поддерживал освещение своей кампании в прессе на функциональном минимуме. Обработка делегатов шла четыре года и особенно интенсивно — в последние два. Их приверженность подтвердилась за последние шесть месяцев на предварительных

выборах. Благоприятные интервью ему уже ничего дать не могли, во всяком случае до тех пор, пока он не будет выдвинут, зато одно неблагоприятное интервью могло погубить все. Колеблющийся делегат был способен и вовсе переметнуться из-за неудачной фразы.

В той пропорции, в какой пресса не была республиканской — а больше половины журналистов в глубине души ничего общего с республиканцами не имели, — его ждала встреча не с друзьями, а с решительными врагами. И даже республиканская пресса в значительной своей части будет за Рокфеллера. К тому же по сравнению с другими кандидатами он не имел среди журналистов большого числа личных друзей, что, естественно, влияло на атмосферу этой пресс-конференции. По слухам, он не курил и не пил, и поэтому у него не было собутыльников, как когда-то у Джонсона и Голдуотера, у Билла Миллера и Хэмфри; легенд о его подвигах в борделях не ходило никаких, и поэтому он не вызывал соответствующего восхищенного уважения. Нет, для него пресса была лишь необходимым инструментом, которым он был вынужден пользоваться более двадцати лет, но делал он это без особого удовольствия, чего не мог скрыть, а инструмент (поскольку состоял из

людей) не очень-то его слушался.

Возможно, Никсон согласился на эту пресс-конференцию только потому, что отказ еще больше ухудшил бы его отношения с прессой. Однако он понимал, что эта операция не обойдется без потерь, и мог рассчитывать лишь на то, что они будут минимальными. Вот почему он мудро назначил ее на 8 часов 15 минут утра — в то время, когда худшие его врагй, предположительно пьяницы, бабники и моты, еще будут спать в своих постелях или здесь, но стоя.

Тем не менее его поза — он то опускал руки по бокам, то сплетал пальцы — придавала ему настороженный вид старого бейсболиста, а может быть, даже и старого жулика, когда суд решает, отпустить ли его на поруки. В его тщательно выбритом лице — щеки, несмотря на ранний час, уже отливали первыми оттенками легкой синевы — таилось какое-то неотвязное беспокойство, какой-то намек на внутреннюю неуверенность относительно его ценности перед вечностью, что-то такое, что свидетельствовало о том душевном просветлении человека, когда он перестает быть похожим на помощника гробовщика и начинает смахивать на старого жулика, твердо решившего вести отныне честную жизнь. Старый Никсон

сплетал пальцы, немедленно обретая сходство с церковным сторожем (тем самым церковным сторожем, который обязательно дернет за ухо мальчишку, выведя его из церкви). Пожилой Никсон, который стоял теперь перед журналистами — иначе говоря, новый Никсон, — наконец приобрел достоинство старого атлета и старого жулика. Он изведал вкус неудачи и страданий, и это было видно по его лицу; он узнал во всех подробностях боль настоящей потери, и в глазах у него появилось понимание, в котором сквозило воспоминание о бездне, и даже мягкость, обретаемая бывшими пьяницами после многих лет, проведенных в клиниках для алкоголиков. Он отвечал на вопросы, отбивая их со скромностью старого бейсболиста, который уже редко приносит своей команде очки, но все-таки полезен ей (какая печаль написана на лицах таких игроков!).

Будь репортер помоложе, он мог бы сказать: «Никсон снова не поднялся — его подняли. Если бы нового Никсона не существовало, его должны были бы выдумать». Но репортер был теперь много старше и предположительно лучше разбирался в том, насколько правящий класс способен придумывать то, что ему нужно, — он узнал, как

мало у этих людей таланта и терпения. Да, в какой-то момент они — по крайней мере некоторые из них, — возможно, и решили снова загримировать Ричарда Никсона для этой роли, но никто, кроме самого Никсона, не мог бы поднять его с одра политической смерти, на который уложил провал в Калифорнии. Итак, он стоял здесь и отвечал на вопросы голосом, который, возможно, был теперь гораздо больше, чем прежде, похож на его собственный голос.

И некоторые из его ответов были не так уж плохи. Во многом чувствовался старый Никсон, который умел исключительно ловко подать обе стороны вопроса так, чтобы обе половины аудитории уносили с собой впечатление, что он — свой, принадлежит к каждой из них. Так он взялся за проблему Вьетнама, начав с альфы и одновременно с омеги, назвав это «двусторонним подходом». Он стоял за урегулирование через переговоры, и он стоял за сохранение военной мощи, потому что это единственный способ «покончить с войной путем переговоров на почетной основе»; позже он заговорит о переговорах с «будущей сверхдержавой, коммунистическим Китаем». Он говорил терпеливо, ясно, мягко — неплохо говорил, не считая не очень удачной полуулыбки,

приклеенной к его лицу. Ему бросали вопрос, и он отбивал его тыльной стороной руки в перчатке или ловил его; как все политики, на каждый вопрос он давал заранее обдуманный ответ, но он своим ответам придавал особую структуру и даже как будто любовался их диалектической сложностью. Если когда-то он притворялся, что мыслит лишь сентиментальными пошлостями и лозунгами, то теперь он брался за вопрос, обрабатывая его, разворачивая, усиливал, корректировал его направленность, отклонялся (обычно пытаясь пошутить), вскрывая его противоречивость, и только тогда делал заявление. Он по-прежнему не находил общего языка с журналистами; полуулыбка, с которой он слушал вопросы, была несчастной, потому что у нее был только один выход: превратиться в улыбку, а его улыбка была фальшивой, как фальшивые зубы, зримо воплощала усилия воли. Вы почти видели, как его мозг давал команду челюстям: «Улыбайтесь», — и он сверкал зубами в болезненно-радостной гримасе, скорее говорившей о неладах в печени или кишках, которые потом ему придется лечить лекарством посильнее, чем сочувствие друзей (возможно, победой на президентских выборах). Он всегда умел насиловать свою природу, если это

было необходимо, — в американской жизни еще не было столь откровенно фальшивой фигуры, как Ричард Никсон, и никого, кто так преуспел бы с помощью подобных средств. И не удивительно, что половина избирателей в течение многих лет относилась к нему, как к чесотке. Но сейчас фальши поубавилось — в этом и заключалось чудо. С позиции абсолютного честолюбия и полной отчужденности от себя самого (как было во времена его Чекерсской речи) он перешел на позицию половинчатого возвращения к себе. И вот теперь, когда он говорил, он то начинал расплываться, то вдруг возвращался в фокус: сейчас он был самим собой, затем — фальшивым, а потом спокойно исправлял ложный шаг.

Вопрос: Вы подчеркнули перемены внутри страны и за границей. Изменило ли это ваш образ мышления и как?

Ответ: Конечно. (Слишком быстро ответил. Старый Никсон всегда готов был угодить с эдаким честным американским юношеским энтузиазмом. А потому он сделал шаг назад и унял свой голос.) Когда меняются факты, любой думающий человек (очень твердо, но не выпячивая себя, он включает сюда и журналистов) меняет подход к проблемам (тут же предвосхищая возмож-

ную реакцию журналистов). Это не означает, что такой человек — оппортунист. (Скромно, рассудительно.) Это означает лишь, что он прагматик, реалист, принципиально подходящий к новой ситуации. (Сейчас он пустит в ход нечто из припасенного в ответ.) Например… готовя речь, с которой я надеюсь выступить, если будет выдвинута моя кандидатура в следующий четверг, я перечитал свою речь 1960 года, и, откровенно говоря, она мне показалась неплохой. Но я прекрасно понимаю, насколько многое из того, что я говорил в 1960 году о международных отношениях, неприменимо к сегодняшнему дню. (Поразительное признание. Старый Никсон никогда не ошибался. Нынче он спекульнул политическим сдвигом влево от себя: это чистейший новый Никсон.)

Вопрос: Немногим менее шести лет назад, после вашего поражения в Калифорнии, вы объявили на пресс-конференции, что это — ваша последняя пресс-конференция. Не могли бы вы припомнить сейчас два-три важнейших для вас момента, которые заставили вас отказаться от этого заявления и предложить свою кандидатуру на высший политический пост страны?

Ответ: Если бы не раскол республиканской

партии в 1964 году и если бы не вакуум в руководстве, который образовался в результате этого раскола и поражения, я не стоял бы здесь сегодня перед вами… Мне кажется, что мои поездки по стране и за границей в этот период размышлений, в этот период ухода с политической сцены (в его глазах появился темный огонь счастья, словно благодаря этому уходу и этим размышлениям он впервые в жизни испытал истинную радость), когда мне довелось наблюдать не только Соединенные Штаты, но и остальной мир, породили во мне убеждение, что мне следует вернуться на арену (сказано так, словно ему был глас в ночи). Не то чтобы я считал себя незаменимым. (Это сказано мягко, спокойным голосом, как будто он все глубоко продумал и нашел успокоение в сознании, что он не незаменим, — нелепое тщеславие, если глядеть на Никсона со стороны, но ведь он стал вице-президентом, когда ему не было еще и сорока лет, а потому довольно рано, возможно слишком рано, увидел себя мужем рока. Теперь, оговорив это, он мог продолжать.) Но я должен был это делать (попытаться стать президентом), потому что, как мне кажется, время таково, что личность и исторический момент совпали. (Необычное признание для республиканца, учи-

тывая республиканскую, чисто протестантскую неприязнь к философским глубинам и к персонификации истории.)

Я всегда считал, что никто не имеет права стремиться стать президентом и получить этот пост потому лишь, что хочет этого. Я считаю, что выставлять свою кандидатуру имеет право только человек, который может предложить то, чего в данный момент требует пост президента. (Итак, пост президента обрел мистическое значение.)

У меня появилось ощущение (снова очень приятный и скромный голос — это уже не фальшивый Никсон, он настоящий Никсон), хотя, возможно, это было нескромно с моей стороны, что вакуум в руководстве, имеющем опыт в области международных отношений, тот факт, что благодаря моим путешествиям я узнал не только нашу страну, но и мир, — что все это, учитывая требования момента (исторического момента — о, мистика, мистика!), делает мое возвращение на политическую арену желательным и нужным (тут он решил прибегнуть к юмору. Юмор был слабоватый, но для Никсона необычный и негрубый), и между прочим, мне этого очень хотелось. (Снова выйти на арену.) Меня не призывали. Пусть это будет абсолютно ясно. Я сам очень этого

хочу. И к тому же в Майами-Бич в августе призывов еще никогда не бывало. (Доброжелательный смех среди журналистов — в какой-то мере он завоевал их симпатии. И теперь он завершит свою мысль.) ...Я думаю, что, если мне суждено и моя интуиция, так сказать, мое «внутреннее чутье» относительно Америки и американской политической традиции не обманывают меня, в этом году я буду избран.

Речь эта была произнесена в середине пресс-конференции, и ему пришлось парировать вопросы и дальше. Абсолютно уверенным он себя не чувствовал, но его ни разу не застали врасплох. Он был мягок, тверд, рассудителен, в высшей степени собран — возможно, он был одним из самых собранных людей в Америке.

И опять о Никсоне. Не потому, что его деятельность пробудила в репортере бурную страсть, просто все остальное слишком уж ясно и понятно. Если бы журналистская жилка была развита в нем сильнее (или, наоборот, слабее), он узнал бы, что силы Рейгана пошли в решительную атаку, чтобы переманить и украсть, обратить в свою веру делегатов-южан, отняв их у Никсона, и что силы Никсона перешли в контратаку, которая в дальнейшем определит их выбор вице-

президента. Но репортер вел себя, как генерал, находящийся далеко от фронта: раз он не слышал грохота орудий, то и считал, что бой еще не завязался.

Как бы то ни было, вечером репортер отправился на прием, устроенный для делегатов в том же отеле «Хилтон», где утром Никсон проводил свою пресс-конференцию. И если кого-нибудь интересует сравнительная физиология политических приемов, начинать изучение этой науки следует здесь. Когда Рокфеллер давал прием, банкетные залы отеля «Американа», все его проходы и выходы заполнили восемь тысяч делегатов, и там все было рассчитано на то, чтобы ошарашить блеском людей, привыкших к капустному салату, — бокалы наполнялись с верхом, а зернистая икра сползала по скатертям и шлепалась на пол. Здесь же в сравнительной торжественности отеля «Хилтон» — только бог мог удержать его на таком уровне — двадцать два часа спустя силы Никсона демонстрировали, каким должен быть прием для делегатов-республиканцев.

И если тысяча мужчин и женщин ждали снаружи, забив вестибюль и подходы к лестницам, и если очередь шеренгами по шесть-восемь человек вползала вверх по лестнице с выма-

тывающей душу медлительностью, наверху их ждало утешение. Там они по двое вступали через узкие двери в зал, огибали вдоль бархатного каната треть круглого зала, наконец, достигали небольшого возвышения, на котором господин и госпожа Никсон, встречая гостей, здоровались с каждым очень сердечно, причем не вместе, а по отдельности, после чего спускались с возвышения и попадали в центр зала, где находился бар с напитками и столы с ветчиной и холодной индейкой; традиционный ужин «а-ля фуршет», традиционный оркестр струнных инструментов.

С трех до шести часов прошло, возможно, две тысячи человек, а может быть, и меньше, так как Никсон тратил на каждого делегата или супружескую пару пять, десять, пятнадцать секунд. Приглашения могли быть разосланы делегатам, которые уже намеревались голосовать за него или склонялись к его кандидатуре. Во всяком случае, обрабатывать приходилось немногих, и проблема заключалась в том, чтобы вновь пробудить в делегатах, их женах и детях то ощущение важности их миссии, с какими они покидали свои родные города.

Никсон знал, как это сделать. На это он был мастер. Ведь недаром же он провел восемь лет в

упряжке самым высокопоставленным лакеем в стране, адъютантом при генерале с пятью звездами, который, прежде чем стать президентом, успел в свои натовские дни привыкнуть к такому обслуживанию, что никакой другой слуга уже не мог ему угодить, — да, не мог же Никсон после такой школы не научиться обрабатывать очередь делегатов-республиканцев — и по одному и попарно.

И они не были похожи на богатых республиканцев на банкете у Рокфеллера; тут скорее совершалось паломничество скромных делегатов, которые и в собственных городах, возможно, были известны далеко не всем, это был парад жен, и детей, и мужей, которые владели скобяными лавками или аптеками; старший кассир в банке, хозяин галантерейной лавочки, директор средней школы, местный адвокат, врач, оставивший практику, вдова с приличным доходом, ее духовный наставник и тоже делегат, не очень видные служащие не очень крупных корпораций, владельцы собственных ферм, округлый толстяк, возглавляющий отделение республиканской партии где-нибудь в глуши, редактор маленькой провинциальной газеты, преподаватель баптистского учительского колледжа,

школьный библиотекарь, молодой начинающий политик, молодой коммивояжер — солидные и устроенные, средних лет и пожилые, с вкраплением молодежи. Захолустные городки и тихие респектабельные города Среднего и Дальнего Запада и пограничных штатов явились отдать дань уважения своему верному кандидату, представителю их консервативных упорядоченных сердец; и было очевидно, что семейство Никсона обрело опору именно в этих аккуратно одетых добропорядочных обывателях, которые двигались напряженно по отгороженному кругу, теряя ощущение собственного тела, приличных людей, которые тоже всю жизнь прослужили и теперь хотели побыть рядом с человеком, которому отдадут свои голоса и который сумеет сделать их счастливыми, ибо счастье их было в благоговении, а они благоговели перед Никсоном, преемником Старого Айка — символа счастливейших и лучших дней, — они благоговели перед Никсоном, потому что он служил Эйзенхауэру, потому что он снова был с ними. Именно возвращение делало его героем в их глазах, ибо Америка — это страна, где поклоняются Великому Возвращению, и поэтому он уже не был для них шутом, а был самым благороднейшим джентльменом в

стране, и они гордились тем, что могут поздороваться с ним.

Никсоны говорили с каждым делегатом по очереди. Кандидат и его жена пожимали руку или брали за локоть того делегата, который оказывался напротив него или нее, и говорили несколько слов, иногда поглядывая на табличку с фамилией, но чаще узнавая лицо, которое запомнилось с давнего банкета или благотворительного обеда в Платте, или Акроне, или Эвансвилле, Чилликоте или Айова-Сити, в Колумбии (штат Южная Каролина) и в Колумбии (штат Миссури), в Боулдере или Форт-Коллинзе, в Фейетвилле (штат Арканзас) и в Фейетвилле (штат Северная Каролина), в Гаррисберге, и Кине, и Спокане, и в Форте-Лодердейле, и в Рели, и Батте — да, Никсон вскарабкался по всей вьющейся лозе республиканизма за прошедшие два года, завоевывал делегатов по одному и по два, потратив полчаса здесь, час там за разговорами, которые, наверно, включали и распоряжения, оставленные тетушкой Мэтти относительно своих похорон, и историю семейной фирмы. Два года он трогал самые незаметные и скромные струны делегатских сердец, и теперь это сказалось в том искусстве удовольствия, с каким он приветствовал каждого делегата, в

движениях его рук — одних он брал за локоть, других хлопал по плечу, третьих передавал жене, сопроводив этот жест дружескими словами, ни разу не повторившись и для каждого делегата находя нужную фразу. Он все еще был скован в движениях, жесты его явно подчинялись команде мозга, например: «Возьми этого старика за локоть», но ему, несомненно, было хорошо, так как лучше всего ему удавалось быть любезным со своими людьми. И Пэт Никсон помогала ему, беря на себя главным образом жен и детей и делая это тоже искусно — ее лицо, напряженное и высокомерное в юности (упрямство, честолюбие и безжалостность были врезаны, словно гримаса наркомана, в яростный прикус челюстей), теперь смягчилось; она была почти привлекательной, словно расслабились всегда напряженные мышцы самосознания американской женщины.

И пока струнный оркестр возле них продолжал играть — пять скрипок (четыре скрипача и одна скрипачка) плюс одна гитара, один аккордеон, один контрабас, — пока этот пожилой оркестр продолжал одну за другой исполнять те приятные вещицы, которые в кинофильмах обычно служат музыкальным фоном к эпизодам в недорогих брайтоновских отелях, где старые полковники,

служившие в Индии, угрюмо пережевывают свой обед, пока тянулся день, и эта музыка, и медленная процессия делегатов, — репортер наконец понял, как Никсон должен видеть свою миссию. Сегодня среди делегатов превалировала скромность, они были средоточием нации, но усмирившие свою гордыню, — эти же самые врачи и провинциальные адвокаты или другие подобные им всего четыре года назад мечтали окриком и кнутом восстановить порядок в Америке. Тогда нация представлялась им сильным, здоровым плодом их чресел. И они готовы были перенести бои куда угодно: во Вьетнам, в Китай, в черные гетто. Они все были за то, чтобы показать миру и некоторым меньшинствам в Америке, где созревают настоящие гроздья гнева. Но последние четыре года привели к краху многие их секретные политические планы, и они были сбиты с толку. «Осы» построили свое гнездо из статистических материалов, но при всех ссылках на то, что войну можно было бы вести лучшим способом, цифры вьетнамской войны были никуда не годными. Каким образом получилось, что нация, силы которой в пять раз превосходили противника, никак не могла его победить, — если, конечно, господь не решил, что Америка

не права? Мраморная переносица праведности треснула от жестокого удара. Дело обстояло плохо еще со многим — с молодежью, с неграми, с долларом, с загрязнением воздуха и загрязнением рек, с порнографией, с улицами, — и «осы» теперь присмирели. В ближайшее время им, возможно, предстояло вновь сделать президентом своего человека, но страна была расколота надвое, над ней витали кошмары — и впервые за все свое существование «осы» смотрели на власть с опаской. А вдруг они не будут знать, что с ней делать?

Какое видение должно было теперь витать перед Никсоном, какая мечта спасти страну? Конечно, в таком человеке, как Никсон, который снискал единодушное полупрезрение, не могло не пробудиться страстного желания показать истории, что и он не лишен величия. Какая мечта для такого человека! Очистить гангренозные раны великой державы, вернуть здравый рассудок психопатической эпохе, отвергнуть требование излишеств и удовлетворить истинную нужду, добиться равновесия в войне притязаний, очистить от сорняков сад традиций, продемонстрировать тонкое чутье к лучшему новому, показать себя великим просветителем, способным помирить две враждующие половины нации, вернуть дру-

гим народам веру в великий народ, обретший гармонию в дерзании, — да, такая мечта была бы достаточно великой для любого лидера. Возможно, даже вероятно, даже необходимо, чтобы «осы» снова оказались в центре нашей истории. Они слишком долго оставались проклятым меньшинством, огромным булыжником в обширном пищеварительном тракте всех жвачных демократических администраций. Это безумное республиканское меньшинство, обладающее огромной властью запрета и контроля, меньшинство, управляющее экономикой страны, и половиной финансов мира, и внутренними делами четырехпяти континетов, и Пентагоном, и техническим развитием страны, и большей частью секретной полиции, и почти каждым полицейским в каждом маленьком городе. И все же в конечном счете хозяевами страны они не были, они не понимали ее, страна ускользала от них, обгоняла их, и стиль ее жизни сводил на нет их усилия, а жизни лучших американцев, набирая скорость, ускользали от их цепкой хватки. Они были самой мощной силой в Америке, и в то же время они были островом психопатии… Если бы они не нашли моста, они с каждым годом становились бы все безумнее, подобно богатому дворянину в

пустом замке, гонящемуся с палкой за эльфами и людоедами. Они обладали всеми видами власти, кроме одной, столь им необходимой, — они не могли приспособить свою философию к истории. Лишенные центра политической власти, корпорация и маленький городок оставались в идеологическом браке многие десятилетия. Лишь обладая властью, могли бы они решить, какие концепции консервативной философии жизнеспособны и какие — чистое безумие. Можно предсказать: их бюджет окажется безумием; их праведность окажется безумием; их любовь к порядку и четкому мышлению будет искажена и исковеркана, интеллектуальная основа их антикоммунизма разлетится на отдельные куски. А вера маленького городка в маленькое свободное предпринимательство разобьется вдребезги о неумолимую власть корпораций в стране техники, их любовь к мещанской культуре придет в столкновение с безумной эстетикой новой Америки; их безудержная страсть к военному превосходству разобьет себе нос о невозможность такого превосходства без новых правительственных затрат; их любовь к природе должна будет восстать против врага, оскверняющего природу. — против них самих же, против их алчности,

их собственного большого бизнеса.

Возможно, Никсон и мечтал объединить нацию, но сперва ему предстояло лицом к лицу столкнуться с силой правого крыла его же собственной партии, с самыми ярыми и злобными из «ос», увидеть их бычьи мышцы и загривки убийц — хватит ли в Никсоне твердости противостоять им? Или же его скрутят «бешеные» из его же собственной партии, которых сейчас нет в Майами, которых на этой неделе что-то не слышно. Слишком мирно проходит съезд, что-то слишком уж мирно.

В среду вечером Алабама уступила свой черед Калифорнии, и Рейган был выдвинут первым. Речь произнесла Айви Бейкер Прист (теперь ее звали Айви Бейкер Прист Стивенс), красивая женщина, которая в правительстве Эйзенхауэра занимала пост министра финансов и с тех пор стала помощницей Рейгана. Сухим, гнусавым, подленьким, язвительным, ядовитым, понукающим голосом типичной ораторши-республиканки она вещала: «Человек, который грудью встретит университетских радикалов и грабителей на улицах и скажет им: „Повиновение законам“. Человек, под стать нашим горам и равнинам, человек, проникнутый славными

традициями прошлого, человек, прозревший неограниченные возможности новой эры. Да, судьба обрела достойного избранника». Через минуту она кончила, и началась довольно внушительная овация. Было выпущено пять ящиков воздушных шаров, и Рейган поймал один из них, они сразу же каскадом посыпались вниз — в каждый капнули воды для балласта, шары опускались быстро, словно поролоновые подушки, их взрывали горящими сигаретами и топтали ногами, так что казалось, будто одна за другой рвутся шутихи.

А когда это кончилось, на вечер опустилась тяжелая пелена скуки. Хикел из Аляски и Уинтроп Рокфеллер из Арканзаса были объявлены любимыми сынами своих штатов, причем последний был поддержан двумя ораторами и восьмиминутной овацией. Ромни использовал все сорок минут, и оркестр Нельсона Рокфеллера поддержал ему овацию, а отряды Ромни в свою очередь поддержали овацию Рокфеллеру. Сенатор Карлсон от штата Канзас, затем Файрам Фонг от Гавайев также были объявлены любимыми сынами. Уже в десятом часу губернатор Пенсильвании Шаффер взял слово, чтобы внести в списки Нельсона Рокфеллера. Между выдвижением

Рейгана и началом выдвижения Рокки прошло больше двух с половиной часов. Журналисты покинули зал заседаний и сгрудились за кулисами, где давали бесплатные бутерброды и пиво; и все думали о том, как хорошо было бы вернуться в отель, выписаться, сесть на ближайший самолет и добраться до дому еще до конца выдвижения кандидатов и начала голосования. Они могли бы увидеть все это по телевизору. Съезд показал, что больше ни один журналист не может угнаться за событием, если не будет периодически обращать свой взор к голубому экрану. Ведь сами политические мужи кидались к телеоператорам, отталкивая плечом журналистов. И в период этого затишья один ожесточившийся представитель прессы — плотный южанин в роговых очках — произнес самые весомые слова за весь вечер. Потягивая пиво и грызя бутерброд с тонюсеньким ломтиком пересохшей индейки, он сказал: «Да, единственное, что могло бы оживить съезд, — это если бы Айк загнулся сегодня вечером»[51].

Затем Спиро Агню выдвинул Никсона. Если бы на следующий день его не видвинули кандидатом на пост вице-президента, его речь прошла бы

---

[51] Примечания: 51
В период съезда Д. Эйзенхауэр (Айк) лежал в госпитале.

незамеченной.

Овация Никсону почти не уступала рокфеллеровской. Шум И гам, два ящика воздушных шаров, лопавшихся с пулеметным треском, — и никакого подъема в аудитории, никакого искреннего подъема. В этот вечер ничто и отдаленно не напоминало тот дух варварских игрищ у костра и военной истерии, который в 1964 году пробудил Барри Голдуотер.

И все же эти демонстрации показали все кандидатуры еще с одной стороны: у людей Рейгана были коротко остриженные, прямые волосы; Ромни поддерживали солдаты и полицейские; разбитные республиканцы — насколько республиканцы способны быть разбитными — шли за Рокки; что же касается Никсона, то настроение в зале напоминало разгар рождественского веселья в главной конторе большой корпорации.

В семь минут второго ночи, через восемь часов семь минут после начала заседания, оно было закрыто, и зал охватило убеждение, что сегодня вечером ничего не произошло. С самого начала Никсон был впереди, и он остался впереди до самого конца. Едва первой проголосовала Алабама (14-за Никсона, 12 — за Рейгана), как рассеялись последние сомнения, хотя в воскресенье, по

оценке «Нью-Йорк таймс», Никсон мог твердо рассчитывать лишь на девять голосов. И когда Флорида из 34 голосов отдала ему 32, а Джорджия — 21, уже можно было не ломать голову над исходом. Висконсин, отдав Никсону 30 голосов, обеспечил ему окончательный перевес.

А теперь покинем съезд, бросив взгляд на Рейгана. Он взял слово, как только закончилась баллотировка, и призвал к тому, чтобы выдвижение было единодушным. При этом Рейган улыбался. И что примечательно, он выглядел более счастливым, чем за все время съезда, словно вспомнил, как Барри Голдуотер отказался от выдвижения в 1960 году и какими выгодами это для него обернулось, а может быть, ему было просто приятно, так как актер в его душе распорядился, чтобы он играл именно эту роль. В кино он многие годы играл положительных героев и гордился этим. И если ему не доставалась героиня, то потому лишь, что он был слишком уж положительным. Но он не падал духом, а стискивал зубы и уже в следующий раз обязательно покорял ее. Поскольку вполне возможно, что таков внутренний конфликт жизни половины респектабельной Америки, он пользовался необычайной популярностью среди республи-

канцев. Для партии, которая гордится своим здравым смыслом, они были удивительно, даже возмути–, тельно сентиментальны.

Сейчас, призывая к единству, Рейган говорил мягко, с простотой, напоминающей простоту хорошего актера-профессионала средних лет: «Знаете, ребята, я вот играю интеллектуала, а собственный мой мозг устроен так, что и бридж для меня сложноват».

Его шумно приветствовали, и вид у него был такой счастливый, словно он сумел чего-то добиться. В четверг, когда объявили о кандидатуре Агню на пост вице-президента, было много поводов вспомнить о нем, и, по мере того как история этого выдвижения прояснялась, репортер волей-неволей думал о том, каким он увидел Рейгана во вторник, после приема, устроенного Никсоном для делегатов.

В отличие от Никсона, Рейган чувствовал себя с журналистами свободно. Они прежде всегда хорошо с ним обходились, они будут обходиться с ним хорошо и в будущем — в нем была уверенность губернатора большого штата, как раз та, какой не хватало Никсону: к тому же Рейган с давних пор проникся уверенностью актера, популярного среди тех, кто его интервьюирует, короче

говоря, он умел держаться с людьми так естественно, что мелкие натяжки и несоответствия сходили ему с рук. В свои пятьдесят семь лет он выглядел тридцатилетним, и в нем чувствовался почтительный энтузиазм, ясный, но надежно неоригинальный ум коммерческого директора, который благодаря своим способностям получил повышение через головы тех, кто был старше.

Тогда, во вторник днем, его засыпали вопросами о том, удается ли ему переманивать делегатов от Никсона, а он повторял одно: «Я не знаю. Я просто не знаю. Я так загружен и встречаюсь с таким количеством делегаций, что у меня не остается времени читать газеты».

«А что говорят делегации, губернатор?»

«Право, не знаю. Они очень вежливо меня слушают, а потом я ухожу, и они обсуждают, что я им сказал. Но я не могу сказать вам, берем мы верх или нет. Думаю, что да, но точно я не знаю. Честное слово, не знаю, господа. — И белозубо улыбнулся. — Я просто не знаю», — словно тринадцатилетний мальчишка, словно, господа, он и в самом деле не знает. Журналисты и делегаты слушали его, смеялись вместе с ним, будто Рональд Рейган — безобидная божья коровка.

Возможно, держался он так потому, что Юг

стоял за Никсона. Наверно, в тот день он получил от делегатов двойную порцию любви — он был им симпатичен, но в то же время они не были готовы отдать ему свои голоса, а потому любили его вдвойне. А он не ощущал реальных приобретений, и поэтому он ничего не знал, просто ничего не знал.

Никсон сделал все, чтобы выпутаться из затруднительного положения. Когда он вошел в зал, чтобы произнести перед делегатами речь, в которой давал согласие баллотироваться в президенты, он был опьянен успехом и счастлив.

«Схватка на съезде — вещь очень полезная, — сказал он журналистам, — она оздоровила партию, помогла очистить атмосферу. Теперь мы сплотимся еще крепче».

Перед тем как Никсон начал свою речь, в нем чувствовалось страшное напряжение и было видно, что он намеревался сделать все, чтобы это была самая сильная речь в его жизни.

Когда ему предоставили слово и он поднялся на трибуну, раздались аплодисменты — длительные, но не слишком бурные. Просто съезд официально приветствовал своего кандидата. Но для него эти аплодисменты звучали музыкой, так как длились они несколько минут, и у

него хватило времени подозвать жену и детей, а также Спиро Агню с женой и двумя дочерьми, а потом еще постоять на трибуне одному, приветственно помахать руками, улыбнуться улыбкой победителя, подбежать к краю трибуны и получить поцелуй от старой чопорной дамы, которая вчера вечером и сегодня во время баллотировки оглашала названия штатов, и снова широко улыбаться; хватило времени, чтобы дать собравшимся оценить строгость своей позы и короткие, жеманные жесты, чем-то напоминавшие некоего диктатора из далекого прошлого. И опять встал вопрос, окажется ли Никсон достаточно силен или следовало опасаться, что слабость заставит Никсона доказывать всем, что он очень, очень силен.

Наконец он жестом, улыбкой и смехом попросил тишины. А затем начал свою речь, к которой готовился много недель, вложив в нее всю свою энергию, речь, написанную, невидимому, большей частью им самим, ибо в ней был весь человек, прежний и новый, со всеми старыми фокусами и новыми мечтами, обветшалыми идеями и проблесками новой мысли — в этой речи был он весь. Он начал с воспоминаний о том, как шестнадцать лет назад он тоже стоял «перед делегатами этого

съезда, когда вы выдвинули меня вместе с одним из величайших американцев нашего, да и любого другого времени — Дуайтом Эйзенхауэром…».

Айк тем временем лежал тяжело больной в госпитале Уолтера Рида.

«Ничто так не поддержит его, как наша победа в ноябре. И я говорю: давайте одержим победу и посвятим ее Айку».

Возможно, он ожидал громовой овации, но ответом ему были лишь жидкие аплодисменты. Айка уже использовали, и не раз, и не два, и не три.

Речь продолжалась. Он говорил о том, что Вашингтон должен вернуть власть штатам и городам, похвалил Рокфеллера, Рейгана и Ромни за их упорную борьбу и выразил уверенность, что в ноябре они будут драться еще упорнее за победу.

«Партия, которая сумеет сплотиться сама, сумеет сплотить и Америку», — сказал он.

До сих пор он обхаживал старых республиканцев, действуя простыми, испытанными и безотказными методами, теперь же его слушали миллионы независимых, среди которых много молодежи, и он это знал. А потому дальше воззвал ко всем избирателям вообще.

«Когда мы смотрим на Америку, мы видим

города в дыму и пламени. По ночам мы слышим вой сирен. Мы видим американцев, умирающих на далеких полях сражений за рубежом. Мы видим американцев, ненавидящих друг друга, дерущихся друг с другом, убивающих друг друга у себя на родине… Неужели мы прошли свой длинный путь ради этого? Отвечу вам…»

И мы услышали: «…спокойный голос среди шума и гама, воплей… голос подавляющего большинства американцев, забытых американцев — не крикунов, не демонстрантов. Они не расисты и не больные; они не повинны в преступлениях, которые стали бедствием для страны; среди них есть черные, есть белые…»

И он стал усердно развивать тему забытых американцев, которые трудятся на фабриках, руководят фирмами, работают в правительственных учреждениях, идут в солдаты и погибают за родину.

«Они поддерживают дух Америки… осуществляют мечту Америки… являются хребтом Америки… хорошие люди… добропорядочные люди… работают и откладывают на черный день… (и смотрят сейчас на экраны своих телевизоров), платят налоги… и они не апатичны… они знают, что наша страна не будет хорошим домом ни для

кого из нас, если она не станет хорошим домом для всех».

Затем он обрушился на лидеров, которые разбазаривали то, что является достоянием Америки и ее гордостью, неумело вели войны, развалили экономику.

«…настало время… полностью пересмотреть политику Америки в каждом уголке мира». Неоспоримая истина.

«Я обещаю вам сегодня, добиться почетного окончания воины».

Что касается гражданских прав, он пойдет вправо, а в вопросах внешней политики — влево по сравнению с демократами, но при этом он тут же постарался поддержать жар патриотических душ.

Далее он похвалил прогресс и напомнил, что прогресс опирается на порядок. Но тут он был просто циничен, так как честное служение идее, чистой и цельной, было ему чуждо. Нет, для него идеи были клавишами, с помощью которых он хотел бы программировать американское мышление. А ведь с американским мышлением дело обстояло из рук вон плохо: лучшая в мире система образования привела к такой обработке сознания, какой не знала история культуры,

подобно тому как высочайшая ступень развития медицины может еще обрушить на человечество невиданный доселе мор. Отсюда явно следовало, что если бог пожелает сласти Америку, то кого как не Ричарда Никсона может он избрать сейчас своим орудием? Конечно, если бы дьявол захотел столкнуть Америку в пропасть… ну, для этого сошел бы и Хэмфри.

Он ударяет по другой клавише:

«Первое из гражданских прав каждого американца — это право быть избавленным от насилия у себя на родине».

Финт вправо, финт влево.

«Тем, кто говорит, что „законность“ и „порядок“ — это кодовые обозначения расизма, я отвечу: наша цель — справедливость, справедливость для каждого американца…»

Он перешел к заключительной части своей речи.

«Я вижу день», — начал он, и эти слова послужили ему зачином для нескольких периодов. Когда-то Мартин Лютер Кинг произнес знаменитые слова: «У меня есть мечта…» Никсон взял на вооружение все ораторские приемы, которые оказались эффективными в последнее время. «Я вижу день» — эти слова он повторял девять

раз. Он увидел день, когда президента будут уважать, «день, когда каждый ребенок в этой стране независимо от своего происхождения сможет получить самое лучшее образование… сможет подняться в жизни до таких высот, какие будут соответствовать его дарованиям».

Никсон — социалист!

«Я вижу день, когда жизнь в сельской местности будет привлекать людей, а не отпугивать…»

Затем он увидел день, когда удастся покончить с проблемой трущоб, уличного движения, загрязнения биосферы, он увидел день, когда доллар будет стоять твердо, день избавления от страха в Америке и во всем мире… И за все это он просил голосовать.

Речь его уже близилась к концу, но тут он сделал второй заход:

«В этот вечер я мысленно вижу ребенка… мексиканца, итальянца, поляка… не важно, какого он происхождения… он — американский ребенок.

Но он лишен будущего. Как искажается болью лицо ребенка, когда он познает нищету, пренебрежение, отчаяние».

Тут Никсон мысленно увидел другого ребенка:

«Он слышит шум проходящего поезда. По ночам он мечтает о дальних странствиях… на

жизненном пути ему помогали многие… отец, который вынужден пойти работать, не окончив шестого класса… заботливая мать-квакерша, страстная поборница мира… прекрасная учительница… замечательный футбольный тренер… мужественная жена… преданные дети… обеспечить ему успех на избранном им политическом поприще помогали сперва десятки, потом сотни, потом тысячи и, наконец, миллионы людей. И вот сегодня он стоит перед вами, выдвинутый кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Теперь вам понятно, почему я так глубоко верю в американскую мечту… помогите же мне сделать ее реальностью для миллионов людей — всех тех, для кого сегодня это всего лишь несбыточная мечта… Американцы, сограждане мои, долгая темная ночь, спустившаяся на Америку, скоро кончится… пора вам покинуть долину отчаяния и взойти на вершину горы (тут явственно слышится страстный возглас Мартина Лютера Кинга в последней его проповеди: „Я взошел на вершину горы — я видел вершину“. Нет, у Никсона не было стыда и не было страха, а каких демонов будил он!..). На вершину горы, чтобы мы смогли увидеть славную зарю нового дня Америки, новую зарю свободы и мира на земном шаре…»

Он кончил, и кто измерит добро и зло, силу и слабость, искренность и лицемерие его слов? Вверх взмыли воздушные шарики — их выпустили целый ящик (33 цента за штуку), — раздались крики ликования и аплодисменты, заиграл оркестр, и Никсон с семейством выглядели очень счастливыми, и Агню с семейством выглядели ошеломленными и очень счастливыми, и вот уже стали смолкать аплодисменты, не слишком громкие, не слишком тихие аплодисменты, награждавшие Ричарда Никсона за его высшее достижение на поприще ораторского искусства. А тем временем в Майами, в шести милях от зала, где проходил съезд, в районе между Пятьдесят четвертой и Семьдесят девятой улицами и Седьмой и Двадцать седьмой авеню начались негритянские волнения, и трое убиты, а пятеро при смерти в результате перестрелки между полицейскими и снайперами; и пятьсот вооруженных национальных гвардейцев заняли позиции в ста городских кварталах; и со среды, когда все это началось, были арестованы сто пятьдесят черных; и губернатор Кэрк пошел с преподобным Абернети (тот сказал: «Я поведу вас»), чтобы урезонить взбунтовавшихся. А сегодня вечером в ответ на вопрос, как успокоить

волнения, губернатор заявил: «Силой, любой силой, какая бы ни потребовалась». Это были первые крупные волнения в истории Майами.

К этому времени репортера отделяли от места событий 1500 миль, и он уже не мог описывать их как очевидец. Впрочем, в Чикаго предстояло то же самое. Быть может, Чикаго подскажет ему, на какую лошадку ставить в этих скачках, где призом будет самый высокий пост в стране. Ему вдруг пришло в голову, что разумный американский избиратель находится сейчас в положении бедного негра-южанина, который на протяжении последних пятидесяти лет вынужден был выбирать между расистом явно скверным и расистом, который, быть может, окажется не таким уж скверным. Хэмфри против Никсона!

ОСАДА ЧИКАГО

Чикаго, 26–29 августа

Чикаго — великий американский город. Нью-Йорк — одна из столиц мира, а Лос-Анджелес — созвездие из пластмассы, Сан-Франциско — это светская дама, Бостон стал символом городского благоустройства, Филадельфия, Балтимор и Вашингтон мерцают, словно тусклые бриллианты, в смоге сверхгородов восточного побережья, а

Нью-Орлеан ничем не примечателен, не считая французского квартала. Детройт — город одной промышленности, Питтсбург утратил свой золотой треугольник, Сент-Луис стал золоченой аркой корпораций, а в Канзас-Сити рано замирает жизнь. Государственные дотации нефтепромышленникам превратили Хьюстон и Даллас в шахматную доску, на которой ведется эта игра. Но Чикаго — великий американский город. Возможно, это последний из оставшихся великих городов Америки.

Если лицо Чикаго можно свести к широкому мясистому носу с раздутыми ноздрями, жадно втягивающими в себя вонь, миазмы, власть, удачный день, пухлую проститутку и красоту грязного доллара, то сторонники Юджина Маккарти, собравшиеся пятитысячной толпой в аэропорту Мидуэй, чтобы приветствовать сенатора в воскресенье 25 августа, все, казалось, были скроены по одному образцу, бесконечно повторяющемуся в каждом из этих довольно высоких худощавых молодых людей в костюмах в полоску, в роговых очках с бледными лицами, тонкими носами и (это было общим для всех) узкими ноздрями.

Юджин Маккарти, разумеется, опирался на движение, которое черпало силу в пригородах и

университетах, в этих двух оплотах веры, согласно которой человек имеет право вести скромную и разумную жизнь, свободную от вмешательства больших сил. Если коррупция в политике, оппортунизм и чрезмерное честолюбие пробуждали в них презрение, а несправедливость в расовых отношениях — их неодобрение (ибо несправедливость противна разуму), то война во Вьетнаме пробуждала в них самую благородную ярость, так как она свидетельствовала о бешеной внешней силе, которая грозила уничтожить их самих. В пригородах и в университетах родители и дети были едины в отвращении к этой войне.

Когда в этот солнечный день Маккарти приветствовал своих сторонников, он выглядел очень крупным в своем костюме кандидата в президенты; он не казался усталым и был счастлив, что его встречает толпа, счастлив самой атмосферой приема. Он шел между двумя рядами своих друзей и репортеров, которые умудрились проскользнуть за канат, сдерживающий толпу, пожимал руки, подмигивал и приветственно улыбался направо и налево. «Ты-то что здесь делаешь, Норман?» — сказал он с улыбкой, быстрой, как удар рапиры, и направился к эстраде, где микрофоны украшали трибуну, словно виноградные гроздья. Но микро-

фоны не работали. И Маккарти расхохотался. А толпа размахивала плакатами: «Главная надежда Америки!», «Ясность мысли, не безумие!», «Я — за Маккарти!»

Наконец он крикнул толпе: *«Они* отключили энергию. *Мы* пробуем ее включить». Презрительные студенческие вопли в адрес столь низко павшей оппозиции и умудренный смех, рожденный оптимизмом ситуации.

«Давайте споем», — сказал Джин Маккарти. Ликование толпы. Его нормы были их нормами — остроумие всегда спасает от мелких неприятностей — и они запели: «Эта земля — твоя земля, эта земля — моя земля», а Маккарти перешел к другому микрофону, так что в его свите начались быстрые перемещения, но он тут же вернулся к первому микрофону. Его уже починили.

Маккарти говорил шесть-семь минут. Собравшиеся ожидали взрывчатого красноречия, но сенатор говорил мягко, иногда посверкивая остроумием и держась с обычной вежливой уверенностью. «Мы можем построить новое общество и новый мир», — сказал он самым мягким тоном из всех возможных, а затем добавил, будто желая снять проклятие с подобной интеллектуальной самонадеянности: «Мы просим не так уж

много — лишь самого скромного применения рассудка».

Толпа одобрительно завопила. Даже самое скромное применение рассудка прекратило бы войну во Вьетнаме.

Он не пошел на компромисс даже с музыкантами. Если в глубине души он был консерватором и черные не считали его великим, то черта с два будет он поощрять гармошки и водопады душещипательной музыки. Нет, до сих пор он делал все по-своему, очищая ряды своих советников от тех, кто занимался кухонной политикой; нет, его кампания началась как образовательная, и такой же она завершилась, и он ни на дюйм не скомпрометировал себя и ни на секунду не превратился в демагога, и это дало ему силу, возможно недостаточную, чтобы победить, наверняка недостаточную, чтобы победить, но достаточную, чтобы не дать крена; и в атмосфере избирательной кампании, которая наконец-то велась для умных людей — никаких уступок шлюхам, — он уехал с аэродрома.

Митинг не был выдающимся, но в нем была приподнятость и слабая надежда на победу, которая, хотя и не взмыла высоко в небо, все-таки еще может обрести крылья. Глядите хорошенько,

так как больше ничего приятного вы не увидите. Позднее в тот день Губерт Хэмфри прилетел на аэродром О'Хэйр, но его встретила не толпа, а только несколько его сотрудников. У Губерта Хэмфри было два типа сотрудников. Одни стригли волосы коротко и могли бы пойти за Рональдом Рейганом. Другие словно только что вышли из ресторана, где мафия пожимает руку профсоюзам.

Пожалуй, пора обозреть силы, воздействовавшие на съезд 1968 года.

Рассматривать под таким углом съезд республиканцев нужды не возникло. То, что предшествовало Майами-Бич, было просто: Никсон благодаря возникшему историческому вакууму, который он первый распознал, и большой проделанной работе уже на ранней стадии занял республиканский центр, а вся остальная история свелась к попыткам Рокфеллера прояснить свое положение для себя.

А вот история демократов напрашивается на то, чтобы о ней писать, потому что ни одному съезду еще не предшествовали такие события.

Вечером 31 марта, когда самый последний опрос общественного мнения, проведенный институтом Гэллапа, показал, что за Линдона Бейнса Джонсона стоят лишь 36% американцев

(причем только 23% одобрили то, как он ведет войну); Джонсон заявил по национальному телевидению, что он не выставит своей кандидатуры и откажется, если его «выдвинет моя партия на пост вашего президента».

2 апреля заговорили о том, что выдвинут Хэмфри; Маккарти победил на первичных выборах в Висконсине, получив 57% голосов против 35% Джонсона (и было подсчитано, что если бы Джонсон не отказался, то голосование дало бы, пожалуй, 64 к 28%).

4 апреля Мартин Лютер Кинг был убит белым, и на следующей неделе в Мемфисе, Бруклине, Гарлеме, Вашингтоне, округ Колумбия, Чикаго, Детройте, Бостоне и Ньюарке начались беспорядки, пожары и грабежи. Мэр Дейли отдал свой знаменитый приказ чикагской полиции «убивать наповал», и в некоторые из этих городов были посланы национальная гвардия и федеральные войска.

23 апреля студенты Колумбийского университета забаррикадировали канцелярию одного из деканов. На следующий день занятия прекратились и уже толком не возобновлялись до конца семестра. 10 мая, словно по сигналу спонтанного всемирного движения, студенты Сорбонны дра-

лись с полицией на баррикадах и на улицах. И в тот же самый день Мэриленд без шума отдавал своих делегатов Хэмфри.

3 июня был убит Энди Уорол. 4 июня, победив на первичных выборах в Калифорнии со счетом 45% голосов против 42%, полученных Маккарти, 12%— Хэмфри, Роберт Фрэнсис Кеннеди был смертельно ранен в голову и умер на следующий день. Людоедская война мирных сил Маккарти и Кеннеди кончилась. Маккарти потерпел почти полное поражение в Индиане, Небраске, Айове и в Южной Дакоте. Кеннеди сильно повредило его поражение в Орегоне. А Хэмфри тем временем набирал голоса в таких штатах, как Миссури, где первичные выборы не проводятся, а также в штатах, где такие выборы проводятся, как, например, в Пенсильвании, после того как она отдала 90% своих голосов Маккарти.

Так прошел месяц. В Кливленде, с его первым негритянским мэром, все еще продолжались беспорядки. Спок, Гудмен, Фербер и Коффин были приговорены к двум годам тюремного заключения. Кентукки отдал Губерту Хэмфри 41 делегата из 46, и сторонники Маккарти покинули зал заседания. Поговаривали о том, что Хэмфри хотел бы получить в вице-президенты Тэдди Кенне-

ди, а газеты широко комментировали желание демократов провести свой съезд не в Чикаго, а где-нибудь еще. В Чикаго в это время забастовали телефонисты и как будто собирались забастовать шоферы такси и автобусов. Чикаго, правда, почти против воли должен был принять у себя представителей юношеской партии. В ту самую неделю, когда там должны были собраться демократы. В Чикаго демократической партии приходилось иметь дело с бешеным бычьим характером мэра Дейли, и за кулисами вовсю старались перенести съезд в Майами, где ему были обеспечены бесперебойная работа телевизионных и телефонных линий, а также отсутствие Дейли. Но Дейли не собирался выпустить съезд из своего города. Дейли обещал гарантировать порядок и не допустить никаких безобразных демонстраций. Дейли намекнул, что его гнев — если съезд состоится не в Чикаго — испепелит опоры, на которых кое-кто возводит здание своих надежд. Поскольку под определение «кое-кого» в первую очередь подпал Губерт Хэмфри, он не торопился обидеть мэра. По слухам, когда заинтересованные лица умоляли Линдона Джонсона воздействовать на Дейли и добиться его согласия на перенос съезда, он ответил: «Майами-Бич — это не американский

город».

Телевизионные компании пускали в ход все средства, чтобы съезд перенесли в другое место. Ведь в Чикаго из-за забастовок телевизионные передачи предстояло вести только из отелей и Амфитеатра. А все, что будет происходить на улицах, оставалось показывать в записи с опозданием на полдня, что для телевидения равно опозданию на неделю. Но Дейли был готов выдержать электронный натиск всех полупроводников мира, а за ним (это лишь предположения, которые нельзя доказать), — за ним, наверно, стоял Линдон Джонсон, раненый тайный великий шаман демократической партии. Джонсон действовал теперь, как злой волшебник, и плел свою паутину весь июнь, июль и август, чтобы созвать проклятый съезд, создать платформу, кандидата и партию, которые будут подчиняться ему.

«Политика — это собственность», — объявил во время праздничных возлияний Мэррей Кемптон, делегат от Нью-Йорка, и вряд ли можно лучше сформулировать суть этой новой науки. Линдон Джонсон был первым, кто постиг, что политика — это собственность. А потому в ней ничего даром не дается. Следовательно, политика съезда не столько искусство возможного, сколько

искусство того, что возможно, если иметь дело с собственниками. Голос делегата — это его собственность, и он не отдаст его даром, как домовладелец не отдаст бесплатно свой дом ради какого-нибудь благородного начинания.

Истинный владелец собственности относится к своему земельному участку без малейшей двусмысленности: он не ругает ее и не считает, что соседние участки могут быть лучше. Точно так же профессиональный политик, не гордящийся своей собственностью, — это предатель.

Такие имущественные отношения строятся вокруг любой политической синекуры в нашей стране: пост ли судьи, хорошее место, подряды или обещания — в конце концов все сводится к креслам в кабинетах и словам, продажным, как акции. Все это и есть политика как простая собственность. Каждый в этой игре урывает себе кусок, и этот кусок можно пустить в ход — он эквивалентен капиталу, с него можно получать проценты, вложив его в такие солидные консервативные предприятия, как десятилетия верности одной и той же политической машине. До тех пор пока система действует, такая собственность приносит дивиденды. Но эту собственность можно также использовать и как

капитал для рискованных операций — можно поддержать внутреннее брожение в собственной партии, рискнув даже потерей всего, что имеешь, ради возможности получить гораздо больше.

Такова политика в муниципалитете, в графстве или в капитолии штата, такова политика внутри партии — политика как простая собственность, то есть политика как конкретный товар, когда стоимость участия в политике в любой момент может быть почти прямо обращена в наличные.

Но и политика на национальном уровне тоже может быть сведена к формуле «политика — это собственность», если помнить, что честность и неподкупность (или репутация честности и неподкупности) крупного политического воротилы остаются точно такой же собственностью, так как они приносят ему власть и доходы. Ведь крупный политический воротила — другими словами, государственный деятель или лидер — обретает политическую сущность, только став слугой каких-то идеологических институтов или интересов, а также имеющихся в наличии общественных страстей избирателей. В результате он становится носителем полученной от них политической власти, которая, без всякого сомнения, представляет собой собственность. В свое время

статус ведущего антикоммуниста был бесценной собственностью, вокруг которой кипела борьба, й Ричард Никсон тогда успел опередить других конкурентов й застолбил значительную площадь этой собственности. Политик тщательно выбирает, на какую духовную собственность сделать ставку. Если он обладает хорошим нюхом, беспринципен и не боится постоянной нервотрепки, он поторопится — за ценности в политике идет большая драка — хватать такие ценности где только можно, даже если они будут входить в противоречие между собой. Политика — это собственность. Ты набираешь ее сколько можешь, платишь минимум за право владения, выжимаешь максимум и комбинируешь, где можно. Маленькие гении вроде Хэмфри заметили, например, что истовый тред-юнионизм и истовый антикоммунизм в свое время, возможно, и противостояли друг другу над полосой ничейной земли, но что сразу после второй мировой войны созрели для того, чтобы обогатить друг друга национальной респектабельностью в десятикратном размере.

Губерт Хэмфри был маленьким гением американской политики, но, на беду свою, он был накрепко связан с Линдоном Джонсоном — на-

шим общим домашним гением. Хэмфри не смог извлечь из своей печени достаточно гордости, чтобы попросить развода. Его печень вырабатывала только страх. Он приехал в Чикаго, и в аэропорту его встретила лишь горстка верных, тех, кто получал жалованье от него — жалкая собственность вице-президента, — а таких было немного. Позже, в Шерман-Хаузе, его приветствовало несколько сот человек — мальчиков и девочек. В 1964 году кое-кто из девочек Голдуотера смахивал на проституток, и теперь, в 1968 году, то же сходство проскальзывало в девочках Хэмфри. Мафия любила Хэмфри: мафия всегда любит политических лидеров с набитыми бумажниками в кармане, а за Хэмфри стояли большие деньги — в Нью-Йорке за один вечер для него было собрано восемьсот тысяч долларов; он был бы идеальным президентом — на какое-то время — для каждого дельца, которому удобно прятать свои делишки за ширмой правительственного контракта. И вот деньги Хэмфри объявились в Чикаго для покрытия съездовского веселья, а с ними в отеле «Хилтон» и открылся особый ночной клуб или кабаре под названием «Губаре», где трудно было отличить лидеров профсоюзов от мафии, а женщин от… но не будем оскорблять

женщин.

Когда Губерт Хэмфри приехал в Чикаго, он мог рассчитывать приблизительно на 1400–1500 делегатов. Такую жесткую оценку дали самые трезвые головы в его штабе: Лэрри О'Брайен, Норман Шерман, Билл Коннели; цифра была заниженной, так как они не присчитали ни любимых сынов Юга, ни небольшого резерва неприсоединившихся делегатов.

То ли съезд был у Хэмфри в кармане, то ли съезд расползался по швам. Никто ничего толком не знал. Обычно человек, приехавший на съезд с недобранными по первому кругу голосами, все-таки бывал уверен в победе. 8 последнюю минуту делегаты, точно обезумевшее стадо, панически бросаются в сторону того, кто берет верх. Хэмфри привез на сотню, если не на две сотни голосов больше, чем ему требовалось, и тем не менее он не преминул заявить на встрече с прессой, что он поддерживает политику президента Джонсона во Вьетнаме, эта политика «в основе своей разумна». В течение двух месяцев он колебался и намекал на свою близость к «голубям» только для того, чтобы в следующий момент торопливо попасть в тон администрации. Конечно, можно сказать, что это был искусный политический

прием, с помощью которого он маскировал свою позицию, чтобы сбить с толку сторонников Юджина Маккарти. Если бы они убедились, что по вопросу о войне во Вьетнаме он продолжит линию Джонсона, они (включая самого Маккарти) могли бы уговорить Тедди Кеннеди выставить свою кандидатуру. И Хэмфри разыгрывал из себя «голубя», чтобы удержать младшего Кеннеди в Хайаннис-порте[52]. Но что он приобретал, кроме одобрения Линдона Джонсона? Союз с Маккарти мог даже дать ему шанс на победу в ноябре. И тем не менее Хэмфри продолжал страховаться и перестраховываться — он обхаживал Юг, обхаживал Линдона Джонсона, Дейли, Мини, Кеннеди, и все же он приехал в Чикаго без уверенности, что его выдвинут У него было 1500 голосов, но, если бы что-нибудь пошло не так, ему нельзя было твердо рассчитывать ни на один из них — они могли все исчезнуть за одну ночь.

Однако никакие особые опасности ему не грозили. Маккарти, которого делегаты недолюбливали втройне: за то, что он был прав, за то, что он гордился своей правотой, и за то, что он пускал в ход только духовные ценности, — никаких

---

[52] Примечания: 52
Хайаннис-порт — фамильное поместье семьи Кеннеди.

шансов не имел. К тому же его терпеть не могли кеннедисты.

Но Губерт Хэмфри был «ястребом», а не «голубем» по причине слабости своих коленок. Коленки у него подгибались при одной мысли о том, что он может навлечь на себя коллективный гнев военно-промышленных кругов, столь хорошо ему известных по Вашингтону, увидеть шизофреничный снайперский блеск в глазах пентагоновских клерков. Да, страх возобладал над политическим здравым смыслом, над трезвыми расчетами, которые обещали победу, и даже над рабской покорностью Линдону Джонсону (ведь Линдон Джонсон и сам боялся Пентагона). Короче говоря, он боялся сказать генералам, что они неправы. На мир они еще могли пойти, но заставить их признаться в том, что они слегка не в себе… С тем же успехом можно попросить дракона перенести логово в другое место.

Это был странный съезд — с почти предрешенным исходом, хотя у кандидата сосало под ложечкой от страха и опасений, что его все-таки не выдвинут; съезд в смирительной рубашке и тем не менее поразительно буйный, несмотря на то что его крепко держал в руках Линдон Джонсон и что люди Джонсона были повсюду.

Человеком, который все организовал, был Джон Крисуэлл, казначей национального демократического съезда, — фигура никому не известная, пока его не выдвинул к рампе президент. Он настолько принадлежал Джонсону, что даже чинил трудности по мелочам людям Хэмфри — лучший способ напомнить такому человеку, как вице-президент, что в политическом отношении он еще безземелен. Тем не менее когорты Хэмфри заняли передние ряды. Они могли обрушить на оратора ураган негодующих воплей или поддержать его, воздействуя на него просто своим присутствием, которое становилось особенно внушительным при взгляде на иллинойсских подонков из окружения Дейли. У некоторых из них глаза были, как буравчики, носы других напоминали лемех плуга, подбородки выпячивались, словно ампутированные колени, и у всех волосы расчесаны набок — под мэра, у которого при ближайшем рассмотрении оказалась багровая кожа в сетке синих прожилок и волосы как серая грязная шелковая пряжа, тщательно расчесанная. В свои худшие времена Дейли удивительно смахивал на дородную бабу в грязном сером шелковом парике. В лучшие он выглядел настолько респектабельным, что его

можно было бы принять за тренера команды «Чикагские медведи». Как бы то ни было, а это не пустяк, если прямо перед вами сидит делегация от Иллинойса, все эти вышибалы, посредники, лизоблюды и гориллы, которые шарят глазами по лицам в зале, словно выбирая ненадежных, чтобы после заседания превратить их в лепешку. Субъекты с глазами-буравчиками всегда действуют таким образом, таково их ремесло, но разница заключалась в том, что беспорядки происходили за стенами съезда, а делегатов обрабатывали в зале, и грузовики с генераторами стояли у боен, готовые включить ток высокого напряжения в колючую проволоку, пока в болотистых низинах к западу от Амфитеатра собирались отряды полиции и проводники со служебными собаками. Политика — это собственность. Знаменосцы, вперед! Расталкивай, расчищай себе дорогу! Когда доберешься до трибуны, то увидишь только Дейли и Коннели. Хорошенько посмотрите на Коннели, губернатора Техаса, который когда-то сидел наискосок от Джона Кеннеди в президентской машине, приближавшейся к книжному складу на Элм-стрит в Далласе, Коннели — красивый мужчина, неприятный от кончиков ботинок до корней волос. Держится как хлыщ — вьющиеся

седые волосы, острый нос, тонкогубая техасская усмешка, самоуверенная усмешка, намекающая на зубы, которые хорошо знают, насколько глубоко они могут вонзиться в любую кость, пирог или грудь. Коннели принадлежал к техасской школе политики чистой собственности: есть свои и не свои, и не свои исповедуют одну философию — пробивайся к своим. И свои тоже исповедуют одну философию — не пускай не своих! Это политика. Твое место очень важно.

Это было важно еще и потому, что микрофоны делегатов работали по-разному. Микрофоны делегатов Иллинойса, Техаса, Мичигана, Огайо и прочих сторонников Хэмфри давали громкий и четкий звук. Микрофоны делегаций Нью-Йорка, Висконсина и Калифорнии почти его не усиливали. Если положение станет острым, привлечь внимание председателя, кричать из задних рядов очень трудно и бесполезно размахивать знаменем. А если положение достигнет особой остроты, когда все микрофоны умолкнут (достаточно одной руке повернуть один выключатель), кого из задних рядов услышат, когда передние потребуют слова? Да, это был съезд Линдона — он контролировал его при помощи Крисуэлла, и Дейли, и капельдинеров Энди Фрейна, и при по-

мощи пластиковых пропусков, которые, как было объявлено заранее, специально намагничены, так что их нужно было вложить в специальную коробку не только при входе, но еще и при выходе, чтобы размагнитить. Страшная ярость и тяжелые кулаки билетеров обрушились на делегата Нью-Гэмпшира, который вместо пропуска воспользовался кредитной карточкой, и его заметили лишь во второй раз, когда с ним пытался пройти журналист. Но тут же представители прессы, у которых были ресторанные кредитные карточки, провели проверку и обнаружили, что эти карточки до микрона совпадают по размеру с пропусками в зал заседаний съезда, — ах, какая была проведена подготовка, чтобы в случае надобности наводнить зал посторонними людьми! Какое пренебрежение мерами безопасности! Но до той поры попасть в зал заседаний было очень нелегко. Телевидение, пресса, радио и журналы получили самое ограниченное число пропусков. И когда на съезде становилось жарко, доступ на него практически закрывался, и таким образом вред, который могла принести съезду пресса, был ничтожен. Впрочем, дело было даже не в этом, а в той атмосфере подавленности, которая царила на съезде.

И все-т аки, хотя Линдон Джонсон держал съезд в своих руках, этот съезд оказался самым бурным съездом демократической партии за многие десятилетия, а пожалуй, и за сорок с лишним лет, — самым ожесточенным, самым бешеным, самым беспорядочным, самым тягостным и в чем-то самым неуправляемым съездом из всех. И этим он походил на годы правления Джонсона — полный контроль до той глубины, куда проникал его голос, а дальше и повсюду ничего, кроме хаоса.

До сих пор шел отчет о демократическом съезде 1968 года. Однако нельзя считать это описанием события. Событие же заключалось в том, что съезд происходил во время непрерывного пятидневного сражения на улицах и в парках Чикаго между охранителями власть имущих и наиболее нигилистичной частью молодежи. Но если бы мы начали с описания этого великолепного сражения, нам было бы непросто сосредоточить затем интерес на съезде, так как зачастую самое интересное внутри Амфитеатра было лишь отражением войны, бушевавшей снаружи.

Политика — это собственность, имущественные отношения всегда законопослушны. Даже захват чужой собственности можно осуществить

в рамках закона. Следовательно, история съезда должна заниматься лишь законопослушными гражданами, и, наоборот, изучение граждан, бросающих вызов закону, протестовавших против этого съезда на улицах, должно показать, что они не имеют собственности, а следовательно, к политике отношения не имеют. Но это не совсем так. Армия молодых людей, собравшихся в Чикаго, распалась на две группы, которые можно условно обозначить как социалисты и экзистенциалисты[53].

С одной стороны, «новые левые», которые в основе своей были социалистами и верили в политику противостояния: интеллигентные воины, позитивисты в философии, просветители по самому характеру своего мышления — в том смысле, что, по их мнению, личность человека значит меньше, чем его идеи. На другом фланге были представители йиппи[54], преданные политике экстаза (не будем сравнивать ее с политикой радости Губерта Хэмфри), исповедующие

[53] Примечания: 53

Н. Мейлер здесь упрощенно и субъективно характеризует антивоенные и демократические движения в США, сложные, противоречивые, распадающиеся на многие течения.

[54] Примечания: 54

Участники молодежного движения, отличающиеся от хиппи своей агрессивной настроенностью.

употребление наркотиков, последователи Диониса, пропагандирующие свои идеи, мистичные в самой своей сути, личным примером. Однако к лету 1968 года эти группы успели оказать друг на друга такое влияние своими действиями на улицах и демонстрациями, что различия между ними почти стерлись. Но послушаем Тома Хейдена — представителя «новых левых».

«Чрезмерное развитие бюрократии и техники может привести к катастрофе. Если часы заводить слишком долго, пружина лопнет Суперавианосец „Форрестол“ был уничтожен одной из своих собственных ракет. На этой неделе в Чикаго военная и полицейская машины могут пожрать свою собственную мать — демократическую партию.

Взгляните на дилеммы, которые стоят перед теми, кто… управляет аппаратом государства. Они централизованы, могут лишь противодействовать такой же централизованной оппозиции или договариваться с ней, но они не подготовлены к спонтанным действиям… Они не в состоянии отличить радикалов от газетчиков или наблюдателей от делегатов. Они не в состоянии отличить слухи о демонстрациях от самих демонстраций.

В Чикаго привезли двадцать пять тысяч солдат, чтобы помешать демонстрантам… Власти обра-

щаются к насилию. Мы выйуждены прибегать к активным действиям потому, что наши элементарные права ничем не ограждены...»

Вот так город готовился к неделе беспорядков, от которых его усиленно предостерегали газеты.

Мрачные предчувствия одолевали репортера, когда он в это летнее воскресенье, во второй половине дня, прогуливался по Линкольн-парку. Там было много туристов и любопытных, так что машину пришлось оставить в шести кварталах от парка и дальше идти пешком. Любопытные ограничивались в основном наблюдением из семейного автомобиля: почтенные обыватели старались держаться подальше от парка, где на безобиднейшей зеленой лужайке было благоугодно собраться йиппи. Там выступала группа музыкантов. Толпа вела себя вполне прилично. Около двух тысяч юношей и подростков сидели на траве и слушали, а две тысячи, которые не то только пришли, не то не хотели садиться, теснились с краю или проталкивались вперед, чтобы лучше видеть. Сцены не было. Грузовик с опущенными бортами, который мог бы служить эстрадой или трибуной, в парк не допустили, а потому передние ряды заслоняли музыкантов, а громкоговорителей — интересно, не на батаре-

ях ли они работали? — почти не было слышно. Впрочем, для следующего номера это большого значения не имело. Молодой белый певец с лицом херувима, лет восемнадцати, а может быть, двадцати восьми, со взбитыми волосами, поднимавшимися над его головой на шесть или девять дюймов, отправился в межпланетное, а затем и галактическое путешествие с песней, которая была чем-то средним между космической музыкой Солнца-Ра и «Полетом шмеля». Голова певца тряслась все более мелкой дрожью, точно крылья навозной мухи, и нарастающий звук, который он испускал, был воплем электронных кошек, получающих энергию от мокрых пластин аккумуляторов или провода в траве. А певец играл им, вертел его, загонял все выше, пока он не достиг заключительных вибраций, точно ракета, вырвавшись сама из себя, завертелась в котле замкнутого пространства. Это ревел зверь полного отрицания, а сзади его нагоняли электроконтрабас и барабан, не останавливаясь, подминая под себя сознание. И репортер, тоже подмятый этим грохотом, — интересно, способны ли были рога гуннов греметь оглушительнее? — понял, что для йиппи и подростков, составлявших аудиторию в этом зале из травы и открытого воздуха, это была

разновидность подлинной песни. Его уши рвал невыносимый шум, ибо уши его поколения, которое танцевало под «Звездную пыль»[55], не были в состоянии воспринимать подобное; а грязные раскрашенные мальчишки были чудовищами, были — он знал это — поколением, которое жило звуками уничтожения всяческого порядка, какой он только знал, они жили в мире распада. В этой гекатомбе децибеллов слышался грохот рушащихся гор, и в ней рвались сердца — в буквальном смысле слова рвались: словно это был звук смерти от внутреннего взрыва, барабаны физиологической кульминации, когда сознание разлетается вдребезги, и силы будущего, мощные, безликие, такие же безумные и испепеляющие, как волны лавы, изливались из урны всего, что было накоплено культурой, и швыряли мозг, как разделанную тушу, в бешеные быстрины, в водоворот демонов, в омут рева, в лабиринт диссонансов, где визжали электрические крещендо, а эти дети, словно грязные христиане, тихо сидели в траве, вежливо аплодировали и издавали возгласы одобрения, когда песня окончилась.

Разыгрывалась шуточная шарада, продолже-

---

[55] Примечания: 55

Популярная в 30-х годах танцевальная мелодия в стиле блюза.

ние съезда йиппи, который еще будет происходить, когда кандидатом выдвинут Свинаса, настоящую свинью. «Голосуйте за свинью в 68-м!» — призывали плакаты йиппи. А теперь на сцене, когда кончилась песня, они объявили другого кандидата под легкий шелест смеха по траве: «Хэмфри Шалтай-Болтай», и через толпу прошел клоун йиппи, разрисованное яйцо на ножках, «следующий президент Соединенных Штатов», а за ним по возникшему в толпе проходу двинулся парад делегатов: клоун, одетый, как колорадский шахтер, и Мисс Америка с гигантскими нарисованными губной помадой сосками и звездами румян на щеках. Далее следовала политическая машина мэра Дейли — клоун с большой коробкой поперек живота, и с большой детской ложкой в корыте на крышке коробки, и с зеленой лампочкой, которая то гасла, то зажигалась. Затем вышел еще один делегат. Зеленый Берет — клоун с игрушечным автоматом, с лицом, вымазанным сажей и красным гримом, в шляпе австралийского старателя.

Предчувствие репортера превратилось в уверенность. Так же, как в одно мгновение понял на республиканском приеме в Майами-Бич, что у Нельсона Рокфеллера нет никаких шансов,

так теперь в это пасмурное августовское воскресенье, когда в воздухе веяло холодом, а в горле вила гнездо птица страха, — так теперь он понял, что надвигается беда, серьезная беда. Воздух в Линкольн-парке скользил в ноздри с той лаской, которой он бывает полон всегда в присутствии опасности. Репортер расстроенно посмотрел вокруг. Неужели кто-нибудь захочет сражаться с этими нелепыми чумазыми детьми?

Итак, был Линкольн-парк, и всякий, кто хотел протестовать против ужасов продолжающейся войны во Вьетнаме или ужасов этого демократического съезда, который выдвинет самого непопулярного и непригодного кандидата, не имеющего ни достоинства, ни воображения, чтобы руководить, мог найти пристанище в Линкольн-парке. Город, кстати, отказался дать разрешение йиппи. Поэтому спать в парке они не могли. Им было предписано покинуть парк к одиннадцати часам. Даже их собственные руководители просили их уйти из парка.

Поль Красснер:

«Не так важно спать в Линкольн-парке после одиннадцати вечера, как днем воплощать там нашу революцию». (Парк открывается в шесть утра.)

Джерри Рубин:

«Чикаго — это полицейский штат, и мы должны защищать себя. Полицейские хотят превратить наши парки в кладбища. Но не они, а мы решим, когда начнется битва».

Собственно говоря, всем было понятно, что многие не хотели добровольно уйти из парка — они намеревались заставить полицию выгнать их, чтобы протестовать собственным телом, чтобы хлебнуть слезоточивого газа (неизвестно, как это потом отражается на зрении), чтобы получить полицейской дубинкой удар по голове или подвергнуться обыску.

Наутро репортер узнал, что в Линкольн-парке уже состоялось сражение и йиппи были изгнаны оттуда намного позднее одиннадцати часов вечера с помощью слезоточивого газа, причем — что было более сенсационно — многие репортеры и фотокорреспонденты, хотя они и показывали свои удостоверения, были избиты вместе со всеми остальными.

В понедельник вечером город был окутан атмосферой битвы. Около боен через несколько часов после начала съезда улицы были пусты — только на всех перекрестках и у заграждений стояли полицейские машины. Зловоние бойни было

особенно густым, и в мутном свете уличных фонарей дома вдоль затихших тротуаров казались одинаково коричневыми, и страх, томивший их обитателей, почти физически ощущался снаружи.

В семи милях к северо-востоку, в Линкольн-парке, царила атмосфера готовности к бою. Был уже двенадцатый час, вернее, близилась полночь, и повсюду стояли полицейские машины, отряды полицейских. По лужайке, где днем репортер слушал музыку, беспокойно расхаживали люди — было их несколько сотен. Темнота мешала считать, но всего в парке, возможно, было несколько тысяч человек. Они ждали во власти немого смешения чувств — и честный страх лыжника на краю крутого спуска, и сумасшедшая озорная веселость студенческой вечеринки. И все же в ночи прятался ужас, жуткий ужас, словно бы произошла страшная автомобильная катастрофа и люди бродили в темноте, зная, что за поворотом дороги лежат трупы, завернутые в окровавленные одеяла. А неподалеку голубой луч прожектора на крыше полицейской машины описывал окружность за окружностью — свирепый голубой луч вращающегося прожектора. И через равные интервалы глаза ослеплял серебря-

но-белый луч света, выхватывая из темноты лица мальчишек, которым не было двадцати двух или даже двадцати лет: кто завернулся в индейское одеяло или пончо, кто был в белой рубашке с закатанными рукавами и брюках хаки, на некоторых — пиджаки, на других — шлемы мотоциклистов, на третьих — футбольные шлемы, двое надели фехтовальные защитные жилеты, а кое у кого явно было оружие.

Тридцать ребят строили баррикаду. Они притащили скамейки и столы для пикников и сложили их грядой футов пятьдесят в длину, а потом удлинили ее до ста. Высота баррикады была около шести футов. Смысла в ней не было никакого. Она тянулась поперек открытой лужайки, ни во что не упираясь, и полицейские машины просто ее объедут, а фургоны со слезоточивым газом прорвутся напрямик.

И тогда-то репортер решил уйти из парка. Под деревьями было холодно, шел первый час ночи, и раз полиция еще не явилась, она могла появиться очень нескоро или даже совсем не явиться — мог быть отдан новый приказ, разрешающий ребятам спать в парке. Об этом репортер осведомлен не был, он знал только, что не хочет оставаться в парке еще на несколько часов. Да и что следует

делать, когда силы порядка пойдут в наступление? Бесславно уйти, когда потребуют? Так стоит ли ждать лишь ради того, чтобы проявить такую робкую покорность? А если остаться — то для чего? Протестовать, когда тебя вышвыривают из парка, пускают тебе в лицо слезоточивый газ и проламывают дубинкой голову? Он не мог уловить, где была связь между этим и Вьетнамом. Если бы война уже началась, если бы этот клочок земли надо было отстоять ради других клочков земли… Но эта глупая баррикада, это симолическое соперничество с по-настоящему окровавленными головами… Он просто не знал, что обо всем этом думать.

У репортера было легко на душе до самого утра, когда он узнал, что полиция беспощадно расправилась с теми, кто был в парке. Полицейские свирепо избили семнадцать журналистов, фотокорреспондента «Вашингтон пост», двух репортеров «Чикаго американ», репортера «Чикаго дейли ньюс», фотокорреспондента и репортера «Чикаго сан тайме», репортера и фотокорреспондента журнала «Лайф», операторов трех телевизионных компаний и трех репортеров и фотокорреспондентов журнала «Ньюсуик». Но так как сам он там не был, то позволит себе

процитировать статью из «Вашингтон пост», написанную Николасом фон Гофманом:

«Наступление началось с того, что полицейская машина разбила баррикаду. Ребята оборонялись тем, чем благоразумно успели запастись, — в основном камнями и бутылками. Затем полиция приготовилась к решительной атаке.

Повсюду слышались отчаянные крики и визг…

Люди бежали через лужайку к Кларк-стрит. Затем из-за деревьев выскочили полицейские, которые специально гонялись за фотокорреспондентами. Фотографии рассматриваются судами как неопровержимые доказательства. Полицейские сняли свои значки, таблички с фамилиями и даже сняли с погон номера, чтобы слиться в безликую озверелую толпу.

…А в больнице Хенротин происходила следующая сцена. Редакторы приехали за своими ранеными. Рой Фишер из „Чикаго дейли ньюс“, Хэл Бруно из „Ньюсуик“. Телеоператоры, которых избивали с особенным жаром, ждали в приемной, рассказывали, что произошло, и жгли взглядами полицейских, которые торчали тут же с таким видом, будто находятся на обычном дежурстве».

Началась контрреволюция. Полиция словно объявила, что газеты больше не выражают истин-

ных чувств народа. Симпатии народа, заявили дубинки полицейских, на стороне полиции.

Во вторник был день рождения Джонсона, и президент провел его у себя на ранчо. В Чикаго три тысячи юношей отправились в «Колизей», старое и полуразрушенное здание съездов, для того, чтобы участвовать на антипраздновании этого дня рождения, устроенном «Мобилизационным комитетом за окончание войны во Вьетнаме». Оркестр «Всесожжение, не для танцев» играл во всю силу, произносились речи, и была исполнена песня, посвященная Линдону Джонсону, «Мастер ненависти». В ней были такие слова.

Самоубийство — вещь плохая,

Но иногда оно полезно.

Если ты бывал там, где мастер живет,

Я скажу свое мнение: валяй!

Фил Оке пел: «На войну нас всегда ведут старики, умирает в боях всегда молодежь». И толпа скандировала: «Нет, нет, мы не пойдем».

Репортера в «Колизее» не было. Он присутствовал на съезде возле скотобоен и ожидал, что в этот вечер начнутся дебаты меньшинства с большинством по поводу Вьетнама, но после полуночи

заседание было закрыто, и дебаты отложили на следующий день. Репортер поехал в Линкольн-парк около половины второго ночи. Там все было спокойно. Несколько полицейских и два-три мальчика, которые прижимали ко рту мокрые носовые платки. Над улицами висел едкий запах слезоточивого газа. Репортер не знал, что меньше часа назад произошла самая страшная битва этой недели. Так прочтем довольно длинный, но великолепный репортаж Стива Лернера в газете «Вилидж войс».

«Примерно в полночь во вторник около четырехсот священнослужителей, местных жителей с обостренным чувством ответственности и других добропорядочных граждан присоединились к йиппи и национальному мобилизационному комитету для того, чтобы отстоять свое право остаться в парке. Служители божьи в нарукавных повязках с черным крестом пели пацифистские гимны и увещевали свою радикально настроенную паству положить кирпичи и присоединиться к мирному протесту.

Не сомневаясь, что против „маленького цезаря Дейли“ они смогут вести лишь символическую борьбу, несколько предприимчивых священников принесли с собой огромный деревянный

крест, который они установили в середине толпы демонстрантов под фонарем.

В течение получаса, прошедшего между прибытием священников и полицейской атакой, священники и демонстранты вели интересный спор об относительных преимуществах ненасилия и вооруженной самозащиты. Священникам напомнили, что им „за тридцать, что они опиум для народа и что здесь им делать нечего“, молодое поколение предупредили, что, „называя полицейских свиньями и вступая с ними в драку, оно опускается до их уровня“. Переспорить друг друга им не удалось, и все решили поступать по-своему. Но тут демонстрантов — их собралось около восьмисот — начали теснить фаланги полицейских, которые окружили парк и двинулись к его центру; и даже наиболее воинственно настроенные забыли свои разногласия с „либеральными церковниками-предателями“ и сгрудились вокруг креста.

Когда полиция объявила, что демонстрантам дается пять минут для того, чтобы очистить парк, каждый начал паниковать по-своему. Паренек, который сидел около меня, развернул бутерброд с сыром и начал совать его себе в лицо, не размыкая челюстей. Девушка, которая стояла на краю

этого круга и весь вечер была одна, подошла к усатому юноше в шлеме и прижалась к нему. По всему парку люди смущенно знакомились друг с другом, словно не хотели умирать в одиночку. „Меня зовут Майк Стивенсон, я из Детройта. Как вы попали в эту историю?“ — услышал я позади себя. Другие занялись вопросом самосохранения — втирали вазелин в кожу, чтобы ее не обожгло газом, застегивали куртки, смачивали носовые платки и завязывали нос и рот. Кто-то предусмотрительно объявил в микрофон: „Если пустят газ, дышите ртом, не бегите, не дышите глубоко и ни в коем случае не трите глаза“.

Все произошло мгновенно. Ночь, наполненная тьмой и шепотом, взорвалась огненным воплем. Огромные канистры со слезоточивым газом, ломая ветви деревьев, упали прямо в центр толпы и взорвались. Вжимаясь в траву, я увидел, что священники отступают, неся крест, словно павшего в бою товарища. Следующий взрыв заставил меня вскочить. Газ был повсюду. Люди с криком разбегались, продираясь сквозь кусты. Что-то ударило в дерево возле меня. Я снова очутился на земле. Кто-то помог мне подняться, а двое ребят оттаскивали сук, накрывший девушку, которая извивалась в истерике. Я ослеп. Кто-то уцепился

за меня и попросил вывести из парка.

Мы шли, как слепцы, вытянув руки, наталкиваясь на людей и на деревья. Из глаз потоком текли слезы. Я вспомнил, как в первую мировую войну вот так иприт застиг солдат на ничьей земле. Я чувствовал, что сейчас умру. Я слышал, как вокруг меня задыхались люди. И вдруг тьма рассеялась.

Стоя на тротуаре, я оглянулся на парк и увидел десяток костров, озаривших деревья, еще окутанные туманом газа. Полицейские шли тесной шеренгой, обрушивая дубинки на отставших и на лежащих на земле; огромные цистерны, которые обычно используются для поливки улиц, двигались прямо к нам, извергая газ. Ребята начали ломать мостовую и швырять в грузовики мелкие куски асфальта. Затем они кинулись на улицы, преградили путь автомобилям и вступили в драку с агентами секретной полиции, которые поджидали нас у выхода из парка.

Эта растрепанная армия распалась на яростные кучки, которые бродили по улицам, били стекла, поджигали мусор в урнах и искалечили не меньше десяти полицейских машин, проезжавших по данной улице в неподходящий момент. Над домом в нескольких кварталах от меня заклу-

бился дым, и туда начали подъезжать пожарные машины. Полицейский бросился бежать от толпы, швырявшей в него камни, потерял свою форменную фуражку, на секунду остановился, но побежал дальше. К перекрестку одновременно подъехали четыре полицейские машины, из которых выскочили полицейские и начали стрелять в воздух. Демонстранты напали на них со всех сторон. Но большая часть камней перелетела через цель и поразила других демонстрантов или разбила витрины магазинов напротив. Нырнув в метро, я увидел большую группу беглецов, которые укрылись там раньше меня. Тоннель был похож на бомбоубежище в разгар авиационного налета, а наверху продолжалась стрельба».

Это были молодые люди, которые отказывались воевать во Вьетнаме. И они доказывали всем поклонникам войны во Вьетнаме, что поступают так вовсе не из-за недостатка мужества — они готовы были сражаться на каждой улице старого Чикаго, где только это могло понадобиться. Если их травят газом и избивают, а их лидеров арестовывают по ложным обвинениям (Хейден, которого схватила полиция, когда он сидел в Линкольн-парке под деревом среди бела дня, естественно, запротестовал и был обвинен

в «сопротивлении при аресте»), то они покажут, что не отступят, что именно из таких, как они, выходят самые лучшие солдаты. В воскресенье их выгнали из парка, в понедельник тоже, а теперь был вторник. В дома неподалеку от Линкольн-парка, где они ночевали на полу, завернувшись в старые одеяла, врывалась полиция; доносчики и провокаторы были повсюду, а вечером были пущены в ход канистры со слезоточивым газом. И все же они не собирались сдаваться. Более того, их боевой дух даже поднялся. Они позаботились о своих тяжелораненых товарищах и направились к центру города, увлекая за собой других демонстрантов. Возможно, слезоточивый газ был для них средством очищения и пролитые слезы смыли с их душ старые буржуазные слабости. Многие из школяров превратились в революционеров. Казалось, что, чем больше их бьют и травят слезоточивыми газом, тем больше они сплачиваются. И теперь они шли к Грант-парку всей массой — возможно, тысяча, возможно, две тысячи, а может быть, даже пять тысяч мальчишек и девчонок собрались в Грант-парке в три часа утра. Они слушали ораторов, выражали свое одобрение, пели, выкрикивали что-то через Мичиган-авеню, где угрюмо высился огромный фасад «Хилтона».

Во всех номерах здесь люди спали, и им снились сны под звук голосов молодых ораторов внизу, в ночи эти голоса доносились и до двадцатого и до двадцать пятого этажа, накладывая заклятие на отель «Хилтон». Там находился штаб Хэмфри и штаб Маккарти. Там жило около половины всех представителей прессы, а также Марвин Уотсон, министр связи и личный представитель президента, который привез Хэмфри какие-то послания Джонсона. Окна его номера выходили в парк. Несомненно, минимум две трети участников съезда видели на исходе ночи вторника (в два, в три и в четыре часа) или, вернее, ранним утром в среду могли видеть в Грант-парке по ту сторону улицы революционную армию недовольных, демонстрантов, детей из колледжей, сторонников Маккарти и туристов, готовых получить дубинкой по голове, могли слышать, как демонстранты скандировали: «Присоединяйтесь к нам! Присоединяйтесь к нам!», а студенты кричали с невыразимым презрением: «Долой Хэмфри! Долой Хэмфри!» В этих криках была ярость, рожденная избиениями, и газом, и горчайшим разочарованием после той недавней солнечной весны, когда вся проблема сводилась к тому, кто будет лучшим президентом — Роберт

Кеннеди или Юджин Маккарти (а теперь на них обрушился ужас будущего с Хэмфри или с Никсоном). И еще ощущение, что в их жизнь вошла полиция. Вот почему они кричали, задрав головы к окнам «Хилтона», кричали делегатам и организаторам предвыборной кампании, которые спали безмятежным сном, или дрожали, скорчившись в кресле у кровати, или приветствовали их из открытых окон; они кричали в ночи на сцене, такой огромной и высоченной, какая только грезилась Вагнеру, и к их крикам присоединялись сирены полицейских машин, которые останавливались, отъезжали и непрерывно вращали голубые прожекторы, а вокруг них смыкались шеренги сотен и сотен полицейских в небесно-голубых рубашках и небесно-голубых шлемах, оттесняя демонстрантов к парку, отсекая их от Мичиган-авеню и от отеля «Хилтон». Полиции явно было приказано не нападать на демонстрантов здесь, перед отелем «Хилтон», откуда на них смотрела чуть ли не половина демократической партии.

Толпа ликующе завопила. На смену полиции явилась национальная гвардия. Полицейские ушли, уступив место сотням национальных гвардейцев в хаки, в шлемах, с винтовками, — и это было признанием силы демонстрантов. На

Мичиган-авеню рычали армейские грузовики, а из боковых улиц вокруг «Хилтона» выехали зловещие джипы с решетками из колючей проволоки на передних бамперах и остановились позади толпы. Портативные изгороди из колючей проволоки!

Еще в начале недели пройти в «Хилтон» было очень просто. Толпы сторонников Маккарти и возбужденных подростков заполняли лестницы и вестибюль и весь день что-то скандировали, что-то пели, высмеивали каждого сотрудника Хэмфри, которого знали в лицо, и не уходили в надежде, что вот-вот появится Маккарти, в их приветственных криках сквозило добродушие болельщиков на футбольном матче. Так было в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. Но в конце концов полиция изгнала ребят из вестибюля, а сейчас, под покровом ночи, полицейские перекрыли доступы к «Хилтону», требовали предъявления корреспондентских пропусков или ключа от номера. «Хилтон» содрогался от штурмов и контратак. Точно старый форт старой демократической партии, готовый вот-вот рухнуть от заклинаний своего верховного шамана, немощного колдуна, превратившегося в мишень для насмешек молодежи, презираемого собствен-

ными солдатами и теми же делегатами, которые будут лояльны к Хэмфри во время выдвижения, хотя в их сердцах нет верности ничему, — этот духовный форт демократической партии размещался в отеле «Хилтон», в материальном форте, где работали все моторы и кипели все котлы, и тем не менее казалось, что он расползается по швам от давления снаружи, с улицы. Старина «Хилтон» сделался как бы символом того, что происходило в партии и в стране.

В отеле все функционировало плохо, а чаще и вообще не функционировало. Чистое белье не доставлялось, потому что бастовали шоферы автобусов, телефоны в вестибюлях не работали, а к телефонам в номерах были так густо подключены аппараты подслушивания, что в одной трубке было сразу слышно несколько разговоров. Иногда телефоны глухо молчали, иногда из них раздавались пронзительные щелчки, или визг, или ритмичный гневный треск электрических помех. При этом ко всем телефонным аппаратам была прилеплена фотография мэра Дейли размером с почтовую марку. Надпись гласила: «Добро пожаловать на национальный съезд демократической партии 1968 года».

Лифты работали отвратительно. На некоторых

этажах кнопки вызова не действовали, и приходилось ждать по полчаса, чтобы опускающийся лифт наконец остановился на твоем этаже. А ходить по лестницам было нельзя, так как их охраняла тайная полиция. Иной раз на то, чтобы подняться к себе в номер, а потом спуститься вниз, приходилось тратить час.

В эту ночь, когда разгоняли демонстрантов в Грант-парке, ветер погнал слезоточивый газ прямо к отелю. Полиция пыталась выкурить ребят из парка с помощью газа сразу же, как только они многочисленной толпой явились туда из Линкольн-парка, но ветер дул не в ту сторону и гнал газ через улицу в систему кондиционирования воздуха отеля «Хилтон», так что у делегатов, журналистов и представителей власти слезились глаза и саднило горло, точно от простуды.

Репортер пробирался между детьми, которые тесными рядами сидели на траве, приветствовали своих ораторов и выкрикивали: «Присоединяйтесь к нам! Присоединяйтесь к нам!» и «Долой Хэмфри!»

Ребята пели. Они снова и снова пели две песни. И часа не проходило, чтобы их нельзя было услышать. Они пели «Мы преодолеем» и «Эта Земля — твоя земля». И оратор крикнул всем

двадцати пяти этажам «Хилтона»: «У нас голоса — у вас винтовки». Толпа ликующе поддержала другого оратора-делегата, когда он призвал всех делегатов и всех тех, кто слушал у сотен окон «Хилтона», выходящих в парк, «включить лампы и помигать ими, если вы с нами». «Если вы с нами, если мы нам симпатизируете, помигайте своими лампочками, помигайте своими лампочками». И к восторгу толпы, в «Хилтоне» замигало сначало десять, потом двадцать, а возможно, и пятьдесят окон, а потом весь ряд окон на пятнадцатом этаже и на двадцать третьем этаже начал гаснуть и вспыхивать, гаснуть и вспыхивать одновременно. Это мигали окна в штаб-квартире Маккарти на пятнадцатом и на двадцать третьем этажах, и толпа аплодировала им в такт. Сейчас толпа превратилась в зрителей, наблюдающих за актерами в отеле. Обе стороны следили друг за другом, словно корабли, обменивающиеся сигналами на ночном рейде, и делегаты начали спускаться вниз и выходить из отеля; все было пронизано настроением новой красоты — и ребята, перевязанные грязными бинтами, и рвотный запах слезоточивого газа, и хриплое фырканье грузовиков, которые то подъезжали, то уезжали, и гнусавость, и аденоиды, сипение и хрипение

ораторов, и мигающие окна «Хилтона». Да, все было проникнуто ощущением невиданного крестового похода, в каждом вздохе таился страх, и потому дыхание становилось бережным, и юные лица сияли, освещенные фарами грузовиков национальной гвардии и прожекторами полиции, стоящими перед отелем «Хилтон» по ту сторону Мичиган-авеню. А «Хилтон», припавший на свой фундамент, мерцал, как именинный торт. Ужас начнется завтра. Нет, сегодня. Ведь уже наступила среда.

Среда была днем выдвижения кандидата, и в среду же состоялись дебаты о мире во Вьетнаме, а вечером произошла резня на Мичиган-авеню, событие необычное, — резня, подобная нападению индейцев в старину, хотя убитых не оказалось. Конечно, многие были ранены. И несколько сотен делегатов утром в четверг после выдвижения кандидата прошли торжественным маршем от боен, неся зажженные свечи в знак протеста. Бесспорно, это был один из самых насыщенных дней в истории любого съезда.

Ораторы сменяли друг друга. Они, казалось, очень тщательно избегали слишком ярких, оригинальных или страстных выражений. Лучшие из представителей большинства подробно и

нудно разбирали юридические тонкости, формулировки обязательств, проблему безопасности американских солдат, возможные сроки создания представительного правительства; их стиль отдавал здравым смыслом Дина Раска, который всегда был образцом здравомыслия во всем, кроме одного: он был маниакально убежден, что безумие войны имеет пределы. Конечно, такие слова, как «безумие», были не для трибуны съезда. Эдмунд Маски, сенатор Мак-Джи из Вайоминга, губернатор Хернс из Миссури, госпожа Джерри Джозеф из Миннесоты, Дэвид Прайор из Арканзаса, конгрессмен Эд Эдмондсон из Оклахомы, мэр Уилсон Уайет из Луисвилла, конгрессмен Заблоцки из Висконсина и конгрессмен Хейл Боггс из Луизианы, председатель комиссии по программе, наговорили от имени большинства достаточно для того, чтобы наловить блох и призвать к борьбе против коммунизма. Затем «ястребы» расхвалили «голубиную» природу платформы большинства. «Голуби», однако, через сенатора Морзе ответили, что «доклад большинства, если убрать цветы красноречия, представляет собой прямое предложение продолжать провалы нашей политики во Вьетнаме».

Администрация, однако, на птиц не полага-

лась. И решающей гирькой оказался секретный инструктаж, проведенный в Белом доме: дебаты завершили военные, те самые военные, которые уже много лет давали профессиональные прогнозы, указывали, сколько войск и сколько бомб потребуется для того, чтобы гарантировать победу через столько-то недель или столько-то месяцев, и партия все еще завороженно внимала советам таких специалистов. Техасская делегация в первых рядах разразилась аплодисментами. Наденьте на крупного мужчину блестящий мундир, позвольте ему жонглировать большими цифрами — и последнее слово останется за ним. В Америке военный мундир всегда приходил к финишу первым, эксперт по производству — вторым, а Христу предоставлялось третье место. И результат голосования был таков: программа большинства прошла 1567,75 голосами против 1041,5. Линдон Джонсон был реабилитирован теми же неубедительными аргументами, которые прежде свидетельствовали о его вине. Политика была собственностью, и силы притяжения контрольного пакета акций хватало, чтобы извлечь тебя из лужи, в которую ты сам себя посадил.

Но зал не угомонили. Делегации Нью-Йорка

и Калифорнии начали петь «Мы преодолеем». Программа была быстренько утверждена, а делегация Нью-Йорка продолжала петь. Затем делегация Висконсина вскочила на свои стулья. Задние ряды обрушили бурю негодования на передние. Сотни плакатов с надписью «Прекратите войну!», которые были отпечатаны перед самым заседанием, поднялись над рядами. Делегаты, потерпевшие поражение, в бессильной ярости кричали: «Прекратите войну!» ибо они знали, что программа была программой Линдона Джонсона и что партия осталась его партией. Затем заседание объявили закрытым. А делегация Нью-Йорка продолжала петь «Мы преодолеем», стоя на своих стульях. Оркестр съезда попытался их заглушить — все громче и громче играли «Нам еще столько следует сделать».

Микрофоны нью-йоркской делегации были выключены, а оркестра — включены на полную мощность. В зале заседания съезда «голуби» захлебнулись в океане враждебных звуков, но на экранах телевизоров дело обстояло как раз наоборот, так как представители телекомпаний установили перед делегатами свои собственные микрофоны и их пение разносилось по всей стране. Таким образом, несколько тысяч людей

в зале и на галерее почти не слышали «голубей», а вся остальная Америка слышала их очень отчетливо. Тот, кто контролировал зал заседания, больше не имел власти над общественным мнением. Не удивительно, что старые партийные зубры ненавидели радио– и телекомпании — не слишком-то приятно, завладев всеми замками и ключами в доме политики, обнаружить, что есть еще одна дверь, которая не запирается. Делегации «ястребов» в злобе покинули зал заседаний, а «голуби» продолжали петь «Мы преодолеем». Оркестр же заиграл «И снова настали счастливые дни».

Демонстранты скандировали: «Мы хотим мира! Мы хотим мира!» Оркестр заиграл было «Четырехлистый клевер», тут же перешел на «Если бы вы знали Сюзи» и затем смолк. Демонстранты запели «Боевой гимн республики». Делегации Нью-Йорка, Калифорнии, Орегона, Висконсина, Южной Дакоты и другие делегации маршировали по пустому залу. Заседание было закрыто полчаса назад. А они все пели. Ведь проиграна была долгая война.

А тем временем в Грант-парке у оркестровой эстрады происходил массовый митинг — примерно в четверти мили к востоку от Мичиган-авеню

и отеля «Хилтон». Митинг проходил под эгидой «Мобилизации» и собрал десять-пятнадцать тысяч человек. Мэр разрешил этот митинг, но запретил устраивать поход. И так как «Мобилизация» объявила, что поход к Амфитеатру все-таки будет организован, ибо ради этого они и приехали в Чикаго, место митинга было окружено отрядами полиции.

Во время речей три демонстранта вскарабкались на флагшток, чтобы заменить американский флаг флагом восстания. К ним бросились полицейские, направив канистры с газом на смутьянов, но сами они попали в неприятность, так как демонстранты, выхватив канистры, направили их на полицейских, которые, задыхаясь от собственного слезоточивого газа, вынуждены были отступить под градом камней. Затем в дело вступил более крупный отряд — полицейские переворачивали скамейки, избивали участников митинга, а потом бросились к Ренни Дэвису, который стоял на трибуне. Он был одним из координаторов «Мобилизации», и его лицо было хорошо известно — агенты тайной полиции уже много раз его обыскивали. Сейчас на трибуне он убеждал демонстрантов сесть и успокоиться, и тут на него сзади набросились полицейские и

раскроили ему череп. Дэвис упал без сознания. Взбешенный этим нападением, Том Хейден, который последние два дня ходил переодетым, спасаясь от ареста, объявил толпе, что он уходит, чтобы выполнить кое-какие специальные задания, и предложил им разбиться на маленькие группы, выйти на улицы и «делать то, что нужно». С ним ушло несколько человек, но большинство осталось. Они все еще верили в мирные формы протеста. Но были там и те, кто был настроен воинственно, и они хотели устроить поход. А вокруг стояли полицейские, которые собирались им помешать, и сейчас деловито переговаривались с другими полицейскими подразделениями с помощью портативных передатчиков, антенны которых были прикреплены к их шлемам и делали их похожими на гигантских насекомых.

Начался час большой сумятицы. Грант-парк — это, собственно, не парк, а пояса зеленых насаждений, разделенные улицами, параллельными Мичиган-авеню и перпендикулярными к ней. Так что парк практически слагался из газонов и улиц, а потому полицейские легко окружили толпу. Однако не полностью — множество пешеходных мостиков и боковых выходов затрудняло им задачу. В довершение всего каждая

стычка демонстрантов с полицией, уже усиленной национальными гвардейцами, привлекала сотни корреспондентов; затем представители демонстрантов попробовали вести переговоры, после чего демонстранты попытались форсировать мост и вернуться в город. Слезоточивый газ заставил их отступить, но они бросились к другим мостам, в конце концов отыскали такой, у которого заслон был слабым, и в 6.30 вечера прорвались в город. Там они потолкались, но никого не встретили, кроме мулов и трех фургонов «Похода бедноты». Городские власти, опасаясь спровоцировать негров, разрешили преподобному Абернети провести мулов и фургоны по Мичиган-авеню к зданию съезда. Демонстранты сразу же выстроились позади фургонов и рядами по шестьдесят, восемьдесят и сто человек пошли по Мичиган-авеню в ранних серых сумерках. В результате Мичиган-авеню оказалась запруженной двигающейся толпой, в которой было не меньше четырех-пяти тысяч человек, включая прохожих на тротуарах, которые присоединялись к демонстрантам. На Мичиган-авеню и соседних улицах сильно пахло газом — ветер приносил его с парка, да и одежда демонстрантов была им пропитана. Вот так, нестройными рядами, де-

монстранты шли вперед — не то марширующая колонна, не то бесшабашная толпа. Их глаза были красны от газа, а лица горели возбуждением после всех событий сегодняшнего дня и прорыва из Грант-парка, и они шли по Мичиган-авеню к «Хилтону», рассчитывая оттуда направиться к Амфитеатру. Демонстрантам особенно нравилось идти за фургонами «Похода бедноты», и они кричали прохожим: «Пойдемте с нами! Пойдемте с нами! Пойдемте с нами!» — и с тротуаров в их реку вливалось все больше ручейков.

Но на перекрестке с Балбо-авеню, за которым находится отель «Хилтон», марширующих остановила полиция. Задержка была долгой. Возможно, она длилась полчаса. Времени было вполне достаточно для того, чтобы те, кто стоял на тротуарах, успели присоединиться к толпе, пройти с ней несколько шагов, постоять и, устав от ожидания, уйти восвояси. И кто-то, кто командовал сотнями полицейских в этом округе, успел связаться со штабом и доложить о положении, а затем — после того, как оно было надлежащим образом оценено, — получить приказ разогнать толпу. Мулов пропустили по Балбо-авеню, но демонстрантов от них отрезала шеренга полицейских. Затем под самыми окнами отеля «Хилтон»

на остановленную, окруженную демонстрацию обрушились полицейские. В ход были пущены слезоточивый газ и дубинки. Полицейские двигались вперед, как коса в густой траве, клиньями по двадцать-тридцать человек, молотя дубинками; демонстранты бросились бежать. Сверху, с девятнадцатого этажа, казалось, что ветер гонит клубы пыли или пенящуюся кромку волн на пляже.

Полицейские прорезали толпу в одном направлении, потом повернули назад. Они гнали людей назад в парк, сбивали их с ног, избивали их; они расчистили перекресток, точно бритва, пробрившая полосу в густой шевелюре; в этот проход бросились новые колонны полицейских; орудуя дубинками, они прокладывали новые проходы. Демонстранты бежали, снова объединяясь в группы, но их тут же разгоняли. Это продолжалось минут десять-пятнадцать с неослабевающей яростью тропического шторма. И при взгляде с девятнадцатого этажа возникала та легкая отчужденность, с какой можно следить из окна за ураганом в вечерний час — голубовато-серый свет, небесно-голубая форма полицейских и абстрагированная ярость, напоминающая беснование стихийных сил, словно по улице неслись полосы тропического ливня, изгибаясь, переходя

одна в другую. Подъехали полицейские машины, арестованных избивали, заталкивали в фургоны и увозили.

Вот как описывает происходившее Джек Ньюфилд в газете «Вилидж войс» от 5 сентября 1968 года:

«У юго-западного входа в „Хилтон“ худенький длинноволосый паренек лет семнадцати, споткнувшись, упал на тротуар, и на него набросились четыре дюжих полицейских, нанося удары по голове с такой силой, что волосы взметывались, струйки крови текли по его вискам. Он не кричал и не визжал, а в полуобмороке полз к сточной канаве. Когда он увидел, что его снимает фотокорреспондент, он поднял руку и пальцами показал букву V — победа.

Туда бросился врач в белом халате, с нарукавной повязкой с красным крестом, но к нему сзади подскочили двое полицейских и сбили его с ног. Один из них уперся коленом ему в горло и начал бить его дубинкой по груди. Врач вырвался, но полицейские продолжали гнаться за ним, размахивая дубинками.

Чуть в стороне клин полицейских врезался в группу женщин, журналистов и молодых активистов из окружения Маккарти, тихо стоявших у

витрины ресторана отеля „Хилтон“. Люди в страхе попятились, витрина разлетелась вдребезги, и люди попадали внутрь вместе со стеклом. Полицейские кинулись за ними и начали избивать всех без разбора, даже тех, кто спокойно пил у стойки бара. В вестибюль „Хилтона“, шатаясь, входили демонстранты, журналисты, помощники Маккарти, врачи. У многих по лицу текла кровь из рваных ран на голове. В вестибюле стоял едкий запах слезоточивого газа. Кто-то посылал раненых в импровизированный госпиталь на пятнадцатом этаже в штаб Маккарти».

Делегаты, которые из окон отеля следили за происходящим — точнее всего тут подходит слово «резня», настолько нападение было внезапным, неспровоцированным и тотальным, — были потрясены тем, что все это могло знаменовать: полиция подчиняла себе общество. Полицейские действовали не как блюстители закона и порядка и даже не как карательный механизм, но как поистине преступная сила, хаотическая, недисциплинированная и — что самое главное — не поддающаяся контролю.

Общество скреплено узами, не более прочными, чем паутина; и лучше всего это известно тем, кто им управлял. И подобные избиения предвещали

жуткое будущее. Рост беспорядков потребует увеличения полиции, которой придется потакать. Но тогда заложенный в ней зародыш преступности расцветет полным цветом и определит ее отношение к обществу. Тогда остается только один выход — объявить военное положение. Но если армия станет карательной силой общества, тогда Пентагон превратится в единственную реальную власть в стране.

Итак, атмосфера возмущения, истерии, паники, страшных слухов, неконтролируемых вспышек ярости, безумия, кладбищенского юмора и мрака окутала съезд в вечер выдвижения кандидатур.

Амфитеатр словно нарочно построен для проведения съездов. Он не очень велик, и в нем легко возникала интимная атмосфера переполненного до отказа спортивного зала во время боксерского матча. Двери, ведущие на галерею, очень узки, и балкон словно нависал над каждым оратором. Краски — черные, серые, красные, белые, синие — выгодно оттеняли море багровых, упитанных демократических лиц. Знамен в этом тесном зале набралось так много, что они напоминали копья. Проходы запружены. Ковры — красного цвета. В зале можно было увидеть и самых «благородных», и самых продажных лиц Америки.

Делегаты то и дело выходили из зала, чтобы посмотреть по телевизору разгул насилия снаружи: по слухам, Маккарти все видел из окна и сказал, что это «очень плохо». Макговерн назвал происходившее «кровавой баней», он «ничего подобного не видел нигде, кроме как в фильмах о нацистской Германии».

Выдвижение кандидатур происходило тихо и чинно. Демократы заранее объявили, что никаких демонстраций на съезде не будет. Демократы! Знаменитые своими демонстрациями! Но они боялись маниакальных взрывов в поддержку Маккарти, кулачных драк в зале заседаний, когда целые взводы политических воинов вцепляются в глотки своих противников. Поэтому имя каждого кандидата просто называлось, зал аплодировал, следовали речи в поддержку кандидатуры, после чего называлось имя следующего кандидата.

Маккарти выдвинул губернатор Айовы Гарольд Хьюз. Хэмфри был выдвинут Алиото — мэром Сан-Франциско. Макговерна выдвинул Рибикоф, сенатор Абрахам Рибикоф от Коннектикута, бывший губернатор, в течение многих лет человек Кеннеди, — взлет его карьеры совпал со временем Кеннеди.

В зале громко зевали, когда он говорил:

«Джордж Макговерн не хочет мириться с тем, что в нашей стране, в нашей великой стране, детская смертность так высока, что мы занимаем 21-е место среди всех народов мира.

Если бы Джордж Макговерн был президентом Соединенных Штатов, то мы не увидели бы применения тактики гестапо на улицах Чикаго».

Прошло несколько секунд. Депутаты оглядывались друг на друга. Неужели он сказал «тактика гестапо на улицах Чикаго»? Да, именно так. Его голос чуть дрогнул от возмущения и страха, но он это сказал, и Дейли вскочил, и Дейли грозил трибуне кулаком, и губы Дейли произносили слова — расслышать их было невозможно, но желающие без труда могли прочитать их на любом заборе.

Наконец началось голосование. Ничего неожиданного не произошло. Северная Дакота заявила: «Северная Дакота, которая скромно признает, что она чище и зеленее летом и ярче и белее зимой, из двадцати пяти своих голосов отдает восемнадцать Губерту Хэмфри и семь Джину Маккарти». Затем Огайо отдал 94 голоса, Оклахома–37,5, и в зале поднялся крик. Пенсильвания предложила 103,75 из 130, и победа Хэмфри была обеспечена.

Дело сделано. Будущая ширма мафии была выдвинута, и теперь ей предстояло соперничать с любимцем корпораций.

Репортер отправился в Линкольн-парк, но там все было тихо. Война закончилась. Тогда он поехал в «Хилтон» и завернул в маленький бар на Мичиган-авеню. Он пил и созерцал свой страх. Ему казалось, что всю жизнь он чего-то боялся, но последний год он как будто научился идти навстречу своему страху, научился действовать, что пугало его больше всего (и поэтому больше всего его освобождало). Ему это удавалось не всегда — что вполне естественно. Но он понял, что секрет роста заключается в том, чтобы быть чуть храбрее своей трусости. Так просто! Это была рабочая философия, и он пытался ей следовать, но ему казалось, что в настоящий момент он ей изменяет. Он продолжал пить.

В среду после обеда ему очень не хотелось идти на митинг в Грант-парк, откуда демонстрация должна была двинуться к Амфитеатру. Эта демонстрация к Амфитеатру и близко не подойдет — ведь недаром все эти дни присутствие мэра Дейли ощущалось повсюду.

Да, для страха было достаточно оснований. Отличных, логически обоснованных.

Но если бы он поддался своему страху и нашел бы способ уклониться от надвигающихся безобразных событий, его жизнь была бы испорчена, он сам себя ограбил бы. Он просто не привык жить с совестью, такой нечистой, как та, которую обнаружил у себя, когда наблюдал митинг с девятнадцатого этажа.

А потому он встал, вышел из бара и пересек Мичиган-авеню. Она кишела национальными гвардейцами. Боковые улицы по обеим сторонам «Хилтона» были перегорожены гигантскими военными грузовиками. Движение было остановлено. «Дейлидозеры» — так журналисты прозвали джипы с колючей проволокой на передних бамперах — выстроились вдоль Мичиган-авеню к югу от «Хилтона», и репортер направился к Грант-парку под аккомпанемент ревущих моторов военных машин. На высоте десяти-двенадцати футов были установлены гигантские прожекторы (не то на балконах «Хилтона», не то на крыше грузовика — свет был настолько ярким, что рассмотреть подробности не удавалось). Их лучи освещали шеренгу солдат на тротуаре Мичиган-авеню у самого Грант-парка и огромную, стиснутую в кольце войск толпу.

И тут репортер понял, что он должен делать.

И он пошел вдоль шеренги солдат под самыми дулами их поднятых винтовок — их лица были так близко, что он мог бы дотянуться до них рукой. Он вел себя, как инспектирующий генерал, и вглядывался в эти лица строго, или задумчиво, или снисходительно, с той официальной проницательностью, которую в давние времена не раз и не два наблюдал у инспектирующих генералов. Далеко не всем солдатам нравилось то, что он делал, и они резко хлопали ладонью по прикладу, словно застоявшиеся в конюшне кони, которые бьют копытами по доскам пола, а он с удовольствием заметил, что его нервы снова в порядке и ему все равно, ударит его кто-то из солдат по голове прикладом или нет.

Продолжая инспектировать эту шеренгу солдат — их было двести, если не больше, — глядя в усталые, скучающие, боязливые, любопытные, дружеские и открыто враждебные лица, отмечая общую небрежность в одежде (он действительно чувствовал себя инспектирующим генералом), репортер прошел мимо трибуны — большого садового стола, на котором стояли несколько человек с микрофоном. Речи продолжались, и двое гитаристов, по-видимому, готовились выступить с песней.

К нему подошла женщина, которую он знал и которая работала в штабе Маккарти.

— Вы хотите выступить? — спросила она.

Он утвердительно кивнул головой и, кончив инспектировать шеренгу, встал между двумя гитаристами, которые громко пели народную песню, патриотическую песню левых, названия которой он не запомнил.

Когда песня кончилась, его в самых лестных выражениях представили аудитории и под ласкающие слух аплодисменты вручили ему микрофон, а он начал с того, что объявил о своем намерении поговорить сначала с солдатами, и, повернувшись к толпе спиной, обратился к шеренге солдат, мимо которых не так давно проходил. Он сказал, что он писатель, чей роман о войне многие из них, возможно, читали, так как он пользовался успехом в казармах благодаря некоторым не употребительным в изящной литературе словам, хотя и не был так знаменит, как другая книга — «Отсюда в вечность», — с автором которой его часто путают. Ему очень жаль разочаровывать солдат, сказал он, но только он не замечательный писатель Джеймс Джонс, а другой, автор другого романа.

После этого вступления, которое ему очень по-

нравилось, он обратился к солдатам как человек, который тоже когда-то был солдатом. «Когда я проходил мимо вашей шеренги, я понял, что вы все точно такие же, каким был я двадцать пять лет назад, — другими словами, не очень хорошие солдаты, не слишком довольные армией, в которой вы служите».

Но, продолжал он, война, в которой ему приходилось сражаться, не вызывала в нем сомнений, какие, безусловно, вызывает у них война, ведущаяся во Вьетнаме. Он говорил о том, что американские солдаты не могут гордиться войной, в которой они не побеждают, хотя на их стороне численное и техническое превосходство; по его мнению, это объясняется тем, что они стыдятся этой войны. Возможно, американцы — и лучшие солдаты в мире, но только при условии, что они участвуют в справедливой войне, а война во Вьетнаме — позорнейшая из войн, и, конечно, они сражаются плохо.

Эту речь следовало бы произносить перед регулярными войсками. В волнении момента он упустил главное — солдаты, стоявшие перед ним, не имели никакого желания служить во Вьетнаме. Поэтому-то они и пошли в национальную гвардию.

Тем не менее его обращение к солдатам ему понравилось и вдохновило на новую речь, которую он начал, повернувшись на 180 градусов вместе с микрофоном и адресовав свое красноречие людям в парке. Они сидели полукругом, и их было несколько тысяч.

Он выразил им свое уважение и объяснил, что пропустил первое и второе сражения, причем сам не знает, из лучших или из худших побуждений. Они приняли его слова вежливо, как будто собрались тут только для того, чтобы ораторы могли являть свою честность. Далее он сказал, что наблюдал их в течение последних дней, видел, как их били и как они возвращались, как их снова били и как они снова возвращались. И вот сейчас он в парке и говорит с ними, хотя раньше вовсе не собирался этого делать. Они — замечательные солдаты, заявил он, солдаты, которыми гордился бы любой генерал. У них достало мужества четыре дня вести войну в городе, где правит зверь.

Толпа ответила ликующими криками, и он ощутил за собой громаду «Хилтона», прожекторы и солдат. А перед ним была революционная молодежь — совсем не та, которая сидела на ступеньках Пентагона. Они стали солдатами.

И все-таки мысли репортера в этот вечер не

способствовали его душевному покою. Он думал о страхе, который, наверно, терзал Бобби Кеннеди. Он гнал от себя эту мысль. Она делала его собственный страх зрячим — страх, рожденный от сознания того, что они неумолимы. Они! Все эти полицейские, шерифы, генералы, директора корпораций, высокопоставленные чиновники, правые реакционеры, свихнувшиеся провокаторы, правые изуверы. И страх снова овладел им. И многим людям придется жить с этим страхом на протяжении следующих лет.

Стадс Теркел
УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ: АМЕРИКА

От автора

Эта книга — отнюдь не научный обзор. И она вовсе не является попыткой сделать исчерпывающие выводы — радостные или печальные — относительно Чикаго или какого-нибудь другого американского города. Она не содержит ни оптимистических восторгов, ни пессимистического скепсиса. Просто один человек, вооруженный магнитофоном и гонимый бесом любопытства, целый год бродил по городу то там, то тут, пытаясь узнать мысли ничем не примечательных

людей — их мысли о себе, о прошлом и настоящем, о городе, об обществе и о мире в целом.

Насколько я себя помню, мое отношение к Чикаго всегда было двойственным. (Мне было десять лет, когда я приехал сюда, а сейчас мне пятьдесят четыре.)

Я бродил в поисках обнаженной мысли города, не пользуясь каким-либо определенным методом или приемом. Я знал, что мой поиск приведет меня и в пригороды, и в центр города, и на окраины, сведет с людьми богатыми, бедными, среднего достатка. Каждому есть что сказать о городской жизни в двадцатом веке. Это относится и к мойщику окон, совсем недавно попавшему в класс обеспеченных, и к двум агентам рекламного агентства, один из которых так же горячо любит свою работу, как другой ее ненавидит; и к замученному маляру-домовладельцу, который видит залог своей респектабельности в том, что в его районе может поселиться не всякий, и к жене бывшего юрисконсульта с Уолл-стрит, которая рискует своей респектабельностью, добиваясь интеграции своего района; к существующей на пособие матери-одиночке, которая ищет красоту жизни, и к хорошо зарабатывающему сталевару, для которого красота жизни потеряна; к шоферу

такси, который в поисках утраченной мужественности вступает в общество Джона Берча, и к школьной учительнице, сохранившей свою человечность; к супружеской паре из Аппалачей, которая чего-то добилась в большом городе, и к мастеру с завода автомобильных кузовов, который ничего не желает добиваться; к слепой женщине, которая видит, и к зрячей девушке, которая не видит; к тем, кто плывет по течению, и к тем, кто плывет против него.

Люси Джефферсон, 52 года

Живет в одном из муниципальных домов Роберта Брукса на Ниэр-вест-сайд. Квартира прилично обставлена, в духовке пеклись пироги, повсюду лежали книги.

Не нравятся мне все эти пособия. Я ни от кого и цента не взяла бы. И не собираюсь растить своих детей на пособие. С какой стати? В Америке хватит денег, чтобы я могла заработать на их воспитание. Сейчас сыну семнадцать, а дочке двадцать один год. И я никогда никаких этих подачек не принимала. Как бы я тогда научила своих ребят понимать, какое это удовольствие — чего-то добиться? Вы знаете, что будет, если я сяду на это пособие? Каждый мой расход будет

уже наперед оговорен — мы даже не сможем, к примеру, поехать в зоопарк, потому что надо платить за проезд.

Вот сейчас мы заработали какие деньги, приносим их домой и говорим:

— Ладно, этой получкой будет распоряжаться Мелвин, а следующей — Корина.

— А что мы на этот раз сделаем? Кажется, надо платить за квартиру? — спрашивают они.

— Нет, — говорю я, — на этот раз платить не будем.

— Ну так пойдем посмотрим какое-нибудь ревю?

А я скажу:

— Да, пожалуй, в этот раз можно и сходить. Встретимся в городе, когда я кончу работу.

А после работы я забегу в магазин, куплю фунт какой-нибудь дешевой карамельной смеси. И встречусь с ними у входа. Значит, из этой получки истрачено пять долларов с лишним. Мы можем себе это позволить раз в два-три месяца. Или еще роже. У меня есть корзинка, посуда и все прочее для пикников. Все это очень нужно — чтобы дети бывали повсюду и видели, что происходит на свете.

Я проработала в больнице Уэсли около одинна-

дцати лет санитаркой в кабинете физиотерапии. Работала неполный рабочий день, а вечером училась в школе медицинских сестер. Там одна женщина очень хорошо ко мне относилась. Она все говорила: «Люси, почему бы тебе не получать пособие, пока не кончишь школу? Брось ты эту свою гордость». Может быть, я и не совсем еще понимала, про какую гордость она говорила, но только я бросила учиться. Знаете, ведь сколько накручено вокруг этого — вот, наверное, почему бросила… Уж больно много шуму, а эти разговоры о деградации негров… понимаете?

Черт, мы и впрямь бедны, как церковные крысы. Каждый день считаем гроши, только не переживаем из-за этого. Когда я получаю деньги, мы в точности знаем, чем будем питаться следующие две недели. Я покупаю то, что идет по распродаже. Вот сегодня, к примеру, у нас на обед свиные ребра. И прекрасно. Свиные ребра с кислой капустой.

Больница, где я работала, очень модная. Там лечатся те, у кого есть деньги. Мне было очень интересно. Как одеваются! Я для развлечения представляла, как бы я выглядела в такой роли. Ну, конечно, я продолжала читать, так сказать, для самообразования…

Все называют тебя только по имени — студенты… ну абсолютно все. Видите ли, в этом есть своя линия, чтобы негры знали свое место. Но я из тех негров, которые научились противоречить, потому что я читаю такие вещи, как «Американская дилемма», и повсюду хожу с какой-нибудь книгой. Я им по-всякому шла наперекор. Я их почти терроризировала.

Знаете, стоило мне войти в лифт, и начиналось: «Что ты читаешь? Что ты читаешь? Что ты читаешь?» *(Смеется.)* И мне это начало нравиться. Я страшно веселилась. Прямо ужас на них наводила.

Чего же они боятся?

Ясное дело — вы же им разбиваете эти, как его, стерео… типы вроде того, что все негры невежественны, что они, мол, не хотят читать — не хотят делать того, не хотят делать сего, палец о палец ради себя не ударят. А когда они видят, что ты вот хочешь и делаешь… Понимаете? Их ведь не негры заботят, они за себя боятся. А когда я по-настоящему хочу доконать их, знаете, что я делаю? Я просто уставлюсь на них и глаз не отвожу. Они так и корчатся от страха. *(Смеется.)*

Я теперь убедилась, что негритянка может сделать все, что захочет, если у нее хватит вы-

держки.

Чего я больше всего жду? Чтобы дочь родила ребенка. Это будет ее первый. Замуж она вышла неудачно. Я хочу, чтобы она кончила колледж. Ей это будет нужно, чтобы помочь своему ребенку, чтобы воспитать его. Мне только и остается один интерес — чтобы был внук, чтобы я ему помогала. Разве не здорово? Знаете, я смогу сделать так, чтобы он захотел заниматься живописью, музыкой, литературой — всем тем, что освободит его душу.

Что ж, деваться некуда. Сейчас больше всего нужны знания. И чувства. Видите ли, есть такая вещь, как настрой чувств. Дружелюбный или враждебный. И если у тебя этого нет, детка, то все — ты мертв.

Джен Пауэрс, 24 года

Работает в редакции журнала, популярного у молодежи, далекой от политики. Работа легкая и хорошо оплачивается. Она из рабочей семьи и изредка навещает мать и двух младших братьев. Снимает квартиру в новых домах на Ниэр-норт-сайд, где квартирная плата довольно высока. Помолвлена со Стивеном, студентом-медиком.

Я не замечаю, что творится в мире. Мне все это

давно надоело. Я даже не знаю, что я чувствую. Я всегда вежлива и приветлива, но люди что-то во мне замечают. Не знаю, может быть, они мне не нравятся. Может быть, я считаю себя выше их. Не могу сказать, что есть кто-то, кого бы я любила или уважала. Происходящие в мире события меня не волнуют. Мне просто неинтересно. Мне безразлично. Конечно, я должна бы интересоваться — это просто ужасно. *(Смеется.)*

Вьетнам? Нехорошо, правда? *(Негромко смеется.)* Я видела фильм про Вьетнам, там показывали настоящие бои. Все выглядело очень нелепо — какое-то сборище детей. Было как-то неловко смотреть — люди по-настоящему стреляли, кричали. Я видела Вьетнам — один раз посмотрела на карте. Вьетнам будет меня беспокоить, если моего брата призовут в армию. А больше никак.

Мой интерес в жизни — это я сама. Нехорошо, конечно. Но читать газеты мне не хочется. Если я что-нибудь узнаю, то только от других людей.

Я надеюсь, что смогу добиться того, чего хочу. Выйти эамуж за преуспевающего человека. Хайленд-парк[56], двое детей. Хотя не могу сказать, что очень люблю детей. Сидишь в комнате, и

---

[56] Примечания: 56
Хайленд-парк — фешенебельный пригород Чикаго.

вдруг вбегают пятеро ребятишек, и все бросаются к какой-нибудь другой женщине, а не ко мне. И собаки тоже.

Ближайшие два-три года меня очень беспокоят. Вот я трачу столько времени и чувств на мои отношения со Стивеном — и вдруг из этого ничего не выйдет! Это было бы ужасно! Просто не знаю, как я тогда буду жить. Скорее всего, найду кого-нибудь еще и буду так же счастлива.

Меня ничто не трогает. Удивляюсь, почему мне все безразлично. Атомная бомба меня не беспокоит. Газет я не читаю. От меня ведь ничего не зависит, вот я и не беспокоюсь! Сейчас самое главное — это Стивен и я. Весь остальной мир пусть хоть провалится в тартарары.

На месте бога я бы создала мир, где было бы много таких, как я. *(Смеется.)* Нет, нет, я бы оставила его таким, какой он есть. Без войны не обойтись — войны были во все века, по-видимому, из них все извлекают какое-то удовольствие.

Если бы у человечества отняли войны, было бы скучно. Все стало бы однообразным.

Мне нравится дом, в котором я живу. Очень нравится. Когда я езжу навещать мать, то от людей в автобусе меня тошнит. Людей на Ми-

чиган-стрит[57] я уважаю больше. Родной дом вызывает у меня отвращение.

Конечно, очень жалко, что я не нравлюсь неграм и не нравлюсь детям и что собаки никогда ко мне не ластятся.

Кид Фэроу, 37 лет

Он стоял около своей сосисочной на одной из улиц Норт-сайда. Он глядел в небо. «Думаете, будет дождь?» — спросил я. «Да нет, смотрю вон на те многоэтажные дома, — ответил он, — были бы они моими!» Во время разговора угостил меня тремя пятидесятицентовыми сигарами.

Люди вроде меня — это самое ядро улицы. А те, кто поселился тут недавно, — все эти «новоиспеченные Джонни» — не знают ни района, ни чем он дышит. Я прожил в Чикаго всю свою жизнь, здесь родился и здесь вырос. Мой отец играл на бирже, иногда успешно, а большей частью нет. А я бывший профессиональный боксер.

Школу я не кончил и считаю, что ничего не потерял. В школе ничему не научишься. Если чего и наберешься, то только на стороне. Вот па-

---

[57] Примечания: 57

Мичиган-стрит — одна из главных улиц Чикаго, где расположены банки, отели, дорогие магазины, конторы авиакомпаний.

рень ходит в школу, кем он хочет стать? Врачом? Юристом? А это самые крупные воры в нашем обществе. Один законно крадет, а другой законно убивает. Дерут сколько хотят, а дядю Сэма обжуливают и не выплачивают, что ему положено[58]. Таких, как я, они хотели бы упрятать за решетку. Потому что я из принципа посвятил себя одному занятию: отбирать деньги у неквалифицированных дилетантов, которые зарабатывают их с помощью блата. Вот этим я и занимаюсь, и тут я специалист. Я не тружусь в поте лица. И поклялся никогда больше не вкалывать. На улице целый миллион людей, которые только и ждут, чтобы их обобрали, — их и следует обирать, и их обязательно оберут.

У меня и у моих братьев одинаковая философия. Мы ставим капкан и хватаем тех, кто в него попадется. Это все люди биологически либо физически не приспособленные. Они верят тому, что читают в газетах, и все они читают романы, и все напуганы. Мы продаем две вещи: мы продаем страх, и мы даем им уверенность, какой они никогда в жизни не знали. И забираем у них то, что они имеют. И они отдают с охотой и готовностью.

---

[58] Примечания: 58
Уклоняются от уплаты налогов.

Откуда у них эти деньги? Унаследовали? Женились на дочке босса? Какие у них для этого качества? Сейчас в Америке только полпроцента обладают нужными качествами. Вот, например, вы приходите в большой универсальный магазин и говорите, что желаете обменять шляпу. Вам говорят, подождите минутку, мы направим вас к такому-то. Такой-то посылает вас на второй этаж, а у него нет права решать. Пока вы обменяете шляпу, пройдет весь день. У кого сейчас право решать? Кого бы вы могли назвать? Некого назвать.

Во время депрессии, когда я был мальчишкой и развивал бешеную деятельность: продавал газеты, чистил ботинки, расставлял кегли, воровал пустые бутылки из-под лимонада за Лейк-шор-драйв, — вот тогда кто-то всем заправлял. А теперь таких не существует. Не хватает нужных качеств.

Мой отец работал на общественных работах. Мы жили на пособие. Я помню, как мы с братишкой ходили получать ботинки по государственным купонам. Помню, как я воровал еду — таскал домой апельсины и картошку. Для таких, как я, ничего лучше и быть не могло. То есть я хочу сказать, что мне это очень нравилось.

Именно это и требует система — тут-то ты понимаешь, что требуется и как взяться за дело. Без денег ты — бродяга в парке, ты — ничто. Кто ты такой? Что является мерилом в нашей системе? Он — человек с деньгами, уважай его. А бродяга? На его долю — «с наилучшими пожеланиями…» А если это женщина? Она предлагает тебе свой товар. Если у тебя есть деньги, ты ей дашь что-нибудь сверх необходимого. А тот лоботряс, который все получил от своего папочки, черт бы его побрал? Отбери у него. Не мытьем, так катаньем, не червями, так трефами — мы должны ощипать этого парня, забрать у него деньги… Но упаси бог тронуть его пальцем.

Как я выживаю? Я живу в Белден-страт-форде, каждый год покупаю новую машину, трижды в неделю хожу в турецкую баню, делаю маникюр, педикюр. Откуда я беру деньги? Я закона не нарушаю. Если ты воруешь, то попадешь в тюрьму, раз-два — и ты за решеткой. А на улице полно людей, у которых есть деньги, и они не знают, что с ними делать. Как я отбираю деньги у таких людей? Я применяю теорию Фрейда, дай ему бог здоровья.

Моя репутация — это что-то удивительное. Люди говорят, ты ну прямо Железный Том или Пит

Пистолет. В газетах про меня писали и хорошо — как про боксера — и плохо. Люди верят тому, что они читают. Ну и не мешайте им думать так, как они думают. Мой брат недавно попал в одну переделку. Его фотография была на первых страницах всех газет. Его показывали по телевидению. Он насмерть перепугался. Я ему говорю: «Дурак, ты на этом заработаешь черт знает сколько». Через неделю он приходит и говорит: «А знаешь, я сделал четырнадцать тысяч». «Так удвой их. Люди хотят кому-нибудь помогать, особенно железным ребятам. Ты им нужен. Они верят тому, что читают. Мы-то знаем, что ты не виновен, но давай брать от них что можно». И мы взяли. Он был знаменитостью. Железный Том и Пит Пистолет. Это их кумиры. А кто еще? Актеришка-гомосексуалист, который пудрит свою рожу? Какие у него на это права? Сейчас вся страна руководствуется физиономиями. Если у тебя вывеска привлекательная, она откроет тебе дверь. А мне входа нет. На что я могу рассчитывать? На свои руки. Я ими и пользуюсь.

Все насмерть напуганы, потому что смотрят по телевизору всю эту чепуху. Железных ребят и в помине нет. Все переумерли. Ну а эти люди все равно приходят, скажем в Старый город, где я про-

вожу время по вечерам, когда закрываю это свое заведение. Мы слывем железными ребятами, хотя на самом-то деле это не так. Только им об этом знать незачем. Раз верят, пусть верят. Потому что мы хотим забрать их деньги — и не грабить их, нет, а только помочь им добиться своего. Скажем, этот парень, который покончил с собой в Аризоне, ну Макдональд из Зенита. Почему мне не попался кто-нибудь вроде него! Мы часто про это говорили. У него не было чувства уверенности. Психиатры не могли его вылечить, но мы бы уж его вылечили. Мы бы его слегка закалили. Придали бы ему мужества, которого у него никогда не было. У него был комплекс неполноценности — как там у Фрейда? Распавшаяся семья. Мы бы уж ему объяснили, что сделать с такими деньгами.

Почему, собственно, нам и не забирать у них деньги? Вполне законно — с помощью полусилы. Полусила — великая вещь, если уметь ею пользоваться, но, конечно, она тебя и убить может. Ты внушаешь им страх, который идет им на пользу. Я работаю по контрактам, как деловые люди. Только это устный контракт. Если они хотят заключить со мной контракт, значит, у них какая-то неприятность. Если надо действовать мне самому, я действую. Если нет, я передоверяю

кому-нибудь еще. Пример. Обычно они запутываются в долгах. Или им кто-нибудь должен. Или они слишком увлекаются женщинами. Кто-то отбивает их девчонку. Изменяет жена. Самые разные случаи. Они боятся, все напуганы. Я даю им уверенность, безопасность. Если там какие-то денежные расчеты, кто-то его преследует, я того отгоняю. Понятно? В результате этот парень у меня в долгу. Самая большая ошибка его жизни. Ему было бы лучше расплатиться, потому что теперь он у меня на крючке до конца своих дней. Я постоянно буду его пощипывать. И уж не оставлю его. Вы представления не имеете, сколько у нас в стране ни в чем не уверенных людей. Все кого-нибудь боятся. Один — одного, а другой — другого.

А вы боитесь чего-нибудь?

Абсолютно ничего не боюсь. А ведь наше общество — опасное общество. Людям нравится причинять боль себе подобным. Почему в Индианаполисе[59] на автогонки съезжается двести-триста тысяч человек? Поглядеть, как какие-то людишки гоняют автомобили? Черта с два, конечно, нет. Они едут смотреть, как люди погибают. Если человеческий мозг может поднять

[59] Примечания: 59

В Индианаполисе, штат Индиана, находится крупнейший в мире автотрек.

в небо самолет, почему он не может вас убить? Так им и пользуются, чтобы убивать. Вот они все разгуливают по улицам: убийцы, педерасты, эксгибиционисты, несовершеннолетние хулиганы, — их всех надо гнать бейсбольной битой. Мы и гоним — люди вроде меня. Мы считаем, что нравственность надо оберегать. Мы гоним эту братию.

Мы не хотим, чтобы они толклись здесь. Они нам не нравятся. Я должен оградить от них моих племянниц и племянников. Закон лишен нужных качеств. Закон охраняет всех этих дилетантов и дегенератов.

Если бы я был диктатором, я бы истребил всех дегенератов. Я бы их резал. Возьмите большинство так называемых образованных людей. На что они пригодны? Оставьте их на три четверти часа в Линкольн-парке, и придется посылать мальчишку-бойскаута, чтобы вывести их оттуда. Сами они не сумеют найти дорогу обратно. Как человек выживает при капиталистической системе? Скажем, вы проработали двенадцать лет на одном месте, а потом вас выгнали. Что вы будете делать? А такие, как я, выживают. Если, не дай бог, будет пожар, потоп, атомная бомба, мы-то выживем.

Каким образом?

Дворняжка и породистая собака. Породистая собака, перебегая улицу, попадает под машину, разве не так? А дворняжка — нет. У нее хватит ума увернуться от машины.

Собака? Дворняжка?

Ладно, можете считать меня собакой… Мы должны смотреть правде в глаза, такие, как я. Как Сэм Джианкана Момо[60]. Его посадили. Отняли у него права. Это несправедливо. Не соответствует американской системе. Просто возмутительно, как его посадили без всякой причины. Он из тех же, что и я. Многие из них мне не слишком по вкусу, потому что они пристрастны к своим землякам. Все то же величие и падение Римской империи. Улица с односторонним движением не может выжить. Он справедлив в денежных расчетах. И не забывал своих. Тем, кто выходил из тюрьмы, он помогал, добывал для них деньги, устраивал. Вот у него были все необходимые качества. Его убрал Мартин Лютер Кинг. А какой от него самого толк?

Негр в Америке теперь не только имеет все — теперь он подбирается к нашим белым жен-

---

[60] Примечания: 60

По слухам, глава синдикатов гангстеров. — *Прим. авт.*

щинам. Нынешних женщин как будто тянет на темную кожу. У меня две племянницы. Вот я и тревожусь. Вот какой-нибудь цветной… — а ведь я человек без предрассудков, — приедет такой парень в большой город, выпрямит себе волосы. Плечи у них широкие, костюмы прекрасные, и вид образованный. Большинство девчонок, которые предпочитают темную кожу, они не из больших городов. А так — из Огайо, Айовы, Индианы, из каких-нибудь там городишек.

Небось к ветеранам войны, к инвалидам, валяющимся по госпиталям, они не пойдут, не приласкают их, не поблагодарят Чепуха! А как насчет американского солдата, который уехал за океан воевать? Который вернулся и не может найти работу из-за автоматизации? Ему ничего не положено. Он бездельник. А как насчет простого человека, который трудился не покладая рук, без всякого образования и вот вырастил детей, послал своих ребят воевать? Он уже доживает последние годы. Цена его дома поднимается до тридцати пяти тысяч долларов, он ложится спать, уверенный в будущем. А утром рядом поселяется негр, и дом его уже стоит только семнадцать тысяч. Они губят все, где бы они ни появились. В воздухе пахнет беспорядками, разрешите мне вам

сказать. Когда и как они произойдут, я не знаю. Кто их организует… но они непременно будут.

Самые лучшие соседи — это японцы. Никогда не повышают голоса. Их дома безукоризненны. Покажите мне японца на улице после десяти часов вечера. Вы когда-нибудь видели, чтобы японца арестовали? А пьяного японца вы видели? А беременную незамужнюю японку? Нет, конечно. У них любовь у семейного очага. Ну, а негры — это животные. Никакой любви у семейного очага. Ему мало вытеснить белого, он еще хочет и тут быть с ним на равных. Они задумали план дальнего прицела — через смешанные браки просветлить свою кожу.

Мне казалось, что вы восхищаетесь агрессивностью?

Да, но со мной вы силой ничего не сделаете. Я капиталист, им придется со мной драться, а оставаться побежденным я не собираюсь. Таких, как я, уважающих закон, немало. Правда, моя система, возможно, устарела. В начале века я мог бы выйти в большие люди. А сейчас со всеми этими законами и постановлениями Верховного суда у меня нет никаких шансов. Родись я на сорок лет раньше, я наверняка стал бы мультимиллионером. Я бы выстрелил, как выстрелил

Рокфеллер[61], когда у его конкурента забил нефтяной фонтан. Он сажал их за решетку. Обо всех них написано в истории. А Джон Астор[62] с его ловушками, с его мехами? Он не церемонился. Вот так работает система. А что остается? Новые законы только не дают человеку развернуться, уничтожают инициативу. Наши враги называют нас капиталистами, но мы не капиталисты.

Капитализм в идеале — это когда любой бездомный бродяга может придумать что-то такое или просто силой отвоевать себе место под солнцем, подняться на любую, какую он хочет, ступень, вплоть до самого верха.

Даже если ему придется наступать на других?

Он должен наступать. А что ему еще делать? В нашем обществе иначе нельзя. Другого пути нет. Люди вас задавят, убьют.

Для меня самое главное — помогать тем, кому нужна помощь. Деньгами, если они у меня есть, или любым другим путем. И я помогаю. Перед богом и судом клянусь, это так.

---

[61] Примечания: 61

Рокфеллер, Джон Дэвисон (1839–1937) — американский нефтяной магнат.

[62] Примечания: 62

Астор, Джон Джекоб (1763–1848) — торговец мехами, родоначальник династии миллионеров.

Вы верите в бога?

На самом деле нет. Я убежденный агностик. Кем был Иисус Христос? Он был отличный, я бы сказал, аферист. Он научился в Индии гипнозу. Когда он смотался из Израиля, они хотели ему вставить перо, потому что из-за него началась вся эта чепуха и беспорядки. Он говорил, что он сын божий. Теперь его бы не убили. Его поместили бы под психиатрический надзор, потому что бедняжке это было просто необходимо. Когда он накормил толпу рыбой, он просто загипнотизировал с десяток людей. Они и начали про это рассказывать. Кого он накормил? Кого он вылечил от проказы? Он гипнотизировал людей. Они вставали и шли. И добился того, что в тридцать два года его прикончили. Не мог держать свою пасть закрытой. Вы знаете, что Понтий Пилат предложил ему удобный выход? Он сказал ему: «Послушай, Иисус, ты прекрасный парень. Удалился бы ты в пустыню, бросил бы эту чепуху и жил бы себе потихоньку. Хватит тебе устраивать беспорядки». Но этот человек хотел, чтобы его убили. Ну Пилат ему и сказал: «Раз ты хочешь, чтоб тебя убили, то мне требуется вздернуть двух преступников. Да будет так». Ударил рукой по столу, и они его вздернули. Он был подстрекатель.

То же и с Мартином Лютером Кингом. Спросили мнение нашего великого президента Гарри Трумэна, и он сказал, что этот человек — чистой воды возмутитель спокойствия. Точка. Я всегда считал, что Трумэн замечательный человек. Потому что он в капиталистической системе политики поднялся от нуля до гиганта. Так действует и наша система. Начиная от Дейли, который сейчас у власти, от Келли и Нэша, которые были до него, от двух ирландцев Хинки Динка и Банного Джона[63] — это были гиганты, создавшие города. Они создали нашу страну. Они выбирают президентов. Все эти ребята проложили себе дорогу локтями. Вот какие ребята нужны нашей стране. Кому нужны образованные бездельники?..

Следовательно, вы восхищаетесь Гарри Трумэном и Момо Джианканой?

И Дейли — это самый замечательный мэр в

[63] Примечания: 63

Кафлан по кличке Банный Джон и Майкл Кенна по кличке Хинки Динк с 1892 г. в течение почти пятидесяти лет были хозяевами Первого района Чикаго. Это был знаменитый район притонов. Ежегодный бал Первого района был гвоздем сезона, гостями были проститутки, сводники, хозяйки домов терпимости, политические и общественные деятели — все знаменитости того времени. Этот бал приносил Банному Джону и Хинки Динку не только моральную, но и материальную выгоду. Но услуги, конечно, были взаимными — широкое поле деятельности весь год напролет. — *Прим. авт.*

истории Чикаго[64], человек, посвятивший себя городу. Он берет свое жалованье и сидит дома, обдумывая, как что-нибудь сделать для города. Он был ловок, да и умен, а к тому же ему везло — хотя все нужные качества у него есть. Большинство его конкурентов поумирали, и он знал, когда следует захватить власть. Я за него на все сто процентов. Когда у меня восемь лет назад умерла мать, я получил от него телеграмму с соболезнованием. Это вот настоящее смирение. Мэр второго крупнейшего города величайшей страны в мире посылает телеграмму соболезнования бывшему боксеру, человеку, не окончившему средней школы, и с таким занятием, как мое, — черт побери, это вещь!

Он был знаком с вами или с вашей матерью?

Конечно, нет. Наверно, эту мысль ему подал мой друг Терри Бойл. Во всяком случае, я в душе демократ. Я выбираю меньшее из двух зол. Посмотрите на Чикаго. Новые многоэтажные дома, новые дороги и так далее. Знающие люди мне говорили, что эту реконструкцию города контролирует небольшая группа владельцев

[64] Примечания: 64

Ричард Дейли был известен своими крайне консервативными взглядами. В печать неоднократно проникали сообщения о его тесной связи с чикагскими гангстерами. О нем см. также стр. 346–366.

недвижимости. Я верю в уничтожение трущоб, но это не тот способ. Из всех этих улучшений они извлекут для себя прибыль и поделят ее между собой. Они предназначают на снос только то, что им выгодно, и строят вот эти многоэтажные дома. Они все делают законным путем. Хотел бы я быть на их месте.

У меня есть одна любимая песенка. Я никогда ее не забываю: «Человек, имеющий мечту, сильный человек. Потому что мечта создает человека, делает его тем, кем он хочет стать». В этом мире вы можете стать кем угодно, только мечтайте долго и упрямо.

Хесус Лопес, 42 года

Старший сталевар мартена «Юнайтед Стейтс стил компани». Работа высококвалифицированная. Зарабатывает примерно 10 000 долларов в год и вскоре должен получить оплаченный отпуск в размере тринадцати недель. Во время прежних отпусков ездил к родственникам в Мексику и побывал в городе, где родился. «Я помнил его как очень большой город, а когда я два года назад заехал туда, оказалось, что это совсем крохотное селение. Голое место, жалкие домишки — смотреть тяжело. Такая нищета и убоже-

ство, просто невероятно, чтобы люди могли так жить. Целые толпы ребятишек стоят вот так, с протянутой рукой».

Его детство прошло в Джолиет и в Южном Чикаго среди поляков, венгров и мексиканцев. «Тогда это была глушь. У нас были великолепные бои». В школе он учился прекрасно и без труда. Однако не воспользовался возможностью поступить в колледж, стремясь скорее начать зарабатывать.

Прежде он был непоседой, имел много друзей, множество интересов — театр, литература, политика. А сейчас они с женой — жена у него английского происхождения — живут в пригороде, где селятся люди со скромным доходом, к юго-западу от города. Их единственный ребенок — девочка — умерла во время одной из их поездок в Мексику. Он убежден, что ее неправильно лечили.

Он немного выпил.

Я разбиваю машины одну за другой. Вон там «корвер», видите? Весь разбит, еще не был в ремонте. «Хадсон» сейчас в гараже, какие-то неполадки с коробкой передач. И там же приводят в порядок мой «понтиак» 1964 года, его я заберу в субботу.

Здесь живут разные люди. Полное смешение. Соседи — поляки. Вон там, кажется, живет немец,

а рядом с ним еще один поляк. А вон там филиппинец.

Здесь неподалеку есть один бар. Я заметил, что все платили тридцать центов за бутылку пива, а с меня взяли тридцать пять. Я ничего не сказал, просто перестал туда ходить. Несколько лет назад я полез бы драться, а теперь я просто оставляю все подобные вещи без внимания и стараюсь о них не думать. Вот, скажем, эти пять центов. Может быть, на душе становится скверно, но шума уж больше не поднимаешь. Нет, теперь я стал моральным трусом.

Как я это понимаю? Скажем, все эти принципы — я их сбрасываю, как балласт, чтобы не получился крен. Другими словами, я пошел по той проторенной дорожке, о которой сейчас все кричат. Уверенность в завтрашнем дне. Мне сорок два года. Если меня уволят, что я буду делать? Сколько старших сталеваров им нужно на заводе?

Вот, например, прошлым летом я ехал через Оклахома-Сити и увидел мотель — очень дорогой. Большие неоновые вывески, все сверкает и блестит. Было уже поздно, что-то около половины

первого. А я вез мать в Ногалес[65], сестра там оканчивала школу. Я решил переночевать тут. Я снял номер, потом вернулся к машине, помог матери выйти и отвел ее в номер.

Рядом с дежурным в холле — какой-то человек, вроде коммивояжера. Когда я вошел, я сразу понял, о чем он говорил. Он сказал: «Даже негры?» Дежурный ответил: «Приходится их пускать». Я чуть было не сорвался и не заварил кашу. Потому что я видел, как этот тип на меня смотрит. Вы такие вещи сразу чувствуете. Я хочу сказать, когда вы с этим раз столкнулись, вы уж не ошибетесь. Но я только спросил его: «А нельзя ли сказать „мексиканский гражданин“?»

Он не знал, что в моих документах указано, что я гражданин Соединенных Штатов, согласно закону, принятому конгрессом. Я вставил это, когда мне продали дом, в котором мы сейчас живем. Агент по продаже… — видите ли, я внес солидный задаток, — отправился в банк, чтобы взять ссуду, возвращаюсь в его контору, уже почти все закончено, как вдруг телефонный звонок. Агент берет трубку, разговаривает, затем спрашивает меня: «А вы гражданин Соединенных Штатов?»

---

[65] Примечания: 65
Городок на границе США и Мексики.

(Смеется.) Я говорю ему: «Согласно закону, принятому конгрессом. Кто это спрашивает? Скажите ему, согласно закону, принятому конгрессом». Не многие могут так сказать! Другими словами, я стал гражданином Соединенных Штатов потому, что служил в американской армии во время второй мировой войны. И я решил вставить это в документы.

Мой сосед рассказывал мне, что как-то раз один его гость — я в это время подстригал газон — спросил его, давно ли тут черномазые? А сосед ответил: «Он не черномазый». *(Смеется.)*

Пару раз моя машина выходила из строя. Однажды зимой у меня заклинило тормоза. Стою я на углу, жду автобуса, а ребята в проезжающих машинах кричат: «Эй, черномазый!» Единственное, что я могу сделать, — это не замечать. Моральный трус. Ну, конечно, я мог бы носить с собой пистолет и стрелять в них или иметь при себе шестидюймовый нож и кого-нибудь убить. Раньше, бывало, я дрался из-за каждого пустяка. Меня так и называли — петух. Только я все это давно бросил.

В Ассоциации христианской молодежи я научился боксу. Стал очень хорошим боксером. Я был маленького роста, легкий, быстро двигался,

обладал молниеносным ударом. Был знаменитым чемпионом по боксу среди молодежи. Это было приятно.

Ну, и я тогда мечтал! Средняя школа, точные науки, математика, отметки только отличные. Какие у меня были замыслы? Я хотел быть скрипачом. Я играл на скрипке, и у меня находили талант. А потом… я все забросил. Бесполезно.

(Делает большой глоток из банки с пивом.)

Знаете, я принадлежу к людям, которые любят все доводить до совершенства. В свое время у меня из-за этого бывали неприятности с товарищами по работе. Я не так-то просто выхожу из себя, но, раз уж работу нужно сделать, я хочу, чтобы она была сделана по-настоящему. Когда я вижу, что кто-то работает тяп-ляп, я подхожу к нему и говорю: «Тебе отец никогда не говорил, что если работа стоит того, чтобы ее делали, так ее надо делать как следует?». Меня отец этому научил. Только верю ли я в это сам? *(Смеется.)*

Но работа остается работой. Это еще одна из проблем нашего века. Молодежь, которая сейчас приходит, в большинстве старается затратить как можно меньше усилий и хочет, чтобы им это сходило с рук. А мне это не по душе. Я хочу сказать, что у меня другой характер. Я работаю старшим

сталеваром и делаю все, на что способен.

Мое положение у мартена — самое высокое. Следующая ступень уже администрация. Старший сталевар — этим можно и гордиться про себя. Ты — начальник. Даже настоящим начальникам я могу сказать — убирайтесь-ка восвояси. Большая независимость. Вот одна из причин, почему мне нравится эта работа. Кроме того, считается, что мы, сталевары, сделаны из стали. На самом-то деле, конечно, мы очень мягки.

Я распоряжаюсь плавкой. Считается, что я начальник второго и третьего сталевара. Я говорю «считается», потому что многие третьи сталевары пытаются учить нас, как варить сталь.

Это своего рода искусство, если искусством можно назвать то, чему учишься на практике. Добрая половина нашей работы строится на догадках, основанных на знании. У нас семь заслонок, и надо точно представлять себе, что происходит за ними и что требуется сделать. Мы измеряем температуру и проверяем содержание углерода. Предполагается, что мы точно знаем, что надо делать. Однако интуиция играет огромную роль. У нас там работает сын начальника цеха, так он говорит, что это — искусство. Конечно, это было настоящим искусством до того, как

появились все эти кислородные анализаторы, регулирующие поступление топлива. Однако они то и дело выходят из строя.

По сути вся ответственность лежит на старшем сталеваре. У меня двое подчиненных, а когда я пробиваю летку, так уже семь или восемь. Если что-то идет не так, то вина на нас… *(Смеется.)*

…Ну, конечно, все боятся. Особенно автоматизации. Послушали бы вы, что говорят на заводе. Будто эти новые кислородные печи покончат с мартенами. Может быть, конечно. Но я думаю, что часть мартенов все-таки останется — кислородные печи, по-моему, не могут выдавать такие марки стали, какие даем мы.

…О чем мы говорим за кружкой пива? О работе. О всяких неполадках, о том, что кто-то должен был что-то сделать и не сделал. Изредка слышишь, как говорят о том, что Джонсон делает в Сан-Доминго. Никто не знает, какого черта он там делает. Что он делает во Вьетнаме? Никто этого и знать не хочет. Факт, не хотят. Я пришел к заключению, что люди больше занимаются собой, больше интересуются своими собственными проблемами.

Так что я держусь сам по себе, я ведь принадлежу к породе одиночек. Иногда встречаю людей,

которые думают, как я. Но большую часть времени я один. Каждый беспокоится больше всего о себе, почему это так, я не знаю. Потому такие люди, как мэр Дейли, и забирают власть — никто не вмешивается в то, как они решают вопросы, нас непосредственно не касающиеся. Мы беспокоимся только о себе.

А молодежь? Она теперь пошла совсем другая. Они гораздо развитее, чем я был в их возрасте. И куда более воинственно настроены.

Помню, как я был потрясен, когда вернулся домой после войны. Мне было всего двадцать три года. В баре я схватился с одним парнем. Он убежал, а потом вернулся с парой дружков и собирался со мной рассчитаться. Туда зашли двое моих знакомых парней. Они были моложе меня. Зашли мы за угол и устроили небольшой кулачный бой. Того парня, который все это начал, я не трогал. С ним дрался один из моих друзей и никак не мог его нокаутировать. Тогда я ему говорю: «Отойди-ка. Я покажу тебе, что такое нокаут». Ударил и сбил его с ног. А мои приятели начали пинать его ногами. Я им говорю: «Вы это бросьте!»

Раньше, когда у нас бывали драки и кого-нибудь сбивали с ног, мы останавливались, давали

ему встать, если он хотел продолжать драться. Если же он не хотел, он сдавался и ты был победителем. И вдруг так больше не делается. Теперь — сбивай его с ног, пинай, топчи, и плевать на все! А ведь я вернулся с войны, где в меня стреляли, где я был ранен и кое-кого пинал. Но все же у меня были… ну как бы это назвать? Вы скажете, идеалы? Честный бой и прочее. А теперь? Что происходит теперь? Ты его сбил, ну так и давай бей его по голове, пинай под ребра, пинай куда хочешь, пинай в любое место.

А когда вы крикнули «вы это бросьте», они перестали?

Они мне ничего не ответили. Ни слова. Во всяком случае, я перестал ввязываться в пьяные драки. Хозяин одного бара мне даже сказал, что ребята говорят, что я трус. «Какого черта, — говорю я ему, — кому это нужно? Ради чего? Послушайте, я взрослый человек и не стану драться с кем попало, а уж если я начну драться, то это будет всерьез».

Нашли ли вы какой-нибудь просвет, каких-нибудь других людей?.

Почти нет. Что касается негров, я скорее за них, чем ни за кого. *(Смеется.) Я по* собственному опыту знаю, каково им приходится. Хотя я одному из

них сказал: «Вы ничего не добьетесь, если будете все время искать повода к ссоре». Они взъедаются на любое слово, любую шутку. Я встречал слишком много таких людей. Да мне все равно, это Чикаго.

Вам на самом деле все равно?

Нет, конечно, не все равно. Это мир, в котором я живу, как мне может быть все равно? Но ведь что я-то могу сделать? Вот так и получается. Вот, например, бомба. Никто о ней никогда не говорит — ни слова. Будто ее и нет.

Я был идеалистом. Смешно! Теперь я считаю, что мы все должны быть счастливы, как обезьяны. Никаких проблем, только ешь, спи, ну, а дальше что? Даже подумать страшно. Последние три года я бросил думать. Я просто существую от одного дня к другому.

Что вы делаете в свободное время?

Пью. *(Смеется.) И* читаю «Плейбой». Разглядываю голеньких девчонок. Перестал волноваться, после того как вышел из призывного возраста. *(Смеется.)* Вот так-то.

Вы считаете, что мир катится в пропасть?

(Удивлен.) А вы разве так не считаете?

Норма Блэр, 55 лет.

Мы сидим в трехкомнатной квартире, позади бакалейной лавки, принадлежащей Норме и ее *мужу Хортону. Они приехали в Чикаго с запада Теннесси в 1943 году. Их лавка, которую они открыли лет шестнадцать назад, находится в Норт-вест-сайде. Район в этническом отношении смешанный. Последнее время тут стали селиться жители Аппалачей и пуэрториканцы. Негры в этом районе только работают, но не живут.*

Им принадлежат два доходных дома в этом квартале — двухквартирный дом на этой стороне улицы и наискосок от него еще один — из четырех квартир. Все квартиры сданы. «Тут все ходит к нам один человек, купил свою мебель. Все интересуется, когда, значит, кто уедет. Сразу, говорит, продаю мебель — и к вам. У вас, говорит, только тут и чувствуешь себя как дома. Да и не один он. Еще двое или трое приходят, упрашивают».

Ее мать осталась «вдовицей с восемью детишками». Несмотря на то, что она была фермером-издольщиком, «ели всегда досыта, и одежи было не сносить», потому что мать умела «иголку в руках держать». Мешки из-под муки и из-под

сена перекрашивались и выглядели как одежная ткань. «Целый день она работала в поле, а потом сидела до часу ночи — шила на всех нас. Уж как она все это успевала, не знаю, но успевала».

Хортон днем работает в «Интернэшнл харвестер», фирме, выпускающей сельскохозяйственные машины. Она занимается лавкой. Он масон. Она собирается вступить в общество «Восточная звезда»[66]. Детей у них нет.

Сколько себя помню, столько и работаю и ничего другого не знаю. Пока не подросла и не пошла на фабрику шить рубашки, работала на ферме. А что еще делать если не работать? Иногда думаю, не продать ли лавку. Но, наверно, если я и соберусь уйти на покой, буду все-таки торговать в ней два-три дня в неделю. Я работала в маленьком городке. Сейчас работаю в большом городе. Не могу сказать, что здесь мне лучше живется.

Когда удается, смотрю телевизор. Только с этой лавкой разве что посмотришь. Открываешь в шесть-семь утра, и весь день на ногах до восьми вечера. Вот жалко, что в церковь не хожу, как надо. Времени нет. Конечно, я могу закрыть лавку и уйти, но разве покупатели дадут уйти? Гляди

---

[66] Примечания: 66
Организация, объединяющая жен масонов.

еще, вызовут полицию меня разыскивать. И в воскресенье то же самое. Если не торговать по воскресеньям, то можно вообще закрыть лавку. Я по воскресеньям зарабатываю больше, чем за три будних дня. Раз у тебя есть работа, тяни ее и все тут.

Я редко где бываю, но мне рассказывают, в городе бог знает какие ужасы творятся. Если мне нужно куда, я, конечно, еду на машине — села, вылезла и опять села. Пешком я бы от дома никуда далеко не пошла. Люди говорят, на улицах такое делается! Говорят, у тебя могут вырвать сумочку, ударить по голове, избить. Со мной, по правде сказать, никогда ничего такого не случалось. Нас ни разу не ограбили.

Тут вышло, я ужас как долго была одна. И ничего, и даже не думала, страшно или нет. Уходила в квартиру, запирала все двери и ложилась спать. Муж пролежал в больнице пятьдесят шесть дней. Я каждую ночь была одна в доме. И хоть бы что! Даже и не думала об этом.

Люди здесь почти все работают. Ну, конечно, есть и неработающие. Я вот занимаюсь лавкой, веду хозяйство. Здесь многие женщины работают. И дети у них вроде как более послушные, чем у неработающих.

А ребята год от году все больше воруют. И хулиганят, не дают житья, хлопают дверьми, орут. Такого безобразия раньше не было. Может, стало больше детей, может, еще почему.

Не скажу ничего плохого про их родителей. Я знаю их матерей. Хорошие женщины, но вот целый день сидят дома, а на детей — никакого внимания: куда они уходят, когда приходят. Все они очень симпатичные люди, но им вроде и дела нет, чем занимаются их дети.

Были бы у меня дети, я бы уж следила, чтобы они не болтались с какой-нибудь шайкой, следила бы, когда они возвращаются домой, кормила, заставляла бы читать или смотреть телевизор и отправляла бы вовремя спать. Конечно, я не говорю, что эти женщины пьют, или что их мужья таскаются по пивным, или что они занимаются чем-нибудь нехорошим. Может, они работают день и ночь. Некоторые женщины ничем не могут заняться, если муж долго не возвращается, сидят сложа руки и думают. Может, они думают, что он завел себе кого-то на стороне. А на детей просто не обращают внимания.

Я не знаю, чем они занимаются целый день. На улицу не выходят, в лавку не заглядывают. Ребята прибегают домой обедать, а им прихо-

дится брать деньги, идти сюда, ко мне в лавку, покупать какую ни на есть еду, ну там суп, хлеб, еще что. Просто не понимаю, как это можно. Они еще совсем маленькие, а им приходится идти сюда, нести все домой, как-то сготовить, поесть и бежать обратно в школу.

Вот чего я не выношу — так это воровства. Если бы еще они были голодные, таскали бы какую еду, так нет! Тащат совсем другое. Недавно зашли двое мальчишек и — вы не поверите — стянули моток бельевой веревки футов в сто — ее-то не съешь! И бросили ее посреди улицы. Это все потому, что на спор: «А вот ты не можешь, а я могу». Не верю, чтоб хотели украсть.

Я так считаю, что, может, их отцы и матери все время лаются друг с другом или вообще не сошлись характерами и некогда им на детей обращать внимание.

Хортон Блэр, 55 лет.

Вам нравится ваша работа?
Да.
День быстро проходит?
Довольно-таки.
Что-нибудь вам не нравится?
Нет. *(Долгая пауза.)* А чего об этом говорить.

Вспоминаете свою молодость?

Работал на ферме, вот и все.

Смотрите телевизор?

Неинтересно.

Читаете газеты?

Смотрю заголовки.

Что-нибудь в этих заголовках вас тревожит?

Нет.

Бомба?

Нет.

Негры?

Нет.

А что-нибудь могло бы произвести на вас впечатление?

Нет. Вроде бы нет.

Чем бы вы хотели заняться, когда уйдете на покой?

Понятия не имею.

И даже не думали?

Не думал. Придет время, тогда и будем думать.

Живете от одного дня к другому?

Именно.

(Норма Блэр вмешивается: «Он ведь образованный человек. Ходил в среднюю школу».)

Ну, и как было в школе?

Моим любимым предметом была история. Гу-

манитарные науки, история и математика. Думал стать учителем. Но из этого ничего не вышло. Выяснилось, что больше проку было в другом. Учителям ведь в те дни почти ничего не платили. На другой работе я мог заработать в два-три раза больше, чем если бы я работал учителем. Так что я занялся торговлей.

Что же заставило вас отказаться от своего желания?

Деньги.

Фрэнки Родригес, 17 лет

Был несколько раз арестован. Бросил школу. В машине, стоящей у тротуара примерно в час ночи.

Почему я должен беспокоиться о том, что происходит в мире? Я так рассуждаю: кто о тебе позаботится? Никто! Ну а раз о тебе никто заботиться не станет, а образования у тебя нет, так что тебе делать?

В школе меня ничему толковому не учили, ничему стоящему. Сиди смирно, слушай, что там треплется учитель, и все такое. Да он меня никогда ничего и не спрашивал. И делать ничего не просил. Прозвонит звонок — и иди в другой класс. Вот так. Я даже как-то спросил его: «Что вот это,

так и так, значит, неясно, мол». А он мне ничего не ответил. Ну и вообще, тоска там зеленая.

Что же тогда делать? Шляться по улицам? Вот я и прикинул: если я не могу заработать честным путем, так буду зарабатывать нечестным. Буду жить в тюрьме, (Усмехается.) Она — мой дом, не сейчас, так потом. Вот и смотри, если я аккуратно сработаю, будет у меня шикарная жизнь. Если, конечно, не попадусь. А если попадусь, тогда я за решеткой.

Чего я не видел на улице-то? И чего зря шляться. Там полно этих кобелей, которые чужому спуску не дадут. Схватят без предупреждения и изобьют до полусмерти. Я и прикинул: зачем стирать подметки о мостовые и подбирать гроши, когда можно кого-нибудь ограбить? Если ограбишь и не попадешься, считай, тебе повезло. Но грабить всю жизнь и не попасться — такого не бывает. Вот я и считаю, придется раз-другой отсидеть. Раз образованьица у тебя нет — значит, все. Чего мне беспокоиться? Так что наплевать мне на весь мир, а ему наплевать на меня.

Джимми Уайт, 18 лет

Приехал в Чикаго из Бирмингэма, штат Алабама, когда ему было семь лет. Живет со своей

бабкой в муниципальных домах на Ниэр-вест-сайде. Она работает лифтершей в одной из больниц расположенного неподалеку медицинского центра.

Бросил школу около года назад. В пятнадцать лет затевал драки на улицах и был признанным вожаком местной шайки, носящей название «Графы». «Дрался со всеми и с каждым. Не потому, что они мне не нравились. И бил не только белых, бил всех подряд — и тех, кто был одной со мной расы. Ведь человеку хочется, чтобы на него обратили внимание. Хочется чувствовать себя кем-то значительным. Если так на тебя не обращают внимания, то обратят эдак».

Местный сотрудник отдела социального обеспечения заинтересовался Джимми. «Сейчас здесь организовали клуб для малышей, и я с ними занимаюсь. Ребята семи-восьми лет. Я вожу их на пляж, ну, знаете, во всякие такие места, где они не были. Мы ходим в парк, играем в мяч. Малыши радуются всяким пустякам. Я бы очень хотел продолжать заниматься такой работой. Мне это очень нравится».

Утром я встаю и обычно сразу же беру сигарету. А когда я ее выкурю, меня начинает тошнить. *(Смеется.)* Чаще всего и завтракать не хочется.

Потому иду немного погулять. Разговариваю с приемщицей в химчистке. Она спрашивает, женат ли я. Она, конечно, точно знает, что нет, а спрашивает, просто чтобы поддержать разговор. Мы болтаем обо всем понемногу. Потом я иду обратно на седьмой этаж, разговариваю с соседями. Сюда я прихожу посмотреть, что произошло нового.

Катаюсь на велосипеде. Конечно, это детская забава. *(Смеется.)* Только, когда тебе стукнет восемнадцать, ничего другого у тебя все равно нет. Не болтаться же целый день с ребятами, которые тебя моложе. Хочется где-то побывать, что-то сделать. Сделать что-то такое необычное. Так, например, в Старом городе можно поездить по улицам в повозке, запряженной лошадьми. Это смешно. Как в кино.

Большинство людей старается построить свою жизнь по кинофильмам. Вот увидят картину — Тарзан, супермен, что угодно. Увидят по телевизору и примеряют на себя. И я такой же. И хочу того же самого. Поехать в какие-нибудь дальние страны, в места, где я никогда не был и никогда не побываю.

Все мечтают. О том, что вот ты богат, что у тебя есть все. В мечтах я живу на верхнем этаже, в

дорогой квартире, у меня сколько угодно денег и красивых девушек. А потом начинаешь мечтать о другом. Вот идешь по улице, увидишь что-то и начинаешь об этом мечтать.

Иногда я мечтаю о том, что я женат на какой-нибудь очень хорошей девушке. Я прихожу домой с работы, а она сразу видит, какое у меня настроение. Она приносит мне домашние туфли. Наливает мне пива. Вот насмотришься в кино и начинаешь думать, что лучше женатой жизни и быть не может. Ну конечно, знаешь, что это вовсе не так, но помечтать-то можно! Вот так и я: прихожу, и домашние туфли уже стоят. Она меня встречает, целует. И все уже готово, а может, только кончает готовить и говорит: «Джимми, обед сейчас будет готов. Ты пока немножко посиди, выпей пива или посмотри телевизор». Или можно почитать газету или посмотреть какую хочешь книжку. А может, у тебя есть дети. Когда женишься, они уж тут как тут.

Но в мечтах я хочу и многого другого. Сижу в своей конторе, веду дела, не надрываюсь. *(Смеется.) Я хотел* бы заниматься самыми разными вещами. То я хочу быть директором предприятия, то доктором. В конце концов я выбираю себе занятие, о котором раньше и не думал.

Вот точно так же у меня было с рестораном — там всегда играет музыка, а я люблю танцевать. Разная музыка настраивает тебя на разный лад. Одна заставляет смеяться, делает счастливым, а другая — печальным. А есть такая музыка, которая заставляет тебя чувствовать так, как будто ты Казанова, и хочется любить. Музыка странно воздействует на людей…

Вот Мириам Макеба[67], она, по-моему, единственная в своем роде. Да-да. Вот женщина, которая приехала из самой Африки. Эти люди борются за свои права и свободу — точно так же, как и в Соединенных Штатах: белые и цветные — одинаково. Знаете, я чувствую, что белые тоже борются. Они не знают, как быть. А ведь это тоже борьба — думать вот так: «Что я должен делать? Идти ли мне с этими людьми? Действительно ли они отвечают моим требованиям?» А вот она — отвечает. Она приехала сюда из-за океана. И она доказала, что она — настоящая.

Вот эта пластинка — «Ваймоуви». По-моему, потрясающая вещь. Про охоту на льва у зулусов. Когда я слушаю ее, то так и вижу эту охоту. Почти чувствуешь, как один из охотников испугался.

---

[67] Примечания: 67
Популярная африканская певица, живущая сейчас в США.

У него в сердце страх. У каждой пластинки есть своя вершина — когда ты взмываешь в самую высь, а потом вершина позади, и тебя отпускает. Вот что она делает.

Так вот, в этом ресторане было страшно весело. И я вместо школы ходил туда. Утром я вставал, выходил из дому и говорил себе: «Я иду в школу». А оказывался в ресторане. Вот сяду в автобус, проеду несколько кварталов, и вдруг музыка, ну прямо рядом. Начинаешь отбивать ритм ногами, а они так и зудят, и тянет пойти туда, где все ребята.

Ты говоришь себе: «Пропущу первый урок. Ничего особенного. Никто и не заметит, что тебя нет». И на самом деле думаешь, что обязательно ко второму уроку придешь. Но когда попадаешь в ресторан, то начинаешь танцевать. Не успеешь оглянуться, день уж и прошел. И тут ты себе говоришь: «Ну ладно, завтра я уж обязательно пойду в школу». И так каждый день, и вот, пожалуйста, ты уже не в школе и не учишься.

А потом возникает еще одна проблема. Раньше ресторан бывал битком набит ребятами моего возраста. А теперь там ребята с каждым годом все моложе и моложе меня. Ничего не остается, только как сказать себе: «Тебе уже много лет,

больше, чем этим ребятам». И вот ты ищешь, чем бы тебе заняться. В школу ты больше не ходишь, так что же тебе делать?

Тебя беспокоит то, что будет, когда ты станешь старше?

Наверно, это всех беспокоит. Только меня это беспокоит больше, чем других, потому что я большего хочу. Я не имею в виду материальные ценности, как, например, дом, ну в смысле уверенности. А меня больше всего волнует: не стану ли я подонком? Не кончу ли я тем, что сопьюсь, как многие мои друзья? Я каждый день их вижу, они делают одно и то же. Просто подходят к бару и стоят там, ждут может быть, кто-нибудь поставит им выпить. Они ведь бросили школу.

Учительница говорит в классе: «Вот книжка, прочитай столько-то страниц. А вечером дома напиши сочинение». А ты думаешь про себя: «Неохота мне писать это сочинение, и неохота даже читать эту книжку». И начинаешь дремать в классе. Засыпаешь. Мечтаешь о разных разностях и уже не помнишь, где ты. А очнешься — урок кончился, а ты ничего и не сделал. Тогда в последнюю минуту пытаешься что-то написать в тетради. Ну и получаешь самую плохую отметку.

Я помню, была у нас одна учительница, которая

очень много мне уделяла внимания. И у нее я учился хорошо. По-настоящему. Я не хочу ничего плохого сказать про других учителей, но они не все работают так, как могли бы. Не делают того, что должны бы делать. Наверно, они считают так: «Бить я этого парня не могу, так что же я буду зря тратить на него время? Деньги мне платят. Если он не хочет учиться, — это его дело. Мне от этого ни тепло ни холодно».

А если ты настоящий учитель, ты должен думать о каждом ученике как о личности. Ты не можешь сказать: «Я дам всем этим ребятам одно и то же задание». По-моему, им от этого нет никакой пользы. Ты должен думать о них, как о каждом человеке в отдельности. Ты должен беспокоиться о каждом ученике.

Когда ты учишься на учителя, тебе говорят, что ты не должен вступать с учениками ни в какие отношения. А я считаю, что для того, чтобы быть настоящим хорошим учителем, ты непременно должен вступать с ними в какие-то отношения. Ты должен что-то чувствовать сердцем, чтобы быть настоящим учителем, ты должен думать: «Я хочу, чтобы из этого мальчишки получилось что-нибудь стоящее», Чтобы потом, когда пройдут годы, ты мог оглянуться назад и сказать: «В

каждого из этих ребят я вложил всего себя. И если из него ничего и не получилось, это не моя вина. Я сделал все, что было в моих силах. И он это знает, потому что, пока он был здесь, он был мне дорог, как он сам и как человек. Словно он был мне родным. Вот как я это понимаю».

А ты никогда не думал, что из тебя может получиться хороший учитель?

Знаете, иногда об этом мечтаешь. Как большинство учеников. Они всегда говорят: «Я бы справлялся с этим классом куда лучше учителя». Я видел много учителей, и мне кажется, что я мог бы преподавать лучше их. А с другой стороны, может быть, и нет, может быть, мне это только так кажется. Но все же я уверен, что мог бы работать лучше.

Все возмущаются, жалуются. Вот, к примеру, моя бабка — каждый раз она начинает на что-то жаловаться. Ей, наверно, это просто доставляет удовольствие. Она никогда не скажет, что вот что-то ей нравится. Скорей уж, похвалит то, что ей не нравится. Понимаете, ей нравится ее работа. Потому что ты ни в чьих деньгах не нуждаешься. Когда ты работаешь ты свободен.

Вот бабушка: ей нравится приходить домой и говорить: «Совсем замучилась! Брошу я эту

работу». А сама вовсе этого не думает. И все же она говорит: «Они из меня все жилы вымотали. Надоело!» Отводит душу. *(Смеется.)* А потом идет и думает: «Вот получу деньги в конце недели, куплю на них то-то и то-то». А потом в конце недели: «Как хорошо, что эта неделя кончилась». А потом, когда начинается следующая неделя: «Ну вот, начинается новая тяжелая неделя». И все-таки всем это нравится, потому что это ваши заработанные деньги. Тут уж никто не может сказать: «Я тебе их дал». Я сам их заработал. Своим трудом. Эти деньги мои.

Гордость, — вот в чем тут дело. Человек должен иметь свою гордость, что бы там ни было. Если у тебя нет гордости, ты пропал. Вот тут-то и нужна вера. В этом сила. Ты должен во что-то верить. Если ты ни во что не веришь, значит, ты просто коптишь небо и с тем же успехом мог бы быть покойником. Каждый человек должен во что-то верить. Хотя бы только в себя. Если верить в себя, это настоящая вера.

Мы хорошо ладим друг с другом — я и моя бабушка. До тех пор пока одного из нас не погладят против шерсти. Если у меня случаются неприятности, я могу сорвать их на ней. Ну, вы знаете, как это бывает: она что-нибудь скажет — и бу-у-м!

Начинается семейный скандал. Я просто хотел спустить пары, и все. Но бабушке этого мало. *(Смеется.)* Иногда я так и засыпаю, пока она мне выговаривает во весь голос.

Да, иногда мы с ней здорово ругаемся. Ну, и она мне рассказывает всякую всячину. Как-то сказала, что в детстве видела посреди дороги человека с бочкой на плечах вместо головы. *(Смеется.)* Она знает, что я буду смеяться — меня такие шутки всегда смешат. А ей приятно, и я иногда слышу, как она смеется, уже когда ляжет спать.

Я иногда мечтаю, что, если бы я был рядом с президентом Кеннеди, когда его застрелили, я бы подошел к парню, который стрелял, забрал бы у него ружье и держал бы его, пока бы не подоспела полиция. По-моему, он был больной. И по-моему, его не следовало убивать. Потому что я против смертной казни. Я считаю, что бог никому не дал такой власти, чтобы один человек мог сказать другому: «Ты заслуживаешь того, чтобы тебя убить. Ты умрешь». Это все равно что сказать: «Я — бог». Но ты ведь не бог. Кто ты такой, чтобы решить, что он должен умереть? Ты сам только человек. А Руби, который убил Освальда, я считаю, он поступил неправильно. Но и его убивать неправильно.

А если бы ты был богом?

Я бы сделал так, что, когда кто-нибудь захотел кого-нибудь убить, его оружие не срабатывало бы. Так что никто не мог бы убивать. Все бы стали работать вместе, в поле или на заводе. А потом они бы развлекались вместе после тяжелой работы. Ни один человек не мог бы себя поставить так, чтобы распоряжаться чужой судьбой. Ну конечно, всем угодить нельзя. *(Смеется.)* Из этого никогда ничего не пол учается. Всегда кто-то остается обиженным.

И кроме того, я бы создал любовь друг к другу. Такую любовь, которая была бы нерушима, понимаете? И люди бы не хотели обижать друг друга. Вот такой бы у меня был мир. Но все это, конечно, опять мечты. Но если бы я мог, я бы сделал так.

Я хорошо понимаю, что я никогда не смогу заставить людей перестать ненавидеть и убивать. Не смогу помешать им умирать. Я знаю, что те люди, которых я больше всего люблю, скоро умрут. Когда моя бабушка умрет, я хотел бы умереть вместе с ней. Когда я был маленький, я, помню, все время говорил: «Я хочу умереть вместе с бабушкой, я не останусь здесь один». Но этого нельзя сделать. Если она умрет, тебе придется жить дальше. И знать, что она не пожалела для

тебя сил, по-настоящему что-то из тебя сделала.

Ведь на самом деле я не хочу от мира многого и не считаю, что мир мне чем-то обязан. Скорее уж я ему обязан. Вы знаете, есть очень много вещей, которые я должен сделать, очень много мест, которые я должен посмотреть, повстречать очень многих людей. Разных людей. Которые мне нравятся и которые мне не нравятся. Вот этого я и хочу по-настоящему.

P. S. Джимми сейчас служит в армии, где-то во Вьетнаме.

На круги своя
Джейн Кац
«ДАЙТЕ МНЕ СТАТЬ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»[68]

Из одноименной книги, составленной и отредактированной Джейн Катц

В ноябре 1969 года группа индейцев из различных племен демонстративно захватили пустовавшую правительственную тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско.

Объявив себя политическими «ссыльными», индейцы приготовились провести на острове долгую холодную зиму в надежде, что првительство пришлет к ним кого-нибудь для переговоров. Прежде всего они требовали создания учебного и культурного центра, который стал бы связующим звеном для всех индейцев. В начале 1970 года алькатрасские индейцы выпустили следующую декларацию:

> Сограждане, мы просим вас присоединиться к нам в нашей попытке улучшить

---

[68] Примечания: 68

© 1975 by Lerner Publications Company.

жизнь всех индейцев.

Мы находимся на острове Алькатрас, чтобы поведать всему миру о своем праве использовать нашу землю для блага нашего народа.

В декларации от 20 ноября 1969 года мы заявили правительству, что мы здесь для того, чтобы «добиться разумного использования Земли Великого Духа».

Мы, коренные жители Америки, от имени всех американских индейцев заявляем, что вступаем во владение землей, называемой островом Алькатрас, по праву первооткрывателей.

Мы желаем поступать справедливо и благородно по отношению к белым обитателям этой земли и потому предлагаем заключить такой договор:

Мы покупаем названный остров Алькатрас за двадцать четыре доллара (24) и выплатим эту сумму стеклянными бусами и красной тканью, исходя из имевшего место 300 лет назад прецедента, когда белые купили за такую цену аналогичный остров. Мы знаем, что цена 24 доллара за эти 16 акров — больше, чем

заплатили за остров Манхэттен, но нам известно, что за прошедшие годы цены сильно возросли. Наша цена 1 доллар 24 цента за акр — это больше чем 47 центов за акр, сколько получают сейчас за свои земли индейцы Калифорнии.

Жителям этого острова (белым) мы сдадим для пользования часть земли… в пожизненную аренду — до тех пор, пока встает солнце и реки текут в море. В дальнейшем мы будем наставлять обитателей острова на правильный путь. Мы предложим им принять нашу религию, нашу систему образования, наш образ жизни, чтобы они достигли нашего уровня цивилизованности и таким образом вышли вместе со своими белыми братьями из своего несчастного дикарского состояния. Мы предлагаем этот договор с добрыми намерениями, желая в своих сделках со всеми белыми людьми поступать справедливо и благородно.

Мы считаем, что этот остров, называемый Алькатрас, вполне подходит для индейской резервации. Мы хотим сказать, что это место похоже на большинство

индейских резерваций, поскольку:

1. Оно не имеет современных удобств и транспортных средств.

2. На острове нет свежей проточной воды.

3. Санитарные условия не отвечают необходимым требованиям.

4. Никто не имеет права добывать на нем нефть и полезные ископаемые.

5. На нем нет промышленных предприятий и безработица очень велика.

6. На нем нет медицинских учреждений.

7. Земля камениста и бесплодна, дичь здесь не водится.

8. Здесь нет учебно-воспитательных учреждений.

9. Населению тут всегда не хватало земли.

10. С населением острова всегда обходились, как с заключенными, и оно полностью зависело от других.

Будет весьма правильно и символично, если корабли со всего света, проходя через Золотые Ворота, прежде всего будут видеть землю индейцев, и это напомнит им

подлинную историю страны. Маленький остров станет символом необозримых земель, которыми некогда владели свободные и благородные индейцы.

Как же собираемся мы использовать эту землю?

Сан-францисский индейский центр сгорел, и теперь в городе белых у индейцев нет места, где бы они могли собираться. Поэтому мы хотим создать на этом острове несколько индейских учреждений:

1. Центр по обучению коренных американцев, где наших людей станут обучать нужным профессиям и тому, что необходимо для улучшения жизни и морального состояния всех индейцев. При этом центре будут работать передвижные университеты, управляемые индейцами, которые начнут ездить в резервации и изучать, в чем они нуждаются.

2. Религиозный Центр американских индейцев, где будут устраиваться наши древние религиозные и священные знахарские церемонии. Здесь будут представлены различные отрасли нашей культуры, и нашу молодежь станут

обучать музыке, танцам и методам врачевания.

3. Индейский экологический центр станет обучать молодых людей и поддерживать их научные исследования и практические шаги по восстановлению чистоты и первозданного состояния земель и вод. Мы будем очищать воздух и воды прибрежной зоны. Мы постараемся восстановить в этой зоне жизнь рыб и животных и возродить жизнь моря, которому угрожают действия белых людей. Мы построим нужные людям опреснители морской воды.

4. Будет создана большая индейская профессиональная школа, чтобы научить наших людей добывать себе пропитание, повысить уровень их жизни и покончить с голодом и безработицей, губительными для нашего народа. В эту школу войдет, кроме того, центр индейского искусства и ремесел, а также индейский ресторан, в котором посетителям будут предлагать национальные блюда, и это возродит традиции индейской кухни. Этот центр продемонстрирует широкой публике

индейские блюда, чтобы все узнали, как красив и возвышен традиционный индейский образ жизни.

Некоторые из современных зданий мы займем под Музей американских индейцев, в котором будут выставлены наши национальные продукты питания и многое другое, что индейцы дали человечеству. В другой части музея будет представлено то, что принесли индейцам белые взамен отнятых у них земель и жизней: болезни, алкоголь, бедность и другие «достижения» культуры (их будут символизировать консервные банки, колючая проволока, резиновые шины, пластмассовые контейнеры и тому подобное). Часть музея составит подземелье, где держали тех индейцев, которые бросали вызов власти белых; это также будет символизировать жизнь индейцев, загнанных в резервации. Музей расскажет о великих и трагических событиях истории индейцев, в том числе покажет нарушенные договора, документы о «тропе слез» и резне в Вундед-Ни и материалы о победе индейцев над Длинноволосым

Кастером и его армией.

Поэтому исходя из вышеизложенного мы требуем от имени всех индейцев вернуть этот остров нашему индейскому народу. Мы считаем, что наше требование справедливо и обоснованно, что эта земля должна по праву принадлежать нам до тех пор, пока бегут реки и светит солнце.

Скала в наших руках!

Невзирая на недостаток пищи, медикаментов и плохие санитарные условия, индейцы, занявшие Алькатрас, продержались там две зимы. Один из лидеров этой группы индеец племени ютов Альберт Монтойя заявил, что тяжкие условия жизни на острове сплотили людей. «Самая сильная мечта, какая есть у людей, — сказал он, — это научиться жить всем вместе в мире с землей». Когда Джона Траделла, главного оратора индейцев, спросили, сдадут ли индейцы остров правительственным войскам, он ответил;

Остров стал нам домом. Мы жили тут и выжили… Хорошо, если наш поступок оценят должным образом, но теперь мы начнем действовать… против государ-

ственной системы… Мы зашли слишком далеко и прошли через слишком многое, чтобы снова отдавать земли белым.

Позже в своей совместной декларации индейцы Алькатраса заявили:

> Наш гнев на множество несправедливостей, причиненных нам с тех пор, как первые белые люди сошли на эти священные берега, сменился надеждой на то, что нам предоставят давно попранное право всех людей распоряжаться своей судьбой и жить в гармонии и содружестве со всеми себе подобными и с природой. Мы узнали, что насилие рождает насилие, и поэтому заняли Алькатрас мирным путем, рассчитывая, что и правительство поступит так же…
>
> Мы гордые люди! Мы индейцы! Мы видели и отвергли многое из того, что предлагает так называемая цивилизация… Мы сохраним наши традиции и образ жизни, давая образование нашим детям. Мы индейцы! Мы возьмемся за руки в невиданном прежде единении. Наша Мать-Земля ждет, когда мы заговорим.

Федеральное правительство начало с индейцами переговоры и обвинило их в незаконных действиях; оно даже не пыталось удовлетворить их требования. Весной 1970 года правительство прекратило подачу на остров электроэнергии и воды. А затем в июне 1971 года представители правительства выселили наконец демонстрантов с острова Алькатрас. Так закончилась индейская «война на истощение».

Неизбежно происходили и другие схватки. Северо-западные племена выступали против попыток правительства штата Вашингтон запретить индейцам ловить рыбу сетями за пределами резерваций. По инициативе организации «Индейцы западного Вашингтона за выживание» неоднократно нарушался запрет ловить рыбу. Глава этой группы индеец племени ассинибойн Хенк Адамс заявил, что индейцы ловят рыбу для пропитания, а белые — ради наживы и развлечения. Отняв у индейцев право ловить рыбу, сказал Адамс, правительство допустило большую несправедливость.

Самочинная ловля рыбы в штате Вашингтон оказалась не очень успешной, но привлекла

внимание многочисленной публики. Те, кто был заинтересован в торговле рыбой, поддержали правительственные ограничения, а группы белых из «комитетов бдительности» нападали на демонстрантов-индейцев и резали им сети. А потом 19 января 1970 года к Хенку Адамсу подошел белый человек и выстрелил ему в спину. Ранение было тяжелым, но Адамс выжил. Вспоминая о случившемся, он сказал: «Я думаю, в меня стреляли потому, что всего несколько индейцев решились начать разговор о праве на ловлю рыбы!» На вопрос, знает ли он того, кто в него стрелял, Адамс ответил;

> Я видел его тысячу раз в кафетериях, я видел его тысячу раз в судах среди присяжных, а также в тысячах различных организаций и одетым в тысячу различных мундиров. Каждый индеец был ранен им еще прежде тысячу раз.

Кампания за самочинную ловлю рыбы в штате Вашингтон достигла апогея в январе 1970 года, когда стреляли в Хенка Адамса. В октябре того же года собрались члены племени пит ривер из Северной Калифорнии и заявили, что в Калифорнии они белым никогда земли не продавали.

Даррел Б. Вильсон, один из индейцев, участвовавший в диспуте о земле, описывает то, что он называет «Вызов индейцев пит ривер»:

> Это произошло 27 октября 1970 года. В «Вызове индейцев пит ривер» участвовало около 60 индейцев. Мы ожидали арестов. Нам ответили жестокостью, побоями, угрозами расстрелять из пулеметов. Нам ответили и наручниками, сдирающими с запястьев кожу. И нас сковали вместе. Так не поступают даже с военными преступниками.
>
> 23 октября 1970 года чиновники Службы охраны леса прислали нам письмо, требуя, чтобы мы освободили занятое место у Четырех Стран Света[69], у реки Пит-Ривер. Мы отказались.
>
> 26 октября они вместе с судебными исполнителями пришли на наш митинг и сказали, что мы должны уйти.
>
> Мы снова заявили, что не имеем ни малейшего желания покинуть хоть один из

---

[69] Примечания: 69

Четыре Страны Света — мифологическое представление о единстве и магической мощи естественного мира; в честь него Вильсон называет так и политическую акцию 1970 г. — *Прим. ред.*

наших 3368 тысяч акров. И пока пляска оранжевого огня освещала деревья, а из темноты, борясь с пламенем, выползал холод и наше дыхание вылетало маленькими облачками, мы говорили.

Снова и снова наглый двуличный язык белой змеи шипел, что земля принадлежит правительству. Мы требовали, чтобы это потвердил закон, или договор, или действие. У них ничего не было. Значит, это земля индейцев пит ривер, потому что согласно статье 194 25 закона Свода законов США:

«Во всех случаях, когда возникает вопрос о земле и одной из сторон является индеец, а другой — белый, доказать свою правоту должен белый, поскольку индейцы раньше занимали эту землю и ею пользовались».

…Конституция Соединенных Штатов, Статья XIX

…и 5 Поправка

…и Статья VI.

«Мы ждем, что к утру вы отсюда уберетесь. Сборный дом из гофрированного железа, который вы соорудили, мешает

проходу. Его надо убрать», — прошипели они.

Мои люди снова решили остаться. Мы не будем выполнять приказаний, которые пролаял белый пес, из-за того, что он наделал много шуму и в глазах его не было жалости…

Они сказали, что наша постройка уродлива и портит вид… Для нас она была прекрасной. Она стала нашей школой. Местом для собраний. Домом для бездомных. Убежищем для нуждающихся в отдыхе. Нашей церковью. Нашей штаб-квартирой. Нашей конторой. Нашим символом уже близкой свободы.

Этот дом также стал для нас центром возрождения нашей приниженной, обескровленной и разоренной культуры. Нашим началом. Это было наше солнце, которое встает в ясный весенний день, когда на небе ни облачка. Это было хорошее, чистое место, глядя на которое сердце радовалось. Небольшое место на земле. Наше место.

Полдень, 27 октября. Они пришли –150 вооруженных людей — и принесли с

собой пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты, дубинки, едкую жидкость, привели собак, не забыли цепи, наручники и ненависть. Они приближались, как гестаповцы. Не лица — маски. Не спеша, как змеи, окружали нас. Глаза — полные ненависти провалы. Было ясно, чего они хотели. При первой же возможности убивать!..

Мужество, проявленное моими людьми 27 октября, достойно похвалы. Потому что лишь узкая полоска отделяла безоружных людей от нападавших — вооруженных пулеметами зверей.

Пока наш президент Мики Гемил спорил с офицером, вице-президент Росс Монтгомери начал валить громадное дерево. Мы хотели убедиться, что полицейские не осмелятся подойти и удалятся. Мы хотели, чтобы нас арестовали.

В воздухе мелькнула белая полицейская дубинка. Она была нацелена в затылок Росса Монтгомери. Я отвел удар. Уверен, что этот удар раскроил бы Россу череп — его нанес белый со всей силой ненависти, на какую способен человек.

Спустя два месяца у меня еще болит почерневшая рука. Этот удар белого дьявола начал Битву у Четырех Стран Света. «Сотни тысяч лет жил здесь мой народ. Я не уйду. Вам придется меня взять». Какая-то жидкость залила мне глаза. Жгло так сильно, что я едва не упал. Я стал искать воду, чтобы ослабить жжение…

Они оттеснили нас к нашему дому. Дьяволы были со всех сторон, они размахивали дубинками и винтовками. Ух! Рядом со мной в свете солнца просвистела другая дубинка. На этот раз она ударила Эрика Матилью. Кровь хлынула и залила все вокруг. Еще удар, на этот раз по незащищенной шее. Я схватил дубинку. В меня вцепились когти. Зверь в синем мундире несколько раз ударил меня в живот. Один из нйх подошел ко мне сзади, надел мне на голову рогатку и защелкнул замок у меня на горле. Вскоре я упал, и бездушные дьяволы навалились кучей на меня.

Я лежал лицом вниз, на мне защелкнули наручники и кандалы, один из полицейских несколько раз ударил меня

по затылку…

Мы сражались, и нас зверски избивали. Белые руки сжимали приклады, когти тянулись к спусковым крючкам и резиновым дубинкам метровой длины. И они били стариков и детей, слепых и глухих, здоровых и хромых… Нас согнали в кучу, как хищных зверей, и бросили в полицейские машины. Когда нас «обезвредили», появилось 50 человек из службы охраны леса, они принялись ломать нашу постройку, словно она совершила против них великий грех.

Вскоре жалкие остатки нашего дома погрузили на грузовик и увезли в Реддинг. Большинство из нас попало в федеральную тюрьму Сюзанвилля, а потом нас (в цепях) переправили в Сакраменто. Небольшая группа заключенных последовала за нашим домом в тюрьму города Реддинг. Ее открытые челюсти походили на гигантскую ловушку, и, когда дверь из легированной стали захлопывалась, казалось, что стреляет пушка.

Мы просили полицейских арестовать нас за *нарушение границы* частных вла-

дений, но не знали, что человек (черный, коричневый или желтый) не может нарушить границу собственной территории. И им не хочется признаваться на суде, что они боятся законов, которые сами же пишут, даже если мы по ним живем. Поэтому мы будем и впредь бросать им вызов. Возможно, кое-кому из нас придется умереть, чтобы добиться слушания нашего дела в суде. Трудно поверить, что в этом умирающем обществе люди могут мирно договориться. Я уверен, что кое-кто из нас готов бросить вызов природе, чтобы изменить общество ради блага всех людей.

У Четырех Стран Света арестовали немногих. Арестованных били, добиваясь покорности, их обвиняли в нанесении оскорблений, но редко кто из полицейских говорил: «Вы арестованы. По конституции вы имеете право не отвечать на вопросы…»

10.00, 15 марта 1970 года. Судебное разбирательство. Сакраменто. Найдем ли мы в суде справедливость? Исходя из 400-летнего опыта, это кажется очень со-

мнительным.

1. Предъявлено обвинение. В оскорблении должностных лиц федерального правительства–13 человек.

2. Предъявлено обвинение. В порубке деревьев–6.

3. Предъявлено обвинение. В оскорблении должностных лиц администрации штата — 5.

4. Предъявлено обвинение. В сопротивлении чиновникам при исполнении ими своих обязанностей — 6.

5. С нескольких пожилых лиц обвинения были сняты.

Теперь, бросая вызов всем белым, которые слепы душой, которым Великий Дух не дал земли и потому они полны ненависти, которых так воспитали, что они считают себя богами, и поэтому их нельзя ни о чем спрашивать (а только им повиноваться), которые повсюду в мире нарушают законы, за что нас сажают в тюрьмы, и они же считают это правильным, я должен сказать от моего народа:

1. Мы защищали своего Бога и понимаем, что ваши боги вас покинули, но мы

вас в этом не виним.

2. Мы пытались защитить нашу Мать-Землю, но, согласно вашим законам, мы злодеи. Хотя законы, которым мы обязаны повиноваться, вы можете произвольно нарушить. Мы стараемся это понять.

3. Мы защищали наш дом. Этого вам не понять. Вы думаете, что ценить свой дом мы не можем. А если кто-нибудь приходит в дом к вам, вы вооружаете всех до единого и приказываете им убивать.

4 Мы строили школу, чтобы наши старики могли учить нас мудрости, хотя нам известно, чго для вас старики — это обуза и от них надо «избавляться».

5. Мы защищали друг друга. Мы знаем, что ваше уважение друг к другу очень невелико. Оно почти угасло, и поэтому мы не можем ждать от вас настоящего понимания.

6. Мы защищали свои жизни. И хотя нам непонятно, как это вы, защищая себя пушками, смеетесь над нами, когда мы защищаем своих детей голыми руками и палками. Мы не считаем вас злодеями, но вы росли в невежестве, ставя себя

превыше всех, и ненависть вводит вас в заблуждение.

7. Зная все это о вас, мы по-настоящему вас ненавидеть не можем. Мы жалеем вас и просим наших духов смягчить ваши сердца, потому что путь, по которому вы идете, ведет только к смерти. Ваша церковь говорит, что он ведет к жизни. Ваша церковь вам лжет. Ваша церковь погибнет, потому что и ею руководит страх.

Вот это мы и делали 27 октября 1970 года. Вы не хотите верить, потому что видеть правду вам не дано. В сердцах ваших лишь пустота. В ваших глазах только одиночество. В церкви, куда вы ходите говорить с богом или о боге, одна только фальшь.

Потому что Бог, если он дух добрый, давно бы от вас отвернулся, когда вы убивали бизонов и уничтожали мой народ. Больше сказать нечего. Ваш образ жизни вызывает в моем сердце скорбь, потому что вы должны умереть, и вы убьете всех людей, когда ваше змеиное тело станет извиваться в агонии и муках смерти.

То будет время, когда солнце уже боль-

ше не взойдет.

В сентябре 1971 года участники Движения американских индейцев (ДАИ) национальной организации индейских активистов, захватили пустовавшую станцию береговой охраны в Милуоки, штат Висконсин, заявив, что эта земля принадлежала индейцам.

Говорит Герберт Паулс, один из индейских борцов:

> «Мы снова завладели этой собственностью по праву договора и по праву самой насущной потребности — праву моральному».

Паулс подчеркнул, что он следует традиции другого индейского борца — вождя Красное Облако. Сто лет назад этот вождь сказал:

> Если б Великий Отец не допустил в мою страну белых, мир длился бы вечно, но раз они мне досаждают, мира не будет… Все, что я хочу, законно и справедливо. Я пытался получить это от Великого Отца, но напрасно.

В середине 1972 года представители 150 различных индейских племен встретились в Сент-Поле, штат Миннесота, чтобы найти ответ на проблемы, которые, по их словам, создало федеральное правительство. В своем решении из 20 пунктов индейцы прежде всего просят создать комиссию из вождей племен и старейшин, выбранных индейцами. Индейцы объяснили, что задача комиссии — пересмотреть все договора с федеральным правительством. После митинга в Сент-Поле караваны индейцев пересекли страну, направляясь в Вашингтон, округ Колумбия. Одним из организаторов «Тропы Нарушенных Договоров», как стала называться комиссия, был Клайд Беллькур, принимавший участие в создании ДАИ. Говоря о «Тропе Нарушенных Договоров», Беллькур сказал:

> Наша программа была выдвинута для того, чтобы в Соединенных Штатах, как и во всем мире, осознали, что же происходит с индейским народом здесь, в Америке…
>
> Мы прибыли в Вашингтон 1 ноября 1972 года, в неделю выборов, и все двери оказались заперты. Места, где мы долж-

ны были ночевать, были закрыты… и поскольку нам негде было остановиться, мы двинулись к Бюро по делам индейцев (БДИ)… в здание, которое принадлежит индейцам.

Индейцы просмотрели папки с документами и обнаружили, что со дня основания БДИ правительство США всегда было причастно к уничтожению индейского народа, принимая специальные акты для размещения племен в резервациях… Мы обнаружили, что разграбление земель продолжается… Правительство говорит об ущербе, нанесенном зданию БДИ, но не говорит об уничтожении духовных ценностей, культуры и самой жизни индейцев.

Демонстрации привлекли внимание общественности к требованиям индейцев, но не привели к широким реформам, которые, по мнению индейских вождей, были крайне необходимы. В феврале 1973 года индейские борцы подняли оружие, подобно воинам прежних времен. Участники Движения за гражданские права для племени оглала-сиу вместе с участниками

ДАИ заняли позиции в печально памятном месте — Вундед-Ни, штат Дакота, где в декабре 1890 года 7-й кавалерийский эскадрон расстрелял из пушек 250 индейцев.

Вооруженные ружьями 22 калибра, индейские борцы заняли историческую деревню в резервации Пайн-Ридж. Отказавшись выполнить приказ правительства разойтись, они объявили это поселение независимым от Соединенных Штатов, где живет «Независимый народ оглала-сиу».

Рассел Минс из ДАИ предупредил:

> «Если кто-либо из иностранных должностных лиц — особенно из американских — зайдет сюда, это будет расценено как военное выступление».

Чтобы сдерживать «армию» индейцев из 200 человек, федеральное правительство блокировало деревушку, окружив ее плотным кольцом из полицейских и агентов ФБР, вооруженных пистолетами, винтовками и пулеметами. Дополнительную помощь им обеспечивали бронетранспортеры и боевые вертолеты.

Задолго до этого индейцы объявили о своем намерении избавить народ оглала-сиу от злоупотреблений, поддерживаемых БДИ племенных

органов управления, которые они обвиняли в коррупции и проведении политики «полицейского государства».

Разъясняя позицию индейцев, Клайд Беллькур сказал:

> Вожди и старейшины племен пригласили нас в эту резервацию… Трижды по самым разным случаям пытались они привлечь к суду президента их племени. Они просили провести референдум о реформе их конституции… У них ничего не вышло. Это возможно для людей белых, но не для индейцев. Они хотят иметь подлинные органы управления племен… Хотят непосредственно сами распоряжаться своей судьбой. И хотя их (этих вождей и старейшин) поддерживал народ, правительство каждый раз присылало федеральную полицию и пулеметы… чтобы в очередной раз расколоть и перессорить людей…
>
> Выкурив с нами трубку мира и каждого из нас обняв, вожди и старейшины просили нас сделать все необходимое для разоблачения тех условий, в кото-

рых живут индейцы в резервациях и по всей стране. Вундед-Ни в Южной Дакоте выбрали потому, что это средоточие эксплуатации индейцев в этой стране. Там живет всего 49 индейских семей, а церквей 12… В Вундед-Ни основали свою торговую факторию Гильдерсливы… которые благодаря системе кредита контролируют теперь почти все земли индейцев… и продают индейцам продовольствие по сверхвысоким ценам; покупают у них за 5 долларов расшитые бусами мокасины, а на другой день индейцы видят эти мокасины в витрине, но цена им уже 60 долларов… Именно в Вундед-Ни члены ДАИ, оглала-сиу, вожди племен, старейшины и их сторонники решили стоять насмерть…

Когда мы пришли в Вундед-Ни, с собой у нас были только наши священные трубки мира, наши шаманы и готовность отдать свои жизни за то, во что мы верим.

Реакция на оккупацию Вундед-Ни была разной. Сторонники Ричарда Вильсона, президента племени в резервации Пайн-Ридж, защищали

свое правление и процедуру выборов, благодаря которой он оказался у власти. Они утверждали, что не Вильсон, а сама «система» тормозит прогресс. Активных борцов они называли «кучкой ренегатов» и «выскочек». Кое-кто из живших в Пайн-Ридже жаловался, что оккупация деревни привела к уничтожению их собственности, что доходы индейцев упали, а правительство перестало давать субсидии на строительство домов для индейцев.

Но многие индейцы сравнивали борцов ДАИ с героями-воинами давних времен и стекались в деревню, чтобы их поддержать. Посланцы разных племен индейского народа приходили в Вундед-Ни подтвердить, что в органах управления резервациями необходимо провести решительные реформы. Молодая женщина из Миннесоты сказала: «Я здесь, потому что хочу улучшить жизнь моего народа».

Осада Вундед-Ни продолжалась и в течение весны 1973 года. Федеральное правительство послало туда сотни блюстителей порядка. При перестрелке один агент ФБР был ранен, а два индейца убиты. Правительство усилило блокаду, теперь в деревню уже не поступали медикаменты и продовольствие. В конце концов 8 мая

1973 года сопротивлявшиеся борцы решили заключить соглашение; одновременно они обвинили правительство в вероломстве. Клайд Беллькур вспоминает:

> Многих из наших правительство арестовало. Их сковывали вместе ножными кандалами… Сотни людей, договорившись о мирном урегулировании, сложили оружие (sic!), а с ними так вероломно поступили. Мы говорим, что правительство снова явно нарушило договор. В Вундед-Ни наступила всего лишь передышка.

Несмотря на это, Беллькур полагает, что оккупация Вундед-Ни свою задачу выполнила:

> Мы показали правительству, что договоры следует уважать; если это не будет делать федеральное правительство, то это будет делать сам индейский народ… Мы сказали представителям правительства, что не они владельцы этой страны… что хозяева этой земли мы. В конце месяца время платить ренту, и мы здесь, чтобы ее собрать.

Несмотря на то что правительство обвинило индейских борцов в незаконном захвате Вундед-Ни, они по-прежнему были полны решимости продолжать борьбу за признание договорных прав индейцев и реорганизацию органов управления племен. В 1974 году на суде в Сент-Поле, штат Миннесота, лидеры ДАИ Рассел Минс и Деннис Бэнкс получили возможность изложить общественности суть дела. Они обвинили федеральное правительство в незаконных действиях, например в подслушивании телефонных разговоров с целью запугать лидеров индейцев и подавить их политическую активность.

Защищая права индейцев, Деннис Бэнкс выступал против «несправедливости правительственной системы аренды земли» в таких резервациях, как Пайн-Ридж.

По его словам:

> Белые владеют своими ранчо, которые заполучили хитростью у индейских племен, купив их по мизерной цене 80 центов за акр. Владельцы ранчо получают прибыли, а индейцы, законные хозяева этой земли, живут в бедности.

Бэнкс критиковал также вождей племен, ко-

торые позволяют белым осваивать природные ресурсы. Он назвал это предательством интересов индейского народа.

16 сентября 1974 года после восьми месяцев судебного разбирательства окружной судья Фред Никол отверг все государственные обвинения против Бэнкса и Минса в связи с оккупацией Вундед-Ни. Осудив министерство юстиции за отказ решить дело при участии 11 присяжных (12-й заболел), судья Никол обвинил сторону, подавшую в суд, и ФБР в сокрытии доказательств и в жестоком обращении со свидетелями. Дополнительной причиной для освобождения заключенных, указал судья, является незаконное использование правительством военных сил для прекращения в 1973 году оккупации деревни индейцами. Лидеры ДАИ расценили это как победу своего дела.

Стремление ДАИ «противостоять правительству» приветствуется не всеми индейцами. Борцов в Вундед-Ни обвиняли в том, что они учинили там беспорядки, а потом ушли, предоставив местным индейцам расплачиваться за последствия. Чиппевейский журналист Джеральд Визенор считает, что «ДАИ подняло в прессе ряд важных проблем, их обсуждение успеха не имело». Визенору хочется, чтобы лидеры ДАИ

попытались «добиться хоть каких-то перемен».

Однако сейчас видны признаки того, что ДАИ начинает действовать в новом направлении. В июне 1974 года в Южной Дакоте на земле племени сиу около Стэндинг-Рок состоялась историческая конференция ДАИ. На ней 3000 коренных американцев представляли почти 100 различных племен. Главным достижением конференции явилось создание Интернационального совета индейских договоров. Этот совет был сформирован, чтобы добиться принятия индейского народа в Организацию Объединенных Наций, и тогда их требование к Соединенным Штатам — признать и уважать прежние договора — могло бы получить поддержку всех входящих в ООН наций. Индейцы говорили, что они будут вести переговоры с правительством о возврате им их земель не как граждане Соединенных Штатов, а как «суверенный народ».

Совет принял «Декларацию постоянной независимости», в которой, в частности, говорится:

> Правительство Соединенных Штатов в VI статье своей Конституции признает договора частью Верховного Закона Соединенных Штатов. Мы будем мирно

применять все юридические и политические средства, чтобы заставить Соединенные Штаты признать эту часть своей Конституции и тем самым уважать свои договора с коренными жителями страны.

В борьбе за независимость коренных жителей мы постараемся заручиться поддержкой общественности всего мира.

Мы, члены Интернационального совета индейских договоров, следуя заветам наших предков, внимавших Великому духу, уважая нашу священную Мать-Землю, всех ее детей и тех, кто еще не родился, отдаем свои жизни за наши Международные договорные права.

Народ, объединенный гуманностью

Кто выступает сегодня от имени индейцев? Ни один человек или организация не могут на это претендовать, потому что племена индейцев Северной Америки все еще очень разобщены. Но помимо ДАИ, широкой поддержкой пользуются еще и другие индейские организации. Назовем лишь некоторые — Национальный конгресс американских индейцев, Национальный Совет

индейской молодежи, Национальная ассоциация председателей племен и Американцы за равные возможности для индейцев. Все эти организации стремятся укрепить органы управления племен, добиться законодательных реформ, изменений в системе образования, а также увеличения ассигнований на строительство в индейских поселениях. Цель у всех одна, но методы борьбы очень разные. В своих требованиях индейцы до сих пор не единодушны. Но, говоря словами Вайна Делории, индейцы обладают «несгибаемым единством, которое помогло им выжить в течение четырех веков преследований». «Мы выживем, — говорит Делория. — Мы выживем, потому что мы народ, объединенный гуманностью».

Сегодня, почти через 500 лет после того, как белые впервые закабалили коренных жителей Нового Света, индейское сопротивление снова на подъеме. Коренные американцы, закурив свои трубки мира, посвящают себя делу завоевания независимости и равных возможностей, в которых на родине им так долго отказывали. Вайну Делории будущее рисуется светлым:

Ночь уступает дорогу дню. Вскоре ин-

дейцы снова будут стоять полные сил, гордо выпрямившись…

Гарри Маурер
БЕЗ РАБОТЫ[70]

ИСТОРИЯ БЕЗРАБОТНЫХ — ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Книга эта о безработных. Но в отличие от большинства книг, посвященных этой теме, она действительно о безработных, о живых людях, а не о цифрах. Более того, она, по существу, и написана самими безработными: ведь ее содержание составляют их рассказы-исповеди. Это книга о секретаршах, строителях, биржевых маклерах, учителях, сварщиках, инженерах, водителях автофургонов — об их мыслях, чувствах, об их жизни. О политике и экономике речь тут тоже, конечно, идет, но не в тех абстрактно-статистических категориях, которыми принято оперировать при анализе безработицы, а с привлечением фактов и выводов из личного опыта. В этой книге люди раскрывают конкретную повседневную сущность безработицы, рассказывая о том, как

---

[70] Примечания: 70

Copyright © 1979 by Harry Maurer.

они изо дня в день прочесывают город в поисках работы; каким ударом может стать получение «розового листка» — уведомления об увольнении; как они корпят над бесконечными «резюме» — краткими автобиографиями для потенциальных работодателей; как стараются добиться «интервью» — попасть на прием в отдел кадров фирмы, где есть вакантное место; как воруют арбузы с бахчей и как кончают жизнь самоубийством; как проклинают всевышнего и молят его о том, чтобы им хватило сил оправиться после болезни.

Для многих героев этой книги собственное жилье превратилось в тюрьму без решеток, но есть и такие, кто радуется избавлению от работы, что была не лучше тюрьмы. — Одних годы вынужденного безделья сломили, — другие же отыскали в себе резервы душевных сил, которые дают им возможность продержаться и даже — в известном смысле — чувствовать себя победителями. Короче, мужчины и женщины, говорящие со страниц этой книги, очень разные, непохожие друг на друга. Однако все они испытывают общее чувство, иногда оно выражается определенно и резко, иногда менее определенно, иногда, если их мысли еще не вызрели в сознании, в виде смутной тревоги, которая звучит в их речах. Чувство

это можно обозначить так: по отношению к ним совершено преступление.

У людей, потерявших работу, отнято нечто самое существенное, и они ощущают себя ограбленными. Растерянность, столь часто звучащая в их словах, сродни растерянности человека, который, придя домой, обнаруживает, что в его квартире все перерыто, а ценные и дорогие ему вещи исчезли. Когда рабочего человека лишают работы, он испытывает такое же ошеломляющее потрясение: чувствует, что над ним совершено насилие, надругательство над его личностью, он испытывает страх, беспомощность, ощущение полного краха. Притом ощущение краха здесь несравнимо острее, ибо труд, как наглядно свидетельствует тоска по нему у безработных, по-прежнему остается основной потребностью человека — и это несмотря на то, что в сегодняшнем мире он приобретает все более изнуряющий характер. Работа дает человеку не только средства к существованию, но и важное сознание собственной причастности к людям, общности с ними.

Просматривая материалы для этой книги, которые собирал два года, проехав за это время двенадцать тысяч миль и побеседовав с сотнями

людей во всех уголках США, я обнаружил, что привнес в них свое особое отношение к безработным. Я стремился измерить ущерб, причиняемый людям безработицей, но оценивал его под углом зрения способности — или неспособности — людей справиться с ее последствиями. Меня интересовало, почему некоторые мужчины и женщины, лишившись работы, впадают в отчаяние, начинают пить и даже кончают с собой, тогда как другие, не теряя способности сопротивляться, перестраивают свою жизнь и выходят из испытания еще более закаленными. Почему одни семьи распадаются, не выдержав бремени трудностей, тогда как другие сплачиваются. Вопросы эти так и остались без ответа, однако, по мере того как я обращался со своими вопросами все к новым и новым собеседникам, во мне копилось возмущение, подсказывавшее, что избранный мной подход ошибочен. Во-первых, психологические мотивы той или иной реакции человека на обрушившуюся беду так глубоко скрыты в тайниках его души, что их невозможно выявить в двухчасовой беседе. Во-вторых, рассматривая безработицу как своего рода состязание, в котором налицо победители и побежденные, я отдавал дань типично американской тенденции — преж-

де всего возлагать вину на пострадавшего. Спору нет, у разных людей различен и запас мужества, оптимизма, веры в себя, изобретательности. Но суть дела совсем не в этом. Суть в том, что в наше время никого — ни слабого, ни сильного — нельзя безнаказанно подвергать испытанию вынужденным бездельем. И речь здесь идет не о личной несостоятельности, а о несостоятельности коллективной. Мы не заботимся о ближнем.

Почему мы миримся с тем фактом, что каждый десятый американский трудящийся полностью или частично безработный? Ответ непрост и связан с нашими глубоко укоренившимися историческими и культурными традициями. Но решающую роль играет здесь идеологическая установка. Всякому, кто учился в американской школе, кто смотрит телевизор или читает газеты, знакома следующая доктрина. В условиях системы «свободного предпринимательства» каждому воздается по заслугам. Способные, честолюбивые и работящие, естественно, идут в гору, тогда как менее достойные опускаются на дно. Преодоление трудностей не только возможно, но и необходимо для проверки человека. Следовательно, безработные — это никчемные и ленивые субъекты, которые на самом деле не

хотят трудиться.

Подобный взгляд утвердился с самого рождения капитализма. Смысл его оставался всегда одним и тем же — заставить рабочих мириться с тяжелой, нудной и низкооплачиваемой работой, поддерживать в них надежду на жизненный успех, играя на их страхе скатиться вниз, в презираемый низший класс людей, живущих на пособие. Предприниматели, которые самым прямым образом заинтересованы в дешевой и послушной рабочей силе, всегда были самыми рьяными проповедниками «железобетонного» индивидуализма. Средства массовой информации лишь «оркеструют» эти мотивы — например, систематически сообщают о «жульничестве» лиц, получающих пособия по бедности и безработице. Эти сообщения, в которых бедняки представляются шайкой воров, одновременно маскируют тот прискорбный факт, что пособия не обеспечивают достойного человека уровня жизни.

Признав необходимость программы социального обеспечения, наша страна не сделала еще одного шага вперед, каким явилось бы обеспечение каждому ее гражданину права на труд, столь же важного, как свобода слова, печати, вероиспо-

ведания, собраний и т. д.

Даже скромный, беззубый законопроект вроде так называемого «билля Хэмфри—Хокинса», призывающего правительство постепенно понизить безработицу до уровня трех процентов, едва не был провален в конгрессе главным образом потому, что деловые круги встречают в штыки всякое упоминание о полной занятости. Их возражения хорошо известны: они выдвигались еще против программ «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. Во-первых, полная занятость-де практически неосуществима, если не сказать невозможна; во-вторых, она погубила бы капитализм и вместе с ним наши права и свободы личности. Первый довод основывается на представлении, что полная занятость привела бы к гибельной инфляции. Многочисленные специалисты — не говоря уж об опыте других стран — оспаривают правильность этой посылки, равно как и лежащей в ее основе идеи, будто инфляцию вызывает главным образом рост заработной платы. Ну, а второй довод вообще нельзя принимать всерьез, поскольку на протяжении последних полутора столетий истерические предупреждения об опасности, якобы угрожающей «свободному предпринимательству», пускались в ход с целью

воспрепятствовать принятию каждого важного предложения в области социального обеспечения, начиная от запрета на применение детского труда и кончая разрешением создавать профсоюзы. Что же касается мнимой угрозы нашим свободам, то реально речь могла бы идти разве лишь о свободе предпринимателей нанимать и увольнять людей по собственному усмотрению, срывать начинания профессиональных союзов да платить трудящимся низкую зарплату — свободе, которой они широко пользуются благодаря массовой безработице.

Значительное большинство героев этой книги — вовсе не политические борцы. Они хотят отстоять свое право выжить, не опуститься, сохранить достоинство. Удержаться от пьянства, не срывать зло на жене, заставить себя с утра погрузиться в изучение объявлений о приеме на работу в газете — вот круг их повседневных забот. Даже их праведный гнев, который при иных обстоятельствах мог бы толкнуть их на поиски взаимопонимания, к совместным действиям, не ведет никуда. «А чего психовать? — говорит, например, Джимми Грин. — Толку-то от этого никакого, значит, злись не злись, как ты есть безработный, никто не прибежит: на, пожалуйста, тебе работу. Так что

уж лучше улыбаться да кланяться — глядишь, чего-нибудь и получишь».

Как видим, в такой позиции явно недостает глубокого осознания истинных причин общей беды и того, как можно было бы изменить положение. Осознание человеческой солидарности не получало широкого распространения в стране, наверное, со времен кризиса конца двадцатых — начала тридцатых годов. Реформы рузвельтовского «нового курса», в какой-то мере облегчившие условия жизни безработных, до этого совершенно невыносимые, безусловно, способствовали затуханию подобных вспышек сознания. Сегодня вместо этого — гнев людей-одиночек, горечь несправедливо наказанных, растерянные попытки понять, какой именно удел отводит им бесчеловечная система.

Вот почему мои беседы с большей частью безработных, чьи истории попали в эту книгу, оставили у меня — при всем моем восхищении их исключительной стойкостью и жизненной силой — довольно грустный осадок. Они держатся стойко, во многих случаях это упорство великолепно. Но оно куплено дорогой ценой. Расплачиваются за него чувством оторванности от людей, бессилия и безысходности. «Не за что зацепить-

ся», — говорит Лора Гордон. А как себя чувствуют те, кому есть за что зацепиться? Возьмем Дирка Робинсона. Он целый год ждет решения арбитра по трудовым вопросам, надеясь снова вернуться на свое рабочее место, откуда был уволен. Другой работы он найти не может, потому что его имя внесено предпринимателями всей округи в «черные списки». По его словам, он потерял все — жену, детей, друзей, дом, сбережения. И все же, говорит он, «я хотел бы вернуться на прежнее место. Хотя я страшно возмущен компанией, моя работа мне нравилась. Если я вернусь туда, то вернусь победителем. Я буду сознавать, что стоял до конца и выиграл. Раз люди увидят, что я не сдался, несмотря на развод и прочие беды, и вернулся победителем, может быть, это придаст кое-кому смелости». Человек, который все потерял, так не говорит. Дирк Робинсон знает, что сделанный им выбор имеет общественный смысл: борьба, которую он ведет, немало значит для других мужчин и женщин. Это знание повышает чувство его собственного достоинства, помогая преодолевать горечь лишений и утрат. «Очень жаль, но...»

Для многих весь последующий опыт жизни в качестве безработного определяется ее самым

первым жестоким, травмирующим моментом — увольнением. Сплошь и рядом удар обрушивается без предупреждения, после долгих лет беспорочной службы.

Грейс Китон

Миниатюрная женщина с живым лицом, ей еще нет сорока. Она разведена с мужем и имеет дочь, которая учится в колледже. До увольнения Грейс Китон около пятнадцати лет работала в книжных издательствах.

Работать в издательстве я начала в 1961 году. Как раз тогда наступила эра слияния, сближения, срастания и создания концернов, в результате чего книгоиздательское дело превратилось к концу 60-х годов в любимое детище Уолл-стрит.

Оно оживилось, и работать стало даже интересней. Кое-где руководство перешло из рук старых рутинеров к интеллектуалам, кое-где — к напористым дельцам. Во многих отношениях это обещало перемены. Можно было надеяться на глоток свежего воздуха, на постепенное вытеснение целлулоидной эстетики.

Поначалу я недолго занималась информацией и рекламой в издательстве, выпускающем книги в твердых переплетах, потом перешла в фирму,

специализирующуюся на дешевых массовых изданиях. Там проработала двенадцать лет. Срок солидный. Благодаря усердному труду, старательному изучению своего ремесла и т. д. и т. п. постепенно продвигалась по служебной лестнице, покуда не заняла хорошую и интересную должность. Вот здесь я начала ощущать на себе давление корпорации.

Давили через начальника и начальника моего начальника. Выражалось это в требованиях повышать доход, сокращать расходы, проверять работы сотрудников, периодически производить сокращения штатов. На меня жали все сильнее, заставляя решать сложные задачи коммерческого предприятия; обстановка становилась все напряженней, а сама работа — все менее привлекательной. Но из-за хорошего жалованья я не могла взять и уйти. Мне нужно было содержать себя и ребенка. Очень трудно отказаться от работы, к которой привык. Хотя теперь-то мне ясно, в каком напряжении я жила все эти годы. Тогда это не так осознавалось.

В компанию, владеющую контрольным пакетом акций моего издательства, входят самые разные предприятия. Она покупает и продает недвижимость. Имеет свои теле– и радиостан-

ции. Владеет сетью фирм по уходу за зелеными насаждениями, ссудным банком, золотыми приисками, грейпфруктовыми плантациями в Калифорнии и еще бог весть чем. Служить в ней — все равно что работать в какой-нибудь «Дженерал моторе», не находясь под защитой профсоюза. Из тебя выжимают все соки. Притом корпорация покупала все новые и новые фирмы, продолжая свою безоглядную экспансию. К нам она предъявляла такие же жесткие требования, как если бы мы были не издательством, а отделением «Дженерал моторе» или «ИТТ». В сущности, у нас-то, наверное, гонка была еще почище. Ведь в издательском деле каждый продукт по-своему уникален. Это вам не серийные «форды»!

Что послужило причиной вашего увольнения?

Никакой причины не было. Гром грянул среди ясного неба. Правда, за несколько дней до этого мне вдруг стало чудиться, что происходит что-то неладное и ужасное. Не могу даже объяснить, что именно. Скажем, вижу двух сотрудников там, где обычно их вместе не увидишь. Или еще что-нибудь в этом роде. Но вот мой начальник вызывает меня на 10.30 утра в свой кабинет. Вхожу с кипой бумаг и спрашиваю: «Вы хотели начать с этого контракта?» «Нет, — отвечает он, — я хочу начать

с того, что больше вы не работаете в этой компании». В компании, которой я верой и правдой служила двенадцать лет. Почему я не умерла — сама не знаю…

Это был самый страшный удар в моей жизни. Я пережила развод. За несколько месяцев до увольнения я похоронила отца. И по причине своего характера, и в силу обстоятельств испытала на своем веку достаточно нервных потрясений, но никогда не переживала ничего подобного. Никогда. И вот что интересно — еще долго после этого я у каждого собеседника первым делом спрашивала: «Вас когда-нибудь увольняли?» Ведь мне казалось, что тот, кто сам не прошел через это, просто меня не поймет. И поначалу так оно и было. Мне давали понять, что я не только никудышный работник, раз компания решила меня уволить, но что я вообще дрянь. Может, самая худшая из дряней. Может, мне вообще не надо было родиться. Все это не просто отнимает у вас веру в себя. Это уничтожает вас, полностью.

Удивительно, что люди, уволенные в связи с закрытием отдела или предприятия, рассказывали мне, что испытывали такое же чувство. Все говорили об одном и том же. Есть что-то такое в самом факте увольнения… Видимо, в нашей вере

в труд и нашем отношении к труду заложена надежда, что, раз ты работаешь хорошо, тебя ожидает вознаграждение. В хорошей работе есть, если воспользоваться старомодным словечком, что-то здоровое. И где-где, а уж здесь должна быть справедливость. «Хорошие люди всегда получат работу». Сколько раз слышали вы эту сентенцию? Так вот, враки это, чушь. Все не так. Но мы все же верим этому… Вот почему увольнение причиняет такую травму. Я до сих пор от нее не оправилась…

Ну, и, конечно, я была вне себя от ярости. Просто задыхалась. Чувствовала себя обманутой, преданной. Это был какой-то взрыв эмоций. Возмущение предательством. Тоска. Потрясение. Наверное, здесь есть что-то общее со смертью. Мне не приходилось сталкиваться с внезапной смертью: мой покойный отец — ему было почти восемьдесят семь лет — не болел, он просто угас. И еще одного близкого человека я потеряла. После их смерти я почти явственно ощущала что-то вроде катарсиса, и приходило утешение. А вот после увольнения я не испытала ничего подобного. Может быть, потому, что смерть реальнее, чем увольнение. Так или иначе, с тех пор я плохо сплю. Чуть ли не каждую ночь просыпаюсь в

ужасные предутренние часы — в четыре, в пять — и в каком-то кошмарном полусне думаю о том, как меня уволили или кому я этим обязана. Думаю, какая же это жестокость! Нет, пожалуй, это больше похоже на изнасилование, чем на смерть. Над тобой совершают грубое надругательство, и ты беспомощна. Это ужасно!

«МОЖНО СКАЗАТЬ, УЗНАЛ, ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА»

За долгие месяцы без работы люди меняются. Возрастает или слабеет их уверенность в себе, другими становятся жизненные цели; они открывают в своих характерах стороны, о которых раньше не подозревали. Их отношение к работе, обществу и жизни претерпевает изменения. В этой главе люди рассказывают о такого рода переменах.

Джим Хьюз

Зеленый дом на окраине небольшого городка в штате Индиана. С трех сторон — кукурузные поля, с четвертой — шоссе, проходящее так близко, что шум проносящихся мимо машин мешает говорить. Знойный июльский день. Джим — он

без рубашки — встречает меня в дверях. Это тридцатилетний мужчина с брюшком, с длинной рыжеватой шевелюрой и отвислыми усами. Если не считать тех лет, что он прослужил в морской пехоте, Джим всегда жил в этих краях, не дальше десятка миль от этого дома. По профессии он сварщик. Вечерами учится на курсах рентгенологов-техников. «В августе будущего года зканчиваю курсы. Может, пойду учиться дальше, но только вряд ли. Думаю, что и так смогу найти работу».

Он беспрерывно курит. Его жена время от времени отрывается от домашних дел и, подсев к нам, слушает. Из кухни выглядывает их пятилетняя дочка.

Джим Хьюз считает себя «консервативным республиканцем», сторонником Рейгана. Впрочем, отмечает он, «я невысокого мнения о политиках. Они не заметили, что надвигается экономический спад, и палец о палец не ударили для того, чтобы его предотвратить. Но мое-то увольнение они все равно бы не предотвратили. В моем увольнении общество не виновато...»

Вся каша заварилась после того, как меня несправедливо уволили. До апреля прошлого года я работал на станкоинструментальном заводе.

И вот мастер неизвестно почему — между прочим, это не только мое личное мнение, поскольку у многих ребят, работавших со мной, сложилось такое же впечатление, — просто выбрал меня из остальных, стал цепляться по каждому поводу и наконец уволил. Вскоре у них там началось большое сокращение производства. Выходит, им было выгодно выбросить на улицу как можно больше народу. Так что, по-моему, тут обе причины сыграли свою роль: и то, что он невзлюбил меня, и то, что от него требовали избавляться от людей. Сам-то я ни в чем не виноват.

Понятно, меня это порядком взбесило: никогда раньше со мной так не поступали. Я был уверен, что у меня хорошие характеристики. Даже отличные. А он все твердил: давай, давай! В тот день, когда он меня уволил, я сделал раза в три больше нормы. И все-таки он уволил меня как не справляющегося с работой. Каждую мелочь припомнил: и правила стоянки автомашин я как-то нарушил, и на работу опаздывал… Помню, было три случая, когда я заранее его предупреждал, что вынужден буду прийти на работу позже, — как раз этот дом покупал. Но он все равно воспользовался этим предлогом. Наверное, им все-таки двигала личная неприязнь. Работа там мне нравилась. И

люди, с которыми работал, тоже. Местом я дорожил, терять его не хотел.

Ладно, иду в бюро по делам безработных. Нельзя сказать, чтобы это не задевало моего самолюбия. Очень даже задевало. Мне вовсе не хотелось туда идти, но я понимал, что другого выхода нет. Надо же было получить с них все, что мне причиталось. Да и хотелось как-то отомстить. Но хотя я и платил налог на социальное страхование, мне все-таки было не по душе идти в это бюро. Наверное, так уж я был воспитан. Обеспечивая себя сам. Сколько заработаешь, столько и получишь. Никому ничего даром не дается. Вот каких взглядов я держался. Да и теперь еще держусь. Но гордость свою мне пришлось обуздать.

Когда я обратился в бюро за пособием, мне поначалу отказали. Пришлось нанимать адвоката, давать показания, вызывать свидетелей. Уволили меня в апреле, и только в декабре следующего года дело решилось в мою пользу: признали, что я был уволен без законного основания. А все это время я, естественно, не получал пособия по безработице. Только пособие по бедности.

Так что горя мы хватили. На первых порах я, конечно, каждый день пытался найти работу, но наступил экономический спад, и никакой рабо-

ты не было. Нигде. Мало-помалу финансы мои таяли, и вот уже лишь раз-другой в неделю я мог позволить себе сесть в машину и отправиться на поиски работы. Затем стал выезжать еще реже — раза два в месяц. Не было денег на бензин. По счетам я должен был платить около 400 долларов в месяц. До увольнения я зарабатывал 600 долларов, а теперь не получал ни цента. Мне удалось немного отложить на черный день, самую малость, но на первое время хватило. Месяца на два. А потом сбережения кончились.

И вот денег осталось — кот наплакал. Прикидываю, что еще недели две-три — и цента не останется. Делать нечего, иду в бюро помощи неимущим. Вот где уж действительно пришлось смирить свою гордость! Никогда не забуду, как первый раз пришел туда, хотя и пытаюсь выбросить из памяти тот веселенький денек: ведь тебя там буквально втаптывают в грязь. Ни в грош не ставят. Им на тебя наплевать. Во всяком случае, мне так показалось. Сиди и жди. Ну, хорошо, иногда приходится и подождать… Но сидеть и ждать попусту! А они к тому же стараются дать тебе как можно меньше информации. По-моему, — это мое личное впечатление — они там вовсе не горят желанием помогать людям, хотя это им по штату

положено. Ведь их работа — помогать людям, верно? Так вот, мне показалось, что они плохо делают свое дело. Кажется, даже просто хотят от тебя избавиться. И смотрят сверху вниз, никакого равенства, абсолютно никакого. Я просидел целый день, а в конце они сказали, придется прийти завтра. Идти туда снова — прямо пытка, но понимаю, что деваться некуда. И вот назавтра мне сообщают, что, раз меня уволили, я не имею права ни на какие пособия в течение ближайших тридцати дней. Поэтому мне пришлось ждать еще месяц, прежде чем 30 июля я получил первый денежный чек. С апреля по август — ниоткуда ни цента.

Невыносим сам факт, что работы у тебя нет, и ты вынужден сидеть дома без копейки денег. Нет денег, чтобы заправить машину и поехать искать работу. Предприятия коммунального хозяйства грозятся отключить у тебя электричество и телефон. То и дело перестает работать отопление: кончается топливо. Телефон у меня отключили-таки, но я всегда ухитрялся перехватить взаймы несколько долларов, чтобы уплатить за электричество и не дать им вырубить ток. В среднем на электричество у нас набегает долларов 36 в месяц, а был такой момент, когда я

задолжал электрокомпании долларов 200. Очень туго было. Ни гроша в доме не оставалось. Раза два у нас кончались продукты. И не на что было выкупить льготные продовольственные талоны. Так прижало — дальше некуда! Не евши сидели. Честное слово. По три, по четыре дня крошки во рту не было.

Очень скоро начинаешь и сам создавать себе проблемы. От безделья пристрастился к выпивке. Как только заводились денежки, начинал прикладываться. Слишком много у меня было свободного времени. Слишком много сидел дома. По-моему, это портит отношения в семье, с другими людьми и все такое. Я знаю случаи, когда отцу семейства, существующего на пособие по бедности, пришлось уйти из дому, чтобы как-нибудь выжить. Я не хотел, чтобы и у нас дело дошло до этого. А отношения с женой стали портиться. Мы начали ссориться. Этого бы не случилось, если бы я работал. Ссоры были глупые, бессмысленные. И ссорились-то по пустякам, а то и вовсе без повода. Не было у нас другого занятия, кроме как лаяться друг с другом. Я постоянно скандалил, потому что чувствовал себя несчастным. Однажды жена ушла от меня и вернулась только недели через три-четыре. По правде сказать, трещина в наших

отношениях так и осталась, какая-то тяжесть лежит на душе…

Даже вспоминать страшно, как я проводил время. Стараюсь подальше запихнуть воспоминания об этом. Хотя это было совсем недавно. Встаешь утром и ждешь, чтоб поскорей настал вечер и можно было опять ложиться в постель. Просто ждешь не дождешься, чтоб отправиться спать. А ляжешь — сон не идет. Всякие мысли лезут в голову. Проснешься наутро — не можешь дождаться часа, когда спать пора. Сидишь и ждешь. Чего ждешь? Неизвестно. Такое поганое состояние, что самое время идти к психдоктору.

И ровно ничего не поделаешь с этим, только и остается — ждать у моря погоды. Ну, разве попытаешься денег занять. Но к этому времени ты уже успел у всех назанимать, и никто тебе больше не даст, всем известно, что отдать ты не сможешь. Если электричество не отключили, смотришь телевизор. Или слушаешь радио…

На первых порах мы ездили в гости к друзьям, но потом перестали — не было денег на бензин. Да и друзья почти все отвернулись от нас. Кроме одного — всегда же кто-нибудь остается тебе верным другом. Мы вообще мало общались тогда с людьми — какое уж тут общение, когда ни цента

за душой нет… Я брал взаймы у кого только мог, пока мне не перестали одалживать деньги. Ну, а потом мне стало неловко заходить к ним, так как вернуть долг я не мог. Вот так и кончаешь тем, что волей-неволей злоупотребляешь дружбой, а уж это — последнее дело. Поэтому, когда мы больше всего нуждались в помощи, когда нам нечего было есть, я ни у кого ничего не просил. Оставшаяся гордость не позволяла. Ни слова никому не сказал. На это меня еще хватило. Пусть уж лучше я буду голодать. Дочку-то кое-как кормили, хотя она постоянно недоедала.

Кредиторы не давали ни минуты покоя. Ни минуты! Вынимаешь почту из ящика и уже знаешь, что там. Можешь, не читая, отложить в сторону. Все хотят получить с тебя деньги, интересуются, когда вернешь долг. Пытаешься объяснить им свою ситуацию — вроде бы они и понимают тебя, но деньги-то для них важнее. И выходит, дела до тебя им нет. В общем-то, их тоже можно понять. Я ухитрялся оплачивать большинство счетов, но платить по всем не было никакой возможности. Вот и крутился. Старался не слишком просрочивать платежи, чтобы кредиторы поменьше жаловались, хотя вечно кто-нибудь да жаловался. Правда, ни одной вещи у меня не забрали обратно

за неплатеж. Как удалось изворачиваться — сам удивляюсь.

На пособие по безработице еще как-то можно прожить, а пособие по бедности — плохо дело. А на меня это снова надвигается. Вот уже четыре месяца я нигде не работал, так что все начинается сначала. Я должен найти работу, все равно какую — хоть канавы копать. Потому что больше я этого не выдержу. Теперь я знаю, чем это пахнет. Ну и стараюсь что-нибудь предпринять, чтобы на этот раз не дойти до ручки.

За это время я сильно изменился. От гордости моей ничего не осталось — стал вспыльчивым, раздражительным… Отношения в семье тоже изменились, да и все мое окружение переменилось. В общем, на собственной шкуре испытал, какова темная сторона жизни. Можно сказать, узнал, почем фунт лиха. До конца дней не забуду.

Роланд Батала

Он не очень хочет давать мне интервью. Наконец все же соглашается. Но когда я нахожу его дом, расположенный в живописном старом районе неподалеку от крупного университета на востоке страны, на стук никто не отвечает. Тогда я звоню ему из автомата, и он снимает

трубку. «Нужно обогнуть дом и войти с заднего хода», — говорит он каким-то странным тоном. Вскоре я понимаю почему. Он ютится в убогом углу подвального этажа; занавеска делит его конуру на две «комнаты». В спальне едва помещаются кровать и стул. Потолок осыпается. Дом принадлежит ему, но он так долго не имел работы, что вынужден сдавать его в аренду, чтобы платить по закладной.

Роланд Батала — красивый африканец с ритуальными шрамами на щеках. Говорит он с легким акцентом, его грамматика несколько экзотическая. Ему, человеку гордому, неприятно предстать перед посторонним в роли обитателя подвала собственного дома. Но он слишком вежлив, чтобы мне отказать. Да и выговориться необходимо.

Я из Ганы, приехал сюда лет четырнадцать назад. Мне тридцать четыре года, так что почти вся моя трудовая жизнь прошла в Штатах. Степень бакалавра я получил в Новом Орлеане. Потом поступил в Колумбийский университет в Нью-Йорке и в 1972 году получил там степень магистра биохимических наук. А вот с работой мне не повезло. Уже больше года сижу без дела. Последнее время я работал в рамках программы,

которая финансировалась из федерального бюджета. И вот нам объявляют, что ассигнования кончились. Понятно, все мы лишились работы. Не я один. И мой начальник тоже. Ведь и ему зарплата шла из тех же фондов.

С 1972 года я сменил несколько мест. Найти работу трудно, а в моем случае ее, видно, еще труднее сохранить. Как я убедился, многие компании брали меня на службу просто ради ширмы, дескать, и у нас в штате есть черные… Нанимают тебя и терпят до поры до времени, а потом избавляются под разными предлогами.

Лучшая работа, которую я имел, была в одной фармацевтической фирме. Но мой начальник!.. Господи, он из кожи лез, чтобы отравить мне жизнь. Оскорблял как только мог. Толкал меня. Нет, руками не касался, но делал такое движение, понимаете? И ругал все, что бы я ни сделал. Мою работу, мои методы продажи. Видите ли, я работал коммивояжером. В обязанности мои входило убеждать врачей покупать препараты фирмы. И я знал, что мои методы продажи были ничем не хуже, чем у других: ведь у нас проводили деловые совещания, и я видел, как работают остальные. Мои методы, ей-богу, были совсем не плохи. Но он объявлял их никуда не годными, и я видел,

что это вопиющая несправедливость. Однажды он приписал часть сделок по продаже, которые были заключены на моем участке, кому-то там еще, с тем чтобы картина сбыта на моем участке выглядела неудовлетворительной. В конце года у них принято давать сотрудникам премию, но я ни разу не удостоился… И еще много подобного вытворялось, так что мне стало ясно, что от меня стараются избавиться. Наверное, потому, что я черный. Наверное, поэтому. Не могу представить себе никакой другой причины.

После того как я оттуда ушел, я получил работу на лакокрасочном заводе. Мне бы и там понравилось. Моей обязанностью был контроль за качеством. Так на этом месте я и двух месяцев не продержался! *(Смеется.)* Потому что я черный, а краски изготовляли белые. Понимаете, я должен был давать рекомендации. Говорить им: «Добавьте того, добавьте этого». Мне приносили образец, а я проверял качество и определял, достаточно ли краска хороша, не нуждается ли в доработке, дополнительном смешивании или еще в чем-то. И они, те белые, просто не могли этого вынести. Их бесило, что я черный и — контролер. Меня вынудили уйти. Технолог и директор вечно читали мне нотации, прямо-таки выживали меня. Два

сотрудника ушли с завода, и мне сказали, что они ушли из-за того, что я черный. Тогда уж все кому не лень начали цепляться ко мне. Потешались, кто как мог… Один раз сняли и выбросили номер с моей машины, донимали всякими мелкими подлостями. И я понял мне тут не работать.

Знаете, я даже пытался продавать недвижимость. В течение шести месяцев разрешается работать агентом без лицензии. Я и попробовал. Разрешение мне дали сроком на шесть месяцев. Так вот, за эти пол года я не продал ни одного дома. *(Смеется.)* Как видно, многие клиенты считают ниже своего достоинства пользоваться услугами черного агента при покупке дома. Ну не странно ли? Не пойму, что их во мне не устраивает. Не могут переступить через это. Конечно, я говорю им «У меня есть ученая степень» и всякое такое, но вижу, что им все равно мое посредничество поперек горла. Может, они не хотят, чтобы я получал комиссионные? Ведь я же не знаю, что у них в голове творится.

Стал подыскивать себе работу где-нибудь в исследовательской лаборатории или больнице. Я бы и преподавать смог. Правда, учительского аттестата, действительного в этом штате, у меня нет, хотя в начальные школы меня могли

бы взять и без него. Побывал во всех больницах и лабораториях этой округи, разговаривал с сотрудниками отделов кадров, но обычно мне там отвечали, что сейчас вакансий нет, а когда вакансия откроется, мне об этом сообщат. И ни разу еще ни о чем не сообщили. Я и в Нью-Йорке искал работу, и в Филадельфию ездил. Даже в Вашингтоне заявления подавал. В университете со мной несколько раз беседовали. Проверочные работы давали, отметки за них ставили. Я прошел все испытания, и меня обещали принять, как только найдется профессор, которому будет нужен ассистент. Сказали, что будут предлагать мою кандидатуру всякий раз, когда объявится вакансия. Но, боже мой, на них ведь тоже давят, и, конечно, они ничего не сделают.

Все это сильно сказалось на моем отношении к жизни. Раньше я любил танцевать, бывать на вечеринках в клубах и других увеселительных заведениях с платой за вход от 3 до 5 долларов. А теперь никуда пойти не могу — хотя бы потому, что денег нет. Не знаю, может быть, просто из-за того, что я оказался на мели, но на меня стала нападать тоска. И сам я себе стал противен.

Но я стараюсь не поддаваться горьким мыслям. Эта горечь может всю душу разъесть. Здоровье

разрушить. Из-за нее гипертонию себе наживешь или язву. Не могу же я для разрядки выйти на улицу и начать людям носы разбивать? «Ты не дал мне работу, получай! *(Смеется.) И* ты не дал мне работу, вот тебе тоже!»

Знаете, а ведь я был женат. Но после того как потерял ту хорошую работу в фармацевтической фирме, жена со мной развелась. Так что разбилась моя семья, да и многих друзей я лишился. Этот дом мой, но я не могу в нем жить. Вынужден сдавать его в аренду, с тем чтобы съемщики платили за него. Иначе потерял бы и дом. Вот почему я кончил этим подвалом. Со сколькими людьми я потерял связь! Даже с очень близкими друзьями. Ведь я понимаю, что, если они пригласят меня обедать, я их к себе позвать не смогу. Мне стыдно приглашать сюда людей. Стыдно и того, что, несмотря на все свои старания, я не могу найти работу, не могу заработать денег на сносное существование.

И тогда меня начинают терзать горькие сожаления. Что жизнь проходит впустую. Месяц за месяцем. Что вся моя учеба, степени — все ни к чему. Я ничего не достиг в жизни. И еще один день потрачен зря. В душе такая пустота!

И думаешь: а надо ли было учиться в колледже?

Зачем тратить время на высшее образование? Зачем столько стараться? А если у тебя есть дети, что ты скажешь им? Чтобы шли в колледж и получали ученую степень? Но ведь черная кожа помешает им найти работу, чтобы жить в маломальски сносных условиях.

И все-таки я склоняюсь к тому, что опускать руки нельзя. Нужно изо всех сил стараться выбиться…

Кларк Гувер

Лысеющий и начавший полнеть мужчина сорока одного года, одетый в спортивную рубашку и шорты. Он не привык рассказывать о себе и часто употребляет тяжеловесные бюрократические обороты — как видно, работа в полиции наложила отпечаток на его речь. Живет он в пригородном поселке-новостройке, расположенном на изрытых холмах к югу от Питтсбурга. Мы сидим на заднем крыльце дома с видом на пол-акра развороченной земли, что когда-нибудь станет двориком его дома.

Полицейским я начал работать в 1960 году. Девять лет прослужил в питтсбургском полицейском управлении, а затем перевелся в отделение полиции в одном из богатых пригородов. Шесть

лет служил там, пока летом 1975 года не попал в аварию. Дело было так: в 4 часа утра в полицию сообщили, что какой-то человек пытается залезть в дом. Моя патрульная машина оказалась ближе всех к месту происшествия, и я отправился по вызову. Но когда я ехал туда — с сиреной, мигалкой и включенными фарами, — сбоку, нарушив правила, выскочил автомобиль и врезался в мою машину. Так я попал в больницу с повреждением позвоночника, сотрясением мозга и переломами ног. Почти четыре месяца провел я в больнице. А когда выписался и вернулся на службу, понял, что из-за полученных травм и частичной потери памяти больше не смогу заниматься своей профессией.

Серьезнее всего было с позвоночником: случись какая-нибудь драка в баре или что-нибудь в этом роде, я бы каждый раз рисковал получить новые травмы. Рассчитывать на кабинетную должность в нашем маленьком отделении полиции, конечно, не приходилось. Единственной доступной для меня работой было патрулирование на улице в дежурной полицейской машине. Короче говоря, пришлось подать в отставку по состоянию здоровья. И с тех пор я не работал ни одного дня.

Прислали мне счета за лечение. Надеюсь, в

конце концов их оплатят — или управление социального страхования, которое обязано выдать мне компенсацию за увечье, причиненное при исполнении служебных обязанностей, или же страховая компания другого водителя. Сейчас дело о выплате мне компенсации передано на рассмотрение суда. В управлении социального страхования считают, что мое лечение обязана оплатить страховая компания виновного водителя, — и они, конечно, правы, но страховая компания всячески старается оттянуть выплату. Управление же, считая себя правым, никаких моих счетов, естественно, не оплачивает. А я между тем остаюсь в таком вот подвешенном состоянии. Сейчас моя задолженность по счетам врачей и больницы превышает 10 000 долларов. Тянется это с 1975 года, и мой адвокат говорит, что, возможно, пройдет еще пара лет, прежде чем суд наконец возьмется за это дело, и ничего более утешительного он мне сообщить не может.

Просто не знаю, что мне дальше делать. Врачи признают меня полностью непригодным к какой бы то ни было физической работе. Да и сидячей-то работой мне можно заниматься только той, которая не требует большого умственного напряжения, потому что в той аварии я получил

тяжелую травму черепа.

В общем, я вижу, что работы для меня нет и что мне некуда больше обращаться, кроме как в бюро по делам безработных штата Пенсильвания за пособием по безработице. Долго не мог собраться с духом: уж очень эта перспектива меня угнетала. В полное душевное расстройство приводила. Я чувствовал себя страшно униженным. Пережил прямо-таки муки ада, прежде чем заставить себя пойти туда.

Ну вот, встал я в очередь в этом бюро вместе с другими безработными штата Пенсильвания. По сравнению с другими, кто потерял работу, я нахожусь, наверное, в самом худшем положении из-за своей ограниченной трудоспособности. По какой причине здесь оказался я, по какой — он, не столь важно. Важно другое: здесь оба мы проходим через одно и то же Страшно унизительная процедура. Когда я бываю там, мне кажется, что люди по ту сторону барьера всем своим видом говорят: «Вот еще один паразит явился».

Теперь о финансовых проблемах. Посудите сами: денежные поступления сокращаются больше чем втрое. Естественно, влезаешь в долги, а их надо отдавать… До какой-то поры люди готовы войти в твое положение, но потом начинаются

звонки-напоминания, приходят угрожающие письма. Еще слава богу, что жена у меня работает, но ведь секретарша, а это, сами понимаете, не очень-то высокооплачиваемая должность…

Хуже всего — врачи и больницы. Медицина требует своих денег еще настойчивей, чем коммерческие фирмы, которым я задолжал. Прямо за горло берут: вынь да положь деньги. Откуда ты их возьмешь, что сделаешь для этого — их не касается. Я объясняю им, что я безработный и так далее. Обычно отвечают: «Ладно, не беспокойтесь». А потом по почте получаешь извещение, что неоплаченные счета передаются в бюро по взысканию долгов. Это для меня особенно неприятно. Будь у меня деньги, неужели бы я им не заплатил? Некоторые предлагают: «Присылайте хотя бы несколько долларов в месяц». Отлично. Я и стараюсь это делать. А потом вдруг звонят из бюро по взысканию долгов и требуют уплаты всей суммы в пятидневный срок, не то… Их ничем не проймешь Говорю им: «Я безработный, у меня нет таких денег». Отвечают: «Займите где-нибудь». Займите! Как же брать взаймы, если знаю, что не смогу отдать? «Ну, а у матери своей не можете занять? А у родителей жены?» Или что-нибудь еще в этом роде скажут. Звонят жене на работу,

ставят ее в неловкое положение: не может же она сказать им что-либо сверх того, что говорю я. Иной раз звонят три дня подряд. Поговоришь за день с двумя-тремя такими кредиторами — на стенку лезть хочется. Хоть к телефону не подходи — ведь все равно я ничего не могу поделать. От сбережений ничего не осталось, приходится выкладывать все начистоту — может, войдут в мое положение, — не то объявят меня по суду несостоятельным должником и отберут дом. Остается лишь надеяться, что как-нибудь продержимся, пока суд не вынесет решение о компенсации. Адвокат говорит, что закон на моей стороне, но я могу все потерять, прежде чем дело решится в мою пользу.

За эти последние годы мое отношение почти ко всему, что происходит у нас в стране, во многом изменилось. Во-первых, теперь я гораздо лучше понимаю безработных, чем в ту пору, когда работал в полиции. Познакомился со множеством людей, чье положение еще отчаяннее моего, и сочувствую им, потому что вижу их беду с этой стороны забора. Ну что такое раньше была безработица для меня? Отвлеченное понятие, цифра, процент… «Да, это ужасно», — мог я сказать, а через десять минут начисто о ней забыть. А вот

когда сам оказался среди безработных, тут уж смотришь на все другими глазами…

Сейчас я гораздо внимательнее слежу за политикой. Больше читаю о политике, по телевизору смотрю предвыборные выступления кандидатов. Понятно, все они уверяют, что после их избрания рабочих мест станет больше. Безработица сократится. И вообще они собираются построить для нас рай на земле. Все это… дерьмо! Не представляю себе, каким образом они могли бы радикально изменить нашу экономику. Эти кандидаты, должно быть, считают нас, американцев, круглыми дураками. Не в силах они выполнить свои обещания — даже за счет дальнейшего роста массового производства оружия. Не подумайте только, будто я хочу, чтобы это случилось. Тогда в проигрыше окажутся все, а не только 10 процентов безработных…

Происходит что-то страшное. И как ни крути, никакого выбора в действительности нет. Единственная надежда — и я молюсь за это — должен же когда-нибудь кончиться этот проклятый экономический спад. Нынешнее положение подрывает самые устои нашей страны, они разрушаются скорее, чем мы успеваем их укреплять. И в газетах, и по телевизору постоянно твердят,

что безработица пойдет на убыль. Но сколько я ни бываю в бюро по делам безработных, там с каждым разом все больше народу. И когда видишь всех этих людей, вглядываешься в их лица и пытаешься угадать, лучше им приходится, чем тебе, или хуже, сердце сдавливает чувство безнадежности. Никогда не думал, что мне доведется испытать такое.

Рон Брет

Обитатель негритянского района города Дейтон, штат Огайо. Он не хочет беседовать дома, и потому мы разговариваем, сидя на траве в парке.

Я хожу сдавать кровь на донорский пункт. Вот где безработных полно! Каждый день сотнями идут. Всегда там народ толпится. Пункт работает с 7.30 утра до 5.30 вечера, а люди все подходят и подходят. Впечатление гнетущее. Именно гнетущее, это то самое слово. Туда идут и те черные, у которых есть работа, опять же студенты — в общем, те, кто нуждается почти так же, как безработные бедняки. И я хорошо знаю, что, если бы нужда их не погнала сюда, они не стали бы сдавать кровь. Я бы, например, не стал. Будь у меня другой выбор, не стал бы я этого делать.

Но где еще мне дадут деньги? И вот я иду туда. Сначала сидишь и ждешь своей очереди Затем тебе измеряют кровяное давление, берут кровь на анализ. Потом снова сидишь и ждешь, когда освободится место у столика. Ужасно это угнетающе действует: то, что ты должен терпеть все эти мучения всего из-за 6 долларов или 9, если ты пришел вторично на той же неделе. Ради чего, думаешь, я подвергаю себя всему этому? За 6 долларов даю колоть себя этими здоровенными иглами! Всякий раз, когда я бываю там, говорю себе: «Черт возьми, неужели все это происходит со мной наяву?»

Анна Монтес

Чилийская женщина тридцати с лишним лет, у нее нежный голос и мягкие манеры, но темперамента хоть отбавляй. Анна Монтес работала в детских садах со времени своего приезда в Соединенные Штаты в 1972 году. Хотя из Чили она уехала до свержения правительства Сальвадора Альенде военной хунтой, на родину ей возвращаться опасно из-за левых политических взглядов. Она живет вместе с сыном в маленькой квартирке в Нижнем Ист-Сайде, районе нью-йоркских трущоб, и безвозмездно занимается

общественной работой «полный рабочий день, и даже больше» — это ее слова. Вместе с группой чилийских эмигрантов она составляет список политических заключенных в Чили, «особенно тех, кого посадили за решетку тайно».

Работы я лишилась в декабре прошлого года, когда муниципальным властям Нью-Йорка пришла в голову «блестящая» идея — закрыть городские детские сады. Мне со всех сторон говорили, что детские сады скоро закроют, но я не могла этому поверить. Это казалось невероятным. Например, в Нижнем Ист-Сайде, где я работала, детский сад нужен позарез. Не знаю, знакомы ли вы с этим районом, но поверьте, вид у него такой, будто его разбомбили. Все дома разрушены. Дети играют среди развалин и отбросов. Большинство родителей — наркоманы или алкоголики. О детях некому позаботиться, их оставляют одних без всякого присмотра. Жизнь детей подвергается реальной опасности. Тесные квартиры кишат крысами и тараканами… Так что картина прямотаки плачевная. Вот я и думала, что уж этот-то детский сад наверняка не закроют: не такое тут положение. Как можно закрыть его? Сами подумайте!

И вот в ноябре нам объявляют, что детский сад

будет закрыт. Люди начали организовываться, протестовать. Мы устраивали демонстрации. Полицейские арестовали нескольких демонстрантов, бросили их в тюрьму, избили дубинками… Я участвовала во всех демонстрациях, кроме той, когда арестовывали. Что-то помешало мне прийти в тот день. Так или иначе, представители городских властей повели с нами переговоры.

Они обещали, что, может быть, садик не закроют до июня, а потом, возможно, отложат это дело еще на несколько месяцев. Но все эти люди — отъявленные лжецы и лицемеры. Во время встреч с нами они каждый раз распинались по поводу того, как любят детей и как заботятся о них. А на поверку все это оказывалось чистейшей ложью. Перегорит, например, в детском саду лампа, и они вполне могут сказать: «Это помещение должно сегодня оставаться закрытым, потому что если произойдет короткое замыкание, то детей может убить электрическим током». Под тем или иным вздорным предлогом они постоянно стремились закрыть садик. Закроют на день, на два, и родители не могут в эти дни пойти на работу или вынуждены оставлять детей без всякого присмотра. Хотя в этом районе детей подстерегают на улице опасности пострашней, чем неисправный

светильник. И все-таки мне казалось, что с помощью политических действий детский сад мы отстоим. Но случилось иначе. Шло время, велись переговоры, и вдруг — раз! — нас закрывают.

Потеря работы меня не столько огорчила, сколько встревожила. Я знала, что мне причитается пособие по безработице, получая которое, я с грехом пополам протяну еще год. Но я знала и то, что мои приятельницы, которые лишились работы в детских садах раньше меня, не могут найти новую работу. И другая моя подруга, секретарша, тоже никак не найдет работу. А когда я услышала, что городские власти собираются закрыть еще восемьдесят детских садов, мне стало ясно, что получить работу в детском саду теперь просто невозможно. И я сказала себе: «Ладно, придется поискать работу в какой-нибудь другой сфере».

Правда, выбор у меня не слишком-то широк — опыта какой-нибудь другой работы, помимо ухода за детьми, у меня нет. Работать продавщицей в магазине не очень-то хочется. И официанткой тоже. На днях мне рассказывали, что много зарабатывают женщины, работающие в барах. *(Смеется.)* Но я представить себе не могу, как бы я с моими политическими убеждениями стала подпаивать мужчин в каком-нибудь баре.

Наверное, лучше всего для меня — пойти работать нянькой. Потому что в этой стране полно людей с толстым карманом, богачей, которым нужны няньки для их детишек. Я позвонила в агентство по найму и вот уже, наверное, раз двадцать встречалась с людьми, которым требуется няня.

Разумеется, отправляясь на очередную беседу, я стараюсь придать себе по возможности старомодный внешний вид. Никогда не являюсь в брюках, только в платье. Надеваю самое лучшее и обязательно выглаженное. *(Смеется.)* Пусть думают, что я очень консервативна в своих вкусах. И судя по тому, что мне говорили в агентстве, почти на всех я произвела благоприятное впечатление. Не знаю, чем уж я им понравилась. Думаю, тут замешан расизм. Среди женщин, которые ищут такую работу, очень много черных, а некоторые богачи не хотят, чтобы их дети постоянно общались с черной женщиной. Не дай бог, ребенок узнает, что черные — такие же люди, как они.

Чего я совершенно не могу понять: как могут люди стыдиться того, что они безработные? Это же просто нелепо. Все равно что стыдиться носить очки при близорукости. Ведь близорукий человек ни в чем не виноват. И мы, безработные не ви-

новаты в том, что здесь начался экономический кризис, может быть вызванный искусственно, и что этот кризис лишает работы тех, кто должен трудиться. Поэтому мне нисколько не стыдно, что я безработная. По-моему, стыдиться должна эта страна. Когда я проходила вчера вечером по Тридцать четвертой улице, я видела не меньше десятка нищих, которые спали прямо на улице. Десять человек! Десять! Клянусь вам. Они спали возле больших магазинов с огромными неоновыми вывесками и красочной рекламой. Вот чего, по-моему, следует стыдиться. Как хотела бы я заснять подобную картину на кинопленку, чтобы показывать ее как доказательство в подтверждение моих слов. Потому что многие в Латинской Америке обмануты. Они не представляют себе, как обстоят дела в действительности. Они видят в американских фильмах очаровательную супружескую пару, которая живет с прелестными детьми в красивом доме с садом, ездит в машине новейшей модели… чету, у которой все в жизни прекрасно, и не понимают, что это — ложь. А те, кто не бывал в Штатах, отказываются верить, когда рассказываешь им правду. Говорят: «Да вы просто коммунистка». Вот каких вещей должна стыдиться Америка. Получать пособие по безра-

ботице мне тоже не чуточки не стыдно. По-моему, каждая малость, которую я смогу взять у этих гринго, принадлежит мне по справедливости. «Сколько миллионов и миллионов долларов награбили они в Чили?» — спрашиваю я себя. Да все мизерные суммы, которые я получаю в виде пособия по безработице или, может быть, буду получать в виде пособия по бедности, — ничто по сравнению с тем, сколько они за все эти годы выкачали из Чили. А Аргентина, Боливия, Эквадор, Перу!.. Поэтому к своему положению безработной я отношусь без всяких предрассудков. Нам внушают, что мы должны стыдиться этого, чтобы заставить нас думать так, как угодно им.

Билли Уонг

Четырнадцать лет работает строителем, специализируясь по настилке полов: плитка, ковровое покрытие, паркет, линолеум. В облике этого худощавого человека что-то восточное: он наполовину китаец, наполовину ирландец. Вырос в китайском квартале Сан-Франциско, а сейчас живет с женой и тремя детьми в Редвуд-Сити, рабочем районе с белым населением. У себя дома он с гордостью демонстрирует мне множество комнатных растений и два больших аквариума

с тропическими рыбками. Он хотел бы найти работу садовода — «тогда я смогу наблюдать, как все растет и плодоносит».

По данным на тот день, когда мы с ним разговаривали, 24 процента строительных рабочих в районе залива Сан-Франциско не имели работы, а среди членов местного отделения профсоюза плотников, в котором он состоит, процент безработных еще выше.

За полгода я не проработал ни одной полной рабочей недели. Самое большее — два-три дня в неделю. В последние семь недель вообще ни одного дня не работал. Нет работы. Я разговаривал с нашим профсоюзным агентом по трудоустройству — говорит, работы нет и не предвидится.

При каких обстоятельствах вас уволили в последний раз?

Работа кончилась, вот и все. Ведь на каждой работе мы остаемся лишь до тех пор, пока ее не сделаем. Вот, скажем, мы настилаем полы и за день должны выработать столько-то и столько-то, так? Одного здания — двадцатипятиэтажного дома — хватает нам недели на две. Две-три недели — и работе конец. Тогда идешь в профсоюзный комитет и заносишь свою фамилию в список дожидающихся. Этот список вывешивается на доске

объявлений в комитете, и ты можешь заходить и следить за тем, как твоя фамилия перемещается от конца списка к началу. Работу распределяют в порядке очереди. Если ты получишь работу всего на день-два, это не считается. Ты сохраняешь место в списке. А если проработаешь хотя бы три дня, тебя опять поставят последним.

Настроение от всего этого — тоска смертная. Ничего делать не хочется. Все противно. Спасибо, у жены моей есть работа, да и мне на этот раз удалось получить пособие, не то я совсем бы дошел. Она работает в аптеке-закусочной. Так что мы ухитряемся кое-как сводить концы с концами.

Иногда я ругаю себя за то, что не избрал себе такую профессию, где работа более постоянна. Потому что моя профессия обеспечивает работой только тогда, когда на стройках оживление; в пору застоя положение наше весьма ненадежно. Вообще, строительство — это сумасшедший дом; из-за заказов здесь прямо горло режут. Вылезает наружу все худшее, что есть в человеке. Потому что кругом сплошная конкуренция. Все конкурируют друг с другом. Не только боссы, но и их подчиненные, вплоть до рабочих. Конечно, каждому хочется устроиться получше, зацепиться за работу на долгий срок. Подставить ножку кон-

куренту. И так все время. Настоящие крысиные гонки. Всегда кто-нибудь норовит словчить. Вот почему я не люблю свою профессию…

Сейчас вот не работаю. Жена уговаривает заняться чем-нибудь, — хотя бы рыбной ловлей или охотой — потому что я становлюсь раздражительным. На людей-то я не кидаюсь, нет. Стараюсь держать себя в руках. Но внутри я весь напряжен. Она видит, что я превратился в комок нервов — какая же это пытка сидеть дома в рабочие дни! Ну, поищу какое-нибудь занятие по дому, потом выйду, поброжу пешком или на машине проедусь. Дома места себе не нахожу. Кое-кто из моих дружков целый день в постели валяется, дрыхнут. А я бы не смог: все думал бы, что жизнь мимо проходит. Злился бы, что день даром пропал.

Когда не знаешь, куда тебе деваться, или чем все это кончится, или что тебя ждет впереди, поневоле настраиваешься на мрачный лад. Оглядываешься на прожитые годы, спрашиваешь себя: «Чего ты достиг?» Ну, заимел троих детей, этого не отнимешь. Но чего ты достиг для себя? Ничего! Только надрывался, из кожи лез, чтобы остаться при том же, с чего начинал мальчишкой. Я уж стараюсь поменьше думать об этом:

стоит задуматься, как в голову полезут разные крамольные мысли. Я часто думаю: а что, если все кончится крахом, что, если будет так же, как во время того кризиса начала тридцатых? А ведь люди тогда были гораздо ближе друг другу. Сегодня ни в ком нет сердечности, все друг дружку ненавидят. Никто никого не жалеет. Всем на всех наплевать. Только и слышишь: «Плевал я на тебя...» Кругом сплошная вражда. Никому нет дела до встречного на улице: хоть сдохни, никто не обернется. Каждый гниет в своей скорлупе. Паршиво это. Когда я был мальчишкой, люди так не жили. Тогда, если ты попадал в беду, кто-нибудь приходил на выручку, уж это будьте уверены! Вот если бы вернулись те времена!

А нынешнее время — тьфу! Конкуренция. От нее смердит, она все на свете измызгала. Понимаешь, драка не на жизнь, а на смерть, может, и хороша у жеребцов из-за кобылы или тому подобное, а они перенесли ее на каждый день нашей жизни. Люди превращаются в скотов. Что бы ты ни делал, с кем-нибудь да приходится сцепиться. Нельзя ни на миг расслабиться. Все время надо быть настороже, следить, как бы кто-нибудь тебя не обставил. А в самые последние годы стало еще хуже!..

«ОДНИМ ВОЗДУХОМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ, ВЕРНО?»

Вечные нехватки, а то и беспросветная нужда — удел почти всех безработных. Одни существуют на пособие; другие — и таких большинство — либо вообще не имеют на него права, либо уже лишились его, а сбережения их давно иссякли. Чтобы выжить, люди прибегают ко всевозможным ухищрениям, начиная с попыток получить пособие в обход закона (что наиболее распространено) и кончая мелким воровством.

Франсиско Сенфуэгос

День-деньской стоит он возле центра по безработице в Хьюстоне, у лотка, где продают жареные на вертеле ломтики мяса и маисовые лепешки. Тротуар запружен людьми: все ждут вызова. Большинство — латиноамериканцы, многие из них едва говорят по-английски. Он помогает им заполнять документы.

Высокий, широкоплечий, в свои шестьдесят два года он сохранил прямую осанку. Десять лет проработал в угольных шахтах. Когда шахты были выработаны, выучился на слесаря-механика, потом трудился в доках и на стройках, рубил

туши и водил грузовик. Он почти не надеется когда-нибудь снова получить работу. «К этому привыкаешь. Хотелось бы работать, но я уже старею, и, наверное, придется жить на одно пособие. Черт с ним, пусть хоть кто-нибудь получит работу!»

Он живет в крошечном домике вдвоем с уже немолодой женой. Дети выросли и разъехались. В гараже он устроил маленькую слесарню. «Мастерю тут рыболовные крючки, блесны, грузила и всякую всячину. Так, ковыряюсь по мелочам». Он начинает вспоминать, и порой трудно отделить в его рассказе недавние события от того, что происходило давным-давно.

Последняя постоянная работа у меня была в компании по производству всякого оборудования для ферм. Я поступил туда механиком и проработал восемь лет. Стал у них старшим механиком, потом — помощником мастера.

Но в ноябре 1973-го завод закрыли. Всех уволили. Оставили только шесть человек. Мы все вычистили, отремонтировали, навели полный порядок, и завод продали, ну а нас выставили вон. Вот тогда я и принес первое заявление в центр по безработице. Я мог получать пособие в течение двадцати шести недель, а продлить его в то время

можно было только на три недели.

Я сразу бросился искать работу, но вот в чем была загвоздка: мой возраст, да еще «мокрые спины»[71]. Их тут полным-полно. Платят им по два — два с четвертью доллара в час. Их нанимают даже крупные компании. Ведь белые и легальные иммигранты требуют более высокой платы, а нелегального, попробуй он открыть рот, тут же уволят, и дело с концом. На каждое место десять-пятнадцать охотников, пустовать оно не будет. Знаете, многие нелегальные подделывают вид на жительство. Таких фальшивок полным-полно. А компании берут, смотрят на нее и говорят «о'кей», хотя знают, что бумага поддельная. Это же легко определить на глаз. Настоящий вид на жительство похож на долларовую бумажку, там по краям мелкие штришки, а на поддельном их нет. У иммиграционных властей есть какая-то специальная штука, и они сразу видят, что к чему. Но если им позвонить и сказать: мол, такие-то компании нанимают нелегальных, девяносто девять процентов за то, что они не станут заниматься проверкой. Я пробовал пару раз звонить им, они отвечали: «Мы этим займемся». Но так

[71] Примечания: 71

Wetback *(америк. жаргон)* — нелегальный иммигрант из Мексики, переплывший реку Рио-Гранде.

ничего и не проверяли. Это, скажу я вам, большое жульничество. Крупные компании откупаются. Дают взятки сенаторам, ну и разным там деятелям.

Скоро я перестал и стараться искать работу. Понял, черт побери, что просто нет смысла. Я получал пособие по безработице и тратил пятнадцать-шестнадцать долларов в неделю на бензин, чтобы найти работу.

А сейчас я почти все время провожу возле центра по безработице. Прихожу сюда в четверть восьмого утра, ухожу в полтретьего-три. Помогаю людям заполнять бланки. Вы видели когда-нибудь все эти бумажки? Так вот, мало кто имеет понятие, как это делается. Я заполняю им бланки и говорю, что нужно делать потом, к какому подойти окошку и все такое прочее. И когда они заходят, то уже знают, что к чему.

Этим я начал заниматься еще в 1965-м. Когда компания, где я работал, переехала и оставила меня с носом. Отправился я за пособием в этот самый центр. Пока возился тут со своими бумагами, заметил, что на улице какой-то старик заполняет людям бланки. Медленно так, еле-еле. Оно и понятно, старик. Заполняю я свои бланки, а рядом стоит одна дама. Только закончил, она

и спрашивает: «Вы не заполните мои?» — «Ладно», — отвечаю. И заполнил. Тогда она говорит: «Вот, возьмите». «Что это?» — спрашиваю. «Пятьдесят центов», — отвечает. «Да нет», — говорю. «Возьмите, возьмите, — настаивает она, — это как раз столько и стоит». Дает она, значит, мне пятьдесят центов, а следом подходит какая-то девушка, за ней — парень, короче, я остался, и стал заполнять бланки, и ушел почти с восемью долларами в кармане *(Смеется).* «А ты будешь здесь завтра?» — спрашивают меня. Я удивился: «Завтра?» — «Ну да. Сюда придут несколько девушек. Нужно, чтобы кто-нибудь заполнил им бланки». — «Ладно, — говорю, — приду». Являюсь на следующий день в полвосьмого утра, а девушки уже ждут. Принимаюсь за дело и приношу домой двадцать три доллара. Я стал приходить сюда каждый день, и скоро меня уже все знали. Этим делом я занимался месяцев девять, пока не нашел работу.

Когда компания по производству фермерского оборудования прогорела, пришлось опять идти за пособием. Как-то раз подходит ко мне парень и говорит: «Ты ведь раньше заполнял бланки, верно?» «Да», — отвечаю. «Заполни мои», — просит. Я заполнил, а потом сказал себе: черт побери, по-

чему бы снова этим не заняться? В центр ходили многие, кого я уже знал, и я стал им помогать. Часто отправлялся на поиски работы, а потом опять принимался заполнять бланки. Но года два назад все покатилось под гору. Времена настали — хуже некуда. Полный застой. На фабриках, в мастерских, на стройках — везде. В центре теперь постоянно толклись люди, сотнями. Я понял: работы мне не видать как своих ушей. И перестал ее искать. Искать-то нечего. Так что каждый божий день я топаю сюда. Само собой, работать куда лучше, но работы нет, вот и приходишь, людям помогаешь…

Дают мне и двадцать пять центов, и пятьдесят — кто сколько может. Домой приношу семь, десять, двенадцать, а то и пятнадцать долларов. Смотря сколько приходит народу. Бланки тоже бывают разные. Был тут один парень, так бланк у него, боже ты милостивый, страниц на тринадцать, и на каждой — по десять вопросов с обеих сторон. И ведь на все надо ответить. Парни, у кого такие бланки, обычно с понятием. Дают два доллара. А иной норовит и провести, кинет тебе четверть доллара и — адью *(Смеется).*

Видели, ходит здесь один псих? Цветной парень, он еще при галстуке? Самый настоящий

псих. Все глотает таблетки. Заполнит кому бланк и говорит: «С тебя доллар». За это могут и притянуть, за вымогательство. Я делаю так. Говорю: «Сколько дадите». Сколько дадут — то и ладно. Дадут четверть доллара — отлично. Частенько приходит одна молодая особа, вот от нее я держусь подальше, Не хочу иметь с ней дела. Принесла мне как-то кучу бумаг и за все про все дала десятицентовик. Как завижу ее — полный назад *(Смеется).* Девушка неплохая, но ведь… Говорю ей как-то, а у меня уже было шесть клиентов: «Видишь, — говорю, — вон того парня?» — «Вижу», — отвечает «Он, — говорю, — тоже заполняет бланки. Иди-ка ты к нему». Идет она к нему, и очень даже скоро он подходит ко мне и говорит: «Знаешь что?» — «А что?» — спрашиваю. «Я заполнил той девице бумаги, и сколько, ты думаешь, она мне дала?» — «Десять центов». — «А как ты догадался?» *(Смеется).*

Джорджо Рикуперо

Профессия — инженер-электрик. Родился и вырос в Италии. Там же получил образование. В Соединенные Штаты приехал в 1951 году. «У меня были в Нью-Йорке родственники, они писали: „Приезжай в Америку, это — рай“. Сначала

было трудно. Пробовал я устроиться в ряде мест — ничего не вышло, там требовался специальный допуск. Через несколько лет с этим стало полегче, и допуск я получил. Мало-помалу становился на ноги. Где только не работал — на Юге, на Востоке, на Западе, на Среднем Западе. В конце концов поступил служить в одну авиакомпанию и проработал там около одиннадцати лет. Последняя должность — инженер группы перспективных систем: был уже на руководящей работе».

Ему шестьдесят. Худощав, подтянут. Редкие седые волосы. Очки в металлической оправе. Сильный итальянский акцент. Живет на Лонг-Айленде. Семь лет как не работает инженером.

Когда увольняют, особенно тяжело первое время. Ходишь как убитый. Неужели ни на что больше не годен? О компании думаешь с ненавистью — могли бы что-нибудь придумать, если бы очень захотели, тем более теперь, когда ты на руководящей работе и завязал столько связей. Кстати о связях… Не успели тебя уволить, как все друзья, даже самые близкие, начинают сторониться. Видимо, думают: «Будешь с ним близок по-прежнему — придется что-то для него сделать». Потому и отдаляются. Со временем-то они

к тебе вернутся, но на первых порах трудновато.

В начале уйму времени тратишь на то, чтобы где-то устроиться. Пишешь резюме. Разослал я их, наверное, не меньше трехсот пятидесяти. А потом сдался. Теперь с этим — все, кончено. Ответы звучат очень мило. Формулировки одни и те же: «Бесспорно, Вы обладаете ценным опытом работы в данной области, но в настоящий момент подходящей для Вас вакансии нет. К большому сожалению, мы не можем предоставить Вам работу. Ваше резюме будет храниться у нас в картотеке, и, возможно, в течение следующего года Вы получите положительный ответ». И все. И больше — ни слуху ни духу.

…Стал я мастерить игрушки. Из дерева. Сперва соорудил маленький локомотив с тендером, вагоном-платформой и служебным вагоном. Раскрасил в разные цвета. Теперь делаю до полусотни видов игрушек — всякие там лошадки, лошадки-качалки, пожарные машины… Древесину беру тоже самую разную. Дешевле всего игрушки из сосны и пихты. Те, что подороже, — из дуба, клена, даже из вишни. Один из моих клиентов как-то заметил: «У вас игрушки только для мальчиков. Почему бы вам не придумать что-нибудь для девочек?» Ну я и принялся мастерить

колыбельки, домики для кукол…

Расходы очень большие: газ, электричество, оборудование… Работаю у себя в гараже. Там все полностью оборудовано: пилы, сверлильные станки, токарные станки — три тысячи вложил в это. Работаю практически один. Правда, немного помогает сын. Нанять кого-то в помощь — целая история: пришлось бы выплачивать и страховку по безработице и по нетрудоспособности, и кучу налогов. По правде говоря, даже сейчас, и с маленькой мастерской, хлопот не оберешься. И продать-то ничего не успел, а с тебя уже требуют денег. Лицензия на ведение дела — это двадцать долларов, лицензия на торговлю — опять двадцать долларов… Еще и к делу не приступил, а уже выложи два раза по двадцать долларов. И все-таки постепенно дела идут на лад — в первый год продали товара почти на шестьсот долларов, спустя год — примерно на тысячу восемьсот, а еще через год выручили около трех тысяч. Доходы вроде бы растут. Но растут и налоги, и цена на сырье, так что увеличивается прибыль в целом, но не чистый доход. Я бы сказал так: с этих трех тысяч я имею чистыми от силы восемьсот долларов. И это за целый год работы. Правда, работа доставляет мне удовольствие. И потом, я вижу,

здесь можно развернуть большое дело. Конечно, без денег не разбежишься. Мне, например, нужна просторная мастерская, и я хотел бы выставлять свои игрушки. Обошел несколько маленьких торговых центров: за витрину шириной в фут требуют в месяц семьдесят пять долларов. А за крошечную мастерскую запросили чуть ли не триста-четыреста долларов в месяц. Такие расходы мне не по карману. Вот и приходится пока обходиться гаражом. К счастью, работы хватает, особенно на рождество.

Недавно мы с сыном придумали что-то вроде генератора шума для модели локомотива. Это уже электроника. Берем транзистор, подсоединяем его противоположными полюсами, и он превращается в генератор шума. Издает звук: ш-ш-ш-ш. А с помощью малюсенького приспособления начинает пыхтеть, как паровоз… Самое настоящее электронное устройство, можно вмонтировать в локомотив. Еще построили кораблик с электронным рулевым управлением. Так что не совсем забросил свою специальность.

Но почти потерял надежду опять когда-нибудь вернуться к работе с электронной техникой. Наука и техника развиваются, и, если, что называется, не держать руку на пульсе, безнадежно

отстанешь. Сейчас столько всего нового, особенно в области военной техники. Совершенно новые классы систем, о которых я имею весьма смутное представление. Не говоря уж о том, что нет никакой возможности хоть мельком взглянуть, как они действуют…

«ДАЙТЕ МНЕ ТОЛЬКО ШАНС…»

Для некоторых самое тяжкое — поиски работы, особенно если это затягивается на долгие месяцы. Людей охватывает горькое разочарование, постоянные отказы подтачивают чувство собственного достоинства даже у самых стойких.

Кристен Джекобс

Ей двадцать два. Недавно окончила Мичиганский университет. Имеет степень бакалавра искусств и опыт библиотечной работы. По окончании учебы на протяжении года преподавала по специальной программе, субсидируемой из государственного бюджета. Но вот срезали фонды. «Я страшно расстроилась, была просто возмущена правительством. Я вообще увлекаюсь работой, отдаюсь ей всей душой, и я знала, что мы приносим пользу. Тяжело, когда у тебя выби-

вают почву из-под ног». С тех пор она без работы — четырнадцать месяцев.

Срок государственного контракта истек в июне, а о том, что новые исследования финансироваться не будут, я узнала только в октябре.

С потерей работы все переменилось. Я ощутила полную свою беспомощность. Стала раздражительной. Работу принялась искать лишь в январе. А до того сидела дома и поедом себя ела. «Что толку от моего диплома? — говорила я себе. — Бездельничать меня не учили, а то, чему учили, делать не хочу. Что же получается? А то, что я осталась ни с чем. Что же теперь делать?» Я никак не могла придумать, что теперь делать. Единственное, на что могла рассчитывать, — стать, если повезет, секретаршей, а это куда хуже, чем торговать в какой-нибудь паршивой лавчонке *(Смеется).*

Наконец решила: пойду в университетский центр по распределению специалистов. Разволновалась. Ну хорошо, думаю, у меня есть кое-какие способности. Я разбираюсь в искусстве, умею рисовать. Правда, у меня нет способностей ни к бухгалтерскому делу, ни к канцелярской работе, ни к торговле, ни к распродажам. Зато у меня есть такие качества, как, например, чувство

ответственности *(Смеется).* Качества не деловые, не поддающиеся определению. Пойду-ка туда, думала я, вдруг мне там помогут. Условилась с одним человеком о встрече, пришла и объяснила, чего бы мне хотелось. «Перебирайтесь в Даллас», — сказал он. «Почему?» — удивилась я. «Перебирайтесь в Даллас или Хьюстон, — повторил он. — Здесь вам работы не найти. Вы сумеете найти работу только там». «А вы не можете помочь мне? — спросила я. — Подскажите хотя бы, что можно подыскать?» «Возьмите, — сказал он, — справочник профессий. Вон ту толстую книгу. Все, что я могу вам предложить, — это просмотреть ее, может, вы и отыщите там дело, которое придется по душе». «А что дальше?» — спросила я. А дальше я должна была написать резюме, обойти все агентства общественных услуг и подать не меньше шестисот заявлений. О предоставлении мифической работы, я это знала. На тот случай, если вдруг подвернется что-нибудь такое, чем я смогу заниматься последующие десять лет. Когда я об этом услышала, то чуть не расплакалась. «Не может быть, — сказала я, — что найти работу так трудно. Не может быть».

Я была просто раздавлена. Но все-таки написала кучу резюме и стала следить за объявлениями

в газетах. Ничего подходящего. Всюду требовались люди без квалификации. В официантки идти я не хотела. Канцелярской работы — вообще никакой. В колонке «Профессии» три четверти объявлений приглашают медсестер. Одним словом, ничего подходящего. Мне удалось раздобыть государственный бюллетень, где печатаются объявления о найме «специалистов». На работу, которой меня не обучали. У меня же просто был диплом, дающий право искать такую работу.

Я хочу что-то делать. Найти применение своим умственным способностям. Знаете, в средней школе и колледже, там все время говорили: «Ну, женщины, как только выйдете отсюда, сумейте показать, на что способны». «Женщины — тоже люди», — заявляли они. И вот тратишь шесть лет жизни на то, чтобы вычеркнуть из памяти предыдущие пятнадцать, и хочешь доказать всем: «Эй, вы, я тоже личность. Я что-то могу. Я в самом деле чего-то стою». Едва наконец поверишь в это, как вдруг получаешь тычок в зубы: «Видали, нашлась личность! Да ты никем, кроме секретарши, быть не можешь. Знай свое место».

Я стала наведываться в центр по безработице. Беседы с некоторыми сотрудниками оставляли у меня более чем неприятный осадок. «Что бы

вы хотели?» — обычно спрашивали они. «Быть занятой полный рабочий день и получать по меньшей мере три доллара в час». — «Полный рабочий день и три доллара в час — такой работы у нас нет. Мы можем предложить вам — вот, пожалуйста, два доллара пятьдесят центов за двадцать часов в неделю» — «Этого не хватит даже на то, чтобы уплатить налоги», — возражала я. «Извините, но это все, чем мы располагаем». Только один раз — один-единственный! — нашлась работа, которую я, может, и получила бы. Требовалось менять микрофильмы в кинопроекторе. Только и всего. Оплата — три доллара шестьдесят центов в час. Кажется, тридцать часов в неделю. Я позвонила туда, и выяснилось: у них лежит уже триста заявлений *(Смеется).* Как видите, шансов почти никаких.

Сотрудники центра не только не могли ничего предложить, но даже не пытались отнестись ко мне по-человечески. И вообще мое положение их не трогало. Кто я такая, чтобы надеяться на заработок в два с половиной доллара в час за неполный рабочий день? Помню одну даму. Я вошла к ней и сказала, что ищу место, где платят не меньше трех долларов в час. Объяснила: чтобы выплачивать налоги, мне нужно зараба-

тывать по крайней мере четыреста или пятьсот долларов в месяц. Она сказала: «Подождите, я посмотрю картотеку». Уходит, справляется в картотеке и возвращается. Предлагает место ночного портье в каком-то отеле или мотеле, где несколько месяцев назад кого-то пристрелили. «Вы шутите? — спрашиваю. — Вы хотите, чтобы женщина ночью работала в отеле, где нет охраны и недавно застрелили человека? Это все, что вы можете предложить?» — «А чего, собственно, вы ждали?» — спросила она. «У меня, — отвечаю, — университетский диплом. Правда, особой квалификации у меня нет, но есть способности. Ведь учиться надо на любой работе». — «Ничего другого нет, — отрезала она. — И сами вы тоже ничего не найдете».

Подобное отношение — в порядке вещей. Оно словно подразумевает: «Еще одна явилась. Ищет работу, когда работы нет и в помине». Даже воздух в этом бюро пропах безнадежностью. Я знаю, там есть люди, которых это действительно волнует, но если поработать там немного, работа неизбежно станет в тягость. Потому что тебе нечего предложить людям. Вероятно, в отдельных случаях — можно, но подавляющему большинству ты помочь не в состоянии. Вот какая складывается

ситуация: они не могут тебе помочь, а ты отчаянно цепляешься за них. Продолжаешь ходить туда и надеяться: «Вдруг сегодня да повезет. Вдруг мне ответят приветливо. Вдруг мне не понадобится выстаивать длиннющую очередь». А уходя, думаешь: «Дура ты, дура, и зачем только ходить сюда? Никуда они тебя не устроят».

Со временем мне стало казаться, что я тупица и не способна справиться ни с какой работой. Я часто думаю о своем будущем. Вечно меня преследует страх остаться без гроша и бродить по улицам, тщетно пытаясь найти работу. Как в мелодраме, знаете, — стать пьяницей и кончить свои дни в сточной канаве. Я очень живо представляю себе это. Боюсь, со мной случится нечто похожее. Такое у меня иногда появляется ощущение.

Снова и снова я оказываюсь в тупике, потому что дальше ничего не вижу. Спрашиваю у всех: «Ну хорошо, так что же мне делать? Вы можете хоть как-то меня сориентировать? Хотя бы указать те виды работ, на которые я имею право?» И все мне отвечают: «Извините, но мы не можем вам помочь». И меня охватывает возмущение нашим правительством и нашей экономической системой. Мне отвратителен большой бизнес.

Ведь они делают деньги и сами же их загребают. А рядового, простого, обыкновенного человека просто-напросто спускают в канаву.

«МЕСТА ТЕБЕ НЕ ВИДАТЬ...»

В любом американском городе, большом или маленьком, среди молодежи национальных меньшинств высок процент тех, кто по окончании школы годами не может найти себе место, пробавляется случайными заработками. Сегодня число безработных юношей и девушек достигло астрономических сорока процентов. Причины хронической безработицы очевидны: это и отсутствие профессиональных навыков, и нехватка учебных заведений повышенного типа, и перебазирование промышленности из крупных городов в провинцию, и расовые предрассудки.

Самое удивительное, что молодые люди, о которых здесь пойдет речь, все еще чего-то ждут от будущего.

Карен Льюис

Заштатный городок на юге Миссисипи. Мы сидим на крыльце обветшалого деревянного дома. Ей двадцать два. Миниатюрная темнокожая

женщина. Двое детей. Мужа нет. Почти никаких видов на будущее, если не считать того, что она проходит курс деловой подготовки в производственной школе, которая находится в главном городе округа, в двадцати пяти милях отсюда. За ее обучение платит государство — в рамках Программы профессионального образования и занятости.

Сначала она говорит спокойно, сдержанно. Но едва речь заходит о городке, жизнь которого все еще подчинена стародавним расистским законам, в ее голосе появляются горькие нотки. Это голос человека, который попал в западню, но не смирился с этим.

Я окончила среднюю школу и поступила на работу в «Талверт индастриал». И бросила ее, уж очень это было далеко от дома. Пйлучила место в «Олтри фэшн». Шила мужские рубашки. За день нужно было сшить столько, что я еле успевала. Проработала там восемь месяцев. Обычно тебе дают три месяца испытательного срока и, если ты не отвечаешь их требованиям, отказывают. Меня хотели оставить, их моя работа устраивала. Но там есть одна леди, если она скажет, что тыюй не нравишься, и не захочет, чтобы ты работала, работать ты не будешь. Однажды на уик-энде мы

с ней поспорили, а на следующей неделе меня уволили. Сказали, что я не справляюсь, но я знала, это из-за нее. И ушла.

Кроме как на «Олтри» и «Фрёлинг электронике», работать здесь почти негде. Тут есть карьер, где добывают гравий, а еще у нас делают крошечные скалы из натурального камня для аквариумов. Я обратилась туда. Сейчас, сказали мне, никого не нанимают, позже — будут. Велели зайти через неделю, а когда я пришла, они уже взяли белую девушку. Если у тебя нет знакомств среди белых, места тебе не видать. Я сидела без работы почти пол года. Получала пособие — тридцать пять долларов в неделю. Когда срок вышел, я подумала: единственный способ найти работу — это получить какую-нибудь профессию. Решила поступить в производственную школу.

Чем здесь в принципе занимаются черные после окончания средней школы?

Если появляется семья, дети, живут на пособие по бедности. Если нет — уходят из городка искать работу. Мужчины большей частью устраиваются на железной дороге или занимаются рыболовством. У Фрёлинга они получают гроши, Фрёлинг знает: они будут делать все, что им прикажут. А на лесопильном заводе работать очень тяжело.

Там в основном черные, белые не идут на тяжелую работу.

А почему вы не обратились за пособием по бедности?

Обращалась. В марте, когда истекло пособие по безработице. И только в июле получила первый чек. При этом мне было сказано, что я должна снова пойти за пособием по безработице. Оказывается, его можно было продлить. Поэтому я получила от них один-единственный чек, а потом уже жила на пособие по безработице. Оно больше. И даже когда оно стало опять подходить к концу и мне давали лишь семнадцать долларов в неделю, я решила обойтись без пособия по бедности. Не хотелось больше связываться с ними. Им нужно знать, с кем ты встречаешься, и домой они к тебе приходят, проверяют. С ними никто не хочет иметь дела, разве что лентяи из лентяев.

В конце концов я пришла к мысли, что лучший выход — производственная школа. Городок-то ведь небольшой. И всем заправляют белые. Самый что ни на есть верный способ получить работу — свести знакомство с кем-нибудь из них. Вот та леди, из-за которой меня уволили, выполняет у босса работу по дому, потом идет на фабрику, а жалованье получает одно. Приходит к

нему и в семь приступает к работе. Боссу нужно быть на фабрике к семи. Она отводит в школу его маленькую дочку. Потом делает уборку и готовит. После этого отправляется на «Олтри фэшн» и работает до восьми вечера. Это если ей не надо опять идти к боссу и заниматься готовкой. Она работает на двух работах, а жалованье получает одно. Будьте уверены, ее-то они не уволят.

Белым нужно знать твою семью. Если бы кто-нибудь знал мою мать или отца, я бы получила работу. А раз их никто не знает, дело плохо. Если бы пришла устраиваться не я, а другая черная и леди в отделе кадров хорошо бы знала ее семью — ее тотчас бы взяли. Леди в отделе кадров — главнее всех. Потому что к ней все время обращается босс. «Вы ее знаете? — спрашивает он. — Думаете, она подойдет?» И если она отвечает «да», вы приняты.

Каким образом вы можете познакомиться с белыми?

Если твоя семья не работает на белых, с ними можно познакомиться так: уставишься на них и улыбаешься во весь рот *(Смеется с издевкой).* Если скажешь «Да, са-а-ар» или что-нибудь в этом роде. А заставят тебя есть землю, будешь делать и это. Только так. Ведь у нас в городке еще живо

рабство. Оно длилось так долго, что большинство людей до смерти боятся взять и заявить: «Рабства больше нет. И я буду делать, что хочу». Есть места, куда вход тебе воспрещен. Например, в аптеку, где маленький прилавок с мороженым. Если ты — черный, сидеть там не смеешь. И в кафе с парадного хода черные не заходят, они знают, что к чему. На кухне есть столик, там и сиди.

Есть тут один человек, зовут его У. Б. Дэвис. Он дает в долг под проценты. Если он хорошо тебя знает или ты ему должен — идешь к нему и говоришь, что тебе нужна работа, а то в следующем месяце не сможешь уплатить по счетам. Он берет трубку, звонит, и работа тебе обеспечена. Без дураков. Неважно где, важно, что обеспечена. Нет вакансий у Фрёлинга, он будет обзванивать всех подряд, пока не найдет тебе место. Если ты и в самом деле им не нужен, он говорит, что тебе осталось выплатить ему последний взнос, и они берут тебя. Как только получишь первый чек, тебя выставляют. Вот почему многие у нас говорят: если хочешь сохранить работу, оставайся его должником. Будь ему хоть немного, но должен.

Я знала, найти работу будет трудно, но что это будет так трудно — не ожидала. Ведь я слышала от стольких людей: получишь среднее образование

и будешь иметь работу. При чем здесь среднее образование? Ты можешь окончить восемь классов, но, если белый ёнает тебя, ты получишь работу; а можешь иметь университетский диплом, но, если он не хочет, чтобы ты работал, ты работать не будешь. Пока не уберешься из городка. Пусть белая леди — тупица, пусть не умеет даже расписываться, а я заполню заявление без единой ошибки — ее кожа посветлее моей, и работу получит она. А я поплетусь домой и начну все сызнова.

Моя подруга Салли окончила колледж и получила степень магистра. Подала заявление о приеме на работу в бюро пособий для бедных. Там ей прямо сказали, что черных не берут. Сказали бы хоть: «У нас нет вакансий». А то прямо в лицо: «Черных не берем».

Сейчас я учусь на секретаря-машинистку. Осталось еще семь месяцев. Учимся вести документацию, составлять картотеку, английскому, математике, машинописи, делопроизводству, бухгалтерскому делу, а еще нас и манерам учат. То есть как вести себя на людях, следить за своей внешностью и все такое прочее. Я рада занятиям: дадут потом работу или нет, все-таки чему-то научишься. Пусть даже и не получишь работу

по специальности. Чтобы поступить на государственную службу, к примеру на почту, нужно пройти специальный тест. И в большинстве случаев приходится покидать Миссисипи. Потому что здесь никто не допустит, чтобы черный работал на почте или в банке. Ни в коем случае. Работа на почте — не для черных. Тебе, конечно, позволят разносить почту по домам, но о конторе нечего и думать. Чтобы ты работал за окошком — ни за что. Если их послушать, черные не имеют на это права.

И все до одного знают: ни за одним окошком здесь не появится ни один черномазый.

Микки Элдридж

Он живет с женой и двумя сыновьями на самом юге страны. В старом городке, который некогда был важным торговым портом. Со временем река проложила себе другое русло, и величественные старинные здания глядятся теперь в живописную заброшенную заводь; разве что иной старик забредет сюда вечером половить рыбу.

Ему двадцать три. Веселый, живой. Видимо, его не столокс возмущают, сколько озадачивают экономические трудности и политика расизма, принуждающие многих черных обитателей

городка проводить долгие дни за бутылкой и домино на углу Рыночной и Сосновой улиц.

Я потерял постоянную работу в августе прошлого года. Почти год и две недели назад. Работал оператором-станочником в Атланте, Джорджия. Когда вернулся из армии, работы здесь никакой не было, вот и подался туда с семьей. Потом здесь, дома, заболела теща/и пришлось выбирать — или всем возвращаться, или одной жене. Я подумал: меня так долго не было в родных краях, может, там что переменилось. И мы вернулись. С первого же дня стал искать работу. Но только стоящую, чтоб показать свои силенки. А требовались лишь сезонники: скажем, собирать хлопок или перетаскивать его на маслобойню. Поработаешь месяца три, а потом сиди без дела. Такая работа не по мне. И еще я понял: ничего не переменилось. Наоборот, стало еще хуже.

Что значит хуже?

И не спрашивай, дружище. Идешь и видишь: стоят на углу парни, кто со степенью магистра, кто с учительским дипломом, курят травку или пьют. Пытаются понять: «На черта мне это было нужно, если оно так пойдет и дальше?»

Я бродил по улицам, все спрашивал себя: «Почему? Почему я должен здесь торчать? Что

происходит в этом городишке? Почему здесь не так, как в других местах? Почему нет работы?»

Разговорился как-то с одним человеком, который метил в мэры. Я возьми и спроси его: «Вот станете вы мэром, будет тогда в городе работа?» — «Если начистоту, — отвечает, — есть люди, которые хотели бы построить в городе фабрику. Но всем тут заправляют трое богатеев. Пока люди будут ишачить на их плантациях и фермах за доллар и семьдесят пять центов в час, ничего не выйдет. Они не хотят, чтоб здесь были фабрики. Боятся, что тогда им — крышка». И правда, к чему им конкуренты? Зачем соседство других богатеев? Я знаю кое-кого, кто на них работает, — попади они в беду или случись еще что… Вот вам пример. Есть тут такой Стив Чарлтон, у него полгорода в кармане. Если кто из его парней убьет кого или застрелит, он просто-напросто берет ключи от камеры, идет и выпускает их.

Как-то хотел он освободить из тюрьмы одного парня. Ему отвечают: «Мистер Чарлтон, мы не можем его выпустить». Тогда он и говорит: «Или вы его выпускаете, или ноги вашей тут не будет, на моей земле». Ну и выпустили, конечно. Эти богачи никому не дают ходу. Все хотят себе заграбастать.

Вот парни и ошиваются на углу. Безработица. Я спросил одного: «Для чего ты поступал в колледж?» Он ответил: «Думал, со степенью будет легче. А оказалось, я даже не могу найти работу». Он согласен на любую работу, и я ему верю. Безработица — дело скверное. Парни начинают прикладываться к бутылке. Люди, которые и глотка в рот не брали, становятся пьяницами. Те, кто только баловался травкой, курят ее уже вовсю. И никого это не удивляет. Парни начинают путаться с чужими женами. Я заметил: когда парень без работы, дома — скандал за скандалом. Чаще срываешься, и все такое. Потому что целый день торчишь дома. Конечно, поводов для ссор больше, чем если бы парень ушел в семь утра и пришел полчетвертого. Целый день дома, рехнуться можно. Жена говорит: «Ты не ищешь работу». Это его злит, ведь найти работу он не может. Она тоже злится: хочет, чтобы муж приносил деньги. Ей нужно вести хозяйство, а он помочь не в силах. И вот он идет на угол и ломает голову, где бы раздобыть денег. Домой вернуться нельзя — жена поднимет шум, и вот получается, что он уже затесался в эту компанию, курит до одури, не может обойтись без выпивки, а к вечеру на ногах не стоит. Домой добирается в полной отключке…

У меня уже установилось что-то вроде распорядка. Встаю скажем, часов в шесть утра и — сюда. Все сюда приходят, на угол Рыночной и Сосновой. Люди знают: если им кто нужен — ищи здесь. Они подходят и спрашивают: «Хочешь денек поработать?» Так что иногда торчишь тут целый день. Сидишь, калякаешь о том о сем. Да этим только и занимаемся: сидим и болтаем о том, сколько политиканов уже обанкротилось *(Смеется).* Обсуждаем кучу вопросов. В голове у черных чего только не вертится. У многих — на белых зуб. Они рассуждают: «Как это так все время получается: если белый украдет — значит, он был не в себе? Или поубивает прорву народу, и опять — был не в себе? А сделай что-нибудь черный — тут же его вешать?» Закон существует только для белых. Черных закон преследует. Знаете, тюрьмы здесь набиты битком. До безработицы мы о тюрьме и слыхом не слыхивали. Ну, засадят одного-двух. А теперь парни воруют, и тюрьмы набиты битком.

На углу тебя так и тянет ввязаться в спор. Глотки рвем, спорим о политике. Тут, на углу, умеют шевелить мозгами. Слабоумных не держим *(Смеется).* Самые башковитые — обычно алкоголики и наркоманы. Это все потому, что деваться им некуда, а отключиться-то надо. Многим из них

не нравится, что происходит, да не могут сказать так, как хотелось бы. Вот и надираются для храбрости. Купят пару галлонов вина и попивают себе, облегчают душу.

Некоторых парней выпихнули сюда из Калифорнии. Поехали они туда, да не смогли найти работу, вот и пришлось поворачивать домой, ничего не попишешь. Они рассудили, наверно, что в родных местах хотя бы с голоду не помрешь. У нас как? Если у тебя нет денег, а кто-то раздобудет хлеб — с тобой непременно поделятся. Парни на углу дадут тебе и выпить, прежде чем накормить. Здесь много таких, кто ездил пытать счастья и вернулся. Снова уезжать им неохота: видно, уж очень туго пришлось. Здесь по крайней мере ты можешь пробраться на ферму и стащить арбуз, картошку или еще что. А в городе — нет. Я знаю многих, кто таскает картошку, арбузы, капусту.

А тебе приходилось?

Еще бы. Ты знаешь, что такое убегать с арбузом? Страшное дело! *(Смеется).* Цирковой номер. Бежать с арбузом просто невозможно. Ты хоть раз пробовал бежать с двумя арбузами под мышками? Цирковой номер, говорю, черт побери *(Смеется).* Попробуй на досуге. Выскальзывают проклятые, то и дело останавливайся и прилажи-

вай… Страшное дело *(Смеется).*

Воровать еду мне не так уж часто приходилось. У моего деда есть огород, и еще я рыбачу. Рыбу здешние черные любят, и вот, когда нету других дел, рыбачу. Занимался и продажей рыбы. Много продавал. Ловил в основном прилипал, ну и окуня немного. Имел постоянных клиентов. Тут все школьные учителя покупают рыбу. Я даже продавал рыбу на фермерском рынке. И однажды попался. Вернее, не попался, а просто кто-то донес на меня инспектору по охране природы. Сказали, будто я ловлю непромысловую рыбу. В один прекрасный день появляется инспектор и говорит, что вынужден меня проверить. Но мне здорово повезло: в тот раз весь мой улов был законным. Инспектор сказал, если бы у меня обнаружили хоть одного окуня, это бы обошлось мне в сто пятьдесят долларов. Сто пятьдесят долларов, невзирая на размер рыбины! С тех пор я стал поосторожнее.

Уходил рыбачить вниз по реке. Там и ловил окуня. Видел бы это инспектор! *(Смеется.)* Рыбачил месяцев семь, в день набегало от четырех до шести долларов. Перегораживаешь участок реки сетью, отойдешь ярдов на пятьдесят и ставишь вторую. И оставляешь на всю ночь. Рыба попадает

в сеть и запутывается. А утром ты возвращаешься и выбираешь сети.

Но с этим пришлось покончить. Сети часто воровали. Были такие парни, которым тоже хотелось подзаработать кой-какую мелочишку. Тяжелые времена, дружище. Кто кого. Этим парням тоже нужны были деньги, и они стали за мной следить. Наверное выслеживали, когда я забрасывал сети. Кто кого: только ты уйдешь, как они тут же их вытягивают. Потом отойдут подальше и снова забрасывают. Я зарабатывал на рыбе пять-шесть долларов в день, а сети стоили мне тридцать. Я откладывал деньги, собирался купить еще одну сеть, чтобы зарабатывать чуть побольше. Вообще мне бы хотелось иметь шесть или семь сетей. Но — кто кого: я проиграл. Чем больше сетей покупал, тем больше у меня крали, и я понял, вся моя работа идет насмарку.

Я берусь за все, что даст хоть какой-то заработок. Как мой отец, вожусь с водопроводом, научился у него еще мальчишкой. Если кому-то нужно провести трубу или заделать течь, я берусь это сделать и запрашиваю всего два-три доллара, а водопроводчик потребует двадцать долларов в час. Или работаю на уборке сена. Копна — один цент. Пятьсот копен — пять долларов. Работа

тяжелая. Копна весит сто — сто пятьдесят фунтов, накидаешь пятьсот копен, а потом еще полезай на скирду и укладывай их. Нет, за пять долларов это, скажу я тебе, адова работа.

Я и хлопок собирал. Если ты никогда в жизни этим не занимался, то наработаешь в день на семьдесят пять центов, от силы на доллар. Чтобы заработать четыре доллара, нужно быть сильным и проворным. Видел когда-нибудь хлопковый ряд? Он тянется на милю. Ты собираешь хлопок и все время тащишь за собой мешок. Солнце жарит вовсю, а от ядов, которыми травят вредителей, у тебя свербит в носу. Только ты со своим мешком добрался до конца ряда, как тащи его обратно — на весы. Тяжкий труд. Пока-то наберешь сто фунтов хлопка.

Но если подойдет время уборки, а другой работы не подыщу, пойду на хлопок. Сейчас платят чуточку побольше. На хлопок пойдет много парней, ведь больше здесь делать нечего. Как перед богом клянусь, пойду, пусть даже и за четыре доллара в день. Это хоть как-то занимает мысли.

«ПРОФСОЮЗ НУЖЕН ПО ГОРЛО»

«Элтон продакте корпорейшн»[72] — одна из крупнейших в мире межнациональных корпораций, которая находится на территории Соединенных Штатов. На нее работают в Америке шестьдесят восемь тысяч человек. Восемьдесят процентов из них не объединены в профсоюз. Не так давно Элтон выстроил большой завод в Линкольн-Вэлли — аграрном районе на юго-востоке страны. Союз рабочих-пищевиков (СРП) развернул кампанию за создание на заводе профсоюза и с трудом добился права защищать интересы двенадцати тысяч рабочих Линкольн-Вэлли. Однако в ходе переговоров о коллективном трудовом соглашении Элтон отказался удовлетворить самые существенные из требований СРП. Ответом явилась забастовка, начатая профсоюзом в октябре 1976-го.

Она длилась восемь месяцев. Наконец Элтон предпринял попытку сорвать ее: ворота завода были широко распахнуты, людей приглашали занять свои рабочие места, угрожая увольнением тем, кто будет продолжать забастовку. Пять дней у ворот не прекращались стычки: бастующие пытались помешать штрейкбрехерам проникнуть

---

[72] Примечания: 72
Все названия и имена здесь изменены. — *Прим. авт.*

на завод. Последовали аресты. Ряды забастовщиков дрогнули. И в конце концов по предписанию арбитражного суда профсоюз вынужден был сложить оружие и подписать соглашение, согласно которому СРП в Линкольн-Вэлли был легализован, но его требования были сведены к нулю.

Одним из условий соглашения было увольнение — до арбитража — тридцати восьми членов профсоюза, обвиняемых компанией в насильственных действиях во время забастовки. Когда я беседовал с «антоновскими тридцатью восемью» — так их скоро стали называть в округе, — они уже двадцать месяцев сидели без работы: восемь месяцев забастовки плюс год разбирательства в арбитраже. Они надеялись через несколько месяцев отвоевать свои рабочие места, но твердой уверенности в этом у них не было.

Наши беседы проходили в штаб-квартире «1236» — местного отделения СРП, в одноэтажном здании рядом с кегельбаном. Пока мы беседовали в задней комнате, в главном помещении собралось около дюжины мужчин и женщин. Они потягивали кока-колу, рассказывали друг другу разные истории. Члены профсоюза то и дело входили и выходили, многие были с детьми.

Конрад Келли

Он — руководитель «1236». Крупный, громкоголосый, грубиян и сквернослов. Бесконечно предан своему делу. Активист ряда общественных организаций в Линкольн-Вэлли: «Это часть моей работы». Посещает курсы истории профсоюзного движения, ораторского мастерства и другие. Во время длинного и несколько хаотичного интервью приводит все новые примеры несправедливого обращения компании с рабочими. С негодованием вопрошает: «И это сострадание? И эта компания, как они уверяют, ориентируется на людей?» Но все-таки не может сдержать восхищения этой компанией, с которой связана вся его трудовая жизнь: «Один из крупнейших в мире пищевых концернов. Завод в Линкольн-Вэлли выпускает пять миллионов фунтов еды в неделю. Что бы вы не назвали, не найдется ничего такого, чего бы не выпускал „Элтон“. Вы жуете пирожок — пирожки делает „Элтон“. Заказываете в ресторане хвосты омаров — хвосты омаров делает „Элтон“. Вам подают в „Уолдорф-Астории“ коктейль с креветками — и очень может быть, его тоже сделал „Элтон“. Креветки у „Элтона“ подвергаются сушке сублимацией; стоит вам опустить

их в воду, подкисленную лимонным соком, как они снова принимают первоначальный вид. Я пробовал, чертовски вкусно. „Элтон“ производит и фирменные стеклянные банки для расфасовки своих продуктов, и фирменные крышки для этих банок, и фирменные этикетки на эти банки, и фирменные пластиковые стаканчики для маргарина. „Элтон“ полностью обеспечивает себя технологическим оборудованием и емкостями. У „Элтона“ есть свои тепловозы.

„Элтон“ — фантастическое чудовище, охватившее своими щупальцами весь мир».

Я один из ветеранов «Элтона». До того, как попасть сюда, двадцать три года отработал на элтоновском заводе в Делавэре. Забавная получилась история — я участвовал в работе последнего комитета уполномоченных в Делавэре. Мы знали, что они закрывают завод и перебираются сюда. Добились, чтобы соглашение предусматривало компенсацию за увольнение. Добились права на перевод. Старались выжать из них как можно больше. Однако компания противилась тому, чтобы люди перебирались в Линкольн-Вэлли. Во-первых, потому, что все работавшие в Делавэре состояли в профсоюзе, а на новом месте боссам это было ни к чему. А потом, сорок

процентов делавэрских рабочих — черные, а в Линкольн-Вэлли черного населения всего-навсего восемь процентов, и компания опасалась, что появление стольких негров повредит ее репутации в деловых и общественных кругах. Так что людей всячески отговаривали ехать. В итоге из восьмисот человек перебралось девяносто. Сам я приехал потому, что уже имел довольно большой стаж и, если бы остался, потерял пенсию.

Едва мы тут обосновались, как узнали: администрация устраивала на заводе собрания для нанятых в Линкольн-Вэлли рабочих. Им говорили так: «Сюда приедет группа из Делавэра. Они приступят к работе через неделю. Люди они упрямые, шумные. От них можно ждать всего. Но мы связаны с профсоюзом соглашением и — нравится нам это или нет — вынуждены принять их. Естественно, их приезд нежелателен, и мы надеемся когда-нибудь от них избавиться». Так что когда мы первый раз пришли сюда, на нас смотрели как на диких зверей. Потом начались неприятности. Я проработал в Делавэре двадцать три года, двенадцать из них — начальником цеха, и в моем личном деле всегда было чисто. И вот не проходит и недели, как там появляется первая запись. А следом — еще пять.

Без профсоюза я здорово нервничал, чувствовал себя как рыба на суше. Я потащил за собой всю семью, — в Делавэре мы жили в городском предместье, а тут забрались в сельскую глушь. Я купил на отшибе небольшую старую ферму, — вокруг новые люди, а у Элтона дело идет к тому, что скоро мне сделают последнее предупреждение. Последнее предупреждение означает, что в следующий раз тебе укажут на дверь. Так они поступали со всеми, кто приехал из Делавэра. Оказывали самое что ни на есть грубое давление. Подвергали нас явной дискриминации. Ну и дела, думал я. Ничего не поделаешь, придется организовать профсоюз.

К счастью, так думал не только я один. Самый большой профсоюз в этих краях — СРП — на заводе примерно в тридцати милях отсюда. У них и жалованье приличное, и пособия. «Почему бы нам не обратиться в СРП?» — подумали мы. Написали заявление и — туда. Произвели впечатление на тамошнее руководство. Они обратились в Чикаго и получили разрешение на организацию нашего профсоюза. Не прошло и двух недель, как семьдесят пять процентов наших рабочих получили членские карточки.

Порядок такой, что за этим следуют выборы

уполномоченных, которые избираются большинством голосов. И тогда администрация развязала ожесточенную кампанию — в жизни такого не видывал! Раз в неделю нас заставляли смотреть в кафетерии фильмы о том, как профсоюзы устраивают кровавые бани — все там вооружены ножами и ружьями, — как они натравливают черных на белых, а мужчин — на женщин. Компания не поскупилась и на неоновые щиты, где то зеленым, то белым вспыхивало: «Не голосуйте за профсоюз!» Начальство лично вызывало тебя на беседу. Домой тебе посылали письма. Прибыл президент компании и говорил с нами, он это делал, наверное, впервые в жизни. Должно быть, дело на заводе обстояли неважно, потому что, когда сюда набирали людей, из четырнадцати тысяч, подавших заявления, на работу приняли двенадцать тысяч, а ведь брали только тех, кто был против профсоюзов. Так что когда семьдесят пять процентов рабочих записались в профсоюз, администрация пришла в замешательство. Несмотря на сильное противодействие, профсоюз одержал-таки победу на выборах. Правда, мы победили с преимуществом всего в двадцать один голос, но это была победа.

К тому времени я уже довольно активно за-

нимался организационными делами. Поставил уйму людей на профсоюзный учет, а еще ходил и убеждал всех и каждого голосовать за профсоюз. После выборов решил: выдвину свою кандидатуру на пост руководителя нашего отделения. Поскольку я имел солидный опыт профсоюзной работы, а почти никто на нашем заводе не имел никакого опыта, я решил, что эта работа мне по плечу. Начал кампанию и повел ее как одержимый. Мне-таки пришлось потрудиться, пока меня избрали. Ведь кандидатур было семь, а в уставе профсоюзе сказано, что его руководитель избирается большинством голосов. При семи кандидатах собрать столько голосов очень трудно, но я прошел. На первом же голосовании.

Вслед за этим началась напряженная борьба. Компания отказывалась признать профсоюз, и переговоры превратились в настоящий цирк. Едва нас облекли полномочиями, мы вступили в переговоры о трудовом соглашении. Бились над этим с июня по октябрь, и все без толку. Компания предъявила нам ультиматум. Не уступала ни на йоту. Стремилась лишить нас и того, чего мы уже добились. Поэтому мы устроили забастовку. Она длилась с октября по июнь, и переговоры то возобновлялись, то прекращались. К ним был

привлечен даже глава Федерального бюро по посредничеству. Он сказал, что ему не привыкать улаживать трудовые конфликты, но никогда еще не приходилось иметь дело с такой несговорчивой компанией. Ведь речь шла не о деньгах, а всего лишь об основных правах рядового рабочего — члена профсоюза. Нам отказывали и в половине тех прав, которые обычно предусматривает соглашение. Например, чтобы член профсоюза вошел в состав заводского комитета по охране труда. Мы сказали: «Мы хотим быть частью вашей программы по охране труда. Хотим, чтобы труд на заводе был безопасным». Мы настаивали потому, что этот завод считается в стране одним из худших в плане охраны труда. До того как соглашение вошло в силу, только за неделю людям отхватило ломтерезкой восемь пальцев. Один из рабочих потерял на одной руке три пальца. У меня все внутри перевернулось… Но компания нам отказала. Они дрались с нами не на жизнь, а на смерть. В конце концов один член профсоюза все-таки вошел в комитет по охране труда, но что может сделать один? Результатов обычно добиваются объединенными усилиями.

Я прошел через ад, и семья моя — тоже. Во время забастовки работа была сумасшедшая. Каждый

день проводил здесь не меньше пятнадцати — восемнадцати часов. Для пикетчиков надо было оборудовать походную кухню. Надо было следить, чтобы круглые сутки ворота были под наблюдением. Надо было поддерживать в людях боевой дух. Они должны были знать, что руководство — в гуще событий, что мы не отсиживаемся дома, когда другие идут в пикет. Мы шли в пикет и разъясняли, почему бастуем, почему нужно продолжать забастовку и почему нам так важно одержать победу. Разъясняли суть переговоров, позицию компании и нашу позицию. Регулярно устраивали митинги, чтобы заручиться поддержкой. Нам этих митингов хватит до самой смерти *(Смеется).*

Я совершенно забросил семью. А от наших финансовых затруднений ум заходил за разум…

Была и еще одна проблема — угрозы. Раз восемь жене и детям угрожали по телефону. Говорили: «Пока вы все спите, к вам в окно влетит зажигательная бомба и спалит дом». Или: «Мы твоему мужу голову оторвем». После этих звонков жена ужасно занервничала. Собралась было совсем уехать из штата. Я до хрипоты спорил с ней, чтобы удержать ее здесь. Я бы с ней не поехал, даже если бы она и настаивала, но пытался объяснить,

что все это в порядке вещей и для беспокойства нет никаких оснований. Мы поменяли телефонный номер, и он не был внесен в телефонный справочник. Мне не раз звонили и сюда, грозились свернуть шею. Просто-напросто запугивали. И порой я давал слабину. Оглядывался, когда вел машину, избегал людных мест. До сих пор с неохотой хожу по магазинам или в кино.

Положение усугубилось, когда меня арестовали. Пришлось как хорошему руководителю нарушить судебные предписания — чтобы показать моим людям: с законом шутки плохи *(Смеется).* Меня поймали с поличным и посадили. За нарушение судебных предписаний меня арестовывали, наверное, раз пять. Дети в школе говорили моим ребятишкам: «Что, опять твой отец сидит под замком? Сидит он, сидит в тюрьме».

И вот меня уволили. По правде сказать, я здорово обеспокоен. Из-за арбитража. Чувствую: должен выиграть дело. А если нет? Моя семья лишится права на госпитализацию. У нас трое детей. У меня нет безусловного права на пенсию. Лучше уж приготовиться к самому худшему…

Я провел не одну бессонную ночь. Издергался до предела. И здоровье сдало. Я, как мне кажется,

человек сильный и крепкий, но вполне могу заработать язву. А будучи руководителем, обязан подавать пример и сохранять спокойствие. Иногда люди так обгадят тебя с головы до пят, что ты готов душу из них вытрясти, но сдерживаешь себя. Среди штрейкбрехеров попадались такие, что сколько ни проживу, буду помнить. Когда мне встречается эдакий суперскэб и у нас разгорается спор, так и тянет взять и врезать ему хорошенько, но как руководитель профсоюза не могу — дурной тон. Но я мстительный. Я расквитаюсь с ними. Когда уже не буду руководителем. Попадись они мне, я душу из них вытрясу. Жду не дождусь этого. Мне лет десять не приходилось драться по-настоящему, но я сумею за себя постоять.

Приходится заботиться и о тридцати восьми. Это вот помещение стало общественным клубом, я специально так сделал, чтобы люди не сидели в четырех стенах у себя дома, раздумывая, что же происходит. Этих людей жестоко обидели. Некоторые из них — сущие дети. Им нужно, чтобы кто-то обязательно вел их за руку. Я должен ободрять их, чтобы они хоть на что-то надеялись. Если не буду этого делать — все потеряно.

Я подбадриваю их, а что-то во мне говорит: «Врешь ты все, сукин сын…» *(Смеется.)*

III.
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОБРАЗ СМЕРТИ

Взглядом публициста
Майк Ньюберри
ЙЕХУ
СО СНАЙПЕРСКИМИ ВИНТОВКАМИ
ПОДЗЕМНЫЕ ГРОБНИЦЫ

По милости господней мы в нашей стране обладаем следующими тремя драгоценнейшими сокровищами: свободой слова, свободой совести и благоразумием не пользоваться первыми двумя.

Марк Твен

Вопрос о том, должна ли власть принадлежать народу или высшему сословию, служил причиной непрерывных смут, раздиравших в древности Грецию и Рим, точно так же как теперь он вызывает раскол в каждом народе, если только кляп деспотизма не лишает его возможности мыслить и говорить.

Томас Джефферсон

Под горными склонами Грейт-Фолс (штат Монтана) молодые люди погребают себя в глубоких норах.

Среди дремучих лиственничных, сосновых и еловых лесов в сердце диких Скалистых гор природа сохранила все свое царственное великолепие и красоту. Этот глухой уголок, не затронутый переменами последних двух столетий, остался заповедником старины. Современный человек приходит сюда благоговея в поисках мира и успокоения.

Он ищет их — и обретает, ибо эти горы всегда были прибежищем мира и источником жизни.

В горах Монтаны, питая широкую Миссури, бьет Джайент-Спринг — самый большой источник в мире. По хребтам Элкхорн, Биг-Белт и Драй-Рэндж проходит материковый водораздел, посылающий реки на восток и на запад поить поля Америки. Здесь обитают черные и бурые медведи, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, горные козлы, рыси и дикие собаки. Водятся лысые и золотые орлы — великолепные птицы, символ нашей веры в силу личности и ничем не стесненную ее свободу. Орлы искали жизни вольной, не знающей ни пут, ни грязи, и обрели ее здесь, где они могут свободно парить в небесах, не опасаясь охотника, где их мирный полет не будет прерван метким выстрелом.

Здесь, короче говоря, был тихий оазис Америки.

Был — но теперь его больше нет.

Теперь сюда явились молодые люди, тоже по-своему великолепные в щегольской форме со стрижкой «морячок», веселые, белозубые, явились, чтобы похоронить себя в подземных гробницах, придавленных толщей горных пород. Эти молодые люди явились сюда, чтобы ждать судного дня.

Где-то в горах штата Монтана, вблизи Грейт-Фолс, военно-воздушные силы Соединенных Штатов выкопали сто пятьдесят глубоких колодцев. В каждом из них была укрыта ракета «Минитмен» со смертоносной ядерной боеголовкой. Не отличающаяся скромностью, падкая до сенсаций пресса хвастливо заявила, что, кроме того, неподалеку погребены в земле еще пятнадцать «контрольных бункеров» и там в «отрезанной от всего мира камере» за метровой толщей бетона и стекла сидят будто бы двое молодых людей и смотрят на распределительный щит с кнопками, при помощи которых по сигналу могут обрушить гибель на наш мир Эти молодые люди, как нам рассказывают располагают всеми привычными удобствами, чтобы бдение их было приятным. Книги, пища, вода, электричество, кровати, стулья и собственные запасы кислорода

— на случай, если ядерное пламя поглотит весь кислород, предназначенный для простых смертных в реальном мире на поверхности земли. С помощью внутреннего телефона они могут беседовать между собой, обмениваться впечатлениями о знакомых девушках или играть в шахматы. Но «они не могут коснуться друг друга» Говорят, изолированные половины их гробницы, площадью двадцать на двенадцать футов каждая, разделены стеной из бронестекла. Бронестекло — предосторожность на случай, если один из двоих вдруг решит начать ядерную войну по собственному почину.

Пентагон со всей своей мудростью устроил так, что эти молодые люди, чтобы привести в действие свое оружие, несущее ядерную смерть, должны одновременно вставить ключи в замки, одновременно повернуть стрелки на циферблатах, одновременно нажать на кнопки.

Джон Фишер, редактор «Харпере», не слишком успокаивающе описал возможные последствия какой-нибудь ошибки или просчета.

«Если кнопка будет случайно нажата, исчезнет Москва (или Ленинград, или Киев) и возникнет война, которая может уничтожить почти все человечество; поэтому возможность несчастных

случайностей должна быть исключена».

Именно такого «случайного» уничтожения почти всего человечества мудрецы из Пентагона и пытались избежать, придумав предохранитель из бронестекла. (Уничтожить человечество с заранее обдуманным намерением или случайно — большая разница.) Вот как Фишер описывает назначение стены из бронестекла:

«Если в весьма маловероятном случае один из контролеров сойдет с ума и решит своей волей ввергнуть земной шар в атомный хаос — в некий Армагеддон, он окажется бессилен. Он не сможет принудить своего напарника повернуть выключатель и не сможет убить его, чтобы завладеть вторым ключом».

Жизнь этих добровольных затворников не слагается из одних тревог. Она имеет и свою светлую сторону. Университет военно-воздушных сил предложил, чтобы молодые люди, ожидающие в своих подземных гробницах судного дня, коротали время, изучая науки, связанные с авиацией и космосом, — воспаряя в мечтах в небеса, они будут охотнее ползти, подобно кротам, к преддверию ада.

Один мыслитель из университета военно-воздушных сил уже видит, как «летчик будущего

является на свой командный пост в сорока футах под землей, насвистывая „Беспредельную синеву“». Он высказывает предположение, что «дежурство в подземных бункерах не будет считаться тягостной обязанностью. Наоборот, оно будет рассматриваться, как большое удобство; где отыщешь более спокойную обстановку для систематических занятий?»

Организаторы интеллектуальной жизни в университете военно-воздушных сил, очевидно, не замечают всей парадоксальности этого плана. По-видимому, интеллектуала нового стиля — интеллектуала Армагеддона не слишком беспокоит то обстоятельство, что изучение науки о пространстве, о чудесах космоса, неведомых небесах будет проводиться глубоко под землей; ибо, как отметил Джон Фишер, «служащие военно-воздушных сил издавна были самыми антиинтеллектуальными из представителей всех родов войск».

Однако подземные гробницы все это изменят.

Предполагается, что в капсулах из бронестекла начнется подлинный ренессанс науки. «Военно-воздушные силы просто одержимы идеей высшего образования. Ближайшая задача — добиться, чтобы каждый из 120 000 офицеров

получил степень хотя бы бакалавра искусств или бакалавра наук; — пишет Фишер. — Кроме того, в дальнейшем офицерский чин будет присваиваться только лицам, имеющим диплом о высшем образовании». Разумеется, погоня за знаниями в этих, как их называет Фишер, «подземных башнях не слоновой кости» будет несколько ограничена пространственно, но, как бы то ни было, ясно одно: ядерному палачу будущего, прежде чем претендовать на эту должность, придется запастись университетским дипломом или даже степенью доктора философии.

Как случилось, что здоровые, интеллектуально одаренные, энергичные, любознательные молодые люди, живущие яркой полноценной жизнью, люди с таким интересным будущим впереди, мечтающие о полетах в небеса, где поет душа, о победах над пространством, о путешествиях на далекие планеты, послушно, словно мыши, заползают в стеклянные клетки глубоко под землею, чтобы, подобно этим подопытным мышам, кротко ждать, не прикажут ли им нажать кнопку, которая низвергнет и их самих, и их мечты, и весь мир в пылающий ЗД?

Как случилось, что американская молодежь, воспитанная на джефферсоновской вере в демо-

кратию и права личности, с охотой готова стать орудием массового уничтожения?

Как случилось, что люди с высоким интеллектом, овладевшие частью самых сложных тайн природы, опускаются до поведения, столь же упрощенно-прямолинейного, как у удава или пиявки?

Как случилось, что порядочные, терпимые, добросердечные люди, которые в большинстве своем не способны убить даже одного человека, безмятежно, без протеста и сомнений принимают образ жизни и образ мышления, допускающий убийство миллионов таких же людей, как они сами?

Как случилось, что такой физик, как доктор Ральф Лэпп, сообщает о наличии у правительства Соединенных Штатов запаса водородных и атомных бомб, которого «хватит, чтобы двадцать пять раз переубить весь Советский Союз», и ни в конгрессе, ни в одном из высоких собраний страны, ни в церквах христовых никто не задает вопроса, почему продолжается изготовление средств для «переубивания», кому выгодно это «переубивание» и почему считается необходимым «переубивать» граждан Советского Союза по двадцать пять раз каждого?

На каком основании помощник министра обороны так расценивает настроение страны, что, не сомневаясь в своей безнаказанности, осмеливается публично заявлять, будто правительство Соединенных Штатов, конституционный слуга народа, в вопросах, связанных с войной и военными приготовлениями, имеет «право лгать» народу, которому оно служит?

Что произошло с Америкой? Что происходит с Америкой сейчас?

Разумеется, задавать подобные вопросы легче, чем отвечать на них. И все же ответы при желании можно найти в самих вопросах.

Некоторые из этих ответов скрыты под горными склонами вблизи Грейт-Фолс в сознании молодых людей, заключенных в подземные гробницы, где они тихонько поигрывают в шахматы и ожидают, сами не зная чего. Нам неизвестны политические взгляды этих добровольных узников, но, во всяком случае, можно предположить, что они искренне считают свое поведение логичным и разумным. И верят, что иного разрешения всемирных проблем не существует; что угроза, которая им чудится, существует в действительности; что смерть, возможно, придется принять, хотя это и нежелательно, поскольку другого вы-

хода нет; что неизбежное лучше всего принимать стоически.

Весьма вероятно, что эти молодые люди за всю свою жизнь не имели ни единой передышки от войн или от угрозы войн. Войны — большие и малые, холодные, теплые и горячие, войны с помощью огнеметов и напалмовых бомб, войны грязные и джентельменские, ограниченные и неограниченные, внутренние и внешние, — ими до предела наполнена жизнь целого поколения.

Однако эта печальная истина не травмировала достаточно глубоко общественное сознание. Наоборот, с ней свыклись, как свыкаются с хромой ногой или с больным сердцем. Все средства массового воздействия — радио, пресса, телевидение — долго и упорно добивались этого. Все учебники — от детского сада до университета, — все учебные курсы. Той же цели служат «комиксы», кинобоевики, деятели гражданской обороны, сознательно культивирующие атмосферу страха, и государственные мужи — прежде всего государственные мужи, вдохновляющие глашатаев отчаяния рангом пониже и непрерывно подающие сигнал опасности, словно сирены воздушной тревоги, которые никак не остановятся. А народ тщетно ждет сигнала отбоя — его все нет.

Обработка человеческого сознания превратилась в профессию. В ход по очереди пускались то самые грубые, то самые тонкие методы — и они принесли свои плоды.

Представители этой профессии, почти или вовсе неизвестные широкой публике и стране в целом, в подавляющем большинстве, как мы попытаемся доказать в этой книге, тяготеют к крайним правым оттенкам нашего политического спектра.

Прежде считалось, что психологическая война должна вестись против армий «враждебной» нации, но сэр Брюс Локкарт, старейший деятель английской разведки, думает по-другому: для того чтобы преуспеть в создании милитаристских настроений, он рекомендует «адресоваться к массам». «Холодная война» именно так и велась. «По сути дела, мы втянуты во всемирный конфликт идей», — пишет в своей книге «Оружие на стене. Мысли о психологической войне» Меррей Дайер, подвизающийся в Управлении изучения боевых действий (психологической войны. — *М. Н.*) Университета Джонса Гопкинса. И поэтому:

«Лица, отвечающие за деятельность правительства в этой области, были бы виновны в халатности, если бы сосредоточили все внимание

на своей мишени (на „враге“) и не занялись бы положением в своей собственной стране, которое препятствует им выполнять их миссию…»

Адепты психологической войны, добиваясь полной свободы рук для того, чтобы обеспечить единодушную поддержку «холодной войне», стоят перед угрозой поражения. Мир и война, демократическая вера в право на несогласие и всеобщая покорность целям Пентагона В «холодной войне» неизбежно должны были вступить в конфликт. И этот конфликт достиг сейчас в Америке своего апогея. Возможно, это последнее столкновение между теми, кто верит в неизбежность войны и считает, что наша нация была учреждена как «республика», а не как демократия, и теми, кто защищает, охраняет и расширяет демократическое наследие, которому наш народ обязан своим величием, кто полон надежды, что это величие можно сохранить и умножить при мирном развитии. Никогда еще в новейшей истории этот конфликт не был столь острым.

Настоящая книга представляет собой попытку исследования этого конфликта.

Это не разоблачение правых и не осуждение коршунов войны в обычном смысле. Это и не очередной бухгалтерский перечень действую-

щих лиц многочисленных кабинетов и кулуаров политических Ничегонезнаек[73].

Эта книга стремится установить, почему молодые люди в кельях, погребенных под не знавшей плуга землей Грейт-Фолса, принимают, как свои собственные, идеи, которые методически культивируются на ракетном кладбище «Минитмен». Каким образом эти идеи были внедрены в их сознание? Зачем? Кем? Какие методы и орудия применялись теми, кто пытался ввести контроль над мыслями? И почему, вопреки всем усилиям мастеров психологической войны, этот план вовсе не обязательно должен увенчаться успехом?

ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ

[73] Примечания: 73

Прозвище членов тайной организации, существовавшей в США в середине XIX века и ставившей своей целью значительное ограничение политических и гражданских прав граждан неамериканского происхождения. Прозвище это возникло потому, что члены организации на все вопросы о ней отвечали: «Я ничего не знаю».

Ружья, дробовики, пистолеты покупайте лично… В один прекрасный день ружье может спасти вашу жизнь. У нас они есть. Напишите, что вам требуется. Брошюра «Все об огнестрельном оружии».. Как приобрести его законным путем, что приобрести, как стрелять.

Рекламное объявление в «Нэшнл ревью»

Следует ли, отрубив «безбожные» головы коммунистов, оставлять «безголовые трупы» на дорогах, или же лучше развешивать обезглавленные тела на деревьях как грозное предупреждение «богобоязненным»?

Эта философская проблема поставлена в книге «Уходите высоко в горы» преподобного Далласа Рокмора, которая рекомендуется как «руководство по боевым действиям, необходимое каждому родителю-христианину и каждой родительнице-христианке» Книга распространяется вашингтонской «Либерти лобби», подвизающейся при «Консервативной коалиции», как она сама себя именует. Пожалуй, с точки зрения людей, воспитанных на образцах обычной политики, охота за головами как-то не вяжется с

повседневной деятельностью вашингтонских лоббистов. И все же этот справочник по вопросам предвкушаемых ими антикоммунистических «партизанских» действий на самом деле продается в Вашингтоне на расстоянии выстрела от Капитолийского холма. И издается он влиятельной лоббистской организацией, пользующейся поддержкой многих из наших наиболее видных и уважаемых сенаторов и конгрессменов.

Может быть, следует просто посмеяться над руководством по методике охоты за головами, распространяемым деятелями вышеупомянутой организации, ежегодный бюджет которой, достигающий 90 000 долларов, вдвое превышает бюджет Американского института нефти или индустриального отдела АФТ — КПП? Но смешок получается какой-то неловкий, нервный, прерывистый.

Право же, к этому нельзя отнестись серьезно. Нельзя? Может быть, мозговой трест «Консервативной коалиции» впал в буйное помешательство? Или за предложениями правых действительно спрятан пистолет?

Книга-учебник «Уходите высоко в горы» прямо указывает, где следует прятать, как чистить огнестрельное оружие, как им пользоваться и в кого

стрелять. Кроме того, книга зовет и вдохновляет «армии господни» разделаться с «адскими силами антихриста — русскими коммунистами» и несет следующую «христову весть»:

> «Огнестрельное оружие должно храниться в надежном тайнике.
>
> Для его укрытия есть немало удобных мест, но особенно рекомендуются Скалистые горы.
>
> Вы можете либо приобрести достаточный запас патронов, либо купить соответствующее снаряжение и изготовлять собственные патроны по мере их расходования.
>
> Форму для отливки пули подбирайте по калибру своего ружья или пистолета. Такое снаряжение можно приобрести за 25 долларов.
>
> Оружие — важнейшая часть вашей подготовки.
>
> Каждый боевой отряд должен также научиться чистить и смазывать свое оружие в темноте. Даже во время сна его не следует выпускать из рук.
>
> …Упражняйтесь в боевых действиях

ежедневно, ежечасно так, чтобы быть в полной готовности к моменту настоящих действий. Научитесь прятаться и маскироваться».

А дальше недвусмысленно разъясняется, в чем преподобный Рокмор рекомендует своим читателям «упражняться», чтобы как следует набить руку. Его справочник учит, что врага необходимо терроризировать: для этого можно не брезговать выдавливанием глаз, отравлениями, охотой за головами и самыми утонченными садистскими пытками. Интерес к оттяпыванию голов порождается следующей теорией: «Когда возникает необходимость убить врага, следует обставить это так, чтобы произвести внушительное впечатление на других врагов». Имея в виду эту благородную цель, распространяемый «Либерти лобби» учебник дает следующий совет:

«Трупу безразлично, есть у него голова или нет, но по законам психологии человек, столкнувшийся с подобным зрелищем, представляет себе свой обезглавленный труп, и сердце его наполняется ужасом. Вот по какой причине членам боевых отрядов следует руководствоваться этим принципом. Не потому, что нам нужны трофеи (!),

а потому, что, оставляя тела, носящие какой-либо знак, общий для всех боевых отрядов, мы можем вселить страх в солдат армии вторжения».

Как всегда в демократическом обществе, предусматривается и свобода мнений касательно методов вселения страха: «Например, трупы можно подвешивать на деревьях за ноги или в любой другой позе, могущей послужить назиданием врагу…»

Кто же такой этот преподобный Рокмор, столь благодушно наставляющий своих учеников в искусстве охоты за головами? Он — «воин креста».

«Воины креста» — это полувоенная ультраправая организация, возглавляемая Кеннетом Гоффом. Гофф — антисемит, любитель произносить речи. Он сработан и отшлифован машиной ненависти. Гоффа предназначали в «вожди молодежи». Его любимый рефрен — «От Организации Объединенных Наций разит еврейским духом, как от Кони-Айленд»[74]. Недавно, стараясь не отстать от времени, Гофф напялил на себя потрепанную мантию «эксперта по коммунизму» и стал лектором и преподавателем в Калифорнии у доктора Шварца, организатора «Христианского

[74] Примечания: 74
Пляж и место народных гуляний близ Нью-Йорка.

антикоммунистического крестового похода».

Помощником Гоффа в его «миссионерских трудах» является преподобный Даллас Рокмор. Как национальный руководитель «Воинов креста», Гофф безоговорочно приветствует книгу «Уходите высоко в горы» и пишет:

«Даллас Рокмор в течение нескольких лет работал с нашими юношескими отрядами и воспитал молодежь, способную существовать в горах в самых тяжелых условиях».

Приверженцы «Консервативной коалиции», заказывавшие эту книгу в качестве «рождественского подарка», были, возможно, неприятно поражены, получив ее не от «Либерти лобби», а непосредственно от террористической организации «Воинов креста». Недоумение и смущение особенно велики потому, что перечень членов так называемого Политического комитета «Либерти лобби» представляет собой своего рода биографический справочник крупнейших деятелей консервативного направления, притом отнюдь не склонных к умопомешательству.

Так почему же столь влиятельная организация лоббистов снисходит до чтения пресловутого учебника «Воинов креста» по охоте за головами?

На самом деле это вовсе не политическое безу-

мие, как может показаться на первый взгляд. Одной рукой сжимая избирательный бюллетень, а другой хватаясь за ружье, правые следуют своей политической философии.

«Уходите высоко в горы», во всяком случае, почти не отличается от «Писем Джона Франклина» и других столь же популярных у правого крыла учебников «боевых действий». «Письма Джона Франклина» так же настойчиво проповедуют создание «тайников с оружием», обучение «патриотических отрядов боевиков» и подготовку убежищ в горах. В этом руководстве, выпущенном в серии «Книга — почтой» и включенном в рекомендательные списки «Общества Джона Берча», говорится:

«Вы хотите знать, как мы намереваемся вести боевые операции с помощью этого американского подполья? Первое и самое главное — мы будем военной организацией.

У нас, несомненно, будет большое число кадровых военных из регулярной армии… но будут еще тысячи обученных людей и тайные склады оружия.

Охотники, спортсмены и близкая нам интеллигенция войдут в ряды Вольных стрелков… В ход будут пущены охотничьи ружья и самодельное

оружие».

Газета Роберта Уэлча, рупор фашистских идей «Общества Джона Берча» «Американ опиньен», приветствовала это «руководство для боевиков» как «блестящее» и предупредила своих читателей, что «оно содержит сведения о способах выжить, которые могут ему (читателю. — *М. Н.*) понадобиться в самом скором времени», поскольку в нем содержится «логическая проекция в будущее современного направления американской жизни».

В голливудской книжной лавке «Бедный Ричард», одном из десятков центров распространения ультраправой литературы, открытых по всей стране, имеется целая секция, где все шесть полок от пола до потолка уставлены книгами о «боевых отрядах». По-видимому, среди потенциальных «боевиков» существует значительный спрос на такого рода руководства. Известный издатель Прэгер выпустил полуофициальную серию книг о «боевых действиях» и «контрпартизанских операциях», пользующуюся популярностью у читателей правого толка. Организация «Книга — почтой» — центр распространения берчистской литературы — называет «Письма Джона Франклина» в числе наиболее ходких своих книг.

По настоянию ультраправых прорицателей были созданы боевые группы «вооруженных правых» Роберт Боливар Делу, главнокомандующий «минитменов», который, между прочим, открыто признал себя членом «Общества Джона Берча», имеет личную библиотеку из 300 берчистских книг, посвященных «партизанской войне».

Организация «минитменов», однако, — это не просто овеществленная бредовая фантазия «Общества Джона Берча». Депу с гордостью сообщил репортерам, что его армия имеет отряды «во всех главных городах страны» и в сорока штатах. Эти отряды располагают тайными арсеналами «полевых орудий» и пулеметов, не считая ручного огнестрельного оружия и боеприпасов, проводят регулярные «семинарские занятия по боевым действиям в тылу» и имеют «свыше 25 000» человек под ружьем. Их командование надеется со временем завербовать, до миллиона потенциальных «бойцов подполья». Добровольцы, предлагающие свои услуги для выполнения этого «патриотического» долга, объединяются, по утверждению Депу, в небольшие отряды по месту жительства. «Семинарские занятия по боевым действиям», которые должны координировать деятельность этих отрядов, проводились

в Ньюарке, Филадельфии, Канзас-Сити, Омахе, Сан-Антонио и в других местах; однако рядовым рекрутам не разрешается присутствовать на этих высоких совещаниях, и им не положено знать имена командиров, как местных, так и общеамериканских.

Деятельность «минитменов» старательно окутывается тайной. «Мы спрашиваем только фамилию и адрес руководителя отряда, а они могут быть вымышленными», — заявляет Делу; такая предосторожность совершенно необходима, поскольку этими отрядами очень часто руководят «адвокаты, врачи и другие лица свободных профессий».

Для дальнейшей маскировки их подпольной деятельности эти отряды получают самые различные названия: «Верный орден горцев» (в Сан-Диего), «Иллинойские внутренние силы безопасности» и т. п.

По периферии этих организаций располагаются также полувоенные группы, как «САН» — «Сражающиеся американские националисты» со штаб-квартирой в Вашингтоне и «отделениями» в Майами, Рединге, Новом Орлеане и Балтиморе; «Арийская лига Америки» в Стонтоне (штат Виргиния), «Американская нацистская пар-

тия», которая, по ее утверждению, имеет среди своих членов тысячу «штурмовиков» и «ложи» в большинстве крупных городов; «Партия национального возрождения» в Миннесоте и другие группы, вроде «Воинов креста».

Короче говоря, помимо «минитменов» как таковых, имеется еще несколько сотен подобных им организаций. Вот как они действуют.

Тайная армия «Боевой отряд граждан» состоит из питтсбургских «предпринимателей и людей свободных профессий, которые проходят обучение в глухих сельских уголках к северу и западу от города». Эти респектабельные «боевики», возглавляемые морским офицером в отставке Эрлом Уилкинсоном, отвергают обычное оружие и рекомендуют пользоваться «ручными бомбами», так как их «химические ингредиенты могут быть куплены в любой аптеке или хозяйственном магазине».

«Отряд белой молодежи» имеет штаб-квартиру в Чикаго и «местные отряды» в нескольких штатах. Типичным для этих «местных отрядов» является организация в Уиллоу-Гроув (штат Пенсильвания), возглавляемая «капитаном» Томом Б., который подписывает свои сообщения: «Зиг хайль! Я — за Рокуэлла» — и добавляет свастику

для большего впечатления.

«Девушки-коммандос» — группа, учрежденная неизменно бдительной «Галф телефон компани». Эти воительницы, перепоясанные ремнями и «весьма привлекательные в своей форме» (мнение одного из органов печати), проводили маневры по изучению так называемой «тактики боевых действий», вооружившись карабинами, винтовками и автоматами. Рекламный журнал «Френде», издаваемый компанией «Дженерал моторе», восторженно описывал этих «боевиков» женского пола как «вооруженный до зубов и очень мобильный отряд гражданской обороны». Под руководством главы телефонной компании Джона Снука эта оригинальная боевая единица, состоящая из двадцати трех молодых женщин, училась убивать «вторгшихся коммунистов» с помощью реактивного миномета, установленного на самосвале. «Мы будем сражаться против любого завоевателя, агрессора или врага Соединенных Штатов», — заявил Снук.

Независимые «минитмены» в Висконсине, объединившись с так называемым «Движением национального действия», распространяют антисемитские «Протоколы сионских мудрецов».

«Ультра» Юты и Невады учреждают собствен-

ную «Американскую республиканскую армию» и взрывают несколько ретрансляционных мачт, являющихся собственностью народа Америки.

«Убей!» — так называется журнал Американской национальной партии, отпочковавшейся от нацистской партии Рокуэлла, лидер которой Дэн Беррос является «национальным секретарем» Рокуэлла. В этом журнале была напечатана статья под заголовком «Как важно убивать». В статье говорится: «Человеку свойственно убивать! Он должен убивать, чтобы выжить! Он должен убивать, чтобы идти вперед! Давайте покажем им, кто принадлежит к числу избранных! Кто величайший убийца мира? Белый! Вырви из ножен свой грозный меч! Круши своих врагов! Убивай! Убивай! Убивай!» Кровожадный журнал «Убей!» издается в тишайшем местечке Холлис на Лонг-Айленд — в чопорном и мирном пригороде Нью-Йорка.

Вот так вооружаются правые — от респектабельных буржуа Питтсбурга до скрывающихся в подполье куклускслановцев Джорджии и штурмовиков, вылупившихся на задворках провинциальных городишек.

В Калифорнии, где все крупнее, хотя и не всегда лучше, особенно процветают эти доморощенные

воинства. Губернатор Пат Браун считает, что в штате имеется 2400 «вооруженных правых». Их отряды, по большей части состоящие из «минитменов», вооружены, по заявлению одного из «боевых вождей», Гарольда Хатона (он же Дон Олдредмен), базуками и легкими пулеметами. Генерал Родерик Хилл, адъютант калифорнийской национальной гвардии, присутствовавший на маневрах «минитменов», неизвестно, впрочем, в качестве кого и при каких обстоятельствах, с некоторым удивлением заявил, что они располагают «оружием, предназначенным для уничтожения значительных людских групп».

Это «возвращение к пещерному варварству», как выразился губернатор Браун, разумеется, не ново. «Бдительность» — старинная, хотя и малопочтенная традиция.

Гораздо более опасно то, что появление всех этих провинциальных воителей отражает проникновение реакционных идей не только в политику правых, но и в государственный аппарат.

«Вооруженные правые» как общественное явление порождены непосредственно «холодной войной» и той милитаризацией жизни страны, которую она принесла с собой. Внешняя поли-

тика, писал сенатор Голдуотер, стала «по сути военной кампанией, во время которой намечают объект действий, сосредоточивают силы и овладевают им!». Его «Внешняя политика для Америки», опубликованная и распространяемая «Нэшнл ревью», представляет собой взгляд на внешнюю политику с огневой позиции. Эта дипломатия под барабанный бой такова: Раз! «Разоружение. Мы начинаем с заявления, что мы против него»; Два! «Организация Объединенных Наций. Мы начинаем с того, что не принимаем ее всерьез». Таким образом, вопрос о мире выносится за пределы обсуждений и переговоров. «Сосуществование — это рабство, — говорит Голдуотер. — Сосуществование — это смерть». Голдуотер пишет: «…если мы должны выбирать между сохранением мира и допущением коммунистов в Берлин (!), то мы должны воевать». Поскольку «коммунисты» всегда были в Берлине, его выбор, очевидно, предопределен. Собственно говоря, и выбор-то этот иллюзорен. Под пером Голдуотера «холодная война» явно становится горячей: Восточная Европа — «мы начинаем с серьезных планов относительно нее»; Африка — «мы должны открыто и тайно восстанавливать там влияние Запада», Куба — мы должны

«открыто помогать» контрреволюции, «если необходимо, путем морской блокады».

И чтобы не оставалось ни малейших сомнений насчет того, как это можно осуществить, Голдуотер пишет: «Мы сами должны быть готовы начать военные операции против уязвимых коммунистических режимов».

Комментируя предложения сенатора Голдуотера, «Нэшнл ревью» заявляет: «Означает ли эта программа войну? Голдуотер доказывает, что это маловероятно, но подчеркивает, что мы должны быть готовы и к этой возможности или согласиться на единственную альтернативу — рабство».

К чести Голдуотера, надо сказать, что он гораздо более прямодушен: «Влечет ли такая политика за собой риск войны? Разумеется…».

Брент Бозелл, писавший речи сенатора Маккарти и главный оратор на съезде сторонников Голдуотера весной 1962 года в Нью-Йорке, без обиняков заявил, что «мы должны сохранить наше „ультимативное“ оружие и быть готовыми без колебаний пустить его в ход». Затем он стал доказывать, что «уничтожение гражданского населения» с помощью водородных бомб вполне «допустимо», если «благие результаты» войны «перевесят зло, заключенное в убийстве миллио-

нов мирных жителей».

Таким образом, философия Бозелла смыкается с политикой Голдуотера. «Минитмены» и «вооруженные правые» воплощают ее в жизнь. «Минитмены» обязуются «совершать любые действия — пусть самые зверские».

Если респектабельные правые и «вооруженные правые» и не принадлежат к единой организации, они, во всяком случае, составляют звенья единой цепи.

ПУШЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Если бы не политики, я бы за один день покончил с войной, разбомбив Россию.

Генерал военно-воздушных сил США в отставке Натан Туайнинг

Дайте мне приказ, и я за одну неделю разгромлю все пять атомных гнезд России. А когда я предстану перед Христом… я думаю, мне удастся убедить его, что я спас цивилизацию.

Генерал Орвил Андерсон

Проблемы национальной обороны должны разрешаться с военных, а не с политических позиций.

Бригадный генерал в отставке Генри Ройли

Если вы хотите войны, так делайте то, о чем вы кричите. Это верный способ начать ее.

Бывший президент Гарри Трумэн на съезде «Американского легиона» в 1961 году

Раз в пятьдесят лет у старинного форта Сэм-Хьюстон тихо распускаются «свечи пустыни».

Их мирные цветы гармонируют с безмятежностью старого форта. Вокруг все дышит светлым покоем, чтобы не сказать просто — ленью.

В пустыне, простирающейся за погруженными в сон казармами, все застыло, все неподвижно. Безмолвие, неизменный спутник юкки, кактусов и рогатых жаб, с незапамятных времен царящее в Западной пустыне, переводит дух и вновь замирает.

В ближайшем городе — Сан-Антонио — улицы под палящими лучами солнца пусты. Даже в прославленном Аламо, где в стеклянных витринах

покоятся сувениры, связанные с легендой о завоевании пустыни, поток туристов почти иссяк. Но все это лишь обманчивая внешность.

В этот жаркий августовский день 1961 года техасский послеполуденный сон разодран в клочья отчаянными телеграммами и телефонограммами, помеченными «срочно» и «правительственная», которые летят по проводам из Вашингтона в форт Сэм-Хьюстон. Офицеров созывают на тревожные совещания. Вскоре вечерние газеты разразятся визгом заголовков, словно сообщая о зреющем мятеже. В этом укромном приюте командования Четвертой армии США, под пальмами, где царит невозмутимый покой, напоминающий об эпохе испанской колонизации, готовится кампания протеста — открытое выступление против воли президента и «меморандума» Фулбрайта, опубликованного месяц назад. Грядущая битва предвещает настоящую бумажную войну.

Сенатор Дж. Фулбрайт, председатель комиссии по иностранным делам, 10 июля заведомо с одобрения президента и комитета начальников штабов опубликовал программное заявление, в котором осудил увлечение в среде военных модными «семинарами по „холодной войне“»,

проникнутыми так называемым «правым радикализмом». «Меморандум» Фулбрайта предостерегал:

«Если армия поражена вирусом правого радикализма, эту опасность нельзя игнорировать».

После этого военнослужащим было официально запрещено участвовать в «семинарах», проводимых «ультра». Узнав, что Четвертая армия совместно с Нижней торговой палатой Сан-Антонио организует подобный «семинар», военный министр Элвис Стар через своего офицера службы информации полковника Легара недвусмысленно потребовал, чтобы всякая деятельность такого рода была прекращена:

«Четвертая армия не участвует в организации этого семинара и не могла в ней участвовать, так как это противоречило бы всей внутриармейской политике. На соответствующий запрос Четвертая армия ответила министерству, что она не участвует в организации этого семинара и никогда никому, включая и прессу, не сообщала о своем участии».

Наконец «Пренса», старейшая и самая респектабельная из газет Сан-Антонио, обратилась к представителю Четвертой армии с вопросом, участвует ли все-таки армия в организации

запрещенного «семинара», и получила недвусмысленный ответ: «Да, участвует».

Выяснилось, что планы этого «семинара» были разработаны еще за год до того, но лежали без движения до появления фулбрайтовского «меморандума». Именно в этот момент, как ни странно, началось их осуществление.

Невзирая на все требования и выговоры Вашингтона, «семинар» был «скоординирован» так, что в списках лекторов числились люди, «известные своими крайне правыми взглядами… некоторые из них являются членами и принимают участие в деятельности таких правых организаций, как „Линия жизни“, „Общество Джона Берча“ и „Христианский антикоммунистический крестовый поход“». Представитель штата Техас Дэн Струве обратился с протестом непосредственно к президенту Кеннеди, указывая, что «лекции, как и было объявлено, будут иметь крайне правую ориентацию».

Семинар, как и было ранее намечено, состоялся 22–23 сентября. Генерал в отставке Альфред Ведемейер, открытый сторонник «берчистов», выступая перед аудиторией в три с половиной тысячи человек, «ставил в вину» президенту (иначе говоря, Главнокомандующему) «умиро-

творительные уступки Советскому Союзу»; Клион Скаусен, бывший сотрудник ФБР, активный пропагандист «Христианского антикоммунистического крестового похода», настаивал на разрыве дипломатических отношений со всеми социалистическими странами и требовал полного прекращения торговли с Советским Союзом. Так проходил этот «неполитический семинар», организованный Четвертой армией.

Покинув милый старинный городок Сан-Антонио, генерал Ведемейер на самолете отправился в Даллас, где в аэропорту его встретил хвалебной речью нефтяной магнат Г. Хант, финансовый ангел-хранитель маккартизма.

Там вдохновленный речью «христианина-крестоносца» Скаусена генерал повторил требование, чтобы «Соединенные Штаты порвали дипломатические отношения с Советским Союзом и со всеми коммунистическими сателлитами».

К несчастью, «опасность», о которой говорил Фулбрайт, не исчезла. Наоборот, судя по некоторым признакам, то, что недавно было вызовом, брошенным Четвертой армией «всей внутриармейской политике», вскоре стало этой самой «политикой». Несколько месяцев спустя, в апреле 1962 года, генерал Барксдейл Хэмлетт, помощник

начальника штаба армии США, давая показания перед сенатской комиссией, без всяких фанфар, без кричащих газетных заголовков всячески защищал право военных принимать участие в «семинарах» того типа, который считался запрещенным. На вопрос, считает ли он, что военные должны «участвовать в семинарах, пропагандирующих бдительность», генерал Хэмлетт ответил:

«Да. Я считаю, что мы находимся в состоянии войны. Мы участвуем в „холодной войне“ и должны быть готовы и рады сделать все, чем военные могут способствовать победе в этой войне».

Историк Альфред Вагтс в своей монументальной «Истории милитаризма» много размышляет над теми социальными и психическими аспектами национальной жизни, которые заставляют считать войну желанным выходом из политических трудностей. Одной из причин — если не главной — он считает весь «строй общества» в целом. Он пишет:

«Когда множество людей начинает утрачивать надежду на личное счастье, когда им приедается покой и комфорт или спокойная жизнь бедняка, когда они считают, что общество не оценило их по достоинству, а дерзания ни к чему не приводят,

когда партийные раздоры кажутся бессмысленными, а литература — лишенной стержня, тогда жизнь военного начинает представляться заманчивой, по крайней мере на время. Объявив: „Мы против уютной жизни“, Муссолини поставил подобные настроения на службу фашизму».

Опираясь на эти настроения — результат нравственного упадка поколения «холодной войны», — «ультра» провозглашают свою программу победы над страхами, разочарованиями и болезнетворными силами, которые терзают страну. И на это делают свою ставку. Они славословят войну, утверждая, что жертвенность и суровая простота военных условий очистят политическую систему от скверны — реальной или воображаемой. Естественно, что наиболее надежными сторонниками правых оказываются сами военные. Таким образом, политика правой ориентации и милитаризм сливаются воедино. Анализируя эту тенденцию военных и правых искать и находить общую почву, Вагтс пишет. «Почти все военные в европейских парламентах были связаны с партиями и группами правых и с реакционерами».

Эта тенденция проявилась и в Соединенных Штатах.

Да, собственно говоря, связь демократических процессов с военной историей имеет весьма двусмысленный характер. Еще в 1932 году, когда генерал Макартур был главой армии, а генерал Эйзенхауэр — молодым лейтенантом в его штабе, «Официальный учебный справочник» армии Соединенных Штатов (№ 2000–25) с полной невозмутимостью следующим образом разделывался с демократией:

«Демократия. Правление масс… приводит к власти толпы. Коммунистическое отношение к собственности — отрицание права собственности… Приводит к демагогии, распущенности, волнениям, недовольству, анархии».

Этот справочник был воскрешен «Обществом Джона Берча» и стал настольной книгой правых.

Бывший президент Ассоциации офицеров-резервистов полковник Неблетт, человек отнюдь не либеральных воззрений, в своей книге «Политика Пентагона» приходит к выводу, что антидемократические тенденции военщины непосредственно связаны с ее антикоммунизмом. «Если Пентагону и некоторым политическим деятелям удастся еще несколько лет поддерживать в общественном сознании страх перед коммунистической агрессией, — писал он, — им удастся создать

„армию прусского типа“, так как Пентагон сумел использовать эти страхи для навязывания обществу военного контроля. Кампания запугивания, начатая Пентагоном, принесла успех, превзошедший самые смелые мечты Генерального штаба».

«Правые тенденции, пронизывающие весь военный аппарат страны, проявились в том, что в последнее время многие видные военные деятели — как находящиеся на действительной службе, так и в отставке, — открыто связали себя с группами вроде „Общества Джона Берча“ или „Христианского антикоммунистического крестового похода“», — писал заместитель директора фордовского Фонда Уолдемар Нильсен.

Чарлз Ролле, бывший главнокомандующий Организации ветеранов иностранных войн, сообщает в журнале «ультра» «Уорлд» об образовании «Национального комитета действенной гражданской обороны», который должен «выработать такую программу, чтобы каждый член организации имел определенные обязанности в пассивной обороне нашей родины». Ролле без тени иронии отмечает, что эта «пассивно-оборонительная» деятельность будет основываться на «боевом» опыте. Он пишет:

«Время дебатов прошло — настало время дей-

ствий!

Вооруженные правые, с самодельным оружием, с учебниками по ведению боевых операций, с винтовками и лопатами в руках, чеканя шаг, вышли в поход…»

Правые культивируют героику пионеров и «минитменов» прошлого, но рядом с этим существует еще тенденция, отрицающая интеллектуализм и демократию, — тенденция, основывающаяся не столько на романтике, сколько на фашистской мистике. Если политическая проблема может быть решена военными средствами, то почему нельзя уничтожить идеи с помощью пушек? И это по-своему вполне логично.

Бывший редактор «Уорлд» Карл Хесс в дни, когда он еще не достиг своего нынешнего положения в мире журналистики, писал в «Американ меркюри»: «…Свобода, основанная на идеале и на внутренней необходимости, родилась в артиллерийском огне, охранялась артиллерийским огнем и даже теперь поддерживается силой оружия». И заключал свою мысль следующим выводом: «…интеллектуальные излияния совершенно бесполезны. Еще ни разу свобода не явилась результатом мыслительного процесса. В жизни ее утверждает борьба».

«Интеллектуальные излияния» — мысли, идеи, убеждения — это всего лишь мусор, нелепость, не идущие ни в какое сравнение с пушечными залпами. Пушки, а не книги! Огнестрельное оружие, а не идеи!

Пока Голдуотер занимается политикой, а Хесс — теоретическими выкладками, правоверные «ультра» возлагают надежды на тайники с оружием. Таково «разделение труда». Ирония заключается в том, что учебники «боевых действий» об охоте за головами выпускаются «респектабельными правыми» — «Либерти лобби» — на расстоянии выстрела от министерства юстиции, на расстоянии короткого перехода от ФБР, поблизости от Управления по контролю за подрывной деятельностью; однако руководители всех этих немаловажных учреждений слишком поглощены расследованием «подозрительных» выступлений в защиту мира и «подрывных» пацифистских настроений, чтобы расслышать топот вооруженных «ультра», марширующих совсем рядом…

«ВРАГ № 1–ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»

С течением лет я проникся презрением к так называемым интеллигентам, которых сейчас полным-полно в правительственных учреждениях в Вашингтоне, среди преподавательского состава наших крупных университетов и среди литераторов.

Генерал Роберт Вуд, председатель Американского совета по вопросам безопасности

Я — противник интеллигенции.

Медфорд Эванс, координатор «Общества Джона Берча», бывший редактор «Факте форум».

Современный интеллигент — это человек, обремененный познаниями, которые ему не под силу осмыслить.

Сенатор Карл Мундт

Среди тех, кто говорит с гарвардским акцентом, коммунистов больше, чем среди людей в рабочих комбинезонах.

Роберт Уэлч, основатель «Общества Джона Берча»

Достопочтенный Говард Смит, член палаты представителей от штата Виргиния и автор «закона Смита», ставшего краеугольным камнем антикоммунистического законодательства, показал, что он хоть и противник коммунистов и интеллигентов, но зато человек с чувством юмора. Как известно, конгресс отклонил робкий призыв президента Кеннеди к созданию федерального совета по вопросам искусства (единственная функция которого должна была заключаться в том, чтобы выяснить, можно ли что-нибудь сделать в этой области); считается, что такое решение было принято благодаря акциям Смита, столь склонного к юмору. В припадке бурного веселья сей конгрессмен заявил в палате представителей, что если так уж необходимо изучать искусство, то почему бы в таком случае не изучать покер? Ведь игра в покер — тоже искусство, потешался Смит. В официальном отчете о заседаниях конгресса отмечено, что палата гоготала вместе с ним. В результате предложение Кеннеди было осмеяно и провалилось.

И все же конгрессмен Смит, несмотря на его доблестные усилия, не являет собой настоящего

противника интеллигенции. Этот его добродушно-вульгарный юмор (как раз в духе тех застольных острот, какими обмениваются в своих клубах бизнесмены), скорее, восходит к традициям бэббитов[75], в глазах которых интеллигент — мишень для насмешек, никчемный и неумелый человечишка, попросту женоподобный хлюпик по сравнению с Настоящим Мужчиной, умелым и бывалым, знающим свое дело. Ученость, быть может, и неплохая штука, когда она на своем месте, скажем, как книга на ночном столике, — но только не в среде Настоящих Мужчин. Подобное представление об интеллигенте широко распространено: именно так рисуют его в бесчисленных речах, произносимых на собраниях «Ордена Вепрей», «Ордена Лосей»[76] и прочих орденов, заменяющих американцам геральдику…

Впрочем, Бэббит не был особенно зловредным. Преуменьшая роль интеллекта, он делал это не из ненависти и не из страха, порождающего ненависть. Бэббитам той поры была свойственна

---

[75] Примечания: 75

Бэббит — герой одноименного романа Синклера Льюиса. Его имя стало олицетворением мещанской тупости и косности среднего американского буржуа.

[76] Примечания: 76

Два из многих распространенных в США объединений предпринимателей, обставляющих свои собрания с театрализованной пышностью.

известная терпимость и скромность, которую кое-кто может истолковать как зависть.

Что же касается современных противников интеллигенции, то они убийственно серьезны. Началось «светопреставление», утверждает бывший преподаватель юридического факультета университета «Нотр Дам» Кларенс Мэнион, недавно ставший членом Национального совета «Общества Джона Берча». «Либеральная демократия... — орудие дьявола», — заявляет Эндрью Литл в журнале «Нэшнл ревью». Бывший ближайший сотрудник Маккарти в сенатской подкомиссии и бывший главный обвинитель в комиссии палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности Дж. Б. Мэтьюз считает, что его коллеги-преподаватели «вскормлены сосками, которые пихали им в рот заботливые представители „нового курса“ и „справедливого курса“»[77].

Руководитель организации «Крестовый поход христиан» священник Билли Джеймс Харджис клеймит «целеустремленных и прожженных разрушителей, захвативших контроль над большинством средств массовой информации

---

[77] Примечания: 77

Официальное название программ, провозглашенных Рузвельтом и Трумэном.

— газетами, журналами, радио, телевидением, книгоиздательским делом и даже киосками и библиотеками».

Ни одно из этих высказываний отнюдь не свидетельствует о той позиции невмешательства, которая была характерна для противников интеллигенции в прошлом… Для нынешних правых интеллигент уже сам по себе подозрителен. Современные антиинтеллектуалы стремятся запретить интеллект, запретить мысль, запретить историю. Один из редакторов «Нэшнл ревью», Томас Молнар, в своей книге «Упадок интеллигенции» предрекает, что интеллигент будет исключен из общественной жизни и лишен всякого влияния на общественную мысль. «Право же, — убеждает он, — интеллигента надо подвергнуть чистке и вытрясти из него большую часть духовного наследия…»

Однако этот антиинтеллектуализм нового толка принимает парадоксальный характер, ибо жизнь настолько усложнилась, а наука настолько расширила горизонты интеллекта, что воинствующий обскурантизм такого рода может удовлетворить лишь самых неприхотливых. Нынешнему противнику интеллигенции необходимо запастись степенью доктора философии.

Собственно говоря, половина из них эту степень имеет. В наши дни противник интеллекта стремится стать интеллектуалом высшей марки. Ему это необходимо. По иронии судьбы «Общество Джона Берча» считает основной задачей своей организационной деятельности создание «научных кружков», и, что самое интересное, в этих кружках изучаются марксистские первоисточники. Книжные полки забиты книгами, авторы которых добиваются запрещения книг. Некоторые из этих авторов принадлежат сейчас к числу наиболее плодовитых. Огромные издательства, сети книжных магазинов, тонны литературы — таковы характерные атрибуты современных противников интеллигенции. На смену политическим сборищам и примитивной поджигательской агитации прошлого пришли антикоммунистические «семинары» и «школы». Во всех этих мероприятиях чувствуется известная рафинированность, претензия на ученость.

Поль Бланшар, всесторонне изучивший этот вопрос, убедительно доказывает, что антиинтеллектуализм сочетается с антикоммунизмом:

«В кампании за запрещение книг с коммунистической тенденцией отчетливо чувствуется враждебность к интеллигенции в целом. Поли-

тические деятели, использующие антикоммунистические настроения, апеллируют также к предрассудкам, которые укоренились среди людей необразованных по отношению к тем, кто читает серьезные книги, трактующие о коренном преобразовании общества. Эта кампания выходит далеко за пределы критики в адрес коммунизма...»

Наглядный пример тому — позиция бывшего председателя организации «Америка — прежде всего», а в настоящее время председателя Американского совета по вопросам безопасности генерала Роберта Вуда, видной фигуры в возрождающемся движении правых. Непременный и чрезвычайно активный участник всех кампаний за усиление цензуры, генерал Вуд откровенно демонстрирует, как можно использовать антиинтеллектуализм в политических целях:

«С течением лет я проникся презрением к так называемым интеллигентам, которых сейчас полным-полно в правительственных учреждениях в Вашингтоне, среди преподавательского состава наших крупных университетов и среди литераторов».

Специально о коммунизме говорится только в связи с политическими симпатиями «розовых»

интеллигентов. Правые выдвигают обвинение против интеллигенции в целом как определенного слоя общества, виновность которого безусловна при любых политических воззрениях. Потому-то генерала не отпугивает парадоксальность его собственного утверждения, что среди литераторов полным-полно интеллигентов, ведь враждебное отношение к интеллигенции для него равнозначно враждебному отношению к коммунизму.

Этот парадокс не помешал также одному из теоретиков антиинтеллектуализма, Медфорду Эвансу, написать высокоинтеллектуальный очерк под заглавием «Почему я противник интеллигенции». В настоящее время Эванс — координатор «Общества Джона Берча» в Техасе; ранее он был редактором «Нэшнл ревью» и принадлежащего нефтяному магнату Г. Л. Ханту «Фэктс форум». Работал он также и в комиссии по атомной энергии у адмирала Льюиса Страусса в качестве одного из руководителей отдела безопасности. Занимая эти должности, он, вероятно, все время оставался «противником интеллигенции». Весьма забавно, когда на это звание претендует такой человек, как Эванс: ведь по долгу службы в Комиссии по атомной энергии ему приходилось определять

лояльность и интеллектуальный уровень некоторых крупнейших ученых страны. На основании материалов, поступавших в личные дела таких людей, как Роберт Оппенгеймер, Эдвард Теллер, Гарольд Юри, Лео Сцилард, выводы должен был делать «противник интеллигенции» Медфорд Эванс.

Д-р Дж. В. Мэтьюз с особенной яростью обрушивается на интеллигентов, преподающих в университетах:

«Нет никаких оснований предполагать, что если бы последние тридцать пять лет все колледжи и университеты в Соединенных Штатах были закрыты, положение в стране было бы сколько-нибудь хуже, чем сейчас, — во всяком случае, с точкя зрения разумного подхода к проблеме коммунизма».

Сей рьяный апологет антикоммунистических расследований, подводящий под них философскую базу, утверждает, что всему виной «дарвиновская гипотеза», а также воззрения интеллигенции, «отравляющие умы и подрывающие нравственные устои». «Так пусть же продолжаются расследования!» — восклицает он.

Основатель «Общества Джона Берча» Роберт

Уэлч демонстрирует свой антиинтеллектуализм, обрушиваясь на «снобов-интеллектуалов», которые «выдают свою незрелость и слюнявую инфантильность за глубину мысли». Он заявляет:

«Мы предупреждаем недоучек со степенью доктора философии и рафинированных любителей модерна, считающих поэзию изобретением Т. С. Элиота, что не поддадимся ни на какие попытки сделать нас ультрасовременными… Они (интеллигенты) все больше и больше загрязняют своими гнилыми идейками поток человеческой мысли…»

К этой гневной филиппике по адресу «либерального псевдоинтеллектуализма» присоединился и «летописец правой молодежи» г-н Стэнтон Эванс. В своей книге «Университетский бунт» Эванс заодно атакует и тех, кто верит в «номинализм, позитивизм и прагматизм». Особенно же не дают ему покоя «либерализм» и «отсутствие религиозности у преподавателей общественных наук».

Другой воинствующий противник интеллигенции, редактор «Нэшнл ревью» Уильям Бакли, бичует «идеологию современного либерализма». Любопытно, что Бакли — наиболее утонченный интеллектуал среди консерваторов

— употребляет слово «интеллектуальный» лишь как отрицательный эпитет.

Откуда такое смешанное со страхом презрение к интеллигентам?

Шурин Уильяма Бакли и один из соредакторов «Нэшнл ревью» Б. Брент Бозелл (кстати, он подвизался у Маккарти в роли «автора-невидимки») указал на источник этой философии антиинтеллектуализма в своем программном выступлении в Мэдисон-сквер-гарден на собрании организации «Молодые американцы — борцы за свободу». «Эпоха Просвещения, — заявил Бозелл, — вот источник всех наших бед. Либерализм уходит корнями в старую-престарую ересь, именуемую гностицизмом. Ее поборники верили, что спасение человека и всего общества в целом возможно здесь, на земле». Эту «ересь» — «гностицизм», — восходящую к «бурной эпохе Просвещения», следует навсегда изгнать из истории и «преобразовать душу человека путем хирургического вмешательства».

«Очистим Запад», — призывает Бозелл, выделяя эти слова курсивом.

Журнал «Букмэн» («консервативный еженедельник», как именует этот орган его редактор Рассел Керк, являющийся также одним из ре-

дакторов «Нэшнл ревью») поместил статью под названием «Мрачная эпоха Просвещения», в которой развивает эту мысль Бозелла. Автор статьи, преподаватель Детройтского университета Питер Стэнлис пытается установить «связь между философией эпохи Просвещения и современным политическим абсолютизмом», то есть марксизмом, хотя вообще-то не только с ним одним… Так же, как и Бозелл, Стэнлис верит, что источник всех бед современного мира — эпоха Просвещения с ее «автаркическим рационализмом», увлечением «естественными науками» и «теорией природной доброты человека»:

«Будучи наследниками эпохи Просвещения, многие западные теоретики, занимающиеся общественными проблемами, не сознают того, насколько вера в материализм и естественнонаучные методы подхода к человеку сближают их с коммунизмом. На Западе многие разделяют веру Руссо в то, что человек от природы добр, причем вера эта сочетается у них с материалистическим принципом, согласно которому окружающая среда оказывает решающее влияние на индивидуум. Эти принципы составляют основу их мировоззрения. Случайные расхождения, вытекающие из партийной принадлежности, узконациональных

интересов и разных точек зрения на способы достижения социальных целей, совершенно незначительны по сравнению с этой общностью в отношении коренных принципов. Идеями эпохи Просвещения пронизана общественная мысль Запада, и это сбивает с толку наших государственных деятелей или делает их несостоятельными, когда они пытаются вести идеологическую войну с марксистской тиранией, отвергая ее с точки зрения нравственной. Запад больше не может придерживаться наполовину позитивистских, наполовину христианских взглядов».

Столь же «несостоятельны» и опасны, с точки зрения Стэнлиса, «идеи философов эпохи Просвещения — Гоббса, Локка, Шефтсбери, Хартли, Юма, Пристли и Годвина в Англии; Декарта, Спинозы, Лейбница, Кондильяка, Гельвеция, Дидро, Вольтера, Гольбаха, Руссо и Кондорсе на Европейском континенте». По какой-то причине в этот «черный список» не внесены те американцы, которые унаследовали идеи эпохи Просвещения, — Джефферсон, Пейн, Франклин, Раш, Эмерсон, оба Адамса (младший и старший), Дуглас и Авраам Линкольн. Как бы то ни было, предлагая этот список, Стэнлис разъясняет смысл категорического требования Бозелла «очистить

Запад» от идей Просвещения.

Кто-то пошутил, что правые хотят «закрыть» XX столетие. Однако если принимать тезис Бозелла всерьез, как это делает «Нэшнл ревью», неизменно провозглашая его под звуки фанфар, то, пожалуй, может создаться впечатление, что надо «закрыть» не только XX столетие, но и несколько предыдущих.

Требование подвергнуть интеллект «чистке» — одно из излюбленных заклинаний антиинтеллектуалов. Но как же осуществить эту «чистку»? *И для чего?* Один из редакторов «Нэшнл ревью», Томас Молнар, считающийся персона грата среди проповедников философии антиинтеллектуализма, в своей работе «Упадок интеллигента» приводит следующие доводы в доказательство необходимости такого рода «чистки»:

«Для того чтобы интеллигент мог участвовать в споре не столько с идеологических позиций, сколько с философских, его, безусловно, надо лишить значительной доли духовного наследия. Другими словами, до тех пор пока он стоит на той точке зрения, что его философские воззрения должны определяться идеологией, все его размышления будут бесплодны; мало того, он не сможет контролировать процесс претворения

идей в действительность».

Таким образом, идеология мешает человеку выработать философские воззрения. А раз так — к стенке идеологию! Молнар предлагает начать эту «чистку» с науки: «Мы должны помнить, что современная наука, по выражению Ницше, выбросила человека из центра мироздания на его периферию». Далее наука предала человека, «обещав ему утопию». Подобно марксизму — а по Молнару, «основной тезис марксизма — это устранение отчуждения», — наука проповедует, что человек может преодолеть созданные отчуждением препятствия и сделать так, чтобы «судьба его не зависела от случая»; за этот тягостный грех наука должна подвергнуться «чистке». Вслед за наукой «чистке» следует подвергнуть и рационалистическую мысль. Молнар пишет: «Любая попытка произвести переоценку ценностей, которыми обычно определяется политическая жизнь и само существование человека, обречена на провал, коль скоро она делается с чисто рационалистических позиций», ибо историю вершат с помощью «нравственного видения», а не «рационалистических систем». Итак, наука и рационализм повержены в прах. Следующий объект «чистки» — гуманизм. «В известном смыс-

ле, — пишет Молнар, — крах интеллигенции есть крах западного гуманизма и либерализма, в основе которых лежит древнегреческий способ мышления». Стало быть, «развитие западной концепции либерального общества исторически связано с гуманистической точкой зрения на индивидуум».

Таким образом, «нравственное видение», долженствующее, по словам Молнара, сулить спасение роду человеческому, обрубается, по существу, до внеидеологического скелета — без теории, без гуманизма, без рационалистического мышления, без науки — словом, до некоего зловещего призрака, с которого фактически сброшено и все то, что еще осталось от нравственных принципов.

«По иронии судьбы только сила, причем сила, прикрытая лицемерием и ханжеством, может навязать обществу добродетель, и то лишь притворную...»

Молнар вторит сенатору Барри Голдуотеру, утверждая, что «история отнюдь не являет собой картину торжества добродетели...», и добавляет: «Это обстоятельство подводит нас непосредственно к проблеме власти и ее применения той или иной страной. Смиренно признаю, что в этом

всегда была, есть и будет основная проблема международных отношений... Интеллигенты наших дней в ужасе воздевают руки при виде разрушения, в котором они не умеют распознать его близнеца — созидание. А все из-за того, что они воспитаны на одностороннем гуманизме, и потому им не хватает воображения.

Итак, да здраствует разрушение! Долой гуманизм! И да продолжится очищение!»

Как мы видим, противники интеллигенции в Америке сродни идеологам фашизма. Метод последних в значительной мере сводился к раздуванию антиинтеллигентской истерии. Так же как и в наши дни, эта истерия зачастую сочеталась с антикоммунизмом, ибо антиинтеллектуализм и антикоммунизм — политические близнецы.

Германия, по словам Эрики Манн, превратилась в школу варварства, однако наставниками варваров были так называемые «культурные» люди.

Комментируя этот факт, Джон Кафи, профессор американской истории в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес), писал:

«Намеренно или нет, но антикоммунизм в Соединенных Штатах в значительной мере сопряжен с контролем над мыслями, сковывающим

разум. Он представляет собой прежде всего атаку на инакомыслящих, усиленную кампанию за конформизм, причем в первую очередь — за конформизм в области мысли и верований».

В соответствии с нашими традициями наиболее распространенным методом навязывания этого конформизма являются расследования, проводимые в комиссиях конгресса и судах. Официально считается, что цель этих расследований — борьба против подрывных сил. Однако профессор Кафи замечает: «В ходе расследования проверяются главным образом убеждения данного лица, его идеи и верования. Проверке подвергается его духовная сущность». А это значит, что, используя борьбу против коммунизма в качестве повода и систему расследований в качестве метода, подозреваемого интеллигента подвергают проверке с целью выяснить, не расходятся ли его мнения с общепринятыми и нет ли у него каких-либо идей критического свойства. Антиинтеллектуализм становится более осмотрительным: он выступает сейчас в обличье судебного расследования. Костры из книг на манер Геббельса — дело прошлого. Однако, отмечает Кафи, поскольку в ходе антикоммунистических расследований мысль фигурирует в качестве преступницы, а

интеллект — в качестве ее соучастника, такого рода расследования неизбежно стимулируют антиинтеллигентские настроения. С точки зрения организаторов расследований и тех правых, которые пытаются эти расследования оправдать, подводя под них «идеологическую базу», логика и разум — вещи подозрительные, ибо сам интеллигент для них тоже фигура подозрительная.

Кафи считает, что «неистовство цензуры в области литературы и искусства» — один из результатов применения методологии антикоммунизма. Он приводит следующий пример:

«...Члены Совета графства в Лос-Анджелесе подняли тревогу по поводу фрески на стене зала, в котором они заседают. Кое-кому из них показалось, что длинные кожаные одежды, в которых американские пионеры охотились на пушного зверя, чем-то напоминают русские кафтаны. И они поставили вопрос о том, чтобы замазать эту фреску».

Далеко же мы ушли от той самостоятельности и независимости мышления, которая отличала Джефферсона, Эмерсона и Линкольна!

Бенджамен Спок
ДОСТОЙНОЕ И НЕДОСТОЙНОЕ

Я посвятил свою жизнь вопросам исцеления и воспитания детей, разработке рекомендаций, как вырастить их приспособленными к жизни и счастливыми. Теперь же я думаю, сколь тщетны эти усилия, раз наши дети погибнут в бессмысленной войне или же, возмужав, разочаруются в жизни, ибо в наследство им достанется общество с искаженными представлениями о нравственности и гуманности, развращенное алчущими власти политиками, общество, нередко забывающее о том, что человек рожден для любви и созидания.

С течением времени я осознал, что самые жгучие проблемы Америки — несправедливая война, расовая дискриминация, ничем не оправданная нищета — вызваны не отсутствием знаний и средств, но нравственной слепотой и смятением, охватившим нацию. Прожив долгую жизнь, я окончательно убедился, что при решении любых проблем прежде всего следует принимать во внимание факторы морального порядка.

Мне кажется, большинство американцев, считающих себя людьми мыслящими, сами того не сознавая, переживают большое разочарование. Не то чтобы они разуверились в материальных ценностях, которые несет цивилизация, — они гордятся своими космическими кораблями и искусственными сердечными клапанами. Но они утратили веру в человеческое достоинство.

Я убежден, что разочарование человека зиждется на глубоком непонимании им своей собственной природы. Человек состоит в близком родстве с животными, это верно. Однако верно и то, что он существенно отличается от них. По природе своей человек — творец, мыслитель, идеалист.

Поскольку в наши дни подобные слова вызывают усмешку — оттого, что скептицизм охватил поголовно всех, и оттого, что молодежь склонна подозревать старшее поколение в лицемерии, — пожалуй, стоит объяснить, что я имею в виду. Идеализм означает веру человека в окружающих и высокие порывы в собственных устремлениях. Человек благородной души чтит и развивает в себе такие качества, как мужество, верность, великодушие, стойкость, способность к созиданию. Именно это вдохновляет людей, когда они посвя-

щают свою жизнь обществу, науке или же семье.

Человек как существо высшего порядка (если только он не вконец испорчен), чутко откликается на такие нематериальные стимулы, как красота в природе или в искусстве, доверие детей, нужды беспомощных людей, кончина друга, пусть даже после долгой разлуки.

Творчество подразумевает не только занятия изящными искусствами, но и всевозможные изобретения, научные открытия, достижения технической мысли. Все это в совокупности и составляет сущность цивилизации… Цивилизации гибнут, когда народы теряют веру в самих себя и попирают свои нравственные устои.

Проблема, вызывающая наибольшую нашу тревогу, — как уберечься от самоуничтожения оружием, которое мы сами же изобрели. Положение усугубляется еще и тем, что, сталкиваясь с опасностью, которую мы не в силах предотвратить, мы уподобляемся страусу и предпочитаем не замечать эту опасность. Большинство из нас скорее рискнет развязать всепожирающую ядерную войну, нежели принять участие в антивоенном движении и проблыть плохим патриотом или чудаком.

Я присоединился к движению за мир в 1962 го-

ду, когда шли дискуссии о возобновлении испытаний ядерного оружия. Я понимал, что, чем больше стран будут испытывать новейшие виды оружия, тем больше выпадет радиоактивных осадков, что повлечет за собой рост заболеваемости раком и лейкемией, а также увеличение числа детей с врожденными дефектами, где бы они ни появились на свет. Еще я понимал, что воинственно настроенная, вооруженная до зубов Америка, воспитывая своих детей, все меньше и меньше стремится подавлению в них агрессивного начала.

Осенью 1964 года, выступая по радио и телевидению, я ратовал за избрание президентом Линдона Джонсона, который обещал покончить с войной во Вьетнаме и впредь не посылать туда американских солдат; он даже позволил мне и лично выразил благодарность. Не прошло и трех месяцев, как президент нарушил свое слово; внезапная эскалация войны не только усилила мою тревогу, но и подтолкнула меня к более активной антивоенной деятельности.

Трагические события во Вьетнаме — всего лишь один эпизод в истории нашей страны, стремящейся утвердить во всем мире свое господство. Мы пытаемся оправдать нашу агрессию

безумным страхом, который вызывает у нас коммунизм. Этот страх, на мой взгляд, мешает нам реалистически оценивать как нашу внутреннюю, так и внешнюю политику. Он приведет нас к самоистреблению, если только мы не сумеем излечиться от него и не начнем строить мир, основанный на дружбе и доверии.

Сомневаюсь, найдется ли когда-нибудь в истории более наглядный пример того, как целая нация ввязывается в войну — одержимая жаждой господства и параноическим стремлением приписать другой нации свою же собственную агрессивность, — нежели вторжение Америки во Вьетнам.

Когда в 1954 году вьетнамский народ под предводительством Хо Ши Мина одержал наконец победу над Францией в восьмилетней войне за независимость, Вьетнам, согласно Женевским соглашениям, был временно поделен на две зоны, чтобы французы и сражавшаяся на их стороне горстка высокопоставленных вьетнамцев (богатые землевладельцы и чиновники) смогли уладить свои дела на юге страны. Через два года должны были состояться выборы, дабы народ Вьетнама воссоединился под эгидой единого, избранного им правительства. Эксперты сошлись

на том, что восемьдесят процентов вьетнамцев проголосуют за Хо Ши Мина, национального героя страны. Между тем президент Эйзенхауэр и государственный секретарь Даллес, не желая, чтобы жители Южного Вьетнама отдали свои голоса Хо Ши Мину, решили (в обход Женевских соглашений) вытеснить французов и превратить Южный Вьетнам в сферу американского влияния. Не без помощи кардинала Спеллмана Даллес разыскал в Соединенных Штатах некоего Дьема (представителя вьетнамской верхушки) и сделал его диктатором Южного Вьетнама в Сайгоне, подстрекая отменить обещанные выборы.

Американская марионетка Дьем проявил себя как реакционный, жестокий властитель и не завоевал доверия народа. Он отменил не только всеобщие выборы, но и традиционные выборы на местах. Вернул богачам-помещикам земли, которые Хо Ши Мин успел раздать крестьянам. До отказа набил тюрьмы людьми, не согласными с его действиями. В 1960 году жители Южного Вьетнама подняли мощное восстание против Дьема — вьетконговское восстание. Получив широкую поддержку всего населения страны, повстанцы за два года освободили три четверти Южного Вьетнама. Наше правительство, возглавляемое

поочередно Эйзенхауэром, Кеннеди, Джонсоном, — в нарушение своих обязательств перед ООН, а также Женевских соглашений — предпринимало весьма энергичные попытки подавить восстание. Эйзенхауэр снабжал Южный Вьетнам оружием и деньгами. Кеннеди отправил туда двадцать тысяч «военных советников». В феврале 1965 года, когда президент Джонсон осознал, что пассивность сайгонского правительства и армии вот-вот приведут к полному их краху, он поспешил перебросить на юг Вьетнама американские войска; их численность в конце концов достигла полумиллиона человек.

Джонсон неустанно повторял, будто причина войны — «агрессия с Севера», в то время, как исторически доказано (и это подтверждает, при внимательном ее чтении, Белая книга нашего собственного правительства): северовьетнамские соединения и примкнувшие к ним добровольцы пришли на помощь повстанцам Южного Вьетнама лишь после того, как президент санкционировал бомбежку Севера, — вот пример того, как агрессор перекладывает вину за содеянное на свою жертву. Джонсон неоднократно утверждал, будто мы отстаиваем свободу южновьетнамского народа, хотя на самом деле

мы поддерживали то одного, то другого ненавистного народу диктатора (Дьема убрали люди из его же окружения), и наше присутствие в стране было на руку только землевладельцам, чиновникам и спекулянтам, сражавшимся до этого на стороне французов против своего народа.

Поистине с пугающей легкостью Джонсон обошёл преграды, воздвигнутые, дабы уберечь Америку от чрезмерной воинственности ее президентов. Начав военные действия, не дожидаясь решения конгресса об объявлении войны, он нарушил клятву соблюдать конституцию. Резолюция об инциденте в Тонкинском заливе, сказал он, равнозначна объявлению войны; однако сенатская комиссия по иностранным делам раскопала доказательства того, что доводы, с помощью которых он добился принятия этой резолюции — о неспровоцированном нападении Северного Вьетнама на американский флот, — были ложью. Мы вооружили сайгонскую эскадру, которая напала на северовьетнамский порт — с ведома и при активном содействии наших военно-морских сил.

Джонсон оказал самое жесткое давление на группу сенаторов и конгрессменов, осмелившихся было выступить против войны; об этом мне

рассказали некоторые из них. Сторонников мира он обвинял в том, что те играют на руку врагу. Он не единожды заявлял, будто с радостью прекратит бомбардировки при малейшем намеке на то, что враг готов к мирным переговорам. Дипломаты нейтральных стран выяснили, что наши противники не раз выказывали готовность к примирению, однако Джонсон отметал все попытки такого рода и намеренно усиливал эскалацию войны.

Когда наши руководители поняли, что даже огромное военное превосходство недостаточно для победы, они прибегли к грубейшим нарушениям правил ведения войны: мы травили посевы, обрекая мирное население на голодную смерть, крушили бульдозерами целые деревни, а жителей сгоняли в лагеря, сжигали напалмом, стерли с лица земли множество северовьетнамских городов, сбрасывали на мирное население ужасные осколочные бомбы и передавали пленных в сайгонскую армию, где их ожидали жестокие пытки. Все это запрещено международным правом.

Год-другой большинство американцев — в том числе многие сенаторы, конгрессмены, журналисты — принимали на веру заявления президента, не соотнося их с теми или иными конкретными

фактами. Воротилы промышленности и представители интеллигенции поддерживали на газетных полосах лжеверсию Джонсона о причинах войны — правящие круги словно сочли себя обязанными сомкнуть свои ряды, невзирая на реальную действительность.

Главных штатских советников президента отнюдь не отнесешь к числу недальновидных политиков. Тем не менее их публичные выступления доказывают: этих людей куда больше занимала проблема американского господства в мире, нежели человеческие нужды и справедливость.

Поборников мира до сих пор мучает вопрос: почему Джонсон развязал эту войну (помимо давнишнего намерения нашего правительства расширить сферу своего влияния в Азии)? Главная причина, по-моему, — безудержное желание президента явить миру твердость своего характера и спасти свою репутацию. Когда Джонсону доложили о неизбежном крахе сайгонской армии и правительства, как раз в канун эскалации войны, он, как известно, заявил: «Я отказываюсь быть первым президентом, проигравшим войну». Его ничуть не трогало, справедлива ли эта война, послужит ли она интересам нации.

Когда стало ясно, что наше вторжение обречено на провал, он поклялся, что никогда «не побежит с поджатым хвостом». Джонсону принадлежит и высказывание о том, что нет для него зрелища отраднее, чем звезды и полосы американского флага, реющего над чужой землей.

Думается, такого рода «зарвавшийся» патриотизм более чем неуместен в мире, начиненном ядерным оружием, это — преступное, чудовищное самомнение. Мир до тех пор будет в опасности, пока народы всех стран не уразумеют сущность этого «патриотизма» и, вместо того чтобы приветствовать руководителя, исповедующего подобные взгляды, не заклеймят его.

Подведем итоги войны во Вьетнаме на данном этапе: израсходовано сто миллиардов долларов, погибло сорок тысяч молодых американцев, убито около миллиона вьетнамцев, осиротели или же разлучены с близкими сотни тысяч детей, которым никогда уже не оправиться от пережитых потрясений, четыре года, как над нами нависает угроза ядерной войны, — а все потому, что Линдон Джонсон не желает признать поражение американской политики силы. И, конечно же, тяжесть вины за это ложится также на его предшественников, советников, конгресс и весь

американский народ.

Вьетнам — не случайная ошибка американской внешней политики. Если американцы хотят избежать повторения подобных ошибок, они должны уяснить: толчком к развязыванию войны во Вьетнаме явилось стремление Соединенных Штатов к мировому господству. В 1953 году, когда мы оплачивали восемьдесят процентов расходов на содержание в Индокитае французской армии, то есть за год до окончательного поражения французов, которых мы сменили, президент Эйзенхауэр сказал: «Предположим, мы потеряли Индокитай… К нам перестанут поступать олово и вольфрам, представляющие для нас огромную ценность.. Поэтому когда США голосуют за предоставление Франции четырехсот миллионов на ведение этой войны… мы голосуем… за нашу мощь и возможность получать все необходимое из богатств Индокитая и Юго-Восточной Азии». В 1954 году еженедельник «Ю. С. Ньюс энд Уорлд рипорт» опубликовал статью под заголовком «Почему США идут на риск войны ради Индокитая: это ключ к контролю над всей Азией». В статье подчеркивалось: «Победителю Индокитая достанется один из богатейших регионов мира.. США намерены удержать его любой ценой».

Мы, американцы, привыкли считать себя добросердечным народом, который следует принципу «живи и давай жить другим», который достаточно богат, чтобы не посягать на чужое добро, и более чем великодушен, если надо помочь другим народам, попавшим в беду. Отчасти так оно и есть, правда, мы перестаем видеть за этим экспансионистские устремления и агрессивность наших военных, промышленных и финансовых кругов.

Между тем американская внешняя политика всегда отличалась агрессивностью. Мексиканская война 1848 года — не что иное, как предумышленная попытка присоединить к США две пятых территории этой страны. Испано-американская война спровоцирована американцами скорее из соображений стратегического, финансового и политического характера, чем из сочувствия к кубинским революционерам. Доктрина Монро вовсе не означала защиту Латинской Америки, как нас учили в школе. То было предупреждение всем европейским государствам, что в Западном полушарии мы будем господствовать одни, в чем, собственно, мы и преуспели как с точки зрения экономики, так и политики. Временами мы ощущали необходимость

нашего военного вмешательства — в Мексике, Никарагуа, Гаити и Доминиканской Республике. В других же странах всячески поддерживали желательные для нас перевороты и особенно беззастенчиво вели себя, захватив контроль над зоной Панамского канала.

После второй мировой войны Америка значительно укрепила свое военное, политическое, финансовое и индустриальное могущество. Благодаря созданию НАТО она установила военное господство в Западной Европе. На территории тридцати иностранных государств разбросаны тысячи американских военных баз. Америка располагает филиалами своих корпораций во многих странах, более того, она завладела там целыми отраслями промышленности. В результате мы контролируем экономику этих стран, что — наряду с усилением нашего политического и культурного влияния — представляет для них немалую угрозу.

Я против того, чтобы Америка под предлогом защиты от коммунизма осуществляла империалистическую агрессию, — не только потому, что это несправедливо по отношению к стране, на которую мы нападаем, но и потому, что этот бредовый самообман в конце концов приведет

нас к самоуничтожению. Ведь обманываем мы лишь самих себя.

Американцы, возлагающие надежды на более миролюбивый курс нашей политики, должны отчетливо представлять себе, что именно замышляет наше правительство в Латинской Америке, ибо, скорее всего, именно там разразятся новые войны, наподобие вьетнамской.

Страны Латинской Америки переживают сейчас глубокий экономический кризис. Землей там владеет кучка богатеев, которые сопротивляются реформам и совместно с североамериканскими фирмами держат в своих руках всю промышленность. Прослойка мелких собственников сравнительно невелика. Сельскохозяйственные рабочие все больше и больше нищают вследствие быстрого прироста населения, низких цен на продукты земледелия на мировом рынке и высоких цен у себя дома на промышленные товары, продажа которых приносит местным и американским дельцам неслыханные прибыли, намного превышающие прибыли промышленников в США. В большинстве латиноамериканских стран установлена военная диктатура. Поставщик оружия — наше министерство обороны. Правительства там сменяются куда чаще в результате

переворотов, чем выборов. Правда, большинство переворотов не имеют ничего общего с подлинно социальными революциями, что совершаются во имя угнетенного народа; просто-напросто одна военная клика уступает место другой. Латиноамериканским народам, жаждущим перемен, остается, по сути дела, лишь одно — партизанская борьба. В таких случаях наше министерство обороны посылает в помощь военным диктатурам отряды «зеленых беретов», обученных, как подавлять партизанские движения.

Наши дельцы и чиновники госдепартамента охотно сотрудничают с любой реакционной диктатурой. И не скрывают своей враждебности к прогрессивным правительствам, которые время от времени приходят к власти в результате выборов или же революционных переворотов и которые кровно заинтересованы в проведении аграрной реформы, национализации таких ключевых отраслей промышленности, как нефтяная или угледобывающая, а также ограничении непомерных прибылей США. Случилось так, что я оказался в составе дипломатической делегации, направлявшейся в одну из южноамериканских стран; меня поразило, что инструктировавшие нас чиновники госдепартамента были озабочены

лишь состоянием дела наших промышленников. О нуждах народа этой страны — ни слова.

После второй мировой войны было создано Центральное разведывательное управление, призванное объединить усилия отдельных военных и гражданских разведывательных органов нашего правительства. Оно получило также полномочия и средства для вмешательства, путем заговоров и подкупов, во внутреннюю и внешнюю политику других стран. Не трогая реакционные режимы, ЦРУ неизменно разрабатывало подрывные операции против народных правительств, которые, по мнению наших руководителей, проявляли излишнюю терпимость к коммунистам или же, как считали наши предприниматели, угрожали их интересам.

Мои единомышленники трагически воспринимают тот факт, что, превратившись в сверхдержаву, Америка вместе с тем предстала в глазах всего мира перепуганной, подозрительной, заносчивой и враждебной. Рожденная революцией, слывшая на протяжении полутораста лет светочем свободы, Америка превратилась сегодня в сильнейший оплот мировой реакции; она готова свергнуть любое правительство, пусть даже любимое и поддерживаемое народом, если действия этого

правительства могут ударить по американским капиталовложениям и политическому влиянию.

Нарастающая волна отчаяния среди бедноты в слаборазвитых странах неизбежно повлечет за собой социальные революции, независимо от того, свершатся они мирным или немирным путем. Соединенным Штатам предстоит побороть свои параноические страхи и протянуть руку помощи слаборазвитым странам, дав импульс развитию их техники, образования, медицины; только так мы можем завоевать их дружеское расположение. Мы должны оказать им и финансовую поддержку, но только в рамках ООН, дабы она не сделалась средством контроля или эксплуатации.

Иначе Соединенные Штаты окажутся в моральной изоляции и станут самой ненавистной страной в мире.

Отчего же такая богатая и могущественная держава, притом расположенная в отдалении от сильных коммунистических государств, страшится коммунизма, как никакая другая страна?

Полагаю, первопричина этого — индивидуализм американцев. В отличие от народов с более древней историей, более приверженных к традициям, мы не столь охотно позволяем

правительству или иным институтам власти налагать на нас запреты ради всеобщего блага. Мы чувствуем себя вправе истощать почву, сводить леса, загрязнять воздух, превращать реки в сточные канавы, загромождать автострады рекламными щитами, только бы это принесло лишний доллар.

Еще одна причина кроется в нашем непоколебимом убеждении, что в Америке всякий может разбогатеть или заполучить большой пост. Искателям высоких должностей и издателям всегда удавалось вызвать у обывателя страх перед коммунистами и социалистами: они-де — заговорщики, которые только и мечтают, как бы отобрать добро у тех, кто нажил его своим горбом, и раздать неумехам и завистникам.

Антикоммунистическую истерию использовали и раздували многие рвущиеся к власти политики.

Вряд ли кто из либералов старшего поколения позабудет кошмарную эпоху сенатора Джозефа Маккарти, который начал с того, что голословно обвинил в сочувствии коммунистам сотни чиновников госдепартамента, а кончил тем, что запугал и государственного секретаря Даллеса, и сенат Соединенных Штатов, и президента

Эйзенхауэра. Что еще ужаснее — подавляющее большинство американцев верили его обвинениям и одобряли его противозаконные акции. Он самолично лишил миллионы своих сограждан права вступать в какие-либо организации, кроме официально признанных, — и по сей день американцы все еще не обрели ни этого права, ни былого своего мужества.

Комиссия палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности (ныне — комиссия по вопросам внутренней безопасности) на протяжении десятилетий разъезжала по городам страны и, не приводя никаких доказательств, публиковала списки тех, кто подлежал проверке: подразумевалось, что они коммунисты или их «попутчики». Зачастую этого было достаточно, чтобы попавших в списки увольняли с работы. Комиссия почти никого и ничего не разоблачила и мало что внесла в законодательство страны. Целью ее было запугать и заставить замолчать людей, исповедующих неугодные ей идеи. Хотя деятельность комиссии целиком и полностью противоречила конституции, она долгое время получала широкую поддержку в конгрессе — показатель того, как глубоко параноический недуг поразил американский народ. Две

подобные комиссии работают и в сенате.

Федеральное бюро расследований также внесло свою лепту в искоренение нашей духовной свободы и наших политических свобод. Стараниями Эдгара Гувера, чьи официальные заявления свидетельствуют о том, что он не понимал сути демократической формы правления, ФБР поддерживало страх перед коммунистами и их «попутчиками». Тщательный анализ показывает: те, кого он именовал попутчиками, не имели ни малейшего отношения к коммунизму. Просто это были либералы и радикалы, взгляды которых он не одобрял.

Наша страна превратилась в полицейское государство. Пока что сознают это только те, кто сам подвергался репрессиям: борцы за расовое равноправие, участники антивоенных демонстраций, недовольные существующими порядками студенты. Конгресс же проводит законы, согласно которым отстаивать дарованные конституцией права — преступление. Инквизиторы из конгресса преследуют протестующих за их убеждения. ФБР ведет за ними слежку. Полиция избивает и сажает в тюрьмы. Негры — борцы за гражданские права до тех пор томятся в тюрьмах, пока за них не внесут установленный судьями неслыханно

высокий залог. Жертвам полицейских зверств предъявляют ложные обвинения в нападении на полицию. У меня есть близкие друзья, которые испытали это на себе.

Все больше американцев — в том числе и я — приходят к убеждению, что империалистическая внешняя и деспотическая внутренняя политика ввергают страну в состояние глубочайшего кризиса. Если мы правы и если правительственным чиновникам удастся заткнуть нам рот — катастрофа не за горами.

Некоторые факторы нашей истории и особенности национального характера дают, как мне кажется, объяснение, почему мы с такой легкостью взяли на себя роль мирового жандарма. Волна за волной, нашу страну заселяли люди, у которых достало твердости и отваги порвать с прошлым и устремиться навстречу превратностям судьбы. Мы грабили, предавали и убивали индейцев. Скверно принимали новых иммигрантов. Постоянно оскорбляли и унижали негров, изредка линчевали их, убивали, обстреливали их церкви. На фронтире[78] человек полагался лишь на свои пистолеты, а правосудие вершили лин-

[78] Примечания: 78
Граница передвижения переселенцев.

чеватели; эти беззакония по сей день вызывают у нас восторг. Мы привыкли неделями смотреть мультфильмы и веселиться при виде того, как наши меньшие братья падают с огромной высоты, сгорают в огне, расплющиваются, взрываются. Двадцать лет подряд взрослые и дети смотрят и не могут насмотреться на зверства, показываемые по телевизору.

В магазинах продается все больше и больше военных игрушек. Кривая преступности (в том числе среди несовершеннолетних), вот уже четверть века непрерывно ползущая вверх, и не думает останавливаться. На трех из последних пяти американских президентов совершены покушения. Весть об убийстве Джона Кеннеди вызвала в некоторых школах ликование.

Словом, мы всегда были грубоватым народом, и наша агрессивность вскармливалась успехами наших же агрессивных действий. Двадцатый век принес с собой отказ от викторианской стыдливости и решимость не скрывать более свои низменные инстинкты. В довершение на нас обрушился поток зверств с телеэкранов.

Мы утверждаем, хотя это и не совсем так, будто выиграли все наши войны, и многие из нас уверовали: мы не только непобедимы, но и всегда

правы.

Газеты публикуют письма читателей с призывами «Мы должны преподать коммунистам хороший урок в Азии» или «Мы должны прекратить беспорядки на Кубе», словно в расчет принимаются лишь наши желания, словно у нас есть право и возможность навязывать их силой. Так, члены конгресса неоднократно заявляли, что в целях скорейшего завершения войны во Вьетнаме мы должны либо решительнее наступать, либо воспользоваться ядерным оружием, демонстрируя таким образом полнейшее равнодушие к тому, что мы обрекаем на смерть и подвергаем террору миллионы людей, не причинивших нам ровно никакого вреда. Рекомендация генерала Кертиса Лемэя бомбить Вьетнам до тех пор, пока мы не отбросим его в каменный век, заставляет вспомнить изуверства гитлеровских прихвостней.

Нам следует признать тот нелицеприятный факт, что во многих отношениях мы всего лишь полуцивилизованная нация. Для страны, притязающей на мировое господство, в этом таится немалая опасность.

Перед лицом этой опасности наш долг — организовать политическое движение, противо-

стоящее антикоммунизму и империализму и выражающее интересы народа. В частности, следует упразднить комиссию по вопросам внутренней безопасности и подобную комиссию в сенате, ограничить деятельность ФБР расследованием уголовных преступлений и иностранного шпионажа, положить конец грязным заговорам и подкупам ЦРУ, оставив в его компетенции лишь разведку.

Мы обязаны также следить, чтобы наши дети учились обуздывать свою агрессивность — мы должны не покупать им военные игрушки, запрещать им подличать, смотреть жестокие фильмы. Мы должны настоять, чтобы преподаватели истории не восхваляли войну, но показывали ее подлинное лицо. Необходимо внушать детям, что гордость страны — это в первую очередь великие государственные деятели прошлого, ученые, писатели, инженеры, художники, а уже потом — генералы и адмиралы.

Единственный способ не допустить, чтобы все больше и больше наций накапливало ядерное оружие, — приступить к разоружению тем странам, которые уже обладают им. Бесспорно, это вызовет яростное сопротивление самых могущественных институтов власти и сил нашего

общества. Армейское командование и комиссия по атомной энергии, склонные преуменьшать нашу военную оснащенность, будут неизменно противиться каким бы то ни было ограничениям в этой области. Многие наши промышленники крайне заинтересованы в наращивании производства все новых видов оружия. Конгрессмены и сенаторы обеспокоены не столько проблемами обороны, сколько экономическим эффектом, которым обернутся для частного сектора военные заказы.

Всякий раз при рассмотрении возможных шагов на пути разоружения (наглядный пример — соглашение о частичном запрещении ядерных испытаний) подозрительно и воинственно настроенные члены конгресса, газетчики, обыватели преисполняются уверенности, что любая попытка сократить вооружения нанесет Соединенным Штатам куда больший урон, чем их потенциальным противникам, и, несмотря на все меры предосторожности, коммунисты непременно нас надуют. Они не понимают, что накопление ядерного оружия основательно подрывает безопасность всех — без исключения — стран. Они не в силах поверить, что акция, приносящая пользу одной из сторон, может оказаться полезной для

обеих сторон сразу.

Резкое противоречие между тем, что мы сейчас делаем и что должны бы делать, наши потомки расценят как чудовищное зло.

Даже такие наболевшие проблемы, как проблема нищеты, расовой ненависти, негодного жилья, нехватки учебных и медицинских заведений, не будут решены, пока не прекратится наша агрессия во Вьетнаме.

В далекие времена, когда вспыхивала эпидемия чумы, наступал голод или же страна приходила в упадок, люди мало что могли с этим поделать. Сейчас у нас хватает и знаний и средств, чтобы перестроить весь мир. И тем не менее мы не двигаемся с места, ибо нам недостает полета мысли, смелости и решимости приступить к этой созидательной работе.

Величайшая наша надежда — дети. Они более восприимчивы ко всему новому. С открытой душой откликаются на правое дело. Уже сегодня значительная часть американской молодежи органично сочетает в себе возвышенные устремления и трезвую оценку действительности. Молодые люди не желают мириться с царящими в нашем обществе жестокостью, тупостью, алчностью. Они уже сейчас стремятся помочь

обездоленным — беднякам и неграм — в их борьбе за свои права. Сотни юношей брошены в тюрьмы за отказ участвовать во вьетнамской бойне.

Мы, родители и педагоги, обязаны прививать детям душевное благородство. До сих пор мы внушали им, что превыше всего — их собственное преуспевание. Если мы сумеем доказать, что главное в жизни — это служение людям, им в свою очередь будет гораздо легче создавать крепкие семьи, гармонично строить взаимоотношения с окружающими, обрести счастье, а также — спасти этот мир.

Многие чиновники, газетчики и частные лица — в силу своей принадлежности к общественным группировкам, которых вполне удовлетворяет status quo и тревожит любой намек на перемены, — полагают, что неукоснительное соблюдение буквы закона положит конец движению протеста и беспорядкам в стране. Склонные к одностороннему мышлению, они игнорируют вопиющую расовую дискриминацию, которая вопреки закону культивируется у нас на протяжении целого столетия. Они отмахиваются от обвинений участников антивоенных маршей, считающих, что война во Вьетнаме противозаконна и бесчеловечна. Они отказы-

ваются признать, что студенты, вступающие в конфликт с университетским руководством, вовсе не требуют для себя никаких привилегий. Студенты протестуют против сотрудничества университетов с военными кругами, несправедливого обращения с неграми, гонений на преподавателей, тесно связанных с прогрессивной общественностью. И обструкцию устраивают лишь в тех случаях, когда руководство оставляет без внимания их требования, выдвинутые в законном порядке, или же тянет волынку с ответом на эти требования.

В охране закона и общественного порядка заинтересованы все. Но коль скоро существуют несправедливые законы, а справедливые попираются, люди, отваживающиеся на борьбу против социальной несправедливости, непременно встретят широкую народную поддержку. Только так мы продвигались доныне по пути социального и политического прогресса. Декларация независимости провозглашает: если закон бессилен помочь народу, народ вправе восстать. И Линкольн подтвердил это.

Наши методы борьбы за восстановление справедливости навлекли на меня и моих единомышленников обвинения в том, что мы ставим

себя выше закона, что мы сами решаем, каким законам подчиняться, а каким — нет. Я еще не встречал человека, который бы притязал на право выбирать для себя законы, — на это способен разве что какой-нибудь преступник, напрочь лишенный чувства ответственности за свои поступки. Те, кто становится на путь гражданского неповиновения, — в высшей степени ответственные люди: они сознательно нарушают чудовищно несправедливые, по их мнению, законы и готовы отвечать за все последствия, лишь бы привлечь внимание общественности к легализованным беззакониям и пресечь их. Правда, оказывая моральную и материальную поддержку молодым людям, которые сочли своим долгом отказаться воевать во Вьетнаме, я руководствовался несколько иными соображениями. Зная историю, читая сообщения в печати, я пришел к твердому убеждению, что война во Вьетнаме абсолютно противозаконна. Еще я верил, что выработанные нашим правительством и его союзниками на Нюрнбергском процессе принципы международного права, на основании которых немецкие и японские военные преступники были приговорены к смертной казни, распространяются и на американцев: если

правительство отдает нам приказы, толкающие на преступления против мира и человечности, мы обязаны отказаться от выполнения таких приказов. Требовать для себя исключения — значит глумиться над правосудием. Я верю, что законы и постановления о воинской повинности недействительны в отношении несправедливых войн и что в конце концов наши суды согласятся с этим. Вот почему я считаю, что не только не преступал закона, но поддерживал его.

Консерваторы, реакционеры, даже некоторые из тех, кто причисляет себя к либералам, набрасываются на протестующих студентов, словно свора обезумевших псов. Они обзывают их отпетыми анархистами, готовыми крушить все подряд, начиная с университетов и кончая общественными устоями. Особенно подлыми, на мой взгляд, были провокационные подписи на фотоснимках вооруженных студентов-негров Корнелльского университета, откуда явствовало, что они захватили университетское здание с оружием в руках, хотя оружие им принесли друзья уже к самому концу сидячей забастовки, когда поползли слухи о возможном нападении на них белых студентов-консерваторов.

Почему же власти, пресса и обыватели стремят-

ся очернить молодых радикалов? Многих людей постарше чуть ли не подбрасывает до потолка при одной только мысли, что, добиваясь установления общества справедливости, студенты тем самым посягают на их привилегии и чуть ли не личную безопасность. Их раздражает, что молодых людей не устраивает предназначенная им роль послушных подмастерьев. В глубине души они понимают — хотя не признаются в этом даже самим себе, — что молодыми радикалами движут самые высокие побуждения; однако им куда проще нападать на них под предлогом, будто те — враги рода человеческого.

В последнее время студенческие волнения возникали главным образом по одной и той же причине: студенты неоднократно, причем в самой вежливой форме, просили обсудить их предложения исправить то, что они считали несправедливым, а руководство или попросту отмахивалось от них, или же разводило канитель, увиливая от прямого ответа. И только когда студенты решались на крайние меры, вроде захвата учебных зданий, им удавалось привлечь на свою сторону однокашников и преподавателей и убедить руководство в серьезности своих требований.

Иными словами, руководство университета, как и любого правительственного учреждения, редко когда поступается властью в ответ на корректно изложенные требования; оно идет на уступки лишь в том случае, если дело может принять плохой оборот. По сути, власть предержащая. — а вкупе с ней и пресса, — и не пытается скрыть своего презрения к тем, кто просит о чем-либо, не пуская в ход средства грубого давления. Это испытали на собственном опыте участники движения борьбы за мир.

Негры получили сей горький урок, выслушивая на протяжении столетия поучения и пустые обещания белых. Это усвоили и рабочие, когда у них не было еще ни профсоюзов, ни права устраивать забастовки. Знают это и малые народы, судьбами которых распоряжаются более могущественные соседи.

Все это вместе взятое отнюдь не означает, что нужно становиться циниками, просто разговор должен идти начистоту. Если пресса, общественные деятели и руководство университетов действительно признают за студентами право голоса в решении вопросов университетской жизни, они должны либо предоставить им это право, либо прекратить жалобы на студентов,

когда те прибегают к давлению.

Сам я не пацифист, хотя уважаю убеждения пацифистов. Я одобрял войну против Гитлера и, если появится новый Гитлер, поступлю точно так же. Предложи мне кто-либо вообразить кризисную ситуацию в моей стране, которая вынудила бы меня к насилию, я отвечу, что не задумываясь стал бы на сторону революции, если бы президент США отменил конституцию, распустил конгресс или же начал без суда и следствия бросать американцев в концентрационные лагеря. Не берусь утверждать, что моя позиция единственно правильная, я хочу лишь разъяснить ее.

Американцам, придерживающимся умеренных взглядов, важно осознать то, о чем никогда не упоминают ярые защитники буквы закона, а именно: почти все возникающие в стране внутренние беспорядки сопровождаются насильственными акциями со стороны правительственных органов. Волнения в негритянских гетто вспыхивают обычно в результате зверских действий полицейских, когда их бесчинства доводят людей до отчаяния, и почти всегда жертвами полицейских и национальных гвардейцев становятся ни в чем не повинные негры, случайно оказавшиеся на месте происшествия. Жертвами,

а не виновниками насилия оказались также молодые люди, организовавшие демонстрацию перед зданием Пентагона и в Чикаго, а ведь они, согласно конституции, имели полное право выражать свой протест. Захват учебных зданий студентами некоторых университетов — проступок, но не уголовно наказуемое преступление, поскольку их действия не были направлены против тех или иных конкретных лиц; к тому же университетские здания не являются личной собственностью, а предназначены для занятий студентов с преподавателями. Между тем студенты подверглись такому неоправданно жестокому обращению, что многие их сокурсники, а также преподаватели, соблюдавшие ранее нейтралитет, перешли на их сторону. И в ряде университетов проведены те реформы, за которые боролись студенты, что вряд ли стало бы возможным, будь требования студентов необоснованными.

Мы возлагаем большие надежды на молодое поколение — вот от кого зависит стремительный социальный прогресс. Я верю, что решимость молодежи участвовать в строительстве более справедливого и совершенного общества, ее готовность бороться за свои идеалы выдержат испытание временем. И хочу надеяться, что многие

и многие молодые люди, получив работу и обзаведясь семьями, не скатятся, как это происходит сплошь и рядом, на позиции консерватизма.

Вэнс Паккард
ФОРМОВЩИКИ ЛЮДЕЙ[79]

СЛЕЖКА И КОНТРОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МАСШТАБЕ

Если посмотреть на 1950–1975 годы с точки зрения усилий, предпринятых для контроля над частной жизнью американцев, и роста технических возможностей для достижения этой цели, то третья четверть нашего века окажется худшей в истории американского народа: граждан США пытались лишить личной свободы.

Причин этому много. В частности, виноваты службы безопасности и обеспечения правопорядка, тратящие миллиарды долларов на разработку хитроумных приспособлений для тайного наблюдения и выслеживания. И уникальность шпионской миниатюрной аппаратуры, изготовляемой

---

[79] Примечания: 79

From «People Shapers» by Vance Packard. Copyright © 1977 by Vance Packard. Reprint by permission of Little, Brown and Company.

в рамках программы космических исследований. И наступление эры электронно-вычислительных машин. И страстное желание властей обуздать радикалов. И возросшая обезличенность жизни вместе с интересом к нашим частным делам со стороны работодателей, инспекторов по социальному обеспечению, страховых компаний и кредитных ведомств.

Во всяком случае, средства слежки за гражданами, создавшиеся в тот период по последнему слову техники, сыпались как из рога изобилия. Фонтан этот бил во имя надежности, порядка, безопасности. По сей день он работает на тех, кто не брезгует ничем, стремясь сделать общество более управляемым.

Еще в 1967 году журнал «Дедалус» опубликовал прогнозы на 2000 год. Касаясь проблем личности, обозреватель Гарри Калвен писал: «Ко второму тысячелетию техника станет настолько совершенной, что с ее помощью общество можно будет превратить в подобие казармы».

Сегодня это предвидение вряд ли покажется экстравагантным. Сэмюэл Дэш, главный советник сенатской комиссии, расследовавшей уотергейтское дело, сказал о последних годах пребывания Никсона в Белом доме. — «Полицей-

ское государство — вот до чего мы докатились». В 1972 году президент Никсон, сияющий после триумфального переизбрания на второй срок, с отеческими нотками в голосе признался одному журналисту, что во многом граждане Америки — самые настоящие дети.

Но как мы обращаемся с детьми? Отцы города Провиденс (штат Род-Айленд) едва не приняли в 1975 году решения об обязательном снятии отпечатков пальцев у всех школьников. Желающие ввести подобную практику нашлись не только там. Директор паспортного стола госдепартамента настаивал, чтобы у всех граждан США взяли отпечатки пальцев: они будут нанесены на официальное удостоверение личности, которое американец должен носить при себе. Тогда правонарушитель не сможет выдавать себя за другого, борьба с преступностью упростится, а каждый гражданин станет обладателем документа, подтверждающего его личность. Вопрос ставился и перед конгрессом. Апологеты всеобщего снятия отпечатков пальцев выдвигали, настаивая на преимуществах своего «метода», и такой аргумент: легче будет установить личность утративших память или пропавших без вести.

Посмотрим, как используется научная мысль,

чтобы следить за гражданами и контролировать их действия.

КАЖДОМУ ПО ПЕРЕДАТЧИКУ

Какая простая и современная идея! Людей, которых нужно выслеживать, обяжут носить крохотные радиопередатчики. Укрепить их можно на запястье или лодыжке, у пояса, даже ввести в тело. У каждого передатчика — особый сигнал, а снимать аппарат нельзя, иначе это сочтут правонарушением. Трудно в это поверить, но если вы подумаете, что перенеслись в область научной фантастики о жителях XXV века, то, увы, ошибетесь.

Уже сегодня в США имеется вся необходимая для таких операций технология, причем разрабатывает ее множество весьма трезвых голов.

Послушаем специалистов. Ральф Швицгебель, долгие годы работавший на кафедре психологии Гарвардского университета, называет себя «бытовиком». Два года он вел исследования совместно с группой экспертов, проектирующих системы по управлению людьми. Дж. Мейер изучал способы внедрения «запросчиков-ответчиков». Данное устройство по определенной команде включается и без ведома его носителя передает радиосиг-

налы. Мейер — специалист по ЭВМ и служит в сверхсекретном управлении национальной безопасности США. Так что ему, как говорится, и карты в руки.

Спрашивается, кто же будет носить — по доброй воле или по принуждению — эти контролирующие поведение человека устройства? Прежде всего — досрочно освобожденные из заключения. Если хотите раньше выйти на свободу, тогда нацепите на себя эту штучку, чтобы власти знали о вашем местонахождении. Не нравится? Тогда дело хозяйское — сидите дальше. Цели, как видим, преследуются самые «благородные». Швицгебель именует эту систему «электронным перевоспитанием».

«Радиофицировать» можно и условно осужденных, и малолетних правонарушителей. По мнению Швицгебеля, не следует также оставлять без внимания потенциальных самоубийц и бывших пациентов психиатрических больниц.

Мейер идет еще дальше. Почему бы не «радиофицировать» отпущенных судом под залог? (В большинстве случаев эти люди за отсутствием состава преступления вообще не привлекаются к ответственности.) Или просто задержанных полицией? А стать таковым очень легко — до-

статочно превысить скорость, расквасить нос обидчику, выйти на антиправительственную демонстрацию. Далее, полагает Мейер, нужно позаботиться и о лицах с преступным прошлым, прибегавших к насилию. Вот тебе, приятель, «запросчик-ответчик», носи его, так сказать, за старые «подвиги».

Общее число «сигнальщиков» в Соединенных Штатах у Мейера выходит весьма внушительным–25 миллионов. По одному ему понятной логике Мейер считает, что в потенциале у него будет именно столько клиентов. А налогоплательщики могут не беспокоиться: в их карман не полезут. Стоимость ношения устройства — скажем, 5 долларов в неделю — оплатит сам клиент.

Однако мистер Мейер — сторонник принципа «тише едешь — дальше будешь». Он не имеет в виду сразу же охватить все 25 миллионов. Сперва органы охраны порядка получат право ввести в действие лишь несколько миллионов аппаратов. При разгуле преступности в стране это все равно что слону дробинка, но лиха беда начало.

Выдвинуто и другое предложение — оснастить такими аппаратами «ненатурализованных иностранцев» и членов «политических группировок». Подразумевается, что эти группировки

состоят из людей, оказавшихся за бортом корабля под названием «американский образ жизни».

Меня как налогоплательщика все это очень тревожит. Если полиции вменить в обязанность ежечасно следить за произвольным передвижением миллионов людей, до каких размеров распухнет наш многострадальный бюджет?

Мейер, кстати, спокоен. При его системе практически отпадет нужда в тюрьмах и исправительных колониях. Конечно, рассуждает он, преступники во все времена пытались перехитрить стражей порядка. Но мнение Мейера таково, что его «система» окажется почти неуязвимой и всех, кто вступит с ней в спор, положат на обе лопатки.

Если же «клиента» снабдить устройством чуть посложнее, то за ним возможно не просто наблюдать, а управлять его поведением. В журнале «Исьюз ин криминолоджи» Бартон Ингрехем и Джералд Смит приводят пример, как это реально осуществить на практике. «Освобожденный из заключения досрочно и судимый ранее за ограбление находится в центре города, около магазинов, и его физиологические данные указывают на повышенную потливость, чрезмерное напряжение мышц и возросшее содержание

адреналина. Можно смело предположить, что он задумал недоброе. В этом случае ЭВМ оценивает обстановку и принимает решение вызвать к месту событий полицию или сотрудника, под чьим надзором находится этот освобожденный. Если же клиент оснащен радиотелеметром, ЭВМ передает сигнал, который сразу же отрезвит его и заставит забыть о задуманном». Кроме этого Ингрехем и Смит предлагают вводить электронные устройства прямо в мозг некоторых условно освобожденных. Стоит ЭВМ определить, что некто собирается совершить антиобщественный поступок, как она посылает запрещающий сигнал.

Изучение возможностей современной техники натолкнуло Мейера на смелую мысль — создать сеть постов предупреждающей сигнализации. Они будут информировать о приближении человека, снабженного передатчиками того или иного типа. Владельцам банков, магазинов и других учреждений предложат обзавестись радиоаппаратурой, принимающей их сигналы. Появится подозрительный субъект — и в комнате охраны сразу сработает сигнал тревоги.

Достаточно будет любому из означенных 25 миллионов американцев подойти к прилавку за пачкой сигарет или к окошечку кассы, как подни-

мется тревога, — занятно, не правда ли? Но Мейер предусмотрел и это. Он согласен, что публично клеймить всех подряд не надо. Громкий сигнал тревоги должны давать лишь те передатчики, которыми снабжены «особо опасные» бывшие уголовники. Если в магазин залетит не бог весть какая крупная птица, то за ней станут следить, но трезвонить на весь магазин не будут. Возможно, сотрудник службы безопасности просто услышит легкий свист. И носителю передатчика все равно придется пройти через унижения (хотя покупатели об этом и не узнают).

Швицгебель не скрывает, что система «электронного перевоспитания» обострит и без того злободневные вопросы о гражданских свободах. Мейер также озабочен возможными при такой системе злоупотреблениями. Кого-то, к примеру, арестовывают по сомнительному обвинению, затем нацепляют на него передатчик и отпускают, а дело передают в суд. Фактически этот человек окажется под круглосуточным наблюдением властей, которые пытаются возбудить против него дело. Другой вариант злоупотребления, над коим задумался Мейер: арест и последующая «радиофикация» участников демонстраций и митингов как средство запугивания.

С одной стороны, Мейер даже опасается, не приведет ли вдруг его «система» к возникновению «полицейского государства». Но тут же он отметает подобную мысль, заявляя: «Ведь существуют же у нас тюрьмы, полиция, суды, законы, налоги и прочее». Стало быть, главное — не переборщить, и тогда джинн останется в бутылке.

Я что-то сомневаюсь в этом.

ПОДГЛЯДЫВАЕМ

Американцы привыкли считать себя народом гостеприимным и свободолюбивым, хотя в ряде городов США вновь прибывшего первым долгом исподтишка фотографируют камерой с телеобъективом. Негатив поступает на хранение в полицию или даже отсылается в другой город — проверить по большой картотеке, не преступник ли какой пожаловал.

Во многих городах фотографируют не только приехавших, но всех, кто проходит по центральным улицам, для чего используют кинокамеры. Оснащенные трансфокатором, они могут снимать общий план или, наоборот, выхватывать из толпы лицо человека в сотне ярдов от точки съемки. В Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк) на двух концах центральной улицы установле-

ны телевизионные камеры. В Хобокене (штат Нью-Джерси) несколько людных мест также «простреливаются» телекамерами. То же делается и в Сан-Франциско. Исправно служит телевидение в нью-йоркской полиции. В небольшом городке в окрестностях Нью-Йорка до недавнего времени работало более двадцати телекамер, укрепленных на высоких шестах и контролировавших весь центр.

Съемка в общественных местах поначалу преследовала одну цель: установить личности участников антивоенных и антиправительственных демонстраций.

Сегодня телеглаз поднимается все выше к небу — это позволяет держать под наблюдением большую часть города. Первое время телекамеры устанавливались на крышах многоэтажных зданий: когда в Кливленде вспыхнули студенческие волнения, то с их помощью можно было сфотографировать лицо любого человека, находящегося в зоне двух квадратных миль. Власти Нью-Йорка пошли еще дальше: в случае надобности они ведут наблюдение с вертолетов. Теперь стала возможна телесъемка со спутников — некогда это казалось фантастикой, — и американские компании разрабатывают специальные «небесные»

камеры для всеохватывающей слежки. Современная микроаппаратура позволяет изготовить незаметный (под цвет неба) шар величиной со снежок и поместить его на высоту в две сотни футов: он обеспечит полный зрительный и слуховой контроль за всем, что происходит внизу.

Полицейских фотографов, часто маскирующихся под газетчиков или телевизионщиков, больше всего интересуют митинги и марши протеста, сидячие забастовки и так далее. Не счесть, сколько тысяч раз в последние годы сотрудники отдела гражданского неповиновения филадельфийской полиции прибегали к скрытой съемке. Порой они снимают без маскировки, прямо в полицейской форме — считается, что это дает особый эффект.

Здесь с точки зрения закона возникает довольно щекотливая ситуация. Свобода слова и собраний в США вроде бы гарантируется первой поправкой к конституции. Поэтому полицейский, фотографирующий граждан с целью запугивания, действует незаконно. Подобная практика возможна лишь при наличии явной угрозы национальной безопасности, но до этого за последние годы дело практически не доходило ни разу.

Митинги, марши, собрания инакомыслящих между тем фотографируют не только полицей-

ские. Когда набрало силу движение против войны во Вьетнаме, разведуправление армии США вооружило фотоаппаратами и магнитофонами буквально тысячи агентов. Были заведены досье более чем на сто тысяч американских граждан. Законно ли это? Ведь военные имеют право вести разведработу только в сферах деятельности армии. Позднее стало известно, что в ЦРУ, которому запрещено собирать сведения по внутригосударственным вопросам, брало на заметку американцев, выступавших против войны во Вьетнаме, и пополнило свою картотеку на десять тысяч папок.

ПОДСЛУШИВАЕМ

Глава каждого авторитарного режима лелеет сокровенную мечту — держать под контролем всю информацию, доходящую до населения. В иных странах радио и телеприемники устанавливаются на центральных площадях, и нигде больше. В странах, где уже имеются миллионы телевизоров, проблема, естественно, усложняется. Что предпринять, чтобы узнать, в каких домах настроены на волну, хулящую власти?

Представьте себе, что спецы по телесвязи уже научились это делать, преследуя вроде бы вполне

невинную цель — изучать запросы потребителей. Однако те же приборы можно использовать и для слежки. Например, по улице движется грузовичок с радаром и определяет, какую передачу смотрят в том или другом доме. Рассекречивать квартиры пока не научились, а «засекать» дома уже в состоянии.

Представитель исследовательского отдела министерства обороны, касаясь подслушивания разговоров в помещении, сказал мне, что крохотульки «жучки» для этого больше не требуются. Достаточно направить на окно комнаты, где идет беседа, лазерный луч, и вы будете в курсе дела.

Если вам позарез нужно уединиться с кем-то для беседы и вы идете в парк, не садитесь на скамью. Выстрел из специального ружья — и в ближайшее дерево или куст вонзится оснащенный шипом микрофон. Что же касается телефонных разговоров, то они в США прослушиваются по поводу и без повода. Иногда власти города или штата испрашивают санкцию судебных органов, а чаще подслушивают без спроса, то есть нелегально. В 1968 году утвержден проект, позволяющий с разрешения суда подслушивать телефонные разговоры. С тех пор на законном основании записали на пленку голоса как ми-

нимум двухсот тысяч ничего не подозревающих американских граждан.

В области слежки сделано и новое открытие — звуковой отпечаток. Он дает совокупность линий, по которым можно установить личность человека почти с такой же точностью, что и по отпечаткам пальцев. Пока это «почти» не удовлетворяет судебные органы, но наука идет вперед…

Сложнейшие устройства для наблюдения — звукового и визуального — используются правительственными и частными организациями все шире, и конгресс обязан принять закон, регламентирующий их применение. Иначе под серьезной угрозой окажется свобода личности американских граждан.

ЗАПОМИНАЕМ

В одном из отчетов Белого дома предлагалось создать гигантский банк памяти, где будут храниться сведения, полученные от судов, полиции и медицинских учреждений. Информация, разумеется, станет циркулировать между Вашингтоном и самыми отдаленными уголками страны.

Мысль о создании национального банка сведений не нова. Еще в 1966 году бюджетное бюро настойчиво проталкивало через конгресс план,

согласно которому один гигантский компьютер должен был хранить всю информацию о всех гражданах США, каковой располагали двадцать федеральных агентств.

Сторонники этого предложения уверяли, что подобная централизация необходима лишь для того, чтобы облегчить им сбор статистических материалов и, следовательно, планирование. Однако где гарантии, что данные банка будут использоваться строго по назначению? Их, увы, нет, признали представители бюджетного бюро. Им, видимо, в голову не пришло, что при складывающемся порядке вещей всю эту систему сведений очень просто превратить в банк, содержащий досье на каждого жителя страны. Это досье зафиксирует данные о доходе гражданина, его иждивенцах, прохождении военной службы, работе, а также много других сведений, касающихся его личной жизни. Чтобы избежать злоупотреблений, намеревались ввести жесткие административные ограничения. Но при авторитарном режиме отменить последние ничего не стоит. И в этом случае банк будет работать против критиков существующего строя, превратится в машину запугивания и дискредитации.

Федеральное правительство имеет минимум

5000 электронных установок для хранения и накопления информации. Осталось также множество старомодных картотек — они еще не успели подвергнуться электронной обработке. В 1974 году сенатская комиссия по правовым вопросам сообщила, что в распоряжении федерального правительства находится около миллиарда досье на отдельных граждан. Цифра эта почти в пять раз превышает численность населения США. Сюда следует добавить еще миллиард досье, которые хранят правительственные агентства штатов, округов или районов. Вот список только основных официальных хранителей подобной документации:

в министерстве обороны содержится минимум 16 миллионов личных дел;

в органах госаппарата — минимум 10 миллионов объемистых досье на граждан США;

в департаменте государственных сборов имеется, что вполне понятно, более 100 миллионов досье;

около 100 миллионов дел хранится в службах социального обеспечения;

ФБР располагает минимум 6,5 миллио-

на личных дел граждан США, в том числе сведениями по 600 000 уголовных дел. Есть там и 100 000 досье на лиц, которые в то или иное время выказывали сочувствие коммунистической партии;

секретная служба США собрала досье на сотни тысяч лиц, «вызывающих интерес». Лицом, «вызывающим интерес», стать совсем просто: достаточно возразить против условий жизни, принять участие в демонстрации, помянуть недобрым словом вашингтонское правительство, потребовать личной встречи с каким-нибудь крупным чиновником, чтобы разрешить возникший конфликт.

Большие «банки памяти» гордятся своей репутацией: они-де работают безошибочно. Надо ли говорить, что подобная репутация не сулит гражданам ничего хорошего. Разве человек в силах поспорить с гигантской вычислительной машиной, которая выдает порочащую его информацию? Хотя, заметим, вычислительные машины на поверку ошибаются гораздо чаще, чем старомодные системы статистического учета! Корректировка ошибок предусмотрена далеко

не всегда, несовершенна и техника уточнения сведений.

На десятки миллионов американцев досье заведены лишь потому, что их один-единственный раз задержала полиция. Местные полицейские власти и суды удивительно беззаботны, когда речь заходит о необходимости обновить и поправить сведения об арестах. В итоге во многих личных делах так и не появляются записи «оправдан», «невиновен», «освобожден за отсутствием состава преступления» и т. д.

Президент американского союза гражданских свобод Арие Нейер однажды заметил, что сбор данных о гражданах приобрел столь гигантские размеры, что «даже не знаешь, с какого конца подступиться к вопросу о невмешательстве в нашу личную жизнь… Думаю, что сама идея сбора сведений противоречит праву человека на свободу личности». И если человек по какой-то причине попадает в число «неблагонадежных», «ему остается лишь прозябать на задворках американского общества».

РЫЧАГИ МАССОВОГО ЗАПУГИВАНИЯ

В конце 60-х — начале 70-х годов граждане США — этой страны свободного предпринимательства

— получили ясное представление о том, как легко обществу скатиться к полуполицейскому государству. Недовольство американцев в те годы возросло до крайности. Белый дом наводнили эксперты по управлению народными массами, и администрации просто некогда было думать о гражданских правах населения.

Характерная черта полицейских государств — запугивание слежкой. Граждане знают, что за ними наблюдают, разговоры подслушивают, почту просматривают, что к ним в квартиру может нагрянуть полиция.

Ричард Никсон в бытность свою президентом проявлял прямо-таки нездоровую страсть к подслушиванию и угрозам. Он записывал на магнитофон разговоры журналистов, правительственных чиновников, даже собственного брата. Журналист Уильям Сэфайр, составлявший для него речи, писал в 1974 году, что «желание подслушивать стало у Никсона второй натурой».

Надзор за критиками режима и инакомыслящими (в том числе прокоммунистически настроенными гражданами) — дело, конечно, давно известное. Но в период правления Никсона он достиг невиданных масштабов, главным образом за счет новейших средств технологии

рлежки. Примеров тому множество:

> управление национальной безопасности в течение шести лет (вплоть до 1973 года) прослушивало фактически все международные телефонные разговоры. Просматривались все международные телеграммы;
>
> сотрудники ЦРУ на территории США незаконно вскрыли более 200 000 писем. ФБР занималось перлюстрацией частной переписки в восьми штатах;
>
> согласно подсчетам научно-исследовательского центра по вопросам национальной безопасности, которые были проведены в 1975 году, под активным наблюдением находилось более 200 000 граждан США.

Я глубоко убежден, что необходимо принять федеральный закон, запрещающий правительственным агентствам — на уровне государства, штата или округа — собирать и хранить данные о политической деятельности, связях или высказываниях американских граждан. В конце концов, именно это провозглашает первая поправка к конституции США.

ФОРМОВКА «СУПЕРПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Специалист по маркетингу Олвин Ахенбаум давал показания перед федеральной торговой комиссией, где слушался вопрос: «Можно ли с помощью рекламы манипулировать покупателями?» Он категорически заявил, что ни о какой манипуляции здесь речи и быть не могло, хотя члены комиссии к его словам отнеслись скептически.

Конечно, вряд ли кто возразит, что реклама — манипулирующая сила. В большинстве стран Запада она превратилась в мощнейшее средство социального контроля. Американские рекламные агентства расходуют более 33 миллиардов долларов в год, чтобы на нужный им манер перекроить вкусы покупателей. Это значит, что рекламные расходы на среднюю американскую семью ежегодно составляют 600 долларов — как тут устоять перед таким напором?

Одни рекламные объявления сообщают, где найти слесаря. Другие призваны изменить стиль жизни человека и его отношение к миру. Задача последних — пробудить у индивида повышенный интерес к собственной персоне, заставить его интересоваться только самим собой, вызвать

желание жить сегодняшним днем, не думая о будущем. Сделать покупателей ненасытными — вот конечная цель рекламы. Несколько лет назад социолог Кларк Винсент заявил, что семья перестала быть лишь воспроизводящей потомство ячейкой. Приспосабливаясь к меняющимся условиям, она преобразуется в «ячейку потребляющую».

В США затрачиваются колоссальные усилия, чтобы принудить человека к тем или иным действиям. Телевидение обрушивает потоки рекламы, разливающиеся в целое море: к восемнадцати годам юные американцы успевают переварить 1800 часов телерекламы. Разделите это на 35-часовую рабочую неделю, и окажется, что целый год американские юноши и девушки смотрели только рекламу.

А радиореклама? Добавьте еще год.

Известный специалист по вопросам психологии покупателей Эрнест Дихтер утверждает, что в наши дни недостаточно просто похвалить товар. Первым делом рекламщики стараются погасить у покупателя мысль типа «мне это не нужно». Потребность в чем-либо, поясняет он, является психологическим феноменом: в чисто утилитарном смысле без большей части предлагаемых

на рынке услуг и товаров можно обойтись. «Так, когда вы продаете человеку новый костюм, в действительности он покупает психологическое чувство удовольствия от обновы».

МАШИНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАСТРОЕНИЙ

Рекламщики без устали ищут способа проникнуть в черепные коробки потребителей. Прежде всего их чрезвычайно интересует, какое впечатление на нас производят их потуги. Они анализируют, как мы воспринимаем рекламные картинки и призывы в газетах и журналах, по телевизору, на консервных банках и пакетах. В начале 60-х годов психолог Экхард Гесс разработал устройство — зрачкомер, — которое мгновенно определяло уровень нашего интереса к визуальной рекламе. Оно определяет размер зрачка. Допустим, вы смотрите на рекламную картинку, а зрачок ваш при этом расширяется или сужается. Гесс доказал, что степень его расширения является мерой внимания, с каким вы смотрите на картинку.

Предварительные испытания телевизионных рекламных программ проводятся в широком масштабе, для чего применяют самую разнообразную технику. С улицы в студию приглашают

прохожих и фиксируют их реакцию на рекламу при помощи различных датчиков. Если человек расслаблен и смотрит с интересом, то кожа его выделяет меньше пота, а если ерзает и не может сосредоточиться, то больше.

Исследователи сейчас все упорнее подбираются к нашему мозгу, надеясь отыскать ответ на вопрос, как прибыльнее сбыть товар. Журнал «Джорнэл оф адвертайзинг рисерч» опубликовал результаты испытаний, связанных с реакцией мозга на рекламу. Оказалось, что люди гораздо более внимательны при чтении рекламы и относительно пассивны, воспринимая ее на слух.

СОБЛАЗНЯЮТ ДЕТЕЙ ПО-НАУЧНОМУ

Всю новую методику и технику производители рекламы, желая выгоднее продать свой товар, используют для воздействия на детей, на мушку берут даже трехлетних.

Да это и не мудрено: ведь в США дети потребляют товаров и услуг на 75 миллиардов долларов, вынуждая взрослых расходовать на несколько миллиардов больше, чем тем хотелось бы. По этому поводу в журнале «Адвертайзинг эйдж» один рекламный агент писал: «Хотите как следует продать товар — берите в помощники детей. Дети

теребят родителей, не дают им житья и в конце концов прорывают оборону — товар куплен».

Средний подросток в год смотрит более двадцати тысяч рекламных роликов. Корпорации расходуют на их выпуск около полумиллиарда долларов. На карту поставлены баснословные прибыли. И большинство производителей рекламы считают, что научились выколачивать монету из потребителей. «Программирование детей, — заявляет один крупный экономист, — наиболее прибыльная статья телепрограммирования».

По всей стране словно грибы после дождя появляются фирмы-консультанты, изучающие реакцию детей на рекламные картинки и объявления. Полученные результаты кладутся в основу изменений, призванных заставить маленького покупателя еще больше возлюбить тот или другой товар.

Чтобы проверить качество рекламных программ, компания «Одиенс стадиз» в Лос-Анджелесе даже устраивает театральные действа. Ежегодно на этой «машине интереса» проверяют около 4000 маленьких потребителей. С помощью нажатия кнопки дети оценивают увиденное по пятибалльной шкале.

Организаторы этого «театра» знают и систему Станиславского. Детям предлагают разыграть сценку: как, по их мнению, отнесутся родители к их просьбе что-либо купить? Как вы сами, милые детки, стали бы рекламировать этот товар взрослым? Будут ли вам завидовать ваши приятели?

В США сегодня налицо курс на завоевание детского рынка. Исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, что 80% детей пристают к родителям, требуя купить рекламируемые по телевидению игрушки. В книге «Молодежный рынок» два рекламных агента приводят данные, собранные в ходе бесед с матерями. Сколько лишних покупок сделали матери в супермаркетах только потому, что с ними были дети? Из ответов следует, что в целом эта сумма ежегодно составляет 4 миллиарда долларов.

ПОКУПАЕМ ТОВАР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ГОСТИНОЙ

Как сделать, чтобы купля-продажа совершалась сразу же после показа рекламы? Об этом мечтают все, кто прокатывает свою рекламу по телевидению. Покупателя нужно захватить врасплох, когда он, лениво развалившись в кресле,

сидит в гостиной и потягивает бренди. Он смотрит телерекламу — вот тут-то и бери его голыми руками, ведь он сейчас мысленно примеряет товар на себя. И не нужно ждать, чтобы клиент оказался около магазина, где продается ваш товар или услуги.

Пока это лишь мечта. Но действительность уже близка к ней. Существует двухстороннее кабельное телевидение: рядом с телевизором стоит кнопочная консоль, а вы, уютно устроившись в кресле, смотрите рекламные ролики. Консоль работает проще карманного калькулятора — от вас требуется нажать три или четыре кнопки. Аппарат для изготовления кубиков льда, какой-нибудь электрический прибор для бритья ног, кухонная мебель или десятискоростной велосипед, из-за которого вам нет житья от сына, — все это будет завтра утром у ваших дверей: заплатите потом!

Кабельные телеустановки быстро распространяются в США: к концу 1976 года их насчитывалось около 11 миллионов.

Научный фонд по вопросам рекламы активно изучает потенциальные возможности торговли с помощью двустороннего кабельного телевидения. Исследования эти ведутся в ЭльСегундо (штат Калифорния). Владельцы консоли могут

сразу заказать товар или услуги, рекламируемые по телевизору. Можно заказать билеты в театр, на спортивные состязания или транспорт. Хотите товар по каталогам? Пожалуйста! Хотите, чтобы товар доставили на дом для демонстрационного показа? Нет ничего проще.

Эль-Сегундо — не единственное место, где применяется консольная система. Таким же образом торгуют в некоторых городах штатов Огайо, Техас, Аризона, Флорида, Канзас. Основная сложность состоит в том, что «волшебная» консоль стоит пока недешево.

Отдельные энтузиасты уверяют, что кабельное телевидение — самое значительное со времен азбуки Морзе изобретение в области связи. С его помощью можно не только покупать, но и заказать на домашний экран последнюю сводку новостей, ознакомиться с сегодняшним меню в местном ресторане, подключить датчики, которые в отсутствие хозяев сообщат, что в доме начался пожар или в квартиру проник грабитель. Разумеется, легко и определить, как владелец консоли относится к тем или иным политическим событиям.

Индустрия создания суперпотребителей, безусловно, лишь затрудняет решение проблем,

от которых и так страдают развитые общества. Доводимая до абсурда идея продать во что бы то ни стало, любой ценой неизбежно приведет к истощению источников энергии и других невосполнимых полезных ископаемых. Возрастет загрязнение окружающей среды — короче, жизнь в «обществе потребления» едва ли станет краше.

СУПЕРСПОРТСМЕНЫ

Во многомиллиардный бизнес превратился за последнее десятилетие и большой спорт. Тренеры сгорают от желания обнаружить у спортсменов какие-то неиспользованные резервы. Возможности для достижения физического превосходства почти исчерпаны. Может быть, выявить эти самые резервы помогут психологи и психиатры? Может, они подскажут, как определить способности новобранца, кто и на каком месте принесет команде большую пользу, как оптимально настроить игроков на ответственный матч. Что ж, ученые-бихевиористы с удовольствием — обычно за вознаграждение — им помогут.

О том, что такая работа ведется, я узнал случайно, познакомившись в аэропорту города Толидо с профессором психологии местного университета Уильямом Босеем. Он сказал мне, что по

совместительству возглавляет академию, занимающуюся психологией большого спорта.

В частности, академия проанализировала «скрытый потенциал» нескольких сот футболистов из национальной футбольной лиги и более сотни автогонщиков. Босей работал с тремя национальными хоккейными командами и с тремя командами из высшей баскетбольной лиги. Он консультировал тренеров футбольных команд штата Огайо относительно подбора игроков и распределения их обязанностей. Прежде всего Босей хочет «оптимизировать» игру спортсменов на закрепленных за ними местах. На вооружении у него электронно-вычислительная техника, кассетные магнитофоны, приборы для измерения мозговых волн, осциллографы и множество психологических тестов, в том числе и «экспериментальное изучение темперамента».

Оказалось, Босей не одинок. Институт по изучению мотивировок в спорте подверг тщательному психологическому анализу несколько сот спортсменов. Его основали психологи Брюс Огилви и Томас Тутко, которые видят свою задачу в том, чтобы дать тренеру сведения об эмоциональном состоянии спортсмена и его готовности противостоять грубой опеке. Они подсказывают тренеру,

в какую линию поставить новичка — в защиту или нападение, определяют, насколько он способен выполнять тренерские установки.

Какие же черты помогают спортсмену добиться успеха? Босей проанализировал личностные характеристики многих известных спортсменов. В зависимости от вида спорта и выполняемой функции здесь возможны разительные контрасты. Например, Босей подверг тестам тридцать пять автогонщиков, стремившихся пробиться на крупные соревнования. Удача сопутствовала семнадцати, и почти всех их отличала нескрываемая враждебность к окружающему миру. Кроме того, все они были людьми замкнутыми, равнодушными, властолюбивыми.

Хорошие бегуны на длинные дистанции, как правило, люди пассивные, наделенные терпимостью к поступкам других, у них до крайности развито чувство самодисциплины, они чрезвычайно требовательны к себе.

Пожалуй, спорт, в котором физическое единоборство с противником выражено наиболее ярко, — это американский футбол. И месту игрока в команде соответствуют определенные личностные характеристики. Хорошие защитники привносят в игру элемент жестокости, грубости,

враждебности. Нападающие же, считает Босей, должны быть людьми другого склада. Они более сдержанны, им необходимо чувство локтя, умение работать на команду. Желательны такие черты характера, как пунктуальность и точность. Импульсивность здесь только вредит.

Изучая личностные характеристики футболистов, психиатр Арнольд Манделл выяснил, что в раздевалке ему достаточно заглянуть в шкафчик, чтобы сказать, кому он принадлежит — защитнику или нападающему. «У нападающих в шкафчиках всегда чистота и порядок, а у защитников все перевернуто вверх дном. Чем лучше защитник, тем больше порядка у него в шкафчике».

Многие профессиональные футболисты перед выходом на игру принимают стимулирующие таблетки; до недавнего времени в большом ходу были амфетамины. Несколько лет назад молодой тренер университетской команды в Сан-Диего обследовал примерно двести игроков из шестнадцати футбольных команд национальной лиги. Потом он написал диссертацию о применении амфетаминов в профессиональном футболе. Из его материалов следовало, что в любой матчевый день половина игроков находилась под воздей-

ствием стимулирующих средств. Вот что сказал Манделлу один из футболистов:

«Знаете, доктор, мало радости сражаться с парнем, который исходит слюной от ярости, рычит и бросается на тебя с расширенными зрачками. Другое дело, когда ты и сам в таком состоянии».

В 1975 году президент национальной футбольной лиги оштрафовал команду «Сан-Диего чарджерс» за применение стимулирующих средств и тем выразил свое отношение к проблеме.

Для «сверхнастроя» футболистов на игру консультанты прибегают к экспериментам. Например, нападающему перед матчем предлагают повторить лучший его финт несколько сот раз. В другой команде игроков перед матчем заставляли отключаться от внешнего мира, предаваться созерцанию.

Чтобы как следует настроить игроков, Босей предлагает им прослушивать специально для них подготовленную кассету с магнитофонной записью. Это не гипноз, уверяет он, но определенное гипнотическое воздействие сказывается. Босей создает у игроков такое настроение, когда они могут использовать свои физические возможности в максимальной мере. Игроков, чьи основные козыри — умение и мастерство,

он усаживал в кресло и обвешивал датчиками, прикрепленными к измерительным приборам. Это помогало им успокоиться, сосредоточиться и собраться перед выходом на поле, в таком состоянии их качества раскрывались наилучшим образом. Это средство, считает Босей, годится и для теннисистов.

С защитниками он обращается по-другому. Заставляет их надевать наушники и включает запись неприятных резких звуков, которые призваны разозлить и раззадорить защитников, пробудить в них ярость. Многие игроки считают, что подобная предматчевая обработка идет им на пользу.

Свою задачу Босей видит в том, чтобы помочь спортсмену добиться более высоких результатов. Но вот что он сказал об одной конкурирующей бригаде консультантов-психологов. «Они слишком сблизились с тренерами и хозяевами, а это уже пахнет манипулированием».

СУПЕРРАБОТНИКИ

Ученики Скиннера[80] уже давно перебрались

[80] Примечания: 80

Б. Ф. Скиннер — крупный американский психолог, один из ведущих представителей современного бихевиоризма.

из тиши лабораторий, где им приходилось ставить опыты над крысами и голубями, в тюрьмы, школы и дома для умственно отсталых. И теперь у них возник естественный вопрос: почему бы не замахнуться на нечто большее? Промышленники ведь давно готовы раскошелиться, лишь бы нашелся способ встряхнуть вконец разленившихся рабочих.

Но профсоюзные лидеры едва ли допустят, чтобы открытия, сделанные при экспериментах над голубями, были применены непосредственно к членам профсоюзов. Еще в 60-х годах психолог Оуэн Олдис опубликовал в журнале «Харвард бизнес ревью» статью «О голубях и людях». Если голуби при определенных условиях начинают клевать быстрее и настойчивее, задавался он вопросом, то нельзя ли эти условия перенести на человека? Немедленно получать вознаграждение за сделанную работу любят не только голуби. Отсюда напрашивается вывод, промышленность должна вернуться к сдельной оплате труда, но в какой-то новой форме. Безусловно, писал Олдис, при современном производстве большую часть работы выполняет не человек, а машина. Тем не менее следует отыскать какую-то форму вознаграждения за единицу произведенной

продукции. Голуби, отмечал автор, показывают наилучшие результаты, когда награда не остается постоянной, а часто меняется. Это его навело на мысль ввести в систему оплаты труда элемент случайности. Люди любят играть. Почему бы раз в неделю не вытягивать из шляпы бумажки с фамилиями рабочих? Премия, которую получит самый удачливый, будет зависеть от того, насколько он превысил установленные производственные показатели.

Два психолога-бихевиориста из штата Мичиган взяли на вооружение игру на деньги, надеясь таким путем сократить число прогулов. В игре участвовало 215 рабочих с почасовой оплатой, работавших на одном предприятии. В основу своей системы психологи положили всего-навсего обычный покер Ежедневно каждый вовремя приходивший на работу рабочий вытягивал из колоды одну карту. Если всю неделю он не опаздывал, то в пятницу у него на руках оказывалось пять карт, именно столько, сколько нужно для игры в покер. Обладатель лучшей комбинации получал 20 долларов. Кроме того, выплачивалось семь выигрышей поменьше. За четыре месяца число прогулов сократилось на 18%, а на четырех соседних фабриках возросло на 14%. Очень

возможно, что «винить» в улучшении следует не деньги, а оригинальный принцип их распределения.

В 70-х годах консультирующие фирмы — последователи Скиннера — ломали головы над тем, как качественно повысить производительность труда. В тесном контакте с одной из них работает компания «Эмери эйр фрейт». Тех, кто хорошо справляется с работой, начальство этой компании хвалит и всячески поддерживает. Менее расторопных не наказывают, не ругают; наоборот, трудности, с какими они сталкиваются, выносятся на обсуждение. Такой подход вскоре принес свои плоды: возрос выход продукции, повысилась прибыльность предприятия. Похвала, как известно, стоит недорого, а от наказания больше вреда, чем пользы. Нельзя, заметил представитель компании «Дженерал электрик», чтобы рабочий перестал себя уважать.

Другой научный подход, призванный повысить производительность труда, заключается в переносе хронометрирования на служащих. Рабочие конвейерных линий давно привыкли, что каждое их движение дробится и замеряется, но до последнего времени считалось, что работа служащих труднее поддается учету, она более

творческая и больше связана с умственной деятельностью.

Сейчас эксперты с секундомерами точно знают, что секретарша может открыть письмо за 7,027 секунды. Любой вид деятельности служащих подсчитан с точностью до микросекунды.

Более дюжины консультирующих фирм за месячный гонорар в 7000 долларов учат владельцев компаний, как расчленять каждую стоящую перед служащим задачу на движения рук, глаз и так далее, а потом суммировать и определять, сколько времени требуется на ту или иную операцию. Написаны специальные труды под названием «Короткие движения», «Движения руки для перемещения веса». Подобные методы применяют к служащим банков, страховых компаний. Многие специалисты, однако, убеждены, что на служащих хронометраж оказывает отрицательное психологическое воздействие.

Итак, мы пытаемся создать суперработников, а между тем недовольство с их стороны непрерывно растет. Они жалуются, что работа не приносит им радости. Начальство хватается за голову: замучили прогулы, текучесть кадров, люди приходят на работу пьяные или одурманенные наркотиками. Главы компаний сетуют, что

на них постоянно оказывается давление снизу. Видимо, частично тому виной свойственный нашему времени бунт личности, крушение ее несбывшихся надежд. Миллионы людей стали слишком образованными для той работы, какую они вынуждены выполнять.

ЧЕЛОВЕК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Новинки, призванные контролировать социальное поведение человека, имеют свои положительные стороны, хотя личности наносится колоссальный ущерб. Многие это сознают и стремятся доказать, будто человек не пешка на шахматной доске, а существо, способное самостоятельно управлять собственными поступками.

Когда людьми манипулируют, они постепенно перестают верить, что обладают индивидуальностью, что каждый из них представляет собой целый особый мир. Человек больше не верит в свою исключительность. Но экспериментаторы продолжают выискивать все новые способы, стремясь показать, что человек вполне поддается обработке.

Столь массивная обработка людей стала возможной потому, что «жажда эксперимента», если воспользоваться выражением одного социолога,

«захлестнула все принятые в обществе нормы морали». На каком-то этапе исследований не грех подумать об ответственности перед обществом, поскольку манипулирование может привести к устрашающим результатам.

Мои соображения о будущем сводятся к следующему.

Исследования, связанные с формированием людей, следует вести с учетом социальной политики, которая в ближайшие пять-десять лет должна быть направлена на улучшение условий жизни человека на земле. Изучение человеческой природы не обязательно ограничивать приятными или лестными для нас фактами и явлениями. Однако сведения о том, как влиять на поведение человека, все накапливаются, и сейчас крайне важно, чтобы социальная политика направляла и контролировала эти исследования.

Любая попытка с помощью науки изменить поведение человека является покушением на его свободу (за исключением случаев, когда это делается по его просьбе). Часто рекомендуется необходимое именно данному пациенту терапевтическое лечение, которое позволит ему в большей степени наслаждаться жизнью. Но стричь всех под одну гребенку, унифицировать

поведение всех и каждого — такого допустить нельзя.

Меры по воздействию на поведение человека предпринимаются якобы для того, чтобы ему помочь. В большинстве случаев, однако, основная мотивировка куда прозаичнее: таким образом с человеком легче управиться. По моему мнению, сначала необходимо тщательно и беспристрастно изучить все причины, а потом уже приступать к делу.

Существуют и серьезные опасения, что новые формы контроля за поведением могут привести к обширным злоупотреблениям в политических целях. Всем известно, что немалая часть населения земного шара живет под властью диктаторов, которые сгорают от желания еще туже затянуть петлю на шее народов. Почти каждый год в какой-нибудь стране устанавливается авторитарная власть. Тенденция к тоталитаризму может возрасти с оскудением природных ресурсов. И эксперименты над социальным поведением людей превратятся в опасную игрушку.

Сейчас появилось множество бихевиористов, прошедших специальную подготовку и способных умело контролировать поведение людей в различных ситуациях. Эти ученые приходят

к выводу, что при работе с людьми в промышленности, системе образования — короче, везде — можно добиться лучших результатов, если обращаться с ними как со свободными, самостоятельными, наделенными чувством ответственности и в определенном смысле уникальными существами.

Число лиц и организаций, стремящихся перекроить наши жизни на нужный им манер, безудержно растет. Если бы даже они руководствовались самыми благими намерениями, то мы все равно обязаны тщательно взвесить наше положение и подготовиться к обороне. Но чтобы хорошо защищаться, нужно знать, к чему же стремится человек? Какие ценности важно поощрять, а какие, наоборот, предать анафеме?

Определить, к чему человек стремится, — задача сама по себе трудная. Многие из тех, кто жаждет манипулировать людьми, тоже распространяются о высших целях, выглядящих зачастую весьма банально. Не исключение и основоположник бихевиоризма Скиннер. «Пусть люди будут счастливыми, осведомленными, мастерами своего дела, примерными гражданами и хорошими работниками», — заявил он однажды. В другой раз Скиннер заметил, что хорошее

общество должно обеспечить человеку возможности для «поисков счастья». Казалось бы, вполне приемлемая формулировка, которая к тому же записана в Декларации независимости США. Однако австрийский психиатр Виктор Франкль даже здесь нашел, к чему придраться. Поиски счастья, по его мнению, — пустое и совершенно никчемное занятие. Человек должен посвящать себя делу, которое в конечном счете и сделает его счастливым.

В идеале для борьбы с «формовщиками людей» необходим свод положительных и отрицательных ценностей. Возможно, в будущем какой-нибудь научный фонд и займется разработкой некой иерархии человеческих ценностей. Она пригодилась бы для оценки различных предложений, призванных изменить поведение человека.

Я приведу на этот счет свои соображения, хотя допускаю, что и они могут оказаться не менее уязвимыми, чем формулировки Скиннера.

Низкий балл следует давать тем разработкам, которые делают человека:

более предсказуемым,
более безответственным,

менее человечным,
более склонным к нарушению супружеской верности,
более зависимым,
более управляемым,
менее заинтересованным в завтрашнем дне.

С другой стороны, общество должно по-настоящему ценить людей, способных:

принимать решения и отвечать за свои поступки, выполнять намеченное, умело воспитывать детей, самостоятельно мыслить.

Что до самих обществ, то их следует оценивать, исходя из того, в какой степени они:

делают ставку на достоинство, силу и значимость каждого человека,
планируют предсказуемые машины, а не предсказуемых людей,
поощряют людей к активной, а не пассивной деятельности, обеспечивают человеку невмешательство в его личную жизнь,

гарантируют свободным гражданам свободу от насилия, противостоят новшествам, призванным изменять поведение людей,

препятствуют манипулированию.

С учетом этих ориентиров и складывается социальная политика для любого общества, где существуют революционные научные достижения, влияющие на жизнь людей.

Эти оценки позволяют также вывести реалистическую модель человека, каким его хотелось бы видеть в предстоящие годы.

Принято считать, что человек — хозяин своей судьбы. Но многие смотрят на человека иначе — их интересует, в какой степени он поддается воздействию и обработке.

Человек, разумеется, поддается обработке. Можно даже согласиться с точкой зрения детерминистов, что формирующую роль в нашей жизни играют гены, инстинкты и среда, и этими параметрами можно манипулировать.

И все-таки при желании и старании мы все в состоянии бороться с воздействием среды, обуздывать наши инстинкты, брать лучшее из нашего генетического наследия и сводить к ми-

нимуму возможности манипуляций личностью.

Принимая во внимание научные достижения, от которых не отмахнешься, а также сокровенные чаяния жителей Земли, я предлагаю на ближайшие десятилетия следующую модель человека:

> человек — это совокупность многих данных, достойных и не достойных восхищения, но он обладает потенциалом для самостоятельного принятия решений и значимой жизни в обществе. Когда этот потенциал беспрепятственно реализуется, человек становится наиболее полноценным.

Каждый из нас в значительной мере может стать творцом собственной судьбы.

Филлип Боноски
ПАСЫНКИ АМЕРИКИ[81]

Пожалуй, ничто так наглядно не отразило изменений в жизни американского общества за минувшие два десятилетия, как отношение этого

---

[81] Примечания: 81

© «Иностранная литература», 1980.

общества к детям.

Контркультура возвестила на весь мир, что отныне молодые не будут доверять «ни одному человеку старше тридцати лет». Она учредила настоящий культ психологии ребенка, возводя детскую «невинность», «чистоту» в ранг философии, а затем и политической позиции. В итоге все фальшивое в этой части ее «программы» (весьма смутной, впрочем, и в остальных конкретных аспектах) было подхвачено правящей системой и развито дальше; что же касается разумной идеи — потребности человечества в «детской чистоте» социальных отношений, — то от нее не осталось и следа.

Концепция детства представляла собой в контркультуре странную смесь чистоты и порочности, правдивого и ложного, ангельского и демонического. «Ребенок», который якобы стоял вне общества и воплощал осуждение этого общества, не упал с неба и не был найден под капустным листом: при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что он — порождение окружающего мира, и, хотя он отрекался от отца и матери, с течением времени не менее ясным оказывалось, что он — истинное дитя своих родителей.

Американских детей можно условно подразде-

лить на три категории. Две из них — дети черных и других национальных меньшинств, а также дети трудящихся — официально оставались «невидимыми», и в американской литературе, как правило, мелькали где-нибудь на заднем плане, хотя в реальной жизни занимали весьма заметное место. Третья категория — буржуазный ребенок, дитя так называемого «среднего класса» из белой, протестантской, англосаксонской семьи — благодаря искусству и литературе захватила в общественном сознании Америки центральные позиции, образ этого ребенка (золотоволосого, голубоглазого, белокожего) из поколения в поколение притягивал воображение множества американцев, которые жили в Америке, участвовали в выборах ее правительства, погребались в ее земле и тем не менее чувствовали себя здесь чужаками и изгоями.

Гарриет Бичер-Стоу в своем обличающем рабство романе «Хижина дяди Тома» («Так вы — та маленькая женщина, из-за которой началась эта война!» — будто бы сказал ей Авраам Линкольн), создала — с самыми лучшими намерениями — архетипы американских негров, долгое время преобладавшие в американской истории и не исчезнувшие даже теперь: образ дяди Тома и

— что в данном случае интересует нас больше — образ Топси. Дядя Том стал символом покорного и смиренного раба (хотя вопреки сложившимся о книге представлениям он ведет себя в ней с большим мужеством и твердостью). А вот Топси:

— Кто была твоя мать?

— У меня никакой матери не было, — заявила девочка, снова улыбаясь до ушей.

— Как так — не было? Где ты родилась?

— А я и не родилась вовсе, — стояла на своем Топси. — Просто взяла и выросла… Потому что я плохая. Уж такая я плохая, а ничего с собой поделать не могу.

Топси просто «взяла и выросла», и сотню лет после выхода книги миллионы таких Топси «просто вырастали» и были «плохими»[82].

Но пусть Топси не знала ни отца, ни матери, пусть она «уж такая плохая», ей все-таки дозволяется дышать воздухом и ходить по земле, потому что она служит белому ангелу — маленькой Еве.

Правда, даже в те далекие дни до начала войны Севера с Югом, маленькая Ева была слишком хороша, чтобы жить хотя бы на страницах книги,

---

[82] Примечания: 82

Черные активисты в 60-х годах использовали такие эпитеты, как «плохой», «злой», «скверный», в качестве похвалы. Джордж Джексон писал, что его убитый брат был «высокий, злой, стройный». *Прим, авт*

и вскоре вознеслась в свой истинный дом — на небеса. А с этим вознесением она прочно утвердилась (во всяком случае, до недавнего времени) в качестве эталона дитяти-ангела, во всем буржуазного, не запятнанного классовой враждой и — хотя другие Евы вырастали и обзаводились собственными детьми, — можно сказать, бесполого. Она росла (до положенного ей предела) в благочестивой христианской семье, нравственный кодекс которой все еще отражал довольно правдоподобный мир, но тем не менее начинал обретать все большую двусмысленность. С одной стороны, бог награждал честного, совестливого труженика, который не просил у ближних ничего, кроме того, чем охотно готов был поделиться сам, а с другой — рядом трудились черные рабы, к которым это совершенно не относилось. Отсюда и двусмысленность. Разве черный раб не был создан по образу и подобию божию? Он — создание божье, не правда ли? И на небесах, конечно, рабов нет. Так зачем же они существуют на земле?

Черные рабы существовали на земле — а точнее, в демократической Америке, — потому что их неоплачиваемый труд позволял белым наживать огромные богатства. А поскольку официально признать этот факт, эту истину было

невозможно, паутина *лжи*, сплетенная для ее сокрытия, продолжала с тех пор загрязнять душу Америки.

Стереотип черного ребенка — невежественного, забитого **и** нелепого, без роду и племени, без каких-либо социальных корней — продолжал жить в американской буржуазной мифологии вплоть до наших дней, когда Голливуд воспроизводит массовым тиражом чернокожих персонажей наподобие негретенка Фарины, появившегося в серии короткометражных комических детских фильмов «Наша шайка», позже переработанной в телевизионный сериал «Маленькие мошенники».

У этих черных детей нет даже имен, а только клички, как у собак (например, Фарина — это название крупяного концентрата). Забавная Топси, забавный Фарина в разных своих вариантах сродни созданному голливудским киноактером Стэпином Фетчитом предельно карикатурному образу ленивого, невежественного, суеверного, но преданного хозяину черного раба — публика смеется, ощущая в то же время полную безопасность: этакий клоун, уж конечно, никогда не примкнет к «Черным пантерам»!

«Маленькие женщины» и «Маленькие мужчи-

ны» — написанные после гражданской войны повести Луизы Мей Олкотт, с их идеалом мелкобуржуазной «типичной» американской семьи, подарили американцам сентиментальное и уже ностальгическое представление о себе, льстившее их самосознанию и «облагораживавшее» их классовые притязания. Америка все еще следовала — во всяком случае, официально — пуританским верованиям и нормам поведения, которые сулили успех всем (или по крайней мере многим), кто будет трудолюбив, честен в личных отношениях, бережлив, скромен и непритязателен.

Монополии еще не стянули Америку своей удавкой, и вплоть до первой мировой войны американский оптимизм, миф об Америке как о стране безграничных возможностей для всех и каждого, оставался популярным в буржуазном общественном сознании, отказывавшемся замечать, что:

> Для гольфа поле пролегло
> Под самой заводской стеной
> Глядят детишки от станков
> На взрослых, занятых игрой.

На шестистах промышленных предприятиях в

Филадельфии и ее окрестностях 29 мая 1903 года забастовало 100 тысяч рабочих, и в том числе 16 тысяч детей. В их борьбе участвовала легендарная матушка Джонс, знаменитый профсоюзный агитатор. В своей «Автобиографии» она писала:

> «Я вывела на возвышение перед филадельфийской ратушей маленьких мальчиков с размозженными кистями рук, без пальцев. Я показала собравшимся их искалеченные руки и сказала, что филадельфийские особняки воздвигнуты на раздробленных костях, на измученных сердцах и немощных руках этих детишек…
>
> Я призвала миллионеров-фабрикантов прекратить эти нравственные убийства и крикнула представителям власти, смотревшим из окон: „Настанет день, когда хозяевами ратуши станут рабочие, тогда ни один ребенок не будет больше приноситься в жертву на алтарь прибыли“… Они поскорее закрыли окна — как всегда закрывали свои глаза и сердца».

С точки зрения предпринимателей, все шло как положено. Хотя бы потому, что нищета рас-

сматривалась как чисто личное несчастье: ведь классов в Америке официально не существовало и люди делились просто на «бедных», «богатых» и «среднего достатка», а эти последние объявлялись главной опорой и ведущей силой страны.

Дети работали на шахтах, на заводах, на ткацких фабриках, на полях. Работали нередко без единого дня отдыха, с утра до ночи, подвергались побоям, безжалостно эксплуатировались, а платили им жалкие гроши да еще всячески обсчитывали. Защиты они могли искать разве что у родителей, а те сами были жертвами тех же эксплуататоров или даже жили за счет своих детей.

Детский труд был распространен очень широко, и только в 1941 году конгресс наконец принял закон, запрещающий его; в 1977 году, впрочем, была внесена поправка, в угоду предпринимателям разрешившая привлекать «детей с десяти лет к сезонным работам — уборке урожая». Защитники этой поправки, вновь превращавшей маленьких детей в батраков, рисовали идиллическую картину: «счастливые ребятишки, дети сельскохозяйственных рабочих, с удовольствием собирают ягоды, чтобы заработать деньги и в субботу отправиться в кино» («Вашингтон пост» от 14 мая 1978 г.).

В результате, как писала «Вашингтон пост» 24 ноября 1978 года: «Министерство труда под давлением фермеров решило игнорировать предупреждение собственных медицинских экспертов и других врачей и прошедшим летом дало разрешение тысячам детей в возрасте от 10 до 12 лет работать на полях, буквально залитых ядохимикатами, о чем свидетельствуют официальные документы».

Доктор Питер Инфент, старший онколог министерства труда, протестовавший против такого разрешения, в одном из своих докладов назвал действия министерства труда «верхом бессовестности».

Заболеют ли эти тысячи детей раком? Если заболеют, то не сейчас, а те, кто получил прибыль от их труда, будут продолжать наживаться, сохраняя полное душевное спокойствие, какое только могут гарантировать деньги.

По данным 1978 года, 300 тысяч детей в США работали «в нечеловеческих условиях», главным образом на уборке урожая…

Трагичной и несправедливой оказалась судьба детей, которых защищала в свое время матушка Джонс. Взрослея, они вступали в профсоюзы, чтобы добиваться своих прав. В борьбе выковы-

вали идеологию, давшую им цель, нравственный кодекс, эстетику, надежду на новую, созданную ими самими жизнь, и борьба сплачивала их.

Ну а поколение самых лелеемых, самых опекаемых, самых избалованных белых буржуазных детей, которым предстояло сменить своих отцов в правлениях компаний и банков, в судах, в конгрессе и даже в Белом доме? Что происходило в его рядах? Выяснилось, что многие рассматривали такое будущее как проклятие. Ни одно поколение американцев не относилось с таким жгучим презрением к вызолоченным целям, на достижение которых все предыдущие поколения затрачивали столько тяжелейших усилий. Собственно говоря, эти цели объединялись в самое понятие «Америка», и вдруг дети, которым полагалось видеть в них смысл и венец своего существования, с омерзением отвернулись от них.

Куда могло увести их такое полное отречение?

Потерянное поколение — как его можно было найти вновь?

…ВПЕРЕД, И ВПЕРЕД, И ВПЕРЕД…

После Гражданской войны в буржуазной Америке, беспощадно рвавшейся вперед, появился человек, восставший против того процесса, ко-

торый превращал культуру в дамское рукоделие и ставил тематические рогатки, призванные уберечь постулируемую стыдливость шестнадцатилетних девушек. Этим человеком был Марк Твен.

Ни до, ни после буржуазная американская культура не знала более злого противника, чем этот «юморист», которому спускали его «дерзости», точно придворному шуту, автору детских повестей, не заслуживающему серьезного к себе отношения. Марк Твен создал образы двух мальчиков, которые и по сей день остаются, каждый по-своему, типичным воплощением американского детства, — Тома Сойера и Гека Финна.

Том Сойер явно должен был со временем превратиться в столп буржуазной респектабельности, а в Гека Финна его создатель вложил всю свою ненависть к этому обществу. Гек Финн остается в американской литературе, пожалуй, самым подлинным, самым независимым бунтарем против происходившего тогда в стране процесса обезличивания и выхолащивания, который завершился появлением множества серых людей, одинаково одетых, с одинаковыми мыслями, мелкими предрассудками, мелкими чаяниями и совсем уж мелкими бедами, — лю-

дей, совершенно лишенных индивидуальности, духовных рабов в «стране свободных», чья жизнь замкнута в стенах их корпораций и учреждений.

Гек Финн, маленький бунтарь против душной ханжеской атмосферы своего городка, против стародевичьей морали и церковных проповедей, увенчивает этот бунт поступком, который тогда был равносилен преступлению, — он помогает бежать рабу, «старому Джиму». Рабы были собственностью. Помогая рабу бежать, вы «крали» чужое имущество. Читатели Твена посмеивались над афоризмом: «Мыло и просвещение уступают кровавой бойне во внезапности, но в конечном счете действуют куда более смертоносно». И ничего, кроме юмора, в этой фразе не усматривая, с улыбкой вспоминали, как в детстве сами увиливали от умывания и прогуливали школу.

Гек Финн был врагом «мыла» и «просвещения», посягавших на свободу личности, но поскольку «мыло» и «просвещение» почитались символами буржуазной морали и буржуазного прогресса, он таким образом оскорблял устои общества. Все женщины стремятся умыть его и засадить за книги, полные ханжества и содержащие куда меньше настоящих знаний, чем он успел почерпнуть из собственного опыта. И для Тома Сойера

знания Гека полезнее, чем знания, полученные в школе, которую Том воспринимает как тюрьму и наказание. Однако Гек Финн полезен Тому Сойеру только в их детстве. Когда же Том вырастает в уважаемого члена общества, начинают действовать другие законы. По логике вещей Том, преуспевающий делец или юрист, неизбежно становится врагом друга своего детства Гека Финна, который — вышел ли из него пьяница, бродяга или сезонный рабочий — неизбежно оказывается отринутым обществом, и беспощадно критикует его — не словами, но самой своей жизнью.

И вот теперь нынешние Томы Сойеры заново открыли для себя Геков Финнов, и это отчасти легло в основу бунта определенных слоев нашей молодежи. Внимательно присматриваясь к детям, «с которыми родители не позволяли нам водиться», они обнаруживали затушеванные официальным неодобрением мятежные характеры. Воспитанные в презрении к людям, жившим «за железнодорожными путями» (то есть в рабочих районах), они перешли эти пути, догадываясь, что жизнь, от которой пренебрежительно отворачивались их родители, содержит силу и правду, в их собственной жизни отсутствующие. Там они нашли множество Геков

Финнов, сбросили свои чистенькие костюмчики, забыли про мыло и просвещение и сами превратились — во всяком случае на время — в Геков Финнов, причем, как ни удивительно, в самых настоящих.

Наделить лучшими человеческими качествами Гека Финна, а не Тома Сойера (который, впрочем, хотя бы в детстве был врагом своего сводного брата Сида, буржуазного пай-мальчика) — это была вдохновенная догадка, а может быть, просто желание пойти наперекор общим предрассудкам. И в том смысле, в каком подростки — будущие юрисконсульты крупных корпораций — хранили в себе частицу Тома Сойера, они были ближе к Геку Финну, чем к Сиду. Но потом наступает час, когда им приходиться выбирать свое будущее — уже не как детям, еще не сломленным «мылом» и «просвещением», но как «ответственным членам общества». И они выбирают тот образ жизни, который доводит процесс обесчеловечивания до окончательного предела: люди исчезают, и единственной связью между «членами общества» остаются деньги.

Голливуд несколько раз пытался экранизировать «Тома Сойера», но подлинного героя книги он, разумеется, принять не мог и, отделив Тома

от Гека, создал «типичного» мальчика из маленького американского городка. Он превратился в Энди Харди, доброго, искреннего, не слишком интеллектуального подростка, героя серии фильмов конца 30-х — начала 40-х годов, показавших мир, где все были белые, никто не был особенно богат и никто тем не менее не был вынужден работать на фабриках или в шахтах.

Типичный американский мальчишка — веснушчатый, белобрысый, голубоглазый, без интеллектуальных интересов, но с золотыми руками, независимый, энергичный, полный надежд, очень неглубокий. Этот образ навязывался национальному сознанию при помощи всех средств воздействия настолько упорно, что Хьюи Ньютон и другие черные, как они признавались впоследствии, втайне мечтали стать такими же или же чувствовали себя неполноценными существами низшего сорта, поскольку были другими.

Была и «американская девочка», созданная Голливудом (который кроил своих первых маленьких героинь по мерке маленькой Евы из «Хижины дяди Тома») и достигшая предела идеализации в образах милых невинных ангелочков, изображавшихся Мэри Пикфорд в эру немого кино. С приходом в кино звука этот образ исчез

было, но вскоре возродился вновь в еще более идеализированной форме: девочка — куколка, полная сахарной сладости, кудрявенькая, способная к тому же пролепетать песенку или немножко потанцевать, вытирая слезки или показывая в сияющей улыбке свои молочные зубки, — вот и все, что требовалось для разрешения тяжелейших проблем 30-х годов, когда 12 миллионов американцев не имели работы.

Такой была Ширли Темпл. Она чуть ли не в одиночку сотворила доминировавший тогда идеал маленькой американской девочки, и миллионы детей, прижимая к груди свои куколки «Ширли Темпл», на которых она нажила дополнительные миллионы, следя за ее приключениями, мечтали об идеальных папах и мамах, населявших ее фильмы, — очень красивых и беззаботных, тогда как их собственные родители не знали, где найти работу и деньги, чтобы накормить их, и выглядели совсем не такими красивыми.

Конечно, черных в ее мире не было — кроме как в назначенной им роли преданных слуг и забавников. Рабочих в нем тоже не было. А социальные проблемы, иногда все же робко затрагивавшиеся, разрешались полным благополучием действующих лиц, на строго индивидуальном уровне.

Пожалуй, впервые в мире ребенок получил такую власть — одарять людей радостью и счастьем, как эта мило лепечущая девчушка. Вероятно, она была последним ребенком на американском — или вообще западном — экране, столь очевидно подогнанным под идею, что дети суть ангелы, что они воплощают добро, ибо они невинны, то есть лишены жизненного опыта. И пожалуй, вполне естественно, что из этой девчушки и выросла Ширли Темпл Блэк, убежденная сторонница самых реакционных политических взглядов, что, впрочем, не помешало назначить ее американским представителем в ООН, а затем послом в Гану. Она всячески поддерживала войну во Вьетнаме и практически все реакционные законы, вносившиеся в конгресс.

Короче говоря, в 30-е годы Голливуд создал культ ребенка, и дети-актеры вошли в такую моду, что невольно задаешься вопросом: чем это можно объяснить? В те годы жизнь взрослых была настолько тяжелой, что мир идеализированного детства превращался в легкий и приятный способ бегства от реальности. Взрослый мир 1929–1940 годов, мир довоенного поколения безработных, вспоминал свое детство — и по сравнению с настоящим оно начинало

казаться почти таким же, каким его рисовали фильмы: ностальгически светлым, со своими смешными горестями, которые тут же забывались, стоило любящему отцу похлопать сына по плечу, а нежной матери — поцеловать дочку на сон грядущий.

Детей превозносили как память о прошлом, об утраченной собственной душевной чистоте и об утраченной чистоте самой Америки. Великая Американская Мечта безвозвратно исчезла в очередях безработных, дожидавшихся своей миски благотворительного супа. Многие из них принадлежали к поколению, которое покидало маленькие фермы и маленькие городки и отправлялось искать счастье в аду больших промышленных городов. Расставание с фермой — почти всегда в результате разорения — было тяжким душевным потрясением. Утрачивая связь с землей, они утрачивали очень важную часть своей личности — ощущение независимости, сознание, что они сами хозяева, — и тут же их подстерегало роковое открытие: Америка оказалась беспомощной перед лицом кризиса, а сами они не просто беспомощны, но и никому не нужны. Тем не менее некоторое время их манила надежда, что в промышленных городах, получая

плату за свой труд у машин и станков, они смогут начать какую-то новую жизнь. И вот теперь — катастрофа, ставшая следствием развития промышленности, безобразие городов, воздвигнутых не для того, чтобы в них жили, а чтобы ютились бесправные рабочие. Все это, вместе взятое, придало особую идилличность прошлой жизни в маленьких городках и на фермах, безыскусному простодушию их обитателей. Оказаться выброшенным на свалку, когда ты полон сил и энергии! Для рядового американца это было новое и сокрушающее потрясение, от которого он так никогда до конца и не оправился.

Детство, в котором не было ни зла, ни трагедий, ни жестокости! Ну разве что мальчишка в маленьком городке слыл непослушным: врал, дрался, задирался, прогуливал школу, убегал из дому, потихоньку курил и так далее (в точности как Том Сойер и Гек Финн). Существование таких «непослушных» детей Голливуд признавал.

Но это были нормальные дети, а не исчадия ада, скопища всех врожденных пороков. «Нехороших мальчишек» не существует, оптимистично утверждали социологи: достаточно спасти их от влияния дурной среды, окружить любовью и вниманием, как они в мгновение ока нрав-

ственно возродятся и станут законопослушными. Голливуд выпускал десятки фильмов с таким сюжетом. Еще не хлынула потоком кислота, равно и безразлично разъедающая хорошие семьи и плохие семьи, хорошие районы и плохие районы, любящих родителей и нелюбящих родителей.

Тогда, до начала второй мировой войны, преступность среди несовершеннолетних считалась следствием скверных жилищных условий, дурного влияния плохих родителей, или плохих товарищей, или еще чего-нибудь. Ребенок рассматривался в первую очередь как жертва обстоятельств, и эта теория была абсолютно приемлема, поскольку она отводила преступности ее «законное место» — в среде неимущих. Преступления порождались бедностью. Но что порождало бедность?

Однако прежде, чем этот вопрос получил четкий ответ, возникли новые факторы, которые перевели такие вопросы и ответы в иной контекст и придали им иное значение. Прежде были «нехорошие» мальчишки, и они были детьми бедных, детьми рабочих. Но они не были порочными и злобными. Порочным детям предстояло появиться на сцене тогда, когда разрешение общественных проблем не только перестало

казаться возможным, но и попытки разрешить их начали в свою очередь оборачиваться новыми проблемами.

Порочные же и злые дети оказались порождением не рабочего класса, но — против всех ожиданий — средней и крупной буржуазии. Их преступность уже нельзя было объяснить нищетой и у гнетен и: Для них преступления стали игрой, развлечением, спортом. Они были и порочными, и злыми, их преступные действия диктовались не нуждой, а извращенной жаждой сильных ощущений, оплаченной ценою рабского труда, голода, холода и лишений простых тружеников.

Таким образом, диалектика развития социальных отношений в буржуазном обществе привела к рождению двух, казалось бы, полярных разновидностей люмпенов: на дне — люмпен-бедняки и наверху — паразитирующая прослойка люмпен-богачей. И эти две разновидности люмпенов почувствовали свое родство, маскируемое только одеждой. В конце концов дети богачей позаимствовали и одежду бедняков. У богатых люмпенов и у бедных люмпенов была одна мать — Америка XX века.

...ЧЕРЕЗ БОМБЫ...

Можно без колебаний указать момент, когда социальные проблемы утратили свои «истинные» пропорции, когда все процессы ускорились и вырвались за прежде установленные рамки: это случилось, когда американский президент — бывший галантерейщик Трумэн — сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Этот акт — акт геноцида — разом перечеркнул все постулаты буржуазной морали. Зло стало повсеместным, чудовищным. И «хорошие» и «нехорошие» равно погибли от этих бомб, назначение которых было уничтожать все.

В американской литературе злой ребенок впервые появился в рассказе Генри Джеймса «Поворот винта». Генри Джеймс бежал из Америки в Англию и занялся там изучением жизни высших слоев общества, которую изобразил в серии романов, в то время не понятых американской критикой, но затем занявших свое место среди хроник нравов и обычаев умирающего класса (правда, тогда он умирающим не казался). Однако Джеймс распознал признаки его упадка в Англии раньше, чем они проявились в Америке. «Я искал ноту странного и зловещего, существующего в

самом нормальном и простом», — писал он в предисловии к одной из своих книг.

Двое детей в рассказе Джеймса «Поворот винта» рисуются как носители зла, тем более устрашающего и бесконтрольного, что оно не поддается определению как зло. В этом рассказе патологические элементы даны не как симптомы болезни, но как отражение смутных социальных взаимоотношений.

Неизвестно, болен ли мальчик в рассказе Джеймса или он сознательно творит зло. Вот тут и возникает дилемма. Что такое «болен»? Что такое «зло»? И еще: почему зло обнаруживается именно в тех детях, которые до сих пор считались почти подобием небесных ангелов?

Поколение, вышедшее на сцену в 60-е годы, попыталось особенности детства и отрочества преобразовать в самодовлеющую философию, в вечную истину, в нравственную позицию, с которой можно оценивать и судить «правоверный» мир взрослых. Детей и подростков еще не втянула «жизнь» — под которой они, как правило, подразумевали занятия или профессию родителей, — они подступали к тому удивительному «моменту благодати», когда решительный шаг еще не сделан и ты свободен воспринимать

красоту и благородство жизни, необходимость еще не зажала тебя в свои тиски. Они словно бы еще имели возможность выбирать и пытались сделать выбор.

Это поколение белых подростков из среднего класса первое начало пожинать плоды послевоенного процветания Америки — плоды, которые включали не только материальные, но и духовные блага. Подростки эти были созданием не только школ и церквей, но и массовой культуры, возникшей после войны благодаря развитию техники. Пластинки сделали доступным для них весь мир музыки. Киноленты несли с собой не только звук, но и цвет, и ощущение трехмерности. Кроме того, теперь кто угодно (если у него были деньги) мог снимать собственные фильмы. Появлялось все больше книг и журналов. Радио стало вездесущим. Но, разумеется, главную роль в их мире играло телевидение. По субботам и богатые, и бедные ребятишки не отрываясь следили, как на голубом экране развертывались одни и те же приключения в одних и тех же «детских программах».

Обеспеченные дети белых пожинали, кроме того, плоды новых, «прогрессивных» теорий воспитания, исходивших из идеи, что ребенок

вступает в жизнь чистым и неиспорченным, а потому, правильно его взращивая, можно добиться того, чтобы его личность раскрылась во всей своей прелести, подобно цветку, который являет миру красоту, заложенную еще в семени. Всячески подчеркивалась «ценность» ребенка (принадлежащего к обеспеченному классу) — он был центром забот и внимания, вполне того заслуживая. А за всем этим пряталась никогда не выражавшаяся вслух мысль, что с помощью хитрой воспитательной стратегии можно каким-то образом оградить ребенка от бесчеловечности буржуазной реальности (плотью от плоти которой он был).

Житейский опыт, классовая борьба (впрочем, не признаваемая официальной Америкой), расизм, тот факт, что преуспеть в обществе можно, лишь став частью общества, условия жизни в стране, являющейся оплотом империализма, — от всего этого, казалось любящим родителям, можно оградить свое чадо с помощью особо тонких и чутких педагогических приемов, так что оно достигнет безопасного приюта достойной старости, не затронутое порчей буржуазной действительности.

В воспитании этих детей искусство и культура

играли особую роль. Их героями становились не военные, не политики, уж конечно, не удачливые дельцы и даже не спортсмены, а художники, писатели, поэты — причем главным образом те, кто выражал их собственные ощущения свободы и творчества. В формировании их сознания большую роль сыграли «На дороге» Керуака, «Вопль» Аллена Гинзберга и особенно Боб Дилан и его песни.

Во всех прогрессивных школах детей учили «правильному отношению» к половой жизни человека. Большинство белых американских подростков из обеспеченных семей этого послевоенного поколения «знали о сексе все», едва расставшись с детством. К этому времени сексуальная сторона жизни не только была признана «нормальной», но с нее были сорваны все покровы греха и тайны. Фрейд научил педагогов, что подавление сексуальных влечений ведет к развитию неврозов, а потому для здорового духа требуется тело не просто здоровое, но и ведущее здоровую половую жизнь.

Однако никто не сообщил этому поколению обеспеченных белых детей, что власть, позаботившаяся о такой жизни для них — буржуазная власть, — зиждется на эксплуатации и угнетении.

Все теории воспитания детей неизменно опирались на подразумевающийся постулат, что речь идет об обеспеченном белом ребенке. И никто не сообщил им, что благоденствие, в котором они купаются, объясняется только тем, что в отличие от остального мира Америка вышла из последней войны без существенных потерь. Наоборот, как и после первой мировой войны, она воспользовалась бедами и разорением стран Европы и Азии. Даже война в Корее не открыла им глаза — ведь она длилась всего два года и посылали туда только сыновей рабочих и представителей национальных меньшинств. Студенты от воинской повинности освобождались и следили за войной из безопасного далека.

Потребовалась война во Вьетнаме, чтобы они наконец осознали, что есть что. От воинской повинности их больше не освобождали — обеспеченных мальчиков, которые при нормальных обстоятельствах пересидели бы и эту войну у себя в классе или в аудитории, теперь призывали в армию и незамедлительно отправляли в джунгли далекого Вьетнама.

Необходимо отметить еще один фактор: в большом количестве получаемые от родителей карманные деньги. В прошлое ушли 25 центов

в неделю, выдававшиеся за хорошее поведение, за работу по дому или просто так. Теперь по всей стране эти «карманные» деньги слагались буквально в миллиарды долларов, которые дети получали, палец о палец не ударив, чтобы заработать что-нибудь самим. Столь колоссальные суммы в руках подростков, не знавших, что такое работа, немедленно создали «молодежный рынок» (особая одежда, пластинки, спортивный инвентарь, игры, музыкальные инструменты — главным образом гитары — и так далее вплоть до излюбленной еды).

Почему родители столь щедро снабжали их деньгами? Это была своего рода взятка, чтобы оградить от них собственную жизнь. Как писал видный врач-психиатр Джозеф Боббит («Ю.С. ньюс энд Уорлд рипорт» от 4 марта 1968 года), обеспеченным родителям было проще «снабдить своего отпрыска машиной или кредитной карточкой и сказать: „Развлекайся, а нам не надоедай“, — родителям, слишком занятым своей работой или своими удовольствиями, чтобы тратить время на общение с детьми или на то, чтобы в чем-нибудь им отказывать».

Были ли дети благодарны?

Они брали красивые дорогие костюмы, куп-

ленные в самых дорогих магазинах, рвали их, обливали краской или вышвыривали в окно и одевались в одежду «бедняков» — синие джинсы с собственноручно нашитыми заплатами!

Они не выражали ни малейшей благодарности родителям, которые «дали им все». Ибо родители не дали им только одного — мира, в котором можно было бы жить.

А потому в числе многого прочего они попытались вернуться к бедности, чувствуя, что добродетель обретается в ней, а не в обеспеченности. Их родители разбогатели после войны. Состояния, нажитые во время второй мировой войны, умножались за счет войны в Корее и во Вьетнаме. Эти огромные, внезапно образовавшиеся богатства были ненадежными, и признаки такой ненадежности постепенно становились все более явными — особенно во время экономического спада 1974–1975 годов.

Наиболее типичной ситуацией становилось отчуждение между детьми и родителями — вульгарными мещанами, чье духовное убожество особенно резко контрастировало с окружающей их изысканной роскошью. Дети невольно спрашивали себя: чем же их «предки» заслужили свое богатство? Откуда оно у них? Неужели на свете

нет ничего важнее, чем лелеять мягкое брюхо, неужели Америка — символ процветания вот таких мещан? Неужели дешево покупать и дорого продавать — это высший закон вселенной?

Так это выглядело. Не искусство, а умение делать деньги. Даже если отец начинал как врач, кончал он торговцем — вы могли купить его услуги, только если платили требуемую цену. Иначе можете корчиться в агонии — никто вас не услышит.

Мама — «культурный стервятник» — щеголяла новообретенной культурой, которая оставалась для нее совершенно непонятной и недоступной и только льстила ее тщеславию, ничего не открывая ей ни о ней самой, ни о ее жизни. Собственно говоря, «культура богатых пригородов» того времени всячески подменяла подлинную жизнь и все связанные с ней проблемы скроенной на заказ синтетической жизнью. Это был бумажный цветок, который превозносился как более красивый и настоящий, чем живые цветы.

Но как бы то ни было, подрастающее поколение смотрело на все это с омерзением. В своих усилиях обрести новое восприятие жизни через искусство оно соприкоснулось с чем-то реальным. Ведь искусство — это оценка реальной жизни.

Свое детство они вспоминали как потерянное, а нередко и бессовестно убитое. Особенно они мучились из-за того, что их истории о страдальческом детстве, проведенном среди богатства, ни у кого не находили отклика. Почему-то страдания «бедных богатых мальчиков» не вызывали особого сочувствия — тем более у тех, кто должен работать, чтобы жить. И они задавали вопрос: у меня есть все, что, по заверениям общества, должно дать мне счастье, — вкусная еда, собственная комната, машина, я только что получил права, самую лучшую одежду и так далее. Так почему же я несчастен?

Почему?

...К ДЬЯВОЛУ

Они потратят целое десятилетие и даже больше, чтобы найти ответ на этот вопрос: почему я так несчастен, ведь у меня для счастья есть все? Жизнь отчего-то утратила свой аромат, и никто не знает, как его вернуть.

Ни одно из предыдущих поколений не играло со своим сознанием так, как эти дети, — так рискованно, так сатанински, не заботясь о вреде, который они могут ему нанести. Они принципиально презирали сознание, разум, рассудок

и обычные сферы умственной деятельности (при этом уровень развития многих из них был заметно выше среднего). «Миру сейчас нужна любовь, — пели они, — нежная любовь…» Любая любовь: твоя любовь, моя любовь, его и ее любовь — всякая любовь, лишь бы вера в это успокаивала смятение души…

Учиться — зачем? Величайшие умы причиняли величайшие разрушения. Вот Эйнштейн — первый разработал формулу, позволившую разъять атом, что затем привело к Хиросиме и Нагасаки. И тот же Эйнштейн позднее, в период маккартизма, с горечью сказал, что, будь у него возможность прожить жизнь заново, он стал бы водопроводчиком, а не ученым!

Так вот и они скорее станут «водопроводчиками», лишь бы не стать учеными.

Эти дети Америки — дети контркультуры 60-х годов — легко поддавались убеждениям людей вроде Томаса Лири, первосвященника культа наркомании: «отключаться, настраиваться, вырываться» — с помощью наркотиков обретая сверхчеловеческие ощущения, которые якобы навсегда сделают их жизнь иной.

Как нам известно теперь, их сознание подвергалось изменениям, но не только по их собственной

инициативе: правительство также интересовалось — и более чем интересовалось — тайнами, заложенными в наркотиках, но не как ключами к экстазу, а как средством идеологического контроля, как орудием уничтожения. Пока «цветочные дети» принимали наркотики, чтобы грезить, ЦРУ грезило о наркотике, способном положить конец революции — в данном случае вьетнамской.

В период наибольшего развития контркультуры девочки **и** мальчики из «хороших» (то есть буржуазных) семей сплошь **и** рядом становились участниками действий, настолько преступных по всем юридическим нормам, настолько безнравственных по всем меркам буржуазной морали, что их отцы и матери в отчаянии не могли найти этому никакого объяснения. Их детей околдовали неведомые дьявольские силы! Дом, семья не могли научить их подобному!

Наиболее ярким примером может послужить дело Патриции Херст, внучки Уильяма Рэндольфа Херста, мультимиллионера, «короля» желтой прессы, реакционнейшего из реакционеров. Патриция воспитывалась, как воспитываются все очень богатые девушки, и тот факт, что она добровольно стала членом так называемой «Симбионистской армии освобождения», принимала

участие в грабежах банков и перестрелках с полицией, не поддавался никакому рациональному объяснению.

Попытки множества психиатров, социологов, писателей, газетчиков, философов понять причины ее соучастия в «революционных» преступлениях окончились ничем. Ей «промыли мозги»! Ее «запрограммировали»! Ее подвергли «обработке» настолько таинственной, что крупнейшие специалисты не смогли установить, что и как было сделано!.. Их охватила настоящая паника: если подобное могло произойти с Патрицией Херст, то почему не с малышом Билли, у которого только-только сменились молочные зубы?

В конце концов она была арестована и, довольно быстро обретя свое настоящее лицо, начала давать показания против своих прежних товарищей — поступок, несомненно, более естественный для нее, чем другие.

Подобные поистине дьявольские преображения личности были в то время довольно частым явлением. Тысячи юношей и девушек становились последователями темных религиозных культов, орудиями таких аферистов и агентов ЦРУ, как «преподобный» Сун Мьюн Мун, южнокорейский евангелист, который мешал религию

с антикоммунизмом в весьма неравных долях, сумел заставить тысячи белых американцев из состоятельных семей бросить дом и близких во имя его «крестового похода» и использовал все это для личного обогащения.

Как-то утром в марте 1970 года в нью-йоркском районе Гринич-вилледжа внезапный взрыв разрушил целый дом. Погибли три студента, изготовлявшие там взрывчатку, намереваясь сровнять с землей некоторые общественные здания. И погибшие, и уцелевшие принадлежали не просто к состоятельным, но к очень богатым семьям.

Поскольку никакие объяснения не пролили света на это и подобные ему невероятные явления, пришлось обратиться к черной магии, чтобы заодно объяснить и другие резкие социальные сдвиги. Ведь когда священники становились пикетчиками и обличали своих епископов и кардиналов, это было вполне равносильно тому, что Патриция Херст назвала своего отца «капиталистической свиньей». Тут уж требовался дьявол, а раз он требовался, то он и возник.

На сцене «внезапно» появляется ребенок — совсем иной, непохожий на прежних. Это уже не малолетний преступник в старомодном смысле

слова. И появляется он отнюдь не только среди низших классов, хотя и там становится другим, превращаясь из просто «нехорошего» мальчика в страшную опасность.

В Нью-Йорке в 1975 году, например, было арестовано за убийство 54 подростка моложе 16 лет, за грабежи — 5276 подростков, а за изнасилование и извращения –173 подростка, 1240 подросткам было предъявлено обвинение в разбойном нападении с оружием — пистолетом или ножом. А ведь это только те, кто был арестован заведомо нерадивой полицией! Это вовсе не полный перечень совершенных преступлений.

В Нью-Йорке же в 1969–1974 годах преобладающей причиной смерти подростков стало злоупотребление наркотиками.

«На школьном выпускном вечере… в Уэймуте, штат Массачусетс, семнадцатилетний юноша поднялся на эстраду, воскликнул: „Вот американский путь!“ — и застрелился» («Ю.С. ньюс энд Уорлд рипорт» от 10 июля 1978 года).

В возрастной категории от 15 до 24 лет число самоубийств **с** 1965 по 1976 год «более чем удвоилось».

В 1977 году в докладе сенатской подкомиссии указывалось, что около 70% школьников стар-

шего возраста употребляют спиртные напитки и случаи серьезного пьянства среди них за последние 20 лет стали вдвое более частыми («Нью-Йорк таймс» от 25 мая 1977 года). Причем 40% начали пить в 12 лет.

К 1976 году федеральное правительство выделило 12,6 миллиона долларов на борьбу с хулиганством и преступлениями в стенах школ. «Избиения, грабежи, вандализм стали в американских школах самым обычным явлением», — говорилось в докладе правительственной комиссии «(Нью-Йорк таймс» от 19 марта 1976 года).

К концу 60-х годов заметно возросла проституция среди несовершеннолетних, становящаяся все более доходной. В порнографическом фильме «Такси» выведена тринадцатилетняя проститутка. Другие фильмы того же рода равным образом широко используют подобные сюжеты, а ссылка одна и та же: художник не «моралист», а просто «репортер».

Согласно сообщению «Ю.С. ньюс энд Уорлд рипорт» от 15 января 1979 года, тысячам детей ежегодно требуется медицинское вмешательство после родительских побоев. Около 700 тысяч лишены пищи и крова. По оценке министерства

здравоохранения, образования и социального обеспечения, каждый год около пяти тысяч детей умирают от побоев или оттого, что их не обеспечивают самым необходимым.

Ежегодно, говорится в той же статье, восемь миллионов детей (18 из 100) нападают на родителей, а 138 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет, как показало недавнее обследование, пускали в ход оружие против брата или сестры. За тот же год около 21 тысячи детей и подростков пропали без вести, но полиция расследовала исчезновение только 5200 из них, поскольку возникло подозрение, что они стали жертвами преступлений. В остальных же случаях специальные розыски не проводились, поскольку, говорилось в полицейском докладе, «мы убедились, что девять родителей из десяти не хотят, чтобы им вернули их детей».

Кто и что тут является виной? Просто поразительно, насколько страна, сумевшая послать людей на Луну, оказывается беспомощной перед этой проблемой.

Некоторые винят телевидение. Как сообщает «Дейли уорлд» (16 апреля 1977 года), к четырнадцати годам средний американский ребенок успевает увидеть по телевизору по меньшей мере

11 тысяч убийств, эмоционально в них соучаствуя. Джин Дай, мать шестерых детей, высказала сотрудникам Национальной ассоциации родителей и учителей следующее мнение: «В результате такой ежедневной обработки жестокостью ребенок утрачивает чувствительность и становится безразличным и равнодушным к человеческим страданиям».

На страницах газет, естественно, все чаще появляются сообщения вроде:

«Колумбус, штат Огайо. Четырнадцатилетний мальчик, объяснивший, что он воспроизводил эпизод из фильма „Грязный Гарри“, напал вчера на своего одиннадцатилетнего брата и убил его из пистолета 22-го калибра».

«Майами, 2 мая (1978 года. — *Ф. Б.*). Родители подростка, осужденного за убийство, подали в суд на три ведущие телевизионные компании, утверждая, что телевидение научило их сына убивать».

«Майами, сентябрь (1977 года. — *Ф. Б.*). Адвокат, защищающий пятнадцатилетнего подростка, убившего выстрелом из пистолета пожилую женщину, намерен доказать, что телевизионные программы, рисующие преступления (в частности, фильм о массовых убийствах, орга-

низованных Чарльзом Мэнсоном), извратили психику его подзащитного и его нормы поведения».

«Миссис Валери Ниэми и ее муж подали в суд на телевизионную компанию „Эй-би-си“ и ее сан-францисский филиал. Присяжным предстоит решить, ответственна ли телевизионная компания за насилия, учиненные четырьмя мальчиками, которые подражали тому, что видели в вымышленной телевизионной драме „Рожденный невинным“. Девятилетняя дочь истцов подверглась нападению со стороны детей, которых, предположительно, толкнули на это идеи, почерпнутые из двухчасовой телевизионной программы» («Дейли уорлд» от 2 августа 1978 года).

«Бостон, 3 октября (1978 года. — *Ф. Б.*). Шесть подростков вчера вечером заставили двадцатичетырехлетнюю женщину вылить на себя два галлона бензина, а затем подожгли ее одежду. Сегодня утром она умерла… Начальник полиции ди Грасиа высказал предположение, что на подростков мог повлиять фильм, показанный телевизионной компанией „Эй-би-си“… и в частности эпизоды, в которых бостонские малолетние преступники для развлечения сжигают заживо

старых бродяг» («Нью-Йорк таймс»).

Против обвинения в том, что их программы способствуют росту детской преступности, телевизионные компании выдвигают извечный довод «не пойман — не вор»: если невозможно установить прямую и непосредственную связь между конкретной телевизионной программой и преступлением, они отказываются считать себя ответственными. И суды становятся на их сторону.

Многие руководители рок-групп довели до диких крайностей тенденцию превращать патологию в развлечение. В репертуаре «Секс пистоле», типичнейшей группы «панк-рока», была песенка с таким текстом: «Господи, спаси Мартина Бормана и других беглых наци. Они же не были плохими, господи, просто они так развлекались». Эти провокационные стишки, типичные для омертвевшей совести исполнителей, были настолько скверными, что скоро песенка перестала исполняться. Но знаменательно, что позже один из участников группы, Сид Порочный (псевдоним, придуманный им самим), был арестован в Нью-Йорке за убийство подруги.

Они уже сами не могли разобрать, где кончалась реальная жизнь и начинались фантазии

и отвратительные выдумки. Но как бы то ни было, их осыпали деньгами и на некоторое время они становились «героями культуры» — с полного благословения государства, которое предпочитало, чтобы молодежь неистовствовала до изнеможения в огромных концертных залах, вместо того чтобы устраивать демонстрации против войны и военных замыслов.

В Чикаго священник Джесси Джексон, сознавая всю вредоносность влияния определенного типа музыки на «черную» молодежь, начал кампанию, стараясь убедить фирмы грампластинок не записывать, а радиостанции не транслировать песни вроде: «Ну-ка, соорудим младенца», «Лучше всего знакомиться в постели», или те, которые рекомендуют подросткам: «Если ты на это не способен (курить марихуану. — *Ф. Б.*), так катись отсюда». Но все усилия Джексона и других борцов против подобного тлетворного влияния разбиваются о тот факт, что эти пластинки приносят большие деньги, а против денег в Америке все аргументы бессильны. Деньги диктуют вкусы, моду, культы, идеи, увлечения, а также этику и нравственность — или их исчезновение. А главное, деньги воплощают власть буржуазии, пусть даже эта власть выражается в выборе музыки для молодежи.

Коль скоро различие между убийством, бунтом против условностей и самовыражением стерлось и на практике, и в теории, нет ничего удивительного в росте преступности среди подростков. Причем, как подчеркивают психиатры, «несовершеннолетние преступники все реже проявляют раскаяние или осознают вину, даже когда речь идет о самых тяжких преступлениях (изнасилование, убийство, разбой. — *Ф. Б.*). Наоборот, когда их привозят в Гошен (нью-йоркская исправительная тюрьма для мальчиков. — *Ф. Б.*), подростки часто утверждают, что виноваты все, кроме них, и считают себя пострадавшей стороной» («Нью-Йорк таймс» от 2 марта 1976 г.)

Преступление утратило свой социальный смысл, превратилось в подобие стихийной катастрофы вроде землетрясения.

Общество уже больше не знало, как ему справляться с преступностью и с преступниками. Когда преступление совершают дети, у которых на губах еще не обсохло материнское молоко, они не могут нести за него всю полноту ответственности. В 1975 году из 25 тысяч несовершеннолетних, дела которых разбирались в нью-йоркском семейном суде, «причем более чем в 6700 случаях им в вину вменялись убийства, изнасилование, грабеж и

причинение тяжких телесных повреждений», к лишению свободы были приговорены всего 887 мальчиков и 42 девочки. Были ли остальные менее виноваты? Нет, но среди судей существует безмолвное соглашение, что проблема несовершеннолетних преступников неразрешима и государству остается лишь изолировать наиболее опасных.

Из ангела, из маленькой Евы и Ширли Темпл с ее ямочками на щеках и милым лепетом американский ребенок в буквальном смысле слова преобразился в дьявола.

В 60-е годы на экраны вышел фильм «Дитя Розмэри», поставленный Романом Поланским, чья беременная жена была зверски убита «семьей» изувера Мэнсона, а сам он впоследствии был признан виновным в сожительстве с тринадцатилетней девочкой и бежал из США. Сюжет фильма сводится к тому, что смертная женщина рожает от дьявола ребенка-демона, который выглядит и ведет себя как обыкновенный ребенок.

Фильм этот имел такой успех, что тотчас же экраны, сцена, книжные магазины, а за ними и телевизионные программы захлестнул поток всевозможных сверхъестественных историй с упором на демонологию, причем в отличие от

прежней продукции такого рода носителями демонического начала становились не взрослые люди или чудовища (как в голливудских «франкенштейновских» фильмах), а дети. «Книги о детях, рожденных машинами или одержимых дьяволом, о юных убийцах и их жертвах заполонили витрины универсамов, аптек, газетных киосков — и воображение детей, которые их читают» («Нью-Йорк таймс» от 11 сентября 1977 г.).

В 1977 году издание книг о детях-чудовищах стало, выражаясь языком финансового мира, «развивающейся отраслью промышленности».

«Наша национальная потребность упиваться тем, как детишки с пеной у рта убивают соседей или взрывают школьный гимнастический зал, оказалась настолько неутолимой, что издательский мир поспешил пойти нам навстречу», — пишет Кэрт Супли, рецензент «Вашингтон пост»; разбирая новый роман «Лупе», сюжет которого таков: «Эмили, жена врача, ревнует мужа к его любовнице Дженни и мучается из-за того, что у нее нет детей и это разрушает ее брак. Приятельница ведет Эмили к медиуму, мальчику Лупе американо-мексиканского происхождения, и он просит принести ему прядь волос Дженни. Эмили приносит, и вскоре после этого Дженни охваты-

вает пламя и она сгорает. Эмили должны судить за убийство с помощью колдовства, но у нее еще остается время, чтобы стать среди водопадов хлещущей крови и забеременеть от дьявола, который изнасиловал ее, вселившись в труп… Мы утверждаем, что любим детей, — продолжает рецензент, — а втайне их ненавидим. Дети — одна из главных причин разводов: возможно, потому, что они напоминают нам о нашем возрасте и о нашей смертности, тогда как общество хочет, чтобы мы оставались подростками… Вот чем объясняется притягательность таких романов, как „Лупе“. Нам предоставляется возможность ненавидеть наших детей безнаказанно, без ощущения вины, поскольку ими овладел сидящий у них внутри зверь» («Нью-Йорк таймс» от 30 июля 1977 года).

«Зверь внутри» — когда и как он возник? И что он такое? Дьявольское начало или человеческое?

«Почти два века дети в романах были носителями надежды и служили для того, чтобы пробуждать в читателях лучшие чувства. За последние три года на страницах десяти с лишним популярных книг, выходящих огромными тиражами, они фигурируют как посланцы

смерти и воплощение зла, — пишет психиатр Джеймс Гордон. — В большинстве этих книг их губительная роль подкрепляется сверхъестественными силами, идея которых в последнее время завораживающе действует на стольких американцев, — колдовством, фамильными проклятьями, переселением душ, одержимостью бесами, телепатическими свойствами… Хотя эти бестселлеры об опасных демонических детях и представляют собой малохудожественное чтиво, они тем не менее являются культурным феноменом. Их изобилие — как и изобилие фильмов, которые они неизбежно порождают, — возможно, отражает тревожные изменения в нашем отношении к детям, рецидив атавистического страха перед ними и реакцию на наше недавнее восторженное упоение детством и детьми… В любом случае заложенный в них общий смысл ясен: мы порабощены нашими детьми, будущее, которое они несут, мрачно и зловеще и мы над ним не властны» («Нью-Йорк таймс» от 11 сентября 1977 г.).

А вот каким представлялось «состояние человека» в 1969 году организаторам «свободного университета» в Калифорнии:

«Более чем когда бы то ни было прежде человек

задается извечными вопросами: „Кто я? Зачем я живу? Куда я иду?“ И, оглядываясь вокруг в поисках ответа на эти сугубо личные вопросы, он все больше убеждается, что традиционные ответы пусты и бессмысленны. Для многих бог мертв или, во всяком случае, получил сокрушительный удар. Лишенный религиозной панацеи, которая некогда обеспечивалась церковью, религиозными догмами и обрядами, человек все яснее сознает, что искать полноты личности и духовного спасения он должен где-то еще. Наука тоже не сумела открыть золотой дороги к бессмертию и могуществу, а вместо них предлагает чудовищный призрак мгновенного и всеобщего уничтожения. Даже капитализм, эта некогда священная корова западной цивилизации, теряет свой золотой блеск. Купаясь в неслыханном изобилии и процветании, человек обнаруживает, что его жизнь становится все более поверхностной и регламентированной. В результате возникает раздвоение между внутренним „я“ и социально-экономической функцией индивида, и это, с одной стороны, создает ощущение отчужденности, бесцельности жизни и собственного ничтожества, а с другой — усугубляет тоскливую тревогу, порождая духовную пустыню, полностью

лишенную противоядия от тупой эмоциональной пресыщенности».

Но в таком случае что остается делать? Все более и более осознавая явное банкротство этих давних ответов и решений, люди начали понимать, что для преодоления возрастающего ощущения нереальности собственной личности и жизни, которое характеризует наш современный «шизоидный» мир, необходимо искать новые значимые ответы внутри себя, необходимо заняться самопознанием.

В 60-е годы тысячи молодых людей бежали в первозданную глушь, где организовывали утопические сельские «коммуны» — сами выращивали для себя пищу, изготовляли для себя одежду, всю работу делали сообща, в том числе и такую «работу», как создание детей.

В середине 70-х годов двое бывших проповедников контркультуры посетили мир, с которым расстались за несколько лет до этого, и изложили свои впечатления в книге «Дети контркультуры» (*Джон Ротчайлд и Сьюзен Бернс Вулф, Даблдей и К°*, 1976). Они обнаружили, что коммуны, возникавшие под такие фанфары в начале 60-х годов, всего за десятилетие превратились в огромные сельские трущобы, населенные детьми, многие

из которых не знают твердо своих отцов.

Дело в том, что большинство «цветочных детей», пленников теории, были не готовы к тому, чтобы иметь детей, — ведь они сами еще не расстались с детством. А опыт учит, что хуже и опаснее догматически применяемой здравой теории может быть только вредная теория, громогласно объявленная магической панацеей, врачующей все недуги — от угрей до артрита, с формулой, кладущей конец всем войнам, в придачу.

К концу 70-х годов американцы, принадлежащие к обеспеченным классам, уже не могли толком понять, что же такое их дети. Они не знали, любить их или ненавидеть, отправлять их в тюрьмы или в психиатрические лечебницы, панически отгораживаться от них или отдавать в школы-интернаты, а при первых же признаках переходного возраста убивать их, прежде чем убьют они, давать ли выход их природной агрессивности, разрешая мучить кошек, или вводить в мир бизнеса, приобщать их к тайнам секса или вообще не упоминать о его существовании.

Все сводится к тому, что в целом дети в Америке стали никому не нужны. Они не работали. Они не зарабатывали денег, но тем не менее получали

их. Полезных обязанностей у детей становилось все меньше и меньше. Ребенок стал в основном потребителем, он так или иначе поглощал доходы родителей. И всегда был рядом — как их отрицание. Ибо родители со все возрастающим отчаянием пытались продлить собственный подростковый возраст до седых волос — не только из-за американского культа юности, но и потому, что быть молодым — значит сохранять шанс не попасть в безработные. Кроме того, родители уже не могли передавать детям свой опыт. В современной Америке взгляды папы, а уж тем более дедушки никому не интересны.

И наконец, они ненавидели своих детей, потому что их дети были правы. Весь их жизненный опыт ничего не стоил. После пятидесяти-шестидесяти лет, потраченных на то, чтобы наживать деньги, они не могли сказать ничего, что стоило бы услышать. Ибо в их свободной демократической республике они показали себя совершенно беспомощными во всех критических вопросах, включая вопросы войны и мира. Они дали своим детям войну во Вьетнаме, и дети швырнули им ее в лицо.

Им предложили искать спасение «внутри себя». Но когда они заглянули внутрь себя, то нашли

там Зверя.

Они назвали его дьяволом.

Этот дьявол был ребенком — их собственным.

Если ребенок — «отец взрослого человека», то не является ли он и воплощением своего общества?

Майк Дэвидов
ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ «СВОБОДНОГО» МИРА[83]

Помните, в тот последний вечер, что мы провели вместе перед моим возвращением в Соединенные Штаты, вы просили меня написать, какой я найду мою родину после шестилетнего отсутствия. Вот вам отчет о моих впечатлениях с того самого момента, как самолет Аэрофлота, на котором я летел, совершил посадку на американской земле.

Итак, 15 декабря 1974 года, три часа ночи. С трудом привыкаешь к скачку во времени: в Москве сейчас одиннадцать утра, а мой организм все еще живет по московским часам. Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди намного пре-

---

[83] Примечания: 83

© «Иностранная литература» 1975, 1984.

восходит аэропорт «Шереметьево» по размерам и затмевает его своей роскошью. Здесь все дышит комфортом, все свидетельствует об эффективной постановке дела. Что и говорить, впечатляющая реклама страны изобилия и технических чудес! Багаж прибыл без малейшей задержки — обслуживание доведено до четкости конвейера. Ждать пришлось гораздо меньше, а порядка было больше, чем при аналогичных обстоятельствах в Москве. Да, вот она Америка, которую я знал, с ее высокоразвитой, отлаженной техникой, уверенная в себе. «С приездом на родину!» — приветливо бросает чиновник иммиграционной службы, ставя штамп в моем паспорте. А снаружи нас уже ждут друзья. Не сдерживая нетерпения, они горячо приветствуют нас радостными возгласами и бросаются навстречу: поцелуи, объятия. Как хорошо быть снова дома!

И вот, погрузив пожитки в багажник, мы едем в Нью-Йорк, к нашей приятельнице, которая живет в Бронксе. Автострада — сложнейшее переплетение путей, подлинное чудо эффективности и инженерного искусства. Водителю, умеющему ориентироваться в этом лабиринте, автострада экономит массу времени; ну, а тот, кто не знает дороги, будет без конца кружить

и кружить, словно на карусели. Сквозная автострада — это волшебный ковер-самолет, когда все идет хорошо, и ужасная западня, когда сломается хотя бы одна-единственная машина. Нас буквально ослепляет яркий свет бесчисленных фар. Конечно, на московских магистралях нам тоже неслись навстречу вереницы ярких огней. За годы, что мы прожили у вас, количество автомобилей в Москве значительно увеличилось. Но здесь, в Нью-Йорке, где на 8 миллионов жителей приходится 5–6 миллионов машин, автомобили стали полновластными хозяевами города и буквально заполняют теперь ведущие к нему автомагистрали.

Внезапно наш автомобиль, вместе со всем потоком машин, останавливается. Впереди какой-то затор, движение парализовано. Все как будто шло нормально, никаких признаков аварии. В чем же дело? Ах, вот оно что: мы просто забыли, что среди всей этой чудо-техники середины двадцатого века существует современный эквивалент средневековых поборов за проезд, взимавшихся каждым феодалом. Мы как раз подъехали к мосту, перед которым собирают пошлину за въезд в «герцогство Нью-Йоркское». Подобно средневековому сборщику налогов, страж, состоящий на службе у

владельцев этой ультрасовременной автострады, остановил целое полчище автомобилей, чтобы собрать с нас мзду: по полдоллара с машины. Подобные поборы, как, впрочем, и всякие другие, за годы нашего отсутствия заметно возросли, и их стало больше Врата в этот гигантский город охраняются, словно крепостные ворота городов-крепостей эпохи феодализма, сонмом таких стражников, взимающих дань со всякого, кто хочет пользоваться его дорогами, туннелями и мостами. Только что из страны, где пользование дорогами бесплатно и где, более того, люди бесплатно или за минимальную плату пользуются всеми коммунальными сооружениями и коммунальными услугами, мы как-то забыли, что в условиях нашей системы свободного предпринимательства очень мало что предоставляется бесплатно. Пошлина за проезд через мост напомнила нам о том, чего следует ожидать дальше.

ГОРОД, ОБЪЯТЫЙ СТРАХОМ: НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ГОРОДА-КРЕПОСТИ

Шесть лет назад Нью-Йорк (как и большинство американских городов) уже жил в атмосфере страха. Вот почему первое, что поразило меня в Москве и произвело на меня глубочайшее впе-

чатление, было отсутствие какого бы то ни было страха у ее жителей. Я поделился этим впечатлением с читателями моей газеты «Дейли уорлд» в серии статей, которые были также напечатаны в сокращенном виде «Литературной газетой». Я нисколько не идеализировал того ощущения безопасности, которое испытываешь в советской столице и во всех городах, где я побывал, путешествуя по четырнадцати советским республикам. Будучи скорее москвичом, чем гостем или туристом, я отлично понимал, что сложную социальную проблему преступности невозможно полностью разрешить за такой исторически короткий срок, как пятьдесят с небольшим лет. Мелкие правонарушители и убийцы-маньяки, наводящие время от времени страх на людей, все еще омрачают жизнь при социализме. Однако и эти преступления будут со временем искоренены, подобно тому как уже искоренено основное зло — организованная преступность. Но то, что так поразило меня шесть лет назад (и это мое впечатление окрепло и усилилось по возвращении на родину), можно выразить в следующих словах: Москва и все советские города — это поистине города, не ведающие страха. Ей-богу, вы, считающие само собой разумеющимся, что ходить по

улицам своего города и гулять по его паркам днем и вечером, ничего не боясь, — это естественное и обычное право каждого человека, стали бы больше ценить радости вашей жизни в условиях безопасности, если бы оказались сейчас рядом со мной и мы походили бы вместе по нью-йоркским улицам и поездили в нью-йоркском метро. В этом письме я попытаюсь заново пережить вместе с вами то, что испытал и перечувствовал после моего возвращения.

Квартира нашей приятельницы расположена на 36-м этаже сорокатрехэтажного жилого дома на набережной реки Гарлем в Западном Бронксе. Это одно из четырех таких же зданий, возведенных частной строительной фирмой на земле, которую штат Нью-Йорк, предоставивший участки, освободил от налога, с тем чтобы с жильцов взималась невысокая квартплата. Спору нет, квартира у нашей приятельницы просторная, очень приветливая и уютная, из окон открывается великолепная панорама города с реками Гарлем и Гудзон на переднем плане. Но, право же, не стоит она того, чтобы платить за нее в 15 раз дороже, чем мы платили за нашу четырехкомнатную квартиру, тоже просторную и комфортабельную, на Ленинградском проспекте.

Об огромной разнице в размере квартплаты я заговорил попутно, речь сейчас о другом. Наша приятельница, а теперь временно и мы, живет в одном из многочисленных городов-крепостей, на которые буквально на глазах распадается Нью-Йорк. Похоже, отцы этого охваченного страхом города и планировщики-градостроители руководствуются лозунгом «Вперед к феодализму!». Их реакцией на постоянный рост преступности, и особенно преступлений, связанных с насилием над личностью, стало сооружение жилых комплексов (и соответствующая реконструкция уже построенных), представляющих собой не что иное, как современные аналоги феодальных крепостей. С тою только разницей, что вместо крепостных рвов, подъемных мостов и стражников в латах, вооруженных алебардами, теперь применяются отряды частных охранников, сеть внутреннего телевизионного наблюдения и привратники, которые держат оборону на форпостах крепости. По своему внешнему виду и по царящей вокруг атмосфере наш комплекс жилых домов-небоскребов и впрямь напоминает крепость. Стражники, охраняющие нашу крепость, носят на груди личные знаки с фотографией. Они останавливают в целях проверки и опознания

все подъезжающие машины (в конце концов, они ведь приближаются к нашему городу-крепости!). Они пристально всматриваются в наши лица, когда наша приятельница представляет нас им как своих гостей. (В их обязанности входит не только знать в лицо всех обитателей этой сорокатрехэтажной крепости, но и запоминать таких ее посетителей, как мы.) Для пущей «безопасности» обитателей снабдили удостоверениями личности, которые они обязаны предъявлять по требованию. По внутренней телевизионной сети ведется наблюдение за всеми посетителями и посторонними. Стража города-крепости, как и в средневековые времена, считает каждого незнакомца, явившегося «извне», подозрительной личностью и потенциальным врагом. Две-три линии обороны — это еще не все средства защиты. Жильцам сообщают «секрет» ничем не примечательной панели в облицовке лифта — на тот случай, если «неприятелю» каким-то образом удастся проникнуть через заградительные заслоны. Нажав на панель с «секретом», вы предупредите охрану о присутствии в лифте грабителей. Для обитателей городов-крепостей окружающие районы — это чужеземная территория, вылазка на которую чревата опасностью.

Крепость, в которой живет наша приятельница, не принадлежит к числу самых надежных и, уж конечно, не может идти ни в какое сравнение по части комфорта с роскошными цитаделями, воздвигнутыми, например, в центре Манхэттена. Когда я уезжал отсюда шесть лет тому назад, здесь сносили бульдозерами хорошие, прочные здания, где жили, платя сравнительно невысокую квартплату, рабочие: белые, негры, пуэрториканцы. На месте снесенных строений возводили жилые дома категории люкс (предшественники нынешних шикарных городов-крепостей). И вот шесть лет спустя я вижу, как много лучших уголков Манхэттена занято теперь этими роскошными жилыми комплексами, отгородившимися от внешнего мира. Манхэттен всегда являл собой картину существующих бок о бок нищеты и роскоши. Но никогда еще этот контраст не был таким разительно резким, как сейчас. Никогда раньше я не видал такого разделения на анклавы богатства и разрастающегося гетто нужды и лишений. (Как это выглядит на деле, я постараюсь рассказать вам дальше, когда перейду к описанию того, что я увидел, посетив места, где когда-то жил.) Обитатели этих оазисов роскоши принадлежат, конечно, к числу богатейших лю-

дей Нью-Йорка. Если размер квартирной платы повысился во всем городе, то здесь она возросла астрономически. Роскошь сама по себе стоит больших денег, но теперь приходится дополнительно оплачивать частную армию охранников и изощренную технику обеспечения безопасности. Только нью-йоркским богачам по карману подобная защита. Безопасность и роскошная жизнь неотделимы друг от друга. А гигантские и могущественные строительные корпорации, которые оказывают все более сильное влияние на решение городских дел, наживаются как на запуганности ньюйоркцев, так и на стремлении тех, кто может это себе позволить, купаться в роскоши. Типичное объявление, помещенное в газете «Нью-Йорк таймс» 15 декабря 1974 года, гласит: «Челси-мьюз, 235, 22-я улица в Западной части Манхэттена. Привратник, система обеспечения безопасности и все роскошные удобства. Плата за квартиры с одной спальней — от 325 до 365 долларов в месяц». В другом объявлении о сдающихся квартирах в Челси-мьюз предлагается «тройная безопасность» за ту же цену. В объявлении о сдаче внаем квартир в домах-башнях в районе Саутгейта хвастливо говорится, что, «входя в вестибюль, вы как бы вступаете в XVI век» («Вперед

к феодализму!»). За удовольствие вернуться в средневековье взимается плата в размере 310–425 долларов в месяц за квартиры с одной спальней. В «Марлборо-хаус», тридцатичетырехэтажной башне, дом № 245 на 40-й улице в Восточной части города, жильцам предлагается безопасность, обеспечиваемая охранниками, привратниками, дежурящими у входа круглые сутки, и системой сигнализации — все это по цене от 400 до 428 долларов в месяц за аналогичные квартиры. Жилищный комплекс на Индепенденс-плаза в Северной части Манхэттена с трехсветным холлом рекламирует себя как «идеальный фешенебельный квартал». Обеспечение феодальной безопасности для потребителей роскоши XX века в разгар усиливающегося экономического спада является единственным процветающим бизнесом в жилищном строительстве Нью-Йорка и других крупных американских городов (которое вообще-то резко сократилось).

НЬЮ-ЙОРКСКОЕ МЕТРО — ОБИТАЛИЩЕ СТРАХА

Еще перед моим отбытием из Нью-Йорка поездка в здешнем метро считалась рискованным предприятием, шагом в полное опасностей

неизвестное. Но теперь это — ежедневное путешествие в царство страха. Ньюйоркцы, особенно женщины и пожилые люди, с опаской входят на станции подземки. Они торопливо спускаются вниз, тревожно оглядываются. Подойдя к безлюдному извилистому переходу, некоторые останавливаются в нерешительности, другие спешат поскорее миновать опасную зону. Мне невольно вспоминаются далекие дни моей службы в пехоте во время второй мировой войны: точь-в-точь так же делали мы стремительный бросок через простреливаемое открытое место. Страх усиливается, когда вагон метро пустеет; пассажиры нервно вглядываются в лица немногих оставшихся спутников. Мы подъезжаем к концу линии, и в вагоне нас остается только пятеро. Шесть лет назад в метро было страшно ездить поздно вечером и ночью. Нынче стало страшно ездить в метро и днем. И немудрено: вот что произошло, например, только вчера, в среду 19 декабря, в три часа дня. Девятнадцатилетняя девушка из Бруклина, сделав покупки к рождеству, возвращалась домой в пустом последнем вагоне поезда метро. Ее изнасиловали, пригрозив ножом.

Газета «Нью-Йорк таймс» отмечает 20 декабря,

что «число преступлений, совершенных в метро днем, продолжает расти, причем самое опасное время теперь — от полудня до восьми вечера». Основной упор делается на меры по обеспечению безопасности пассажиров метро в период, когда совершается большинство преступлений: с восьми вечера до четырех утра. (Но увеличение числа дневных преступлений показывает, что дело тут вовсе не в суточных пиках преступлений.) С восьми вечера до четырех утра хвостовые секции поездов метро ради безопасности пассажиров наглухо закрывают, а остальные вагоны патрулируются в это время вооруженными полицейскими с портативными рациями. Даже кассиры отгорожены от пассажиров стеклянными щитами. Вы просовываете деньги и получаете взамен жетончики через прорезь в стекле — слишком уж часты стали случаи нападения на кассиров. В такой вот обстановке миллионам ньюйоркцев приходится ездить на работу и с работы, в гости, в театр или в магазины за покупками. Вот что значит сегодня пользоваться метро в самом большом городе Соединенных Штатов, одном из крупнейших городов мира. Можете легко представить себе, каким сильным потрясением явилось для меня возвращение в этот подземный

ад после московского метро! Дело тут не в том, что одно метро как небо от земли отличается от другого, дело в резком контрасте между двумя мирами. Поездка в московском метро — сущее удовольствие; мы ощущали и ценили это благо гораздо больше, чем сами москвичи, для которых прекрасное, комфортабельное и сверкающее чистотой метро — это обычное средство транспорта. Да и я тоже привык считать все это чем-то само собой разумеющимся и не задумывался над тем, что плачу за вход всего-навсего пять копеек.

На станциях и в поездах грязно, как никогда. Но больше всего меня поразил «новый облик» подземки. Поезда, окна вагонов, стены станций — буквально все размалевано кошмарными кривыми надписями и рисунками самых немыслимых цветов. Такое впечатление, что здесь поработали кистями и красками вырвавшиеся на волю обитатели сумасшедшего дома, которые пытались изобразить на вагонах и стенах метро (как, впрочем, и на стенах домов по всему городу) свои бредовые видения. Сия пачкотня получила название «графитти». Это последний штрих той кошмарной картины, которую являет собой нью-йоркская подземка. И странное дело: «графитти» уже воспринимаются ньюй-

оркцами как привычная черта их быта; похоже, со временем люди привыкают и к обстановке сумасшедшего дома. Находятся даже защитники этого вандализма, которые превозносят его как «свободное выражение» в сфере искусства. Дико представить себе московское метро, «украшенное» подобными шедеврами «свободного творчества»! Вдобавок ко всему вагоны подземки пестрят красноречивыми объявлениями. Одно объявление призывает пассажиров звонить по «прямому проводу антинаркотической службы», если они нуждаются в помощи, чтобы избавиться от наркомании. Другие хвастливо обещают открыть читателю секрет двадцати пяти способов получить жалованье выпускника колледжа, не тратясь на четырехлетнее обучение (которое стоит от 12 до 16 тысяч долларов). Выйдя из вагона, обращаю внимание на листовку, приклеенную к столбу. Это призыв организовать гражданское движение по борьбе с изнасилованиями. Полиция не пользуется доверием людей, каждому известно, что там царят коррупция и расизм. В газете «Чикаго сан энд тайме» от 24 декабря сообщалось о временном отстранении от должности полицейских, замешанных в изнасиловании семнадцатилетней девушки. О все большей

распространенности этого преступления много говорят по телевидению, пишут в газетах, часто не без смакования подробностей. На второй же день по возвращении на родину нам случилось посмотреть по телевизору одну из передач на эту тему. Сначала выступает комментатор, который, любуясь модуляциями своего голоса, приводит голые цифры: более 50 тысяч изнасилований в год, или в среднем один случай изнасилования каждые десять минут. Далее он сообщает телезрителям, что истинная цифра, как полагают, в три раза больше, так как чаще всего жертвы не обращаются в полицию. Затем на экране появляются крупным планом жуткие в своей жестокости лица насильников, осужденных, но не раскаявшихся. От их слов бросает в дрожь. «Отдайтесь, не то крышка», — советуют они телезрительницам. Один даже похваляется тем, что прикончил сопротивлявшуюся женщину. Оператор переводит телевизионную камеру на заплаканную жертву, которая рассказывает о совершенном над ней ужасном надругательстве. После этого к телезрительницам обращается с экрана женщина-полицейский и инструктирует их, когда и при каких обстоятельствах не следует оказывать сопротивление насильникам. В заключение на

экране появляется сенатор Роберт Мэтьес (демократ, штат Мэриленд), который рассказывает о подготовленном им законопроекте с целью «изучения» этой проблемы. Вся передача тщательно отрежиссирована, как хороший спектакль.

Между прочим, за те шесть лет, что нас не было дома, здесь наступил «бум» в области порнографии. Между кинотеатрами разгорелась ожесточенная конкурентная борьба за рынок непристойщины. Реклама на одном из кинотеатров хвастливо сообщает: «Здесь идет самый неприличный фильм в мире». О баснословных барышах этого процветающего «бизнеса» стало известно, когда сильно пострадал от пожара загородный дворец «короля» порнографии. В газетных отчетах как о чем-то вполне естественном сообщалось об источнике богатства этого «короля». В центре же внимания оказался ущерб, нанесенный роскошному поместью пожаром.

ПОЕЗДКА К РОДНЫМ МЕСТАМ

Из всех перемен, больно поразивших нас по возвращении, самое тягостное впечатление произвели перемены, которые буквально потрясли нас, когда мы посетили наш старый дом на Вайз-авеню, в районе Восточного Бронкса

(рядом с известным Бронкс-парком), где мы прожили лет 16–17. Похоже, будто мы очутились в разбомбленном городе (хотя ни одной бомбы не упало на американскую землю, тогда как наши самолеты превращали в руины бессчетные города и деревни Вьетнама). Дом, в котором мы когда-то жили, имеет жалкий, запустелый вид, он мало чем отличается от окружающих его зданий — ветхих развалин с зияющими провалами вместо окон. Едкий запах мочи свидетельствует о том, что эти заброшенные строения служат убежищем для отбросов общества, бездомных, наркоманов. Владельцы этих трущоб обрекли прочные кирпичные здания на безвременную смерть, после того как выжали из них все, что могли. Дома перестали быть «доходными». И вот их просто «выбросили», как износившиеся носки или пустую консервную банку. Мы идем по Дэли-авеню, Фултон-авеню, Батгейт-авеню и Третьей авеню. Кругом сотни таких же заброшенных, пустующих зданий. Перед нашим отъездом из Нью-Йорка дома эти, хотя и несколько обшарпанные, все еще выглядели вполне добротными, прочными, а каких-нибудь двадцать лет назад это был лучший район Бронкса! В Москве, Вильнюсе, Риге и Берлине я видел и гораздо более

старые здания, которые после капитального ремонта были превращены в превосходные жилые дома. Здесь же меня совершенно ошеломили масштабы и крайние формы разрухи. Обитатели этого негритянского и пуэрториканского гетто напоминают беженцев, скитающихся среди руин военного времени. Трущобы, в которых они ютятся (за непомерно высокую и все возрастающую квартирную плату), производят гнетующее впечатление.

Вот будничная уличная сцена из повседневной жизни «беженцев». С ужасом наблюдаю я, как дети со школьными учебниками идут домой мимо разрушающихся вонючих развалин. Некоторые из них заходят поиграть в пустующие дома. Ведь других мест для игр у детей гетто нет. Многие из них становятся там жертвами гнусных нападений наркоманов и пьяниц. Могут ли спокойно работать матери и отцы, зная, на каких «площадках для игр» проводят время их дети? И тем не менее оставлять их дома на произвол судьбы считается «нормальной» деловой практикой. Вид запустелых кварталов навел меня на такие мысли. Совсем недавно я покинул страну, которой война нанесла неслыханный урон: 20 миллионов погибших, 25 миллионов оставшихся без крова,

1710 разрушенных городов, 70 000 сожженных деревень. Тем не менее нигде на огромной территории этой страны не увидишь ничего, что хотя бы в малейшей степени напоминало картину разрушений, открывшуюся сейчас моему взору. Наоборот, там совершаются чудеса в области жилищного строительства: десятки миллионов людей получили жилье в новых домах со всеми удобствами, сохранены и реставрированы десятки тысяч старинных и исторических зданий на обширных просторах от Балтийского моря до Тихого океана. Глядя на ребятню из этого гетто, превратившую заброшенную развалину, где их подстерегают всякие опасности, в «площадку для игр», я вспомнил Дворец пионеров на Ленинских горах и слезы на глазах Анджелы Дэвис, когда она говорила советским пионерам: «Вот за это мы и боремся, этого мы и хотим для детей наших гарлемов».

ПРОГУЛКА ПО ЦЕНТРУ НЬЮ-ЙОРКА

Брожу по улицам центральной части Манхэттена: по Бродвею, Пятой, Шестой и Седьмой авеню, Лексингтон-авеню и Мэдисон-авеню. Здесь, в центре Манхэттена, как я вижу, имел место строительный бум: за мое шестилетнее

отсутствие тут выросли ультрасовременные небоскребы из стали, алюминия и стекла. К сверкающим на солнце сорока–, пятидесятиэтажным громадам административных зданий подкатывают на «кадиллаках» с собственными шоферами вылощенные, с иголочки одетые бизнесмены. Магазины на Пятой авеню и Мэдисон-авеню блещут праздничным великолепием — это нескончаемая выставка предметов роскоши. На боковых улицах–50-й и близлежащих, тянущихся на восток, — респектабельно расположились дорогие рестораны с самой разнообразной кухней, рассчитанные на изощренный вкус тонких гурманов. Символом этого современного Вавилона, средоточия власти и роскоши является грандиозный комплекс из стекла и стали, город в городе, носящий красноречивое название Рокфеллер-плаза. Здесь на небольшом пятачке собраны классические памятники могуществу американского свободного предпринимательства. Арендная плата за эту землю так высока, что по сравнению с ней игрушечной кажется высота небоскребов. Какая наглядная иллюстрация паразитического характера земельной ренты: несколько акров земли ценятся дороже, чем стоящие на ней «памятники»! Нельзя не поражаться всему этому

параду роскоши и великолепия, этим устремленным к небу замкам из сверкающего стекла. При условии, конечно, что вы не выходите за пределы пятачка.

Но стоит вам пройти по 42-й улице на запад, в район площади Таймс-сквер (названной так потому, что здесь издавна размещается редакция газеты «Нью-Йорк таймс»), и вы неожиданно оказываетесь в совершенно ином мире, мире непотребства и разврата. Шесть лет назад Таймс-сквер уже имела дурную репутацию излюбленного места сборищ сутенеров, проституток (обоего пола) и грабителей. Но теперь это не просто место сборищ темных личностей — теперь этот район, самый центр Нью-Йорка, взят на откуп поставщиками порнографии и всяческой моральной скверны. По мере того как я продвигаюсь по 42-й улице, у меня появляется такое ощущение, словно я очутился на самом дне. Представьте себе московскую улицу Горького, заполненную подонками общества царской России, — и вы поймете мои чувства. Но если на дне, изображенном Горьким, сквозь все бездны страдания, нищеты и морального падения просвечивают сердечность, достоинство и душевная красота, то на дне, образовавшемся в богатейшей стране мира во второй

половине двадцатого века, вас со всех сторон окружает только грязь. Похоже на то, как будто эти кварталы стали концентрированным выражением загнивающего общества. Впритык друг к другу, как машины на запруженной проезжей части улицы, теснятся вдоль тротуаров порнографические кинотеатры, бары и салоны массажа без вывесок, варьете со стриптизом, книжные лавки «для взрослых» и т. д. и т. п. Процветает на этой ярмарке грязи и порнография, рассчитанная на гомосексуалистов, — в полном соответствии с духом подлинно свободного предпринимательства! Здесь царит свирепая конкуренция, и зазывалы не только зазывают, но и чуть ли не силком затаскивают прохожих в свои заведения. Словно мухи на навоз, слетаются к этим скопищам грязи проститутки, сводники, сутенеры, воры, наркоманы и торговцы наркотиками. Все они подстерегают свои жертвы: зеленого юнца, распаленного похотью; пожилого распутника и старого сластолюбца; простаков-приезжих, случайно забредших в это болото, и подонков нью-йоркского общества. Кстати, численность нью-йоркских подонков постоянно увеличивается за счет подонков из других американских городов, которых привлекает этот национальный

центр морального разложения. У финансового капитала есть своя Уолл-стрит, у его отребья — своя 42-я улица.

42-я улица еще неприглядней и, конечно, страшней, чем Бауэри — прибежище неудачников, вышвырнутых за борт обществом свободного предпринимательства. В отличие от Бауэри, где доживают свой век отчаявшиеся и опустившиеся бедолаги, 42-я полна жизни — порочной и угрожающей. Она собирает вокруг себя и плодит опаснейший общественный слой — люмпенов.

«Индустрией» 42-й улицы заправляет крупный капитал. К специализированным районам Манхэттена, финансовому, швейному, прибавился еще один. Таймс-сквер стала районом, поставляющим секс и садизм, а это сейчас один из самых процветающих видов бизнеса во всем Нью-Йорке. Здесь не пахнет никаким экономическим спадом. «Промышленность» растления бурно процветает. Она расширяет свои владения, захватывает все новые и новые кварталы центрального Манхэттена, подминая и вытесняя бродвейские театры, которые один за другим гибнут, поглощенные грязной пучиной. Одни театры закрываются, другие дышат на ладан: падает посещаемость. Объясняется это, помимо прочих причин, также

и тем, что публика не желает пробираться к театру через море грязи вокруг. Своим процветанием 42-я улица во многом обязана новой буржуазной «культурной революции». «Прежняя» революция, совершившаяся, когда буржуазное общество было на подъеме, освободила культуру от тесных оков гибнущего феодализма. «Новая» же революция «освободила» порнографию и половую распущенность от прежних ограничений и от необходимости держаться в тени. Эта «революция» привела к освобождению и узаконению всяческой непристойности. Многие либералы и интеллигенты приветствуют ее как сексуальную революцию, расчистившую почву для нового, более «раскованного» стиля жизни.

«Стиль жизни» — модная сейчас идея. Ее адепты, верные духу индивидуализма, утверждают, что каждый человек имеет право на свой собственный стиль жизни. Это является-де составной частью «личностной» революции. Пусть каждый живет по-своему! Между прочим, слово «революция», наводившее когда-то страх, получило ныне признание — разумеется, если речь идет не о социальной революции. «Сексуальная революция» отменила среди прочих запретов и запрет на нецензурные слова. Теперь

можно свободно употреблять их в кругу семьи и в обществе. Похабничайте на здоровье, раз таков ваш стиль жизни. Правящему классу США подобные «революции», само собой разумеется, ничем не угрожают. Поэтому-то он с такой готовностью признает и даже поощряет их в наше неспокойное время. Кое у кого, в особенности у мелких буржуа, набравшихся недавно леворадикальных идей, «сексуальная революция» создала иллюзию подлинного освобождения. Кое-кому из них новообретенная «личная свобода» настолько вскружила голову, что они стали свысока смотреть на «сексуально подавленных» жителей социалистических стран, которые лишены «свободы» валяться в грязи по примеру наиболее «раскрепощенных» граждан «свободного мира». Помню, как во время проходившего в 1973 году в Москве Международного театрального конгресса одна его участница, нью-йоркский театральный критик, требовала, чтобы ей объяснили, почему на сцену советских театров не допускают порнографию и гомосексуальную тематику. Ошарашенные работники советского театра не знали, что и отвечать: такой неожиданностью прозвучало для них подобное «требование».

Благодаря «сексуальной культурной револю-

ции» центральное место на сцене заняла постель и даже сточная канава. Те, кто еще совсем недавно осуждал реализм (и особенно реализм социалистический), требуют показа на экране и на сцене полового акта (в том числе и гомосексуального) во имя более глубокого, более правдивого реализма. Искусство призвано изображать жизнь во всей ее «полноте», утверждают они. Такого рода «полноту жизни» уже вовсю демонстрируют с экрана в бесчисленных сексуальных фильмах. Однако «утонченные» ценители искусства требуют теперь «художественного» изображения «всей полноты жизни» на сцене, подобно тому как это делается с некоторых пор в литературе.

Мне довелось посмотреть по телевизору дискуссию на эту тему с участием группы видных английских театральных деятелей. В центре дискуссии оказалась на какое-то время популярная в Лондоне постановка, по ходу которой актеры изображают на сцене половой акт. Известный театральный критик Кэннет Тайнен одобрил эту «новацию» как закономерное явление в театральном искусстве и с похвалой отозвался об «артистичности», с которой исполняется половой акт. Единственное его возражение (если это можно назвать возражением), высказанное

тоном почтительного удивления, касалось того, что актерам иногда приходится играть эту сцену по четыре раза в день. Не осталась обойденной «сексуальной революцией» и сфера проституции. Так, в Сан-Франциско проститутки организовали собственный «профсоюз». Они требуют, помимо прочего, признания за ними «морального» права заниматься своим ремеслом и узаконения их статуса. Предводительница проституток Сан-Франциско выступила по телевидению, чтобы ознакомить с их требованиями широкую публику. И, представьте себе, многие либералы и даже «революционеры» поддерживают «моральное» право заниматься проституцией во имя равенства полов и борьбы против господства мужчин. (Заметим в скобках, что 25 процентов проституток Сан-Франциско — лесбиянки.)

Кое-кто в Соединенных Штатах по вполне понятным причинам был бы очень рад навязать американцам маниакальную одержимость сексом. И речь идет далеко не только о хозяевах процветающего бизнеса непристойщины, так называемых «королях порнографии»! Однако мысли большинства американцев заняты сегодня отнюдь не сексом, тем более разнузданным и извращенным. Их помыслы связаны с исчез-

новением миллионов рабочих мест и ценами на хлеб.

ЛЕЧЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Труднее всего мне оказалось «приспособиться» на родине к «мелочам» повседневной жизни. Мы только что отпраздновали наше первое рождество в США после шестилетнего отсутствия. Это рождество стало для нас тем более приятным событием, что мы встречали этот традиционно семейный праздник вместе с нашим сыном Майком, невесткой Дженет и внуками: двухлетней Кирстен и восьмимесячным Бренданом. Ничто не настраивает на такой радостно-благодушный лад, как встреча рождества дома, и в эти дни общей доброжелательности я был больше, чем когда-либо, готов «приспосабливаться». Но тут я столкнулся с одной «мелочью жизни», которая остро напомнила мне, в каком мире я теперь живу. Заболела Кирстен. У нее начала подниматься температура. Родители, естественно, встревожились. Они время от времени ставили ей градусник, и показания термометра можно было прочесть на их расстроенных лицах. Однако врача они почему-то не вызывали. Жизнь научила их сдерживать свое беспокойство и выжидать,

с тем чтобы обратиться к врачу только в том случае, если жар опасно усилится. На то имелась веская причина — та самая причина, по которой американцы в большинстве своем обращаются к врачу только после того, как почувствуют себя «достаточно серьезно больными». Пойти с Кирстен к врачу — значило бы платить каждый раз минимум 10 долларов, а ведь малыши, как всем известно, так часто болеют. Поэтому реагировать на повышающуюся температуру Кирстен было бы непомерной роскошью. Хватило ли бы тогда денег на квартплату, покупку продуктов питания и прочих предметов первой необходимости, особенно теперь — в условиях экономического спада и инфляции? Но, признаюсь, мне, только что вернувшемуся из Москвы с ее поликлиниками и обеспокоенному лихорадочным блеском в глазах Кирстен, как-то не пришли в голову эти «практические» соображения. Побуждаемый, как мне казалось, совершенно естественной реакцией, я наивно спросил: «А разве нельзя вызвать к Кирстен врача на дом?» Дженет горько рассмеялась. «Вы слишком долго отсутствовали. Поздравляю с приездом на родину, в этот сумасшедший дом!» — воскликнула она. И тут же познакомила меня с суровыми фактами жизни в нашей стране:

«Пригласить доктора на дом нельзя ни за какие деньги. Сколько ни предложить, все окажется мало, чтобы компенсировать затраченное им время. Ведь врачи оценивают в долларах каждую свою минуту — приходится уж нам самим ходить к ним».

«Ну, а как быть, если ребенок настолько болен, что не может подняться с постели? — не унимался я. — В конце концов, предполагается, что врач — это не то же самое, что бизнесмен!» Дженет только улыбнулась моей наивности и иронически хмыкнула. Она принялась терпеливо объяснять, помогая мне «приспособиться» к здешней действительности. «Врач ответит, что, если ребенок так болен, что его нельзя доставить к нему, следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы. Вот тут-то и начнутся волнения и неприятности. Надо убедить больничную администрацию, что ребенок „достаточно болен“, чтобы послать за ним машину „скорой помощи“ и предоставить ему койку в больнице. А это — дело гиблое, особенно при нынешних сокращениях и без того скудных больничных бюджетов».

Через пару дней заболели и мы с женой — подхватили такую же, как у Кирстен, сильную

простуду. Неожиданно для нас самих мы почувствовали тот же страх, который удерживал Дженет от того, чтобы набрать по телефону номер врача. И мы тоже, запасшись терпением, ждали, когда будем «достаточно серьезно» больны, чтобы можно было показаться врачу.

Да, это дело «привычки». За шесть лет мы «привыкли» считать чем-то само собой разумеющимся бесплатное и всестороннее медицинское обслуживание, включающее визиты на дом врача из нашей поликлиники в сопровождении медицинской сестры. Вместе с нами в Москве жил наш младший сын Джозеф с женой Кристиной и дочерью Эльвирой, которой было тогда около двух лет. Эльвира тоже то и дело болела. Мысль, что надо подождать с вызовом врача до тех пор, пока Эльвира не разболеется «достаточно серьезно», просто не могла прийти в голову в московских условиях ни моему сыну, ни его жене. Дело тут не в разном отношении родителей (в США и они были бы вынуждены «привыкнуть» не торопиться с обращением к врачу). Нет, такая идея никак не могла бы взбрести им на ум, потому что в стране социализма такое немыслимо. Наоборот, однажды в детской поликлинике нашего района моего сына и его жену, как мне помнится, даже

отчитали за то, что они, как полагали врачи, слишком редко обращались к ним за помощью.

Превращение профессии врача в прибыльный бизнес (врачи принадлежат к категории людей с наиболее высокими доходами) не только налагает дополнительное бремя на широкие массы американцев, но и оказывает разлагающее влияние на все врачебное сословие. Вспоминаю свои детские годы в Бруклине: как мы любили нашего домашнего врача! У доктора Гордона была тучная фигура и усталое, но всегда добродушное лицо. Мы жили на четвертом этаже многоквартирного дома в Браунсвилле, и, поднявшись к нам по крутой лестнице, доктор долго не мог отдышаться. От него всегда приятно пахло сигарами (каким-то образом этот запах ассоциировался в моем сознании с представлением о человеке спокойном, положительном, надежном). До сих пор, вдыхая аромат сигары, я вижу внутренним взором доброе и умное лицо нашего доктора. Доктор Гордон десять долгих лет лечил моего отца, которого медленно, но верно сводил в могилу туберкулез. Мы были очень бедны, и доктор Гордон отлично понимал, что у моей матери нет денег, чтобы платить ему за визиты. И тем не менее он приходил всякий раз, когда мать его приглашала

(нимало не считаясь с соображением, что «время — деньги»). Больше того, он каждый раз упорно отказывался взять пару сложенных долларовых бумажек, которые мать, провожая его до двери, робко совала ему в руку. Моя мать боялась, как бы мы, дети, находясь в постоянном контакте с отцом, не заразились от него его страшной болезнью. Доктор Гордон также опасался этого. Вот почему он брал на себя труд регулярно осматривать всех нас во время своих визитов к отцу. Эту процедуру он считал естественной и непременной составной частью своих обязанностей домашнего врача. Кроме того, если его звали, он являлся к больному и среди ночи, и по воскресеньям. Врачевать, защищать людей от болезней, помогать им бороться за жизнь — вот в чем состояла его работа. Он видел в этом не только священный долг, но и главную награду своей почетной профессии. Не думаю, чтобы доктор Гордон был богат или даже обладал средним достатком. Да ни ему, ни нам и в голову не приходило измерять в долларах вознаграждение за его нелегкий, подвижнический труд.

После смерти моего отца наша семья все реже нуждалась в услугах доктора Гордона. Мы, дети, подросли, окрепли, и стало ясно, что его и матери

опасения насчет нашего здоровья не подтвердились. И мало-помалу мы потеряли из виду нашего любимого домашнего доктора.

В Америке домашних докторов давно уже нет и в помине. Интересно, что сталось с нашим доктором Гордоном? Неужели и он тоже стал в конце концов таким же, как все его коллеги, которые, используя открывшиеся перед врачами богатые возможности, наживаются на болезнях и страхах своих пациентов? Не знаю, не знаю. Откровенно говоря, я стараюсь не думать об этом. Слишком больно было бы узнать, что наш общий любимец, наш добрый домашний доктор превратился в расчетливого дельца. Американцам, никогда не покидавшим пределов своей родины, тоже пришлось кое к чему привыкнуть. Они вынуждены были привыкнуть к утрате одной из самых милых нашему сердцу традиций — обращения к домашнему врачу.

ПРЯНИЧНЫЕ ДОМИКИ ПРИГОРОДОВ

Мы в Мейфилдс-хейтсе, пригороде Кливленда.

Опрятные домики на одну семью с расписными ставнями сияют уютом, комфортом и заманчивой красивостью рождественской открытки. Опушенные снегом, они похожи на пленитель-

ные пряничные домики из волшебных сказок, которыми я зачитывался в детстве. Нескончаемые ряды пряничных домиков выстроились ровными шеренгами, как солдаты на параде. На подъездной дорожке перед каждым домом стоит сверкающая лаком машина, иногда две (машина на дорожке перед домом, помимо всего прочего, означает, что хозяева дома). Узенький газон перед домом, клочок земли за ним да расстояние между домами по ширине двух машин — и вы имеете наглядное представление о сбывшейся американской мечте об уединенной, уютной и «устойчивой» жизни. При взгляде на нее со стороны эта американская мечта выглядит как прочная и основательная действительность. И хотя всего каких-нибудь двадцать минут езды отделяют пряничные домики Мейфилд-хейтса от негритянского гетто в трущобах Кливленда — где тоже есть свои «разбомбленные» районы с развалинами обезлюдевших домов, — как-то не думается о таком соседстве среди этой сказочной страны. И тем не менее неблагополучные городские гетто больше, чем когда-либо раньше, занимают сегодня мысли обитателей нарядных пряничных домиков. Чем объяснить это? Может, у них неспокойна совесть и они не способны

наслаждаться комфортом, зная, что другие живут в нищете? Нет, это было бы прекрасным объяснением, но, к сожалению, неверным (если не считать немногих исключений). Здесь дело идет о пороховой бочке напряженности, которая угрожает в наши дни взрывом Америке, и прежде всего крупнейшим ее городам.

На протяжении ряда лет, и особенно в последние два десятилетия, многие белые семьи (принадлежащие главным образом к средним слоям общества и к наиболее высокооплачиваемому слою рабочих) бежали из пораженных кризисом городов с их растущей преступностью и ухудшающимися школьными условиями в пряничные дома пригородов, где они рассчитывали обрести покой и безопасность. И хотя бежали они в поисках мирной и безопасной жизни, толкнули их на бегство страх и предрассудки расистского характера. «Пусть город окончательно разлагается, пусть расползаются во все стороны „разбомбленные“ районы (лишь бы оставались в городской черте!) — мы будем жить-поживать в наших пряничных домиках». Подобными самодовольными и иллюзорными идеями руководствовались многие американцы, искавшие решение проблемы обеспечения своей безопасности не на пути

радикального изменения общества, а на пути изменения географии своего местожительства. Не обладая политической сознательностью, движимые страхами и предубеждениями, которые всячески разжигались реакционными силами, многие белые американцы возлагали вину за упадок наших городов на жителей гетто. Еще бы! Черные обитатели ветхих строений, кишащих крысами, мозолили им глаза, а вот белые домохозяева, проживающие вдали от своих владений, безликие корпорации, владеющие недвижимостью, да земельные банки, которые совместными усилиями выкачивали из этих домов всю прибыль, какую только можно было выжать, и затем выбрасывали их и их жильцов, как пустые консервные банки, оставались вне их поля зрения. Они видели страдающих наркоманией подростков-грабителей, но не видели протежируемых полицией подпольных синдикатов по торговле наркотиками, которые наживались на этом несчастье. Но страх заползает и в пригороды. Он бродит по стране, как беспощадный призрак, от которого невозможно отгородиться, как злой дух, которого нельзя запереть в гетто. Страхом насквозь пронизан весь образ жизни в охваченных кризисом Соединенных Штатах. Он следует

за вами по всей стране. Страх, который давно уже стал повседневным спутником жителей внутренних районов городов, и особенно трущоб, населенных неграми и пуэрториканцами, витает ныне и над пряничными домиками. Вечером безмолвные улицы пригородов пустынны. С наступлением темноты безлюдье и уединенность, столь привлекательные днем, становятся источником опасности. Здесь, так же как и в городах, из которых они бежали, американцы проводят ночь за семью запорами, охраняемые системами сигнализации против взломщиков и сворами злых псов. Почти каждый пряничный домик имеет рычащего четвероногого сторожа. Незнакомца или гостя встречает дружный собачий лай — вас облаивает не только непосредственный «страж» пряничного домика, но и все клыкастые «охранники» по соседству. Поездка на автомобиле «в город» считается рискованным предприятием. Поездку планируют таким образом, чтобы миновать опасные зоны (районы гетто), объехать их стороной. Двери в машине обязательно запирают, а во время вечерних поездок даже эту предосторожность считают недостаточной. Постоянно растет число ограблений людей в автомобилях (грабители останавливают машину, выволаки-

вают наружу сидящих в ней и отнимают у них деньги). Все чаще совершаются ограбления среди бела дня. Один из наших друзей рассказал нам, какой случай произошел с его престарелой матерью. Ее подозвали из подъехавшей машины двое мужчин. Было это днем, поэтому она направилась к машине, думая, что молодые люди хотят спросить дорогу. Как только она приблизилась, один из них схватил ее сумку. Напуганная старушка судорожно цеплялась за свою сумочку, и машина волокла ее по улице. Грабители вырвали-таки у пожилой женщины сумку и оставили ее лежать на асфальте со сломанной рукой, на грани нервного потрясения.

Для того чтобы получить представление о взлете кривой преступности, даже не надо обращаться к цифрам статистики. Почти все наши друзья и почти все американцы, с которыми нам довелось говорить, либо сами стали жертвой ограбления (с насилием и без) или кражи со взломом, либо могли рассказать о подобной неприятности, происшедшей с их соседом, приятелем или родственником. Преступность — не только главная тема разговоров (и, конечно же, сообщений, ежедневно публикуемых на первых страницах газет, передаваемых по радио и телевидению).

Это национальная навязчивая идея. Американцы уже были одержимы ею шесть лет тому назад, когда мы уезжали в Советский Союз. Но с тех пор в их сознании начали происходить под влиянием количественного роста преступности качественные сдвиги. Они по необходимости должны были «привыкать» жить в вечном страхе. У них выработалось что-то похожее на психологию солдат на передовой. Но с таким психологическим настроем в лучшем случае можно просуществовать какое-то ограниченное время — пока длится «война». Однако американцам приходится жить в атмосфере страха без надежды на то, что эта гнетущая атмосфера рассеется. Наоборот, она еще больше сгущается над нашими большими городами и давно уже окутала их пригороды — край пряничных домов. Страна приближается к тому рубежу, за которым, если чреватое взрывом недовольство жизнью в условиях постоянного кризиса не будет направлено по пути широкой совместной народной борьбы за коренные социальные преобразования, на этом непереносимом страхе смогут сыграть расистские и реакционные силы, с тем чтобы развязать ужасную расовую междоусобицу.

Все усиливающийся страх граничит с истерией.

Расисты и реакционеры, жадно ухватившиеся за возможность использовать этот страх в своих интересах, призывают к войне против обитателей гетто, особенно молодых. Зловещим предостережением против этого служат события в Бостоне, ставшем Литтл-Роком Севера. Главной мишенью являются теперь, судя по всему, 14–15-летние подростки. Пространная статья, напечатанная недавно в «Нью-Йорк таймс», рисует отвратительную и ужасающую картину. Она подробно рассказывает о невероятной бесчеловечности и равнодушии общества свободного предпринимательства, которые и порождают потерявших человеческий облик убийц-подростков. Реакционеры и расисты, изображая из себя поборников законности и порядка, предлагают потребовать официального разрешения на «отстрел» этих озлобившихся, озверевших юнцов. В законодательном органе штата Нью-Йорк обсуждается сейчас разработанный этими элементами законопроект, предусматривающий наказание 14–15-летних правонарушителей по всей строгости закона, наравне с совершеннолетними.

Впрочем, и многое другое, помимо страха, подтачивает устои благополучия пряничных домиков. Страх — это фактически лишь отражение

глубинных социальных толчков, сотрясающих землю, на которой стоят зажиточные пригороды, да и вся наша страна. На поверку оказывается, что прочные с виду дома — одни оштукатуренные, другие из красного кирпича, третьи деревянные — ненадежны, будто они и впрямь сделаны из имбирного пряника. Ведь на самом деле владельцы этих заложенных и перезаложенных домов в большинстве своем являются по существу не хозяевами, а жильцами. Их месячные платежи, значительно увеличиваемые уплатой процентов и все более высоких налогов на земельную собственность, а также растущей стоимостью эксплуатации, ремонта, материалов и в особенности горючего, не меньше, а во многих случаях и больше астрономической квартирной платы обычных жильцов-съемщиков. Проценты, взимаемые при продаже дома в рассрочку на 20–30 лет, практически удваивают действительную его цену. Поэтому многие так никогда и не становятся полными хозяевами своих пряничных домиков. Самый доходный бизнес в Америке — это зарабатывать деньги на деньгах!

Транспортный кризис (причиной которого являются недостаточное развитие общественного транспорта, повышающаяся плата за проезд в нем

и резкое вздорожание бензина) намного повысил стоимость содержания этих пряничных домиков. Так что дом и машина, два главных компонента «американской мечты», оборачиваются для многих обитателей пригородов сущим кошмаром. Пригороды планировались и строились с таким расчетом, что жить в них будут люди, имеющие свою машину. Без собственных колес жизнь в них немыслима. За покупками приходится ездить в торговые центры с их большими магазинами, куда можно добраться только на транспорте. А это значит — на собственном автомобиле, так как автобусного сообщения между жилыми кварталами и торговым центром чаще всего нет. Ездить в такси очень накладно. В еще большей степени относится все это к поездкам на работу. Ведь в частнопредпринимательской Америке забота о том, как добраться к месту работы и обратно домой, в основном является, как и многое другое, вашим «частным» делом.

Мы провели несколько дней в гостях у наших друзей в нью-йоркском пригороде на Лонг-Айленде. Внутри их апартаменты выглядят так же добротно и уютно, как снаружи. Комнаты, затянутые под плинтус коврами, просторны и радуют глаз. Входя, буквально погружаешься в

комфорт. Наши друзья — ценители красоты, и интерьер их гостиной выдержан в разных оттенках солнечно яркого желтого цвета, гармонично переходящих один в другой, как на картине Ренуара. Ванная и уборная блистают полным набором усовершенствованных приспособлений, превращающих эту часть жилища американской семьи среднего достатка в самый роскошный уголок в доме. Экономический спад только что нанес сокрушительный удар по этому «райскому» благополучию: деньги, скопленные за долгие годы изнурительного труда в мелкой деловой конторе, и семейные сбережения, доставшиеся по наследству, — все это пошло прахом после того, как катастрофически упала цена акций, которые приобретались, когда курс акций на бирже повышался. Это обрушилось на наших друзей как гром среди ясного неба. Такая же беда пришла в дома миллионов американцев. Нашим друзьям кое-как удается сохранить свой прежний комфортабельный образ жизни. Москвичей, вероятно, впечатлил бы этот комфорт, но зато им не приходится, в отличие от наших друзей, считать каждую копейку, делая покупки. Им не нужно тревожиться за завтрашний день — не в пример нашим друзьям, ощущающим в

своих ренуаровских комнатах, как земля уходит у них из-под ног. Мало того, что пошатнулись экономические устои их благополучия, — терпят крах сами идеалы, которые лежат в основе образа жизни, символизируемого апартаментами, устланными мягкими коврами. К тому же, как и во многих других зажиточных американских семьях, сами «идеалы» оспариваются молодым поколением. Я отлично помню сыновей этой супружеской четы. Их воспитывали в убеждении, что ковры от стены до стены и комнаты в стиле Ренуара — это и есть заветная цель человеческой жизни. «Грязная война» во Вьетнаме немало способствовала разоблачению фальши и лицемерия, на которых зиждились подобного рода идеалы. И вот сыновья наших друзей, как многие и многие молодые американцы, взбунтовались против этих фальшивых идеалов и отказались принимать участие в «грязной войне». Их бунту не хватало такого важнейшего качества, как политическая сознательность, которая указала бы им путь к осуществлению их пылких устремлений к более человечному образу жизни. Подлинной трагедией этих молодых людей стало то, что туман антисоветизма и антикоммунизма заслонил от них жизненную реальность такого

пути. В результате, хотя многие из них и сейчас продолжают отвергать жизненные идеалы своих родителей, протест этот носит пассивный характер — каждый пытается лично для себя найти нечто иное. Старший сын моих друзей, квалифицированный химик, живет в Канаде на очень скромные заработки от всякой случайной работы, которую ему удается найти. У него нет никакой определенной жизненной цели. Его письма — настоящие поэмы, прекрасные и трогательные в своей искренней, хотя и смутной устремленности к жизни, которая (как известно мне, но, к сожалению, не известно ему) уже существует в значительной части сегодняшнего мира. Младший, талантливый музыкант, является членом музыкальной общины в маленьком городке штата Нью-Йорк; он возлагает какие-то надежды на перспективы честной творческой деятельности и поклонения прекрасному в узком кружке родственных душ. В Америке сегодня много таких идеалистически настроенных, ищущих молодых людей. Конечно, рано или поздно они окажутся перед выбором: либо сделать шаг вперед и обратить свой протест в сознательное, коллективное и действенное движение, либо оказаться поглощенными тем самым образом жизни, который

они отвергают. Но каким бы ограниченным ни был бунт молодых, он оказал глубокое влияние на жизнь наших друзей. В некоторых отношениях даже более глубокое, чем жестокий финансовый удар, который нанесла им фондовая биржа. На первых порах они не понимали и осуждали своих сыновей, отвергших образ жизни, который вели их родители и который позволял родителям и сыновьям наслаждаться комфортом и безопасностью мира пряничных домиков. Помню, с каким огорчением и недоумением отнеслись они поначалу к бунту своих детей. Но по мере того как наши друзья, наряду с миллионами других американцев, осознавали весь позор и ужас войны во Вьетнаме, они начали понимать сыновей. Борьба против войны во Вьетнаме стала суровой школой не только для большого числа молодых людей из состоятельных семей, но и для их родителей. Америка, в том числе и Америка зажиточных пригородов, никогда не станет прежней.

Кое-кто, играя на страхах и смятении обитателей этого расстающегося с идиллией мира, пытается изобразить все углубляющиеся кризисы, порожденные разложением капиталистической системы, как предвестие всеобщего хаоса. Объявляются шарлатаны всех мастей и прожженные

демагоги, которые спешат подзаработать в роли пророков близкого конца света. Телевизионные программы и страницы газет заполнены всевозможными проектами индивидуального спасения, которые эти прорицатели предлагают (конечно, за плату) жителям пряничных пригородов. К числу таких пророков принадлежит и Хью Мартин — предприимчивый тридцатипятилетний делец, имеющий ученую степень магистра психологии, которая пришлась ему, при нынешних его занятиях, очень кстати. Есть у Мартина и другие «подходящие данные» для роли провозвестника конца света. Еще зеленым юнцом он научился делать деньги, играя на бирже (он-то умел в нужный момент выйти из игры!). К тому же много полезного для себя он почерпнул в одном бестселлере — книжице под названием «Как нажиться на денежном кризисе». Мартин и его последователи развернули активную деятельность среди обитателей пряничных домиков в окрестностях Сан-Франциско от Милл-вэлли до Пало-Альто. Недавно мне довелось побывать в Милл-вэлли. Это идеальный пряничный городок, уютно угнездившийся между величественными зелеными холмами и живописным заливом Сан-Франциско. Тема проповедей Мартина но-

сит поистине пугающий характер: как выжить среди хаоса, который воцарится в результате приближающегося крушения всей экономической системы свободного предпринимательства. Он рисует перед своими слушателями ужасную картину краха, по сравнению с которым кризис 30-х годов покажется сущей безделицей, появления миллионов и миллионов безработных и голодающих, партизанской войны в городах и установления в результате всего этого диктатуры правого или левого толка. (Относительно того, какую диктатуру предпочел бы сам Мартин, сомневаться не приходится.) Установка Мартина беспардонно дерзка. Он явно исходит из того, что панический страх необходимо навязывать средствами настойчивой торговой рекламы. Он призывает своих последователей «насквозь проникнуться ужасом». При этом он внушает им: «Панический ужас пробудит энергию, которая поможет вам действовать». «Паранойя и реальная действительность — это разные вещи, но иногда они сливаются воедино», — вещает Мартин, ясно давая понять, что «иногда» значит «теперь». Своим последователям Мартин предлагает (по цене 60 долларов за право прослушать две его лекции) следующий рецепт «спасения»:

надо приобрести убежище в уединенной местности, чтобы скрыться в нем, когда города охватят мятежи и беспорядки; запастись продовольствием (преимущественно сухими продуктами), медикаментами и вообще всем необходимым для самостоятельного существования и психологически подготовиться к катастрофе. Мартин лично подал пример. Он купил дом в районе Милл-вэлли, спрятанный от посторонних взглядов в глубине каньона. Добраться до него можно только пешком, перейдя три пешеходных мостика. Мартин хвастливо заявляет, что «ни одна душа не найдет этого укромного местечка».

Проповедь Мартина — это лишь одно из крайних выражений эскапистских настроений, ростом которых сопровождается прогрессирующий упадок общественной системы. Мартин решил прятаться в каньоне, но чем еще, как не попыткой бегства из городов, являются пряничные домики пригородов и громады жилых комплексов, отгородившиеся, как средневековые города-крепости, от «неприятеля» — обитающих вокруг бедняков?

Однако было бы в корне неверно приписывать подобные настроения обреченности, ожидания катастрофы и эскапизма широким массам аме-

риканцев. Напротив, в народе нарастает гнев, вызванный горькими переживаниями последнего десятилетия, которые привели к небывалому доселе разочарованию в политических лидерах страны, начиная от всякой мелкой сошки и кончая президентами. Многие называют десятилетие после убийства президента Джона Кеннеди «смутным временем». Это и было «десятилетие смуты» — достаточно вспомнить об убийстве братьев Кеннеди и доктора Мартина Лютера Кинга, об Аттике, Кенте, секретных документах Пентагона, «грязной войне» во Вьетнаме, беспорядках в негритянских и пуэрториканских гетто и Уотергейте!

Мы оказались в ситуации, которая все больше и больше напоминает повторение событий экономического кризиса 30-х годов. Я хорошо помню те тяжелые времена — ведь они сформировали мое сознание подобно тому, как сформировали они сознание тысяч и тысяч безработных молодых людей. Очереди за бесплатным куском хлеба и тарелкой супа развеяли в 30-е годы «великие мифы» системы свободного предпринимательства о том, что в Америке каждый может быстро разбогатеть или стать президентом А сегодня рассыпается прахом и новый миф — миф о благополучных

пряничных домиках.

В отличие от типичной картины кризиса 30-х годов, бедолаги, скитающиеся по стране в тщетных поисках работы, едут не только в обшарпанных, с вмятинами машинах, битком набитых детворой и семейным скарбом, но и в сверкающих лимузинах последних выпусков с прицепными фургончиками. Многие из этих лимузинов еще совсем недавно красовались перед пряничными домиками.

Мне вспоминается первая моя прогулка по улице Горького в Москве. Эта прогулка запечатлелась у меня в памяти, потому что я впервые увидел тогда бесчисленные объявления, которыми пестрели доски объявлений на стенах магазинов, учреждений, всевозможных предприятий. «Вас приглашают…» — говорилось в объявлениях. И куда приглашают — на работу! На протяжении шести лет мне на каждом шагу попадались эти объявления, приглашающие на работу, и я стал забывать о том, что существует другой мир — мир, откуда я прибыл, где подобные приглашения редки и носят сугубо временный и эфемерный характер. Когда я покидал Соединенные Штаты, в экономике страны царило оживление — это был самый разгар длительного периода подъема де-

ловой активности. В ту пору безработицей были поражены главным образом «очаги бедствия», неблагополучные районы и слои общества: городские гетто, где безработных всегда было хоть отбавляй, бассейн Аппалачей, престарелые и молодежь, национальные меньшинства. Теперь же я вернулся в Америку, в которой бедствие вырвалось за пределы «очагов» и распространилось на всю страну. Беда угрожает теперь средним американцам. Она уже постучалась в двери к квалифицированным рабочим, которые производили своим трудом те 9 миллионов автомобилей, что выпускала Америка каждый год. Она обрушилась на большие и малые города и на сельские местности, поражая в первую очередь одноотраслевые промышленные центры. И она совершает свое грозное шествие по стране в сопровождении новой беды — инфляции, которая наносит американцам еще один жестокий удар.

Однако у читателя не должно сложиться ложное впечатление, будто в сегодняшних Соединенных Штатах вообще не процветает никакой бизнес. Нет, этого сказать нельзя. Поэтому кое-кто здесь ломает голову над решением проблемы, прямо противоположной той, что стоит перед безработными, и столь же серьезной. Как помочь

людям, у которых денег столько, что они не знают, куда их потратить? И вот один бизнесмен, Рональд Уитэкр, движимый духом подлинно свободного предпринимательства, нашел решение: «Плавающий город для сверхбогатых!» Уитэкр и его предприимчивые компаньоны собираются приобрести пароход «Юнайтед Стейтс», который некогда был гордостью американского флота, а ныне поставлен на прикол как неисправный. Корабль длиною в 990 футов будет превращен, по словам Уитэкра, в плавучий рай «для очень, очень богатых, которые ищут способ приятно потратить свои большие деньги». Ведь в конце концов, как правильно отметил Уитэкр, «у денежных людей денег полно всегда, независимо от того, бум сейчас или спад». Вот каким образом предполагает Уитэкр помочь таким людям разрешить их тяжелую проблему. На судне оборудуются 282 квартиры, которые будут сдаваться на 76 дней по цене от 650 000 долларов за однокомнатную до двух с половиной миллионов долларов за восьмикомнатные аппартаменты люкс. Эти 76 дней пароход будет находиться в открытом море, совершая плавание по маршруту Средиземное море — Нью-Йорк — Карибское море — Флорида.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

Разумеется, безумный и бесчеловечный мир, который я покинул на шесть долгих лет, был мне достаточно хорошо знаком. Ведь всю мою сознательную жизнь я боролся за то, чтобы изменить его. Но теперь я вернулся в этот мир после того, как пожил (а не просто побывал) в разумном и подлинно человечном мире. Возвращение сопровождалось для меня тяжелыми перегрузками, подобными — в известном смысле — тем, что испытывают космонавты. Впечатление такое, словно я вернулся не в иную страну, а в иную эпоху. Я как будто бы очутился в мире, который распадается и становится прошлым человечества. Это было возвращение в общество, которое, разлагаясь, день ото дня становится все более безумным.

...И НЕСКОЛЬКО СТРАНИЧЕК ДНЕВНИКА

Вот уже семь лет прошло, как мы вернулись домой после шестилетнего пребывания в Советском Союзе, но до сих пор никак не можем привыкнуть к нашей бесчеловечной системе медицинского обслуживания. Наверное, так никогда и не при-

выкнем. Вчера мы с Гейл побывали в городской больнице округа Кук в Чикаго. У всех больных в мире на лицах написана тревога. Лица больных бедняков — а городские больницы в нашей стране предназначаются главным образом для неимущих — выражают неприкрытое страдание. По сравнению с этими несчастными мы с Гейл казались олицетворением благополучия. Сюда, в клинику, принесли свою боль нищие обитатели негритянских и испаноязычных гетто. Лишь изредка в очереди черных и цветных больных заметишь оттенок белого цвета. Только кисть Пикассо смогла бы изобразить это воплощенное страдание гетто: эти глубокие морщины на лицах, прорезанные долгими годами мучительных лишений, эту печать безысходного отчаяния. Как будто бы в храм Эскулапа явились все беды трущоб с их разрушающимися, гибнущими домами, о которых перестали заботиться их владельцы! В давние времена одетые в рубище больные бедняки шли со своей болью к святым чудотворцам. «Чудотворцами» — врачевателями в клинике округа Кук были способные молодые люди — мужчины и несколько женщин — с белым цветом кожи (лишь изредка — с коричневым оттенком). Им, явившимся сюда прямо со скамьи

медицинского колледжа, не терпится применить полученные знания на деле. Гетто обеспечивает их богатейшей и разнообразнейшей практикой. Некоторые из этих интернов — честные молодые врачи, посвятившие себя медицине и принимающие всерьез клятву Гиппократа. Но многие, если не большинство, помышляют не о преданном служении медицине, а о «хорошем врачебном бизнесе». В Америке на человеческих страданиях наживают деньги. И «бизнес», конечно, прибыльней всего там, где денег много. Сравнение количества врачей на душу населения в «благополучных» районах и в гетто дает наглядное представление о действии медицинского ценза в богатой Америке. Страдания гетто дают врачам-бизнесменам возможность попрактиковаться.

Боль заставила этих пожилых людей, что сидят перед дверью врачебного кабинета, покинуть свои грязные комнатенки, где поселился страх, и прийти в эти стены. Одеты они в немыслимую ветошь, без каких бы то ни было претензий на вкус. Сойдет одежда любого цвета и фасона, старая и изношенная — лишь бы она защищала от пронизывающего ледяного ветра с озера Мичиган. Наученные горьким опытом, они знают, что даже обноски, если натянуть их в несколько слоев друг

на друга, хорошо защищают от холода. Поэтому, кое у кого из-под широких долгополых пиджаков выглядывают выцветшие свитера и рваные жилеты. Те, кто помоложе и не отличается благоразумием, одеты легко, как будто мороз им нипочем. Их одежды тоже неописуемо бедны, но ярки. Кое-кто пришел в зеленой солдатской рабочей форме, сохранившейся после демобилизации из армии; форма опрыскана маскировочной краской, а, может быть, и химическими отравляющими веществами. Это ветераны бесславной войны во Вьетнаме. Отвоевавшись, они вернулись в нищету трущоб своих гетто.

Над просторной приемной грозовой тучей повисло гнетущее, зловещее молчаниё. Эта туча пришла сюда вместе с ними из их кишащих крысами жилищ. Она, эта туча, сопровождала их в бюро социального обеспечения и терпеливо дожидалась, пока они часами отвечали на бесконечные вопросы. Она вернется вместе с ними, с их болью и прописанными таблетками, домой, в гетто. Я узнал эту тучу. Я видел, как она со всей долго сдерживаемой яростью разразилась грозой в Гарлеме во время бурных волнений 60-х годов.

Войдя в чикагское бюро социального обеспечения, я ощутил все ту же сгустившуюся атмосферу

человеческой беды. И здесь повисло гнетущее молчание. Молодая чернокожая мать, держа в руках младенца, сосущего пустышку, еле слышным голосом терпеливо отвечала на нескончаемые дотошные вопросы. Инспектор, молодая высокая белая женщина со строгим лицом и тонкими поджатыми губами, быстро и деловито печатала на машинке ее ответы. Вдруг машинка устало замолкла. В глазах матери-негритянки была мольба. Инспектор принялась листать своими длинными, тонкими пальцами устрашающе толстую книгу — свод правил и инструкций. Вот ее пальцы замерли, как перед этим машинка. Тонкие губы сложились в любезную официальную улыбку, и она медленно зачитала соответствующий параграф. Черная мать с ненавистью и недоверием смотрела на страницы книги с мелким убористым текстом. Ведь с этих страниц прозвучал ужасный приговор ей и ее ребенку!

Полвека прошло со времен тяжелого кризиса 1929–1933 годов. С тех пор Америка разжирела и разбогатела: на каждых двух жителей страны приходится один автомобиль; на фешенебельной чикагской набережной Лейк-шор-драйв построены тысячи шикарных кооперативных квартир, продающихся по цене 250 000 долларов и более;

создан арсенал ядерных ракет, которых хватило бы для того, чтобы несколько раз взорвать мир, если сначала он вконец не подорвет экономику США. А матерей и их детей по-прежнему обрекают на голод и отчаяние! То, что случилось теперь, пол века спустя, с молодой матерью-негритянкой и ее ребенком в чикагском бюро социального обеспечения, представляло собой начало кампании по ликвидации социальных завоеваний, доставшихся американскому народу такой дорогой ценой.

19 сентября 1981 года, через восемь месяцев после того, как Рейган вступил в должность президента и повел наступление на социальные завоевания трудящихся, к ликвидации которых давно готовился крупный капитал, Америка выразила свой гневный протест.

В 30-е годы мы, участвуя в маршах, шли пешком, а когда уставали, ехали в кузовах грузовиков. Там же и спали. Теперь, в сентябре 1981 года, мы, участники марша на Вашингтон, совершали его на колесах: в тысячах автобусов и в специальных поездах, отправлявшихся изо всех уголков нашей обширной страны. В поход выступило более полумиллиона промышленных рабочих, горняков, конторских служащих, строителей и

трудящихся других профессий. Многие из них впервые в жизни участвовали в марше протеста. Среди участников нашего марша были тысячи «защитных шлемов» — так называют у нас в США строительных рабочих вообще и монтажников-верхолазов в частности. Эти крепкие здоровяки с красными обветренными лицами, упрямо стиснутыми челюстями и твердыми как сталь взглядами в свое время питали недоброе чувство к участникам маршей протеста против «грязной войны» во Вьетнаме. Высокооплачиваемые рабочие-строители, они опрометчиво кичились своей принадлежностью к «рабочей аристократии». Сейчас от их былого «аристократизма» не осталось и следа, а недобрые чувства они питали к антикоммунисту, обосновавшемуся в Белом доме. Теперь стала видна истинная сущность этих людей — сильных, умелых работников, которые дали мировой архитектуре новое измерение — небоскреб. «Небоскреб». Пока поэты возносились к небу в воображении, рабочие руки этих не слишком-то начитанных людей возвели до самого неба, обители богов, конструкции из стали и бетона. Ныне руки каждого четвертого из них остались без дела. И это при том, что наши города разрушаются, а в их гетто назревает

взрыв гнева и отчаяния! Мне довелось увидеть, как преображал советские города устремленный в небо подъемный кран. И я знал, какие чудеса могли бы создать обреченные на бездействие руки наших строителей. Они боролись теперь за право отстроить заново разрушающиеся города Америки. Моим советским друзьям даже трудно представить себе, что кому-то приходится бороться за подобное право! Для большинства этих бывших «аристократов» участвовать в марше протеста было в новинку. Ведь этим занимаются только «коммунисты» и «радикалы». Они шли по большей части молча и не без смущения несли над головой свои плакаты. Для автомобилестроителей и металлургов участие в демонстрациях протеста было более привычным делом. Гигантский автомобильный завод корпорации «Дженерал моторе» во Флинте, штат Мичиган, стал тем местом, где в годы подъема профсоюзного рабочего движения перед второй мировой войной зародилась такая форма борьбы, как сидячая забастовка. Теперь для Флинта вновь возвратились тяжелые времена кризиса 30-х годов. На многих предприятиях города остановились конвейеры. На рабочих автомобильных заводов обрушился бич безработицы. Экономической

жизни Детройта, этого центра автомобилестроения, угрожал паралич.

Многотысячные колонны рабочих автомобильной промышленности гневно скандировали: «Мы хотим работы! Мы хотим работы!» Рабочие-строители, новички в этом деле, мало-помалу начали вторить им. «Мы хотим работы! Мы хотим работы!» — скандировали они, поначалу робко, с запинками, а потом все более решительно. На моих глазах мучительное смущение, написанное у них на лицах, сменялось выражением гнева и негодования. Именно это имел в виду Ленин, когда подчеркивал, что трудящиеся учатся главным образом на своем собственном опыте. Но вот автостроители запели страстный боевой гимн солидарности рабочих. Слова «Солидарности» родились в пикете бастующих и были положены на мелодию «Боевого гимна республики», увековечившего память борца за освобождение негров Джона Брауна, — гимна, под который в суровые годы нашей Гражданской войны солдаты Севера шли в бой с мятежниками-рабовладельцами. И колонна за колонной подхватывала эту песню, пламенный призыв к борьбе.

Я присоединился к маршу протеста в Гэри. Большинство нашего автобуса составляли чер-

ные женщины — работницы металлургических заводов; многие из них взяли с собой детей. «Это ведь и их борьба. Так пусть с самого начала приобщаются к ней», — высказала свое мнение на этот счет одна из наших спутниц — пышущая здоровьем молодая женщина.

Гэри был районом сосредоточения металлургов. Они шли к автобусам прямо с заводов, некоторые еще в рабочей одежде. Много металлургов уже лишились работы — те приходили на место сбора из дома. Вереница автобусов покатила по автостраде, как бронетанковая колонна, идущая на фронт. Нашим фронтом будет Вашингтон с Белым домом! Ярко освещенные заправочные станции вдоль автострады были превращены в сборные пункты промышленной Америки. Отряды армии труда протягивали друг другу руку дружбы. Сталевары Гэри и автомобилестроители Детройта обменялись крепким рукопожатием. Это братание наполнило их сознанием собственной силы и чувством гордости, которое было написано на их простых, открытых рабочих лицах. То был настоящий день единения, день братской дружбы! Черные и белые, мужчины и женщины, молодежь и старики — все были едины. Целая армия на колесах — тысячи автобусов! — двигалась на

Вашингтон. Трудящиеся выступили в небывалый по размаху поход.

А хозяин Белого дома, по милости которого полмиллиона рабочих, снявшись с места, проехали сотни миль, чтобы заявить о своем элементарном праве на существование, уехал из Вашингтона. Он просто-напросто не пожелал нас принять. Когда пение и скандирование постепенно смолкли, воцарилось грозное молчание. Все мы понимали, что предстоящее долгое путешествие домой означает не конец, а только начало нашего похода. Америка пришла в движение, и предстоят новые марши…

Уже после нашего отъезда в Москву по Соединенным Штатам прокатилась широкая волна выступлений за мир. Кульминационным пунктом стала состоявшаяся 12 июня 1982 года демонстрация перед зданием ООН в Нью-Йорке, в которой участвовал миллион американцев.

Мы, американцы, — не любители задаваться философскими вопросами. Мы по натуре своей практики, прагматики. Я говорю об этом без чувства гордости и без чувства стыда. Просто констатирую факт. Но сегодня американцы настойчивей, чем когда бы то ни было раньше, спрашивают у себя и друг друга: «Куда мы идем?»

Теперь, когда к власти у нас в стране пришли самые оголтелые элементы военно-промышленного комплекса, вопрос «Куда мы идем?» стал для нашего народа вопросом жизни и смерти.

Это стало мне особенно ясно вскоре после того, как в марте 1982 года мы вернулись в Москву, где я снова занял пост московского корреспондента «Дейли уорлд». Наш приезд совпал с празднованием Международного женского дня. Трудно представить себе более радостный праздник. И праздник был у нас на душе, когда мы сели в 12-й троллейбус и поехали домой — наш новый московский дом был буквально в двух шагах от прежней нашей квартиры на Ленинградском проспекте. Не успели мы сойти с троллейбуса, как нас узнала наша бывшая соседка, старая женщина.

— Вы снова у нас? — воскликнула она. — Слава богу! — Однако тут же по ее доброму, в морщинках, славянскому лицу пробежала тень. — Скажите вашим соотечественникам, — сказала она, — что мы хотим мира. Если надо, я буду снова питаться одной картошкой, только пусть будет мир. — Глаза ее заблестели от навернувшихся слез. — Разве мало мы хлебнули горя? Фашисты убили моего сына. А меня увезли в Германию и

заставили работать как рабыню. Выбили у меня зубы. За всю нашу жизнь это первый долгий период мира. Передайте своим американцам: живите как хотите, только дайте нам жить в мире!

Я участвовал в историческом Марше мира–82: из Ленинграда мы направились в Калинин, Москву, Смоленск, Минск, далее в Киев, Ужгород, Будапешт и Вену. Многие участники марша из Скандинавских стран были в Советском Союзе впервые, и для большинства из них это непосредственное общение с советскими людьми стало сильнейшим эмоциональным впечатлением жизни. Я не видел более волнующего зрелища, чем прощание участников марша с минчанами. Глаза и лица советских людей красноречиво говорили о переполнявших их чувствах. Характерный эпизод произошел в Смоленске. Этот город-герой сердечно встречал участников марша. Вдруг к участникам марша кинулась пожилая женщина, в глазах которой застыла не забытая за десятилетия скорбь, и обняла молодую красивую норвежку.

— Нас в семье было семеро, а в живых осталась я одна! — воскликнула она. Обе женщины, старая и молодая, плакали, обнимая друг друга. Пожилая женщина заметила у меня в руках магнитофон. —

А вы кто? — спросила она с подозрением.

— Американский корреспондент, — ответил я. Слова «американский» было для нее достаточно.

— А, американский корреспондент! Ваш президент Рейган — очень дурной человек. Вы должны поскорей его сместить! — Я попытался объяснить ей, что по нашим законам мы сможем сделать это не раньше, чем через два года.

— Через два года? — ахнула она. — Нельзя столько ждать! Мы не можем ждать!

Два года «рейганизма» вызвали такое же чувство у миллионов американцев.

В своей бессмертной поэме «Мертвые души» Гоголь, уподобляя Россию мчащейся тройке, спрашивал: «Русь, куда же несешься ты?» Народы бывшей царской России давно уже дали ответ на этот вопрос, — ответ, изменивший весь ход мировой истории.

Соединенные Штаты тоже мчатся сегодня по дороге своей судьбы. Только не в неказистой бричке, а в лакированном, обтекаемом, сверхмощном автомобиле, ярко сверкающем во всем своем кричащем великолепии. За рулем сидит возбужденный наркоман, который на бешеной скорости гонит машину по крутому, извилистому горному серпантину. «Америка, куда же несешься

ты?» Весь мир ждет ответа на этот роковой вопрос. И в первую очередь — от нас, американцев, едущих в этом автомобиле.

Взглядом сатирика
Фредерик Вертем
ЗАБАСТОВКА
(Фантазия)

И тут нам снова придется уточнить некоторые понятия. Что такое преступление и что такое насилие?

Из выступления одного из сенаторов на заседании сенатской подкомиссии по вопросу о детской преступности.

Все началось с того, что я получил письмо от одного ученика средней школы. В письме говорилось:

> Уважаемый доктор Вертем!
>
> У нас предполагается классное сочинение на тему «Что делают взрослые для борьбы с детской преступностью». Не скажете ли Вы, где я мог бы подобрать материал и что мне нужно почитать?
>
> Благодарный Вам
>
> ***(подпись)***

Я прочел это письмо поздно ночью, усталый

после целого дня работы. Оно заставило меня призадуматься. Предположим, дети действительно захотят выяснить положение дел. Что же они обнаружат?

После многих лет работы с детьми и родителями у меня сложилось довольно четкое представление о том, что у нас фактически делают (а, вернее, чего не делают), чтобы помочь детям. Между тем, что на эту тему говорится и что делается в действительности — бездонная пропасть. Мы беспрестанно требуем все больше и больше средств для новых обследований и научных работ, а дети тем временем предоставлены самим себе. И я подумал, а что получится, если дети возьмутся за дело сами?

Я стал фантазировать, представлять себе различные варианты. Вот, скажем, мальчик, приславший мне письмо, обнаружил, что, несмотря на все посулы и ассигнования, фактически не делается ровно ничего. Я мысленно представил себе его разговор с другим мальчиком:

— Знаешь, — говорит второй мальчик, — по-моему, что бы с нами, ребятами, ни случалось, обществу на это наплевать.

Сделаешь что-нибудь не то — посадят. Ну, если будут в хорошем настроении — отпустят. Но слу-

шать нас никто не станет. Да мы и сами побоимся сказать им все, как есть.

— А я придумал! — говорит первый мальчик. — Давайте сами прекратим это безобразие! Покончим с детской преступностью! Объявим забастовку протеста!

Идея стала распространяться с быстротой лесного пожара. На перемене мальчики рассказали о ней своим одноклассникам, и весть моментально облетела всю школу. В воскресенье несколько ребят отправились на попутных машинах в другие города — пусть и там знают, что отныне с детской преступностью покончено.

Если уж дети за что-нибудь берутся, то берутся всерьез. Не то, что взрослые, — те на каждом шагу идут на компромисс. Не отдавая себе в этом отчета, они (я имею в виду взрослых) вместо того, чтобы делать дело, за которое взялись, обычно пускаются в философствования и на этом успокаиваются. А дети не стали ломать себе голову над научным определением детской преступности. И не стали спрашивать, что такое преступление, что такое насилие. Они знали, чего им делать не положено, и из этого исходили. И еще они знали: стать преступником — легче легкого. Поразмыслив, они пришли к выводу, что старшие ребята

без труда смогут помочь младшим. Им не было ведомо, что «для понимания причин детской преступности требуются многие годы исследовательской работы», что детская преступность — «чрезвычайно сложная проблема» и что для всякой борьбы с нею необходимо «проникнуть в самые сокровенные тайники человеческой души». По своей неискушенности они думали, что с преступностью просто надо покончить, и дело с концом.

Дети наивны, и в отличие от взрослых не стремятся из всего извлечь личную выгоду. Сами дети наживаются на своих преступлениях куда меньше, чем взрослые на борьбе с детской преступностью. К тому же они не так склонны к самообману, как взрослые.

…Сперва дети никак не могли решить, стоит ли рассказывать взрослым о своей забастовке. Кто-то из ребят попробовал было позондировать почву, но безуспешно: ведь то, что они собирались делать, шло вразрез со всеми научными теориями? Пришлось им все скрыть от старших, даже от родителей, — они боялись, что родители их не поймут и не поверят им.

Дети мыслят прямолинейно. Раз они объявили забастовку против детской преступности, значит,

это забастовка и против всех взрослых, которые толкают их на преступления. Самые худшие виды преступления — жестокость и убийство. А ведь телевидение и радио, печать и кино постоянно преподносят им картины насилия и убийств в качестве развлечения. Ребята постарше прекрасно понимают, что для малышей это вредно.

Им не под силу различить едва уловимые грани между степенями творимого нами зла. Они не видят разницы между игрушечным револьвером (который с виду почти ничем не отличается от настоящего и может быть использован налетчиками) и настоящим оружием; между телевизионными передачами со множеством убийств и передачами с единичными убийствами; между книжками, расписывающими во всех подробностях изнасилование и употребление наркотиков, и самими этими актами; между комиксами, показывающими преступления и насилия над людьми, и комиксами, изображающими истязание животных или их кровожадность; между фильмами, герои которых — истязатели и убийцы — носят большие ковбойские шляпы, и другими фильмами, герои которых носят шляпы обыкновенные.

В общем, дел у ребят оказалось по горло. Они

начали бойкотировать все развлечения такого рода и перестали платить за них деньги взрослым. Если прежде револьвер был самой распространенной игрушкой американских детей, то теперь все переменилось. Если раньше почти все мальчики младшего возраста — и даже многие девочки, соблазненные рекламами взрослых, носили по одному, а то и по два револьвера, то теперь они их побросали. Ученики младших классов одной из средних школ собрали подписи под посланием к президенту Эйзенхауэру, в котором заявили ему протест против того, что он, как они узнали из газет, подарил своему внуку игрушечный револьвер и тем самым, по их мнению, подал дурной пример другим взрослым. Однако об этой затее проведал учитель и уговорил ребят не отправлять послания. Он опасался, как бы их идею не сочли подрывной.

Дети знали, что жестокость — зло. Поэтому они объявили бойкот всем книгам и зрелищам, проповедующим жестокость. И нельзя их в этом винить — ведь им не известны те сложные аргументы, которыми психиатры оправдывают пропаганду жестокости. Детям не было ведомо, что это по их вине в кино постоянно показывают акты насилия. Им никогда не доводилось

читать такие, например, откровения одного из журналов по психиатрии: «Как установила группа научных работников Гарвардского университета, психологическое предрасположение к насилию, агрессивности и враждебности к другим людям, свойственное индивидууму, — вот главный фактор, которым определяется степень воздействия фильмов, демонстрирующих акты насилия». Дети же наивно полагали, что главный фактор — это фильмы, которые им показывают, а не врожденное предрасположение человека к насилию. Они не стали повторять и бойких разглагольствований о том, что можно идти на «частичный риск»; они вообще не желали рисковать, а потому объявили бойкот всем фильмам с убийствами. После того как в соседнем кинотеатре на дневном субботнем сеансе для детей были показаны два фильма с изрядным количеством зверств, ребята не стали дожидаться следующей субботы, а просто объявили этому кино бойкот — раз и навсегда. Перед ними встала и другая проблема: как быть с комиксами? Не покупать новых — довольно просто. А вот что делать со старыми? Сжечь их нельзя, потому что взрослые не понимают разницы между книгами и комиксами и скажут, что дети жгут книги. И вот ребята

нашли хороший выход: они отдали все свои комиксы взрослым. Как сказал один мальчик: «Они их пишут, пусть сами и читают!»

Разумеется, организация забастовки была сопряжена с некоторыми трудностями. Для обсуждения своих планов ребятам приходилось собираться тайком. На одной из таких сходок в заброшенном подвале кто-то из мальчиков попытался было выступить в защиту ковбойских фильмов. Но его быстро заставили замолчать. Поднялась одна девочка и сказала: «Мой брат все лето провел на ранчо, и он говорит, никто из ковбоев револьверов не носит. У них вообще нет револьверов, и они ни в кого не стреляют. Все эти ковбойские фильмы — сплошная липа». После этого ковбойские фильмы с пальбой решено было бойкотировать. Каким-то образом весть о сходке детей дошла до взрослых. Несколько недель спустя к этой девочке явился домой агент ФБР и стал допрашивать ее родителей. «У нас есть сведения, что вы пацифисты, — заявил он. — Почему вы против призыва в армию?»

Все уладилось лишь после того, как девочка объяснила, что она осуждала только ковбойские фильмы.

По всей стране ребята устраивали сходки,

причем собирались они в бывших укрытиях детских шаек. Теперь там разрабатывались стратегические планы забастовки против детской преступности. И хотя никому из ребят не приходило в голову употребить термин «моральная гигиена», именно этим они, в сущности, и занимались. Тут они опять-таки поступали не так, как взрослые, которые без конца разглагольствуют о «моральной гигиене», но на практике ровно ничего не делают для того, чтобы прививать ее детям. Подростки пришли к выводу, что малыши очень нуждаются в их покровительстве. По своей незрелости и неосведомленности они не знали, что авторы широкоизвестной книги под названием «Психоанализ и детский сад» внушают взрослым такую идею: проявления жестокости по отношению к куклам или игрушечным животным лучше всего оставлять без внимания. Подростки чувствовали, что это плохой способ воспитания, и решили разъяснять своим младшим братьям и сестрам, что, несмотря на странные теории взрослых, надо быть добрыми и ласковыми даже с куклами и игрушечными зверюшками.

На некоторых собраниях было решено направить письма кое-кому из старших. Так, например, ребята из штата Нью-Джерси отправили мистеру

Стиву Омерту, члену муниципального совета города Раритан (штат Нью-Джерси) и председателю комитета, ведающего полицией, письмо следующего содержания:

> «Уважаемый м-р Омерт!
>
> Мы прочли в газете, что Вы ввели у себя в городе новые правила для полицейских.
>
> Правило первое: „Полицейский не имеет права читать комиксы, находясь на посту“.
>
> Правило второе: „Запрещается держать комиксы в помещениях полицейских участков“.
>
> Мы считаем, что Вы очень хорошо придумали. Если комиксы вредно читать детям, то, наверное, их вредно читать и полицейским. От этого они становятся чересчур жестокими. Руководящий комитет забастовки против детской преступности».

Нью-йоркские ребята направили письмо врачу-психиатру, руководителю отдела судебно-психиатрической экспертизы при суде для несовершеннолетних. Этого доктора поймали на

том, что он пытался стащить в одной загородной вилле антикварные вещицы для своего кабинета, и обвинили в мелкой краже. Письмо было короткое:

> «Дорогой доктор!
> Мы понимаем, каково Вам сейчас. Не расстраивайтесь. Почему бы Вам не примкнуть к нашей забастовке? Руководящий комитет забастовки против детской преступности».

Когда появились слухи о том, что забастовка подготовляется и даже началась, сперва им никто не поверил. Но в конце концов обнаружилось истинное положение дел: во всей стране дети действительно перестали совершать преступления. Последствия этого были просто катастрофическими.

Самый скверный трюк со стороны детей заключался в том, что они перестали прогуливать уроки. Отныне каждый ученик стал являться в школу каждый день. Начался сущий хаос. Не хватало классных помещений, не хватало школ, не хватало учителей. В классы, и без того переполненные, набилось еще больше учеников. Никто не знал, как справиться с проблемой воз-

росшей посещаемости (дети поняли, что прогулы и преступления зачастую связаны между собой и потому не стали дожидаться, пока взрослые накопят еще больше статистических данных по этому вопросу).

Экономические последствия забастовки тоже были катастрофическими. Раньше никто не понимал, что детская преступность столь необходима для материального благосостояния множества людей. Такая процветающая отрасль, как продажа малолетним оружия (настоящего!) была уничтожена начисто. Торговцы наркотиками, которые обычно слоняются около школ, лишились своих покупателей. Сбыт порнографических открыток резко пошел на убыль. Дети больше не желали покупать гнусные картинки — взрослые и тут лишились источника дохода. Из трехсот с лишним фабрикантов, изготовлявших игрушечное оружие, большинство обанкротилось. Удар был нанесен даже производству пневматических ружей: понимая, как много зла могут причинить и такие ружья, дети перестали покупать их и принимать в подарок. Это решение в свою очередь сказалось на доходах множества журналов, которые их усиленно рекламировали.

Всякие благотворительные комитеты охватила

форменная паника, ибо при сборе пожертвований термин «детская преступность» всегда оказывал магическое действие. Всем благотворительным организациям — независимо от того, имели они какое-нибудь дело с малолетними преступниками или нет, — было хорошо известно, что любое упоминание о детской преступности весьма положительно сказывается на сборах. В некоторых из этих организаций, не имеющих коммерческого характера, от 35 до 50% собранных средств, а иногда и больше идет на покрытие внутренних расходов и уплату жалованья служащим. Забастовка против детской преступности оказалась пагубной и для этого прибыльного занятия.

В рекламном деле наступил форменный хаос. Дети решили не покупать товаров тех фирм, которые финансируют телевизионные программы, пропагандирующие жестокость, — всевозможные передачи о ковбоях, о суперменах, о кровавых схватках в космосе и в джунглях. В результате фирмы, изготовляющие сладости и школьные завтраки, понесли большие убытки.

Детям не свойственна умеренность. Поэтому они заодно объявили бойкот и тем товарам, реклама которых рассчитана непосредственно на

них. От этого пострадала витаминная промышленность и некоторые другие отрасли. Старшие дети сказали младшим, чтобы те не принимали витаминных таблеток, которые так настойчиво рекламируются в стишках, обращенных непосредственно к детям самого младшего возраста. Ученицы одной из средних школ направили письмо критику Джеку Гулду, который пишет для газеты «Нью-Йорк таймс» рецензии на телевизионные программы. В письме говорилось:

> «Уважаемый м-р Гулд!
>
> Мы, члены регионального комитета забастовки против детской преступности, приносим Вам поздравления по случаю Вашей превосходной статьи в „Нью-Йорк таймс“, озаглавленной: „Большая опасность в маленьких таблетках“. Но Вам больше незачем беспокоиться: мы сказали своим младшим братишкам и сестренкам, чтобы они не принимали таблеток, рассчитанных специально на детей, и предоставили родителям самим решать, что полезно для нашего здоровья».

Из-за того, что дети и подростки стали бойкоти-

ровать множество новых фильмов с убийствами, огромный ущерб понесла кинопромышленность. До сих пор никто по-настоящему не представлял себе, что число юных зрителей так велико и что жестокость приносит такой огромный доход.

Все фирмы и специалисты, консультировавшие население по вопросам детской преступности, остались без дела. Торговцы шарлатанскими зельями и снадобьями, разрекламированными в комиксах и детских журналах, лишились всех своих юных клиентов. С помощью этих реклам они много лет запугивали детей и вымогали у них изрядные суммы. Никому из взрослых — ни родителям, ни женским клубам, ни министерству здравоохранения, ни врачам — не удавалось положить конец этому безобразию. Но теперь молодежь разъяснила подросткам, а те в свою очередь разъяснили малышам, что их просто надувают, и больше этих снадобий никто не стал покупать и рекламировать.

Туго пришлось и журналам. Ведь статьи о детской преступности неизменно вызывали интерес у читателей. Как раз перед началом забастовки один из самых распространенных журналов запланировал превосходные статьи двух популярных авторов. Одна из них называлась:

«МОЙ РЕБЕНОК — ПРЕСТУПНИК».

Другая, которую предполагалось напечатать несколько месяцев спустя, была озаглавлена:

«МОЙ РЕБЕНОК — НЕ ПРЕСТУПНИК».

Разумеется, от обеих статей пришлось отказаться, потому что они больше не представляли для читателей никакого интереса. Спрос на журнал сократился, сократилось и количество запланированных им статей. Газеты лишились одной из лучших тем, гарантировавших им рост тиражей — детская преступность была выигрышным материалом и для сенсационных сообщений первой полосы, и для пространных подвалов. Когда детская забастовка приобрела мощный размах, газетам пришлось изобретать новые ухищрения, чтобы поднять спрос. Таким образом, газеты тоже понесли убыток.

Паника охватила и издателей комиксов, так как дети совершенно перестали покупать их продукцию.

Доходы всех специалистов по детской преступности сильно сократились. Многим из них даже пришлось подыскивать себе другую работу, что

было особенно прискорбно, ибо как раз к этому времени открылось множество новых возможностей для получения доходных местечек в этой области. Ведь до забастовки все шло так хорошо! Появлялись все новые и новые комиссии, новые комитеты, новые управления, новые инспекторы, новые выгодные должности, все чаще созывались конференции и собрания с платными ораторами, все чаще проводились дискуссии по телевидению в самые выигрышные часы для телепередач. И теперь все это вдруг оказалось бесполезным!

(Нельзя сказать, чтобы раньше от этого была какая-нибудь польза!) Все люди, деятельность которых как-то была связана с детской преступностью, остались без работы. Общественные организации лишились всяких ассигнований, а частные благотворительные комитеты — всякой возможности дальнейшего сбора средств. Но что всего хуже, школам стало очень трудно добиваться новых штатных единиц, ибо отныне они больше не могли требовать дополнительных ассигнований, ссылаясь на рост детской преступности. А между тем нужда в школьных работниках никогда не была так велика: дети, обуреваемые жаждой знаний, заполнили все

классы.

Вся система политического фаворитизма при назначении должностных лиц пришла в расстройство, ибо отныне ни на одну должность, начиная от судей по делам малолетних и кончая мелкими служащими, больше уже нельзя было назначать людей, не имеющих необходимой квалификации, но снискавших себе популярность эффектными выступлениями против детской преступности по радио и по телевидению. Однако настоящая беда разразилась, когда один преуспевающий биржевик, просматривая телеграфные ленты с биржевыми сводками, обнаружил, что акции компаний, производящих газетную бумагу, быстро падают. Решив, что вслед за этими акциями начнут падать и другие, он тут же распродал все свои ценные бумаги. Его примеру последовали остальные, и на бирже разразился кризис.

Однако самим детям забастовка дала очень много. Они перестали совершать преступления. Им больше не грозила ни тюрьма, ни исправительные заведения, ни электрический стул. Их даже перестали обзывать хулиганами.

Взрослым же забастовка принесла только беды и всяческие затруднения: в самый разгар их борь-

бы против детской преступности преступления вдруг прекратились. Это шло вразрез со всеми теориями и мешало практическим мероприятиям — как общественным, так и частным.

Специалисты не замедлили обратить внимание публики на крайнюю опасность создавшегося положения. На что же теперь обратится «подавленная агрессивность» детей, если она больше не имеет выхода? — вопрошал один из них. Другой поместил в воскресной газете статью, в которой разъяснял, что забастовка — не что иное, как выражение подсознательной вражды к другим людям, которая присуща детям, и что фактически во всем виноваты их матери. Американский союз защиты гражданских свобод опубликовал заявление, в котором сурово предостерегал нацию, что бойкот, проводимый детьми, и их забастовка представляют собой нарушение конституции, гарантирующей свободу слова, и, по сути дела, равносильны «экономической цензуре». Все это вызвало серьезное беспокойство, и, так как события развернулись незадолго до выборов, они привлекли внимание председателя республиканского (а может быть, демократического?) национального комитета. В интервью, передававшемся по телевидению, он сообщил Дэйву

Гарроуэю и всей Америке, что комитет предлагает провести в Белом доме конференцию на тему «Применение детской энергии в мирных целях».

Но вскоре последовала развязка. Ребята понимали, что детскую преступность, временно прекратившуюся в связи с забастовкой, нужно уничтожить навсегда. Однажды днем они устроили демонстрацию и прошли с лозунгами через Сентрал-парк. Участники процессии сохраняли полный порядок. Время от времени они запевали походные песни. Над рядами пестрели большие плакаты с необычными надписями:

ПОКОНЧИМ С ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ!

МЫ ХОТИМ УЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ!

КНИГИ ВМЕСТО КОМИКСОВ!

ПОКОНЧИМ С ПРОГУЛАМИ!

ДОЛОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ!

МАЛОЛЕТНИЙ ПРЕСТУПНИК ПОЗОРИТ ОСТАЛЬНЫХ РЕБЯТ!

Шествие замыкала группа детей, которые несли два самых больших и самых опасных лозунга. Один из них гласил:

ВСЕ МЫ БРАТЬЯ!

(а пониже кто-то нацарапал карандашом:

И СЕСТРЫ!)

Другой лозунг был еще хуже: крупными буква-

ми на нем было выведено:

СРЕДИ НАС НЕТ НИ АНГЛИЧАН, НИ ИСПАНЦЕВ, НИ НЕГРОВ, НИ ПУЭРТОРИКАНЦЕВ. ЕСТЬ ТОЛЬКО ЛЮДИ!

Все это было поистине возмутительно. К счастью, как раз в это время через парк проезжал на своем роскошном лимузине видный общественный деятель, прославившийся борьбой против детской преступности. Он только что посетил один из тех кварталов с неполноправным населением, которые созданы в соответствии с политикой расовой сегрегации. Там он отвечал на вопросы детей, развалившись на мягком сиденье своего огромного автомобиля. Ни дать ни взять — Гарун-аль-Рашид, посещающий бедняков. Он тут же дал знать в полицию, и через несколько минут на место происшествия прибыло пять полицейских машин с радиорупорами, чтобы немедленно разогнать эту возмутительную демонстрацию. Кое-кто из мальчиков оказал полицейским сопротивление. Началась свалка, и полиция, окружив двадцать демонстрантов, арестовала их. Всех задержанных обвинили в организации недозволенного сборища (им не было известно, что для проведения демонстрации требуется специальное разрешение) и в применении

физического насилия, назвали их малолетними преступниками и препроводили в тюрьму. Весть о событиях в Сентрал-парке молниеносно облетела всю страну. В Балтиморе какой-то мальчишка не замедлил стянуть кошелек. В Сан-Франциско трое ребят ограбили лавку. В Чикаго в одной из школ выбили стекла. В Бронксе (Нью-Йорк) как-то вечером прогремел выстрел, и маленький мальчик упал мертвым на мостовую.

Забастовка окончилась. Порядок был восстановлен.

Джессика Митфорд
МОТЕЛИ ДЛЯ ПОКОЙНИКОВ, ИЛИ АМЕРИКАНСКИЙ ОБРАЗ СМЕРТИ

В последние годы много пишут о нашем обществе изобилия, заодно высмеивая вздорные «атрибуты престижа», которые, словно золотые капканы, на каждом шагу подлавливают ротозеев и вынуждают вытаскивать кошелек. Но об одном из них — самом вздорном и нелепом, уготованном нам в конце жизненного пути — меньше всего принято распространяться. Я имею в виду современные американские похороны.

Если «мрачные торгаши», как назвал гробов-

щиков один английский писатель XVIII века, являлись для многих писателей — от Шекспира и Диккенса до Ивлина Во — объектом шуток, то в наши дни роли резко переменились: теперь они, эти «торгаши», разыгрывают с нами шутку, причем злую и крайне для нас разорительную.

Похоронные фирмы исподволь и постепенно создавали совершенно особый гротескно-бредовый мир, в котором все излишества «элегантной жизни» трансформируются, как в ночном кошмаре, в излишества «элегантной смерти». Хорошо знакомый язык рекламных агентств Мэдисон-авеню со своим особым набором восторженных эпитетов, изобретенных в качестве анестезирующего воздействия на сопротивляющегося покупателя, проник и в область похорон в новом, причудливом контексте. Реклама и здесь подчеркивает те качества, которые нас с малолетства приучили считать признаками совершенства: удобство, прочность, красивую отделку, отличную выработку. Наше натренированное ухо слышит знакомую квазинаучную терминологию, и, хотя смысл ее не ясен применительно к цели, тем не менее она усыпляюще действует на сознание.

Нам предлагают, например, «художественный гроб в колониальном стиле из луженой стали

№ 18 с крышкой без шва, сварной конструкции» и к нему поролоновый тюфяк или матрац со скрытыми пружинами. Фирма «Элджин» рекламирует «ложе революционной конструкции, обеспечивающее идеальную позу». Подкладки для гроба, помимо обычной серебристой окраски, имеются еще шести — десяти цветов и оттенков, на разные вкусы. Саваны отменены. Вместо них специальные ателье погребальных мод выполняют индивидуальные заказы на «дамские туалеты оригинальных фасонов, мужские костюмы, белье и аксессуары» и, как художественный штрих в дополнение ко всему прочему, «естественные румяна — последнее слово косметического бальзамирования».

Вы хотите, чтобы все у вас было, «как у Джонсов», «как у людей» — об этом ведь печется каждый американец, — и вот к вашим услугам полный набор мифов, основанных на дурно переваренных психологических теориях. Тут и «памятный портрет», запечатлевающий покойника, нашприцованного по всем правилам техники бальзамирования со щедрым применением косметики; тут и новейшая «терапия скорби», о которой трубят в похоронных кругах. Небезынтересно привести выдержку из одной

инструкции по данному вопросу: «...похоронный директор — это цереминаймейстер, играющий ведущую роль в спектакле. Он создает требуемую атмосферу и руководит драматическим действием, в котором выпячиваются общественные связи и обеспечивается эмоциональный катарсис (разрядка чувств) для всех присутствующих».

Вам угодно «терапию скорби»? Извольте! Но не забудьте о стоимости! По данным статистики похоронной промышленности, за один год похоронными конторами получено в среднем 708 долларов за каждые похороны, точнее, за гроб и «обслуживание», потому что остальные атрибуты, такие, как музыка, священник, кладбищенские расходы, оплачивались отдельно. Все вместе взятое составило в среднем 1450 долларов.

Известные признаки того, что американский народ начинает негодовать по этому поводу, показали поразительные отклики на статью Рауля Танли «Можете ли вы позволить себе умереть», опубликованную в «Сатердей ивнинг пост». Будто поток, прорвавший плотину, неслись отовсюду письма в редакцию журнала, в похоронные общества, в местные газеты. Их писали священники, лица свободных профессий, престарелые

пенсионеры, работники профсоюзов... За три месяца с момента опубликования статьи Танли было получено шесть тысяч писем. Одни авторы делились горьким опытом знакомства с «похоронными директорами», другие интересовались, как организовать на общественных началах похоронные конторы, и все в один голос сетовали на то, «как чудовищно дорого стоит умереть».

Время от времени какой-нибудь деятель похоронной промышленности возьмет да и выболтает секреты своих коллег. Так было с У. У. Чемберсом, веселым гробовщиком из Вашингтона. Этот человек, поднявшись собственными усилиями из низов, создал целую похоронную империю, оцениваемую в миллионы долларов. Вызванный в комиссию конгресса для дачи показаний, он заявил:

— Похоронное дело строится на системе вымогательств, самой хитроумной на свете. Твердых цен здесь не существует, каждый придерживается одного правила: дери, сколько можешь и где можешь! Мои конкуренты злятся на меня за то, что я публикую свои цены, они же за шесть совершенно одинаковых похорон назначают шесть разных цен, вызнав предварительно, кто чем располагает. Известно ли вам, что некоторые

из таких жуликов сдирают девяносто долларов за детский гробик, цена которому четыре с половиной доллара?

Мнение мистера Чемберса подтверждается людьми, которым приходилось пользоваться услугами похоронных контор. Один железнодорожник пишет: «Пистолета к виску они вам, правда, не приставляют, но все остальные разбойничьи приемы, несомненно, используют! На моих глазах они буквально ограбили родственников моего покойного друга — людей скромного достатка, содрав с них 1200 долларов!». Юрист из Акрона в штате Огайо сообщает: «Я давно считаю, что, пользуясь горем людей, американские похоронные бюро очищают их карманы». Плотник-пенсионер пишет неровным старческим почерком: «Я только что похоронил сестру, и гробовщик содрал с меня 900 долларов. Не понимаю, почему это обходится так дорого. Почему нас заставляют тратить по 400 долларов на гробы с серебряными ручками, пружинными матрацами и прочими ненужностями! Здесь, в Филадельфии, моя племянница уплатила 90 долларов за рытье могилы, хотя вырыли ее экскаватором…»

Катастрофу на шахте в Сентрейлии (штат Иллинойс), во время которой погибло сто одиннадцать

человек, гробовщики восприняли как удачу, свалившуюся с неба. «Юнайтед майнуоркерс джорнал» с гневом отмечала, что «похоронные дельцы Сентрейлии налетели, как шакалы», и проводили жертв катастрофы в могилу, «с бессовестной жадностью выкачав у их близких почти все, что те получили в виде компенсации за потерю кормильцев».

В общей сложности похоронные конторы заработали на этой катастрофе 80 тысяч долларов. Всякий раз, обследуя, во что обходятся оставшимся в живых похороны умерших членов семьи, профсоюзы отмечают явную связь между суммой страховки или компенсации, выплаченной наследникам покойного, и счетом похоронной конторы.

Руководители профсоюзов, ведающие распределением пенсионных фондов, все чаще начинают задумываться над тем, ради кого же, в конечном счете, они стараются выхлопотать более крупную компенсацию — ради семей, лишившихся кормильцев, или ради похоронных дельцов.

«Модель № 280 отражает характер и общественное положение, ее восхитительный фасон воспринимается как формальное подтверждение жизненного успеха». Это строки из каталога

«Практичная обувь для покойников» фирмы, находящейся в Колумбусе, штат Огайо. И далее: «Удобные полуботинки из лакированной кожи, а также черного, коричневого и темнокрасного шевро, со шнуровкой или резинкой». И еще: «Дамские туфли „Уютные“ с мягкими пружинящими подошвами обеспечивают ногам полный отдых, обладая при этом исключительной элегантностью». Отдел дамского белья той же фирмы предлагает для мертвых товар люкс: черную коробку с золотой надписью «Трусики, рубашечка» и нейлоновые чулки «потрясающей элегантности, на самый утонченный вкус».

Что касается гробов, то и здесь мода достигла большого разнообразия с расчетом на любой вкус. Представлены все стили: классический («на тему погребальной урны»), американский колониальный, французский провинциальный и даже футуристический — гроб «„Переходный[84], в стиле будущего“. В большой моде патриотическая тема — ее наиболее ярко отражает модель „Вэлли-Фордж“ фирмы „Бойертон“. „Назначение этой модели, — гласит реклама, — выразить упорство, силу и стойкость солдата, проявленные в исто-

[84] Примечания: 84
жестокие лишения.

рический период, связанный в Вэлли-Фордж[85]… Теплая красота натуральной древесной структуры наилучших пород клена и искуснейшая обработка дерева придают очарование этой модели… Самый подходящий гроб для солдата, как символ американских идеалов стойкости, надежности и отваги, проявленных под Вэлли-Фордж.“

Для менее закаленного мужа — для бонвивана, весельчака, картежника, идеалом которого при жизни было тереться среди международной знати, рекомендуется „Монако“ — гроб из металла дюрасил фирмы „Мерит“, Чикаго, „с тускло поблескивающей, как морской туман, поверхностью, обитый высокосортным бархатом „Чини“ цвета аквамарина, богато простеганным внутри и собранным в широкие сборки, с большим валиком и покрывалом из того же бархата“. Реклама изображает „Монако“ на романтическом фоне тропической зелени и яркого неба Французской Ривьеры. Цена? Не дороже, чем слетать на самолете в Монте-Карло и обратно…

Зато для домоседа, не чересчур закаленного и не столь отважного, но обожающего комфорт, металлический гроб „Мэйджер кэскет компани“

[85] Примечания: 85

Вэлли-Фордж — местность, где зимовала в 1777 году армия Джорджа Вашингтона, готовясь к битвам с англичанами и терпя

теперь оборудован „пышной, как пена, постелью Красорама регулируемой высоты… Новое патентованное устройство делает ненужным кручение ручки… В результате года работы над усовершенствованием конструкции, — вещает реклама, — эта постель стала мягкой и эластичной, что исключает малейшее соскальзывание.“

Да, есть о чем порассказать! Человек, впервые познакомившийся с этими перлами неведомого мира, испытывает, вероятно, нечто похожее на то, что испытал Берналь Диас[86], попав во дворец Монтесумы. „Мы были ослеплены представившимся нам зрелищем, — вспоминал он, — и некоторые солдаты даже спрашивали, не сон ли все это…“

Чтобы демонстрировать такое великолепие, требуется соответствующая обстановка. Навсегда ушли в прошлое похоронные конторы с обыкновенной уличной витриной. Их заменили вычурные постройки в стиле французских провинциальных замков, старинных английских поместий, испанских католических миссий, византийских мечетей и загородных вилл. Подчас

[86] Примечания: 86

Берналь Диас дель Кастильо (1492–1581?) — один из соратников испанского конкистадора Эрнана Кортеса, автор исторической хроники о завоевании Мексики.

это смешение всех стилей: готическая часовня выстлана наимоднейшим синтетическим ковром толщиной в два дюйма, поверх которого положены персидские ковры; дверь с бронзовыми завитушками открывается в гостиную, ультрасовременный кофейный бар, отделанный кафельной плиткой и хромированным металлом. В то же время в „спальных комнатах“ преобладает светлый, воздушный шведский мотив.

Эти „спальные комнаты“ вызывают представление о чем-то типично американском. Где еще возможна такая эклектика — от средневековой архитектуры до футуристической, в сочетании с заботой о максимальном комфорте? Где еще вас ждет столь же успокоительная атмосфера тихой роскоши, такие толстые, глушащие звуки ковры, шторы до полу, умело скрытое, приятное для глаз электрическое освещение, ровная температура, регулируемая одним нажатием кнопки? Ответ подсказал мне один директор похоронного бюро, с которым я пришла потолковать о том, из чего слагаются его цены.

— Судите сами, — заявил он, — спальную комнату занимают у меня на три дня, редко когда дольше. А теперь прикиньте, сколько бы вам стоило прожить три дня в хорошем мотеле? Пять-

десят долларов, если не дороже. Правильно?

Мотели для покойников! Вот, вот, похоже! Не хватает только плавательного бассейна и телевизора!

Современный похоронный мотель открыт круглосуточно. И в своем циркулярном письме, размноженном на ротаторе, он спешит порадовать вас тем, что „похоронная профессия в Соединенных Штатах гордится тем, что в пределах наших государственных границ не найдется ни одного человека, который оказался бы, в случае надобности, отдаленным больше чем на два часа времени от дипломированного похоронного директора и специалиста по бальзамированию. Такая организация побивает даже службу тушения пожаров в нашей стране!“

Итак, покойника примчали в похоронную контору. Спектакль начинается.

„Похороны — это торжество, на котором покойник самый почетный гость и главный объект внимания. Плохо подготовленное тело, помещенное в роскошный гроб, выглядит так же странно, как молодая девушка, явившаяся на бал в дорогом туалете и с бигуди на голове вместо прически“, — пишется в учебнике „Принципы и практика бальзамирования“. А „Ди-Си-Ко“,

печатный орган фирмы, торгующей похоронными принадлежностями, заявляет: „Разумеется, стимул к приобретению товаров „Люкс“ был бы значительно ослаблен, если бы тело не было гигиенически обработано и подано с наибольшим эффектом“.

Выражение „терапия скорби“ не сходит с уст похоронных дельцов, но понять его смысл было бы равносильно попытке наколоть ртуть на вилку, ибо оно никому, кроме них, не ведомо, хотя и звучит как медицинский термин. К скольким психиатрам я ни обращалась, ни один не мог просветить меня по части „терапии скорби“, ибо науке об этом ничего не известно, что, впрочем, не мешает „похоронным директорам“ и их присным рядиться под психиатров, когда выгодно. В учебнике бальзамирования сказано, например: „За работу над каждым доверенным ему объектом бальзамировщик несет громадную ответственность, так как от его искусства и заинтересованности в значительной мере зависит, облегчится или, наоборот, усилится необратимая душевная травма у всех, кому был близок усопший“.

В последние годы „терапией скорби“ стали называть, помимо „памятного портрета“, и ряд

других процедур похорон. Бизнесмены сделали это выражение буквально резиновым, пользуясь им для прикрытия очень многого. Такие словечки, как „терапия траура“, „синдром скорби“, стали ходовыми на языке гробовщика. А по сути дела, самые „терапевтические“ похороны — те, которые гарантируют наибольший барыш похоронной конторе.

Владелец похоронной конторы — не единственный участник спектакля. За сценой ждут своей поживы кладбищенские корпорации, цветочные магазины, мраморщики, фабриканты склепов. И фирмы, изготовляющие гробы, у которых похоронные конторы постоянно по уши в долгу, тоже подглядывают из-за кулис, как бдительные дублеры, ожидая, когда можно будет выступить и завладеть имуществом должника, если его постигнет финансовый крах.

Участники этого спектакля отнюдь не всегда составляют дружную семью. За кулисами нередко разыгрываются скандалы, вызванные соперничеством или надувательством. В ходу обмен колкостями, резкая взаимная критика, судебные процессы… И первая тому причина — жестокая конкуренция. Но распри стараются скрывать в интересах дела, ибо представление должно про-

должаться и цель у всех одна: драть с публики елико возможно, пока она в состоянии платить.

Эту мысль предельно точно выразил Герберт Стейн, вице-председатель „Нэшнл кэскет компани“ и председатель Ассоциации фабрикантов гробов: „Поскольку похоронные расходы у людей ограничены, а сама природа ограничивает количество похорон… пожалуй, единственный путь к увеличению прибылей — это умелая торговля дорогими изделиями“.

И вот фабриканты гробов решают эту сложную проблему примерно так, как фабриканты мебели, которые стараются придавать дешевой мебели столь ужасный вид, что лишь самые неимущие отваживаются ее покупать.

Конфликт между кладбищенскими корпорациями и владельцами похоронных контор носит иной характер. „Похоронный директор“, надо сказать, находится в более выгодном положении, поскольку он, как правило, первым нападет на золотую жилу. И к тому времени, когда он справляется со своей миссией, на могилу почти не остается денег, и владельцам кладбища, товар которых покупается во вторую очередь, приходится убедиться, что сливки уже сняты похоронной конторой. Директор ее сумел не только вытя-

нуть у родственников все деньги на гроб, но и лишить их прямой связи с кладбищем, заказав дешевую могилу по телефону. Это приводит в негодование кладбищенских деятелей. Но и они не теряются. Они пускают в ход сильное оружие: продажу кладбищенских участков впрок. Теперь их коммивояжеры рыщут по городам и весям и, как ребята, ворующие яблоки в саду, стараются сорвать плод, пока он не упал еще с дерева. Они опережают противника, попадая к клиенту не на несколько часов, а, возможно, на несколько лет раньше, чем похоронная контора. Больше того, они организуют собственные бюро похоронных процессий, рекламируя это как новый тип „единых похорон“:

Существует еще один спорный вопрос: кто завладеет правом продавать склепы. Мода на склепы, несомненно, растет: 60 процентов американцев кончают тем, что переселяются в прочные прямоугольные металлические или бетонные контейнеры, цена на которые колеблется от 70 до нескольких тысяч долларов.

Торговцы склепами общительны и жизнерадостны в своей дружеской компании и даже питают склонность к своеобразным семейным шуткам: фирма „Уилберт“, например, устраивает

ежегодные пикники для своего персонала, на которых подаются жареные на вертеле куры, корейка и пирожки „склепики“. Но их доброжелательство не распространяется на владельцев кладбищ, которых они неустанно таскают по судам. Судебные страсти по поводу склепов бушуют во всех уголках Соединенных Штатов: фабриканты добиваются запрета кладбищам продавать склепы. Их иски базируются на том, что кладбищенские корпорации регистрируются как неприбыльные и потому не могут заниматься торговлей. На том же основании протестуют и мраморщики, так как кладбища, изгоняя их старомодные памятники, продают теперь бронзовые таблички собственного производства. Правда, мраморщикам удается иногда добиться решений суда в свою пользу. Некоторым кладбищам было запрещено продавать памятники и какие бы то ни было мемориальные доски.

Кладбищенские корпорации наносят контрудары, всячески ущемляя интересы изготовителей склепов и памятников: то потребуют 20 долларов за провоз склепа по их дороге, то начнут доказывать, что только им принадлежит право устанавливать склепы. Они запрещают мраморщикам закладывать фундаменты для Улыбающихся

Иисусов, для статуй, изображающих эмблемы Христианства и прочие символы Достоинства, Силы и Вечной Красоты, настаивая на своей монополии и заламывая притом бешеные цены.

Что означает „ПВ“? Ваш лучший друг не сможет по неведению ответить на этот вопрос. Это не средство от пота и не какая-нибудь ароматная водичка. „ПВ“ означает „Просим воздержаться“, а еще точнее: „Просим воздержаться от присылки цветов“. Некоторые люди вставляют эти две буквы в газетные извещения о смерти близких.

В отраслевых журналах цветочной торговли „ПВ“ подается как угроза, опасность, серьезная проблема, ее клянут как „злого духа“, несомненно, потому, что 414 миллионов долларов, или 65–70 процентов своей прибыли, торговцы цветами извлекают из похоронных подношений. Хранители нежнейших весенних бутонов, демонстрирующие трепетную любовь к майским ландышам, летним розам и зимним подснежникам, становятся весьма воинственными господами, когда дело касается этого вопроса. В своих кампаниях, направленных против „ПВ“, они прибегают даже к военной терминологии, употребляя такие выражения, как „отражение последних атак“, „поход“, „рассеивание наших боевых порядков“,

„массированный бросок“…

Призыв организовать единый фронт против общего врага звучит в объявлении ассоциации „Цветы по телеграфу“, занимающем целую страницу во многих журналах похоронной промышленности и кладбищенского дела. Объявление учит, как бороться с „ПВ“, рисуя опасность, грозящую „похоронному директору“, если он решит дезертировать с „поля боя“. Иллюстрация, явно рассчитанная на его устрашение, изображает безлюдную часовню — незанятые скамьи, постамент без гроба и цветочные вазы без цветов. Под этой мрачной иллюстрацией подпись:

„„Просим воздержаться“. От чего?

От чего они пожелают воздержаться вслед за этим? От священника? От музыки? От всего-всего, кроме самого простейшего гроба?

Задумайтесь над этим!

И в следующий раз, когда клиент выскажет пожелание воздержаться от цветов, скажите ему, что вы и ваши друзья из цветочных магазинов служите верой и правдой тем, кто понес утрату, и понимаете их нужды тоньше, чем они сами. Психологи подтверждают, что цветы у гроба успокаивают лучше, чем любое другое средство… Рекомендуя цветы, вы стоите на прочной психо-

логической основе“».

Кто же все эти психологи? Не относится ли к их числу, например, владелец цветочного базара «Добро пожаловать!», который в своей лекции в «Колледже похоронной науки» в Индиане внушает студентам, что «терапия скорби» требует цветочных подношений, что цветы дают выход скорбным чувствам друзей покойного?

Лица, представляющие интересы цветочных торговцев, выражают трогательную заботу о друзьях, которые могут ощутить неловкость, прочитав в газете: «Просим воздержаться». Они предупреждают, что такое извещение способно разрушить даже вековую дружбу. «ПВ» — это угроза не только душевному здоровью осиротевшей семьи и покою друзей, но и американскому государству в целом! Мистер Сесиль Браун, представитель по общественным связям ассоциации торговцев цветами, пишет:

«Похоронным директорам полезно кооперироваться с цветочными магазинами в борьбе с „ПВ“, дабы сохранить дух сентиментализма, присущий похоронным обычаям. Нежная чувствительность — одна из основ, на которой держится наше государство, а история показывает, какая судьба постигает те государства, которые отрешились от

нежных чувств…»

В конце 50-х годов была начата широкая кампания за полное изгнание из печати малейших намеков на «ПВ». На проведение кампании было ассигновано 2 миллиона долларов в год. Сообщая о результатах деятельности ассоциации «Цветы по телеграфу», Марк Уильямс пишет: «Наш торговый и рекламный отдел провел национальное обследование проблемы „Просим воздержаться“, включив в поле зрения редакции газет, а также радио и телевизионные станции США… Оказалось, что эту просьбу печатают 75–85 процентов газет нашей страны, помещая извещения о смерти. Вооруженные такой информацией, мы смогли разослать по всем очагам опасности своих представителей, которые провели ряд совещаний с отделами объявлений в газетах, а также с руководителями похоронных контор…»

Посещая «очаги опасности», представители, что называется, ходили с козырей: они дали объявления в 70 газетах по 85 строк каждое, а в «Американ фьюнерал директор» повторили его шесть раз по совершенно явной причине! Результаты не замедлили сказаться: уже в 1959 году секретарь-распорядитель общества американских торговцев цветами сделал заявление, что

«при финансовой помощи ассоциации „Цветы по телеграфу“ агенты посетили 241 город и 199 редакций газет, издающихся в этих городах, которые дали слово не печатать фразу „Просим воздержаться от присылки цветов“».

Через некоторое время было проведено вторичное обследование. В отчете, сделанном лидером цветочной торговли, говорилось: «Обследование выявило также, какие газеты держат свое слово», — и дальше следовала угроза, что те, кто его нарушил, будут «призваны к порядку».

В связи с этим мне захотелось узнать, как отнесется какая-нибудь газета Сан-Франциско (давшая обещание цветочным торговцам) к просьбе поместить извещение о смерти, содержащее запретные слова. Я позвонила по телефону в отдел объявлений одной из ведущих газет, и меня соединили с «мисс Черной» (потом я узнала, что это не настоящая фамилия: все сотрудницы, принимающие извещения о смерти, повсюду зовутся так). Я сказала «мисс Черной», что звоню по поручению приятельницы, у которой умерла мать, и меня просили поместить извещение в газете.

— В тексте должно быть сказано: «Просим воздержаться от присылки цветов», — преду-

предила я.

— Мы так не пишем, — быстро возразила она, — не лучше ли сказать: отдаем предпочтение пожертвованиям в память об усопшей или памятным подаркам?

— Нет. Семья покойной не хочет при подобных обстоятельствах просить пожертвования на благотворительные цели. Кроме того, покойная оставила точный текст извещения о ее смерти, где указано: «Просим воздержаться от цветов».

— Извините, сударыня, — растерянно ответила «мисс Черная», — это противоречит нашей политике. Нам не разрешено принимать объявления, способные кого-нибудь или что-нибудь унизить.

— Но здесь ни для кого нет ничего унизительного!

— Это унизительно для цветов?

Все мои уговоры и слова о свободе печати и правах личности ни к чему не привели. Я позвонила начальнику отдела, но и тот оказался неумолимым.

— Мы не можем поместить такое извещение, — заявил он, — если мы это сделаем, торговцы цветами оторвут нам голову?

Я позвонила еще в несколько газет, но везде получила похожий ответ.

В сентябре 1960 года скончалась теща президента Эйзенхауэра, и на ее похоронах был только крест из белых гвоздик от президента и единственный букет от ближайших родственников. Газета «Вашингтон пост» сообщила: «Президент и миссис Эйзенхауэр просят не присылать цветов, предпочитая пожертвования на благотворительные цели» («Нью-Йорк таймс», однако, почему-то не поместила эту часть заявления). Торговцы цветами сочли себя уязвленными до глубины души. Их предводители мгновенно мобилизовали все силы, чтобы заставить печать, радио и телевидение скрыть пожелание президента Эйзенхауэра. Журнал «Флористе ревью» впоследствии комментировал это происшествие на своих страницах следующим образом: «…многие газеты, радиокомпании и телевизионные компании придерживались политики не принимать лишь те извещения о смерти, которые содержат слова: „Вместо цветов предпочитаются пожертвования“. Ассоциация сочла своим долгом лишний раз им напомнить об этом принципе. Руководство ассоциации торговцев цветами попрежнему делает все возможное для ликвидации губительных последствий непреднамеренной бомбы президента Эйзенхауэра, разорвавшейся

в нашей промышленности». Далее выражалась благодарность «всем владельцам похоронных контор, которые активно поддержали торговцев цветами в столь критический момент».

«За последние 20 лет в похоронной промышленности произошло множество революционных перемен. За этот период достигнут более значительный прогресс, чем за предшествующие 200 лет. Ныне мы переживаем эру беспрецедентного развития нашей промышленности благодаря прогрессивным методам, новым материалам и воспитательной работе», — пишет «Концепт, журнал конструктивных идей для кладбищ». Золотые россыпи скрыты под этими зелеными лужайками и плещущими фонтанами, величественными мавзолеями и бронзовыми памятниками, под этими мемориальными музеями и магазинами подарков! И журнал, в самом названии которого гремит гром прогресса, раскрывает перед своими читателями, каковыми являются пять тысяч владельцев действующих в США кладбищ (а всего их девять тысяч), секрет того, как наилучшим образом добывать это золото и превращать в капитал.

Кладбище как коммерческое предприятие — продукт нынешнего века. Удачное стечение

обстоятельств делает кладбище фантастически прибыльным коммерческим предприятием. Свобода от налогов, выгодное использование дешевой земли, которую можно бесконечно дробить на участки, доходы от продажи могил впрок и от взносов на так называемый вечный уход — все это позволяет накапливать громадные капиталы для прибыльных инвестиций. При таком благоприятном положении поистине нет границ использованию конструктивных идей.

1500 могил на один акр (0,4 га) сегодня уже относится к устаревшим нормативам, предусматривавшим памятники, ныне вышедшие из моды, а также сохранение 15 процентов площади для дорожек и расстояния между могилами, дабы некоторые почтительные, щепетильные люди не были вынуждены топтать соседние могилы, навещая могилы своих близких. Современный «садовый» тип кладбища, порожденный одной из самых конструктивных идей, покончил с этой напрасной потерей площади, ликвидировав все проходы (кроме «Дорожек славы», ведущих к музею и магазину подарков) и запретив установку памятников. Могилы теперь тянутся сплошными, непрерывными рядами. Памятники заменены стандартными бронзовыми табличками, торча-

щими прямо из земли, — тоже конструктивная идея, позволяющая кладбищенским дельцам хорошо зарабатывать на их продаже.

Одно «садовое» кладбище в Лос-Анджелесе размещает на акре земли 2842 могилы. Другое, в том же городе, подсчитало, что может «засеять» каждый акр еще гуще–3177 могилами.

Предрассудки, существующие в мире живых, нашли отражение и в загробном мире: там тоже практикуется расовая дискриминация. В тех штатах, где некоторые изменения продиктованы решениями суда, они отразились и на кладбище. Агент по продаже могильных участков, подражая своему коллеге, продающему участки для постройки домов, обычно отвечает на этот щекотливый вопрос, что его учреждение сумело обойти решение суда. Я спросила об этом представителя кладбища «Форест-лоун», и он заявил мне: «Прежде специальный параграф запрещал нам принимать негров, но теперь таковой вычеркнут. Однако у нас по-прежнему нет ни одного негра, — поспешил он заверить меня. — Им и самим приятнее находиться среди своих».

Никакое хитроумное планирование максимального использования земли не помогло бы кладбищенским дельцам, если бы они не ввели

массовую продажу могил впрок. Целые армии агентов прочесывают теперь города, улицы, дома и квартиры. Одно из самых выгодных мероприятий в истории торговли — продажа могил впрок — положило начало бурному росту современного кладбищенского бизнеса. Только за один год более трех миллионов благополучно здравствующих американцев обеспечили себя могилами на будущее. Недалеко то время, когда каждый живой американец станет обладателем собственной могилы или же, по меньшей мере, будет оплачивать таковую в кредит…

Продажа могильных участков и бронзовых табличек — это волнующая умственная работа, полная романтики современной «золотой лихорадки» и побед на новых рубежах. Заражающая жизнерадостность, бодрость духа и увлекательность, пронизывающие энергическую прозу «Концепта» и «Американ семетри», резко контрастируют с мрачными пророчествами и праведной жертвенностью, наполняющими профессиональные журналы «похоронных директоров».

«Журнал конструктивных идей» рассказывает, например, о потрясающем успехе «мемориального парка Милилани», близ Гонолулу, где за четыре недели была выручена от продажи мо-

гил в рассрочку баснословная сумма — 1 090 408 долларов!

Барыши от продажи могил и бронзовых табличек позволяют переманивать коммивояжеров, торгующих другими товарами: энциклопедиями, предметами домашнего обихода, автомашинами, а также страховых агентов. И тем не менее людей, по заявлению «Концепта», все же не хватает. Отдел объявлений в «Американ семетри» пестрит сказочными посулами: «Коммивояжер! Проведите лето в дачной местности в штате Мэн, попутно зарабатывая деньги! Рыбная ловля, охота, катанье на лодках. Пишите, телеграфируйте, звоните по телефону: „Мемориальный парк Грейс-лоун…“» Или такое: «Мемориальный парк Рест-лоун создан специально для разъездного агента. Еженедельно, по средам, выплата комиссионных полностью. Наградные за каждые 10 тысяч новых клиентов. Нетронутая целина! Обязательные условия: автомобиль новейшего выпуска, опрятная внешность, искренность и правдивость».

Кстати, человеку с известным жизненным опытом требуется не больше недели, чтобы натренироваться по части искренности и правдивости в школе «мемориальных консультантов». Слу-

шателя учат, «как добиваться допуска в дом, как проявлять рассудительность в сложных вопросах и всем своим поведением показывать, что цель его — оказать ценную услугу, а не продать что-то. Всю неделю проверяется его способность преодолевать трудности и переубеждать противящихся. В конце курса ему вручают свидетельство „Профессионального мемориального консультанта“.

Типичный прием, преподанный будущему консультанту, — показ картинки с изображением бутылки молока, под которым напечатано:

1935 года — 8 центов кварта

1962 года — 28 ««

1972 года — 58(?) ««

Иными словами, покупателю должна быть внушена мысль об инфляции. Это подкрепляется впечатляющей речью:

«Мистер Джонс, если в ближайшие годы со мной что-нибудь случится, моя супруга, благослови ее бог, обуреваемая горем, почувствует необходимость потратить много денег. Она использует средства, оставленные ей мною для спокойной, обеспеченной жизни, на покупку кладбищенского участка по инфляционной цене, показывая этим свою любовь ко мне. Вот почему я заранее связал ей руки, защитив от собственных

ее чувств, а также от непрерывно растущей инфляции. Я уверен, что в этом вопросе все мужья будут со мной солидарны, не правда ли?»

Программа продажи могил впрок подвергается бесконечным вариациям и все время обогащается новыми приемами. В качестве примера новинки можно назвать кинофильмы, вызывающие «МИ», то есть «мемориальный импульс», которые демонстрируются на дому у обхаживаемых покупателей. Голливудская труппа, разыгрывающая библейские сцены по радио, снялась в ряде драм на библейские сюжеты. Агентов инструктируют: «Подчеркивайте духовную сторону! Каждое воскресенье навещайте намеченных вами лучших покупателей… Проникните в их семейный круг… Листая страницы Библии, заставляйте любимые ими главы жить. Затем, уже овладев их вниманием, приступайте к вашей теме».

За последние годы вырос новый вид торговли, специализирующейся, если можно так выразиться, на вторичном сборе урожая или, скажем, на добывании сока из однажды уже прессованного винограда. В тех районах, которые полностью охвачены предварительной продажей могил и склепов, заблаговременно продают теперь их владельцам именные бронзовые таблички.

Еще одна идея, нашедшая отклик почти у всех кладбищенских дельцов, — это «фонд вечного ухода». Наивные люди полагают, что, уплатив за склеп от 600 до 3000 долларов, а за могилу от 150 до 1500, они уже освободились от платы за присмотр. Тем не менее на стоимость могилы или склепа начисляется еще 10–20 процентов, а кое-где и 25 процентов за будущий уход. Могилы требуют ухода, это понятно, но какого особенного ухода требует железобетонный склеп — довольно трудно вообразить.

Собранные таким образом деньги хранят у себя владельцы кладбища, якобы в качестве дарственного фонда, гарантирующего вечный уход за могилами. Гарантия, явно нереальная! И все-таки имеющая магическую силу продажа могил впрок помогла образовать колоссальные капиталы, предназначенные для этой цели. Более тысячи кладбищ владеют фондами «вечного ухода» свыше 100 тысяч долларов, а более пятидесяти — свыше миллиона. Общая сумма этих фондов в США перешагнула ныне за миллиард долларов.

Такой миллиардный фонд, который может быть инвестирован по усмотрению владельцев; служит мощным политическим оружием. Недавно, после того как махинации с этими фондами

вызвали общественный скандал, законодательные палаты штатов постановили учредить официальный контроль за тем, на какие цели инвестируются капиталы кладбищ. Могущественные кладбищенские «лобби» (предмет зависти «похоронных директоров», не имеющих подобного веса в законодательных учреждениях!) сумели добиться в большинстве штатов отнюдь не обременительных законоположений, причем в некоторых штатах регулирование фондов «вечного ухода» поручено почтенной комиссии, состоящей исключительно из владельцев кладбищ…

Насытив общину могилами, склепами и памятниками впрок, учредив «фонд вечного ухода», которым можно распоряжаться по собственному усмотрению, что еще предпримет, пользуясь привилегиями, кладбищенский делец для своего дальнейшего обогащения? Тот, кто уже кое-что понял, пожалуй, не будет удивлен, узнав, что дальновидные лидеры промышленности успели и над этим подумать и предложили решение: отныне будут продаваться впрок не только могила и именная табличка, но и гроб, и цветы, а также заблаговременно приниматься заказы на катафалк и похоронные принадлежности. Но

это еще не все. Владелец кладбища, способный «мыслить конструктивно», добавляет к перечню своих услуг устройство свадеб. Он, кроме того, организует радиопередачи пасхальной заутрени и выступления самодеятельных хоров на рождество, открывает музеи, устраивает художественные выставки, лекции, экскурсии для школьников — все ради привлечения новой клиентуры. Ибо, как заявил исполнительный секретарь Американской похоронной ассоциации Дональд Сейгер, «современное понятие ответственности включает многие услуги, которые убеждают нас, что символы смерти и скорби так же устарели, как представление о том, что кладбище должно служить лишь местом вечного покоя для мертвецов».

«Мемориальный парк Форест-лоун» в Южной Калифорнии — самое крупное из всех бесприбыльных кладбищ, и создавший его Губерт Итон, Мечтатель, Строитель, Изобретатель Мемориального Импульса, — бесспорно, должен считаться дуайеном кладбищенских деятелей. Пожалуй, ему больше, чем любому другому лицу, обязано современное направление похоронной промышленности.

На территории «Форест-лоун» много церквей

— от миниатюрной шотландской молельни с ее нелепо-неуместным ковром, сплошь застилающим пол, до громадных, величественных храмов; много и других строений, в том числе Большой колумбарий, отделанный в патриотическом духе, с Площадью почета, Историческим залом, Мавзолеем свободы и Залом патриотов.

— Надо быть обязательно американским гражданином или дать письменную клятву лояльности, для того чтобы попасть в Зал патриотов? — спросила я гида.

— Нет, сударыня, — ответил он. — Любой может быть здесь похоронен, если только у него хватит денег.

Бродя среди Шепчущихся сосен, Вечной любви, Ласкового света и Страны младенцев, я узнала, что все эти секторы разделяются по цене могил. Средняя цена–434 доллара 50 центов — установлена в Мирном приюте, подороже ценится Торжествующая вера–599 долларов 50 центов и еще дороже — Вознесение, где могила обходится уже в 649 долларов 50 центов. Дешевле всех — Братская любовь, хотя, надо сказать, и этот товар здесь дороговат–308 долларов! К каждой из этих сумм следует добавить 10 процентов и «фонд вечного ухода», 89 долларов за рытье и

засыпку могилы и от 70 до 145 долларов за ее цементирование. Для лиц с более утонченными требованиями существуют Сады воспоминаний, которые постоянно на замке для посторонних, и только владельцу могилы вручается Золотой ключ от калитки. Тут уже затраты превосходят все мыслимые границы!

Все похоронные деятели постоянно твердят друг другу о необходимости соблюдения этики (и не просто этики, а самой высокой!), об отзывчивости, прямоте характера, высоком нравственном уровне, моральной ответственности, искренности, высокой репутации. Они заклинают друг друга быть откровенными, дружелюбными, исполнительными, вежливыми, спокойными, достойными и приятными в обращении, желающими добра людям; уметь хорошо слушать, грамотно говорить, не проявлять грубости, вступать в члены масонских организаций и «Рыцарей Колумба», торговых палат, бойскаутских обществ, родительских комитетов в учебных заведениях; участвовать в сборах средств на нужды общины, быть любезными в обращении с клиентами и подчиненными и, уж само собой разумеется, не давать своим поведением повода для осуждающих разговоров и скандалов. Короче говоря, они

жаждут быть достойными уважения и любви, что свойственно каждому человеческому существу.

Так-то оно так, но едва вы начинаете под влиянием литературы, имеющей гипнотическое воздействие (хотя бы в силу своей частой повторяемости), приходить к выводу, что это очень славные люди, как в глаза вам бросаются следующие строки в «Мортюари менеджмент»:

«Вы должны относиться к похоронам ребенка с момента его смерти до засыпки могильного холмика как к „драгоценной возможности“ для установления хороших отношений и сохранения духа сентиментализма, без чего немыслимо существование нашей профессии».

Или вы прочтете другое поучение в «Нэшнл фьюнерал сервис джорнал».

«На привычки покупателей имеют сильное влияние зависть и среда, в которой человек находится. Не упускайте из виду этих двух важных факторов, когда вы делаете предварительный подсчет покупательных способностей любого семейства. Зависть того же происхождения, что и тщеславие… Ни в чем не отставать от Джонсов — вот основное кредо… Подчас достаточно сказать: „Точь-в-точь такой же гроб заказали у нас Джонсы“, и вам обеспечена продажа гроба весьма

прибыльной категории».

Так кем же прикажете их считать — образованными специалистами, сохраняющими высокий уровень профессиональной этики, или грязными торгашами, наживающимися на горе и душевных муках тех, кого постигла тяжелая утрата?!

Джеймс Борен
СОМНЕВАЯСЬ, БОРМОЧИТЕ!

СПРАВОЧНИК БЮРОКРАТА

Принципы откладывания решений: комитетская процедура и механизмы санкционирования

История применения комитетов по изучению восходит ко временам Адама и Евы и берет начало в дискуссии между Евой и змием по вопросу о последствиях вкушения от плода с древа, произраставшего посредине Эдемского сада. По мнению некоторых ученых, уделивших немало времени историческим разысканиям, следующей важной стадией в развитии процесса комитетотворчества стало решение «потомства сыновей Ноевых» построить башню высотою

до небес. Как полагают осведомленные теологи, тогда был создан комитет для изучения вопроса о выполнимости этого плана, еще один комитет по выбору строительного участка и третий комитет по разработке программы использования стройматериалов: кирпича, камня и извести. Однако высшая инстанция, судя по всему, не санкционировала проект, и комитеты были распущены. Принятые меры: смешан язык, чтобы ни один не понимал речи другого.

Отсюда и пошло увлечение людей комитетами, санкциями, бюрократическим бормотанием.

Ныне почти немыслимы такие меры, которые могли бы быть приняты без привлечения к этому какого-нибудь комитета. Все известные организационные формы, в рамках которых мы трудимся, развлекаемся или, скажем, исповедуем религию, опутаны бюрократической красной тесьмой комитетской деятельности. Плановые комитеты, бюджетные комиссии, мандатные комиссии, комитеты по украшению, комитеты по питанию и так далее, и так далее, без числа. Поистине нет у динамичной бездеятельности лучшей помощницы, чем комитетская процедура!

При всем многообразии форм современных комитетов они остаются по существу все тем же

изначальным комитетом, известным издревле. Как-то раз один политик на востоке Техаса, ораторствуя перед толпой, показал ей стеклянную банку, в которой сидел большой таракан. К спинке таракана были приклеены клочки шиншиллового меха. И хотя оратор в изысканных выражениях восхвалял свою шиншиллу, она оставалась все тем же тараканом. Сегодня правительственный аппарат кишмя кишит президентскими специальными комиссиями и комитетами экспертов с самыми благозвучными названиями.

Комитеты по изучению — это излюбленное орудие бюрократа, с помощью которого он предотвращает принятие решений, которые могли бы прибавить ему работы, создать для него затруднения или иметь какие-либо другие нежелательные последствия. Когда общественные дискуссии приобретают чрезмерно эмоциональный характер и начинают угрожать покою бюрократии, бюрократическое руководство может просто-напросто спихнуть спорный вопрос на изучение в комитет. При этом бюрократ, как это чаще всего бывает, вовсе не заинтересован в получении каких бы то ни было серьезных рекомендаций; его ведь интересует совсем другое

— найти приемлемый способ оставить вопрос в нерешенном и не причиняющем беспокойства состоянии, покуда не улягутся общественные страсти. Бюрократ, создающий комитет, отнюдь не должен раскрывать членам комитета свою действительную цель, но он может использовать членов комитета в качестве: 1) рупора, призванного обратить внимание общественности на искреннюю озабоченность бюрократа данной проблемой; 2) буфера между бюрократом и широкой публикой; 3) узаконенного средства для создания оттяжек, задержек, проволочек и вообще для максимальной отсрочки решения.

В наши дни в федеральном правительственном аппарате насчитывается примерно 850 групп по изучению, являющихся эффективными инструментами оттягивания всякого дела. Подобные группы могут развиться во временные комиссии. Временные комиссии могут развиться в постоянные агентства или в бюро внутри агентств, а неотложная проблема может оказаться преобразованной в долгосрочную неотложную программу.

Комитеты могут осуществлять свою деятельность через ряд подкомитетов, но наиболее широкие возможности набраться опыта по части

волокиты предлагают бюрократу межведомственные и междепартаментские комитеты. Представители, заседающие в таких комитетах, не могут, понятно, связывать свои ведомства обязательствами, не проконсультировавшись с руководством ведомства. Это создает благоприятнейшие условия для оттяжки принятия решений. Когда же в конце концов выносится предварительное решение, оно, разумеется, обязательно облекается в осторожные формулировки «соглашения в принципе». Столь гибкая резолюция позволяет бюрократу маневрировать, добиваясь максимально престижного поста для себя буквально до последней минуты существования межведомственного комитета. При умелом подходе бюрократ может сделать из своего назначения в межведомственный комитет пожизненную карьеру.

После того как доклады комитетов по изучению будут рассмотрены комитетами по рассмотрению, а доклады комитетов по рассмотрению будут обследованы комитетами по обследованию, доклады комитетов по обследованию должны быть скоординированы комитетами по координированию. Полный выбор согласованных резолюций призван обеспечить должную эска-

лацию процесса откладывания решения, этой основы основ динамической бездеятельности.

Визы и санкции бывают двух родов: непосредственные и многоступенчатые. Непосредственные санкции оставляют кое-какие возможности для волокиты, но совсем мало возможности для отмены решений. Ведь непосредственная виза представляет собой единичный акт, не связанный с предыдущими санкциями других бюрократов. Например, если преподаватель должен получить разрешение руководителя кафедры на покупку коробки канцелярских скрепок и если для этого не требуются никакие другие разрешения, мы имеем дело с простой, непосредственной санкцией.

Примером другой разновидности непосредственных санкций может служить случай делопроизводителя, которому нужно приобрести набор канцелярских принадлежностей для архива. Делопроизводитель должен получить визы директора учреждения, начальника отдела и помощника финансового ревизора, но ни одна из этих трех санкций не зависит от наличия предварительной санкции одной из двух остальных санкционирующих инстанций. Простое отношение (испрашивающий санкцию — налагающий

санкцию), не предусматривающее требование многоступенчатости, является сравнительно малоэффективным средством задержки принятия решений.

Многоступенчатые санкции — это также санкции, которые требуют соблюдения строгой очередности при их получении. Скажем, преподавателю университета где-нибудь на Среднем Западе, который пожелает съездить в Денвер на важную конференцию работников просвещения, возможно, потребуется разрешение на эту поездку семи различных инстанций. Прежде всего ему, по-видимому, придется заручиться разрешением руководителя своей кафедры. Во-вторых, ему понадобится разрешение декана, затем — разрешение заместителя ректора университета по учебной части. Окончательным разрешением со стороны университетского начальства должна стать виза ректора университета — если только ректор не решит, что финансовый ревизор должен поставить на форме с просьбой о разрешении поездки печать, удостоверяющую, что средства на поездку имеются.

После этого, вероятно, потребуется санкция казначея штата, но все предыдущие санкции будут недействительными, пока, в соответствии с уста-

новленным законом предписанием, просьбу не утвердит, поставив свой гриф, губернатор штата.

Если декану случилось уехать в другой город на другую конференцию и наш профессор физически не может добыть его подпись, плакала его поездка на важную конференцию: заместитель ректора по учебной части не наложит свою санкцию без визы декана. Конечно, если декан успеет вернуться вовремя, многоступенчатая процедура наложения санкций может возобновиться, начиная с этой инстанции и дальше в порядке возрастания.

В Пентагоне, государственном департаменте и международных агентствах обычным явлением считаются многоступенчатые процедуры санкционирования, предусматривающие последовательное наложение от пятнадцати до двадцати виз. Благодаря многоступенчатым санкциям удается отсрочивать принятие решения иной раз на полгода, особенно если привлечь к этой процедуре генеральный совет.

Вот почему пробюр[87], кровно заинтересованный в устранении всякой поспешности при принятии решений, должен всячески содей-

---

[87] Примечания: 87
Профессиональный бюрократ — по словарю автора.

ствовать наращиванию многоступенчатости в процедуре санкционирования.

Во имя сохранения статус-кво и придания надлежащей роли динамической бездеятельности как фактору, обеспечивающему уклонение от дела и оттягивание решения, бюрократы Америки должны благоговейно оберегать комитетские процедуры и механизмы санкционирования.

Смелое непринятие решений, динамическая бездеятельность, уклонение от дела, бормотание с прицелом на создание комитета, руководство с помощью нюха — такова основа той драпировочной ткани, которую мы, американцы, по всей вероятности, используем в конце концов как занавес у своего ложа. Поплотнее задернув его, мы сможем погрузиться в приятные сны.

Широко распространена практика выбора комитетом консультанта, чьи взгляды известны и, следовательно, могут совпасть со взглядами членов комитета. В этом случае рекомендации консультанта придают дополнительный вес и авторитет решениям комитета. Они же могут сыграть впоследствии роль объективного буфера, призванного оградить комитет от критики.

Использование консультантов, которые заведомо скажут вам именно то, что вы хотите

услышать, является известным бюрократическим приемом, которому можно присвоить название «эхосультирование». Обычно процедура эхосультирования осуществляется методом согласоанализа. Консультант может превратиться в эхосультанта, если на него падет выбор людей, знакомых с его профессиональной работой. В таких случаях он может выступить в роли эхосультанта, сам того не ведая. Однако бывают и другие случаи, когда профессионального эхосультанта, владеющего методом согласоанализа, избирают в результате тщательного обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Комитеты по подбору кандидатур на председательские должности обычно прибегают к услугам эхосультантов как в процессе выработки критериев, так и при окончательном выборе председателя.

Преуспевающим педбюрам (то бишь бюрократам от педагогики) не пристало тратить свое драгоценное время, познания и ораторские таланты на такие явные излишества, как занятия со студентами. Педбюры должны «публиковаться»; они должны постоянно разъезжать, выступая то в клубах разных обществ, то на собраниях родительско-студенческо-преподавательских ассоциаций, то в теледискуссиях. Их долг —

возделывать ниву субсидируемых фондами и государством исследований в надежде пожать богатый финансовый урожай для дальнейшего проведения исследований, ориентированных на получение субсидий, и для подготовки дальнейших публикаций, ориентированных на служебное повышение. На подобных качествах педбюров держится движение за бюрократию и братство бюрократов.

КАК УЦЕЛЕТЬ ПРИ СМЕНЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Хотя сохранение должностей помельче с грехом пополам гарантируется законом, влиятельные посты прямо на корню закупаются политическими претендентами, лидерами партий, кадровиками, ведающими административным персоналом конгресса, и специалистами из Белого дома, занимающимися назначением отзывчивых кандидатов на тепленькие местечки.

Прейскурант для желающих приобрести высокие посты (официально он называется по-другому) выпускается после победы на выборах новой администрации в виде издания для внутреннего пользования. Ревниво оберегаемый и тщательно изучаемый как искателями должностей, так и назначающими на них, этот прейскурант

перечисляет руководящие посты во всех правительственных департаментах и агентствах. По сути дела, сей прейскурант содержит перечень высоких должностей, которые в первую очередь могут стать объектом домогательств, с указанием сроков, когда их можно заполучить, размеров жалованья и прочих сведений, представляющих интерес для политических лидеров, «облеченных доверием» народа.

Еще до издания прейскуранта теплых местечек, предназначенного для избранных, и задолго до церемонии введения в должность нового президента в Вашингтон стекаются опытные участники политической игры. В глазах у них — упование, в позах — решимость, в руках — список своих заслуг, явившихся вкладом в политическую победу.

Однако ко дню вступления президента в должность к этим бывалым ловцам чинов присоединяются тысячи и тысячи политических новичков, которые тоже пытаются залучить в укромный уголок своего сенатора или конгрессмена и уговорить его посодействовать назначению просителя на какой-нибудь высокий пост. Новички с теплотой и ожиданием во взоре напоминают победившему кандидату, как они обменялись

рукопожатием в начале его кампании. И долго еще продолжают они бесцельную погоню за ответственной и престижной должностью.

А в это время опытные политиканы и представители торгово-промышленных и профессиональных организаций, разумеется, уже составляют тексты коммюнике для печати, в которых поздравляют новую администрацию, назначившую их человека. Сенаторы и конгрессмены поддерживают постоянный контакт с политическим руководством избирательной кампании в малоизвестных широкой публике служебных кабинетах избранного, но еще не вступившего на пост президента. Там они действуют плечом к плечу с членами национального комитета партии, председателями партийных организаций штатов и крупнейшими вкладчиками в фонд избирательной кампании.

Такова общая картина, на фоне которой профессиональный бюрократ энергично и скрытно, отчаянно и стоически старается укрепить свои собственные связи с партийными боссами — непоколебимыми поборниками новой администрации. Вот тут-то и должно проявиться умение пробюра уцелеть, несмотря ни на что.

КАК УЦЕЛЕТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

(перечень рекомендаций)

Методы, применяемые пробюрами для того, чтобы уцелеть в ходе болезненной ломки, которой сопровождается смена администрации, столь же многочисленны и многообразны, сколь многочисленны и многолики сами пробюры. Поэтому прилагаемый перечень следует рассматривать не как исчерпывающий свод руководящих указаний, а как список проверенных приемов, которые могут быть взяты на вооружение в их настоящем или модифицированном виде пробюрами, стремящимися уцелеть.

1. Бюрократы низшего ранга могут безопасно отсиживаться на своих местах, ничего не предпринимая до тех пор, пока им не удастся узнать, кто будет их новым начальником. Ибо главной мишенью политических заправил становится дичь покрупнее — высокопоставленные бюрократы.

2. Если у высокопоставленного пробюра возникнут приватные сомнения относительно того, останется ли его партия у кормила правления, он должен заранее подготовить основу

для перевода своей должности в категорию, пользующуюся защитой закона о гражданской службе. При тщательно организованной и своевременно проведенной операции по переводу занимаемого им поста из одного разряда в другой пробюр, быть может, сумеет удержаться при смене администрации, но ему, возможно, придется довольствоваться после этого должностью рангом пониже. Однако ведь главная цель пробюра — это уцелеть.

3. Пробюр должен, если представится такой случай, добиться своего назначения в департаментский комитет по передаче полномочий новой администрации. Такой комитет находится под руководством сил, одержавших победу на выборах; поэтому, воспользовавшись благоприятной возможностью продемонстрировать свою компетентность, рассудительность и преданность интересам департамента, пробюр получит шанс удержаться на своем посту или войти в новую команду. Как правило, члены комитета по передаче полномочий заботятся о своих собратьях по комитету.

4. Пробюру следует составить полный реестр своих связей с партией, победившей на выборах. Надо внести в него всех друзей, принадлежащих

к этой партии, и прежде всего тех (если таковые имеются), кто был политически активен и имеет официально зарегистрированные заслуги перед победившим кандидатом. Особенно полезными могут оказаться связи в конгрессе.

5. При каждом удобном случае пробюр должен показывать, какой он незаменимый специалист: ссылаться на свой многолетний опыт, владение профессиональным жаргоном и т. д. и т. п. Знание административных правил своего департамента дает пробюрам дополнительный шанс. Некий выдающийся руководитель одного специализированного фонда однажды заявил: «Если не можете поразить их своими блестящими способностями, ошеломите их чем-нибудь другим».

6. В период смены власти пробюр может счесть целесообразным заполнить анкету (форма 171), с тем чтобы иметь возможность сразу же вручить ее какому-нибудь работнику отдела кадров или вышестоящему начальнику, если вдруг ему неожиданно подвернется должность, назначения на которую он добивался месяцами.

7. При неблагоприятной обстановке пробюр, возможно, сочтет за благо перевестись в оперативный отдел, работающий где-нибудь в другом месте. Здесь он не будет мозолить глаза кому не

надо и может рассчитывать на то, что о нем позабудут. Если же пробюр служит в центральных учреждениях в Вашингтоне и не имеет возможности перевестись в оперативный отдел вне столицы или на какой-нибудь международный пост, ему рекомендуется быть тише воды, ниже травы. При смене администрации пробюр не должен высовываться.

КАК УЦЕЛЕТЬ НА СЛУЖБЕ В КОРПОРАЦИИ

(перечень рекомендаций)

Перемены в руководстве крупной корпорации или даже маленькой фирмы чреваты, по существу, совершенно такими же опасностями для должностных лиц, какими характеризуется смена администрации в федеральном правительстве. Каждый пробюр должен вооружиться своим собственным списком факторов, помогающих уцелеть, но, возможно, ему пригодятся предлагаемые ниже рекомендации.

1. Составьте список своих друзей среди акционеров, выступающих за смену руководства, а также список друзей своих друзей. Воспользуйтесь обоими.

2. Займитесь поисками малоизвестных фактов

о новом начальнике и главных его помощниках: сферы личных интересов, хобби, театральные вкусы и т. д. Воспользуйтесь ими.

3. Если создается комитет по передаче полномочий, постарайтесь стать членом этого комитета. В том случае, если вам не удастся стать полноправным членом, устройтесь на какой-нибудь административный пост рангом пониже. Это даст вам возможность проявить готовность к сотрудничеству, а главное, наглядно продемонстрировать свою компетентность и преданность интересам компании.

4. Пробюру — служащему корпорации, не сумевшему пристроиться в том или ином качестве при комитете по передаче полномочий, рекомендуется ознакомиться с новейшей терминологией и последними веяниями в области его специализации. Применяя к месту и не к месту эту терминологию и оперируя всеми атрибутами своей профессии, пробюр может с успехом выдавать себя за незаменимого специалиста.

5. Поддерживайте непрерывную циркуляцию бумаг через ящики для входящих и исходящих документов. Если поток служебных бумаг недостаточно интенсивен для того, чтобы создать видимость кипучей деятельности, пробюр дол-

жен сам позаботиться о его усилении. Так, он может написать ряд индивидуально отпечатанных циркулярных писем клиентам и друзьям по какому-либо ничего не значащему деловому вопросу или же разослать просьбы о высылке каталогов и фирменных бюллетеней по адресам, указанным в промышленных журналах.

6. Позаботьтесь о том, чтобы вам чаще звонили по деловым вопросам. Достигается это посредством обычной процедуры наведения справок. За время, когда остальные сотрудники уходят на обед, пробюр должен организовать как можно больше ответных телефонных звонков. Поскольку люди, которым вы позвоните в обеденный перерыв, по всей вероятности, тоже ушли обедать, попросите передать им, чтобы они вам позвонили потом.

7. Составьте рабочий документ о том, каким образом следовало бы изменить (в целях усовершенствования!) ваш круг обязанностей, с тем чтобы они лучше соответствовали изменившейся структуре компании. Подачу этого документа надлежит тщательно подготовить и спланировать, но вручить его начальству надо в самой непринужденной манере.

8. До тех пор, пока пробюр не сориентируется

в новых тенденциях кадровой и административной политики, ему рекомендуется держаться как можно незаметней. Ведь основное правило, которым надлежит руководствоваться, когда возникнет некоторая неясность в отношении того, в какой степени пробюр должен быть виден и слышен, гласит: «Если сомневаешься — стушуйся».

Справки об авторах

БОЛДУИН ДЖЕЙМС

(род. в 1924 г.) — крупнейший негритянский писатель современной Америки. Автор романов «Иди, вещай с горы» (1953), «Комната Джованни» (1958), «Другая страна» (1962), «Скажи, когда ушел поезд» (1968), «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (1974, рус. пер. 1975), «Прямо над головой» (1979), нескольких пьес и сборников рассказов. Широкой известностью пользуются его многочисленные книги публицистики и документальной прозы: «Записки сына Америки» (1955), «Никто не знает моего имени» (1961), «Завтра — пожар» (1963, рус. пер. 1972), «Имени его не будет на площади» (1972, рус. пер. 1974) и др. В настоящем сборнике печатается фрагмент из книги «Имени его не будет на площади» по журналу «Иностранная литература», 1974, № 2, 3.

БОНОСКИ ФИЛЛИП

(род. в 1916 г.) — прозаик, критик, публицист. Автор романов «Долина в огне» (1950, рус. пер. 1961) и «Волшебный папоротник» (1955, рус. пер. 1961) сборника путевых очерков «За пределами

мифа От Вильнюса до Ханоя» (1967), критико-публицистической книги «Две культуры» (1978), рассказов, очерков, многие из которых публиковались в советской периодической печати. С 30-х годов принимает участие в рабочем движении. После второй мировой войны начал сотрудничать в американской марксистской прессе. В конце 70-х годов был московским корреспондентом коммунистической газеты «Дейли уорлд». Публикуемый здесь очерк «Пасынки Америки» печатается по журналу «Иностранная литература», 1980, № 12.

БОРЕН ДЖЕЙМС

— американский социолог, специалист в области истории и теории педагогики, бывший чиновник госдепартамента. В настоящем издании публикуется отрывок из сатирической книги «Сомневаясь, бормочите. Учебник бюрократа» (1972). Печатается по журналу «Иностранная литература», 1980, № 8.

БРЕЙДЕН ЭНН

— журналистка. В середине 50-х годов она и ее муж стали жертвами ожесточенной травли, а потом и судебного преследования со стороны расистских кругов штата Кентукки из-за того, что они оказали финансовую помощь молодому

журналисту-негру. История «дела Брейденов» описана в документальной повести «Стена отчуждения», отрывок из которой помещен в настоящем сборнике. Печатается по журналу «Иностранная литература», 1955, № 8, 9.

БЬЮКЕНЕН ТОМАС

— писатель, журналист, чьи статьи, посвященные ходу расследования убийства президента Дж. Ф. Кеннеди, публиковались в советской прессе. В нашем сборнике помещен фрагмент из его книги «Кто убил Кеннеди» (1964). Печатается по журналу «Иностранная литература», 1964, № 9.

ВЕРТЕМ ФРЕДЕРИК

— американский врач-психиатр, специалист по детской преступности. Автор книг «Круг виновных» (1956), откуда взят публикуемый ниже отрывок, и «Совращение невинных душ» (1957), анализирующая пагубное воздействие комиксов на юношество, и др.

ГОЛД МАЙКЛ

(1894–1967) — прозаик, драматург, поэт, публицист, критик. Один из основоположников социалистического реализма в американской литературе. Активно сотрудничал в прогрессивной печати (журналы «Мэссиз» и «Нью Мэссиз», газета «Уоркер»). Сборник рассказов и стихотво-

рений «120 миллионов» (1929, рус. пер. 1930) и автобиографический роман «Еврейская беднота» (1930, рус. пер. 1931) были в числе первых книг, открывших эпоху «красных тридцатых». В публицистической книге «Измените мир!» (1936) пропагандировал идеи пролетарской революции. После того, как в 1925 *г.* появилось русское издание книги очерков «Проклятый агитатор», его статьи и репортажи неоднократно публиковались в советской периодике. Помещенный здесь репортаж «Бостон готовится к линчеванию» написан после вынесения смертного приговора Сакко и Ванцетти в 1927 г. Печатается по журналу «Иностранная литература», 1972, № 4.

ГРЕГОРИ ДИК

(род. в 1932 г.) — американский эстрадный артист-комик, активный участник движения негров за гражданские права. В 1968 г. баллотировался в конгресс от партии мира и свободы. Автор нескольких публицистических книг: «Последнее место в автобусе» (1963), «Черномазый» (1964), «Что происходит» (1965), «Кодовое имя Зорро: убийство Мартина Лютера Кинга» (1977) и др. В настоящем издании публикуется речь Д. Грегори по тексту: «Правда», 24 мая 1968 г.

ДЭВИДОВ МАЙК

(род. в 1913 г.) — журналист, публицист, критик-марксист. Активно сотрудничает в коммунистической прессе США. Автор критических статей о современной американской литературе, многие из которых переводились на русский язык. Неоднократно бывал в СССР. впечатления от этих поездок стали основой публицистических книг: «Города без кризисов», «Третье советское поколение» и др. Публикуемые статьи написаны для журнала «Иностранная Литература».

КАПОТЕ ТРУМЭН

(1924–1984) — прозаик, эссеист. Дебютировал романом «Другие голоса, другие комнаты» (1948). Автор многих повестей, сборников рассказов и очерков, лауреат ряда литературных премий. На русский язык переведены повести «Голоса травы» (1951), «Завтрак у Тиффани» (1958), ряд рассказов. В 1965 г. вышел документальный роман-репортаж «Обыкновенное убийство» (рус. пер. 1966), где писатель впервые в современной американской прозе обратился к жанру «невымышленного романа». С тех пор он в основном выступает как документалист. Его художественно-документальная проза последних лет собрана в сборнике рассказов и репортажей «Музыка для хамелеонов» (1980). Мы помещаем фрагмент из

книги «Обыкновенное убийство» по журналу «Иностранная литература», 1966, № 2, 3, 4.

ДЖЕЙН КАЦ

— историк, художник и редактор нескольких мультикультурных антологий, в том числе «Посланники ветра: Женщины коренных американцев рассказывают свои истории жизни» (1995), «Я — огонь времени: Голоса женщин коренных американцев» (1977), «Мы оседлали ветер: Воспоминания о жизни коренных американцев» (1975), «Эта песня помнит: Автопортреты коренных американцев в искусстве (1980), «Позволь мне быть свободным человеком: документальная история индейского сопротивления» (1975), «Художники в изгнании: Американская одиссея» (1983). Она изучала рисунок и акварель в Художественном центре Миннетонки и Художественном центре Эдины. Кац живет в Миннесоте.

КОЛДУЭЛЛ ЭРСКИН

(род. в 1903 г.) — прозаик, публицист. В ранних рассказах, составивших несколько сборников, описывал жизнь американской бедноты во время Великой депрессии. Роман «Табачная дорога» (1932, рус. пер. 1938) стал одной из самых значительных книг 30-х годов. Обширное литературное наследие писателя составляют романы, повести,

рассказы, пьесы. На русском языке издавались повести «Случай в июле» (1940), «Мальчик из Джорджии» (1941), «Дженни» (1960), «Ближе к дому» (1962), многие рассказы. Значительное место в его творчестве занимала публицистика. Первые книги — репортажи были посвящены труженикам Юга: «Вы сами их видели?» (1937), «Так это США?» (1941). В 1941 г. был корреспондентом в СССР, писал очерки о борьбе советского народа против гитлеровской агрессии, которые составили книги «Москва под огнем» (1941) и «Дорога на Смоленск» (1942). В 1951 г. выпустил автобиографическую книгу «Назовите это опытом». В последние годы жизни издал несколько томов путевых заметок и очерков: «Вдоль и поперек Америки» (1964, рус. пер. 1966), «В поисках Биско» (1965), «Глубокий Юг» (1968), «Вечера в Центральной Америке» (1976). Мы публикуем фрагмент из книги «Вдоль и поперек Америки».

КОУЛ ЛЕСТЕР

(род. в 1904 г.) — кинодраматург, автор 35 сценариев, в том числе известного советским зрителям фильма «Рожденная свободной». Один из основателей Гильдии кинодраматургов. Был в числе так называемой «голливудской десятки» — группы кинематографистов, обвиненных в конце 40-х

годов в «антиамериканской деятельности». В июле 1950 г. был заключен в федеральную тюрьму штата Коннектикут, где провел год. После выхода на свободу был лишен возможности продолжать творческую работу в Голливуде. В настоящее время преподает в университете Беркли (Калифорния). Публикуемый фрагмент взят из книги воспоминаний «Голливудский красный» (1981). Печатается по: «Иностранная литература». 1983 т. № 9.

МАКГРЕЙДИ МАЙК

— журналист, публицист. Весной 1967 г. отправился в Южный Вьетнам, где стал очевидцем грязной военной авантюры США в Индокитае. Впечатления от этой поездки легли в основу книги репортажей «Голубь во Вьетнаме» (1968), отрывок из которой публикуется в нашем сборнике по журналу «Иностранная литература», 1970, № 9.

МАУРЕР ГАРРИ

— журналист, социолог. Автор книги интервью, взятых у американских безработных «Без работы. История безработных — из первых уст» (1979), фрагмент из которой вошел в этот сборник. Печатается по: «Иностранная литература», 1982, № 4, 5.

МЕЙЛЕР НОРМАН

(род. в 1923 г.) — прозаик и публицист. Дебютировал антимилитаристским романом «Нагие и мертвые» (1948, рус. пер. 1971). Автор романов «Берег варваров» (1949), «Олений парк» (1955), «Американская мечта» (1965), «Почему мы во Вьетнаме» (1967). «Вечера в Древнем Египте» (1983), а также многих книг публицистической и документальной прозы: «Саморекламы» (1959), «Президентские бумаги» (1963), «Каннибалы и христиане» (1966), «Армии ночи» (1968), «Майами и осада Чикаго» (1968, рус. пер. 1971), «Огонь на Луне» (1970), «Узники секса» (1971), «Св; Георгий и Крестный отец» (1973). В 1973 г. опубликовал биографию голливудской кинозвезды Мэрилин Монро («Мэрилин»), в 1975 г — роман-репортаж о матче боксеров-профессионалов («Бой», рус. пер. фрагментов –1978). Крупнейшим произведением последних лет критики единодушно считают документальный роман «Песнь палача» (1979), где исследуется современный вариант «американской трагедии». Мы публикуем отрывок из книги «Майами и осада Чикаго».

МИТФОРД ДЖЕССИКА

— журналистка, автор социологической книги «Мотели для покойников, или Американский

образ смерти» (1963), выдержавшей более десяти переизданий. Социально-экономическое исследование американского похоронного «бизнеса» сочетается в ней с остросатирическим изображением повседневной жизни США. Фрагмент из этой книги печатается в настоящем сборнике по журналу «Иностранная литература», 1971, № 1, 2.

НЕЛСОН СТИВ

— публицист. В конце 40-х годов стал жертвой маккартистской «охоты за ведьмами», был осужден на длительный срок. Просидев пять лет за решеткой, был выпущен на свободу по требованию прогрессивной американской общественности. В 1955 г. вышла книга мемуаров «Тринадцатый присяжный», отрывок из которой помещен в настоящем сборнике. Печатается по: «Иностранная литература», 1956, № 7.

НОРТ ДЖОЗЕФ

(1904–1976) — журналист, публицист, критик, один из ветеранов американской марксистской прессы. Автор многих репортажей о национально-освободительной войне испанского народа (1938–1939), о революционной Кубе (1961–1962), о борьбе вьетнамского народа с американской агрессией (1972). Был одним из основателей и редакторов прогрессивного еженедельника

«Нью мэссиз» (1934–1947). Автор книги мемуаров об эпохе «красных тридцатых» «Нет чужих среди людей» (1958, рус. пер. 1959), составил антологию лучших публикаций журнала «Нью мэссиз» (1969). В последние годы жизни был корреспондентом газеты «Дейли уорлд» в Москве. В настоящем сборнике помещен написанный им для «Нью мэссиз» в 1934 г. репортаж «Забастовка шоферов такси», по мотивам которого известный американский драматург Клиффорд Одетс позднее написал пьесу «В ожидании Лефти». Печатается по: «Иностранная литература», 1972, № 4.

НЬЮБЕРРИ МАЙК

— журналист, публицист, автор многих статей, посвященных проблемам внутренней политики США. Книга «Иеху», фрагмент из которой публикуется в этом сборнике, вышла в 1964 г. Печатается по: «Иностранная литература», 1964, № 5, 6.

ПАККАРД ВЭНС

(род. в 1914 г.) — социолог, публицист. Исследует психические и нравственные аспекты существования личности в современном «массовом обществе». Автор книг «Тайное внушение» (1957), «К вершине пирамиды» (1962), «Обнажен-

ное общество» (1964), «Страна отчужденных» (1972), многих статей. В настоящем сборнике печатаются фрагменты из книги «Формовщики людей» (1977) по журналу «Иностранная литература», 1981, № 12.

РАЙТ РИЧАРД

(1908–1960) — прозаик, поэт, публицист, социолог. В ранних статьях выступал против националистической идеи «единого потока» негритянской литературы. В известной «Программе для негритянской литературы» (1937) применил ленинское учение о двух культурах при анализе культуры американских негров. Сборник рассказов «Дети дяди Тома» (1938, рус. пер. 1939) и особенно роман «Сын Америки» (1940, рус. пер. 1941) стали вехой в истории негритянской прозы XX века. С 1946 г. жил в Париже. Автор повестей «Черный» (1944, рус. пер. 1978), «Человек, который жил в подполье» (1944), «Посторонний» (1953), романа «Долгий сон» (1958). В 50-е годы активно поддерживал национально-освободительное движение народов Африки, о котором писал в публицистических книгах «Власть черных» (1954), «Цветной занавес» (1957), «Черный человек, слушай» (1975). Автобиографический очерк «Жизненный кодекс Джима Кроу»

печатается по: «Интернациональная литература», 1941,№ 5.

СПОК БЕНДЖАМЕН

(род. в 1903 г.) — известный врач-педиатр, педагог. Окончил медицинский колледж Колумбийского университета, с 1933 г. занимается педиатрией. Книга «Уход за ребенком» (1946), принесшая ему всемирную славу, вышла в СССР двумя изданиями. В 60-е годы преуспевающий профессор медицины стал активным участником антивоенного движения, за что был осужден на два года тюрьмы. Под влиянием протестов американской общественности суд отменил этот приговор. Опыт политической борьбы и многолетние раздумья о социальных и моральных проблемах американской жизни легли в основу публицистической книги «Достойное и недостойное» (1969), отрывок из которой помещен в настоящем сборнике.

СТЕЙНБЕК ДЖОН

(1902–1968) — прозаик, драматург, публицист.

Автор романов «Небесные пастбища» (1932), «Битва с исходом сомнительным» (1936), «Гроздья гнева» (1939, рус. пер. — 1940), «Заблудившийся автобус» (1947, рус. пер. 1979), «К востоку от рая» (1952), «Зима тревоги нашей» (1961, рус. пер. 1962),

многих повестей, нескольких пьес и сборников рассказов, переводившихся на русский язык. Охотно выступал и как публицист. Книгу «В их крови есть сила» (1938) составили документальные очерки о калифорнийских батраках. В «Море Кортеса» (1941) описано путешествие писателя по тихоокеанскому побережью. В 1943–1945 гг. был военным корреспондентом газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» в Европе. Очерки этих лет были изданы отдельной книгой (1958). Публицистика конца 40-х — начала 60-х годов противоречива: в это время появляются тенденциозный «Русский дневник» (1948) и смелые статьи, где критикуется маккартизм («Смерть рэкета»), книга путевых очерков «Путешествие с Чарли в поисках Америки» (1962, рус. пер. 1965) и печально известные «Письма к Алисии», которыми крупный художник уронил себя в глазах мировой, в том числе и американской, общественности, поддержав, по сути, агрессию США во Вьетнаме. В сборник включен фрагмент из лучшей публицистической книги писателя — «Путешествие с Чарли в поисках Америки».

ТЕРКЕЛ СТАДС

(род. в 1912 г.) — журналист, публицист. С середины 50-х годов ведет ежедневную программу

на одной из радиостанций Чикаго. Широкая известность пришла к нему после выхода в свет сборника интервью «Улица разделения: Америка» (1967, рус. пер. 1969). Воодушевленный успехом, писатель в последующие годы выпустил несколько аналогичных по жанру книг-репортажей: «Тяжелые времена: устная история Великой депрессии» (1970), «Работа. Люди рассказывают о своей работе и о том, как они к этой работе относятся» (1974, рус. пер. 1976), «Говоря о себе» (1976), «Американские мечты — утраченные и обретенные» (1980, рус. пер. фрагментов–1982). В целом все эти книги образуют своего рода документальный эпос современной Америки. В настоящем сборнике помещен отрывок из книги «Улица разделения: Америка». Печатается по: «Иностранная литература», 1969, № 8, 9.

ХЕРСИ ДЖОН

(род. в 1914 г.) — прозаик и публицист. В годы второй мировой войны был фронтовым корреспондентом. В течение многих лет преподавал в ряде университетов США. Автор романов «Колокол для Адано» (1944), «Возлюбивший войну» (1959, рус. пер. 1970), «Заговор» (1972), «Ореховая дверь» (1977) и др. На русский язык переводилась (1980) его повесть-антиутопия «Мое прошение о

дополнительной площади» (1974). Часто выступает в жанре художественной публицистики, лучшими образцами которой являются книги: «Хиросима» (1946, рус. пер. 1970), «Преступление в мотеле „Алжир“» (1968), «Письмо питомцам Йеля» (1970). В настоящем сборнике публикуется отрывок из книги «Хиросима» по журналу «Звезда», 1970, № 8.

ЧАПЛИН ЧАРЛЗ

(1889–1977) — выдающийся деятель мирового кинематографа: актер, режиссер, сценарист, композитор. Создал на экране реалистически-достоверный и слегка ироничный образ «маленького человека», становящегося жертвой социальной несправедливости. Буффонная комедийность и мелодраматизм ранних кинолент («Золотая лихорадка», 1925, «Цирк», 1928, «Огни большого города», 1931) сменяется в «Новых временах» (1936) и «Великом диктаторе» (1940) язвительной сатирой, бичующей устои капиталистического общества. Последнее крупное произведение Чаплина-сатирика — «Король в Нью-Йорке» (1957), зло высмеивающее Америку в эпоху «холодной войны». В настоящем сборнике публикуется фрагмент из «Моей биографии», вышедшей на русском языке в 1966 г.

ШИЛДС АРТ

(род. в 1888 г.) — журналист, публицист, ветеран коммунистической печати США. Автор многих статей и репортажей об американском пролетариате, которые регулярно появлялись на страницах газет «Дейли уоркер», «Уоркер», «Дейли уорлд». В 1983 г. выпустил первую часть автобиографии «Годы становления». Несколько лет работал корреспондентом «Уоркер» в СССР. Многие его статьи публиковались в советской прессе. В настоящий сборник вошли очерки «В стороне от парадных аллей капитализма», написанный в 1971 г. для еженедельника «Уорлд мэгэзин» (публикуется по: «Иностранная литература», 1972, № 4), и очерк «Объяснение в любви сражающейся газете», опубликованный в газете «Уоркер» 14 июля 1968 г.

Издательские данные

Составитель *Е. Стояновская*
Справки об авторах *О. Алякринского*
Редактор *С. Литвинова*

А 61 Америка: Улица Разделения: Сборник.— Пер. с англ.— М.: Прогресс, 1984.— 608 с.
В сборник включены очерки, эссе, воспоминания, репортажи и статьи американских авторов, образующие своеобразную художественно-публицистическую летопись жизни США за последние десятилетия. Крупнейшие писатели и публицисты размышляют о политической жизни страны, о социальных, экономических, нравственных и культурных проблемах Америки.

А $\frac{4703000000\text{-}639}{006(01)\text{-}84}$ 70-84

ББК 66.3(7 США)
А 61

© Составление, вступление, справки об авторах — издательство «Прогресс», 1984.

Произведения, кроме обозначенных в содержании знаком *, опубликованы на языке оригинала до 1973 года.

Сборник

АМЕРИКА: УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ

ИБ № 12 283

Редактор А. А. ФАЙНГАР
Художник Г. И. САУКОВ
Художественный редактор В. А. ПУЗАНКОВ
Технический редактор Е. В. ДЖИОЕВА

Сдано в набор 30.01.84. Подписано в печать 28.09.84. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура журнальная рубленая. Печать высокая. Условн. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 32,13. Уч.-изд. л. 40,84. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2629. Цена 4 р. 50 к. Изд. № 36479

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28


e New American Woman
through art 21


FREEDOM TO THE SLAVE
SAVE OUR CITY
AMERICA?
RAPED
BY THE COPS

АМЕРИКА: УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ